Сибириада

ВАЛЕНТИН РАСПУТИН

Век живи – век люби

Annotation

Сборник повестей и рассказов Валентина Распутина включает произведения разных лет, объединенные общей темой жизни и духовного становления русского народа. Открывающая книгу повесть «Пожар» рассказывает о поджоге орсовских складов в леспромхозовском поселке Сосновка, о внутренней психологической драме главного героя водителя Ивана Петровича, чьи нравственные ценности не разделяются современным ему обществом. Повесть «Последний срок» — о деревенской старухе Анне, проститься с которой из разных мест съезжаются ее дети. Собравшись вокруг старухи на следующее по прибытии утро, дети, видя внезапно воспрянувшую мать, не знают, как им реагировать на её странное возрождение. В сборник также включены путевые заметки «Вниз и вверх по течению. Очерк одной поездки» и наиболее известные рассказы, среди которых «Уроки французского», «Что передать вороне?», «Василий и Василиса».

- О книге
- Валентин Распутин
- О книге

О книге

Книга подготовлена пользователями библиотеки https://fb2.top. Читайте или скачивайте эту и другие книги на сайте библиотеки бесплатно и без регистрации.

Адрес публикации: https://fb2.top/vek-ghivi-vek-lyubi-632009

Валентин Распутин
Век живи - век люби

ПОЖАР

Горит село, горит родное...
Из народной песни

1

И прежде чувствовал Иван Петрович, что силы его на исходе, но никогда еще так: край, да и только. Он поставил машину в гараж, вышел через пустую проходную в улицу, и впервые дорога от гаража до дома, которую он двадцать лет не замечал, как не замечаешь в здоровье собственного дыхания, впервые пустячная эта дорога представилась ему по всей своей дотошной вытянутости, где каждый метр требовал шага и для каждого шага требовалось усилие. Нет, не несли больше ноги, даже и домой не несли.

И предстоящая неделя, последняя рабочая неделя, показалась теперь бесконечной – дольше жизни. Нельзя было вообразить, как, в каких потугах можно миновать ее, эту неделю, и уж совсем не поддавалось ни взгляду, ни мысли то существование, которое могло начаться вслед за нею. Там было что-то чужое, запретное – заслуженное, но и ненужное, и уж не дальше и не

видимей самой смерти представлялось оно в эти горькие минуты.

И с чего так устал? Не надрывался сегодня, обошлось даже и без нервотрепки, без крика. Просто край открылся, край – дальше некуда. Еще вчера что-то оставалось наперед, сегодня кончилось. Как завтра подыматься, как заводить опять и выезжать – неизвестно. Но оно и в завтрашний день верилось с трудом, и какое-то недоброе удовольствие чувствовалось в том, что не верилось, пусть бы долго-долго, без меры и порядка ночь, чтоб одним отдохнуть, другим опамятоваться, третьим протрезветь... А там – новый свет и выздоровление. Вот бы хорошо.

Вечер был мякотный, тихий... Как растеплило днем, так и не поджало и вроде не собиралось поджимать. Мокрый снег и по твердой дороге продавливался под ногами, оставляя глубокие следы; продолжали булькать, скатываясь под уклон, ручейки. В загустевших чистой синью бархатных сумерках все кругом в это весеннее половодье казалось затопленным, плавающим беспорядочно в мокрени, и только Ангара, где снег был белее и чище, походила издали на твердый берег.

Иван Петрович добрался наконец до дому, не помня, останавливался, заговаривал с кем по дороге или нет, без обычной боли, – когда то ли обрывалась, то ли восставала душа, – прошел мимо разоренного палисадника перед избой и прикрыл за собой калитку. С заднего двора, от стайки, слышался голос Алены, ласково внушающий что-то месячной телочке. Иван Петрович скинул в сенцах грязные сапоги, заставил себя умыться и не выдержал, упал на лежанку в прихожей возле большого теплого бока русской печи. «Вот тут теперь и место мое», – подумал он, прислушиваясь, не идет ли Алена, и страдая оттого, что придется подниматься на ужин. Алена не отстанет,

пока не накормит. А так не хотелось подниматься! Ничего не хотелось. Как в могиле.

Вошла Алена, удивилась, что он валяется, и забеспокоилась, не захворал ли. Нет, не захворал. Устал. Она, рассказывая что-то, во что он не вслушивался, принялась собирать на ужин. Иван Петрович попросил отсрочки. Он лежал и вяло и беспричинно, будто с чужой мысли, мусолил в себе непонятно чем соединившиеся слова «март» и «смерть». Было в них что-то общее и кроме звучания. Нет, надо одолеть март, из последних сил перемочь эту последнюю неделю.

Тут и настигли Ивана Петровича крики:

– Пожар! Склады горят!

До того было муторно и угарно на душе у Ивана Петровича, что почудилось, будто крики идут из него. Но подскочила Алена:

– Ты слышишь, Иван? Слышишь?! Ах ты! А ты и не поел.

2

Орсовские склады располагались буквой «Г», длинный конец которой тянулся вдоль Ангары, или, как теперь правильней говорят, вдоль воды, а короткий выходил с правой стороны в Нижнюю улицу, – словно эта увесистая буква не стояла, а лежала, если смотреть на нее сверху из поселка. Две другие стороны были, разумеется, обнесены глухим забором. В этот товарный острог вело с улицы два пути: широкие въездные ворота для машин и рядом проходная для полномочных людей. Справа от ворот, ближе к складам, стоял аккуратно встроенный и наполовину выходящий из

линии забора, весело глядящий в улицу зеленой краской и большими окнами магазин с одним крыльцом на две половины – на продовольственную и промтоварную.

Нижняя улица и вправо и влево от складов застроена была густо: людей всегда тянет ближе к воде. И серьезный огонь, стало быть, мог пойти гулять по избам и в ту и в другую сторону, мог перекинуться и на верхний порядок. Почему-то об этом прежде всего подумал Иван Петрович, выскакивая из дому, а не о том, как отстоять склады. В таких случаях раньше прикидывается самое худшее, и уж потом и мысль, и дело начинают укорачивать размеры возможной беды.

С крыльца Иван Петрович кинул взгляд в сторону складов и не увидел огня. Но крики, которые слышались теперь отовсюду, доносились оттуда отчаянней и серьезней. Чтобы спрямить дорогу, Иван Петрович бросился через огород и там, выскочив на открытое место, убедился: горит. Мутное прерывистое зарево извивалось сбоку и словно бы далеко вправо от складов; Ивану Петровичу на миг показалось, что горят сухие огородные прясла и банька, стоящая на задах, но в ту же минуту зарево выпрямилось и выстрелило вверх, осветив под собой складские постройки. Снова послышались крики и треск отдираемого дерева. Иван Петрович опомнился: и что же, куда он с пустыми руками? Он бегом повернул назад, крича на ходу Алене, но ее уже не было, она, бросив избу, умчалась. Иван Петрович подхватил с поленницы топор и заметался по ограде, не помня, где может быть багор, и не вспомнил, перехваченный другой мыслью: что надо бы закрыть избу. Тут заплясали на стене всполохи огня, заторопили, и Иван Петрович, потеряв всякую память, кинулся тем же путем обратно.

На бегу он успел отметить, что зарево сдвинулось ближе к улице. История, значит, выходила серьезная. И

столь серьезного пожара, с тех пор как стоит поселок еще не бывало.

Иван Петрович обежал забор и от широких, распахнутых сейчас настежь ворот медленно пошел внутрь двора, осматриваясь, что происходит.

3

Загорелось, по всему судя, с угла или где-то возле угла, от которого склады расходились на стороны: продовольственные – в длинный конец и промышленные – в короткий. И те и другие стояли каждая сторона под одной собственной связью. И построено было так, и занялось в таком месте, чтобы, загоревшись, сгореть без остатка. Что до постройки, до того, чтоб с самого начала подумать о возможности огня, – русский человек и всегда-то умен был задним умом, и всегда-то устраивался он так, чтоб удобно было жить и пользоваться, а не как способней и легче уберечься и спастись. А тут, когда ставился поселок наскоро, и тем более много не размышляли: спасаясь от воды, кто думает об огне? Но что касается угла, где загорелось, здесь кто-то или, уж верно, злой случай, если не кто-то, умен был умом далеко не задним.

Сразу на две стороны и запластало. В продовольственный край огонь пошел по крыше, да так скоро и с таким треском, будто там поверху насыпан был порох. Этот край не успели закрыть шифером, который привезли уже по осени и сложили вдоль забора, где он лежал и теперь. А промышленный край стоял под шифером уже года два – одно дело, когда мочит ящики с банками или какие-нибудь там галеты-конфеты, и совсем другое – если под дождь попадут те

же японские тряпки, за которыми в эти места приезжают аж из Иркутска и которые имеют какую-то особую цену еще и помимо денег. Но не шифер, конечно, помешал огню и в эту сторону кинуться по крыше, а что-то иное. Тут самое пекло было внутри крайнего склада, отсюда, на здравый взгляд, и могла начаться вся история.

Под шифером же стоял еще один склад – дальний в продовольственном ряду возле забора, тот, в котором держали муку и крупы.

Когда Иван Петрович, как-то кособоко, зигзагами подвигаясь, не зная, куда кинуться, шел по озаренному двору, только в двух местах начали сколачиваться группы: одна скатывала с подтоварника близ правого огня мотоциклы, вторая, мужиков из четырех или пяти, в другом конце разбирала на середине длинного порядка крышу – чтобы прервать верховой огонь. Их уже припекало близким жаром – мужики яростно кричали и яростно отдирали и сталкивали на землю черные от времени, ломающиеся тесины. Иван Петрович вспомнил про топор в руках – с топором к ним ему и следовало на подмогу – и, подбежав, заплясал внизу, отскакивая от обрывающихся досок и не догадываясь, как, с какого боку взбираться наверх. Совсем отказала ему голова, совсем ничего не шло на ум. И только когда увидел он, как кто-то, широко расставляя на два ската ноги, торопливо шагает по крыше от левого забора – туда и побежал, уже и не ругая себя словами, тут не до слов было, а словно бы вдыхаемым отчаянием кляня и опаляя, под стать общему жару, себя за бестолковость. А ведь давно ли мужик как мужик был – одна шкура от мужика осталась.

Там, наверху, командовал Афоня Бронников. Иван Петрович, подбегая, услышал его голос, приказывающий кому-то спуститься поискать лом или, на худой конец, любую железяку под выдергу. И как-то

легче сразу стало на душе у Ивана Петровича: хорошо, что Афоня здесь. Тут же был и еще один надежный человек – тракторист Семен Кольцов, мужик, правда, приезжий, но Ивану Петровичу приходилось с ним вместе работать, и он знал: человек надежный.

Афоня, увидев топор в руках у Ивана Петровича, обрадовался:

– Ну вот, хоть один умный человек нашелся! А то на пожар бегут как за стол – с пустыми руками.

Он поставил Ивана Петровича на край, выходящий во двор, и тот, недолго присматриваясь, принялся отбивать доски. С другого конца ската, от конька, стоя на чурке, соскакивая всякий раз с нее и передвигая колотушкой, как кувалдой, бил сподниз в крышу сам Афоня, посередине, и тоже топором, орудовал Семен Кольцов. Он успевал и здесь, и на другой стороне ската, обращенного к Ангаре, и, обычно малоразговорчивый, сдержанный, войдя в раж, круша и кроша доски и слева и справа, что-то дико и беспрестанно кричал. Как ни занят, как ни употреблен был в деле Иван Петрович, он успел подумать, что так вот, вынося, выкрикивая себя из себя, может человек только бросаясь в атаку, бросаясь убивать или вынужденный разрушать, как теперь они, и что не придет же человеку в голову ором орать по-звериному, когда он, к примеру, сеет хлеб или косит траву для скота. А мы еще считаем века, которые миновали от первобытности; века-то миновали, а в душе она совсем рядом.

Когда Иван Петрович подскочил, раскрыто было до него метра на четыре. Вместе с ним стали подвигаться быстрей – и успели: огонь, скорым тропинчатым жором пробежавший по внутреннему скату, запнулся о пустоту, вымахнул вверх, вынудив их от крутого близкого жара присесть, но перекинуться через провал он уже не смог и развернулся и пошел добирать оставшееся в спешке позади сухое и податливое тонье.

Задымились стропила, но не вспыхнули, а там, где пробовали вспыхнуть, накинулся и забил телогрейкой Афоня.

И еще раз убедился Иван Петрович: отчаянная душа этот Афоня, свой, из старой дозатопной деревни парень, теперь уже не парень давно – мужик.

Снова принялись за дело, чаще и опасливей оглядываясь назад. Вернулся посланный за ломом парень и принес вместо лома новость: выкатили обгоревший «Урал». Мотоцикл «Урал» с коляской, за которым в леспромхозе гоняются больше, чем за «Жигулями». Парень был полузнакомый, теперь их много, понаехавших с разных сторон и поживших уже немало, но так и не ставших знакомыми. Возмущаясь, он вскрикивал:

– Ведь был же он, был, «Урал»-то! Для кого вот он был? Для кого его прятали?! Я у Качаева недавно спрашивал. Нету – говорит. А он уж тут стоял!

Афоня понужнул его:

– Ты лом искал – или что?!

– Нету. Ничего нету, – закричал парень. – Вы поглядите: бабы с ведрами понабежали, а водовозку найти не могут. С Ангары на коромысле таскают. На такой ад – на коромысле! Да это ж все одно, что встать в ряд и чихать на него. Ему это все одно.

И парень криком стал рассказывать, как он, прибежав одним из первых, пробовал пользоваться огнетушителями:

– Его ударишь, как надо, а из него один пшик. Пшик – и все. Ни пены, ни гангрены. Они то ли высохли, то ли выдохлись.

Он кричал из-за спин: Афоня заставил его держать позади все той же телогрейкой оборону. От этого прерывистого, прыгающего голоса среди этого без роздыху и разгиба дела было жутковато. Ивану Петровичу казалось, что он звучит и рвется не из

человека рядом, давящегося дымом и жаром, а из самих стен. И после, в течение долгого и горячего вечера, перешедшего потом в ночь, когда слышал Иван Петрович голоса, что-то кричащие и сообщающие, чего-то требующие, все чудилось ему, что это стены, земля, небо и берега звучат человечьими словами – чтобы понятно было людям.

Выбив и столкнув вниз последнюю тесину, Иван Петрович оглянулся и огляделся. Пламя позади поднималось высоко, жарко, освещая двор и широкими взмахами отблесков прыгая по крышам ближних домов. По двору молча и ошалело носились ребятишки, у промтоварных складов метались и вскрикивали неузнаваемо озаренные, точно сквозящие фигуры, выплясывающие возле огня какой-то стройный танец. Там огонь тем был страшен, что он выфукивал из-под крыши длинными яркими языками, заставляя людей, и правда, как в танце, отступать и снова наступать: «А мы просо сеяли, сеяли… А мы просо вытопчем, вытопчем».

Но набегало уже и начальство. Рядом с начальником участка посреди двора размахивал руками и все тыкал ими куда-то в сторону поселка главный инженер леспромхоза Козельцов. Борис Тимофеевич, слушая и не слушая его, подавал кому-то знаки, которые могли означать только одно: еще, еще… И вдруг, увидев прущий во двор трактор, кинулся ему навстречу.

Народу было густо, сбежался едва не весь поселок, но не нашлось, похоже, пока никого, кто сумел бы организовать его в одну разумную твердую силу, способную остановить огонь.

Избы и дома поселка, далеко осиянные заревом, по которым оно ходило с пугающим смотром, боязливо вжимались в землю. Иван Петрович, примериваясь, далеко ли, отыскал глазами крышу своей избенки и вспомнил: багор, который мог бы здесь пригодиться,

лежит на сенцах, он сам два дня назад, когда вытаял снег, затолкал его туда.

4

Неуютный и неопрятный, и не городского и не деревенского, а бивуачного типа был этот поселок, словно кочевали с места на место, остановились переждать непогоду и отдохнуть, да так и застряли. Но застряли в ожидании когда же последует команда двигаться дальше, и потому – не пуская глубоко корни, не охорашиваясь и не обустраиваясь с прицелом на детей и внуков, а лишь бы лето перелетовать, а потом и зиму перезимовать. Дети между тем рождались, вырастали и сами к этой поре заводили детей, рядом с живым становищем разрослось и другое, в которое откочевали навеки, а это – все как остановка, все как временное пристанище, откуда не сегодня завтра сниматься. И, слыша по ночам работу электростанции, круглосуточно постукивающей машины, чудилось Ивану Петровичу, что это поселок, не глуша мотора, держит себя в постоянной готовности.

В поссовете висела схема поселка: прямые улицы, детсад, школа, почта, контора леспромхоза и контора лесхоза, клуб, магазины, гараж, водокачка, пекарня – все, что полагается для нормальной жизни, все, как у людей. Улицы действительно были прямые и широкие, в свое время линию, по которой выстраивались избы, соблюдали строго. Но в том и остался весь порядок: эти широкие не по-деревенски улицы разбиты были тяжелой техникой до какого-то неземного беспорядка, летом лесовозы и трактора намешивали на них в ненастье грязь до черно-сметанной пены, которая

тяжелыми волнами расходилась на стороны и волнами потом засыхала, превращаясь в каменные гряды, а для стариков – в неодолимые горы. Каждый год поссовет собирал по рублю со двора на тротуары, каждый год их настилали, но наступала весна, когда надо подвозить дрова, и от тротуаров, по которым волочили и на которые накатывали кряжи, оставались одни щепки. За лето наготовить новые не удосуживались, летом всем не до того, «тротуарная» бригада выходила под зиму, в девственно новом и редко тронутом чьим шагом виде лежали они три-четыре месяца под снегом до февраля, до марта – и опять бессмысленно гибли под гусеницами тракторов и тяжестью неразделанного леса. А часто на них, на остатках этих тротуарчиков в три доски, его и разделывали – и пилили, и кололи. И никакие ни указы, ни наказы не помогали.

И голо, вызывающе открыто, слепо и стыло стоял поселок: редко в каком палисаднике теплила душу и глаз березка или рябинка. Те же самые люди, которые в своих старых деревнях, откуда они сюда съехались, и жизни не могли представить себе без зелени под окнами, здесь и палисадники не выставляли. И улица ревела и смотрела в стекла без всякой запинки. И тоже никакие постановления об озеленении толку не давали. Или уж верно: вырубая каждый год сотни гектаров тайги, распахивая налево и направо огромные просторы, не с руки и не с души прикрываться кустом черемухи от сквозного ветра и сквозного вида. Чем живем...

Одно слово: леспромхоз – промышленные заготовки леса. Этим многое из непорядка и неурядства в устройстве и объяснялось. Лес вырубать – не хлеб сеять, когда одни и те же работы и заботы из сезона в сезон повторяются, и сколько ни живи, все будет для хлеборобного дела мало. А лес выбрали – до нового десятки и десятки лет. Выбирают же его при нынешней

технике в годы. А потом что? А потом собирайся и кочуй. Оставив домишки, стайки и баньки, оставив могилы с отцами и матерями и собственные прожитые лета, на лесовозах и тракторах туда, где он еще остался. А там начинай все сызнова. Проплывая летом по воде и проезжая зимой по льду мимо Березовки, Иван Петрович всякий раз с невольной тоской и растерянностью смотрел в ее сторону, на заколоченные и оставленные избы: стоял вот так же леспромхоз, отработал и ушел – и ни одной живой души в покинутом поселке, лишь осатаневшие туристы, пуская дым в двери, разжигают в домах костры.

Та же судьба рано или поздно ждала и их. Ее, как могли, оттягивали, но не бесконечно же… Свою древесину – со своих наделов они сняли еще семь лет назад. Отвели участок за Ангарой. Через пять лет, что только можно было, выбрали и там. После этого вплотную встал вопрос: быть или не быть поселку? Решали в районе, в области, в управлении и вырешили – быть. Снова пошли по своим старым наделам, по вырубкам, но если прежде брали только деловую древесину, только сосну и лиственницу (было время – травили березу и осину ядохимикатами, чтоб не засоряли леса), то теперь вычищали под гребенку. И техника пошла такая, что никакого подроста после себя не оставит. Тот же самовал, чтобы подобраться к кубатуристой лесине, вытопчет и выдавит вокруг все подчистую.

И этой работы «под гребенку» хватит года на три, на четыре. А дальше? А дальше, говорят, как на отхожий промысел в старину, будут уезжать бригады за десятки километров на долгие смены и, отработав, наведываться домой на отдых. Производственную и домашнюю жизнь разделят на вахты: неделю ты принадлежишь леспромхозу и неделю – семье. Строго

по графику. Никаких взаимопроникновений, как ныне, одной жизни в другую.

И быть тому.

Да и как не быть, если другого дела здесь нет. Поля и луга, которыми когда-то жил народ, со строительством гидростанции затопили – и остались леса.

И вот на схеме в поссовете клуб, а клуб этот уже двадцать лет размещается в общественной бане, вывезенной из одного из старых поселков. Надо бы строить новый, но как строить, если наперед до самого последнего времени ничего не было видно. На схеме – детсад, а он не действует: неизвестно было, стоит или не стоит его ремонтировать. И стало известно – не торопятся. За эти планы никто ни с кого не спрашивает.

И как тут выглядеть поселку красивым – да еще в зареве пожара?!

5

Иван Петрович спрыгнул вниз и побежал к тому месту, где он только что видел начальника участка. С Борисом Тимофеичем пять дней назад они разругались вдрызг, когда начальник участка отказался подписывать его заявление об увольнении, но Иван Петрович знал, что если и может кто сделать тут теперь что-то, так это лишь он, начальник участка. Ни главный инженер, взятый полгода назад из соседнего леспромхоза с должности инженера по технике безопасности, ни директор леспромхоза, окажись он здесь (но его не было, он уехал на совещание), ни его заместители – никто, кроме Бориса Тимофеича, иссволочившегося на этой работенке, горячего

пожилого человека, считающего оставшиеся до пенсии дни. Мало с кем жил он в ладах, как и с ним мало кто ладил, бегал злой, мог без разбору накричать, без разбору же мог похвалить кого попадя, но все это было в нем как дымовая завеса, которая сбивала с толку лишь новичков, не знающих хорошо Бориса Тимофеича. А кто знал, тот на минутные несправедливости и крики его не очень обращал внимание, помня, что Борис Тимофеич Водников – мужик свой, внутри себя твердо разбирающийся, кто есть кто и что есть почем, и дело свое по возможности правящий как следует. С первого дня, только построился поселок, был он, не прибавляя и не убавляя в должности, начальником участка, и уже одно это о нем, человеке, далеко не высшего образования, говорит, что без него обойтись не могли. А управляться с центральным участком, на глазах леспромхозовского руководства, которое во все встревает и ни в чем себе не отказывает, ох как непросто!…

Иван Петрович видел, что, завернув трактор с нетрезвым трактористом, Борис Тимофеич пошел к куче посреди двора, куда стаскивали спасенное от огня добро из складов. Но теперь его там не было. Иван Петрович тупо смотрел на кучу: широко разбросанные валенки, словно второпях поскидывали их те, кто прибежал на пожар, школьные портфели и связанная тюками школьная форма, шерстяные платки, ватные брюки, коробки с чем-то, чуть поодаль – наваленные друг на друга мотоциклы «Ява» и действительно «Урал» с обгоревшей люлькой. Да, спросят мужики с начальника ОРСа за этот «Урал», крику будет. Что вообще будет с начальником ОРСа после пожара? И, ничуть не сомневаясь, Иван Петрович вскользь усмехнулся своей наивности: выкрутится. Эти нигде не пропадут, им любое море по колено.

– Иван! Иван! – услышал он вдруг голос Алены. Она подбежала с коробками в охапке, подбежала бегом, но коробки опустила на землю осторожно, выбирая, где почище и посуше. – Иван, это че ж делается-то, а?! – голос ее был возбужден и поднят до какой-то запальчивой веселости, неестественно округленные, ошалевшие глаза казались дикими. – Этак все сгорит! А там чего только нет! Мы почему, Иван, такие-то?!

И, не дожидаясь ответа, он и не нужен ей был, развернулась и, мелконько, немолодо переваливаясь с боку на бок, словно соступаясь с каждого шага и на каждом следующем шаге быстро подхватываясь, заторопилась обратно. Иван Петрович с минутным вниманием посмотрел ей вслед, но настолько все смешалось в голове, настолько шарики зашли в нем за ролики, что он чуть было не подумал: «Кто это? знакомая какая-то!» – но успел оборвать себя, заставил себя узнать Алену, заметить, что не надо бы бабе носиться как угорелой, и тут же забыл о ней.

Он увидел Бориса Тимофеича. Но прежде услышал, как тот кричит, и по крику отыскал его в освещенной и странно, почти неподвижно застывшей толпе возле первого от угла продовольственного склада. К подскакивающему то и дело голосу начальника привыкли, но это был крик сумасшедший и потому неразборчивый. По ответу, отчетливому, хоть и тоже на парах – всех разогрел огонь, – Иван Петрович понял, что перед начальником Валя-кладовщица.

– Не буду! – запальчиво отвечала она. – Тушите. А открывать не буду.

– Сгори-и-ит! – мать-перемать.

– Тушите. Я маленькая, что ли, не вижу, что ли, как тащат у Клавки! Все тащат. А у меня там больше чем на сто тысяч. Я где их потом брать буду?! Где?! Где?!

– Сгори-ит! – надрывался начальник.

– Тушите. А открывать, чтоб растащили, я не обязана. Тушите.

Она зарыдала.

Иван Петрович кинулся было к начальнику, но тот сам повернул к нему. Не к нему, а к вороху из промтоварных складов, возле которого по-прежнему кружил Иван Петрович. За начальником, предчувствуя приказание, держалось несколько фигур из архаровцев, как называли в поселке бригаду оргнабора. И верно, не дойдя до вороха шагов пять, Борис Тимофеич крикнул, не оборачиваясь, зная, что его услышат и поймут:

– Ломайте!

Архаровцы кинулись обратно: эта работенка была по ним.

– Где Качаев? – в сторону Ивана Петровича закричал Водников. – Какого черта-дьявола?! – мать-перемать. – Это его склады. Где его носит?!

Качаев – начальник ОРСа. Борис Тимофеич лучше любого другого знал, что Качаев два дня назад вместе с директором леспромхоза уехал в город на очередное заседание. Да, растерялся и он, Борис Тимофеич, иначе не кидался бы с горлом да с кулаками на тень. И растеряешься, себя не сыщешь, не то что Качаева: такого еще не бывало.

И, взглянув на его черное и сухое, как обожженное, лицо с сильно обострившимся носом и вжатыми внутрь щеками, Иван Петрович напрочь забыл, зачем ему нужен был начальник участка, для чего он его разыскивал, и сказал то, что требовалось сейчас прежде всего:

– Ты, Тимофеич, поставь дядю Мишу Хампо в воротах. И сторож пускай встанет, это его дело. Но Хампо обязательно. Он здесь. Я его только что вон там, справа, видал.

Водников кинулся в ту сторону, куда показал Иван Петрович, даже не обернувшись к нему, даже и не

поняв, быть может, что действует он по совету, а не по собственному решению. Иван Петрович видел, как он отыскал Хампо и, на ходу объясняя, что от того требуется, торопливо повел его к воротам. Дядя Миша Хампо с высоким запрокидом и низким поклоном размашисто закивал в ответ крупной седой головой, уже вглядываясь в толпу возле огня и отмечая людей, за которыми потребуется особый надзор. Конечно, там дядя Миша будет на своем месте, на Хампо положиться можно. Валя-кладовщица знает, что говорит. А сейчас, когда откроют продовольственные склады…

И точно – со скрежетом загремели выдираемые засовы, отчаянно запричитала Валя, совершенно обезумевшая от свалившейся беды, не видящая спасения ни в чем – ни в том, разумеется, чтобы ее хозяйство сгорело под замками, ни в том, чтобы оно было вынесено. Открыли одни двери, другие, с третьих, где засов не поддавался, сбивали огромный замок топором. Архаровцы действовали быстро и ловко – будто всю жизнь только тем и занимались, что ломали запоры. Иван Петрович, подбегая, столкнулся в распахнутых дверях крайнего правого помещения с одним из них, с Сашкой Девятым (Девятый фамилия, а не прозвище, у архаровцев, у которых все вверх ногами, и людские фамилии через одну), и Сашка, веселый, вдохновенно распаренный, хлопнул его с хитрым подвертом по плечу, так что Ивана Петровича на ходу развернуло к нему, и лихо, почти дружелюбно прокричал прямо в лицо:

– Не сюда. Не сюда, гражданин законник. Сгоришь – кто нам будет права качать?!

Они, познавшие режимную жизнь или подражавшие тем, кто познал ее, звали его гражданином законником. Он и к этому привык. Время, что ли, такое: ко всякому приходится привыкать, о чем еще недавно нельзя было и помыслить.

К тому, например, что и сама земля уходит из-под ног. Как это в буквальном виде случилось у них и с ними.

6

Двадцать лет сошло, как переехали, двадцать да еще и с гаком, должно быть, сама земля успела накрениться в ту сторону, куда их протянуло, но и дня единого не проходило, чтобы не вспоминал Иван Петрович свою старую деревню. Вспоминал всякий раз, когда вольно или невольно бросал взгляд на воду, под которой осталось нагретое деревней за три столетия место. Вспоминал и мимолетно, кивнув, как поздоровавшись, на ходу в ее сторону, и в тяжелых и частых раздумьях вспоминал, пытаясь в сравненье понять, что это, что за жизнь была там и к чему пришли здесь.

Он и фамилию носил ту же, что была частью деревни и выносом из нее, Егоров. Егоров из Егоровки. Вернее, Егоров в Егоровке. Из деревни своей он выезжал надолго только однажды – в войну. Два года воевал и год еще после победы по холостяцкому своему положению держал оборону в той же Германии, куда завезла его в танке Т-34 судьба. Воротился домой осенью 46-го. До сих пор живо в нем чувство, с каким увидал он тогда после разлуки свою Егоровку: господи, да она же не стоит, она лежит! – до того невзрачной и обделенной она показалась. На что только не нагляделся за войну – и на несчастья, и на бедность, и на поруху, все кругом вопило от страданий и молило о помощи, много что было переворочено и обезображено, но даже в самых пугающих разрушениях

просматривалась надежда: дайте время, дайте руки – оживет и отстроится, человек не потерпит разора. Здесь же все оставалось и словно навсегда остановилось без перемен. Ничего не убавилось, но ничего и не прибавилось, и как бы даже не положено, чтоб прибавлялось. Так оно впоследствии и вышло: и еще пятнадцать лет прожили после войны, но как была скроена Егоровка о сорока дворах, с тем и осталась, и ни баньки, ни стайки к разношенному больше не подшилось. Правда, и о затоплении знали загодя, а тут уж не до новостроек, тут уж ноги в руки и гляди, куда править, – то ли со своей избенкой на гору, где брали грибы, то ли вслед за дочерью или сыном в заманчивый город.

Тогда, после демобилизации, бравый сержант в шлеме танкиста, отмеченный наградами и повидавший виды, отгуляв встречу, помнится, затосковал. Родина-то родина, что и говорить, тут каждый камень еще до твоего рождения предчувствовал и ждал тебя и тут каждая травка по новой весне несет тебе что-то в остережение или поддержку от былых времен, тут везде и во всем за тобой тихий родовой догляд. Но как представишь: все то же, все то же, все то же... как представишь, да еще на первых порах, и будто пришел с войны помирать своей смертью.

Но в раздумьях и неуверенности он замешкался, а это значило сделать выбор в пользу Егоровки. Вскоре подоспел голод, спасаться от которого легче было все-таки здесь, возле Ангары и тайги, вскоре разглядел он в соседней деревне Алену, которая так неумело и бесхитростно таращила на него свои и без того огромные зенки и так испугалась, когда он впервые взял ее под руку, что он не стал больше никого искать. Вскоре получил колхоз новую машину, за которую и посадить оказалось некого, кроме него, вскоре в тяжелой и долгой немочи слегла мать, и уж сама

судьбина встала поперек его выездной дороги. И пошло-поехало как у всех: дети, работа, медленный и осторожный сворот на жизнь полегче и повеселей.

Иван Петрович не то чтобы свыкся, но словно бы от лукавого, набранного на стороне и тянувшего, тянувшего куда-то под неясное обещание, словно бы освободился от него и вздохнул с облегчением. Везде хорошо, где нас нет. В жизни, быть может, самое важное: каждому на своем заданном месте держаться правильного направления, а не кривить без пути и не завязывать его в узлы неопределенно-искательными перебежками.

Так он считал. Он и теперь так считает, но что делать, если приходится на старости лет противу собственных убеждений и желаний все-таки приготовляться к отъезду. И «приходится» – не ради сильного словца, а так оно и есть.

Да, вот еще. Лукавый, от которого он в свою пору освободился, все же не ушел одинешенек из дому, а увлек за собой Гошку, младшего брата. Укатил Гошка на стройку И с больших денег вконец там спился.

Кто бы подсказал вовремя, где они, пути наши?!

Иван Петрович остался в Егоровке, ужился и успокоился, нисколько не страдая от глухомани, которая с годами помаленьку просветлялась: провели электричество, чаще стали притыкаться к егоровскому берегу белые пароходы, появился в восьми километрах выше по Ангаре, как навис над Егоровкой, сманивая молодежь, богатый леспромхоз – и тут жизнь, как и везде, из целого числа превращалась в дробь с числителем и знаменателем, где непросто разобраться, что над чертой и что под чертой, и тут бы потихоньку раскочегарилось, раз такое одно на всех нынче время… И когда грянула весть о затоплении, когда подошел срок переезжать… признаться, Иван Петрович расставался с Егоровкой тяжело, не без этого, как

всякий человек, имеющий память и сердце, и в то же время с тайным удовлетворением, что не он решал, а за него решилось, перевозил и ставил на новом месте он свою избу: там было хорошо, а здесь с годами должно быть лучше. Своими силенками Егоровке на ноги, похоже, никогда бы не подняться.

Новый поселок, в который свезли шесть таких же, как Егоровка, горемык и где сразу утвердился леспромхоз, назвали по обширным лесам, а на теперешний взгляд, по сырью – Сосновкой.

7

Уж если срывать запоры, то срывать следовало раньше. Когда Иван Петрович заскочил в крайний справа продовольственный склад, там полыхало вовсю. Над щелястым потолком гудело страшно, одним мощным гудом, вобравшим в себя все подголоски: несколько потолочных плах возле угловой стены с одного конца сорвало, и в проем бешеными выхлопами обрывался огонь. Угловая стена горела сверху донизу, подступиться туда было невозможно, дымились и остальные стены; сквозь щели в потолке там, где он еще держался, огонь выметывался полосами и с треском искрил. Все накалилось донельзя и все могло вспыхнуть одним разом. Сквозь угар пахло жареным мясом и чем-то горьким и едким еще, чем-то из съестного, что не требовало такого разогрева.

Прежде Иван Петрович не бывал внутри и теперь остатками годного для удивления чувства успел поразиться изобилию. На полу немалой горой были навалены пельмени, рядом и тоже на грязном полу в грубых веревочных опоясках валялись толстые,

уродливо раздутые колбасные круги, уже разметанные ворвавшимися людьми; в тяжелых кубах на невысоком помосте у задней стены плавилось, морща и втягивая в себя оберточную бумагу, масло, там же в нагроможденных друг на друга ящиках выглядывала красная рыба. Что-то было в деревянных бочках, что-то в картонных коробках, что-то в бумажных мешках. Было, значит, все-таки было! – и куда все это уходило? Неужели только в котлопункты на лесосеках? Расскажите кому-нибудь другому – будто не едал он на этих котлопунктах, не знает, что там водится и что видится лишь во сне! И усмехнулся Иван Петрович или подтолкнул себя обожженной мыслью, что надо в этом месте усмехнуться над своим неразумием: а машины из райцентра, оттуда, отсюда, каждый божий день подворачивающие к ОРСу и извлекающие из конторы Качаева! Зря, что ли, хлопочут об общих, централизованных складах для всех трех леспромхозов, которые должны находиться, конечно, в райцентре! И кивнул или подумал, что надо кивнуть, Иван Петрович: теперь, если сгорят эти, самые большие в самом большом леспромхозе, легче легкого будет добиться своего.

Сколько же на свете неробей и причиндалов! И как получилось, что сдались мы на их милость, как получилось?!

Запахиваясь телогрейкой и приплясывая от жара, Иван Петрович выбрасывал в двери слизисто-скользкие, начинающие скукоживаться круги колбасы. Там, во дворе, кто-то подхватывал их и куда-то относил, Иван Петрович видел только набегающие и отбегающие ноги в кирзовых сапогах. Рядом тоже были люди, но кто был, он не узнавал; время от времени они натыкались друг на друга и отшатывались – жар становился все нестерпимей, огонь по потолку и по стенам проворно подвигался влево, глаза слезились, в горле першило,

казалось, горел даже дым, которым приходилось дышать. Что-то сильно, как на сковороде, шипело, что-то по-снарядному взрывалось; оборвалась сверху подгоревшим концом еще одна плаха; закачалась, помахивая огнем, и оборвалась другим. Пора было отступать. Колбасу, кажется, выбросали, ящики с рыбой вытаскали, но, взглянув на помост возле задней стены, где были ящики, Иван Петрович разглядел там масло и кинулся туда, охнув, что не колбасу следовало спасать, а масло. Он подхватил один из осевших кубов, и масло, обжигая руки, поползло, как тесто, у него на животе, стекая всей массой под ноги; он опустил его на пол, снова подхватил, наваливая на грудь и выгибаясь – и вынес, передал кому-то в руки. Руки были в верхонках, и Иван Петрович пожалел, что не догадался прихватить из дому верхонки, – как бы они пригодились! Он снова двинулся внутрь, все так же запахиваясь телогрейкой и выглядывая из-за нее, как из-за щита, направляясь опять к дальней стене, где оставалось масло, но на полдороге кто-то наскочил на него и, то ли прикрываясь им, то ли его прикрывая, поволок обратно. Иван Петрович не сопротивлялся, понимая, что да, хватит.

Этот кто-то на воздухе оказался Сашкой Девятым. Сашка оскалил зубы и прохрипел те же самые слова:

– Сгоришь, гражданин законнник!... Ой, сгоришь!...

И оттолкнул Ивана Петровича от себя.

8

Никто, похоже, больше не тушил – отступились, а только вытаскивали, что еще можно было вынести. Водовозка с опущенным шлангом, из которого сочилась вода, стояла с работающим мотором возле ворот; ярко

озарен был весь двор, и Иван Петрович, как-то сразу увидев лужицу под шлангом, кинулся к ней, чувствуя, что без воды дальше не вытерпит. Он сполоснул лицо, которое засаднило еще сильней, и сделал из ладони несколько глотков, всего два или три глотка, и вода кончилась, в шланговой кишке зафыркало вхолостую, зашипело и смолкло. Он потряс еще кишку, подергал, подставляя руку, – пусто.

Нет, промтоварные склады было не отстоять: огонь там с сытым и мощным гулом дошел полным опоясом до середины и двигался дальше. Шифер на крыше от пекла крошился и стрелял этим крошевом, как стреляют и подпрыгивают орехи на раскаленной сковородке. Побрасывало и головешками. Находиться вблизи было опасно, кто-то из мужиков с криком гнал прочь ребятишек, под замахами рук те отскакивали и, обезумевшие, с вытаращенными глазами, как намагниченные на огонь, тянулись обратно. Иван Петрович высматривал среди мечущихся по двору, продолжающих вытаскивать и перетаскивать фигур, Алену – ее нигде не было. Ворох спасенного добра рос. Добрались до хозяйственного склада, звенели косы, кастрюли, посудная мелочь, бухало листовое железо. Господи, то ли надо спасать, то ли... Или правы люди, что без чайника и сковородки не обойтись, а без холодильника и телевизора можно.

Заскрежетал, ходуном заходил забор между складами и магазином и рухнул ближним звеном внутрь, открыв улицу и трелевочный трактор, который отступал и разворачивался для нового тарана. Это правильно, отметил Иван Петрович, склады не отбить, но магазин отстоять можно, до него от складов порядочно. Возле трактора суетился Козельцов, главный инженер: стало быть, это он сообразил свалить забор, который мог быть дорожкой для огня.

Да, плакали промтоварные склады, плакали японские кофточки и родные сковородки – разве столько в сравнении с вынесенным останется там, в этом пекле?! Но продовольственные склады, попустившись правым, еще и теперь можно бы спасти, будь машина и будь побольше порядка. Но «пожарку», единственную на весь леспромхоз, еще года два назад разнесли на запчасти, она только числится на вооружении…

Иван Петрович все еще осматривался торопливо, все еще хотел отыскать Алену, прежде чем снова нырять в огонь, когда его тронул за плечо дядя Миша Хампо.

– Хампо-о… хампо-о! – с усилием тянул он из себя, показывая левой, здоровой рукой в глубину двора. Там, в левом углу, освещенный заревом сбоку и сзади, изломанно-приподнятый, кажущийся огромным привидением, стоял человек и, как гранаты, метал через забор бутылки. Иван Петрович заторопился к нему, но еще раньше, выскочив откуда-то справа, к этому человеку подоспел Борис Тимофеич, наскочил на него с криком, дернул, едва не сбив с ног, снова рванулся наскочить… Тот, другой, замахнулся бутылкой. Он бы, может, и ударил, всякое в такую минуту могло случиться, если бы не набежавший Иван Петрович, успевший перехватить бутылку. Это был один из архаровцев, один из самых отпетых, которого звали почему-то бабьим именем Соня и с которым Иван Петрович уже схватывался. Соня выдернул из рук Ивана Петровича бутылку, откинул ее в сторону и принятым среди этого брата иноречием нараспев пригрозил, показывая через головы:

– Ох, как жарко гори-ит! Ох, горячо-о! О, больно-о! И вразвалочку зашагал туда, где горело.

– А ты где был? – не нашел ничего лучшего, как накинуться на Ивана Петровича, начальник. – Где вы все, черт бы вас побрал! Куда вы смотрите?!

– В баню ходил, – в тон ему ответил Иван Петрович. – Сходи и ты, ополоснись, а то кидаешься!... Смотрел бы хоть, на кого кидаться!...

Огромная, всходила за горой луна. Выкатываясь из-за леса, она подвигалась вправо, и, как на экране, вплывали в нее и в холодном кипении сгорали в ней верхушки деревьев.

9

Теперь, пожалуй, не доискаться, как и с чего произошел сворот на нынешнее раздольное житье-бытье. Но не было же этого поначалу, уже и в новом поселке не было, чтоб люди так разошлись всяк по себе, так отвернулись и отбились от общего и слаженного существования, которое крепилось не вчера придуманными привычками и законами. А вспомнить, не ими ли, не этими ли законами, не этой ли грудью единой спасались и спаслись в старой деревне в войну и в лихие послевоенные годы, когда за десять колосков, не разменяваясь и не мелочась, по десять же лет и приговаривали? Когда едва справлялись с налогами, когда у «нерадивых» обрезали огороды, чтоб обрезанное зарастало крапивой, и не позволяли до белых мук покосить на свою коровенку? Когда надо было не только держаться вместе, но вместе и исхитряться, чтоб выстоять? А ведь в деревне тоже всякие люди водились, и кой у кого зудело, поди, донести да навести, соблюсти законность и сослужить верную, запрашиваемую службу. Не без того, чтоб не зудело. Но знал он: в деревне после этого не живать, Егоровка ему этого не простит.

А теперь вот Ивану Петровичу приходится съезжать – и как все переменилось! Можно сказать, перевернулось с ног на голову, и то, за что держались еще недавно всем миром, что было общим написанным законом, твердью земной, превратилось в пережиток, в какую-то ненормальность и чуть ли не в предательство. И Сосновке все едино, ей, быть может, даже спокойней и удобней, если Иван Петрович уедет и перестанет мутить воду. Или наоборот, да, конечно, наоборот: не станет, как выживший из ума старик, помнивший из детства чистую воду, махать руками, чтоб она и поныне оставалась чистой, когда все вокруг замутилось. Уж если зашла речь о воде, то она, как известно, чиста не тогда, когда она действительно чиста, но когда ее хотят видеть чистой. А для этого вольно на глаза какую-нибудь хитрую оптику нацепить.

Нет, не сразу, как переехали, пошло боковым ходом. Конечно, новая работа сказалась: валить лес, только валить и валить, не заботясь, останется, вырастет что-нибудь тут после них или нет. Это теперь заставляют на вырубках делать посадки, да и то как заставляют: вроде и обязан, как обязан время от времени думать о смерти, чтоб чище жить, но можно и не думать о ней, жить, и все, а жизнь состоит в том, чтоб рубить. За невыполненный план по посадкам – пожурят, за план по вырубке – семь шкур сдерут. Вот и повелось и не сменилось с годами, что игрушками этими, лесовосполнением, должен заниматься лесхоз, а у того пять рук на пятнадцать разнарядок, и ни одно дело до конца довести он не в силах.

Попервости и строилась каждая деревня в Сосновке своей улицей, и жить собрались теми же общинами, что прежде. Вдовых баб, стариков ставили на ноги по заведенному обычаю всем «колхозом», помогая им переносить избенки и раздирать огороды. По этим огородам торились тропки, чтоб напрямую, не выходя в

улицу, бегать друг к другу за всякой надобностью и без надобности, когда высвобождалась минутка для разговоров и чая. И раздавалось на закате солнышка на всю округу: «Дарья-а! Марья-а! Самовар поспел! Наталья-а! Ты к криволуцким не пойдешь?» – на ближнюю, значит, от горы улицу, которую заняла деревня Криволуцкая.

Потом все перемешалось. И не то плохо, что после смертей, свадеб, разделов и торгов одна деревня стала проникать в другую, жизнь невозможна без таких проникновений, а то пошло неладом, что взамен уехавших и унесенных принялись селиться люди легкие, не обзаводящиеся ни хозяйством, ни даже огородишком, знающие одну дорогу – в магазин, и чтоб поесть, и чтоб время от работы до работы скоротать. Сначала от работы до работы, а затем и работу прихватывая, заслоняя ее магазином, и чем дальше, тем больше, тем слаще и неудержимей. Работа этого, понятно, не любит – и нелады с ней, с работой, и уж общины другого толка, которых раньше не было и в помине. Водились, конечно, пьянчуги, где они на святой Руси не водились, но чтоб сбиваться в круг, разрастаться в нем в открытую, ничего не боящуюся и не стыдящуюся силу с атаманом и советом, правящим власть, такого нет, не бывало. Это уж наши собственные достижения.

Недавно директор школы Юрий Андреевич, учительствовавший еще в Егоровке, взялся подсчитать, сколько в шести деревнях, слившихся в Сосновку, погибло народу за войну и сколько его сгинуло не своей смертью за последние четыре года. Не своей смертью – это значит пьяная стрельба, поножовщина, утонувшие и замерзшие, задавленные на лесосеках по своему ли, по чужому ли недогляду. И разница вышла небольшая. Иван Петрович ахнул, когда услышал: вот те и мирное время! А ведь знал он обо всех этих случаях, переживал

их, всегда что-то меняется и как бы смеркается в мире, когда уходит из жизни знакомый человек, и ослабевает в тебе что-то с его уходом, будь он хоть трижды непутевый, знал он о каждом отдельном случае и сокрушался, но сведенные вместе, в одно число, поставленное рядом с другим числом, оно подействовало на него оглушительно. Несколько дней он ходил сам не свой, пытаясь что-то понять и понимая только, что невозможно понять, ничего невозможно понять из того, что он пытается извлечь из этого страшного равенства. Тут что еще: погибший на фронте взывал к справедливости и добру, оставляя их вместе с душой и воспоминаниями, живущими среди родных, и оставлял для движения и исполнения; сами того не подозревая, мы, быть может, лет двадцать после войны держались этим наследством погибших, их единым заветом, который мы по человечьей своей природе не могли не исполнять. Это свыше нас и нас сильнее. Потратившийся же вот так, ни за понюх табаку, по дурости и слепому отчаянию – дурость, распущенность и отчаяние после себя и оставляет. Смерть – учитель властный, и чью сторону, доброго или худого, она при своем исполнении берет, той стороны прибавляется впятеро.

В первые годы и весь леспромхоз был – один этот участок. Потом открыли второй, потом третий, четвертый, и только по прямой береговой линии протянулось нынешнее порубочное хозяйство на сто с лишним километров. Теперь один участок выбирает в год больше ста тысяч кубов. Подскочил план, все мощней, все хитрей и сноровистей погнал технику, и своим народом стало не управиться. Поехали сезонники, шабашники, кто за лишним рублем, кто за лишним днем, который все равно, как и где прожить, лишь бы быть ему прожитому. Обозначился в последние годы особый сорт людей, не совсем бросовых, не

потерянных окончательно, которые в своих бесконечных перемещениях не за деньгами гоняются и выпадающие им деньги тут же с легкостью спускают, а гонимы словно бы сектантским отвержением и безразличием ко всякому делу. Такой ни себе помощи не принимает, ни другому ее не подаст, процедуру жизни он исполняет в укороте, не имея ни семьи, ни друзей, ни привязанностей, и с тягостью, точно бы отбывая жизнь как наказание. Про такого раньше говорили: ушибленный мешком из-за угла, теперь можно сказать, что он всебятился, принял одиночество как присягу. И что в этих душах делается, кому принадлежат эти души – не распознать.

И вот по веснам, когда надо отправлять спущенный за зиму с гор лес, и по осеням, когда снова надо его срезать и спускать, приливают и отливают, приливают и отливают, не задерживаясь не из-за неудобств каких-то непереносимых, а просто не умея, не понимая, зачем и для чего задерживаться, понукаемые неясной и нестерпимой тревогой. А уезжают – горькая тоска в глазах: куда? зачем? Но уезжают, и оставшиеся вспоминают о них лишь по чудачествам и выкидонам, на которые они мастаки, вроде тех, что один артист зубами поднимал любой стол с закуской, другой делал на водке тюрю и не морщась выхлебывал ее ложкой, третий, пугая работающих на почте девчонок, любил отправлять телеграммы, похожие на шифровки: «Третий день дождь, что делать?» – или: «За ноябрем декабрь, не перепутай» – или: «Не жди меня, но я вернусь». Старая Егоровка за все триста лет допотопного ее существования не изведала и тысячной доли тех чудес и кудес, какие приняла Сосновка за двадцать. И, судя по всему, они не к концу идут.

Это, понятно, самое невинное, самое легкое из того, что можно вспомнить. А можно вспомнить еще, как было с лесничим Андреем Солодовым. Солодов данной

ему властью два года назад оштрафовал леспромхоз за высокие, едва не в пояс, пни. По большому снегу, чтоб не расчищать, валили как легче, нарушая нормы, и Андрей, мужик в общем покладистый, после долгих уговариваний и угроз не вытерпел: вот вам, раз человеческого языка не понимаете. В пятницу кассирша поехала за зарплатой и вернулась ни с чем: банк под штраф леспромхозовские деньги арестовал. В субботу Андрей, как обычно, истопил баню, помылся и лег спать, а баня в ночь сгорела. По неосторожности, по недосмотру, надо думать, самого хозяина: топил ведь и мылся, а потом завалился и дрыхнул без задних ног. В понедельник кассирша снова отправилась в банк и снова воротилась с пустой сумкой. Снова было ждать до среды, пока вырешат, где взять деньги. А в среду сказали – до пятницы. В среду у Андрея Солодова потерялась лесхозовская кобыла, единственная на весь поселок трудяга, на которой вспахивали половину огородов и которая в лесном деле была незаменима. Только по весне вытаяли ее косточки в чащобе, рядом валялась догнивающая веревка.

Иван Петрович разговаривал с Андреем, и они сошлись, что без своих тут не обошлось. Смешно было бы грешить только на приезжих. Нет, и свои, с кем бок о бок жито и работано под завязку, научились косо смотреть на всякого, кто по старинке качает права и твердит о совести. И свои грозили Ивану Петровичу, когда, не умея молчать, содравший бы с себя потом семь шкур за молчанку, поднимался он на собрании и вслух объявлял все, что творилось на лесосеках, на нижнем складе, в гараже и магазинах. Говорил то, что знали все и что постепенно становилось обычаем, – и как без нужды и жалости рвут технику в лесу или гоняют ее по пьяному и трезвому делу за десятки километров по собственной надобности, и как среди бела дня тащат с лесопилки, и как по дороге в

леспромхоз таинственно исчезают указанные в накладных товары, а вместо них для облегчения торговли сразу появляются деньги, и как в нарушение техники безопасности заставляют трактористов спускать на неокрепший лед лес, и как… Дошло до того, что сам Борис Тимофеевич наутро после получки вез втихаря в своей брезентовой сумке на лесосеку пару бутылок, чтоб остановить готовую сорваться бригаду. А они научились принимать это как положенное, как те же три пачки чая, выдаваемых бесплатно профсоюзом.

Иван Петрович исступленно размышлял: свет переворачивается не сразу, не одним махом, а вот так, как у нас: было не положено, не принято, стало положено и принято, было нельзя – стало можно, считалось за позор, за смертный грех – почитается за ловкость и доблесть. И до каких же пор мы будем сдавать то, на чем вечно держались? Откуда, из каких тылов и запасов придет желанная подмога?

– У тебя пошто глаза-то этак повернуты? – гудел Борис Тимофеич, но не было в его голосе ни нажима, ни вопроса, на который требовался ответ. – Пошто ты все одно к одному? Без плана, видишь, не живем…

Тут-то Иван Петрович и взрывался:

– План, говоришь? План?! Да лучше б мы без него жили!… Лучше б мы другой план завели – не на одни только кубометры, а и на души! Чтоб учитывалось, сколько душ потеряно, к черту-дьяволу перешло, и сколько осталось!… План!… Ты вспомни, как было… ну, пускай хоть пять лет назад…

– А что пять лет назад? – Борис Тимофеич прикидывался непонятливым. Тогда не было ни самосвалов, ни челюстных погрузчиков. КрАЗа твоего не было, на который ты по тридцать кубов зараз грузишь.

– Опять двадцать пять! Ты тогда водку на гору за свои деньги не возил за-ради плана. Ты вот что

вспомни. Наш план выполнять – дело нехитрое, ему агрономия не нужна.

– Нехитрое? – уж кто-кто, а он, съевший не одну собаку не одной породы на плане, жизнь свою отдавший плану, среди ночи просыпающийся, когда доводилось спать, от страха за план, как чумы, боящийся последних чисел месяца, когда в такой сложной технологии, какая и не снилась пшенице, вызревал план – уже он-то знал, что дело это не только хитрое, но и требующее много чего сверх всякой хитрости. Объяснить все это было нельзя, и он с тайной обидой говорил: – Тебя бы в мою шкуру.

– Не хочу. Мне и в своей тяжко.

Афоня Бронников, егоровский мужик, работающий на трелевочном тракторе, держался другого резона.

– Что ты, Иван Петрович, кипятишься? – с укоризненной улыбкой на широком и твердом кержацком лице увещевал он. – Кому ты что докажешь? Я так считаю: я работаю честно, живу честно, не ворую, не ловчу – и хватит. У кого глаза есть, тот видит, как я живу и как другие живут. Кто куда расположен, туда и пойдет. Наше дело – жить правильно, пример жизнью подавать, а не загонять палкой в свою отару. От палки толку не будет.

– Да ведь опоздали, опоздали с примером-то! Поздно!

– Ничего не поздно.

Но Иван Петрович был устроен по-другому, под ежедневным давлением в нем словно бы сжималась и сжималась какая-то пружина и доходила до такой упругости и закрученности, что выдерживать ее становилось невмоготу. И Иван Петрович, не однажды дававший зарок молчать, доказавший себе, что молчание это тоже метод действия и убеждения, Иван Петрович опять поднимался и, западая голосом,

страшно нервничая и ненавидя себя, начинал говорить, понимая – напрасно.

Еще до архаровцев, сбившихся вокруг Сашки Девятого, еще до них было: пришел утром Иван Петрович в гараж, а на его КрАЗе соединительные тормозные шланги к прицепу изрублены. Накось, значит, выкуси, правдоискатель плюшевый. Это ему однажды было сказано: «Что ты, как мишка плюшевый, которому два слова ввинтили: хорошо – нехорошо, хорошо – нехорошо. Ты сам кумекай маленько».

Стало быть, и хорошо – нехорошо. Быть стало, и нехорошо – хорошо. Поневоле зарапортуешься, заблудишься в двух словах.

10

Из первого продовольственного склада огонь вытеснил полностью. Перешел во второй. Хорошо еще, что над ним, над вторым, была сбита крыша, это придержало огонь. Он вжигался от правого и дальнего верхнего угла и через потолочный настил. Когда Иван Петрович в первый раз заскочил сюда, тут тоже было накалено и дымно, но все-таки без огня сносно, помещение изнутри держалось еще о четырех стенах. Здесь оказалось на удивление людно, здесь весело кричали и перекликались, стоял сплошной звон и бряк. Иван Петрович не вдруг разглядел организованную цепочку, по которой передавались ящики с наиходовым товаром – с водкой. В цепочке стояли и свои, и архаровцы. Потоптавшись растерянно и прихватив один ящик, чтоб не с пустыми руками, Иван Петрович выбежал обратно, уверенный, что этому товару не дадут пропасть и без него. На воздухе его обдало

каленым заревом сверху и донеслись откуда-то крики Вали-кладовщицы, требующей и умоляющей вынести растительное масло. Валя кричала, что его, растительного масла, до осени не полагается, выбрали все, и Иван Петрович, повороченный этими словами обратно, с дурной головы не мог припомнить, что теперь – зима или лето.

И выскакивал на одну секунду, а из правого угла уже пробивался огонь.

Пробивался с ревущим полыханьем огонь, еще веселей и отрывистей раздавались голоса из цепочки, густо позвякивали бутылки, но был и еще один повторяющийся звук в этом месиве звуков – будто что-то мелодично выщелкивало или сухо взбулькивало. Взбулькивало или выщелкивало с тоненькими подголосками. Иван Петрович приступом направился к раскаленной стене, откуда они раздавались, и возле ящиков с заграничным вином догадался, что это было: из бутылок выстреливало пробки. До подголосков он не стал доискиваться, решив, что происходят они, вероятней всего, от такого же салюта из посудинок с тройным одеколоном или от чего-нибудь в этом же роде. С некоторых пор тройной одеколон перешел в разряд продовольственных товаров, им сдабривали сухое венгерское или болгарское вино, которое в своем собственном вкусе отвергалось мужиками как чересчур кислое и незабористое.

Иван Петрович искал растительное масло в бутылках, а оно оказалось в железной бочке. Он с трудом, обжигая руки, повалил ее, огромную, с раздутыми боками, побывавшую не в одной переделке, но выкатить не мог, под его усилиями она только раскачивалась. Он заторопился к цепочке и, не вглядываясь и не выбирая, выхватил из нее первое попавшееся звено. Оно оборотилось тем самым парнем, вместе с которым сбивали крышу и который принес

наверх известие о найденном мотоцикле «Урал». От парня пахнуло кипяченой водкой; ничего не понимая, но и не сопротивляясь, он запрыгал вслед за Иваном Петровичем. Вдвоем, где руками, где ногами, они выкатили бочку.

– Там еще одна! Иван Петрович, там еще одна есть! – закричала Валя-кладовщица и кинулась показывать. – Вон там она, вон там!

Иван Петрович придержал Валю и подтолкнул от двери наружу, ей тут с ее материальной заинтересованностью, которая могла оказаться сильнее здравого смысла, делать было нечего. Незачем ей видеть, что тут происходит. Иван Петрович в секунду потерял напарника, с которым выкатывали бочку, тот, конечно, не мешкая встал в строй. Пытаясь отыскать его, Иван Петрович заметил, что по цепи передаются не одни только ящики, но и раскупоренные бутылки, взблескивающие под огнем как электрические фонарики.

– Ходом! Ходом! – начинал один, с маху откидывая соседу ящик, и цепь подхватывала: – Ходом! Ходом!

– Ходом, ходом! – взмывала над запрокинутой головой бутылка. – Ходом! Ходом!

Но и огонь шел ходом: ворвавшись внутрь, он завладел половиной задней стены, перекинулся на потолок, откуда в каком-то своем ритме вымахивал вниз длинными ухающими языками. Все труднее становилось дышать, это было уже не дыхание и не воздух, которым дышат, а быстрое и беспорядочное хватание выгоревшей пустоты. Кто-то, и не разобрать было, мужик или баба, тревожно звал оголенным и рвущимся голосом:

– Петька! Петька! Ты здесь? Ты где?

– Мы твоим Петькой закусили! – крикнули из цепи; и этот голос показался обгоревшим, проволочным, протолкнувшим сквозь жар одни слова.

И опять Иван Петрович уронил бочку с маслом, более аккуратную, чем первая, и, казалось, послушную, опять пытался катить в одиночку. Кто-то помог ему. Уже когда выехали, Валя-кладовщица, встречавшая бочку, запричитала и ударилась в рев: бочка была без пробки. Иван Петрович оглушенно смотрел то на извивающийся из склада след масла, то на Валю, которая убивалась так, будто два-три литра пролитого масла самая большая для нее сегодня потеря.

Ивана Петровича подхватили сбоку – Афоня Бронников. Быстро шагая прочь от огня в левый угол двора и увлекая за собой Ивана Петровича, Афоня объяснял:

– Муку надо убирать, Иван Петрович, пока не поздно. Это все... – он сделал пренебрежительную отмашку назад, где горело. – А без муки останемся... Без муки нельзя.

Из третьего склада ребятишки и бабы выносили банки со сгущенным молоком, коробки с какими-то маленькими, совсем игрушечными, баночками, что-то в аккуратных, перетянутых металлическими лентами, коробках. За третьим складом в крайней к забору и низкой, без подтоварника, постройке и держали муку.

Широкие, как ворота, двери были распахнуты.

Тени от Ивана Петровича и от Афони, все удлиняясь и удлиняясь в уродливом изгибе, перемахнули через забор и вознеслись над поселком.

– Гори-и-им! – раздалось где-то в верхних улицах. Иван Петрович испуганно вскинулся и стал всматриваться на голос.

– Проснулся! – с веселой злостью отозвался Афоня. – Скоро уж сгорим, а ты только хватился. Давай, браток, подбегай, пока не поздно. Завтра шабаш, завтра не опохмелишься.

11

Одно дело – беспорядок вокруг, и совсем другое – беспорядок внутри тебя. Когда вокруг – при желании сколько угодно там можно отыскать виноватых, а иной раз и вовсе посторонние силы способны вступить в действие и сыграть, как говорится, роль. Словом, у того порядка или беспорядка много хозяев, им трудно бывает договориться, у них разное понимание мира устроенного, и что для одного разумное расположение вещей, для другого полный кавардак.

Во всем, что касается только тебя, ты, разумеется, сам себе господин. В находящемся в тебе хозяйстве взыскать больше не с кого. И даже если тебе кажется, что оно зависит от многих внешних причин и начал, эти причины и начала, прежде чем влиться в таинственные и заповедные твои пределы, не минуют твоей верховной власти. Стало быть, и в этом случае спрашивать приходится только с себя.

И нет ничего проще, как заблудиться в себе. Чувствительный человек это знает. Он смотрит на себя не как врач, который прежде всего видит органы, выполняющие определенные функции, а как могущественный и безвольный вседержитель чудом доставшегося ему от природы огромного и непонятного царства, требующего какой-то особой власти.

Тебе чудится, что ты знаешь, где находится в тебе совесть, где воля, где память где возникают желания и откуда берутся запреты и ограничения. Ты не знаешь места их расположения, но представляешь, по каким связям следует посылать сигналы, чтобы они отозвались. Совесть заговаривает в тебе не сама по себе, а по твоему призыву; быть может, она способна спросить и самостоятельно – конечно, способна, но не

успевает: тебе верится, что ты обращаешься к ней раньше. Ты полагаешь, что так и должно быть в вверенных тебе границах: чтобы ты с опережением вмешивался в готовый ли раздаться ропот или ослабевающее согласие, чтобы ты выходил первым и заговаривал прежде, а не являлся по требованию.

Ты и они. Ты – властелин, несущий в теле своем, как в царстве, все его города и веси, все установления и связи, все пороки его и славу. И они, составляющие таинственную жизнь твоего мира. Это и одно целое и розное. Одно целое и неразрывное – когда правят мир и согласие, когда возникающие недоразумения, без которых никакая жизнь не обходится, существуют только до той поры, пока не рассудит разум. Именно так: недоразумение – до разума. И розное – когда наступает разлад и когда принадлежащие тебе владения отказываются тебе повиноваться. Только тогда приходит догадка, что они сильнее тебя. Потому что это они составляют твои поступки и мысли, направляют твои движения и добывают звуки из твоего голоса. Потому что в конце концов ты смертен, а они нет, они были в тебе по велению какой-то неясной могущественной силы, которую ты так и не смог соединить в образ. И это она, а не ты, была их властелином, а ты был лишь временной их обителью, слабой оболочкой всего того, что они вместе из себя представляли и откуда они искали согласия и соединения с миром. Ты не оправдал их надежд и не донес, не показал, что тебе было велено. А это значит, что ты не был собой. Кем угодно ты был, но только не собой, и не с тобой, а лишь с именем твоим, станут прощаться, возвращая тебя обратно.

Одно дело – беспорядок вокруг, и совсем другое – беспорядок внутри тебя. Страшное разорение чувствовал в себе Иван Петрович – будто прошла в нем иноземная рать и все вытоптала и выгадила, оставив

едкий дым, оплавленные черепки и бесформенные острые куски от того, что было как-никак устоявшейся жизнью. Не сказать, что он и раньше жил в полном согласии с собой, во всяком даже и совсем удоволенном человеке всегда что-то выходит из повиновения и принимается то ли скулить, то ли требовать. Выходило и у него. Но это нуждалось, так сказать, в текущем ремонте. Иван Петрович знал, чем поправляется это нездоровье – работой или добрым делом. Он не делал доброе дело только ради того, чтобы, как снадобьем, смазать им ноющую рану, оно делалось само, и боль постепенно утихала. Она словно затем и возникала время от времени то в одном, то в другом месте, чтобы показать, что они не потеряли способности чувствовать и болеть.

И что же теперь стало? Как случилось, что все его с такой заботой отстроенное нутро вдруг взбунтовалось и озлобилось против него? Что бы он ни делал – все не так, куда бы ни пошел, за что бы ни брался, какая-то сила останавливает его и вышептывает с мстительной выправкой в голосе: а больше ты ничего не мог придумать? А больше он ничего действительно не мог придумать, у него опускались руки и пронизывающим пустодольем обносило все тело.

Он не помнит, с чего начался этот раздор с собой. С чего-то ведь он должен был начаться, когда-то впервые его душа не просто не согласилась с ним, а возроптала и отказалась его понимать. То, как он жил, было ей поперек. Но в том-то и штука, что он всегда старался жить по совести, всегда поступки свои примерял к справедливости и пользе, к общему, как казалось ему, благу. А разве душа и совесть не родные сестры, разве не совесть питает душу и разве есть между ними распря? Когда нужно было говорить, правду, он говорил; когда требовалось дело – делал. Да он только и делал, что не сворачивал с правды и дела. И разве не

важно для них оставаться в границах, какими они были представлены человеку? Правда – это река, ложе которой выстелено твердым камнем и берега которой в отчетливых песчаной и каменистой линиях, река с чистой и устремленной вперед водой, а не подпертая масса с гуляющим уровнем гниющей жидкости, с хлябкими и подмытыми берегами. Правда проистекает из самой природы, ни общим мнением, ни указом поправить ее нельзя. Так почему же тогда он, живущий по несворачиваемой правде, вступил в войну не только с другими, кто ее не хочет или принимает лишь наполовину, но и с самим собой? Почему он уверен, что не годится жить, соглашаясь с правдой лишь наполовину или отказываясь от нее вовсе (уж лучше вовсе, чем наполовину), но в то же время не уверен в себе, кто стоит прямо на другом конце против тех, кто точно не прав? Они не правы, и, он, говорящий, что они не правы, держащийся правды как закона, – и он не прав. В чем дело?

Или совесть и правда, существующие сами по себе, меж собой сообщаясь и друг друга пополняя, или они не самостоятельны и склоняются перед чем-то более важным? Перед чем? Перед душой? А что душа, хлопочущая о примирении, готова служить и вашим и нашим? Но если и вашим тоже, если она ищет правду и совесть там, где они не ночевали, значит, и правда не правда и совесть не совесть, а только ищущая и страдающая душа. И как быть ей, если совесть и правда скособочены по ее милости? В чем найти ей поддержку? Ладно, можно допустить, что душа не любит прямолинейности, не терпит прямосудия, что так она устроена, что ей любо отыскивать жемчужные зерна в отвалах, да ведь пока она там будет рыться, на своей стороне ничего не останется. Ну, а что такое своя сторона, не своя, кто проводил между ними границу, и

почему так тянет человека за эту границу, не есть ли в этом его общий удел – уйти со своей стороны на чужую?

И, додолбившись в бесконечных этих «как» и «почему», не державших ответа, соскальзывающих с ответа, как с отвесной стенки, додолбившись до глухого тупика, до какого-то остростенного безжизненного узика – отступал Иван Петрович: ничего не понять.

12

В последнем, мучном складе не одна только была мука и не с одними только крупами, хранили еще и сахар. Средь муки и крупы он держался по-барски: они, сваленные как попало в мешках на пол, оплыли серой пылью, для сахара же с левой стороны устроили настил и подстелили брезент. И кули, в каких он был, отличались чистотой и доброшивом, и уложены они были аккуратно. Будто не свои же мужики таскали и укладывали, а вызывали бригаду из-за границы. По привычке хвататься прежде за тяжелое, ноги понесли Ивана Петровича к сахару. Но Афоня Бронников придержал:

– Давай, Иван Петрович, за муку. Это все... – и он опять, как в том складу, отмахнулся.

Здесь хоть не припекало. Но торопиться следовало и здесь, до огня оставалась одна неполная постройка. Огромная и бесформенная куча не куча, штабель не штабель из муки возвышалась в полтора-два человеческих роста. Для двоих здесь таски до следующего пожара. Иван Петрович не позволил себе испугаться работы, не тот это был случай, чтобы раскидывать и подсчитывать, а взвалил первый

попавшийся, отбитый в сторонку мешок, не подумав, что ради его отставили, и с головой ухнул в муку. Мешок по шву разошелся, раззявленным боком вскинул его на себя Иван Петрович и – как взорвался белым, мука залепила рот, набилась за воротник. Афоня, не выдержав, могуче загрохотал-захохотал:

– Теперь, Иван Петрович, в Ангару, опосле под огонь – и пирог готовый.

Отряхиваясь и отплевываясь, Иван Петрович не сдержал досады. Но это было и разумно, что он сказал:

– Ты, чем гоготать, прикинул бы, что мы с тобой тут с гулькин хвост не вытаскаем. На выпечку не хватит. Где народ-то?

– Начальник хотел собрать…

– Да он уже забыл, твой начальник!… Его отхватили куда – и с концом! Он без головы сегодня.

Встав на изготовку, которая показывала, что он сейчас начнет хватать любого за шкирку и метать сюда, Афоня пошел.

Иван Петрович с мешком на загорбке в дверях остановился. Куда? До ворот далеко, и таскать в ворота – это торить дорогу, которая никому не нужна. Рядом забор, но забор на ногах, он держит оборону против охотников до всего этого разбросанного по снегу и грязи добра. И все-таки надо валить забор. И вдруг Ивана Петровича ожгло: а где же топор? Где топор, который он прихватил из дому и которым сбивал крышу? Где он его бросил? Иван Петрович кинулся было на огонь, но спохватился, что б последнем складу, откуда он выкатывал масло, делать ему с топором было нечего, он оставил его где-то раньше. И топор сгорел. Сгорел топор, который нужен сейчас для забора больше рук. Взял из дому вещь и погубил.

Он вспомнил опять об Алене, и тревожным был этот высверк о жене: не подлезла бы, дурная голова, под беду. Почему-то показалось, что между ними сейчас

огромная даль. Рядом, а далеко. Потому что расстояние это меряется другими, незнаемыми шагами, которыми он еще не ходил.

До того, как кинуться куда-то, взглянул еще Иван Петрович на склад, откуда его выхватил Афоня: в дверной проем там уже не ныряли и не выныривали, а метали из него сквозь шторой наплывающий рисунчатый огонь последние банки и склянки. Это до чего же надо быть отчаянной башкой, до чего ошалеть от геройства, чтобы держаться там неизвестно на чем! А перед дверью кто-то в белой заячьей шапке, в прыжках и бросках перехватывая на лету выбрасываемое, выделывал такие коленца, какие не снились и циркачу. Перехватывал и, не глядя, откидывал за спину. Неподалеку в ярком озарении стоял и смотрел на него Борис Тимофеевич. Выхлестнуло над серединой промтоварных складов высоко пламя и крутым светом высветило весь двор, в котором все, казалось, стояло неподвижно и любовалось ловкостью парня в белой заячьей шапке. И стоял и любовался Борис Тимофеич. Пламя опало, и начальник сорвался с места, сорвалось опять и все остальное.

За короткий тот миг, когда разом высветило весь двор, успел заметить Иван Петрович вдоль по забору прислоненную к столбу колотушку, которой Афоня орудовал наверху, и теперь как нарочно оставленную там, где она могла понадобиться. Иван Петрович на бегу подхватил ее и ухнул рядом со столбом по верхней и тут же по нижней поперечинам. Забор отвалился, открыв вид через вдавленную дорогу на огород и баню однорукого Савелия из коренных ангарских мужиков. Иван Петрович отбил второй конец связи, она упала, и здесь к нему подоспел помощник. Ничему в эту ночь не следовало удивляться, и все-таки Иван Петрович не мог сдержать удивления. Помощником был не кто иной, как

Сашка Девятый из архаровцев. Вдвоем они приподняли сваленное звено и спустили по откосу на дорогу. Специально гадай лучше не выгадаешь: вышел помост – чтоб муку не на землю.

– Давай еще одну, Иван Петрович, – весело и араписто скомандовал Сашка. Знал он, оказывается, и по имени-отчеству, а не одно лишь «гражданин законник».

Они оторвали вторую связь и постелили ее рядом с первой. И только поднялись – с тяжким стоном осел, брызнув искрами, первый на изгибе промтоварный склад. Искры из него все сыпали и сыпали, заглушая крики и забивая свет. Сашка помчался туда. Иван Петрович видел, как мужики, которых вел Афоня, метнулись обратно. И он не вытерпел: надо было отыскать Алену.

Алена стояла в пяти шагах от вороха с добром, куда она что-то принесла и опустила с бряком, и только бряк этот и подтвердил, что она прибежала не с пустыми руками. Теперь, остановленная до взапяток плеснувшей раскаленной волной провалившегося склада, она не помнила, откуда прибежала и что принесла и потеряла, куда бежать. Кругом, повернутые в одну сторону, где все еще трещало и искрило, кричали и размахивали руками, но и крики были сухими, и размахи с подпрыгами и наклонами – будто в заведенной игре. Во всем том, как вели себя люди – как они выстраивали цепи, чтобы передавать из рук в руки пакеты и связки, как бегали по двору, отворачивая друг от друга и сталкиваясь, как дразнили огонь, рискуя собой до последнего, как заводились то в лад, то не в лад кричать, – во всем этом было что-то ненастоящее, дурашливое, делающееся в азарте и беспорядочной страсти. Настоящим был только огонь, сосредоточенно и беззатейно перемалывающий все, что подворачивалось на его пути.

Искрить безостановочно и взрывчато наконец перестало, и снизу, на обвалившемся, опять наладился огонь. На оборванных углах он светил вытянутыми и склоненными факелами. Соседний промтоварный склад под высоким венцовым пламенем, казалось, раскачивается и скрипит, пытаясь оторваться, и не может оторваться, притянутый с другой стороны общей стеной к следующей постройке. Кстати или некстати Алена вспомнила, как рассказывали, что под Усть-Илимом вниз по Ангаре поднимало со дна и носило по воде затопленные с лесом острова, которые потом бомбили с самолетов. В ближнем продовольственном складе под каким-то сладостным продуктом не горело, а сияло – как при электричестве. Ясно виделось теперь, что нет, ни одного склада не отбить.

Алена достояла до момента, пока на нее не наткнулся Иван Петрович. Испуганный ее неподвижностью, когда все кругом бежало и кричало, он подкрался последними шагами и зашел к ней спереди.

– Ой, Иван, ты погляди! – встрепенулась она, не зная, что сказать. Смотреть тут же нашлось на что. – Ты погляди! – она показала на извивающуюся справа в отдалении и все равно освещенную фигуру, которая, скинув шубейку, что-то торопливо на себя натягивала. Кто-то это был из архаровцев, Иван Петрович различал их по коротким и дерганым движениям.

– Что же это делается-то, Иван?! Что делается?! Все тащат! Клавка Стригунова полные карманы набила маленькими коробочками. А в них, поди, не утюги, в них, поди, че-то такое!… В голяшки наталкивают, за пазуху!… А бутылки эти, бутылки!…

– Не вздумай ты что взять, – он и слова-то эти сказал, чтобы только вытолкнуть из себя скопившийся внутри угарный комок.

Да, тут никакой дядя Миша Хампо не поможет. Хампо караулит, чтобы не вынесли что большое, заметное, а тут вон как...

– Да ты что, Иван! Ты что?! – без возмущения, видя, что он не всерьез, зачастила Алена. – Мне-то зачем? Много я тебе натаскала, покуль живем? Шибко много?

Дьявол с ними, пускай подавятся.

Он не пошел одергивать ту архаровскую фигуру.

13

Два года назад справлено было тридцать кругов, как Иван Петрович жил с Аленой. А справлено было так: взяли в одно время отпуска и проехались по выросшим детям, которые все до единого ушли из родного дома. Но их и всех-то – две дочери и сын. Двигались от ближнего к дальнему: сначала к дочери в райцентр, где она учительствовала в младших классах, потом ко второй, к старшей, дочери в Иркутск, где чуть было не споткнулись, только там, в Иркутске, узнав, что дочь в больнице. Дали ее семье квартиру в девятиэтажном доме на самой верхотуре, а лифт не пустили, и вот, таская при переезде совсем тяжелое и не совсем тяжелое, надсадилась она до того, что сразу после новоселья загуляла в больницу. В мать – та тоже не знает удержу. Конечно, неловко было уезжать при этаком раскладе, но Таня, городская дочь, настояла, чтоб ехали. До чего Иван Петрович, привыкший ко всякому и не разморенный мужик, а и он, сделав десяток ходок на девятый этаж, заплетаясь на последних пролетах ногами и руками, заметно почернел вырывающимся словом и рад был уехать подальше от этих вызверяющих граждан городских удобств.

А лифт там, пишет дочь, и по сю пору на приколе, в его шахте через выломанную дверь уже кто-то разбился. Что в иных местах нельзя, в Иркутске можно.

И только у сына, к которому летели на самолете, Иван Петрович вошел опять в душу. Сын Борька встретил их в Хабаровске – рослый, как все они нынче на сытых хлебах, сильно повзрослевший, в форме, выделяющей его мужскую стать и подбирающей материнскую скуластость. Уже и не Борька, а Борис Иваныч. После авиационного училища он работал техником в небольшом аэропорту, и, к покою Алены, работа его делалась на земле. В тот же день на другом, на маленьком самолете они прибыли на это место – красивый и богатый поселок, весь в зелени и уборе. Правда, и время выпало хорошее – сухой сентябрь. Борис жил своим домом, который отдали молодым тесть с тещей, построившиеся посолидней отдельно через улицу, а при доме был сад с разной ягодой и самделишной яблокой. Обо всем этом Борис и рассказывал и писал, но, пока не видел глазами Иван Петрович, как к писаному и относился. А потеребил яблоко с живого дерева, обошел поселок, поглядел в людские лица, не испорченные через одно пьянством, съездил на рыбалку, подивившись, что рыбы в невеликой речке больше, чем в Ангаре, и порадовался за Борьку. Везде, сказывают, хорошо, где нас нет, но тут и верно было не худо. Дело не в яблоке и не в тепле, свой климат он и есть свой, а жизнь здесь чувствовалась не надрывная, порядка здесь просматривалось больше, и держался этот порядок не на окрике и штрафе, а на издавна заведенном междоусобном общинном законе. Вот в чем дело. И даже если и преувеличивал Иван Петрович, а казалось ему, что ничуть он не преувеличивал, то и тогда несравнимо с Сосновкой.

Сын с невесткой пристали: переезжайте. Им подпели Борисовы тесть с тещей, которым Иван Петрович с Аленой приглянулись, видать, бесхитростностью и подладом. Присмотрим неторопко дом, сторгуемся, здесь большой совхоз, работа найдется. Будете при нас, а мы при вас, все равно надо к кому-то притуляться. Никто вас в Сосновке за хвост не держит.

Никто за хвост не держит, а Сосновка сама? А земля, которой отдана жизнь? И жизнь всего позаднего, прежнего рода. Неужели оставить все это архаровцам, которые, идучи с работы, по дороге сворачивают на кладбище оправляться, с чем прихватил их однажды Иван Петрович? Кому-то надо или не надо держать оборону? Проть чужого врага стояли и выстоим, свой враг, как и свой вор, пострашнее

С тем и примирился Иван Петрович, воротившись от сына и впрягшись опять в невеселый хомут сосновской жизни. Но знал он теперь, что не всюду живут одинаково и что есть куда оборачиваться за поддержкой. С тем и работал, продолжая тянуть лямку победителя соревнования, хотя никакого соревнования не было и в помине, а было – или работник ты, или нет, или природный пахарь, или неотставной болтун. И встревал, и лез на рожон, и сердце надрывал снова и снова – с тем же: не везде трын-трава. И выходил из отчаяния, и других наставлял, кто готов был из него не выбираться, соорудив из отчаяния стену, за которой… гори оно все синим пламенем.

Все с тем же.

Однако в последнем году стало совсем невмочь – с тех пор как прибыла и утвердилась теперешняя бригада архаровцев. Раньше этих бригад перебывало не счесть. Поживут, погудят, покажут местному народу товар лицом – и восвояси, дальше пытать неприкаянную свою судьбу. И уж на кладбище до десятка могил их

них, кто ненароком отыскал ее и причалил навеки. Всякие наезжали, но таких, как нынешние, не было. Эти явились сразу как организованная в одно сила со своими законами и старшинством. Пробовал разбить их – не получилось. Пытались отправить на лесосеку за Ангару – нет. Остались на нижнем складе рядом с поселком на разделке и откатке, где нужны сноровистые руки. А у них сноровка по другим делам. И пошло-поехало. Лесом все кругом завалено впереплет, так что не подъехать, кубатура вместе с обрезью, в огне горят и вершинник и хлысты. Стоишь с машиной по полчаса, пока сам не поможешь растаскать завал. Не удержишься, накричишь, а с них взятки гладки, они только похохатывают да подкусывают, накричишь потом на Бориса Тимофеича, а он на тебя. На работу стал выезжать как на каторгу.

И в поселке. В клубе бильярд на деньги, в магазине для всех очередь, для них – посторонись. А скажи – оборвут так, что недели не хватит, чтоб собрать себя по кусочкам. Люди, столкнувшись с какой-то невиданной сплоткой, держащейся не на лучшем, а словно бы на худшем в человеке, растерялись и старались держаться от архаровцев подальше. Сотни народу в поселке, а десяток захватил власть – вот чего не мог понять Иван Петрович. Но, раздумывая об этом, догадывался он, что люди разбрелись всяк по себе еще раньше и что архаровцы лишь подобрали то, что валялось без употребления. Он допускал и верил даже, что при большой общей беде архаровцы могли показать себя людьми – не совсем же пропащее это племя, но при развезени, когда ни шатко ни валко, их собирает вместе и возносит в расхристанности неурядье, которое они чуют, слетаясь к нему, по-звериному обострившимся чутьем. Не зря прижились они в Сосновке; в Сырниках, где теперь сын, не прижились бы. А здесь за год съехало только двое. Один кавказского вида,

державший попервости верх в команде, был, по-видимому, скинут и уволен своими же, после чего утвердился Сашка Девятый; другой, покалеченный в пьяной драке, обратно из больницы не вернулся. И еще один, по фамилии Сомов, отбился от своих и ушел в семью к Наде Почиваловой, мужик у которой утонул.

В декабре выруливал Иван Петрович с нижнего склада в поселок после работы, и на полдороге остановил его Сашка Девятый, шагавший с кем-то из своих. Иван Петрович притормозил. Сашка сел, а тот, другой, остался, хотя место в кабине было. Красивый парень этот Сашка – высокий, ладно сбитый, со светящимся белобрысым лицом, но красота как бы подточена чем-то. Сразу и не понять, в чем штука. Будто подсыхает она изнутри, морщится, будто поверху только и осталась.

До самого поселка ехали молча. Но, сходя у общежития, сказал Сашка с неряшливой улыбкой:

– Ты вот что поимей, гражданин законник, герой борьбы и труда... Ни нам до тебя дела нет, ни тебе до нас. А будешь к нам за делом ходить, и мы к тебе придем.

А вскоре кончилось в магазине питье. Кончилось и кончилось – ни справа по Ангаре нет, ни слева. И архаровцы, оголодав, снарядили с рюкзачком брата своего, Соню, в город. Неделю, пока летал да сидел он по непогодью в аэропортах, работали они за «того парня», скрывая, что его среди них нет. А тут лес, тут годовой план, день и ночь на нервах. Каждые руки на вес золота. А по прибытии Сони с продуктом архаровцы поредели вдвое. Иван Петрович привез директора и показал: смотрите, что творится. Тот снял бригаду с нижнего склада. Потом Борис Тимофеич вернул ее, работать в конце концов кому-то надо было, а на запущенное архаровское место, опасное еще и тем, что оно архаровское, никто идти не хотел.

В январе, в ветреный со снегом день, когда в двух шагах ни холеры не видать, подъехал Иван Петрович на нижний склад и встал под разгрузку. Подошел разгрузчик, подцепил крюком лес и свалил на поката. За один раз не вывалить, снова зацепил остатки и снова потащил на себя. Не теряя времени, Иван Петрович стал поднимать стойки. В каждой из них вес нешуточный, сдуру не вымахнешь. Задрал наверх первую и замешкался, чтобы перевести дух. И только сделал шаг, только вынес из-под нее голову, тяжеленная металлическая подпора вдруг оборвалась. Взяла и оборвалась, хотя, установленная и наклоненная внутрь, не должна была пойти назад и никогда не ходила. С той стороны, куда вывалился лес, суетились архаровцы – двое. Иван Петрович постоял возле них, посмотрел, подумал и ничего не сказал. А что скажешь? И поехал, размышляя над судьбой.

На собрании, где подводились итоги года, Ивана Петровича премировали талоном на ковер. Он поднялся и, портя заведенную обедню, отказался от талона: ковер ему был не нужен. Ни премии, ни почести ему были не нужны, а нужна была такая работа, которую с другого конца не подпирают, чтобы ее остановить, и такая жизнь, которая обошлась бы без подножек. Он так и сказал. Но сказал нервно, чуть не на слезе, допытываясь, почему делается вид, что все хорошо и даже прекрасно, если выполняем план, и до каких пор план станет прикрывать и оправдывать все, что творится внутри плана? Обида Ивана Петровича была не на архаровцев – что с них взять?! – а на своих, притерпевшихся и покосившихся, поверивших, что всякая перемена только во благо. Иван Петрович, разгорячась, захлебнулся тем же, что упирало его в спину и при ночных раздумьях: да неужели только он один это видит и понимает, а никто больше не видит и не понимает? И если он один, то зачем? Зачем видеть и

понимать? Есть ли это истинное видение и понимание? Не покривился ли он сам тем именно, что слишком упирается, чтобы удержаться в прямизне?

Палисадник перед избой разворотили совсем недавно, уже после того, как Иван Петрович написал заявление об увольнении. Скорей всего, подцепил с пьяных глаз кто-то из своих. Если поспрашивать, нетрудно и доискаться, чья это работа. Но спрашивать не хотелось. И Алена молчала, а уж ей-то обязательно донесли. Обида с людей, правых и виноватых, сошла в нем в злость только на самого себя.

Спасение было одно: уехать.

14

С некоторых пор Иван Петрович невольно стал присматриваться к Алене внимательней. Даже и не присматриваться, а как бы прислушиваться к тому месту, которое она занимала с ним рядом. Каждый мужик, наверно, держит перед собой два образа жены – какая она есть и какой бы он хотел ее видеть. Они то совпадают, то расходятся, то заговорят одним голосом, то на разные. У них словно бы и лицо с отличниками, и меж собой они не обязательно ладят. Мужик, понятное дело, безошибочно слышит, когда подходит к нему одна и когда другая, но и она сама знает, где в ней какая, и она чувствует несоединенность в себе человека и жены. Конечно, то же самое можно сказать и о мужике, но сейчас не о нем речь.

И вот Алена его, неизвестно с какого времени, сошлась в одно целое. Больше всего озадачило Ивана Петровича, что он не заметил, когда это произошло, когда он перестал делить ее на Алену для себя самой и

Алену для него. Проживши тридцать да еще с гаком годочков, ясно, что они немало перелились друг в друга и тем уже стали роднее, что в каждом из них прибавилось плоти другого, которая не может не проникать к своему изначальному крову. Все это так, и все то должно бы относиться ко всем, десятки лет ложившимся в общую постель. Однако у Алены было что-то еще и особое. У нее изменился голос. Словно это не она говорит, а через нее говорит единая женщина, матерь всех мирских женщин. Голос сделался глубже, сочней и шел серединой звучания, не прибиваясь к сухим берегам. И частить она стала меньше, и слово стало добычливей: раньше она изводила великое множество слов, пока извлекала то, самое главное, ради которого заводила разговор, теперь же оно находилось быстрей, без артподготовки, как любил он подшучивать, и оказывалось точней.

Алена незаметно заняла место, на которое ее в молодости не хватало и которое можно определить так: женская сыта. Это значит, что Алены было ровно столько, сколько нужно, – не больше и не меньше. Быть может, чуть больше, но маленький перебор всегда исправим. Находился ли он дома или уходил, он постоянно чувствовал в себе Алену, продолжавшую свою неустанную службу. Она, когда требовалось, добавляла или убавляла его характеру, находила в нем терпение и вела домой. В долгих рейсах у себя в машине он нередко разговаривал с ней, зная, чем она станет отвечать, и, поговорив, посоветовавшись, приходил к какому-нибудь решению. Опрятный и мягчительный тот мир, который был Аленой, с годами не только не выстыл, но еще и пораздался в понимании и тепле. Мужик, в котором не звучит голос жены: погоди, Ваня или Степа, скоренько выпрастывается из жизни и, даже живя, ходит в ней как в малахае с чужого плеча.

Маленькая, подбористая, с девчоночьей фигурой, она не передвигалась, а взмывала и летала. И так до сих пор, хотя надо бы уже поубавиться прыти. Глядя на нее, не раз Иван Петрович обрывал себя на страшной и, быть может, вещей мысли, что такие люди, как Алена, такие порывистые и заведенные, срезаются мгновенно, без жалоб и постепенного остыва. В свое время, когда, наломавшись вдоволь и нормировщицей и учетчицей, наслушавшись матюков и нахолодавшись на вольном воздухе, спросила-сказала она, что собирается пойти в библиотекари, Иван Петрович засмеялся: «И что ты там станешь делать? В окошки, как бабочка, биться?», не представляя ее сидящей, как того требовала работа с книгами. А она и не сидела. Она даже карточки выписывала на ногах, чуть склонившись над столом или подоконником. И по участкам, по участкам, подсовывая книжки даже тем, кто не знал, с какого конца они раскрываются. А сколько он, Иван Петрович, книг перечинил – до сотни! – сначала какие читал, потом остальные, и не одной починкой, а она все подкладывала и подкладывала.

Теперь, значит, и ей сходить с работы, которую она любила.

Не принято ныне хвалить жен, но что делать, если нечего представить Ивану Петровичу даже и для бога самого об Алене худого. И как вспомнит он: вот она бежит, вот бежит повечеру в дом, нетерпеливая и утолокшаяся, чтоб скорей увидать мужика, вот на бегу еще выкрикивает что-то виноватое и прерывистое – и сразу мирью растягивается душа. Вот они сидят вдвоем за чаем, он молчит, она говорит за него и за себя, и он не знает, где чьи слова, а знает только что наговорились они с пользой и всласть.

Жена – это что-то отдельное. Дозволенное для общей жизни, но отдельное. Иные весь век притираются друг к другу и не могут притереться. Алена для Ивана

Петровича была больше чем жена. В этой маленькой расторопной фигуре, как во всеединой троице, сошлось все, чем может быть женщина. Обычно таких, кто всю жизнь изо дня в день выстилается и выплескивается, не ценят, принимая как должное, как воздух и воду, эти старания и добиваясь чего-то, неизвестно чего, еще. Русский мужик не привык жить с бабой в одну душу. А у Алены все это было без надсады и жертвы, а исходило из натуры ее и души, и она засохла бы на корню, если бы не над кем было ей хлопотать и кружить. Все до капельки выносила она в общую жизнь, ничего для себя не оставляя, и, опростанная, полегчавшая и с лица и с тела опавшая, столь счастливо и блаженно улыбалась, укладываясь спать, чтобы запастись за ночь новыми силами, что никаким хитрым сомнением нельзя было усомниться, будто это не так.

Каждый, поди, мужик держит в своей памяти какой-то один случай, способный скачать об его жене все. Давным-давно, еще жили в Егоровке, возился как-то Иван Петрович под машиной с невыключенным раскрытым мотором. Машина была старая, ЗИС-150. Он только после отыскал, где подтекало, а до того и не знал– мотор вдруг вспыхнул. Распластанный на земле и растерявшийся, Иван Петрович обмер. И выскочил он, когда на него чем-то сыпануло. В углу на предамбарнике стоял короб с песком, приготовленным для зимы, Алена одним махом подхватила его и ухнула на огонь. Потом, когда короб снова наполнили, Иван Петрович с великим трудом едва отодрал его от земли. Алене нечего было и пытаться.

– Это не я и была, – простодушно решила она. – Это кто-то, чтоб спасти тебя, мои руки подхватил да свою силу подставил. А я ниче и не помню. И тяжели вроде никакой не было.

И сколько такого случалось, что кто-то ее руками подымал и подымал непосильные тяжели.

Когда пришел Иван Петрович и сказал, что все, конец, решил он подавать заявление, она согласилась:

– Ну так че, Иван… конечно, к Борьке охота… Он научился слышать и то, что она недоговаривала. К Борьке охота, но не так бы, не так…

15

Теперь только таскай и таскай. Иван Петрович подставлял плечо, стягивал на него с верхних рядов навала мешок, движением плеча укладывал его ловчей и разворачивался в сторону наскакивающих в двери беснующихся огненных сполохов. И, торя один ход, спускался к дороге. Дело знакомое, за жизнь свою потаскал, и, если бы не огонь, не беда, было бы в этой работе даже приятное, как не умственное, а физическое воспоминание о молодости, когда всей деревней нянькались с хлебом. И сколько потом за лесную свою жизнь, где только выпадал случай, брал Иван Петрович в щепоть мучицу, мял в пальцах и ждал, когда вслед за горчащей виной, как за побудкой, в поте, пыли и солнце не подступят картины хлебных работ.

Было их поначалу, выносивших муку, человек десять. И так славно подвинулось в азарте и общем подстеге, когда двое-трое набрасывают, остальные таскают, что за короткий аврал сняли всю верхотуру. Иван Петрович примеривался уже и к сахару: вот-вот браться и за него, а он, купчина, сладок на языке, да горек на горбке. Однако, не подымающему почти глаз и ничего не видящему, кроме мешков да дороги, все реже стали попадаться Ивану Петровичу встречные фигуры и все хуже подаваться из складского запаса. Иван Петрович распрямился – осталось их четверо: он, да

Афоня, да однорукий Савелий, усадьба которого была рядом, да какой-то покачивающийся, раздетый до рубахи, полузнакомый парень.

– Афоня! – крикнул Иван Петрович. – Че ж это такое опять? Где они?

– Там интереснее, Иван Петрович, – ответил тот, пробегая. – Интереснее там, понимаешь?

На себя. На себе. С себя. Недолгая пробежка, чтобы едва-едва вернуть прыгающее сердце на место, и снова: на себя, на себе, с себя. А уж не молоденький. И все глубже присядки на ходу, все чаще заплетаются ноги, и сердце не успевает отыскать свое гнездо. Даже Афоня, здоровый этот бугай, наваливавший поначалу крест-накрест по два мешка, и под одним бегал теперь с опущенной головой.

Появился Борис Тимофеич и тоже подстроился таскать, отдав власть само собой происходящим событиям. Но Афоня и Иван Петрович в голос потребовали, чтоб не пыжился он, а гнал сюда мужиков. Водников ушел, затем опять появился, приведя с собой нескольких, и один из этих нескольких, полупьяный архаровец, взялся организовывать цепочку – чтоб не тащить полным ходом, а передавать мешки из рук в руки. Афоня послал его вместе с цепочкой подальше, что тот и не замедлил исполнить, так что больше его и не видывали. Из нового привода прибавилось двое надежных – Семен Кольцов и слесарь из гаража Тепляков. Мелькнул, посветив раза три удалым лицом, Сашка Девятый и исчез.

Где больше – на вынутом, вынесенном на дорогу, или в складе – не разобрать.

Иван Петрович отметил, что Тепляков взялся за крупу. Правильно, наверно: надо бы и ее хоть сколько-нибудь отбить. Надо бы все отбить, но огонь в ближнем складу нажимал, похрустывала, подготавливаясь, и заметно нагревалась общая стена, к которой

приваливалась крупа. В помощь Теплякову Иван Петрович решил брать поочередно: раз мука, раз крупа. Внутри потускнело и помертвело, густо ходила мучная пыль, всполохи из дверей попригасли и мелькали только на сахаре. И все больше и больше наносило справа, когда вбегали, и слева, когда выбегали, напористым горячедуем.

Под мешками ничего не видел и не слышал Иван Петрович. Бухало сердце, и все остальные звуки глохли или казались слабыми подголосками в этом раздирающем грудь прибое. Перед глазами все смешалось – пожар изнутри и пожар настоящий, те и другие огни наплывали и кипели одновременно. Иван Петрович запалился. Скинув мешок, он вслед за мешком повалился на деревянный настил и ухватился, как привязался, взглядом за подвернувшуюся постройку, чтобы не потерять сознание. Этой постройкой оказалась баня, из которой вдруг появился человек, по виду хозяин ее, однорукий Савелий, и, угадывая в следы, спустился к дороге. Широко округ было озарено, но темно было в глазах у Ивана Петровича, и он не мог сказать, действительно ли кто выходил из бани или ему померещилось.

И еще померещилось ему: ходит старуха в короткой шубейке с поднятым воротником и рвет обочь дороги цветы. Идет-идет, высматривая, наклонится, торопливо сорвет и в сумку. И на другой сугробный наклон. Иван Петрович узнал ее, когда обернулась она, и пожалел, что узнал, потому что тут же и догадался, что это были за цветы, что за подснежники. Старуха, за которой ничего похожего никогда не водилось, подбирала выбросанные со двора бутылки – и уж конечно не пустые. Да ведь и истории такой до сегодняшней ночи тоже не водилось.

Из-за угла от Ангары вымахнул огонь – и это над последним, над мучным складом. Иван Петрович

вскочил. Вот почему никто после него не спустил ни мешка: теперь только выносили и сбрасывали в пяти шагах от дверей, времени на полный перенос не осталось.

На другом конце огня, где промтоварные склады и где пылало сплошной мощью, как жаром, качало неровный людской строй. И слышался оттуда резкий голос Бориса Тимофеича, перекрывающий разнобой всех других криков. Люди стояли там – чтобы не пустить огонь к магазину. Уцелеет магазин – поверится, что почти победили, что чуть-чуть и победили бы полностью.

Посреди двора, размахивая здоровой рукой, прыгал кособоко вокруг вороха со спасенным добром дядя Миша Хампо. Издали смотреть, казалось, что заворачивает он разбегающихся от курицы цыплят.

Стоять в воротах ему было незачем, все теперь было растворено.

Дядя Миша Хампо, этот дух егоровский, парализован был с детства и плетью таскал правую руку, которая едва годилась для нехитрого подтыка или прихвата, и говорил с таким трудом, что постороннему человеку понять его было невозможно. «Хампо-о! Хампо-о-о!»– долго-долго возил он, извлекая из оцепеневших глубин нужное слово, и, если удавалось его извлечь, торопливо подтыкал это слово находившимся где-то неподалеку «ага» и озарялся счастливой улыбкой. Кто знал дядю Мишу Хампо, торопился помочь ему подставить следующее слово, и тогда он, сияя крупным темнокорым лицом, только кивал и агакал. «Хампо-о!»– начинал он, переступая через порог, и хозяин или хозяйка, не затрудняясь ничуть, отвечали: «Здравствуй, здравствуй, проходи. Был, говоришь, в магазине? Очередь? И обед уж сварил? Ну, когда так, садись чаевничать с нами».

Чтобы понимать друг друга, много слов не надо. Много надо – чтобы не понимать.

Жил дядя Миша один. Жену свою, из военных переселенок, он похоронил давно, племянник, которого они воспитали, после армии завербовался на Север и, золоторукий, сметливый, всему сызмальства обученный, получал там большие деньги и не слал ни копейки. Дядя Миша и обстирывал, и обстраивал себя, выкармливая поросенка, и в свои семьдесят лет нанимался еще колоть людям дрова. Силы он был могучей и одной, левой рукой привык делать все, что угодно. Но это раньше он был силы могучей, теперь она, конечно, поизносилась, и, возясь с дровами, все чаще втыкал он колун в чурку и подолгу и неотрывно смотрел на замерзшую, на открытую ли Ангару.

Иногда порывался он сказать что-то об Ангаре, а вероятней всего, об Егоровке, ушедшей под воду, показывал в ее сторону рукой, давился «хампо», но тут уж люди, кроме названия старой деревни, подсказать ему ничего не могли. Дядя Миша огорчался и уходил.

А ведь что-то тужился он сказать важное.

Хампо был прирожденный сторож, сторож-самостав. Не из-за уродства своего, нет – делал он любую работу и переделал ее безотказно во множестве. Так он выкроился, такой из сотен и сотен уставов, недоступных его голове, вынес первый устав: чужого не трожь. Все неудобства мира и неустройство его он, быть может, с одним только и связывал: трогают. С великой охотой шел дядя Миша на любую охранную службу: караулил при колхозе егоровский горох, объезжая из году в год верхом на кобыленке поля, ночи проводил на зернотоках, днем в свободную минуту вышагивал досматривать в коровнике и конюховке. И за зоркое свое око плату никогда не спрашивал, считая, что общественный оберег, который он творит, на него возложен рождением. И в новом поселке, когда

перевозились и строились, дядя Миша поначалу сошел бы за коменданта: за всем присматривал и во все, требующее охраны, встревал. К этому привыкли, и никому из своих в голову бы не пришло одергивать дядю Мишу, что лезет он не в свое дело. Но в первые годы и кражи случались редко. А если случались, дядя Миша переживал страшно. Не существовало для него в установленном житейском порядке большего несчастья и большего урона, чем воровство. «Что ж ты, дядя Миша, куда ты смотрел?» – спрашивали его не шибко чуткие к чужой боли люди, хорошо зная, что за этим последует.

Следовало всегда одно: дядя Миша, безуспешно пытаясь что-то выговорить, в чем-то оправдаться, принимался рыдать. «Хампо-о! Хампо-о!»– на куски рвало его душу, крупное тело сотрясалось, по лицу катились слезы, правая рука норовила подняться и что-то указать.

Со временем воровство утвердилось, и дядя Миша долго не протянул бы, если бы с таким надрывом отзывался на всякую кражу. Пришлось и ему привыкать. При слухах о пропаже он уже больше не вздрагивал, как от удара, и не убегал в свою избенку, чтобы не показать слабость больного, лишь лицо его деревенело, выражая какую-то огромную, забирающую всю жизнь, сосредоточенность, и немало требовалось времени, чтобы на нем опять появилась виноватая улыбка.

Но он и вор-то ныне переродился один дьявол знает во что. То взрослые ребята, чтобы угодить на праздник молоденьким учительницам, заберутся в чужой курятник и поотрывают петухам головы, то при полном сыт-одет и нос в табаке разорят старушонку, с великой натугой собравшую магазинское угощение для работников, согласившихся распилить дрова. И прежде бывало… Но не бывало такого, чтоб один из озорников, доставивших для потрошенья птицу, приходился

родным братом учительнице, у которой справляли праздник, и чтоб другие озорники, проверявшие у старушонки кладовку, теми как раз и оказались работниками, которым готовилось угощение и которые, угостившись, работниками быть отказались.

Не воры – пакостники.

16

Все чаще и дотошней, решившись на переезд, стал раздумывать Иван Петрович: что надо человеку, чтобы жить спокойно? Если есть у него работа, на которую он не смотрит как на каторгу, и семья, к которой его тянет, – что требуется еще, чтобы, проснувшись ненароком ночью, не чаял он дождаться утра для желанной подвижки?

Начать с достатка… Достаток – да, он надобен, без него человек начинает хлябать, как отошедшая от мяса кость. Но достаток – это не только запас в себя, на себя и за себя, не только то, что требуется сегодня и потребуется завтра для удовлетворения живота, а также для удовлетворения самому выйти и другим нос утереть. Когда бы так, до чего бы все было просто. Но боров в теплом закутке не может не знать, что его откармливают на мясо, потому что хоть маленькие и заплывшие да есть у него глаза, способные видеть, что работа у тех, кого не на мясо, не только жрать, а жизнь – не одно лишь ожидание жратвы. Человек, окруживший себя целой оравой подспорья, вырабатывающего достаток, обязан иметь внутри этого достатка что-то особое, происходящее из себя, а не из одного лишь хвать-похвать, что-то причинное и

контролирующее, заставляющее достаток стыдиться вопреки себе полной своей коробушки.

Ну ладно, о достатке потом.

Не только во имя его превосходительства брюха делается работа. Сколько их, неработающих или едва работающих, набивают брюхо ничуть не хуже, сейчас это легко.

Работа – это то, что остается после тебя. Тебя нет, ты уже и сам становишься работой для других, а она долго-долго еще будет напоминать о тебе живущим вслед за тобой. Так говорят. Так оно и есть, тем более, если работа твоя вливается в полезную реку. Есть две реки – с полезным и бесполезным течениями, и какое из них мощней, туда и сдвигается общая жизнь. Но это опять-таки в общем, в каких-то огромных, надчеловеческих понятиях, а что должен испытывать он, чуть свет выезжающий завтра за двадцать и тридцать километров, чтобы привезти за смену свои кубометры древесины? Конечно, уже сам язык: километры, кубометры, древесина – вроде бы должен определять чувства, наталкивая их на рубли. Но это не так. Не совсем так. Не рубли его подстегивают, заставляя перегружать КрАЗ и выкраивать лишний рейс, а сама работа, берущая единым охватом сотни людей. В работе он не помнит что это километры, кубометры и рубли, он возносился над ними в какую-то иную высь, где нет никакой бухгалтерии, а есть лишь движение, ритм и празднество. Там он постоянно двигается попутно, а потому двигаться легко. Чему попутно, он не мог бы сказать, похоже, попутно душе, ее изначальному наклону; там он весь превращается в ответ на чей-то стремительный зов, душа его выструнивается и начинает раскрыто и вольно звучать.

Да, он работник, он за собой это знает, и с той высоты, на которую он взмывает в работе, жизнь видится надежней всего.

Четыре подпорки у человека в жизни: дом с семьей, работа, люди, с кем вместе правишь праздники и будни, и земля, на которой стоит твой дом. И все четыре одна важней другой. Захромает какая – весь свет внаклон. Это только в детских глазах мир выглядит как чудесный подарок, сияющий солнцем и наполненный людским доброжелательством. Чем дальше от рождения, тем больше поднимающееся солнце высвечивает его расстроенность и разнобой. В младых летах Иван Петровичу казалось, что это недостроенность, незаконченность в долгой и тяжелой работе, требующей продолжения, но затем стало видно, что, не будучи достроенным, он расшатался и на старых основаниях, а люди торопливо возводят все новые и новые, раскачивающиеся на незакрепленных низах.

Ни в какие времена люди не приближались, вероятно, к подавляющей добросклонности, и всегда на одного склонного приходилось двое-трое уклонных. Но добро и зло отличались, имели собственный четкий образ. Не говорили: зло – это обратная сторона добра с тем же самым лицом, косящим не вправо, а влево, а считалось, что зло – это еще не обращенная, вроде язычества, в лучшую нравственную религию сила, делающая дурно от своей неразвитой звериной натуры, которая не понимает, что она делает дурно. Если бы удалось между добром и злом провести черту, то вышло бы, что часть людей эту черту переступила, а часть еще нет, но все направлены в одну сторону – к добру. И с каждым поколением число переступивших увеличивается.

Что затем произошло, понять нельзя. Кто напугал их, уже переступивших черту и вкусивших добра, почему они повернули назад? Не сразу и не валом, но повернули. Движение через черту делалось двусторонним, люди принялись прогуливаться туда и обратно, по-приятельски пристраиваясь то к одной

компании, то к другой, и растерли, затоптали разделяющую границу. Добро и зло перемешались. Добро в чистом виде превратилось в слабость, зло – в силу.

Что такое теперь хороший или плохой человек? А ничего. Устаревшие слова, оставшиеся в языке как воспоминание о дедовских временах, когда с простотой и наивностью человека оценивали по его душевным жестам, по способности или неспособности чувствовать, как свое собственное, чужое страдание. В житейской же практике уже тот ныне хороший человек, кто не делает зла, кто без спросу ни во что не вмешивается и ничему не мешает. Не естественная склонность к добру стала мерилом хорошего человека, а избранное удобное положение между добром и злом, постоянная и уравновешенная температура души. «Хата с краю» с окнами на две стороны перебралась в центр.

Что прежде творилось по неразумению, сделалось искусом просвещенного ума. От чего веками уходили, к тому и пришли. Не пришли, а скоренько подъехали на моторе, объявив величайшей победой человека то именно, что уходили пешком, а подъехали на моторе.

Так вот, о достатке. Есть достаток, и даже не маленький, а все не живется человеку с уверенностью ни в сегодняшнем, ни в завтрашнем дне, все словно бы бьет его озноб, и озирается он беспокойно по сторонам. Не весь, стало быть, достаток, чего-то недостает. Себя, что ли, недостает – каким мог он быть при лучшем исходе, и эта разница между тем, чем стал человек и чем мог он быть, взыскивает с него за каждый шаг отклонения.

В долгих и обрывистых раздумьях перебирая жизнь во всем ее распахе и обороте, пришел Иван Петрович к одному итогу. Чтобы человеку чувствовать себя в жизни сносно, нужно быть дома. Вот: дома. Поперед всего – дома, а не на постое, в себе, в своем собственном

внутреннем хозяйстве, где все имеет определенное, издавна заведенное место и службу. Затем дома – в избе, на квартире, откуда с одной стороны уходишь на работу, и с другой – в себя. И дома – на родной земле.

И нигде не получалось у него быть дома. На земле – что не затоплено, то опорожнено лесозаготовками, и ни заботы этой земле, ни привета. В себе полный тарарам, как на разбитом и переворошенном возу. А коль нет приюта ни там, ни там, не будет его, как ни старайся, и посредине.

– Уезжаешь, значит? – спросил Афоня, вместе с которым вышли после работы из гаража. Слух уж прошел, что подал Иван Петрович заявление.

– Уезжаю.

– И что там, куда едешь?

– Хлебушко. Пашут, сеют, а уж после убирают. Помнишь, как в Егоровке было?

– А заработки как?

– Поменьше, наверно. Но мне теперь много не надо. Не то спрашивал Афоня и не то отвечал ему Иван Петрович. Не то. Пока не сказал Афоня:

– Ты уедешь, я уеду – кто останется?

– Кто-нибудь останется.

– Кто? Кто – кто-нибудь, Иван Петрович? – на последнем голосовом дожиме не сказал – простонал Афоня. – Эх!... Неужто так и бросим?! Обчистим до ниточки и бросим! И нате – берите, кому не лень!

– Устал я, Афоня. Исстервозился. Сам видишь, никакого от меня толку.

– А Егоровка?

– Что Егоровка?

Думал, скажет Афоня: в нас она, в нас. Думал, начнет говорить, что уедем мы отсюда – и будто не было ее, Егоровки нашей, никогда, а пока здесь – и память о ней живет. Потому что и сам так же рассуждал. Но сказал Афоня:

– Найдешь ты место на воде, где стояла Егоровка?

– Не знаю. Прикину – найду.

– А я вот хочу нонешним летом знак какой поставить на этом месте. Что стояла тут Егоровка, работницей была не последней, на матушку-Россию работала.

– Как же ты поставишь? Кто тебе позволит?

– А кто мне запретит? Нету такого запрета, Иван Петрович. Не слыхал, чтоб такой запрет был. Никогда не слыхал. Если на земле можно, почему на воде нельзя?

Иван Петрович опомнился:

– Игрушки все это. Маленький ты, что ли, такими игрушками играть? Кому от них легче?

– Эх, Иван Петрович, – как-то свободно, но не облегченно, от горькой души, рассмеялся Афоня. – Прикинь-ка: столько игрушек кругом... может, моя не лишняя будет?

Ему надо было сворачивать в свой заулок – он свернул.

17

Так оно и водится: пока без огня, тужились они с Афоней вдвоем, а налетел огонь – сбежались и люди. И густо их теперь кипело, как в котле, в последнем складу, откуда выплескивало беловатой накипью – летели без разбору мешки с мукой, с крупой и с сахаром. И все норовили туда, под жар и накал. Оно бы и не худо, хлеб же, не что иное спасают, да промелькивали среди спасателей пьяные. Одного – парня, с которым сбивали крышу, а после выкатывали масло, – Иван Петрович выхватил из пекла, когда уж он ничего не соображал. Выхватил и спустил под дорогу,

где тот и пристроился с ночевой на муке. Другого, архаровца в подгоревшей телогрейке, кто-то выпихнул изнутри как мешок, и, пока валялся он среди мешков, возясь и устанавливаясь на ноги, заметил Иван Петрович на нем новые, неразношенные валенки.

Выбрасывали мешки сразу за дверь, выбрасывали лишь бы выбросить, выхватить из огня. И здесь, в двух шагах от склада, было для них не спасение. Рухнет крыша, и там же, под огнем, все и останется. Иван Петрович взялся оттаскивать к забору. Он уже и не взваливал на плечи, а натягивал на жидкий живот и с неловким подбегом сбрасывал под уклон. Там опять кто-то подхватывал и выносил на дорогу. И по тому, как подхватывал, косолапо загребая под бок, Иван Петрович определил, что то был однорукий Савелий.

Здоровый мужик однорукий Савелий, неизработанный и цепкий, не глядя на годы. И сегодня он ворочал и ворочал, несуетно и споро, и сильная его рука, как клешня, не срывалась, когда ухватывал он мешок.

Кто-то пьяным голосом звал Ивана Петровича. Если доходил голос, значит, не из огня, значит, не горит человек, – и не оборачивается Иван Петрович. Счет теперь пошел на последние минуты.

Зачем-то ему понадобилось: что сейчас – ночь или утро? Понадобилось больше желания упасть и отдышаться. Он вскинул глаза к горе, откуда выходит рассвет, и там, показалось ему, темь как бы сыреет, берется мутноватой влагой. Стало быть, близко к утру. С завороченными глазами он запнулся и едва не упал.

И странно: то вдруг все вокруг умолкало, и Иван Петрович оставался в полной тишине и безлюдье, то опять налетали звуки и начинали рядом метаться люди. И тогда оборванно отдавался в нем каждый крик – будто в него он и метил и в нем оседал, и тогда, не глядя, видел он весь двор с горящими теперь уже

полным охватом складами, раззявленными на месте заборов сторонами и беспорядочной круговертью внутри.

В углу, где загорелось, догорало низовым жаром. Там, казалось, и было поддувало, оттуда выносило огонь на два плеча широким и загнутым коромыслом, на концах которого сквозь пламя еще протемнивали, как подвеси, крайние склады. Тот, что был на пути к магазину, мужики наполовину растаскали, там опять командовал голос Козельцова. Они наскакивали и отскакивали, наскакивали и отскакивали, их отметало раскалом как комаров.

Не гуд, не свист и не вой был тем основным звуком, с которым буйствовал огонь, а треск, могучий треск – словно выламывалось пламя из дерева и, взметываясь, распарывало небо.

И все кричали и кричали во дворе.

Валя-кладовщица требовала у Водникова комиссию, чтоб, не откладывая, сделать опись спасенного. Борис Тимофеич сорванным голосом выкашливал:

– Какая комиссия?! Очумела ты? Какая счас комиссия! Ты погляди!

– Нет, это ты погляди! – Валя выбрасывала руки и разводила их по кругу. – Тут че осталось, ты погляди! Ящики считанные были, – она показывала на штабеля из ящиков с водкой. – Шестьдесят восемь ящиков было сосчитано где они, шестьдесят восемь?!

– Пропади они пропадом, твои ящики! Кто их вытаскивал? Я не давал распоряжения, чтоб их вытаскивали! Пускай горят.

– Нет, это пропади они пропадом, твои работники! Эти ящики у меня на шее сидят!

И как плеснуло на нее, что еще сидит у нее на шее, да как сдавило каленым обручем эту тонкую шею, зарыдала опять Валя. А когда отняла она от лица руки, Водникова рядом уже не было, а топтался рядом дядя

Миша Хампо, порывающийся как-нибудь пожалеть беднягу.

– Ты смотри, дядя Миша, смотри, – в десятый раз сквозь слезы попросила она и принялась подтаскивать, ей помогал дядя Миша, развaленное и разбросанное к одному табору.

В мучном складу стали покрикивать громче и дурней – без крику, без того, чтобы не понуждать и не рвануть себя, не получалось. И все чаще, выбрасывая мешки, стали задерживаться мужики – чтоб хватануть воздуха. Иван Петрович по-прежнему стоял на перевале. Ни рук и ни ног он не чуял под собой, и в загонистом темпе потерялось и не взбрыкивало больше сердце. Одно лишь помнил: взвалить, удержать и свалить, и три этих нехитрых приема, повторенные без счету, на три дыха и делили его пробежки.

Выпуская из рук мешок, в общем движущемся беспорядке он почувствовал какой-то особый вывих. И верно, как бы не увидел, а почувствовал неладное и только потом посмотрел. И опять чья-то фигура ушла дальше, чем требовал беспорядок, и уходила она к бане, уходила туда и уносила мешок. Иван Петрович спустился к дороге. На обратном ходу фигура дернулась, заметив, что ее ждут, и прибавила шагу. Не из тех был Савелий, чтобы растеряться.

– Что ж ты делаешь? – встретил его Иван Петрович. – Оголодал?

– А ты видел?

– Видел.

– Ни хрена ты не видел. Ты заявление написал. Ты теперь туда смотри, куда написал. Понял?

И опустил свою единственную, тяжелую руку на плечо Ивану Петровичу.

Почему это, когда хотят внушить что-то недоброе, хлопают по плечу.

Успели. В последнем складу подобрали все и вывалились наружу – орущие, запаленные и бешеные. Кричал диким ревом и Афоня Бронников, всегда спокойный и уравновешенный мужик, похожий сейчас на матерого дьявола: в муке, в саже и расхлобыст. Иван Петрович смотрел на них удивленно и виновато, будто он здесь стоял руки в брюки. Бухнуло чем-то внутри опорожненного склада и завыло и вырвало огонь наверх, соединяя последним прихватом весь продовольственный ряд в одно высокое ревущее горение.

Кто-то окончательно угорев, с отчаянным хрипом вырывал из себя:

Вра-гу не сда-ет-ся наш гор-дый «Ва-ряг»!
По-ща-ды ник-то не же-ла-ет!

Дядя Миша Хампо, на всякое в этой жаркой суматохе наглядевшийся, все же протер для верности глаза: двое играли в мяч. Разбитый и разлохмаченный, похожий на большой рыхлый сверток, он отлетал от ноги одного к другому, отлетал от другого и так, под пинками и бросками, зигзагами подвигался к сваленному забору. Дядя Миша оглянулся, чтобы показать, и никого поблизости не случилось. Мяч тем временем плюхнулся на забор, из него что-то вывалилось. Не раздумывая больше, Хампо кинулся к игрокам. Один их них подхватил мяч руками, перекинул в улицу и прыгнул сам. Дядя Миша прыгнул за ним. И когда тот нагнулся, чтобы поднять, дядя Миша настиг его, опустив на воротник здоровую руку, оторвал, как ребенка, от земли и успел рассмотреть, что мячом действительно был сверток с выглядывающими веером цветными тряпками. А тот, кто подымал его, был Соня.

Хампо только-только сумел рассмотреть, кто это и что, как сбоку на него обрушился удар. Он успел

перебрать руку, огрести Соню за шею и притянуть к себе. Тот завизжал по-поросячьи, норовя подпрыгами поддеть дядю Мишу на калган. И снова и снова ударили его чем-то тяжелым – не руками. Дядя Миша тянул голову, чтобы увидеть, кто бьет, но никак не мог поднять ее и только выставлял правую, не подвластную ему руку, пытаясь защититься. И все били и били его, все били и били…

Так потом и увидел их Иван Петрович: лежат на истоптанном снегу в обнимку – маленький, скрюченный в три погибели Соня и навалившийся на него с вывернутой головой дядя Миша Хампо. А в пяти шагах валяется колотушка.

18

Всему приходит конец. Отошла и эта страшная ночь, встало утро, и при белом свете опустился огонь вниз и приутих, устало добирая остатки. Утро встало теплое и сырое, и едкий дым, не подымаясь, обволок поселок и не сходил с него. И по берегу, и по льду темнели и чадили головешки, расквашенный грязный двор, резко очерченный с двух сторон широкой и дымящей полосой пожарища, представлял из себя что-то до жути окончательное и безнадежное. И уцелевший зелененький магазинчик ничуть не успокаивал, а добавлял, напротив, выбивающимся своим видом и горечи, и боли, и угара.

Под огромным новым брезентом так и лежало посреди двора спасенное орсовское добро. И под брезентом же лежали до сей поры не разлученные дядя Миша Хампо и Соня. И там и там стояла над брезентами охрана, никого не подпуская и не вступая в разговоры.

Ждали милиционера и следователя. Ждали комиссию – и одну, и вторую, и третью, которым теперь не будет конца… Ждали собственное начальство и высокое приездное. С первым рабочим часом во все адреса посланы были телеграммы. Оставили всякие труды, тихо было в гараже и на улицах, и ни звука не доносилось с нижнего склада. Ждали.

Ждали: что будет дальше?

…Иван Петрович, воротившись с пожара, не прилег. Печь топилась, когда он пришел, Алена и под бомбежкой не забыла бы обиходить дом, и сразу подано было на скорую, руку на стол. А подав, Алена горько-горько зарыдала и упала в кровать.

Иван Петрович посидел, посидел, не притронувшись к еде, потом переобулся, посмотрел в окно, как несет с берега дым, и вышел. Он пошел к Афоне, чтобы успеть до того, как Афоня свалится в сон. Но и Афоня не собирался ложиться. Дочь промывала и смазывала ему чем-то две глубокие, как раны, запекшиеся кровью ссадины на лбу и подбородке. Когда дочь отнимала руки, он прихлебывал из огромной металлической кружки чай.

Спросил Иван Петрович:

– Что будем делать, Афанасий? Ты знаешь, что теперь делать, нет?

– Жить будем, – морщась то ли от потревоженных ран, то ли от потревоженной души, сказал Афоня. – Тяжелое это дело, Иван Петрович, – жить на свете, а все равно… все равно надо жить.

И тоже спросил, отхлебнув из кружки:

– А ты что решил делать?

– Будем жить, – только и переставив те же самые слова другим порядком, ответил Иван Петрович.

19

Тихая, печальная и притаенная, будто и она страдала от ночного несчастья, лежала в рыхлом снегу земля. От горы открытым полем она полого соскальзывала вниз и за редкими сосенками переходила в лед. По горе стоял лес, из него выдвигались в поле две темные пустошки, лес чернел и впереди, куда шел от поселка Иван Петрович, но там и совсем редью, за которой начинался залив. На притыке к первой пустошке, тесня ее от дороги, положено было кладбище, куда отдавать на днях отстрадовавшегося егоровского мужика и потерявшего имя безвестного горемыку. Они, люди живые, отрядят, кого куда опустить, но ей, земле, решать, ей, вынашивающей правых и виноватых, своих и чужих, собственным поставом судить, что потом из кого выйдет.

Тихо-тихо кругом – как в отстое, в котором набирается новое движение. Не достигал сюда дым из поселка, в обеднявшем приглушенном свету виделось далеко и чисто.

Отяжелевшее, несвежей белизны небо, такое же, как подтаявшее под ним поле, длинным уклоном уходило за Ангару, где садится солнце. И там темнел лес, и там неплотно.

Но уже натягивались отзывчиво, поддаваясь первому отогреву, сосенки на берегу и пригарчивал воздух, уже вязко проседал под ногами снег и отмякал дальний речной раствор. Весна отыскала и эту землю – и просыпалась земля. Устраивать ей теперь переклик, что уцелело и что отмерло, что прибавилось от людей и что убавилось, собирать уцелевшее и неотмершее в одну живу и приготавливать к выносу. Разогреется солнышко – и опять, как и каждую весну, вынесет она

все свое хозяйство в зелени и цвету и представит для уговорных трудов. И не вспомнит, что не держит того уговора человек.

Никакая земля не бывает безродной.

Иван Петрович все шел и шел, уходя из поселка и, как казалось ему, из себя, все дальше и дальше вдавливаясь-вступая в обретенное одиночество. И не потому только это ощущалось одиночеством, что не было рядом с ним никого из людей, но и потому еще, что и в себе он чувствовал пустоту и однозвучность. Согласие это было или усталость, недолгая завороженность или начавшееся затвердение – как знать! – но легко, освобожденно и ровно шагалось ему, будто случайно отыскал он и шаг свой и вздох, будто вынесло его наконец на верную дорогу. Пахло смолью, но не человек в нем чуял этот запах, а что-то иное, что-то слившееся воедино со смоляным духом; стучал дятел по сухой лесине, но не дятел это стучал, а благодарно и торопливо отзывалось чему-то сердце. Издали-далеко видел он себя: идет по весенней земле маленький заблудившийся человек, отчаявшийся найти свой дом, и вот зайдет он сейчас за перелесок и скроется навсегда.

Молчит, не то встречая, не то провожая его, земля.

Молчит земля.

Что ты есть, молчаливая наша земля, доколе молчишь ты?

И разве молчишь ты?

ПОСЛЕДНИЙ СРОК

1

Старуха Анна лежала на узкой железной кровати возле русской печки и дожидалась смерти, время для которой вроде приспело: старухе было под восемьдесят. Она долго пересиливала себя и держалась на ногах, но три года назад, оставшись совсем без силенок, сдалась и слегла. Летом ей будто легчало, и она выползала во двор, грелась на солнышке, а то и переходила с роздыхом через улицу к старухе Миронихе, но к осени, перед снегом, последняя мочь оставляла ее, и она по утрам не в состоянии была даже вынести за собой горшок, доставшийся ей от внучки Нинки. А после того как старуха два или три раза подряд завалилась у крыльца, ей и вовсе приказали не подниматься, и вся ее жизнь осталась в том, чтобы сесть, посидеть, опустив на пол ноги, а потом опять лечь и лежать.

За свою жизнь старуха рожала много и любила рожать, но теперь в живых у нее осталось только пятеро. Получилось так оттого, что сначала к ним в семью, как хорек в курятник, повадилась ходить смерть, потом началась война. Но пятеро сохранились: три дочери и два сына. Одна дочь жила в районе, другая в городе, а третья и совсем далеко — в Киеве. Старший сын с севера, где он оставался после армии, тоже перебрался в город, а у младшего, у Михаила, который один из всех не уехал из деревни, старуха и доживала свой век, стараясь не досаждать его семье своей старостью.

В этот раз все шло к тому, что старухе не перезимовать. Уже с лета, как только оно пошло на убыль, старуха стала обмирать, и только уколы фельдшерицы, за которой бегала Нинка, доставали ее с того света. Приходя в себя, она тоненько, не своим голосом, стонала, из глаз ее выдавливались слезы, и она причитала:

— Сколь раз я вам говорила: не трогайте меня, дайте мне самой на спокой уйти. Я бы тепери где-е была, если бы не ваша фельдшерица. — И учила Нинку: — Ты не бегай боле за ей, не бегай. Скажет тебе мамка бежать, а ты спрячься в баню, подожди, а потом скажи: нету ее дома. Я тебе за это конфетку дам — сладкую такую.

В начале сентября на старуху навалилась другая напасть: ее стал одолевать сон. Она уже не пила, не ела, а только спала. Тронут ее — откроет глаза, глянет мутно, ничего не видя перед собой, и опять заснет. А трогали ее часто — чтобы знать: жива, не жива. Высохла и ближе к концу вся пожелтела — покойник покойником, только что дыхание не вышло.

Когда окончательно стало ясно, что старуха не сегодня-завтра отойдет, Михаил пошел на почту и отбил брату и сестрам телеграммы — чтобы приезжали. Потом растолкал старуху, предупредил:.

Первой, уже на другое утро, приехала старшая старухина дочь Варвара. Ей добираться из района было недалеко, всего-то пятьдесят километров, и для этого ей хватило попутной машины.

Варвара открыла ворота, никого не увидела во дворе и сразу, как включила себя, заголосила:

— Матушка ты моя-а-а! Михаил выскочил на крыльцо:

— Погоди ты! Живая она, спит. Не кричи хоть на улице, а то соберешь сейчас всю деревню.

Варвара, не глядя на него, прошла в избу, у старухиной кровати тяжело стукнулась на колени и, мотая головой, снова взвыла:

— Матушка ты моя-а-а!

Старуха не пробудилась, ни одна кровинка не выступила на ее лице. Михаил пошлепал старуху по провалившимся щекам, и только тогда ее глаза изнутри

задвигались, зашевелились, пытаясь открыться, и не смогли.

— Мать, — тормошил Михаил, — Варвара приехала, погляди.

— Матушка, — старалась Варвара. — Это я, твоя старшая. Я к тебе повидаться приехала, а ты на меня и не смотришь. Матушка-а-а!

Глаза у старухи еще покачались-покачались, словно чашечки весов, и остановились, сомкнулись. Варвара поднялась и отошла плакать к столу — где удобнее. Она рыдала долго, пристукивая головой о стол, зашлась в слезах и уже никак не могла остановиться. Возле нее ходила пятилетняя Нинка, пригибалась, чтобы заглянуть, почему Варварины слезы не бегут на пол; Нинку прогоняли, но она, хитря, снова прокрадывалась и лезла к столу.

Вечером, на счастливо подгадавшей «Ракете», которая ходит только два раза в неделю, приехали городские — Илья и Люся. Михаил встретил их на пристани и повел в дом, где все они родились и выросли. Шли молча: Люся и Илья по узкому и шаткому деревянному тротуарчику, Михаил рядом, по комкам засохшей грязи. Деревенские здоровались с Люсей и Ильей, но не задерживали разговорами, проходили и с интересом оглядывались. Из окон на приехавших таращились старухи и ребятишки, старухи крестились. Варвара при виде брата и сестры не утерпела:

— Матушка-то наша… Матушка-а-а!

— Погоди ты, — опять остановил ее Михаил. — Успеешь.

Сошлись все у старухиной кровати — и Надя, Михайлова жена, тут же, и Нинка. Старуха лежала недвижимо и стыло — то ли в самом конце жизни, то ли в самом начале смерти. Варвара ахнула:

— Не жива.

На нее никто не цыкнул, все испуганно зашевелились. Люся торопливо поднесла ладонь к открытому рту старухи и не почувствовала дыхания.

— Зеркало, — вспомнила она. — Дайте зеркало.

Надя кинулась к столу, на ходу вытирая о подол осколок зеркала, подала его Люсе; та торопливо опустила осколок к бескровным старухиным губам и с минуту подержала. Зеркальце чуть запотело.

— Жива, — с облегчением выдохнула она. — Жива наша мама.

Варвара опять спохватилась плакать, будто услышала все не так, Люся тоже опустила слезу и отошла. Зеркальце попало к Нинке. Она принялась на него дуть, заглядывая, что с ним после этого будет, но ничего интересного для себя не дождалась и, улучив момент, сунула зеркальце ко старухиному рту, как только что делала Люся. Михаил увидел, при всех отшлепал Нинку и вытолкал из комнаты.

Варвара вздохнула:

— Ах, матушка ты наша, матушка.

Надя спросила, куда подавать на стол — сюда, в комнату, или в кухню. Решили, что лучше в кухню — чтобы не тревожить мать. Михаил принес купленные со дня бутылку водки и бутылку портвейна, водку разлил себе и Илье, портвейн сестрам и жене.

— Татьяна наша сегодня уж не приедет, — сказал он. — Ждать не будем.

— Сегодня не на чем больше, ага, — согласился Илья. — Если вчера получила телеграмму, сегодня на самолет, в городе пересадка. Может, сейчас в районе сидит, а машины на ночь не идут — ага.

— Или в городе.

— Завтра будет.

— Завтра обязательно.

— Если завтра, то успеет.

Михаил на правах хозяина первый поднял рюмку:

— Давайте. За встречу надо.

— А чокаться-то можно ли? — испугалась Варвара.

— Можно, можно, мы не на поминках.

— Не говорите так.

— А, теперь говори, не говори…

— Давно мы вот так все вместе не сидели, — с грустью сказала вдруг Люся. — Татьяны только нет. Приедет Татьяна, и будто никто никуда не уезжал. Мы ведь раньше всегда за этим столом и собирались, в комнате только для гостей накрывали. Я даже на своем месте сижу. А Варвара не на своем. И ты, Илья, тоже.

— Где уж там — не уезжали! — стал обижаться Михаил. — Уехали — и совсем. Одна Варвара заглянет, когда картошки или еще чего надо. А вас будто и на свете нету.

— Варваре тут рядом.

— А вам прямо из Москвы ехать, — поддела Варвара. — День на пароходе — и тут. Уж хоть бы не говорили, раз за родню нас не признаете. Городские стали, была охота вам с деревенскими знаться!

— Ты, Варвара, не имеешь никакого права так говорить, — разволновалась Люся. — При чем здесь городские, деревенские? Ты думай, о чем говоришь.

— Ага, у Варвары, конечно, нету права говорить. Варвара не человек. Чё с ней разговаривать? Так, пустое место. Не сестра своим сестрам, братовьям. А если спросить тебя: сколько ты дома до сегодняшней поры не была? Варвара не человек, а Варвара матушку нашу проведывала, в год по скольку раз проведывала, хоть у Варвары — не твоя семья, побольше. А теперь Варвара и виноватая сделалась.

— Давно не была — чего там! — поддержал Варвару Михаил. — У нас еще Нинка не родилась, приезжала. А Илья в последний раз был — когда с севера переехал. Еще Нинку Надя от груди отнимала. Помнишь, горчицей соски мазали, ты смеялся.

Илья помнил, кивнул.

— Не могла, вот и не приезжала, — обиженно сказала Люся.

— Захотела, смогла бы, — не поверила Варвара.

— Что значит смогла бы, если я говорю, не могла? У меня такое здоровье, что если в отпуск не подлечиться, потом весь год будешь по больницам бегать.

— У Егорки всегда отговорки.

— При чем здесь какие-то Егорки и отговорки?

— А так, ни при чем. Вам уж и слова сказать нельзя. Важные стали.

— Ладно вам, — сказал Михаил. — Поехали еще по одной. Чего она будет киснуть?

— Поди, хватит, — предупредила Варвара. — Вам, мужикам, только бы напиться. Матушка при смерти лежит, а они тут разгулялись. Не вздумайте еще песни петь.

— Песни никто и не собирался петь. А выпить можно. Мы сами знаем, когда можно, когда нельзя — не маленькие.

— Ой, да с вами только свяжись.

Вот так они сидели и разговаривали за длинным деревянным столом, сколоченным их покойником-отцом лет пятьдесят назад. Все они, пожив отдельно, теперь мало походили друг на друга. Посмотреть на Варвару, она по виду годилась им в матери, и хотя только в прошлом году ей пошел шестой десяток, смотрелась она много хуже этого и уже сама походила на старуху, да еще, как никто в родове, была толстой и необоротистой. Одно она переняла от матери: рожала тоже много, одного за другим, но к той поре, когда она стала рожать, ребятишек научились оберегать от смерти, а войны на них еще не было — поэтому все они находились в целости и сохранности, только один парень сидел в тюрьме. Радости в своих ребятах Варвара видела мало: она мучилась и скандалила с

ними, пока они росли, мучится и скандалит сейчас, когда выросли. Из-за них раньше своих годов и состарилась.

За Варварой у старухи шел Илья, потом Люся, Михаил и последней была Татьяна, которую ждали из Киева.

Илью из-за малого роста до армии звали Ильей-коротким, и хоть длинного Ильи в деревне не было, прозвище это так и пристало к нему. Оттого что больше десяти лет он прожил на севере, волосы у него сильно повылезли, голова, как яйцо, оголилась и в хорошую погоду блестела, будто надраенная. Там, на севере, он и женился, да не совсем удачно, без поправки; брал за себя бабу нормальную, по росту, а пожили, она раздалась в полтора Ильи и от этого осмелела — даже до деревни доходили слухи, что Илья от нее терпит немало.

Люсе тоже уже больше сорока, но ей ни за что столько не дашь: она не по-здешнему моложавая, с чистым и гладким, как на фотокарточке, лицом и одета не как попало. Люся уехала из деревни сразу после войны и за столько лет научилась, конечно, у городских за собой доглядывать. Да и то сказать: какие у нее еще заботы без ребятишек? А ребятишек Люсе бог не дал.

У Михаила не то что у Ильи — волосы густые и кудрявые, борода и та курчавится, завивается в колечки. Лицом он тоже черный, но чернота эта не столько от родовы, сколько от солнца да от мороза — летом у реки на погрузке, зимой в лесу на валке — круглый год он на открытом воздухе.

Вот так они сидели и разговаривали за длинным кухонным столом, чтобы не мешать умирающей матери, ради которой впервые за много лет собрались в родном доме. Не хватало только Татьяны, самой младшей. У Михаила с Ильей еще было что выпить, женщины отставили от себя рюмки, но не вставали — сидели,

размякнув от встречи и разговоров, от всего, что выпало им в этот день, боясь того, что выпадет завтра.

— Надо было мне сразу и Володьке телеграмму отправить, — говорил Михаил. — Теперь бы уж здесь сидел, возле нас. Охота на него посмотреть, какой стал.

— Он где? — спросил Илья.

— В армии. Второй год уже доходит. Летом обещался приехать в отпуск, да, видать, проштрафился — не пустили. Пишет, что кто-то там из его отделения с поста ушел, а его, как командира, наказали. Может, и сам что натворил, там это недолго. Как думаешь, отпустят его, нет, если к бабке?

— Должны отпустить.

— Надо было вчера сразу и отбить. Дурака свалял. Думаю, как написать, чтоб не прискреблись? Внук все же, не сын.

— Так бы и написал: бабка плохая, срочно приезжай, — посоветовала Варвара.

Надя вся натянулась от потерянного счастья уже сейчас видеть перед собой сына.

— Я ему это же говорила, так он разве будет слушать?

— Подождите уж немножко, — сказала Люся.

— Лучше подождать, ага. А то можно только все испортить. Потом уж сразу: так и так.

— Ой-ёй-ёшеньки, — вздохнула Варвара. — Не думали, не гадали. Одна матушка на всех, и вот.

— Сколько тебе их надо? — хмыкнул Илья. Варвара обиделась:

— Ты прямо как не родной! Все с подковыркой. Все хочешь из меня дуру делать. А я не дурней тебя, можешь не подковыривать.

— Я и не думаю, что дурней. Чего, это ты взъелась?

— Ага, не думаешь.

Люся тихонько спросила у Нади:

— У вас швейная машинка есть?

— Есть, только не знаю, шьет ли она. Давно уж не открывала.

— Сегодня стала смотреть, а у меня, как назло, ни одного черного платья, — объяснила Люся. — Побежала в магазин, материал купила, а шить, конечно, некогда было, только скроила. Придется здесь.

— Не успеете сегодня.

— Успею, я быстро шью. Потом, когда лягут, тут, в кухне, и устроюсь.

— Ладно, я достану, посмотрите.

Перед тем как укладываться, сошлись опять возле матери, чтобы знать, с чем ложиться. Люся попробовала найти пульс и кое-как нащупала его — чуть живой. Михаил не утерпел и подергал мать за плечо, и тогда вдруг услыхали, как откуда-то изнутри донесся стон не стон, храп не храп, будто и не материн вовсе, чужой, будто, занятая своим делом, огрызнулась смерть. На Михаила зашикали, но от этого звука сделалось всем не по себе, даже Нинка полезла к Наде, присмирела.

— Хоть бы до белого дня дожила, — всхлипнула Варвара и умолкла.

Стали укладываться. Изба была большая, но по-деревенски перегорожен всего на две половины: в одной лежала старуха, в другой спала Михайлова семья. Надя себе и Михаилу постелила на полу, а свою кровать отдала Люсе. Для Варвары нашлась раскладушка, которую поставили на старухиной половине, чтобы Варвара присматривала за матерью. Там же собирались положить на пол Илью, но он захотел спать в бане, баня у Михаила была чистая, без сажи и прелого духа и стояла в ограде. Илье дали доху и фуфайки под низ, а наверх ватное одеяло, и он ушел, наказав, чтобы в случае чего будили.

Электричество у старухи выключили, зажгли лампу. Решили держать свет всю ночь, только убавили фитиль.

Надя достала машинку, поставила ее на тот же стол, за которым сидели, и Люся сначала испробовала ее ход на тряпке. Машинка шила хорошо.

— Ложись, — сказала Люся Наде. — Усни, пока можно. Неизвестно еще, какая сегодня будет ночь.

Надя ушла. Ее о чем-то спросил Михаил, она что-то ответила — все шепотом.

Застрекотала машинка, и Люся сама испугалась, выпустила ручку — до того громким, как стрельба, показался ее стук. На него тут же пришлепала напуганная Варвара. Увидев Люсю, чуть остыла:

— Слава тебе, господи! Думаю, кто тут такой. Прямо всю затрясло. Чё это тебе приспичило?

Люся не ответила, шила.

— На похороны, чё ли, черное-то приготовляешь?

— Не понимаю: неужели об этом обязательно надо спрашивать?

— А чё я такого сказала?

— Ничего.

— Шей, я тебе ничё не говорю. Я вот посижу возле тебя маленько и уйду. Мешать не буду.

Варвара придвинула табуретку, пристроилась сбоку. Она так и не разделась, только отцепила чулки, и они стянутой кожей болтались ниже колен.

Где-то на реке отдаленно и сдавленно гуднул пароход, потом еще и еще. Варвара подняла голову, прислушиваясь, от напряжения сморщилась.

— Чё это он кричит?

— Не знаю. Сигналы кому-то подает.

— Другого места не нашел, где подавать. Прямо всю перевернуло.

Она еще посидела и нехотя поднялась:

— Пойду. Ты долго здесь будешь?

— Пока не сошью.

— Не надо было нам сегодня ложиться, ох, не надо было, — покачала головой Варвара. — Сидели бы,

разговаривали — все веселей. Чует мое сердце — не к добру это.

Она ушла, но скоро воротилась, пугая Люсю, прислонилась к стенке.

— Что? — спросила Люся.

— Или уж мне кажется, или правда. Иди, посмотри. Иди.

Люся не поверила, но сказать, что не верит, не смогла, пошла к матери. Она держала ее руку, но слышала за своей спиной только тяжелое, со свистом, дыхание Варвары: и-а, и-а, й-а… Пришлось отогнать ее, и лишь тогда, и то не сразу, до Люси донеслись, угадываясь, будто за много-много километров, совсем тихие, теряющиеся толчки. Ей показалось, что с прошлого раза они стали еще слабей и шли не подряд, а через один.

— Ты ложись, — жалея сестру, сказала Люся. — Я пока шью, буду смотреть, а потом разбужу тебя.

— Да разве я усну? — по-ребячьи захныкала Варвара. — Илья хитрый какой, ушел из избы, а тут как хошь. Разве мне теперь до сна? Все буду думать, как да что. Лучше я возле тебя посижу.

— Сиди, если хочешь.

— Я тихонько буду.

Она опять пристроилась рядом, вздыхая, трогала материал, смотрела, как Люся шьет.

— Ты это платье после с собой обратно повезешь, нет? — спросила она.

— А что?

— Я к тому, что, если не повезешь, я могла бы взять.

— Зачем оно тебе? Оно же на тебя не полезет.

— Я не себе. У меня девка уж с тебя вымахала. На нее как раз будет.

— А что, твоей девке носить нечего?

— Оно, можно сказать, и нечего. Есть у нее платьишки, да уж все поизносились. А девке, известно,

пофорсить охота.

— В черном-то какой же форс?

— Она у меня не привередливая. В дождь когда выйти. В цветастом не пойдешь.

Люся пообещала:

— Уезжать буду, отдам.

— Я так и скажу: от тетки, — обрадовалась Варвара.

— Говори, как хочешь.

Когда замолчали и Люся остановила машинку, стало слышно, как кто-то храпит на Михайловой половине. Варвара насторожилась:

— Кто бы это? — Потом, когда храп окреп, рассердилась: — Бессовестный какой. Нашел время. Прямо ни стыда, ни совести у людей. Сын родной называется. — Она умолкла и вдруг жалостно попросила: — Пойдем, еще раз посмотрим. Я одна боюсь.

Старуха была все так же: жива и не жива. Все умерло в ней, и только сердце, разогнавшись за долгую жизнь, продолжало шевелиться. Но видно было: совсем-совсем мало осталось ему держаться. Может, только до утра.

Пока Люся шила, Варвара так и не легла. И то потом Люсе пришлось положить ее на свою кровать, а самой идти на старухину половину — иначе Варвара все равно не дала бы ей уснуть.

2

В свой черед засветилось утро, стало проясняться, но еще до солнца с реки нанесло такого густого и непроглядного тумана, что все в нем утонуло, потерялось. Утробно кричали по деревне коровы,

горланили петухи, коротко и приглушенно, будто рыба плещет в воде, доносились людские звуки — все в белой, моросящей зге, в которой только себя и видать. Светало теперь и без того поздно, а тут еще этот туман украл утро, заставил тыкаться наугад.

Первой в старухиной избе поднялась Надя. До недавней поры ее постоянно будила, услыхав корову, свекровь, и Надя, если она даже не спала, все равно начинала утро только после того, как ее позовет из своей кровати старуха. Вот и сейчас она встала не сразу, а по привычке подождала старухиного голоса, хоть и знала, что его не будет. Его и не было, зато, надсаживаясь, кричала недоёная корова, и Наде пришлось подняться. Все время помня о старухе и боясь узнать, умерла она или не умерла, Надя неслышно оделась и крадучись вышла из избы, в сенях сняла с гвоздя подойник.

Следом за ней тут же поднялась привыкшая рано вставать Варвара. Она увидела, что Нади нет, а все остальные спят, и кряду раз пять громко и тяжело вздохнула, оканчивая вздохи протяжным стоном, чтобы разбудить Михаила, который спал на полу. Но он даже не пошевелился. Тогда Варвара вздохнула для себя и сама не заметила, что вздохнула; ей стало страшновато в доме, где всех живых будто заговорили сном. Стараясь кому-то не выдать себя, она тихонько, с опаской, прошла ко второй половине, где лежала старуха, и в дверях остановилась. Дверей, которые можно открывать и закрывать, в избе, кроме входных, не было, а был только дверной проем — в нем Варвара и встала, боязливо заглядывая в полутемную комнату. Старухиного лица она не увидела, оно было загорожено спинкой кровати, но что-то — живое или уж мертвое — находилось под одеялом, а пройти вперед, поглядеть Варвара не осмелилась и подалась обратно, думая, что

сначала надо сходить на двор, чтобы не бегать после, когда будет не до того.

С улицы Варвара и Надя воротились вместе; Надя принялась в кухне процеживать через марлю молоко, Варвара топталась тут же. На столе по-прежнему стояла машинка, оставшаяся после Люси, и Надя шепотом спросила:

— Сшила она вчера, нет?

— Сшила, — также шепотом ответила Варвара. — По мелочи только кой-чего не успела. — И не выдержала больше, взмолилась: — Пойдем, разбудим ее. Прямо не могу.

— Сейчас. Молоко вынесу.

Как привязанная, Варвара пошла за Надей в сени, потом еще раз, потому что одна банка осталась, а Варваре прихватить ее было не в ум, так и моталась туда-обратно ни с чем. Наконец, Надя освободилась, вытерла о тряпку руки и первая зашла на старухину половину.

Люся спала, и было видно, что она спит, про старуху сказать это никто бы не взялся. Надя взглянула на свекровь и скорей отвела глаза, а Варвара и посмотреть испугалась, стала теребить Люсю. Люся проснулась сразу и сразу вскочила, раскладушка от ее толчка отъехала в сторону.

— Что? — спрашивала Люся. — Что? Варвара приготовилась плакать:

— Не знаю. Сама не знаю. Ты погляди.

Приходя в себя, Люся пригладила руками волосы, надела халат, лежавший рядом на табуретке, и подошла к матери. Уже научившись распознавать жизнь, она подняла старухину руку и тут же уронила ее, отшатнулась: старуха вдруг тонко и жалобно простонала и опять застыла. Варвара запричитала:

— Матушка ты моя, матушка-а! Да открой же ты свои глазыньки-и!

Прибежал в кальсонах Михаил, спросонья не понял.

— Отмаялась? Ох, мать, мать... Надо телеграмму Володьке отбить.

— Ты что?! — остановила его Надя. — Ты почему такой-то?

Люся, нащупав у матери пульс, облегченно сказала:

— Жива.

— Живая?! — Михаил повернулся к Варваре, вскипел: — Какую холеру ты тогда здесь воешь, как при покойнике? Иди на улицу — Нинку еще разбудишь! Завела свою гармонь.

— Тише! — потребовала Люся. — Идите отсюда все.

Сама она еще до еды, пока Надя жарила картошку, села заметывать на новом платье петли и пришивать пуговицы, которые тоже привезла с собой из города.

Варвара со слезами пошла в баню, растолкала Илью:

— Живая наша матушка, живая. Он заворчал:

— Живая — так зачем будишь?

— Сказать тебе хотела, обрадовать.

— Выспался, тогда и сказала бы. А то в рань такую.

— Да уж не рано. Это туман.

Туман держался долго, до одиннадцатого часа, пока не нашлась какая-то сила, которая подняла его вверх. Сразу ударило солнце, еще ядреное, яркое с лета, и вся местность повеселела, радостно натянулась. Пошел сентябрь, но осенью еще и не пахло, даже картофельная ботва в огородах была зеленой, а в лесу только кое-где виднелись коричневые подпалины, будто прихватило солнцем в жаркий день.

В последние годы лето и осень как бы поменялись местами: в июне, в июле льют дожди, а потом до самого Покрова стоит красное вёдро, которое и хорошо, что вёдро, да плохо, что не в свое время. Вот и гадай теперь бабы, когда копать картошку: по старым срокам оно вроде бы и пора, и охота, пока стоит погода, дать картошке как следует налиться — какой там летом был

налив, когда она, как рыба, плавала в воде. Если подождать, вдруг опять зарядит ненастье — попробуй ее потом из грязи выколупывать. И хочется, и колется, никто не знает, где найдешь, где потеряешь. Так же и с сенокосом: один свалил траву по старинке и сгноил ее всю под дождем, другой пропьянствовал, не вышел, как собирался, и выгадал. Погода и та стала путаться, как выжившая из ума старуха, забывать, что за чем идет. Люди говорят, что это от морей, которых понаделали чуть не на каждой реке.

Надя изжарила свежую, только что подкопанную картошку и к ней в глубокой чашке поставила соленые рыжики, при виде которых Люся ахнула:

— Рыжики! Самые настоящие рыжики! Я уж забыла, что они еще на свете есть — сто лет не ела. Даже не верится.

— Рыжики — это ага, — причмокнул Илья. — Это вам не что-нибудь. Вот если бы к рыжикам да еще что-нибудь — это ага!

— Чего ж ты их вчера-то не поставила? — упрекнул Михаил Надю. — К выпивке оно в самый раз бы было. А так это только переводить их.

Надя, покрасневшая, обрадованная тем, что угодила гостям, объясняла:

— Я вчера и хотела достать, да думаю, не усолели, я ведь их недавно совсем и поставила. А утром полезла, стала пробовать — вроде ничего. Думаю, дай достану, может, кому в охотку придутся. Кушайте, если нравятся.

— Там еще-то у тебя остались?

— Немножко есть. Собирать-то никак и некому. Люди таскают, каждый день вижу, а у меня все руки не доходят, то одно, то другое. В это лето всего два раза и сбегала и то, где поближе.

— У нас Татьяна раньше любила рыжики собирать, — вспомнила Люся. — Все места знала. Я с ней как-то

пошла, она еще совсем девчонкой была, а не успела я оглянуться, у нее уже полное ведро. Спрашиваю: «Ты где их взяла?» — «Здесь». — «Почему они тебе попадаются, а мне нет?» — «Не знаю». Я говорю: «Ты их, наверное, заранее нарвала и где-нибудь спрятала, чтобы мне доказать». Она обиделась, ушла от меня, Так, поодиночке, и домой вернулись, она с полным ведром, а у меня только-только дно прикрыло.

— А она до конца никогда не выбирала, — объяснил Михаил. — Если маленький — оставит, а на другой день придет, он уже подрос. Все помнила. Она и меня с собой таскала. Мне что: скорей бы нарвать, что попадет, да домой. А она увидит, если я маленький сорвал, — ну на меня! Один раз разодрались в лесу. Я сам-то больше любил подосиновики собирать — быстрей, они все больше гнездами растут.

— Лучше всех у нас Илья грибы собирал, — засмеялась Люся. — Набьет в ведро травы, а сверху положит несколько грибов, будто ведро полное.

— Было, ага, — с удовольствием признался Илья.

— А помните, как мама всех нас отправляла рвать дикий лук за Верхнюю речку? Там какое-то болото было, а лук рос на кочках. Все вымокнем, вымажемся, пока нарвем, — даже смотреть смешно. Мешки сложим на сухом месте и прыгаем с кочки на кочку. И еще соревновались, кто больше нарвет, даже воровали друг у друга. А за чесноком плавали на остров, там же, напротив Верхней речки…

— На Еловик, — подсказал Михаил.

— На Еловик, да. Там еще косили для колхоза, вся деревня туда переезжала во время сенокоса. Помню, как я гребла: жарко, пауки жалят, сено лезет в волосы, под одежду…

— Пауты, поди, а не пауки, — буркнула Варвара. — Пауки паутину по углам плетут, а не жалят.

— Может, и пауты. Все равно у них какое-то другое название, это здесь так зовут. А для себя мы косили на другом острове… сейчас вспомню, как он называется. Тоже деревянное такое название.

— Лиственничник.

— Да, Лиственничник. А сколько смородины было на нем! — кусты лежат на земле от ягоды. Ешь, ешь, потом даже язык болит, все зубы отобьешь. Крупная такая смородина, вкусная. Час — и полное ведро. Там и теперь ее, наверное, много.

— Не-е-ет, что вы! — махнула рукой Надя. — Нету. Кустов и тех, считай, не осталось. Как леспромхоз стал, все унесли. Так только, поесть когда, и то ходишь, ходишь…

— Ой, как жалко!

— А сколько было синей ягоды на вышке! — тоже нету. Скот вытоптал, и люди совсем не жалеют.

— Что ж вы это так?

— Кто их знает! Хватают, будто в последний раз. С кустами попалось — с кустами, с листьями — с листьями унесут.

— Ну, рыжики-то, говорите, есть? — допытывалась Люся.

— Рыжики в этом году есть. Люди таскают.

— Надо хоть за рыжиками сходить.

— По рыжики-то сходить — можно было, поди, без телеграммы сюда приехать, — сказала Варвара.

Люсю это разозлило:

— С тобой, Варвара, совершенно невозможно стало разговаривать. Что ни скажи, все не так, все не по тебе, нельзя же только потому, что ты старше, так относиться к каждому нашему слову. Что это такое в конце концов?.

— Да никто ничё и не говорит, я не знаю, чё ты на меня взбеленилась.

— Я же еще и взбеленилась!

— Я, ли чё ли?

— Да вы кушайте, — стала просить Надя. — А то картошка совсем остынет. Холодная, она не вкусная. И рыжики хвалили, хвалили, а сами не берете. Кушайте все, а то теперь до обеда.

— Татьяна должна подъехать. Соберемся.

— К обеду должна, ага.

— Если из района, может, и раньше.

— Поди, в заезжей или у чужих людей ночевала, а к нам не пошла, побрезговала, — заранее пожаловалась Варвара.

— А у нее адрес-то ваш есть?

— Я откуда знаю, есть или нет? Она нам не пишет.

— Как же она тогда вас найдет?

— Поди, раньше-то бывала, помнит.

— Нет, Татьяна, если она в районе ночевала, обязательно зайдет, — сказал Михаил. — Татьяна у нас простая.

— Была простая, а теперь еще надо поглядеть, какая, — стояла на своем Варвара. — Столько дома не была.

— Ей дальше всех ехать, оттуда сильно-то не набываешься.

— А кто велел ей туда забираться? Уж если ей обязательно военный был нужон, они везде теперь есть, могла бы поближе где подыскать. А то, как сирота казанская, без огляду улетела и забыла, где родилась, кто родня.

Люся бессильно покачала головой:

— С нашей Варварой лучше не спорить. Она всегда права.

— Не любите, когда правду-то говорят.

— Вот видите. — Люся поднялась из-за стола, поблагодарила: — Спасибо, Надя. С таким удовольствием поела рыжиков.

— Да вы их мало совсем и брали. Не за что и спасибо говорить.

— Нет, для меня не мало. Мой желудок уже отвык от такой пищи, поэтому я боюсь его сразу перегружать.

— От рыжиков поносу не будет, — примирительно сказала Варвара. — Они для брюха не вредные. Я по себе это знаю, и ребятишки у меня никогда от рыжиков не бегали. — Она не поняла, почему Люся, охнув, ушла, и спросила у братьев: — Чё это она?

— Кто ее знает.

— Прямо ничё и сказать нельзя.

— А ты с ней по-городскому разговаривай, по-интеллигентному, а не так, — посмеиваясь, посоветовал Илья.

— Я-то по-городскому не умею, во всю жисть только раз там и была, а она-то, поди, из деревни вышла, могла бы со мной и по-деревенски поразговаривать.

— Она, может, разучилась.

— Она разучилась, я не научилась — чё ж нам теперь и слова не сказать?

После завтрака Михаил и Илья сели на крыльцо курить. День разгуливался, небо вместе с туманом отодвигалось все выше и выше, в синих, обрывающихся вдаль разводьях для него уже не хватало человеческого взгляда, который пугался этой красивой бездонности и искал, что поближе, на чем можно остановиться и передохнуть. Лес, приласканный солнцем, засветился зеленью, раздвинулся шире — на три стороны от деревни, оставив четвертую для реки. Во дворе, перед глазами мужиков, без всякой надобности, просто так, по своей охоте кудахтали и били крыльями курицы, чирикали молодки, от тепла и удовольствия повизгивал привалившийся к огородному пряслу боров.

Вышла Нинка, со сна ее ослепило солнцем; она прикрыла глаза ладошками, сморщилась, потом, когда глаза привыкли, шмыгнула за поленницу и села. К ней

пристала курица, норовя зайти сзади, Нинка закышкала на курицу, завертелась и нечаянно выехала голой попой из-за поленницы. Михаил крикнул:

— Нинка, я тебя, как кошку, носом буду тыкать, так и знай. Сколько раз говорить тебе, чтоб подальше ходила!

Нинка спряталась, обиженно отговорилась: — Курицы склюют.

— Я тебе покажу — курицы.

Деревня после утренней уборки унялась: кому надо было на работу, ушел, хозяйки, управившись со скотиной, справляли теперь по дому дела негромкие и неслышные, а ребятишки еще не успели высыпать на улицу — было спокойно, ровно, с редкими привычными звуками: животина ли прокричит, или скрипнет калитка, или где-то сорвется как бы ненароком человеческий голос — все не для слыху и не для отклика, а для того лишь, чтобы кругом при живых не казалось пусто и мертво. Этот покой смирял и шумы, и движения, ладил с ясным, светящимся теплом, падающим с открытого неба, тихо и невидно возносил деревню, отогревая ее после ночи.

— Видать, не вредная у нас все же мать была, — сказал Михаил, тронутый ласковой, манящей тишиной. — И день для нее вон какой выдался. Не каждому такой дают.

— Погода установилась, ага, — отозвался Илья.

— Нам, однако, надо вот что сделать. Пока в магазине белая есть, надо, однако, взять. А то, если завтра деньги привезут, ее всю порастащат. Потом бегай.

— Водку, что ли?

— Но. Белую. А эту, красную, я не уважаю. Она для меня что есть, что нету. С нее, с холеры, утром голова не дай бог болит. — При воспоминании о похмелье Михаила передернуло. — Как чумной весь день ходишь.

— Все равно, я думаю, для женщин взять придется.

— Немножко возьмем и хватит. Куда ее много? Теперь женщины тоже не сильно-то ее пьют. Все больше нашу.

— Кругом равноправия требуют?

— Но.

Они хитро и понимающе улыбнулись, но заводить веселый у мужиков разговор о равноправии сейчас было не время, и они оставили его. Илья спросил:

— Сколько водки будем брать?

— Да не знаю, — пожал плечами Михаил. — Ящик, однако, надо. Если на поминки, то меньше и делать нечего. Полдеревни придет. Позориться тоже неохота, у нас мать будто не скупая была.

— Ящик возьмем, ага.

— У тебя с собой какие-нибудь деньги есть?

— Пятьдесят рублей есть.

— Да я сейчас у Нади возьму. Хватит нам.

— У сестер брать будем?

— У Варвары и брать нечего. У Люси можно спросить, у нее, наверно, денег много. Пускай дает. Тоже родная дочь, не приемная — как ее будешь отделять? Еще обидится.

— Сейчас сразу пойдем?

— А чего тянуть? Я вот Надю найду, и пойдем. Нет, взять надо, а то ее завтра, если получку привезут, как пить дать не будет. Я знаю, у нас тут это так. Чуть рот разинул, и все, переходи на воду. В другое время оно, конечно, и перетерпеть можно, а раз уж у нас такое дело, потом позору не оберешься. Нет, мать надо проводить как следует, на мать нам пожаловаться нельзя. — Михаил первый поднялся, не прерываясь, раскинул: — Давай так: я к своей пойду, у нас там тоже должно немножно остаться, а ты давай к сестре, а то мне, вроде как хозяину, неловко у нее спрашивать. И

туда. Это мы правильно догадались. Взять надо, взять, теперь уж дожидаться нечего.

Скоро они ушли, возбужденные тем, что идут за выпивкой и возьмут ее много, столько, что одному и не унести. Магазин находился недалеко, народу в нем перед получкой никого не было, и они не задержались там, позвякивая бутылками, притащили ящик и поставили его в кладовке.

— Ну вот, — сказал Михаил, — Когда она на месте, оно спокойней. Пускай стоит, ей тут ни холеры не будет. А эту, портвейную, в любой момент можно взять, на нее сильно-то охотников нету.

В избе вдруг заголосила Нинка, и Михаил открыл дверь, хотел прикрикнуть на дочь, но увидел, что ее уже взяли в оборот все три женщины, и прислушался.

— Она сама-а, — тянула Нинка.

— Что сама? Что? — тормошила девчонку Люся.

— Это не я-а. Она сама-а…

— Да что она сама? Ты скажи. Ты говорить умеешь?

— Она сама глазы открыла и сама меня увидала…

— Ну и что?

— «Сама ее увидала», — передразнила Нинку Надя. — А почему я тебя увидала, что ты к ней в чемодан лезешь? Тебя кто туда просил? Чего ты там забыла?

— Она сама мне показала! — выкрикнула Нинка. — Ты не видала и не говори.

— Я вот тебе поразговариваю так с матерью. Ишь, за моду взяла. У кого только и научилась.

— Подожди, Надя, — остановила ее Люся и опять наклонилась к Нинке. — Куда она тебе показала?

— Куда… куда… Под кровать. Надя объяснила:

— Она там в своем чемодане конфеты для нее держит.

— А как она тебе показала? — продолжала допытываться Люся. — Расскажи нам подробнее. Как это было? Ну?

— Я на нее смотрела, а она на меня не смотрела, а потом глазы открыла и тоже начала смотреть. И показала.

— Она тебе ничего не говорила?

— Не говорила.

— Ой-ешеньки, — тяжело вздохнула Варвара. — Чё ж это будет-то?

— Она у нас вообще-то не пакостливая, — иступился за Нинку Михаил. — Никогда не замечали. Может, на мать правда озаренье какое нашло. А Нинка тут подвернулась.

День все же выдался с умыслом, не просто так, и умысел этот вполне мог касаться старухи — день был мягкий и легкий и ровно сошелся над самой деревней, а то и над самой старухиной избой. Время уже придвигалось к обеду, а он так и не расшумелся, тек тихо и близко, оберегая кого-то от вредного беспокойства. Небо с утра приспустилось ниже и вроде бы задумалось, но и не сильно, в ожидании. В сентябре дни тоже стоят не молоденькие, много чего с весны повидали, а этот, похоже, и вовсе все под собой знал и в чем-то, может, хотел помочь старухе, чтобы не находиться ей больше на суровом, судном месте — только и надо было: незаметно передвинуть ее вперед или назад, чуть подтолкнуть оттуда, где она застряла.

Михаил и Илья, притащив водку, теперь не знали, чем заняться: все остальное, по сравнению с этим, казалось им пустяками, и они маялись, словно через себя пропуская каждую минуту. Они поговорили о том, что Татьяны почему-то все нет и нет, хотя можно было уж десять раз приехать. Илья спросил у Михаила, когда ему на работу, и Михаил ответил, что он на эти дни отпросился — слова выходили пресные, без особой надобности и не складывались в разговор. Братья понимали, что сейчас все главное для них состоит в том, чтобы ждать, но и ждать тоже можно по-разному, и

они исподволь уже начали тревожиться, так ли сидят, как надо, не теряют ли даром время. Мысли об умирающей матери не отпускали, но сильно и не мучили их: то, что надо было сделать, они сделали — один дал известие, другой приехал, и вот водку вместе принесли — все остальное зависело от самой матери или от кого-то там еще, но не от них — не копать же в самом деле могилу неготовому человеку! Всегда у них была работа, а тут вдруг ее не стало, потому что перед бедой, которая заступила за порог, справлять постороннюю работу считалось нехорошо, а от самой беды никакого дела больше не шло.

— Скажи все же, а, — начал опять разговор Михаил. — Ведь знали, что вечно жить не будет, что близко уж. Вроде привыкнуть должны, а не по себе.

— А как иначе, — подтвердил Илья. — Мать.

— Мать… это правильно. Отца у нас нет, а теперь мать переедет, и все, и одни. Не маленькие, а одни. Скажем, от нашей матери давно уж никакого толку, а считалось, первая ее очередь, потом наша. Вроде загораживала нас, можно было не бояться. А теперь живи и думай.

— А зачем об этом думать? Думай, не думай…

— Оно и незачем, а все равно. Вроде как на голое место вышел, и тебя отовсюду видать. — Михаил крутнул кудрявой головой, помолчал. — Опять же о своих ребятах если сказать. При живой бабке они все будто маленькие, и сам ты молодой, а теперь вот умри она, ребята сразу начнут тебя вперед подталкивать. Они же, холеры, растут, их не остановишь.

Михаил не успел закончить — выскочила Надя, быстро, не своим голосом позвала:

— Мужики, идите скорей. Скорее.

— Что там такое?

— Мать…

Пока они подоспели, старуха уже опять впала в беспамятство, но перед тем она вдруг выговорила какое-то слово, какое — не расслышали, а когда Люся и Варвара подбежали, она еще смотрела перед собой, но глаза уже смыкались. Что-то происходило в ней, хоть она больше и не двигалась, что-то внутри заработало — видно было, что старуха вот-вот стронется с остановившего ее места, даже в лице наметились изменения: оно стало глубже, смелей и оттуда, из глубины, вздрагивало оставшимися в нем силами, как бы подмигивая закрытыми глазами.

Они стояли вокруг матери, со страхом смотрели, не зная, что думать, на что надеяться, и этот страх совсем не походил на все прежние страхи, которые выпадали им в городской и деревенской жизни, потому что он был всего страшнее и шел от смерти — казалось, теперь она заметила всех их в лицо и больше уже не забудет. Страшно было еще и видеть, как это происходит: когда-нибудь это должно было произойти и с ними, а они считали, что это то самое, и не хотели смотреть, чтобы не помнить о нем постоянно, и все-таки не могли отойти или отвернуться. Еще и потому нельзя было отойти, что она, занятая их матерью, могла остаться этим недовольной, а обращать лишний раз на себя ее внимание никому не хотелось. И они стояли, не двигались.

Что-то стало биться в старухины глаза, шевелить их, и глаза не сразу, не легко, но открылись, попробовали пойматься за свет и не смогли, сорвались. Несколько минут они лежали спокойно, затем опять пришли в движение и разомкнулись, на этот раз силы в них было больше, и они в своем ненадежном свете что-то увидали, что-то такое, что тоже было ненадежным и туманным, как видение; на лице старухи появилось выражение отчаяния и боли, и она, поморгав, стараясь отогнать видение, не смогла отогнать его и ук36 рыла

глаза, быть может, сама. Но то, что привиделось старухе, уже не отпускало ее, звало проверить — казалось, к ней пришли воспоминания о том, что она жила, и ей захотелось узнать, где она теперь и в уме ли она; старуха тихонько раздвинула глаза, над которыми у нее нашлась власть, и выглянула — нет, они не пропали, она увидела их ближе и признала — этого она уже не вынесла в молчании, из ее груди посыпались слабые сухие звуки, похожие на клохтанье.

Варвара ахнула, пришлепнула ладонями и прижала их к горлу, останавливая себя, чтобы не закричать.

Старуха умолкла, словно истратила в себе остатки живого, глаза ее нехотя сморились, но дыхание было сильным, и старуха от него вздрагивала, потом и дыхание направилось, но не пропало, по нему было ясно видно, как шевелится на старухе одеяло.

Они ждали, особенно близко чувствуя, что они сыновья и дочери этой старухи, и жалея ее, а еще больше жалея себя, потому что после ее кончины им останется горе, навязанное смертью, которое кончится нескоро. И еще каждый из них по-своему чувствовал новое, не бывавшее прежде в нем горькое удовлетворение собой оттого, что он здесь, при матери в ее последний час, как и положено сыну или дочери, и тем самым заслужил прощение — какое-то другое, не человеческое прощение, мало имеющее отношения к матери, но все же необходимое в жизни. Это были страх и боль вместе, больше всего их пугало, что они, глядя на долго отходящую мать, видели, казалось, то, что людям смотреть нельзя, и, сами не веря себе, они хотели, чтобы это кончилось скорей.

Старуха все дышала.

Илья, не вытерпев, шепнул что-то Михаилу, и старуха, как отзываясь на этот шепот, вдруг опять открыла глаза и не убрала их, всмотрелась. Она хотела заплакать, но не смогла, плакать было нечем. Ей

кинулась помогать Варвара, заголосила легко и громко, и старуха, поддержанная нужным ей голосом, осталась, не провалилась; слова уже ушли от нее, и все-таки те, самые родные, которые всегда были на языке, она вспомнила.

— Лю-ся, — с усилием выговорила она. — Илька. Вар-ва-ра.

— Мы здесь, мама, здесь, — удержала ее Люся. — Лежи. Мы здесь.

— Матушка-а! — зашлась Варвара.

Старуха поверила и голосам, и себе, в последней радости и страдании затихла. Она смотрела на них, а сама, казалось, погружалась куда-то все глубже и глубже.

И вдруг ее что-то остановило, она вернулась, лицо ее сморщилось, глаза кого-то искали. Варварин плач мешал ей, и Варвару догадались остановить.

— Таньчора, — с мольбой выговорила старуха.

Они переглянулись, вспоминая, что мать звала так Татьяну, и враз ответили:

— Еще не приехала.

— Вот-вот будет.

— Теперь уж скоро.

Старуха поняла, чуть кивнула. На лицо ее нашло спокойствие, глаза закрылись. Она опять была далеко.

Они отошли — надо было отдохнуть. Возле старухи осталась одна Варвара, она тихо плакала, и плач ее никому не мешал. Умолкни она, и им стало бы не по себе.

3

Чудом это получилось или не чудом, никто не скажет, но только, увидав своих ребят, старуха стала оживать. Еще два или три раза она теряла память, будто незаметно проваливалась куда-то в темную глубь под собой, и все же всякий раз приходила в себя и с боязливым стоном приоткрывала глаза: тут они или они ей пригрезились? Кто-нибудь из них обязательно был рядом и звал остальных — она узнавала их и, успокаиваясь, силилась заплакать. В последний раз ей это удалось, и она сама услыхала свой слабый, издержавшийся голос, который, видать, не собирался больше выходить наружу и оттого вышел с таким мучением.

Мало-помалу старуха выправилась, и все, что в ней было и что должно было ей подчиняться, одно за другим находилось и как будто даже годилось для жизни. Перед вечером она отошла уже настолько, что позвала Надю и попросила:

— Ты бы сварила мне кашу, которую маленькой Нинке варила. Из крупы. Жиденькую.

— Манную, что ли?

— Ну-ну, ее. Маненько. Горло промочить. Жиденькую.

В доме забегали, захлопотали. Слава богу, манка у Нади была, но печь к той поре после обеда совсем остыла, и кашу решили варить на электроплитке, долго искали ее, кое-как нашли, да оказалось, что электричество еще не подают. Отправили Михаила растапливать во дворе каменку; Люся с Варварой заспорили, в чем варить кашу, потому что Варвара готова была сразу 39 скормить матери ведерный чугун, а Люся стояла на том, что много нельзя, вредно, лучше потом сварить снова; Илья топтался возле Михаила, приговаривал:

— Мать-то наша, а? Видал?

— Родова, — соглашался Михаил. — Нашу родову так просто в гроб не загонишь.

— Кашу, говорит, хочу, — ага. Видал? А я, правду сказать, не верил, думал, все, концы. А она: кашу, говорит, хочу, варите, говорит, мне кашу. Проголодалась, значит. Ишь ты!

— Старухи вообще долго живут. Чем дряхлее старуха, тем дольше живет — вот заприметь. На нет вся сойдет, душе не в чем держаться, а все шевелится. Откуда что и берется.

Илья весело настаивал:

— Но мать-то, мать-то наша! Кто бы мог подумать! Мы с тобой ей водку на поминки берем, а она говорит: «Подождите, — говорит, — добрые люди, дочери мои и сыновья, я еще каши не наелась». — Он смеялся и повторял: — «Каши, — говорит, — еще не наелась, а без каши я ничего не знаю».

— Ослабела, — более сдержанно отвечал Михаил. — Оно, конечно, столько дней крошки в рот не брала. Хоть до любого доведись.

Набежали женщины с банками и склянками, засуетились вокруг печки, будто в шесть рук собирались готовить бог знает какое заморское кушанье, а не обыкновенную манную кашу в маленькой кастрюльке. Тут же путалась под ногами Нинка; Надя гнала ее и никак не могла прогнать: Нинка понимала, что произошло что-то важное, необыкновенное, и боялась пропустить то, что произойдет дальше. Варвара вспотела, она то и дело бежала от печки к старухе, придерживая в беге живот, как беременная, и подбадривала мать:

— Потерпи, матушка, потерпи, скоро сварим.

Кашу подала старухе Люся, не отпуская кружку, чтобы мать не выронила ее на себя. Старуха пила маленькими, осторожными глотками: отхлебнет два раза и отдохнет, еще отхлебнет и еще отдохнет. И

отпила-то, как грудной ребенок, не больше, а уж откинулась, изнемогла, махнула на кружку рукой, чтобы убрали, и долго еще не могла отдышаться:

— Ой, задохнулась вся. Хуже работы. У меня и животишко-то уж в узелок завязался. Где же его растянешь?

— Ничего, мама, ничего, — подбодрила ее Люся. — Так и надо. Сейчас желудок перегружать сразу нельзя. Мало ли что. Пусть он сначала это переварит, потом можно еще попить.

— Животишко-то уж в узелок завязался, — с горькой радостью повторила старуха. — Думал, па-е-хали, Анна Степанна, на новую фатеру. Па-е-хали с орехами. — Налаживая дыхание, она невидяще смотрела куда-то вверх, и оттого казалось, что она бредит. — А я-то, бесстыжая, омма-нула его, назадь повернула, а тепери над им же и изголяюсь, кашу в его толкаю. А куды ему мою кашу, сама бы подумала.

Воздуха ей не хватило, и она закашлялась. Люся торопливо сказала:

— Тебе нельзя, мама, говорить так много. Ты еще совсем слабая.

— Молчать, ли чё ли, буду? — куражливо ответила старуха. — В кои-то веки ребят своих вижу, и молчком? — Они все были тут, возле нее, и она обвела их неверным и все-таки гордым взглядом и уже спокойнее продолжала: — Меня будто в бок кто толкнул: ребята приехали. Нет, думаю, я сперва на ребят на своих погляжу, а уж после помру — боле мне ничё-о не надо.

Говорить ей все же было трудно, она поневоле умолкла. Но радость, оттого что она видит перед собой своих ребят, не давала ей отдохнуть, билась в лицо, шевелила руки, грудь, забивала горло. Они все были возле матери и, чтобы она не отзывалась им, тоже молчали, берегли ее. Старуха несколько раз принималась плакать, глядела на них суматошно и

нетерпеливо, вздрагивая маленькой головой, когда переводила глаза с одного на другого, и только узнавала их: это Илья, это Варвара, это Люся, но от слез ли, или глаза сами по себе видели еще плохо, не могла рассмотреть их как следует и от этого сердилась на себя. Ей вдруг опять пришло в голову, что все вокруг нее неправда — сон или видение, последнее воспоминание о прожитой жизни — потому и стоит перед глазами туман.

Отгадывая себя, она замерла, затихла.

В комнате было светло тем неярким и чистым светом ясного дня, который бывает перед закатом. Старуха лежала изголовьем к окну, и солнце падало ей в ноги, осторожно остывало на стене напротив, словно, выступая, пронизывало ее с другой стороны. Только теперь старуха увидала солнце и, узнав его, обрадовалась: после долгих, беспамятных потемок ей сразу стало теплее от него, бережным дыханием оно пошло в ее тело, подгоняя кровь. Это был не сон: во сне и солнце не греет, и мороз не холодит. В ушах легонько зазвенело дальним приятным звоном, и так же неожиданно, как возник, этот звон прекратился. Старуха стала вспоминать, откуда он мог взяться, и решила, что он сохранился в ней еще с той поры, когда она была молодой, — тогда она часто его слыхала и запомнила на всю жизнь. Он не мог обмануть ее, он был живой.

— Господи, — прошептала старуха. — Господи.

Она набралась духу и подняла глаза. Они были здесь, ждали на прежнем месте, но старухе показалось, что они подошли ближе. Теперь она видела их яснее.

С краю, возле самой двери, как чужая, стояла Надя, рядом с ней Илья.

К Илье старуха не могла привыкнуть еще в прошлый раз, когда он после севера заехал домой. Рядом с голой головой его лицо казалось неправдашним,

нарисованным, будто свое Илья продал или проиграл в карты чужому человеку. И весь он изменился, стал суетливей, бойчей, хотя по годам пора бы уж ему и остудиться — видно, то место, где он жил, этому далеко не родня и Илья никак не может от него опомниться.

Старуха смотрела на Илью долго, до неловкой устали. Она искала в нем своего Илью, которого родила, выходила и держала в памяти, и то находила его в теперешнем, то опять теряла. Он был, но далеко. Столько нового мяса наросло на нем, столько всяких людей без нее ходило с ним рядом, что она верила и не верила, что это он, будто ее Илью, как малую рыбешку, заглотила рыбина побольше да порасторопней, и теперь они живут в одном теле. Позови его, и он, может статься, сразу не откликнется, будет вертеть головой, его зовут или не его; и кто зовет, откуда. Старуха верила, что там, куда он уехал, лучше ему не стало. Жил бы да жил в деревне… Про Люсю это и подумать даже нельзя, она городская вся, с ног до головы, она и родилась-то от старухи, а не от какой-нибудь городской, наверно, по ошибке, но потом все равно свое нашла. Илья — нет. Он не походил ни на городского, ни на деревенского, ни на чужого, ни на себя. У него было веселое лицо, но старуха, глядя на Илью, жалела его, а почему жалела, она и сама не знала, не умела понять.

Старуха дала глазам отдохнуть и нашла Варвару, которая сидела у нее в ногах. Та нетерпеливо подалась вперед, навстречу материнскому взгляду. «Матушка-а! Это я, твоя старшая. Я к тебе повидаться приехала, а ты на меня и не смотришь», — потерянно кричала вчера Варвара. Вот и увидала старуха свою старшую, дождалась Варвара. Увидала, и качнулось старухино лицо, едва приметно кивнула она и вздохнула; кивнула — словно благословила Варвару на спокойную старость, единственное счастье, которое ей еще могло достаться, а вздохнула — потому что знала: нет, не достанется,

нечего и думать. Глядя на Варвару, она едва удержала себя, чтобы не заплакать. Ей то самой больше ничего не надо, все осталось позади — что вышло и не вышло, а Варвара еще поживет, и как хорошо было бы ей больше не маяться.

Она не пропустила и Михаила, хоть и помнила его лучше себя. Старуха хотела знать, какой он рядом с ними со всеми, а не один. Она часто вспоминала поговорку: первый сын богу, второй царю, третий себе на пропитание. Богу да царю она отдала больше, теперь их считать — только плакать. Но и живые, как только подрастали и годились для работы, один за другим уезжали, будто кто-то, как щенят, отнимал их от матери и отдавал в чужие руки. Остался только Михаил, и старуха с полным правом могла бы сказать, что родила его для себя, чтобы дожить ей свою жизнь на старом родительском месте, потому что не представляла, как можно жить где-то еще. Она не считала Михаила лучше других своих ребят — нет, такая ей выпала судьба: жить у него, а их ждать каждое лето, ждать, ждать…

Если не брать трех лет армии, Михаил все время был возле матери, при ней женился, стал мужиком, отцом, как все мужики, заматерел, при ней все ближе и ближе подступал теперь к старости. Она привыкла, присмотрелась, притерпелась к нему, и все те изменения, которые происходили в нем, оставались для нее незаметными. Вчера был Михаил и сегодня Михаил. Другое дело Илья: уехал на север с волосами, приехал без волос — тут слепой и тот увидит. Даже у Варвары, которая наведывалась домой чуть ли не каждый месяц, мать находила перемены: еще больше потолстела, стала к месту и не к месту по-старушечьи вздыхать, плакаться, в голове на черном появились блестки. Илья, Люся, Варвара, Таньчора для того, казалось, и уезжали от матери, чтобы она потом заметила, как они

изменились, они привозили ей себя как заботливое напоминание о годах: с последней встречи прошло столько-то времени, столько-то, столько-то, и с каждым таким приездом старуха, спохватываясь, перебегала вперед сразу на несколько лет. Получалось, что она старела годами, которые они привозили ей от себя, а не своими собственными, сама она незаметно копошилась да копошилась бы на одном месте, покуда не придет ее час. Но разве могла она об этом думать? Она ждала их, задыхаясь от ожидания, особенно когда слегла, а они в последнее время стали приезжать совсем редко. У каждого из них своя семья, своя жизнь. Тоже не молоденькие; годы теперь их не гладят — скребут. Старуха понимала.

На Люсю старуха только взглянула и сразу отвела глаза, а потом посматривала на нее осторожно, украдкой, как бы подглядывая. При Люсе старуха стыдилась себя, того, что она такая старая и слабая, ни кожи ни рожи. Ей казалось, что и дочь тоже должна стыдиться ее — вон какая она красивая, грамотная, даже говорит совсем не так, как говорят здесь: слова вроде те же, но, чтобы понять их, надо слушать изо всех сил. Что ни спроси ее, она обо всем знает: поездила, поглядела за десятерых. А что старуха видала в своей жизни? День да ночь, работу да сон. Вот и крутилась, будто белка в колесе, и все, кто жил с ней рядом, тоже крутились ничем не лучше, считая, что так и надо. У Люси была какая-то другая, непонятная, неизвестная старухе жизнь, в которой многое делается по-новому, может, даже умирают по-другому — старуха не знала. Ей уже поздно было отказываться от своих привычек — и умрет она как придется, и поплачет, когда будет охота, по старинке, и все же при Люсе старуха старалась удерживать себя, чтобы не сказать и не сделать лишнее — что может рассердить дочь.

Она все смотрела и смотрела на них — жадно, торопливо, словно навеки впитывая в себя каждое лицо, и никак не могла насмотреться, все ей было мало.

— Ты успокойся, мама, — сказала ей Люся. — Успокойся и отдохни.

— Приехали, — старуха подобрала руки к лицу и, закрываясь, заплакала.

— Приехали, мать, приехали, — бодро ответил за всех Илья. — Все в порядке.

Варвара вздрогнула, гудящим шепотком оборвала его:

— Не кричи ты громко. Не видишь, чё ли?

— Приехали, — успокаиваясь, повторила старуха. — Дождалася. — Она сказала это тем доверчивым, облегчающим душу голосом, каким разговаривают вдвоем между собой немолодые, много лет знакомые люди, с вниманием помолчала и, все так же, не открывая глаз и не меняя голоса, продолжила: — А я пробудилася и ничё понять не могу, то ли я это, то ли уж не я. Я ить совсем себя не чуяла, ни рук на мне, ни ног. Одна душа и та заблудилася. Думаю, это я померла, не иначе, оттого и темень кругом. Слава те, господи, отмучилась. Только подумала так, вижу: светло, как днем. А это глаза у меня сами открылись, а я ничё и не знала. — Она открыла глаза, ни на кого не глядя, дала им привыкнуть к солнцу. — Вот этак же светло, ишо посветлей было. Думаю, кто это меня красным днем дразнит? А вас увидала и боле того не поверила. Рази я надеялась? Да чтоб все тут, только Таньчоры нету… Лежу и думаю: «Не иначе, как человеку уж после как он помрет, последняя радость дадена: ишо раз поглядеть, чё он от себя оставил, об чем его сердце болело».

— Ну, мать, молодец ты у нас, ага, — с веселым удивлением покачал головой Илья. — Давно ли слова не могла сказать, а гляди, как разговорилась. Прямо как по-писаному чешешь.

— И правда, мама, не говори много, тебе нельзя, — опять предупредила Люся, но без прежней уверенности, чего-то пугаясь.

— Да нет, пускай говорит, если может. Я к тому, что быстро она этим делом овладела. Как в сказке, ага.

— Это все вы, — просто объяснила старуха. — Из-за вас. Я ить там уж была. Там, там, я знаю. А вы приехали — я назадь. Мертвая, не мертвая, а не утерпела: назадь, сюды, к вам. Воротилась. — Голос ее тянулся тонкой западающей ниточкой, которая то терялась, то находилась снова. — Бог помог. Он мне и силу дал, чтоб я маненько на человека ишо походила. Чтоб вам не сильно меня пугаться, чтоб рядышком со мной сидеть можно было.

— Все дело, значит, в боге? Интересно ты, мать, рассуждаешь.

— И бог, и вы. У какой матери середь своих ребят силы не прибудет? Чё тут говореть! Да ишо столько не видала их. Мне тоже охота под послед словом с вами перекинуться. Я от рук, от ног последнее отыму, а голосу добавлю. А он и сам идет, без меня. Я только зачну, а дальше он сам, покуль не устанет. От начать, правда что, тяжело. Вроде сперва на вышину надо запрыгнуть. И одышка ишо берет.

Отдыхая, старуха долго смотрела на стену, где держалось солнце: после дневной белой кипени оно стало мягче и красней. На лицо старухи постепенно нашло глубокое и ясное, идущее от вечера, которое старые люди чувствуют лучше, выражение покоя. Похоже было, что она забыла и про себя и про своих ребят, ничего не слышала, даже собственного дыхания, и все равно дышала какими-то другими силами, ничего не видела, кроме солнечного пятна на стене, но и это пятно, разрастаясь, само вливалось в ее открытые глаза и не отпускало их своей властью, — и все равно жила и

жила яснее, зорче, чем раньше, не напрягаясь для жизни, а находясь под ее осторожной охраной.

Они ждали, уходить было нельзя. Разговаривать между собой тоже казалось нехорошо — они ждали мать, стараясь не смотреть друг на друга.

— Меня и тепери ишо будто на руках кто держит, — сказала она, не обращаясь к ним. — Будто ничё подо мной твердого нету. А не страшно — будто так и надо.

Она еще помолчала в полной неподвижности и очнулась. Глаза устало опустились, в лице появилось обычное у людей терпение, но у нее при виде своих ребят оно тут же перешло в тихую теплую радость. И опять старуха не поверила себе, осторожно спросила у Люси:

— Вы-то когда приехали?

— Мы с Ильей вчера вечером. Старуха сказала не сразу, подождала:

— Гостинцы мне никакие не привезли?

— Мы ведь торопились, мама, некогда было, — неловко замешкавшись, ответила Люся. — Кое-как успели. На пристань бегом пришлось бежать.

— Я ить не себе, — сказала старуха. — Мне ничё-о не надо. Я это Нинке, холёсенькой моей. — Она потянула руки к Нинке, которая стояла возле Варвары, и не дотянулась — Нинка боязливо отступила от ее рук. Старуха не обиделась. — В чемодан для ее спрячу и после по одной достаю. И себе радость, и ей. А она уж разнюхала. Лезет ко мне: «Давай, баба, посмотрим, чё там лежит». Я ей говорю: «Ничё там не лежит», а она опеть. Я вроде ничё не понимаю, как маленькая, играюсь с ей. Она у меня холёсенькая, все с бабой. Поговорю с ей, и на душе легче. Известно, старый да малый.

— Я утром схожу в магазин, куплю что-нибудь, — пообещала Люся.

— Да не надо ей ничего, — застеснялась Надя. — Голодная она, что ли? Это уж она так лезет, приповадили. От баловства.

— Сходи, сходи, — сказала старуха. — Только все ей не ондавай, маненько рази. Остальное мне ондай, я спрячу. Будто от меня будет. Я уж под послед ишо покормлю ее. Люся вспомнила:

— А я тебе, мама, виноград отправляла — ты ела его?

— Эти ягодки-то зеленые?

— Да. Виноград называется.

— Ну его к лешему. В ём посередке косточки, а у меня терпения нету их выбирать. Нинке и скормила. Она прямо так с косточками и хрумкала — только шум стоит. Пускай, думаю, ест, раз ндравится. А мне куды его? Только добро переводить. Мне ить, Люся, ничё-о не надо. Мне бог, вишь, какую радость дал: на вас перед смертью поглядеть. Я рази не понимаю?

Она опять заплакала — бесслезно, спокойным и недолгим облегчающим плачем — и умолкла, вытерла сухие глаза.

— Ничего, мама, ничего, — сказала Люся. — Теперь поправляйся, и все будет хорошо.

Старуха не ответила, она снова смотрела на солнце на стене, к которому липли последние мухи, и во всем ее положении была такая завороженность и нечеловеческая стынь, будто ей дано было увидеть и запомнить то, что больше никто не смог бы понять. В избе стало совсем тихо, а с улицы ничего не доходило. На этот раз старуха молчала недолго и высветленным, затаенно-сообщающим голосом, который, казалось, выходит из нее сам, без ее участия-она и глаза не подняла от стены — сказала:

— А я ить, Варвара, слыхала, как ты вчерась надо мной ревела. Голос твой был, твой — я помню. Только я-то подумала, что это ты надо мной над мертвой уж

ревешь. Ну. Я ишо раньше, как в памяти была, лежу и думаю: «Вот помру, приедет Варвара, обголосит меня, и то ладно». Так на тебя и надеялась. А тут слышу: ты. Вот я и посчитала, что это я тебя скрозь смерть слышу — не иначе.

Варвара онемело, с открытым ртом закивала матери-не могла ни сказать, ни заплакать. Илья подошел к Михаилу, удивленно шепнул:

— Чудная у нас мать. Тебе не кажется?

— А кто скажет, моить оне потом ишо сколь-ка данить слышат, — добавила старуха. — Кто скажет? Никто не скажет. Глаза-то им закроют, а уши открытые.

— Ты о чем это там, мать? — громко спросил Илья. — О чем говоришь-то?

— Об чем? — Старуха по голосу нашла Илью и не смогла ответить, застыдилась. — Я ить от радости, что вас вижу, не знаю, чё и сказать. Болтаю чё-то. Вы уж не сердитесь на меня, на старую. Я совсем из ума выжила.

— Да ты что, мать! Ты думаешь, мы не рады, что у тебя все в порядке? Давай теперь только быстрей поправляйся. В гости с тобой пойдем, ага. Чего нам дома сидеть! Все вместе соберемся и пойдем в гости. А не пойдешь — на руках унесем. Тебя есть кому на руках таскать.

— Попей еще. — Люся подала матери кружку с кашей. — Теперь можно, желудок уже работает, справится.

Старуха попробовала приподнять голову, Люся помогла ей. На этот раз старуха отпила больше и, отдышавшись, удивилась сама себе:

— Глите-ка! Пошло как в проваленную яму. Правду говорят: и худой живот, да хлеб жует.

— Ну вот, теперь будет лучше. А потом еще попьем.

— Ой, да в меня боле не полезет.

— Ничего, ничего, полезет.

— Мне только бы Таньчору дождаться, — жалобно сказала старуха. — Чё вот она так долго не едет? А ну как чё стряслось?

— Приедет, мама, не беспокойся. Ей далеко ехать. Обязательно приедет.

Старуха попросила:

— Вы сами-то покуль не уезжайте от меня, побудьте со мной маненько. Таньчора приедет, я не буду вас задерживать. Я знаю: вам долго, подимте, нельзя.

— Никто пока и не собирается уезжать.

— Побудьте. Я не стану вам надоедать, я тихонько. Лежу и лежу. Это я сичас разговорелась — долго не видала вас. От радости сама над собой не владею. Потом я молчком буду. Вы занимайтесь своим делом, каким охота, а я за день хошь раз на вас взгляну, и мне хватит.

— Что это еще за «надоедать» да «молчком»? — выговорила старухе Люся. — Как тебе не стыдно, мама! Что ты выдумываешь? Тебе не в чем оправдываться перед нами — пойми, пожалуйста, это.

— Не говори так, матушка, — поддержала Люсю Варвара. — Не говори так, а то я не знаю, что со мной будет.

Илья тоже не вытерпел:

— Ну, мать, ну, мать…

Старуха счастливо умолкла, но не смогла удержать в себе радость:

— Глаза открою: вы тут, возле. Сичас, кажись, взлетела и полетела бы куда-нибудь, как птица какая, всем рассказала бы. Господи…

День отходил все больше и больше, но в избе было светло и ясно: четкое закатное солнце било прямо в окно, под которым лежла старуха. Солнце теперь доставало до потолка и сверху вторым своим светом расходилось по сторонам. Все здесь было знакомо, все было родное старухиным ребятам, и все, казалось,

чутко повторяло мать: наговаривало вместе с ней или умолкало, вглядывалось вниз ласковой и горделивой настойчивостью и отзывалось тихим, неназойливым вниманием. Не верилось, что изба может пережить старуху и остаться на своем месте после нее — похоже, они постарели до одинаково дальней, последней черты, и держатся только благодаря друг другу. По полу надо было ступать осторожно, чтобы не стало больно матери, а то, что они говорили ей, удерживалось в стенах, в углах — везде.

И воздух здесь был тот же, каким они дышали в детстве; он заманивал, затягивал их на много лет назад, но у него, как и у старухи, недоставало сил.

Окна осели, превратились в оконца. Чтобы пройти через двери, приходилось нагибать голову. Они уже давно отвыкли от неоштукатуренных стен, которые выпучивались белеными бревнами. Под матицей болталось кольцо для зыбки, а зыбка раньше почти никогда не пустовала; вырастал из нее один, ложился другой.

По обе стороны от окна над столбом в двух рамках густо лепились фотографии. Тут были все они: Илья и Михаил в армии — с приветами из тех мест, где служили; Илья за рулем машины на севере; Варвара со своим мужиком — он и она с одинаково вылупленными глазами, с каменной прямотой, стоят, держась за спинку стула, будто боятся упасть; Люся, склонившая голову набок, на подставленную ладонь; Люся где-то на курорте среди большущих чудных деревьев; еще деревенская Татьяна с узким напуганным лицом, словно она фотографировалась под страхом смерти.

На божницу в правом углу теперь ставили лампу. В эту ночь лампа пригодилась, а так ее не снимали оттуда месяцами, и старуха крестилась, не подымая глаз. Еще правее, ближе к старухиному окну, висел плакат, завезенный в леспромхоз в позапрошлом году. На нем

мальчишка с лопатой выходил из лесу. Подпись внизу разъясняла: «Сажай деревьев больше, будешь жить дольше». Лес поначалу был зеленым, но мухи быстро сделали его желтым, да и мальчишка за эти годы тоже порядком постарел, но к картинке притерпелись и не снимали ее.

Теперь старуха смотрела на своих ребят спокойнее, поверив, что они вдруг ни с того ни с сего не вспугнутся и не пропадут, и говорила легче, без натуги, сразу находя нужное слово. Она еще уставала от разговора, но уже сама руководила собой: надо было отдохнуть — отдыхала, она снова приучилась оставлять себя на потом, на то, что будет впереди, а не изводиться вся на то, что есть.

Светлый вечер подходил к концу, в избе, да и не только в избе — везде, выстывало, смежалось.

Люся стала поправлять на матери одеяло, отогнула его и вдруг замешкалась, позвала:

— Михаил, иди-ка сюда.

— Что там такое?

Старуха, ничего не понимая, испуганно и стыдливо убрала с того места ноги.

— Посмотри-ка, Михаил, — показала Люся, пружиня голос.

— Куда?

— Вот сюда, сюда.

— Ну и что?

— Как «ну и что»? Он же еще и спрашивает! Неужели ты не видишь, на каких простынях лежит у вас мама? Они же черные. Их, наверное, целый год не меняли. Разве можно больному и старому человеку, твоей матери, спать на таких простынях? Как тебе только не стыдно?

— Что ты меня стыдишь? Я что тебе — простынями заведую?

— Но посмотреть-то ты мог? Сказать, чтобы их постирали, уж наверное, ты мог? Это-то совсем, кажется, не трудно. Или тебе все равно, в каких условиях находится наша мама? Ведь ты здесь хозяин.

Люся не смотрела и не видела, как густо, не зная, куда себя девать, залилась краской Надя.

— Люся! Люся! — останавливала старуха и наконец остановила, Люся повернулась к ней. Старуха обессиленно махнула рукой: — Я ить надсадилась тебя кричать. Ты пошто у меня-то не спросишь? Нашла о чем говорить — о простынях! Господи, да куды мне белые простыни? Я всю жисть без их спала да жива была. Это те-пери новую моду завели: белое под себя подстилать. Ну-ка, постирай-ка их, этакую оказину — без рук останешься.

— Мама, я сейчас разговариваю с Михаилом, а не с тобой.

— Да пошто с Михаилом-то, когда я тебе говорю, а ты свое? У меня, подимте, голосу нету, мне вас не перекричать будет. Мне Надя хуже горькой редьки надоела с этими простынями: давай выташу да давай выташу. Я ей говореть устала, чтоб отвязалась. Лежу и лежу, и нечего меня шевелить. Помру — одну холеру обмывать надо, без этого в гроб не кладут.

Зачем ты заводишь опять об этом разговор?

— Ишо не лучше! Зачем, говорит. — Старуха досадливо умолкла, но долго не вытерпела: — Напужала ты меня, по сю пору опомниться не могу. Думаю, чё там она подо мной увидала, неужли я чё наделала? С меня тепери какой спрос? Хуже малого ребенка. Сама себя не помню.

— Зато твой сын должен помнить и о себе, и о тебе, — упрямо стояла на своем Люся. — На то он и сын. У меня в голове не укладывается, как это ты, наша мать, можешь лежать на таких простынях. И никому до этого нет дела, все считают, что так и надо. Безобразие!

Надя оторвалась от стенки, где она молча простояла все это время, и выскользнула из комнаты. В неловком молчании Михаил буркнул:

— Дались тебе эти простыни.

— Здря ты, Люся, здря при ей говореть стала, — качала головой старуха. — Она тут не виноватая. Она сколь раз ко мне вязалась. А мне все неохота было шевелиться. И неохота, и боюсь.

— Но ведь я ей ничего и не говорила.

— Дак оно и не ей, а все равно ей. Кому ишо? Она за мной ходит, не Михаил.

Варвара вздохнула:

— Ой-ёй-ёшеньки! Прямо не знаю, чё и сказать.

— Не знаешь — молчи, — хмыкнул Илья. — Гляди, беда какая!

— А я тебе ничё и не говорю.

— Я тебе тоже.

Чтобы замять неприятный разговор, старуха спросила:

— Я тут покуль без памяти была, Мирониха не приходила поглядеть на меня?

— Нет как будто, — ответил Михаил.

— Прибежит. Как услышит, что я оклемалась, прибежит, расскажет мне че-нить. Не знаю, как бы я без ее век свой доживала. А с ей поговорю, и веселей. Прибежит, это она прибежит, — кивала старуха. — Скажет: «Тебя, девка, пошто смерть-то не берет?» Как была насмешница, так и осталась. Погляди, сени у ей полые, нет? Тут в окошко видать.

Варвара поднялась, навалилась на подоконник.

— Нет, вроде на заложке.

— Убежала куда-нить. На месте-то никак и не сидится, все бы бегала. А пускай побегает, покуль ноги носят. Ишо належится. Я бы сичас за ей тоже побежала, дак куды… отбегалась.

— Мать, — перебил старуху Илья, подмигивая Михаилу. — Мать, ты не будешь возражать, если мы с Михаилом за твое выздоровление немножко выпьем?

— Ну, мужики, ну, мужики, — встрепенулась Варвара. — Вы без этого прямо жить не можете.

— Не можем — ага, — согласился Илья, широко улыбаясь.

— Да пейте, когда уж вам так охота, — позволила старуха. — Только чтоб не здесь, не возле меня. Мне его на дух не надо.

— Это — пожалуйста, мы может и уйти. Мы ведь, мать, за тебя. Чтобы ты больше не хворала — ага.

— Да пейте хошь за нечистую силу. Ей это боле поглянется.

— Ну, ты тоже скажешь: за нечистую силу…

— За ее и есть. И чё оне в ём находят, какую сласть? Да меня озолоти, я в рот не возьму. А оне ишо и деньги на его переводят. Ну? Будто когда бы я сказала: не пейте, то вы бы и послушались… Куды там. Раз уж надумали, пейте, только чтоб не сильно допьяна. Тебя я выпимши не знаю, какой ты есть, а Михаил у нас ой нехороший. Эта бедная Надя от его, от пьяного, рада не знай куды убежать.

Повеселевший Михаил без обиды отговорился: — Ты, мать, всех собак теперь на меня навесишь.

— А я никогда ничё здря не говорю.

— Да нет, мать, мы немножко. Только так, для аппетита.

— На Надю я пожалиться не могу, — продолжала старуха, когда мужики ушли. Она смотрела на Люсю, будто говорила ей одной. — От он мне сын родной, а она невестка, а я никому не скажу, что она мне чё плохое сделала. За мной ходить тоже ить терпение надо иметь. Она ни одного разу на меня голос не подняла. Если не было, чё я буду здря на человека наговаривать. И попить подаст, и в грелку воды нальет.

Я ить, когда холод, грелкой этой только и живу, у меня кровь совсем остудилась — что есть она, что нету, названье одно.

— Укрываться надо лучше, — со знанием дела посоветовала Варвара.

— Куды ишо укрываться, когда Надя на меня и так все тряпки постаскивает, пошевелиться нельзя. Тяжесть лежит, а ноги дрогнут. Вот я и кричу Надю или Нинку за ей пошлю. Она придет, нагреет воды — будто легче. А без Нади я давно бы уж пропала — чё тут говореть. Он трезвый-то человек, рази уркнет когда, а как пьяный напьется — ой, никакого житья нету. И ко мне вяжется, и к ей. Хошь на край света убегай от его.

— Как это вяжется? — насторожилась Люся.

— Как... А так. Вот зачнет он с ее вино это требовать, а сам уж на ногах койни как стоит. Вынь да положь ему. Где она его возьмет, на какие шиши? Гонит ее в магазин и все: «Ты там работаешь, тебе дадут». Дак она, подимте, там только убирается, она к вину этому и близко не подходит. Сам бы маленько подумал. Нет, ему хошь кол на голове теши, он свое. А попробуй я его заворотить, он на меня, да с таким злом: «Ты, мать, лежишь и лежи, помалкивай». Я и молчу. Я его, пьяного, не дай бог, бояться стала. Ну. Я и Нинку к себе беру спать, когда он там крылит.

— Вот оно что, — сдержанно отозвалась Люся.

— Прямо ни стыда, ни совести у человека, — возмутилась Варвара, оглядываясь на дверь. — К родной матушке так относиться — это совсем обнаглеть надо!

— А то придет, вот так же сядет: «Давай, мать, поговорим». Об чем я с им, с пьяным, буду говореть, когда у его голова не держится. «А, ты со мной не хочешь разговаривать? Я тебя кормлю, пою, а ты поговореть со мной брезгуешь?» Да я пошто брезгую-

то? Приди ты, когда в уме, и разговаривай, а не так — Ну. Пристанет-ой-ёй-ёй!

— Я поговорю с ним, — пообещала Люся. — Я с ним поговорю — не обрадуется. Что это в самом деле такое?! «Пою, кормлю…» Этого еще не хватало.

— Ты только с им с пьяным не займовайся, не надо. Он ить понять не поймет, а обозлится. Нехороший пьяный, нехороший, никто не похвалит. А потом проспится, опеть ничё. Когда бы не это вино, совсем другой бы человек был. Вино-то и губит.

— Пить не надо, — сказала Варвара. Старуха покивала на ее слова, вздохнула:

— Дак, а кто говорит, что надо? Тепери уж тот золотой человек, кто и пьет, да ума не теряет. А совсем непьющего на руках надо носить и людям за деньги показывать: глядите, какая чуда. Нашему-то только на язык бы попало, он потом как худая бочка: сколь ни лей, все мало.

— Не знала я, не знала, что Михаил у нас до этого докатился, — не переставала удивляться Люся.

— Докатился, докатился, — поддакнула Варвара. — Матушка наша врать не будет.

— Я пошто врать-то буду? — обиделась старуха. — Какая мине нужда на сына на родного напраслину вам наговаривать?

— Я и говорю: матушка врать не будет.

— А вот терпеть матушка почему-то терпит, — в тон ей отрезала Люся. — Он над ней издевается, как может, а она его же еще и защищает. «Проспится — опеть ничё», — передразнила она. — Вот и жди теперь, когда он проспится. Дождешься. Дождешься, что из дому выгонит.

— Он меня не выгонял — чё здря говореть.

— Не выгонял, так выгонит, если будешь ему каждый раз спускать. До этого немного уж осталось.

— У нас никто в родове мать из дому не гнал.

— У вас никто в родове к матери, наверное, так и не относился, как твой сын.

— Никто, никто, — согласилась Варвара. — Сколько я на свете живу — никто. Он один.

— Вы от сердитесь, — помолчав, тихонько начала старуха. — Сердитесь, а пожили бы со мной. Это ить чистое наказание — рази я не понимаю? То одно мне принеси, то другое, а то кашель возьмет — белого свету не взвижу: кахы да кахы. На двор сама выдти не могу. Куды ишо чище? Мне давно уж помереть надо, хватит и самой мучиться, и людей мучить, да от задержалась. Вперед смерти не помрешь. Он трезвый-то терпит, ничё не говорит, а у пьяного, известно, власти над собой нету. Меня сперва обида возьмет, а потом раздумаюсь про себя: чё уж тут обижаться, на кого? Терпи, когда из годов выжила. Бог терпел и нам велел. — Теперь старуха опять говорила легче, упоминание о боге успокоило ее. Она свободно вздохнула и попросила: — Не надо ему ничё говореть. Пускай. Мне тоже охота помереть с миром, чтоб никто меня злом не поминал. Тогда и смерть легкая будет. Ну. А как вы думаете? И промеж собой не надо из-за меня ругаться, мне же от этого и хуже. Я помру, а вам ишо жить да жить. И видеться будете, в гости друг к дружке приезжать. Не чужие, подимте, от одного отца-матери. Только почаще в гости-то ездите, не забывайте брат сестру, сестра брата. И сюда тоже наведывайтесь, здесь весь ваш род. И я тут буду, никуда отсюль не стронусь. Посидите надо мной, а я вам какой-нить знак дам, что чую вас, каку-нить птичку пошлю сказать.

Тихонько вошла в комнату Надя и, боясь помешать, остановилась у дверей, за старухиной кроватью. Надю увидали, обернулись к ней, тогда она прошла к столу и села, опустив на колени тяжелые после работы руки. Она менялась сразу: на работе горит, а как сядет — и не

слыхать, будто уснет с открытыми глазами, которые караулят, когда надо снова подниматься и бежать.

— Убралась, ли чё ли? — спросила старуха, принимая Надю для разговора.

— Убралась. Корову потом выгоню и все.

— Мужиков не видала?

— В бане они.

— Только бы не напились.

— При гостях, может, утерпит.

— Дак он не один. Гость-то там при ём. Надя, наконец, сказала, зачем пришла:

— Ужинать здесь будем или на кухне? У меня уж все готово.

— Садитесь здесь, — отозвалась старуха. — Чё я одна останусь. Ишо належусь одна, успею.

— Тогда я свет включу.

— Дак включай, кто тебе не велит. В потемках какая еда?

— Мужиков звать надо, нет ли?

— Они у тебя рази нечистым духом сытые? — не насмешничая, ответила старуха. — Боле нечем. Вино, подимте, не сильно накормит. Крикни им, а будут, не будут, пускай сами скажут.

— Я думала, может, потом им.

— А чё ты будешь два застолья делать? И так набегалась за день.

— Давай, Надя, я помогу тебе, — вызвалась Люся, — видно, ей все-таки было неловко перед Надей за историю с простынями, и она хотела хоть чем-нибудь угодить ей.

— Сидите, сидите, я сама управлюсь. Я еще подогреть хочу, уж, наверно, остыло. Сидите, я скоро.

Люся осталась.

Мужики пришли красные, как распаренные, и от этого больше похожие друг на друга. Сейчас даже посторонний человек сказал бы, что они братья: куда

денешь одинаково выпирающие скулы и нахально лезущие на лоб густые, разлохмаченные брови? У того и у другого краснели шеи, у Ильи кровь прилила к голой голове, и от этого голова казалась раскаленной.

Они с шумом уселись за стол; Михаил громко спросил:

— Ну как, мать, у тебя тут дела?

— А что дела? — ответил ему Илья: в бане они привыкли разговаривать друг с другом. — Мать у нас молодец. Обманула свою смерть, и никаких.

— Смерть не омманешь. — Старуха смотрела на них с терпеливой укоризной и сказала не сразу.

— Обманула, мать, обманула, не отказывайся. И правильно сделала. Без тебя некому умирать, что ли? Найдутся — ага. Свет не без добрых людей.

— Вот именно, — хохотнул Михаил.

— А ты, бессовестный, лучше бы помалкивал, — вдруг остановила, как подкараулила, Михаила Варвара.

— Что такое?

— «Ты сидера бы, морчара, будто деро не твое», — вспомнил Илья детскую скороговорку, еще ничего не понимая и все же стараясь обратить в шутку Варварины слова.

— Бесстыжий! — снова пальнула Варвара и повернулась за помощью к Люсе. Люсе пришлось взять разговор на себя:

— Я бы на твоем месте, Михаил, в самом деле лучше молчала. — Она говорила, отделяя одно слово от другого, и смотрела ему прямо в глаза. — То, что ты позволяешь себе с мамой, ни в какие ворота не лезет. Запомни: мы маму в обиду не дадим и не позволим тебе издеваться?

— Да вы что — белены объелись?! Кто над ней издевается?

— Ты. Кто же еще, кроме тебя? Оказывается, ты слишком много стал пить и пьяный терроризируешь

маму.

— Что-что?! Что я с тобой, мать, делаю? Что такое?!

— Люся, Люся, — взмолилась старуха. — Ты пошто такая-то? Я ить тебе говорела, я ить тебя просила. Не ругайтесь вы, пожалейте вы меня.

— Хорошо, мама, сейчас не будем, — отступила Люся. — Но запомни, Михаил, разговор у нас с тобой не закончен.

— А что это такое я там с ней делаю? Не понял я. Как ты сказала?

— Мы с тобой потом об этом поговорим.

— Ты, Михаил, мать не обижай, — сказал Илья. — Мать обижать нельзя.

С Ильей Михаил не стал спорить:

— Это ты правильно говоришь. Мать обижать нельзя. Грех. Я мать никогда не обижаю.

— Мать нам жизнь дала.

— Это ты очень даже правильно говоришь. — Михаил смахнул пьяные слезы. — Я ведь все понимаю. Я больше ихнего понимаю. — Он кивнул на сестер. — Ты думаешь, почему они на меня накинулись? Потому что злятся: я их с места снял, телеграмму отправил, а мать возьми да и не помри. Вроде зря я их вызвал, вроде обманул. Я по-нима-а-ю.

— Ты хоть думаешь, о чем ты говоришь? Или ты совсем уж ничего не соображаешь? — вскинулась Люся. — Как тебе только не стыдно?!

— Так, Михаил, тоже нельзя, — опять поправил Илья.

— Если нельзя, не буду, — согласился Михаил. — Ты старше меня, я тебя уважать должон.

— Дело не в этом.

— Я понимаю: дело не в этом. Пришла Надя, стала разливать суп. Все равно вышло два застолья: сначала поели мужики, и только после них сели Варвара и Люся.

Старухе налили в ту же кружку немного бульона. Ели молча.

Мужики ушли, сняв с божницы лампу. Старуха вслед им тяжело вздохнула:

— Неужли у их там ишо есть? Ить это подумать надо. Господи, упаси и помилуй. Чё делают?! Чё делают?!

4

И опять старуха увидала утро.

Она долго лежала с открытыми глазами, дожидаясь света, потому что решила: как только развиднеет, она попытает себя сесть — очень уж на спине и на боках болели незапрятанные кости, но свет куда-то запропастился, как под Рождество, а в темноте старуха шевелиться боялась: не видя, еще упадет и не вскрикнет. Наконец, окошко, которое было ближе к утру, стало очищаться от темноты, и сквозь него глаза увидали дальше, потом проступило на своем месте и второе окошко, и с двух сторон в комнату потекли ранние и холодные, прежде солнца, сумерки.

Старуха подождала, пока света наберется больше, и, не выпуская из вида Люсю — спит ли, подтянулась ближе к изголовью, чуть отдохнула и, осторожно подталкивая руками, сняла ноги на пол. Голова у старухи закружилась, и она уцепилась руками за кровать, чтобы, не дай бог, не кувыркнуться вперед, и удержалась, сама удивляясь себе, покивала: надо же, кто бы мог подумать — вроде и сидеть не на чем, одни кости, а усидела. На ноги старуха натянула одеяло, чтобы не видно было, какие они худые.

То, что ей удалось посадить себя, обрадовало старуху. По спине, по рукам, по ногам, приятно ноя, опускалась накопившаяся за долгое лежание и чуть совсем не закаменевшая немота. Глазам так легко было смотреть, они глядели прямо перед собой, и их не надо было закатывать вверх: за вчерашний день глаза у старухи чуть не оторвались — до того она их надергала туда-сюда. Скоро она почувствовала, что босым ногам на полу стало холодно, и опустила под них край одеяла — вот и ноги совсем не омертвели, кровь до них еще достает.

Солнце по утрам не попадало в избу, но когда оно взошло, старуха узнала и без окошек: воздух вокруг нее заходил, заиграл, будто на него что дохнуло со стороны. Она подняла глаза и увидела, что, как лесенки, перекинутые через небо, по которым можно ступать только босиком, поверху бьют суматошные от радости, еще не нашедшие землю солнечные лучи. От них старухе сразу сделалось теплее, и она прошептала:
— Господи...

Старуха слышала, как загудела корова, но не стала кричать Надю: пускай привыкает подниматься сама, а она все равно не жилец на этом свете. Да и Люсю, если кричать, недолго разбудить; Люся в своем городе приучилась спать по утрам, ну и пускай спит, ей подниматься некуда. Она сидела и слушала, как одевается Надя, потом туда и обратно взвизгнула дверь, и опять все стихло, но старуха знала, что теперь изба — как поставленная на печку посудина с варевом, которое вот-вот заходит-заговорит.

И верно, кто-то зашлепал — Нинка. На улицу она сейчас, конечно, не пойдет, а горшок здесь, у старухи под кроватью. Старуха выгнулась и сильным шепотом позвала Нинку. Та сонно присеменила, с закрытыми глазами опросталась и полезла на старухину кровать — так бывало и раньше, Нинка любила по утрам прибегать

к бабушке, но сейчас старуха готова была плакать, что еще одна радость, которая выпадала ей в жизни, не оставила ее. Нинка все же помнила, где она, потому что сквозь сон пробормотала:

— Вот ты умрешь, я всегда буду здесь спать.

— И спи, и спи, — счастливо шептала старуха, подтыкая под нее одеяло. — Здесь тебе возле печки теплей будет, а то и правда — скоро зима. Здесь ты, как у Христа за пазухой, сберегешься и горюшка знать не будешь. Ой ты, холёсенькая. Ты моя! Как большая, все понимает.

Изба после Нинки опять примолкла, но на улице чем дальше, тем становилось звонче, и старуха прислушалась, узнавая, чья ревет скотина и кто иа хозяек сегодня залежался. Она ждала, когда подпет голос Миронихина корова, после этого, натужась, можно будет услыхать и Мирониху: та вечно, как доить, лихоматом кричит на нее. Что это за корова, если она не стоит на месте, охота Миронихе ездить за ней со своим сиденьем по двору да надрывать голос? Долго ли обменять на другую? Или уж она сама не может без этого?

Нет, ни Мирониху, ни ее корову было не слыхать, будто они враз, та и другая, не дождались сегодняшнего дня. А ну, как правда? Где же бы она вчера выдюжила, не пришла? Одна живет, никто не досмотрит. Старуха тянула голову, чтобы увидать Миронихину дверь, но глаза доставали только до крыши, а оторвать себя от кровати она боялась и со вздохом осаживала обратно.

Пялясь на улицу, старуха пропустила, когда вошла Варвара, и вздрогнула от ее голоса.

— Сидишь, чё ли? — не ждала Варвара. Испуг у старухи прошел, она похвалилась:

— Дак видишь, сидю.

— А тебе сидеть-то можно ли?

— У кого я буду спрашивать, можно ли, нельзя? Сяла и сижу. — Старуха обиделась, что Варвара не понимает, что для нее значит сидеть.

— Смотри не упади.

— Не присбиривай. Я пошто упаду-то? Упасть дак я бы без тебя давно упала, а то сидю.

— Это тебя Нинка, поди, с кровати-то согнала?

— Никто меня не сгонял, не говори здря, Я ишо до ее сяла.

Глаза у Варвары со сна смотрели плохо, волосы на голове скатались. Зевая, она сказала:

— Чё-то во сне видала, а чё, заспала, не помню. Чё-то нехорошее.

— Как знаешь, что нехорошее, когда не помнишь?

— Проснулась — и нехорошо так стало. Я скорей сюда, думаю, не с тобой ли чё.

— Нет покуль. — Старуха забеспокоилась: — Ты соберешься, сходи к Миронихе. Сходи. Не с ей ли чё доспелось? Одна ить, как перст. Помрет и будет лежать, глазами посверкивать.

— С чего она помрет-то?

— Ишо не лучше! С чего, говорит. С чего помирают? С радости, ли чё ли? Она бегучая-то бегучая, а до ста годов тоже бегать не будет. И корова у ей сёдни не кричала. Я уж надсадилась слушать — нету. В те раза она всю деревню на ноги подымет, покуль до дому дойдет, а сёдни как пропала. Я бы, когда могла, сама поглядела бы, дак куды…

— Налажусь, схожу.

— Сходи, сходи. Она ить мне не чужая, мы всю жисть друг от дружки никуды. То я к ей, то она к мине. У меня об ей сердце тоже болит.

Люся проснулась, наверное, раньше, еще при Варваре, но зашевелилась и открыла глаза, только когда Варвара ушла.

— Разбудили мы тебя со своим разговором, — виновато сказала старуха. — Охота, дак спи, я молчком буду. И им накажу, чтобы тихонько ходили.

— Я выспалась. — У Люси даже с ночи лицо было гладкое, без морщин и опухлости. — Я сегодня хорошо спала.

— Ничё во сне не видала?

— Нет.

— А Варваре, говорит, чё-то нехорошее являлось, а чё, не помнит. Я уж ей сказала, чтоб она к Миронихе сходила — а ну, как сон про ее? А тут Таньчоры все нету, нету. Я уж боюсь про ее и думать.

— Приедет, не волнуйся. Сегодня должна обязательно приехать.

— Дак и вчерась вы мне так же говорели, а где она? Я всю ночь глаз не сомкнула. Думаю: ну, как все уснут, а Таньчора приедет и зачнет стучать. Лежу и слушаю, лежу и слушаю. С вечеру-то народ ходил, было кого слушать. Потом Михаил наш прибуровил. От уж он покряхтел, от уж покряхтел, покуль укладывался, будто кто его давит. Дак это и не он, это вино в ём кряхтело, видать, немаленько же оне его вечор выпили. Ну, угомонился, слава те, господи. Опеть я одна. Никто не стукнет, не брякнет, лежу и сама себя слушаю. Ночь сильно длинная мне показалась, с целый год. Об чем я только не передумала? И с мамкой со своей поговорела, сказалась, что вскорости буду. И про Таньчору богу помолилась, чтоб пропустил он ее к мине, когда видал где. Только бы она сёдни приехала, а то ить я могу и не дождаться. Я уж по себе вижу, что я не своей жистью живу, что это бог мне заради вас добавки дал, а у ей, подимте, тоже конец есть. Как нету — есть, есть.

До этого Люся слушала в постели, как только старуха заговорила о добавке, стала подниматься. Старуха рада была, что не надо молчать, за ночь она намолчалась.

— Я уж не чаяла утра дождаться — ночь и ночь. Думаю, моить, оне одна за другой тепери без дня идут, а я ничё не знаю. Дак нет, люди-то спят, не просыпаются. А я как есть вся измучилась. Оно хошь спать и неохота, отоспалась, а глаза все одно закрываются. Привыкли, подимте, по ночам закрываться — какой с их спрос? Я не даю им, боюсь: а ну, как усну и боле не проснусь? Сон, он смерти свой. Потом слышу: петухи поют, досветки сымают. Ну, дождалась. Светать стало, давай я усаживаться, а то уж никакого спасу не было: кости-то у меня наголе, я ить их до дыр пролежала.

— Сегодня села, завтра — встанешь, — убирая после себя постель, терпеливо сказала Люся. — Встанешь и пойдешь. И не будешь больше говорить, что ты чужой жизнью живешь.

— Чужой и есть, — повторила свое старуха. Люся не стала спорить, убрала раскладушку и, оглаживая себя, остановилась у окна. День начинался с охотой, воздух был в солнце и веселил простор над деревней, не скрадывая, показывал его весь, до самого конца. Река искрилась, лес за рекой, поднимающийся по горе вверх, казался ближе, но его не по времени яркую зелень притушило солнцем. Повсюду было тихое, спокойное сияние, и только в деревне одиноко чернели тени, но их, словно боясь запнуться, обходили даже собаки.

И не понять, не разгадать было, отчего вчера наваливался туман, а сегодня так тихо, никаких помех. Люся вспомнила вчерашний разговор о рыжиках и решила, что сегодня самое подходящее время, чтобы идти в лес. Только бы все хорошо было с матерью.

Люсю оторвала от окна Варвара, еще с порога она закричала — будто принесла бог знает какую радость:

— Вспомнила, матушка, вспомнила!

— Чё вспомнила?

— Да сон-то. Сон-то и правда нехороший. Я тебе сразу сказала, нехороший сон — так оно и есть. Я как знала.

— Ну-ну? — заторопила старуха.

— Вот будто сидим мы, бабы, кругом, а бабы все какие-то незнакомые, ни одной не знаю. Вот будто сидим мы и лепим пельмени. И как ты думаешь, чё мы в начинку-то в них кладем?

— Откуда я знаю — чё ты меня спрашиваешь?

— Грязь.

— Чё кладете?

— Грязь. Под ногами у нас грязь, мы ее вместо мяса и берем. И такие будто радые, что у нас пельмени-то с грязью будут. Прямо смеемся от радости. А я еще и говорю: «Вы, бабы, почему плохую-то грязь берете, какие у нас так пельмени выйдут? Никакого навара. Вот здесь у меня грязь пожирней, ее берите». Они и стали у меня брать. Как вспомню, так меня прямо всю дрожью обдает.

— А дальше-то чё-нить было, нет?

— Нет, больше ничё не помню. А пельмени как сейчас вижу: такие на противне лежат белые да аккуратные, прямо один к одному. Нехороший сон, я сразу сказала, что нехороший. — Варвара испуганно качала головой, спрашивала: — К чему бы это? Вот беда-то! Я бы знала, я бы спать не ложилась, чтоб мне не видать его.

— Ты свои сны лучше бы при себе держала, — посоветовала ей Люся.

— Если я его видала, как я должна говорить, что не видала?

— Ну и ела бы свои пельмени сама. Неужели ты не понимаешь, что маме не до них? Она и так выдумывает, будто какой-то чужой жизнью живет, а тут еще ты со своими снами. Такая чуткость, что просто с ума сойти можно.

Люся рассерженно вышла, дверь после нее до конца не закрылась и, противно поскрипывая, стала отходить.

— Притвори ее, — попросила старуха, но Варвара не поняла, жалуясь, забормотала:

— Чё не скажи, все не так, все не так. Ой-ёшеньки! Кругом Варвара виноватая, одна Варвара. Теперь уж у нее и во сне смотреть нету права. А я как от них буду закрываться, если я сплю, а они сами мне в глаза лезут. Я их не зову. Мне чё теперь, и не спать совсем?

— А ты не все слушай, чё тебе говорят.

— Как я буду не слушать, когда она при мне это говорит? Я, поди, не глухая. Она говорит, я и слушаю.

— Ох, Варвара ты, Варвара! В кого ты у нас такая простуша, — пожалела ее старуха и, вспомнив, перебила себя: — Я тебе сказала, к Миронихе-то сходить, ты сходила к ей, нет?

— Нет еще.

— Дак ты пошто не сходишь-то?

— Счас пойду.

— Сходи, Варвара, сходи. Она у меня с самого утра из ума нейдет. Не доспелось ли с ей чё? Тут тебе через дорогу недолго перебежать. Когда живая она, скажи, что старуня заказывала. Я ить ее уж сколь не видала. — Варвара пошлепала к выходу, и старуха крикнула ей вдогонку: — Дверь-то притвори мне, а то с улицы ишь как тянет. Я себе ноги-то застудю.

С непривычки она уже устала сидеть, но Нинка развалилась как раз посреди кровати, и старухе приходилось терпеть. А трогать Нинку жалко. Пересиливая ломоту в спине, старуха согнулась и подобрала руки к животу — теперь спина была сверху и вроде притихла. Старуха немножко отдохнула, но долго сидеть так, скрючившись в три погибели, она посчитала тоже опасным — недолго было и нырнуть — и опять разогнулась, расправляя спину, покачалась на месте и вздохнула.

— Матушка, слышь, матушка, нету твоей Миронихи дома, — крикнула в окно Варвара. — Надя говорит, утром она на нижний край убежала.

— Ну ну, — поняла старуха и, помолчав, сказала себе: — Опеть куды-то и убежала. Ой, в кого она только такая бегучая?

— Ты сидишь? — спросила Варвара.

— Сидю, сидю.

Заворочался в той комнате Михаил, кряхтя и спотыкаясь, проволок себя в сени, забренчал там ковшиком. Дверь, конечно, не прикрыл, будто он один в избе живет, никого больше нету. Старуха поохала, но не захотела кричать Михаилу, осторожно нагнувшись, стала заворачивать в одеяло свои ноги. Но холод все равно доставал и студил их. Для других это, может, и не холод, а для старухи он самый.

Она сжалась, примолкла.

— Землю во сне видать — это, однако, и не к худу совсем, — неуверенно сказала потом она и огляделась.

День уже целиком вышел на люди, пошел свободней, быстрей.

5

Михаил выпил полный ковшик воды и отдышался. Пока вода лилась через горло, он еще чувствовал ее прохладную, свежую силу, теперь опять стала подниматься тошнота. Михаил дернулся, и вода бесполезно булькнула в животе, уже и не вода, а помои. Он подумал, не попить ли еще, и не стал пить — все равно никакого толку, только лишняя тяжесть да лишняя беготня потом, и, придерживая себя руками, выбрался на крыльцо. Ему были противны сейчас и

солнце, и начинающееся тепло — в дождь или в ветер все-таки легче, хоть что-то теребит и отвлекает со стороны, а в такой сухомятине поправишься, конечно, не скоро. Он был в майке и босиком, но даже не отличил улицы от избы, все казалось одинаково пресно и мутно.

Чтобы не стоять, Михаил опустился на ступеньку и сразу поднялся: слабые, угарные мысли о вчерашнем все-таки донесли ему воспоминание о водке, которая ждала в кладовке. Удивительно, до этого он почему-то ни разу не подумал о ней — скорей всего, по привычке: у него никогда не бывало столько выпивки сразу, да и вообще уже давным-давно ни капли не оставалось на утро. Он еще постоял, помедлил; он-то знал точно, что вчера они с Ильей и в самом деле притащили целый ящик водки и за один присест при всем желании не могли выпить ее полностью, и все-тки сам же не поверил себе: ну да, расскажи кому-нибудь другому... В кладовке, дверь в которую была тут же, в сенях, он осторожно приподнял в углу хламье и счастливо сморщился — в полутьме кладовки особым, упругим блеском снизу ударили закупоренные бутылки. Только три гнезда в ящике были разорены, остальное сохранилось не хуже, чем в магазине.

Надо же, всю ночь простояла, и ничего. Михаил достал еще одну бутылку и, торопясь, сунул ее себе в карман штанов.

Он сел отдохнуть на то же самое место, откуда перед тем поднялся. Тошнота не прошла — нет, до этого было далеко, но тело от знакомого и деланного обещания заметно взбодрилось. Чует ведь, еще как чует! Теперь можно было немножко и посидеть, похитрить над похмельем — вроде и маешься от него, жить не можешь, а сам знаешь, что скоро ему придет конец. Оттого и не боишься посмотреть, что это был за зверь, что понимаешь свое близкое освобождение. Такая уж у человека натура. Вот так же хорошо

почувствовать себя до смерти усталым, и ведь не когда-нибудь, а именно перед сном, когда можно об этом и не вспоминать. Тоже хитрость. Какая-никакая, а хитрость.

Он бы еще посидел, подразнил в себе похмелье, но услышал с огорода голос Нади и решил, что ему незачем встречаться с ней. Успеется. Что она может ему сказать, он знал и без того. Хотел еще зайти в избу, чтобы обуться, но представил, как неловко будет обуваться с бутылкой в кармане, к тому же потом легче легкого натолкнуться на Надю или на кого-нибудь из сестер, и не пошел, так, босиком, и направился туда, куда держал путь с самого начала, — в баню, к Илье.

Илья как ни в чем не бывало спал. Никаких ему забот, никаких страданий, будто он до поздней ночи молотил. Михаил присел перед ним на низенькую чурку, притащенную вчера с улицы, и сунул бутылку за курятник. Здесь же, в бане, стоял и курятник, в котором зимой держали куриц и который по надобности служил вместо стола. Вот и вчера выпивали за ним, и ничего, не жаловались. Две бутылки до сих пор стояли на виду, третья каким-то чудом залетела в курятник, хотя дверца была закрыта, и валялась там на боку. Тоже ничего хорошего не скажешь про эту бутылку — если кто зайдет, всякое может подумать. Не курицы же ее выпили.

Михаил хотел достать бутылку, но надо было подниматься, перешагивать через Илью, и он плюнул: раз пустая, пускай лежит, потом поднимется сама.

— Илья! — позвал он. Это было сегодня его первое слово и без пробы оно вышло не чисто, с хрипом. Вот до чего запеклось все внутри, что и слова не выговоришь. Откашлявшись, Михаил поправил голос: — Слышь, Илья!

Илья прислушался во сне, дыхание его переменилось.

— Вставай, хватит тебе спать.

— Рано же еще, — не открывая глаз и не Двигаясь, буркнул Илья. Стоило только промолчать или замешкаться со словами, и он бы опять уснул, потому что до конца не проснулся и не хотел просыпаться, хватался за свой сон, будто мальчишка, которого вечером не уложишь, утром не подымешь.

— Какой там рано! День уж.

— Чего это вам не спится? Вчера Варвара подняла, сегодня ты. Легли черт знает когда.

— Как ты? — не слушая его, спросил Михаил.

— Не знаю еще. Вроде живой, — открыл все-таки глаза Илья.

— А меня будто через мясорубку пропустили. Не пойму, где руки, где ноги. Кое-как сюда приполз. И то с отдыхом.

— Перестарались вчера — ага.

— Я утром еще не очухался, а уж вижу: все, хана. И ведь лежать не могу. А поднимешься — упасть охота. Ты вот спишь, тебе ничего. Я не-ет!

— Мне наутро спать надо — ага. Все подчистую могу переспать, будто ничего и не было. Это уж точно. Только не тревожь меня.

— Ишь как! — позавидовал Михаил. — Организм, что ли, другой? Родные братья — вроде не должно бы.

— Ей все равно: братья — не братья.

— Но. Это нам еще повезло, что мы с тобой белую пили. А с той совсем бы перепачкались, я бы сегодня не поднялся. Не поднялся бы, как пить дать, не поднялся. Я уж себя знаю.

— Мне с красной тоже хуже.

— Покупная, холера, болезнь.

— Что?

— Покупная, говорю, болезнь. — Михаил показал на голову. — Деньги плочены.

— Это точно.

— Я еще лет пять назад ни холеры не понимал. Что пил, что не пил, наутро встал и пошел. А теперь спать ложишься, когда в памяти, и уж заранее боишься: как завтра подниматься? Пьешь ее, заразу, стаканьями, а выходит она по капле. И то пока всего себя на десять рядов не выжмешь — не человек. Плюнешь и думаешь: все, может, меньше ее там останется, хоть сколько да выплюнул. Всю жизнь вот так маешься.

— Это анекдот есть такой, — вспомнил Илья. — Мать отправляет свою дочь отца искать — ага. «Иди, — говорит, — в забегаловку, опять он, такой-сякой, наверно, там». Он, понятное дело, там, где ему еще быть? Дочь к нему: «Пойдем, папка, домой, мамка велела». Он послушал ее и стакан с водкой ей в руки: «Пей!» Она отказывается, я, мол, не пью, не хочу. «Пей, кому говорят!» Дочь из стакана только отхлебнула и закашлялась, руками замахала, посинела: «Ой, какая она горькая!» Тут он ей и говорит: «А вы что с матерью, растуды вас туды, думаете, что я здесь мед пью?»

— Но, — засмеялся Михаил. — Они думают, мы мед пьем. Думают, нам это такая уж радость.

— Не слыхал этот анекдот?

— Нет, не слыхал. Очень даже правильный анекдот. Жизненный. — Михаил помолчал, задумчиво покивал всему, о чем говорилось, и решил, что больше тянуть нечего. — Так что, Илья, — сказал он и достал из-за курятника бутылку. — Поправиться, однако, надо.

— Ты уж притащил. — Голос у Ильи дрогнул так, что не понять было, испугался он или обрадовался.

— Шел мимо и зашел. Чтобы потом не бегать.

— А может, лучше пока не будем? Подождем?

— Ты как знаешь, а я выпью. А то я до вечера не дотяну. И так уж едва дышу. Придется вам тогда меня вместо матери хоронить.

— Как там мать-то?

— Не знаю, Илья, не скажу. Не заходил. Ничего, наверно, а то бы бабы прибежали, сказали.

— Это точно, сказали бы.

— Ну как — наливать, нет? — раскупорил Михаил бутылку.

— Наливай — ладно. За компанию.

— И правильно.

— Закусить-то совсем нечем?

— Нечем. Если хочешь, сходи, а я сейчас не пойду. Ну их! Они думают, мы здесь мед пьем.

— Мне-то неловко там шариться.

— А что ты — чужой человек, что ли? Возьмешь, что надо, и обратно.

— Ладно, давай так. Сойдет.

— Сойдет, конечно. И пить — помирать, и не пить — помирать, уж лучше пить да помирать, — как молитву, прочитал Михаил и выпил, с затаенным вниманием подождал, пока водка найдет свое место, и только тогда осторожно опустил стакан на курятник. — Они думают, мы тут мед пьем, — прыгающим, перехваченным голосом повторил он опять слова, которые все больше и больше грели его душу.

Илья сидел на постели, сморщившись, наблюдал за Михаилом.

— Ну, как? — поинтересовался он.

— Пошла, холера. Куда она денется? Пей, не тяни, а то потом поперек горла встанет, не протолкнешь. Ее для первого раза завсегда надо на испуг брать.

Выпил наконец и Илья. Выпил и опять замахал перед ртом ладонью, как машут на прощанье. Такая у него выказалась привычка. Вчера она забавляла Михаила, и он сам раза два или три за компанию с братом помахал ей вслед, чтобы не было потом никаких обид, но ничего интересного в этом для себя не нашел. Кроме того, взяла верх своя привычка — пить первым, а после нее он уже забывал о всяких там провожаньях,

хотя для Ильи, быть может, это значило совсем другое. Михаил не спрашивал, да и как об этом станешь спрашивать?

Баня, если осмотреться, больше походила на кухню, и не только из-за курятника. Она и была ненастоящая; настоящая, которая стояла в огороде, сгорела три года назад. После этого Михаил на время приспособил под баню крайний амбар. Полка, где парятся, в ней не было, вместо каменки топили железную печку и грели на ней воду — не баня, а одно названье. Но ничего, обходились, а париться Михаил напрашивался к соседу Ивану. Ставить новую баню он так и не собрался, да и то — шуточное ли дело одному? Зато на банном пепелище картошка вот уже три лета подряд вымахивает такая крупная, что не налюбуешься. Во всей деревне картошка только-только горохом берется, а Надя на этом месте уже подкапывает для еды. Правду говорят: нет добра без худа, а худа без добра.

Михаил сидел возле окошка и заранее увидал, что к ним, в баню, как танк, прямым ходом направляется Варвара. Ругнувшись, он убрал с глаз бутылку. Варвара перевалилась через порог и прищурилась — после улицы ей показалось в бане совсем темно, хотя света здесь было вдосталь, только он не блестел на солнце и не слепил, а светил со спокойной и медленной силой.

— Это ты, чё ли? — вглядывалась Варвара в Михаила.

— Нет, не я. Исус Христос.

— Да ну тебя! Откуда я знаю, здесь ты или не здесь. Я думаю, Илья один. Пришла ему сказать, что матушка-то у нас уж сидит.

— Сидит?

— Сидит, сидит. Я заглянула и глазам своим не поверила. Она сидит, смотрит. Ноги вниз опустила…

— Голову наверх держит!

— Ты, Илья, не подсмеивайся, не надо, — упрекнула Варвара. — Про матушку нашу нельзя так говорить. Она нам матушка, не кто-нибудь.

— С чего ты взяла, что я подсмеиваюсь?

— Пойдите сами поглядите. Кто бы мог подумать? — Варваре очень хотелось, чтобы и братья тоже увидели сейчас мать и обрадовались, и она повторяла: — Вот пойдите, пойдите, поглядите, как матушка сидит. А то потом скажете, что Варвара придумала.

— А что глядеть, пускай сидит, — отговорился Михаил. — Сильно-то надоедать ей не надо. Смотрите только, чтобы она там у вас не упала.

— Нет-нет, она хорошо сидит.

— Мы потом, попозже придем, — пообещал Илья.

Варвара внимательно осмотрелась и, не найдя, что сказать, уже развернулась уходить, но Михаил задержал:

— Там Надя дома, нет?

— Дома. Все дома. И Люся, и матушка наша дома.

— И матушка, говоришь, дома?

— Да ну вас! — поняла Варвара. — С вами только свяжись. Пойду я.

— Иди, иди. Карауль там мать, а то она куда-нибудь убежит, искать потом надо.

Варвара с опаской соступила с предамбарника — он был высокий, а на землю перед ним никто почему-то не догадается хоть какой-нибудь чурбан подложить-и приостановилась, решая, куда теперь пойти. Радости после разговора с братьями в ней убавилось немного, и она не давала ей покоя. Вот если бы братья пошли к матери, тогда другое дело: она бы тоже пошла, чтобы своими глазами увидать, как они удивляются матери, которая еще вчера кое-как лежала, а за сегодняшнее утро уже приспособила себя сидеть — ну совсем как здоровый человек. Но братья остались в бане, далась им эта баня, будто она дороже родной матери, и Варвара

теперь не знала, что делать. Она вспомнила свой сон с пельменями и вовсе забеспокоилась. Нехороший сон, ой нехороший. У кого бы спросить о нем, кто может знать? С Люсей не поговоришь — вон как она буркнула на Варвару, а Надя вся в делах, ей некогда. Варвара сдвинулась с того места, на котором стояла, и остановилась на другом, потопталась, растерянно оглядываясь по сторонам, и только после этого решила выбраться за ворота — там люди.

Едва успела Варвара переступить через порог, Михаил, не медля, выставил опять на курятник свою бутылку и даже пристукнул ей, чтобы почувствовать момент. С той поры, как он пришел сюда, он заметно повеселел, лицо у него загустело, глаза ожили.

— Так что, Илья, — приготовился он. — Вроде дело на поправку пошло. Самое время добавить. Как бы не опоздать, а то потом догоняй не догонишь.

— Я без закуски больше не могу, — отказался Илья. — Хоть бы корку какую-нибудь для занюха — ага, и то ладно. А как — это гиблое дело. Раз, два — и готовы. Никакого интереса.

— Может, луковицу в огороде сорвать?

— Луковица нас с тобой не спасет. Это точно. Тут даже соли нету.

— С закуской оно, конечно, надежней, — согласился Михаил и тоскливо помолчал. — Подождем — что ж делать! Идти сейчас туда мне совсем неохота. Начнется опять. Вот Надя выглянет куда-нибудь, я сбегаю.

— Ты, если хочешь, выпей.

— Подожду, куда торопиться. Я один не уважаю ее пить. Она тогда, холера, злее. С ней один на один лучше не связываться, я уж ее изучил.

— С ней, говорят, вообще лучше не связываться.

— Дак говорят, Илья, говорят, я тоже слыхал. Люди много чего говорят, успевай только слушать. Конечно, кто не пьет, то уж и не надо, доживай так, а кто с этим

делом связался, аппетит поимел — не знаю… — Михаил долго качал головой. — Не знаю, Илья, не знаю. Все равно потянет — я так считаю. Большая в ней, в холере сила, попробуй справься. Надорваться можно. Я так и не надеюсь уж. Молодым сколько раз зарекался, потом перестал — чего себя и людей смешить. И нечего стараться. Оно, конечно, пить тоже надо уметь, как в любом деле. Мы ведь ее пьем, пока не напьемся, будто это вода.

— Пить надо уметь — это точно.

— Ты-то часто пьешь?

— Я на машине, мне часто нельзя. В городе с этим строго — ага. И баба у меня с ней никак не контачит. Но уж если где без бабы да без машины, обязательно зальюсь. До самой пробки.

Михаил покосился на бутылку, спросил:

— Может, выпьешь все-таки? Потом побольше закусишь.

— Нет, не могу. Ты пей, не смотри на меня.

— Я, однако, маленько приму, а то уж подсасывать стало. — Он и правда плеснул в стакан немножко и, не останавливая руку, сразу опрокинул в себя, будто торопился запить какую-нибудь гадость. — Ну вот, — шумно выдохнув, сказал он. — Так-то оно легче. Как говорят, пей перед ухой, за ухой и поминаючи уху. Пей, значит, не робей.

— Ухи сейчас бы неплохо — ага.

— А все почему пьем? — не сбился Михаил и покивал себе, подождал, не скажет ли что Илья. Илья молчал. — Вот говорят с горя, с того, другого. Не-ет. Это все дело десятое. Говорят, по привычке, а привычка, мол, вторая натура. Правильно, привыкли, как к хлебу привыкли, без которого за стол не садятся, а только и это не все, для этой привычки тоже надо иметь причину. Знаю, что виноват кругом на двадцать рядов: дома с бабой поругался, последние деньги спустил, на работе

прогулов наделал, по деревне ходил попрошайничал — стыдно, глаз не поднять. А, с другой стороны, легче. С одной стороны, хуже, с другой, — лучше. Идешь опять работать, грех замаливать. День работаешь, второй, пятый, за троих упираешься, и силы откуда-то берутся. Ну, вроде успокоилось, стыд помаленьку проходит, жить можно. Только не пей. С одной стороны, теперь легче, а с другой, все труднее и труднее, все подпирает тебя и подпирает. — Михаил махнул рукой. — И опять забурился. Не вытерпел. Все пошло сначала. Устал, значит. Организм отдыха потребовал. Это не я пью, это он пьет. Ему она вместе с хлебом понадобилась, потому что в нем такая потребность заговорила. Как ты считаешь?

— Потребность — это точно, — согласился Илья. — Пьем сразу по способности и по потребности. Сколько войдет.

— А как не пить? — продолжал Михаил. — День, второй, пускай даже неделю — оно еще можно. А если совсем, до самой смерти не выпить? Подумай только. Сплошь одно и то же. Ведь столько веревок нас держит и на работе, и дома, что не охнуть, столько ты должен был сделать и не сделал, все должен, должен, должен… А выпил — и уж ни холеры не должен, все сделал, что надо. И так тебе хорошо бывает, а кто откажется от того, чтобы хорошо было, какой дурак? Выпивка — она ведь вначале всегда как праздник. Опять же надо меру знать…

— Если бы меру знать, половины того, что она с нами творит, не было бы.

— Оно, конечно, не было бы. С другой стороны, скажи мне сейчас, мол, хватит, остановись, — разве я остановлюсь? Хотя оно, может, и правда хватит: вроде полегчало, теперь, ясное дело, на другой бок пойдет. А все равно мне еще надо, такая у меня натура. Она пока свое не возьмет, ее лучше не удерживай. Она не любит

выгадывать, делать только наполовину, ей все надо до отвала, всласть. И работать, и пить. Сам знаешь.

— Сколько у тебя в месяц выходит?

— Чего в месяц? Вина, что ли? Илья засмеялся:

— Вино ты без бухгалтерии пьешь, я знаю. Я спрашиваю, какой у тебя заработок, ага, сколько ты денег в месяц получаешь?

— Заработок... Когда как, Илья. Заработки теперь, если хочешь знать, не те. Механизаторы у нас еще зарабатывают, а мы, кто на своих ногах ходит, нас попридержали. Мне против старого, вот как в первые годы было, почти вполовину только начисляют. Раньше две-три баржи нагрузил и можешь спокойно в потолок поплевывать. Правда, и работали. Ох, работали, не то что сейчас. На руках эти бревешки-то катали. Теперь что, теперь краны. Подцепил — отцепил, смотри только, чтоб не придавило. И везде так, кругом машины заместо людей, техника.

— Легче с ней, с техникой-то.

— Легче, конечно, кто спорит. Далеко легче. Не надрываемся. — Михаил ненадолго задумался и вдруг с чувством сказал: — А все-таки тогда как-то интересней было. Взять те же баржи. Любил я эту погрузку, и даже не из-за денег, хоть и деньги там были тоже немаленькие, а из-за самой работы. По двое суток с берега не уходили. Пока не нагрузим, все там. Еду нам ребятишки в котелочках принесут, поели — и опять. Азарт какой-то был, пошел и пошел, давай и давай. Откуда что и бралось?! Вроде как чувствовали работу, за живую ее считали, а не так, что лишь бы день оттрубить.

— Тогда ты был помоложе.

— Помоложе-то помоложе... А вот вспомни, как в колхозе жили. Я говорю не о том, сколько получали. Другой раз совсем ни холеры не приходилось. Я говорю, что дружно жили, все вместе переносили — и плохое, и

хорошее. Правда что колхоз. А теперь каждый по себе. Что ты хочешь: свои уехали, чужие понаехали. Я теперь в родной деревне многих не знаю, кто они такие есть. Вроде и сам чужой стал, в незнакомую местность переселился.

Скрипнула дверь в избе, и Михаил вскинул голову. Вышла Нинка — не Надя. Оглянулась — никого нет, покружила вокруг поленницы и моментом юркнула за нее. Михаил подождал, пока Нинка сделает свое дело, и высунулся в дверь:

— Нинка, иди-ка сюда.

— Заче-ем? — испугалась девчонка. Она никак не ожидала, что за ней могут следить из бани.

— Иди-иди, голубушка, тут все узнаешь.

— Я больше не бу-у-ду.

— Иди, тебе говорят, пока я тебе не всыпал. Озираясь, Нинка бочком влезла в баню, заранее запыхтела.

— Тебе сколько можно говорить, чтоб ты место знала? Ноги у тебя отвалятся, если ты добежишь куда надо?

— Я больше не бу-у-ду.

— Не бу-у-ду. Только одно и заучила. Мне с тобой уж надоело разговаривать. Вот сейчас возьму и выпорю, чтоб помнила. А дядя Илья посмотрит, понравится это тебе или нет. Я знаю: у тебя одно место давно уж чешется. Уважить его надо, почесать, раз такое дело.

Нинка запыхтела сильнее.

— Ну, что молчишь?

— Я тогда мамке скажу, что ты здесь вино пьешь, — быстрым говорком предупредила Нинка и прицелилась на дверь, готовясь дать стрекача.

— Я вот те скажу! — взвился Михаил. — Я те так скажу, что и мамку свою не узнаешь! Тебя для того, что ли, научили говорить, чтоб ты родного отца закладывала? Мамке она скажет. Вот вша какая! —

пожаловался он Илье. — От горшка два вершка, а туда же. Ты погляди на нее.

— Тогда не дерись.

— Никто с тобой не дерется — помалкивай. Хотя оно, конечно, следовало всыпать на память за такие фокусы.

— Ладно, отпусти ты девчонку, — пожалел Нинку Илья. — Она больше не будет.

— Будешь, нет?

— Не буду, — проворно пообещала Нинка и выпрямила голову, глазенки сразу забегали по сторонам, схватывая все, что она не успела заметить.

— Ишь, шустрая какая. «Не буду» — и дело с концом, и отделалась. Ты как тот петух: прокукарекал, а там хоть не рассветай. Так, что ли? Погоди, не торопись. Успеешь, не на пожар. Я бы тебя выпорол, да вот дядя Илья не хочет. А за это ты нам с дядей Ильей должна принести что-нибудь закусить. Поняла?

— Поняла.

— Ни холеры ты не поняла.

— Я мамке скажу, она даст.

— Опять двадцать пять. Опять она мамке скажет. Да ты без мамки-то не можешь, что ли? Забудь ты про нее. Совсем забудь. Ты нам так принеси, чтоб мамка твоя не видала и не слыхала. Теперь поняла?

— Теперь поняла.

— Посмотри там на столе или в кладовке и потихоньку принеси. А я тебе потом за это бутылку дам. — Михаил отставил в сторону пустую бутылку.

— Да-а, — навострилась Нинка. — Ты дашь, а сам же и отберешь.

— Не отберу, не отберу. Беги.

— А тогда отобрал.

— Тогда отобрал, а сейчас не буду. Сейчас у меня свои есть. Вот дядя Илья свидетель, что не отберу.

— Я свидетель, — хлопнул себя по груди Илья.

Нинка стояла.

— Ну, что тебе? Беги скорее.

— Мне две надо, — Нинка метнула быстрый взгляд на вторую пустую бутылку.

— Две дам, только беги, христа ради. — Михаил присоединил к первой бутылке вторую.

Нинка принесла под платьишком булку хлеба, больше ничего, потому что от стола, возле которого она делала круги, мать ее турнула, а с булкой дело обстояло проще, она лежала в сенях, где Надя оставила ее до завтрака.

Хлеб — это, конечно, лучше, чем совсем ничего, но одного хлеба было все-таки маловато для утренней выпивки. Тут Михаил вовремя вспомнил, что как раз над головой, на бане, несутся две или три курицы. Нинка полезла и принесла пять яиц вместе с подкладышем, который лежал там, наверно, с весны и который Михаил, как нарочно, сразу же умудрился проглотить. Хоть и не на чистый желудок, а все равно у него глаза полезли на лоб и стало всего выворачивать, так что пришлось эту закуску запивать опять водкой, чтобы промыть горло. Долго он еще плевался и матерился и яйца больше пить не стал, ломал один хлеб.

За яйца Нинке отдали третью бутылку, которая валялась в курятнике, а за то, что сбегала за солью, пришлось пообещать и четвертую, еще недопитую. Карауля ее, девчонка не шла из бани. Показываться в избе ей не имело никакого интереса еще и потому, что даже здесь было слышно, как Надя ищет хлеб, который будто корова языком слизнула. Нинка спокойно помалкивала и чистыми, невинными глазенками посматривала на мужиков, с которыми она чувствовала себя в полной безопасности. Теперь судьба крепко связала ее с ними, и Михаил мог быть спокоен, Нинка не выдаст. Скоро ей опростали и эту бутылку, и она потащила ее прятать туда же, за поленницу. Потом

пооколачивалась в ограде и, как обычно, кругами, стала приближаться к избе. Видно, захотела есть.

С бутылкой разговор у мужиков пошел опять бодрее. Только один раз и помялись, ослабли, это когда Илья захотел оправдаться, что ли, перед кем-то за сверхурочную выпивку и сказал:

— А что делать? Возле матери нам находиться, я считаю, больше незачем — ага. Сам видишь, она уже села. Того и гляди, побежит.

— Это она может, — мотнул головой Михаил.

— Скажи все же, а! Ни за что бы не подумал. Готовенькая ведь лежала, ничего будто не осталось, а вот что-то подействовало. Ну, мать! Ну, мать!

— Мать у нас еще та фокусница.

— Правда, что смерть свою перехитрила.

— А я тебе так скажу, Илья. Зря она это. Лучше бы она сейчас померла. И нам лучше, и ей тоже. Я это тебе только говорю — чего уж мы будем друг перед дружкой таиться? Все равно ведь помрет. А сейчас самое время: все собрались, приготовились. Раз уж собралась, ну и надо было это дело до конца довести, а не вводить нас в заблуждение. А то я ей поверил, вы мне поверили — вот и пошло.

— Что уж ты так? — возразил Илья. — Пусть умрет, когда умрется. Это не от нее зависит.

— Я говорю, как было бы лучше, я про момент. Оно, конечно, требовать с нее не будешь, чтоб сегодня духу твоего здесь не было — и никаких. Это дело такое. А вот вы уедете, она маленько еще побудет и все равно отмается. Помяни мое слово. Не зря у нее это было, зря такая холера не бывает. Я вам опять должон телеграммы отбивать, а у вас уж нет того настроения. Кто, может, приедет, а кто так обойдется. И выйдет все в десять раз хуже. Перед смертью так и так не надышишься.

— Как же не приехать?

— Всякое может быть. Вон Татьяна и теперь не едет.

— Татьяна — ага. Она как знала, не торопится.

— В том-то и дело, что не знала и не торопится. Если она и сегодня еще не приедет, мать с ума сойдет. Она и так-то надоела нам со своей Таньчорой: то во сне ее увидит, то еще как. Ты не живешь тут, не знаешь.

— Приедет. Получить такую телеграмму и не приехать, я не знаю, как это называется.

— Ну, если приедет, выпьем. Встретить надо как полагается. Сестра.

— Выпьем — ага, куда денемся?

— А и не приедет, все равно выпьем, — нашелся Михаил. — Все равно выпьем, Илья. У нас с тобой положение безвыходное.

— А что теперь делать? — с задумчивой веселостью поддержал его Илья. — Выливать теперь не будешь.

— Дак а кто нам с тобой позволит ее выливать? Это дело такое.

— Теперь хочешь не хочешь, надо пить.

— Как ты интересно говоришь, Илья. «Не хочешь». Так вопрос ставить тоже нельзя. Выпьем-почему же не хочешь? Раз надо-выпьем, — настаивал Михаил. — Можем мы взять на себя такое обязательство? Мы с тобой не каждый день видимся.

— Можем. Почему не можем?

— Это дело другое.

И разговор повернулся опять близкой обоим, согласной и заманчивой стороной. Он, конечно, раззадорил мужиков. Потребовалось снова выпить — тем более что выпивка была рядом, хоть залейся, и за нее наперед заплатили. Под тем предлогом, что ему надо обуться, Михаил взялся сделать новую вылазку в кладовку. Он ушел, сверкая голыми пятками, а Илья тем временем скатал постель, на которой он, не поднимаясь, елозил все утро, промялся до двора.

До сапог до своих Михаил в этот раз так и не добрался. Сначала он почему-то зашел в кладовку. Зашел — и в глазах потемнело: почти половина ящика была бессовестно разграблена. До сапог ли тут было? Михаил подхватил полегчавший ящик и кинулся обратно: пока оставалось что спасать, надо было спасать, через минуту могло не остаться и этого.

В бане он долго отводил душу — матерился. Ясно как день, что бутылки перепрятали свои, но от этого не легче было вызволить их обратно. Не тот сейчас выходил случай, чтобы можно было приставать с ножом к горлу: отдавайте и все. Водку вчера брали по другой причине И брали на общие деньги. Конечно, у мужиков на нее прав больше, на то они и мужики, но это только у трезвых есть права, а у пьяных они вечно под сомнением. Так что приходилось делать вид, будто ничего не произошло, все на своих местах, и оглядеться, выждать удобный момент.

Они только распочали новую бутылку, как явилась заплаканная Нинка и с порога заявила:

— Мамка нехорошая.

— Твою мамку повесить мало, — отозвался еще не остывший от злости Михаил.

— А что она тебе сделала? — спросил у Нинки Илья.

— Да-а. Она говорит, что это я хлеб украла. Сама ничё не видала, а сама говорит, что видала.

— Это она тебя на понт берет. Не соглашайся, — предупредил Михаил.

— Я и так. Я говорю: спроси хоть у папки, хоть у дяди Ильи.

— А пот это ты зря. На нас не надо было показывать. Понимать должна, что у нас там сейчас никакого авторитету. Без пользы. Тут ты не сообразила.

— Она нехорошая, — набычилась Нинка.

— Ну так что говорить. У меня к ней претензии, может, побольше твоих.

— Она про вас говорит, что вы загуляли. И говорит, что теперь надолго, — докладывала Нинка. — А про тебя, папка, говорит, что ты пьянчужка, больше никто, и что это ты во всем виноват.

— Ишь что при девчонке болтают, — с горькой укоризной покачал головой Михаил. — Никакого понятия: можно, нельзя… А ты не слушай, — потребовал он от Нинки. — Они там наговорят. Кому ты веришь: нам или им?

— Вам.

— То-то. Нас держись, с нами не пропадешь. А их не слушай.

Мужики снова принялись за бутылку. Нинка, приободренная отцом, терлась тут же, брала у него стакан с водкой, нюхала и фыркала, потом нюхала пустой стакан и тоже фыркала, как ровня, лезла в разговоры и зорко следила за тем, как убывает в бутылке, подбивая мужиков наливать побольше. Михаил жалел ее, не гнал от себя. И, как вышло, правильно делал.

Нинка спросила:

— Папка, а невылитые бутылки в магазине принимают, нет? — Ей пришлось задавать этот вопрос раза три или четыре, потому что Михаил разговаривал с Ильей и ему было не до Нинкиных глупостей.

— Это какие-такие невылитые? — отозвался наконец он.

— Ну, которые не выливаются. Я их выливала, а они не выливаются.

— Что ты из них, интересно, выливала? — Михаил говорил еще туда-сюда.

— А вино.

— Какое вино?

— Пускай не говорит на меня, что это я хлеб украла. Не видала, и пускай не говорит.

— А какое вино ты выливала? — Михаил нагнулся над Нинкой и держал ее в руках, но держал осторожно, ласково, чтобы не вспугнуть.

— Какое, какое! Такое. В бутылках. Только бутылки никак не открываются.

— Где ты их взяла? — спрашивал Михаил и переглядывался с Ильей.

Нинка и не собиралась ничего скрывать, к отцу у нее было сегодня полное расположение.

— Ты мне сам дал, — рассказывала она. — А у нее я сама взяла. Не будет говорить на меня. Не видала — и не говори.

Так. А где сейчас эти бутылки, которые ты у нее взяла?

— А в муке.

— Где?

— В муке. Они в кладовке спрятанные стояли. Это она их спрятала. Она думала, я не найду, а я вперед ее нашла. Там такая клетка есть, они в клетке стояли. Там еще есть.

Понятно, — крякнул Михаил. — Все теперь понятно. Не выливаются, говоришь? А ведь вылила бы, — простонал он. — Ты куда их выливала то? На пол, что ли? — Он спрашивал и жмурился от боли, представляя, как водка, будто какое-нибудь пойло, выплеснутая на пол, впитывается в дерево.

— Нет. Я в муку хотела. Чтоб она мокро не увидала.

Больше Михаил не в силах был играть в жмурки. Грозя Нинке подрагивающим пальцем, он потребовал:

— Чтоб об этих бутылках ни одна душа не узнала. Поняла?

— Поняла.

— Чтоб ни одна душа не узнала, — застряло у Михаила, — Поняла?

— Поняла.

— А то смотри. Скажешь — ой плохо будет.

— Их невылитые все равно не принимают, — попытался смягчить Михайлову суровость Илья.

— Их и вылитые не принимают. Их выпитые принимают. Поняла?

— Поняла.

— Как это ты быстро все понимаешь? Просто завидки берут — до чего толковая девка. А теперь иди. Иди-иди, — выпроваживал Нинку отец. — Гуляй. Нечего тебе тут с мужиками сидеть. И на носу заруби, что я тебе сказал. Чтоб ни одна душа. Бутылочница нашлась. В куклы играй, а не в бутылки.

Он закрыл за Нинкой дверь и отдышался.

— А ведь она, холера, и правда понесла бы их сдавать. Умишко-то детский. Невылитые — ишь ты! А там за милу душу приняли бы за те же двенадцать копеек. Полной фактурой и за двенадцать копеек. Им-то что, только давай, подноси. Вот холера так холера. И ведь разыскала. Ну оторви-голова растет. Оторви да выброс.

Нинка тем временем, оглядываясь, выехала на середину двора, оттуда, с безопасного расстояния, пригрозила в сторону бани:

— Папка нехороший.

И отправилась к матери.

6

С утра Люся еще побыла со старухой, чтобы знать, как она, и, сказавшись ей, стала собираться в лес. После того, как поднялась Нинка, старуха уложила себя на место и задремала, но близко и сторожко, вскидывая при каждом шорохе глаза. Видно было, что сегодня ей

стало намного лучше, и уйти от нее можно было безбоязненно.

Идти на гору Люсе не очень и хотелось, но чем заняться еще, она не нашла. Не сидеть же весь день дома. Сначала, не подумав, она позвала с собой Надю, и та согласилась, но затем сама же и отговорила ее, потому что, во-первых, с ней надо будет вести о чем-то разговоры, к которым Люся не была расположена, а кроме того, оставлять мать на одну Варвару показалось опасным — совершенно беспомощный человек, ничего не сделает. На мужиков рассчитывать больше не приходилось, за ними за самими нужно присматривать, чтобы они чего-нибудь не натворили и не лезли к матери. Пьяных старуха не переносила, и от них ей могло сделаться хуже.

Собиралась Люся долго. Одеться хотелось так, чтобы и удобно было в лесу, и чтобы выглядеть прилично, без той случайности в одежде, которая выдает безвкусицу. Не для людей — в лесу она могла никого и не встретить, а для себя, — от раз и навсегда заведенного правила одеваться аккуратно. От этого зависит и настроение, и даже дела. Люся верила, что неудачи тоже с глазами, и прежде чем пристать к кому-нибудь, они видят, как человек держится, чего он стоит и даже то, как он выглядит внешне. На крепкого, благополучного человека они редко решаются нападать.

Подходящая темная кофта у Нади нашлась, что надеть еще, Люся никак не могла выбрать. Надя принесла ей свои шаровары и сапоги, но Люся отложила их в сторону — это не для нее. Как бы сейчас пригодились ей брюки и купленные специально для поездок за город туристские ботинки, да кто знал, что ей выпадет здесь идти за грибами. Когда собиралась сюда, думала о другом. Она уже готова была никуда не ходить, коли не в чем идти, да услышала с улицы голос

возвращающейся Варвары, представила, как та весь день будет топтаться рядом и тянуть из нее Душу своим хныканьем, и сама попросила, сняла у Нади с ног кеды. Хоть и в них, лишь бы уйти. Очень уж не хотелось оставаться дома, не хотелось никого видеть, ни с кем разговаривать — ни жалеть, ни подбадривать. Родня, близкая родня, с которой надо вести себя как-то по-другому, чем со всеми остальными людьми, а она вовсе не чувствовала особой, кровной близости между собой и ею, только знала о ней умом, и это вызывало в ней раздражение и против себя — оттого, что она не может сойтись с ними душевно и проникнуться радостным настроением встречи, и против них, и далее против матери, из-за которой ей пришлось напрасно приехать, — именно потому, что напрасно. И сколько ей еще жить здесь, никто не знает. День, два, три? А может, больше?

Чтобы не встретить деревенских, Люся, минуя улицу, прошла в переулок через огород и поднялась на первую, рядом с деревней, гору. Она с самого начала решила, что не будет торопиться, для нее важно было пройтись по лесу, подышать свежим воздухом — то, ради чего в выходные она выезжала за город за многие километры. А тут лес вот он, рядом. Непростительно было бы не использовать счастливо появившуюся возможность побывать в нем без лишних хлопот: не надо договариваться о машине, набирать с собой еду, суетиться — встала и пошла. А грибы — что ж грибы! — они как заделье, раз уж в деревне не принято без нужды прогуливаться по лесу. Попадутся на глаза — сорвет, не попадутся — ну и не надо.

Она поднялась на гору и остановилась отдохнуть. Ей показалось, что с тех пор, как она не была здесь, гора стала меньше, положе; Люся подумала, что, наверное, ей это в самом деле только кажется, потому что выросла, повзрослела она сама и изменились ее представления о величинах: то, что раньше выглядело

большим, значительным, теперь приобрело обыкновенные размеры. Нет, гора действительно опустилась. Люся вспомнила, как когда-то ребятишками они легко скатывались с нее до ворот. Она оглянулась на два покосившихся столба, которые остались от ворот, и прикинула: теперь не докатиться, нет. А что же с воротами, почему нет ворот? Ну да, не сеют, не пашут, значит, нечего от скота и запирать, все четыре стороны открыты настежь. За Верхней и Нижней речками ворота, конечно, тоже снесены и поскотина разгорожена.

И тут Люся поняла, почему гора стала меньше: ее срезали. Она была не так большая, как крутая, вредная, и мешала машинам. Тогда, наверное, и пригнали сюда бульдозер. Вот и канава слева едва заметна, та саман, почти в три человеческих роста канава, в которой по весне громыхала красная от глины вода и, отгромыхав, скатывалась на огороды. Подмытые стенки канавы ухали так, что за рекой отзывалось эхо. Матери, отпускал ребятишек из дому, сначала наказывали не подходить близко к канаве, а уж потом не выкалывать друг другу глаза. Она и и самом деле таила в себе для ребятишек какую-то тревожную, неизведанную опасность, скрытую еще дальше, за тем, что видели глаза. Не много было в округе запретных мест, которые бы они не излазили вдоль и поперек, но канаву старались не трогать, хотя проникнуть в нее было не так уж и трудно. Кто-то когда-то пустил слух, что дно в ней это вовсе и не дно, а обман, что за ним пустота, ведущая чуть ли не в преисподнюю, и слух этот помнили. Может быть, не очень и верили, но помнили.

И вот теперь канаву засыпали, утрамбовали, Похоронив все связанные с ней страхи. Не стало еще одного таинственного места, к которому прежде испытывали боязливую почтительность — все меньше и меньше их остается на свете.

Дальше и левее за канавой, где чернеет крапива, при колхозе была силосная яма, и весенними вечерами, когда сильнее дышит река, из вскрытой ямы деревню богато обносило дразняще-прелым духом.

И сразу пришло новое воспоминание. Чтобы быть ближе к тому месту, к которому оно относилось, Люся прошла вперед. На горе, справа от дороги, раньше было малюсенькое, меньше гектара, поле, но на Люсиной памяти его уже не пахали — много возни, мало толку, а свозили на него осенью солому. Она, бедная, до самой зимы ходуном ходила от ребятишек. Целыми днями пропадали они в ней, прорывая ходы сообщения, устраивая тайники и жилища, а потом ребята постарше по темноте приводили сюда на готовенькое своих девчонок. Только темнота помогала мало, потому что на березах, нависших над соломой, до петухов сторожили те же самые ребятишки — чтобы не пропустить, кто кого привел. Мало того, самые отчаянные из них, найдя место, где устроилась парочка, имели обыкновение выбрасываться на нее сверху — этакая милая деревенская забава! Но тут уж действительно надо было иметь отчаянную голову и длинные ноги, не то потревоженный парень мог и покалечить.

Эти воспоминания вызвали в Люсе не волнение, а скорее любопытство: как странно и как далеко это было, будто и не с ней, не при ней вовсе, а при ком-то, кто был до нее. Она не звала их, они явились сами, без спросу, откликаясь на то, что встречали глаза.

Перед второй, затяжной горой машинная дорога свернула влево, в обход — эту гору срезать было не просто. Люся пошла прямо, по старой, от которой осталась только глубокая тропа, заросшая по сторонам высокой, выстоявшейся травой. Люся вела по колосьям рукой, и зерна, щекотя ладонь, с тихим шуршанием опадали на траву и стекали на землю. Лес по горе стал реже и сквозил теперь до самого поля, на каждом шагу

торчали пни и пеньки, недалеко от дороги валялись уже почерневшие и потрескавшиеся, не впрок заготовленные жерди. Как и при всяком разбое, сразу густо полезла и перепуталась трава, из нее, словно скелеты, выгибались сухие сучья — прежде хоть вблизи деревни их собирали на топливо, а сейчас и это никому не надо; Люся вчера видела, что весь берег у реки завален оставшимся после погрузки лесом, возле каждой избы лежат бревна. Да и разделывают их теперь бензопилами — раз, два и готово, не то что раньше, когда собирали воскресники. Опять воскресники: то, что было не под силу одной семье, делали миром, брали с собой ребятишек, находя им сподручную работу; Люся помнила, как любила она складывать поленницы, находя какую-то особую первобытную радость в том, чтобы устраивать в порядок приятные для глаза желтые сосновые поленья с тонкой шелковистой шкуркой, какая бывает ближе к вершине. И сезон для заготовки дров был один — весна, чтобы за лето они успели высохнуть, а теперь в любое время подбирай и пили разбросанную, уже готовую кубатуру.

«Нет, что-то было все-таки в этих воскресниках, — с неожиданной грустью пожалела Люся. — И люди на них шли с удовольствием. Кого не приглашали, тот уж понимал, что хозяева не считают его своим, что ему отказано в дружбе и доверии».

И работа — дружная, заядлая, звонкая, с разноголосицей пил и топоров, с отчаянным уханьем поваленных лесин, отзывающимся в душе восторженной тревогой, с обязательным подшучиванием и заигрыванием друг с другом и дразнящим ожиданием угощения, для которого хозяйку заранее отпускали домой. После зимы это была первая работа в лесу, к тому же не очень трудная, и ее любили. От солнца, от леса, от пьянящих запахов, исходивших

от ожившей земли, в одинаковое для молодых и немолодых ребячье возбуждение приходила душа, не успокаиваясь долго, до опустошающей усталости. С обновленной землей менялись, казалось, и чувства, необъяснимыми путями соединяясь с дальней, наиболее чуткой порой человека, когда он тоньше слышал и зорче видел, различал; древние инстинкты с непонятной настойчивостью заставляли присматриваться, принюхиваться, отыскивая что-то и под ногами и в воздухе, что-то забытое, утерянное, но не исчезнувшее совсем.

Вместо воды пили березовый сок, который тело принимало как снадобье — бережно и со вниманием, верящим в скорый отклик. Сок собирали ребятишки, они же отыскивали и выкапывали первые саранки, желтые луковицы которых таяли во рту, как сахарные; со сведенными лицами, только чтобы не отстать друг от друга, а не для того вовсе, чтобы утолить какую-то редкую нутряную жажду, сосали пихтовую зелень. И, конечно, не обходилось без лиственничной серы, без которой в этот день было так же нельзя, как в Пасху без яиц, и которую жевали даже мужики, а потом, разберединв десны, материли ее и хватались за курево.

Сразу, как только крутизна в горе утихла, начинались поля. Люся вышла на открытое место и в недоумении огляделась: что такое, уж не заблудилась ли она? Как можно было заблудиться в трех шагах от деревни? Нет, конечно: вон Касаловка, — поля слева, уходящие к Нижней речке, назывались Касаловкой, вон впереди, где с одной стороны видна изгородь, оставшаяся от гумна, Ближняя елань, за ней Вышка, справа дорога повела на Дальнюю елань. Эти названия пришли к ней так легко, будто она пользовалась ими каждый день, хотя только перед этим не могла сказать, как зовут острова напротив деревни, и Люся удивилась себе; что это с ней? Казалось, какой-то голос —

травяной или ветряной — наносил живущие здесь слова, и слух, уловив их, дал для повторения.

Люся медленно подвигалась по дороге вперед, узнавая и не узнавая открывшиеся места. Если смотреть поверху, вот она, Касаловка, вот Ближняя елань, за ней Вышка. А на земле все это сходилось в одном чужом широком запустении, которому не хотели верить глаза. Дорога, взбиравшаяся в гору узенькой тропкой, снова сошлась здесь с машинной и, не жалея земли, расползлась по сторонам. Поля заросли, затягиваясь с нижнего края густым, расторопным осинником, отдельно от него, ближе к середине, держалась сосновая поросль, там и там торчали дудки. Уже и не отличить было поля от межей, сцепились так — не оторвать. Хлебный дух, привычный для этой поры, давно истаял; пахло перезревающей лесной мешаниной да от заброшенной земли исходило пресное, сухое дыхание.

Не удержавшись, Люся свернула влево и пошла через поле. Земля еще не взялась целиной и была комковатой, серой; привыкнув поднимать хлеба, она, казалось, надеялась на чудо и из последних сил берегла себя для сева, но возле намечающегося соснячка, угадывая хвою, уже копошились муравьи — значит, поверили, что здесь их никто не тронет.

Сколько же прошло лет, как уехал отсюда колхоз? Семь, восемь, девять? Точно Люся не знала, что-то около того. Колхоз, можно сказать, и не уехал, а растаял на месте, увезли только машины, которых и было-то немного, да кой-какой инвентарь. Поля не увезешь — вот они, поля, люди тоже остались, не так-то просто и легко тронуться с насиженного места, освященного родными могилами, и двигаться неизвестно куда. Уехали только три семьи из переселенцев, одна из них затем вернулась обратно.

Колхоз назывался «Память Чапаева», и Люся опять удивилась тому, с какой легкостью, без всякого ее обращения к памяти всплыло откуда-то в ней это никому не нужное теперь название и с сиротской призывностью улетело в поля. Не будь она здесь, среди всего, что было с ним связано, ни за что бы не вспомнила. Впрочем, затем уже, после Люси, колхоз переименовывали и, кажется, не один раз, но другого названия она не знала и не хотела знать.

Колхозу «Память Чапаева», который и без того кое-как сводил концы с концами, не повезло сразу с двух сторон. Во-первых, рядом с ним, в одной деревне, обосновался леспромхоз — богатый, денежный, причем деньги, как в сказке, выдавали аккуратно через каждые полмесяца, и молодежь всякими правдами и неправдами побежала из колхоза. Для этого даже не надо было срываться с места и менять свою жизнь, все было тут 104 же, дома. А попробуй колхоз удержать у себя хорошего механизатора, когда тот видит, что в леспромхозе он по самому скромному счету заработает в три раза больше. Удерживать-то удерживали — и криком, и законом, да только плохо получалось.

Пока боролись с одной бедой, подоспела другая — началось объединение колхозов, и «Память Чапаева» прицепили к такому же, как он, горюну, до которого было почти пятьдесят километров тайги. Тут уж не только молодежь, чуть ли не вся деревня повалила в леспромхоз. Дошло до того, что некому стало кормить скот. Тот колхоз перегнал к себе коров, овец, но поля года два еще обрабатывал, отправляя сюда на помощь своих людей, хотя их, конечно, не хватало и дома. Помыкался он, помыкался, да и свез к себе оставшееся добро. А поля забросили. Вот они, поля, то, что от них осталось.

Люся еще раз осмотрелась вокруг, и ее кольнуло неожиданное, родившееся уже здесь чувство вины,

будто она могла чем-то помочь им и не помогла. «Ну что за чепуха, — отмахнулась она. — Я здесь совсем ни при чем. Я уехала раньше, задолго до всех этих перемен, я здесь человек посторонний». Она подумала, что у деревенских, оставивших землю ради леса, это чувство должно быть сильнее, пусть они от него и страдают, если способны страдать, а она и в самом деле оказалась тут случайно и едва ли когда-нибудь придет сюда еще. И все-таки та уверенность, с которой она шла в лес, в ней исчезла, легкое прогулочное настроение было испорчено, а как, чем, она и сама не могла понять. Она уже жалела, что не осталась дома, но и вернуться назад тоже не смогла бы, если бы даже и захотела: ее вело что-то помимо ее желания, и она, подчиняясь ему, послушно переставляла ноги. На старой меже она решила присесть на примеченную еще издали белую колодину, отполированную дождями и солнцем, чтобы отдохнуть на ней и успокоиться, и почему-то прошла мимо, хотя и не помнила, как прошла, перенеслась дальше. Она оглянулась — не вернуться ли, но уже знала, что не вернется, не сможет, что она не вольна поступать сейчас так, как ей нравится.

Мысль, явившаяся Люсе, застала ее врасплох. Она подумала, что ей должно быть горько, гораздо горше того, что она чувствует, потому что видит эту заброшенную, запущенную землю впервые после того, как знала ее другой. Но горечи или боли не было — была растерянность, постепенно переходящая в непонятную, пугающую тревогу, которая, казалось, передавалась от земли, оттого что земля помнит ее и, как окончательного суда, ждет ее решения, — ведь она, Люся, не один раз бывала здесь прежде и даже работала. «И даже работала», — как оправдание, повторила она и только тут с удивлением осознала, что было за этими словами.

Они заставили ее остановиться и еще раз осмотреться вокруг — она медленно обвела глазами все, что было на виду и выше, по небу, зная и не зная, что она ищет, и повернула вниз, к редкому, просвечивающему леску. За ним скрывалось небольшое, клином уходящее к Нижней речке поле, которое взволнованная память выделила из всего остального. Люся торопилась, боясь, что поле заросло совсем и его уже не найти, будто эти минуты могли что-то решить. Она помнила, что где-то там, внизу, к полю должна быть дорога, но спускаться к ней Люсе показалось далеко, и она пошла напрямик, через лес. Ей хотелось прежде взглянуть на поле украдкой, со стороны, проверить, оно ли это, не ошиблась ли она и что с ним сталось, а идти по дороге значило заранее выдать себя. Ее уже не покидало недоброе чувство, что кто-то с самого начала подсматривает за ней, следит за каждым ее шагом, и она старалась спрятаться, уйти с открытого места.

Наконец впереди совсем посветлело, и Люся увидела поле — то самое. Не выходя, она смотрела на него из-за деревьев. Широкая старая межа сберегласъ и походила теперь на просеку; ее затвердевшая, объятая травой земля не давала взойти семенам деревьев, зато сразу за ней, на паханом, покатился под гору легкий осинник. Там, где он задержался, чуть пониже, как привидевшееся чудо, был огород — кто-то облюбовал здесь землю и посадил картошку. Картофельная трава на солнцепеке пожухла больше, чем в деревне, но не упала, она была по-полевому низкорослой и походила скорее на тычки, под которыми ничего нет. Но это оттого, что странно и непривычно было видеть здесь картошку.

Воспоминание, которое привело сюда Люсю, относилось к голодным послевоенным годам. Не то к сорок шестому, не то к сорок седьмому. Весной, перед

севом, Люсю отправили бороновать это поле. Накануне шел дождь, земля была сырой и липла к бороне так, что та волочилась, как шкура. По-доброму, следовало, конечно, подождать, пока земля подсохнет, но ждать то ли не могли, то ли не хотели. К тому же перед этим поле отдыхало, было отдано под пар и сильно заросло, прошлогодняя трава забила зубья, и борона все время тащилась поверху, то и дело ее приходилось переворачивать и чистить. Конь Люсе достался старый, слабосильный, они все в ту весну едва таскали ноги, но этот и вовсе был похож на свою тень.

И опять, уже в который раз сегодня, Люся услышала, как прозвучало в ней нужное слово. Игренька. Коня звали Игренькой, и с этим словом, которое все еще звучало в ушах, воспоминание сразу стало намного полнее и яснее. Люся отчетливо увидела перед собой рыжей масти коня с серебряной гривой и серебряной звездой во лбу — худого до того, что, казалось, высохли даже копыта, и себя за ним — тоненькую, во что попало одетую девчонку, взмахивающую вожжами и подпрыгивающую на одной ноге, стараясь второй вдавить борону в землю. Позади остается волнистый, причудливый след.

Лопатки у Игреньки ходили вместе с ногами: вперед — назад, вперед — назад. Под гору он еще стаскивал борону, но, после того, как разворачивались, до верхней межи останавливался раз десять. Переводя ноги, он вытягивался и хрипел. Люся уже не понукала его, не гнала и чистила борону только тогда, когда он изнемогал, а вычистив, трогала его по боку вожжой. Перед тем, как стронуться, Игреньке надо было раскачаться, сразу с места он взять не мог. Его часто заносило в сторону: в гору он тянул с закрытыми глазами — наверное, чтобы не видеть, сколько осталось до межи. Девчонка тогда измучилась с ним, измучилась с травой, с грязью, она, как и Игренька, тоже держалась

на пределе сил, и тогдашнее состояние вдруг передалось сейчас Люсе и сжало ее. Она почувствовала такую сильную усталость и беспомощность, что опустилась на траву, так и не выйдя на поле.

В конце концов Игренька запнулся и упал. Люся перепугалась. Она стала дергать его вожжами, ничего не добившись, схватила за узду и потянула голову коня вверх — он мотал головой и стягивал ее на землю. Люся закричала на Игреньку — не столько от злости, сколько от страха, и от страха же стала пинать его во впалый бок, от ударов по телу коня прокатывались судорожные толчки, но он не делал даже попытки подняться. Оглядываясь, Люся отступила от него, потом набежала и попробовала подхватить коня в беремя, царапая его с того бока, на который он упал, только напрасно оттягивая его обвисшую, податливую кожу. Тогда Люся бросилась в деревню.

Слава богу, мать была дома. Они бегом прибежали обратно, к завалившемуся Игреньке. Он лежал на животе, подогнув под себя ноги, земля вокруг него была изъезжена — видно, без Люси в своем недобром, напугавшем его предчувствии он пытался подняться и не смог, а теперь успокаивался, смирившись с тем, что будет, приласканный проникающим сквозь землю покоем. Мать присела перед ним на колени, стала гладить по тонкой, как стесанной, шее.

— Игреня, — приговаривала она. — Ты это чё удумал, Игреня? От дурной, от дурной. Он уж трава полезла, а ты пропадать собрался. Осталось дотерпеть-то неделю, не больше, и жить будешь, любая кочка на жвачку подаст. Ты погоди, Игреня, не поддавайся. Раз уж зиму перезимовал, тепери сам бог велел потерпеть. Осталось-то уж… господи… раз плюнуть осталось-то. Чё там зиму — войну мы с тобой пережили. Всю войну ты, бедовый, на лесозаготовках маялся, бревны таскал, а такая ли это работа? И таскал, дюжил. А тут уж на

характере можно продержаться, я давно уж на характере держусь.

Конь повернул к ней острую, как клюв, морду и потянулся к ее рукам губами.

— Ничё нету, — испугалась мать. — У меня ничё нету, Игреня, ничё не взяла. От дура так дура. А он все понимает, хоть и конь. Ишо бы, Игреня, да не понимал. — Она гладила его по морде, теребила свалявшуюся челку. — Он, подимте, не такое в толк брал, чё и другой человек не возьмет. В позапрошлом годе, когда Игреньке бревном сломали ногу и его хотели отдать на мясо, кто на трех ногах ускакал в тайгу? Он, Игренька. И покуль кость на свое место не взялась, не выходил, отлеживался. Потом ишо сколь хромал. А я тебя никому не давала, на тебе, на хромоногом, воду на молоканку возила и, чтоб не бередить ногу, наливала не цельную бочку.

Конь вскинул голову и тонко, виновато заржал.

Мать потрепала его по шее, и он, откликаясь на ласку, заржал во второй раз я завозил под собой ногами.

— Погоди, Игреня, — заторопилась мать и стала освобождать его от постромок. — Погоди, сичас. Сичас мы с тобой будем подыматься. И то — хватит лежать, належался. — Игренька водил за ней головой и дрожал от нетерпения и страха за свою слабость. Когда мать взяла его под уздцы, он с силой выкинул вперед передние ноги, но далеко, неудобно, так что пришлось подтягивать их ближе, напружинился, натянулся, вздымая задние, и не смог, осел обратно. Отвернувшись от матери, он снова заржал, и в его голосе было отчаяние: не могу, сами видите, не могу. Мать стала успокаивать его: — Погоди, Игреня, погоди, отдохни. Не сразу. Ишь ты, сразу 110 захотел. Сял и то хорошо, и то давай сюды. Сичас отдохнешь и подымешься. Ничё, ничё. Ох ты, Игреня ты Игреня.

Она обвела глазами Люсину работу и упрекнула:

— Повдоль надо было ездить, а не поперек. Тут на бугор и здоровый конь не вытянет. А ему где же…

— Ага, такой гон…

— Ну и чё? Ехала бы и ехала помаленьку, никто тебя не гнал. Земля-то одна — хошь вдоль, хошь поперек. Сколь ее тут есть, столь и есть. Не прибудет.

Она подала Люсе повод, а сама зашла сбоку и, хлопнув коня по спине, подхватила его снизу. Игренька переставил передние ноги, как бы уходя с уронившего его места, и вытянул задние, в последнем отчаянном усилии выпрямил их и встал в полный рост. Он покачивался на своих четырех ногах, а мать поддерживала его, обняв рукой за спину, и радостно приговаривала: — Ну и от, ну и от. Я ить тебо говорела. А то пропадать собрался — ну не грех ли? Скажи кому, дак и обсмеют тебя, подумают, дизентир. А какой ты дизентир, Игреня? Господи, какой ты дизентир? Хлопни на тебе комара, ты и повалишься. От и весь с тебя дизентир. Тебя ли сичас на работу назначать? Пойдем, дизентир, пойдем.

Она взяла его в повод и потянула за собой. Раскачавшись, конь тронулся, почти сразу же остановился и, будто испугавшись, что опять упадет, заковылял дальше.

…Люся поднялась и, отряхиваясь, еще раз взглянула на огород среди поля, словно хотела удостовериться, что все это было не сейчас, не только что, а давным-давно, больше двадцати лет назад. Освобождаясь от стоящей перед глазами картины с Игренькой, она медленно побрела вверх, в гору, откуда перед тем спустилась, но воспоминание не оставляло ее. Казалось, она что-то не поняла в нем, что оно пришло не для того только, чтобы показать, как это было тяжело и горько, но и с какой-то своей, затаенной, бередящей мыслью, которую она не распознала. Люсю охватили досада и

неудовольствие собой, тем, что она поддалась какому-то незнакомому, пугающему ее своей пытливостью чувству, и она решила идти быстрее, чтобы ходьбой освободиться от него.

«И далее работала», — неожиданно она различила в себе даже интонацию, с которой полчаса назад произнесла в себе слова, заставившие ее искать это поле. Да, работала — как все. И косила, и гребла, и боронила, и полола, и собирала — мало ли в колхозе было дел, особенно в те годы, когда не хватало людей. «И пахала», — добавил в ней кто-то. В самом деле, и пахала — как это она забыла о таком? Правда, всего два дня, потому что за плугом она еще могла ходить, а переводить его из борозды в борозду у нее не хватало силенок. Она росла слабой и пошла работать позже своих подружек — только в последние военные годы. А до того мать жалела ее и оставляла дома с Танькой, с нынешней Татьяной из Киева.

«Хоть бы приехала сегодня Татьяна», — обрадовалась Люся возможности думать о другом. — «А то мать без нее никому покоя не даст. Таньчора да Таньчора. Кроме того, стало бы ясно, что с матерью. Сейчас она только ждет свою Таньчору».

Лес кончился, и Люся опять вышла на поднимающиеся вверх поля. Здесь, на открытом месте, широко раскинулся ясный, уже нагревшийся день с чистыми резкими краями: воздух в нем, если смотреть вдаль, тонко, неуловимо позванивал на солнце, и этот верхний, угадывающийся звон казался единственным. Внизу при Люсиных шагах все смолкло, затаилось. Земля под ногами не отзывалась, была глухой и окаменевшей, лес на горе призрачно пошевеливался, дышал едва заметным в воздухе белесоватым, березовым дымком, исходящим от спелого осеннего существования, от тепла и сытости. Небо за лесом спокойно и ровно стекало вниз, за землю; небо было

высокое, легкое, но синь на нем уже отцветала, чувства в его глубине стало меньше, в его загадочности появилась усталость.

По полю Люся повернула еще левей, к речке. Она ступала осторожно, как крадучись, хотя ее хорошо было видно со всех сторон. Где-то там должна быть дорога, и Люся решила, что лучше сделать круг, зато идти по дороге — так безопасней. Она прекрасно знала, что бояться здесь нечего и все-таки не могла отделаться от непонятно откуда берущейся уверенности, что кто-то за ней следит, и это было не просто предчувствие, гадающее о том, что может произойти впереди, это странным образом связывалось с прошлым, с каким-то потерянным воспоминанием, за которое с нее теперь спросится. Ей казалось, что, пойдя в лес, она легкомысленно поддалась на чью-то уловку, что ее сюда заманили, но вернуться сейчас обратно было нельзя — тогда то, ради чего ее увели из дома, произойдет сразу же, на месте, и она, боясь, оттягивала его наступление, вела его за собой все дальше и дальше.

Она все-таки нашла дорогу, но легче ей от этого не стало. Борясь с искушением броситься по ней вниз и бежать, бежать со всех ног до самой деревни, она медленно, словно пробуя дорогу, испытывая ее крепость и безопасность, пошла в гору. Нет, не добежать, она уже разучилась бегать. Дорога была заброшенной, и окаменевших комках, и воздух над ней, казалось, ссохся — до того Люсе стало душно. Она подумала, что лучше идти полем, но не сошла с дороги, не могла сделать в сторону ни одного шага, подчиняясь чьей-то чужой воле, которую невозможно ослушаться; только сейчас Люся поняла, что на эту дорогу и нельзя было ей ступать, что она для нее теперь все равно что узкий длинный коридор с высокими прозрачными стенами, и коридор этот приведет ее совсем не туда,

куда ей хочется. Острые комки сквозь кеды резали ей ноги, но она не обращала внимания на боль, все время находясь во власти какого-то до странности ясного и тревожного оцепенения: что-то будет, что-то произойдет?

Она шла-шла и остановилась: как раз посреди дороги, как еж, лежал муравейник. С недоумением, почти страхом смотрела она на эту живую, шевелящуюся кочку — почему муравейник здесь, не в стороне? Как она, Люся, пройдет? Что ей делать? Или теперь можно повернуть обратно? Она обернулась и ничего не увидела позади себя, все было смыто солнцем, и его яркий широкий свет ослепил Люсю. Осторожно, выставив в стороны руки, чтобы не удариться о стены, она попробовала пройти по краю муравейника на свободную дорогу и прошла — ничто ее не остановило. Люся обрадовалась. Она обрадовалась так, что смогла улыбнуться. 114 «Что это я?! — стала успокаивать она себя. — Чего я так испугалась? Разве может здесь, где на многие километры кругом я знаю каждый кустик, со мной что-нибудь случиться? Какая ерунда! Вышла прогуляться, подышать свежим воздухом и — на тебе! — поддалась каким-то глупым детским страхам. Это все нервы, нервы — надо лечить их. Здесь у меня все родное — чего здесь бояться? Вот сейчас дойду до пустошки и буду собирать рыжики. А потом обратно в деревню. Какая я все-таки дуреха!»

Она пошла веселее, уверенней, до лесу оставалось немного.

И вдруг, не соглашаясь с этой ее уверенностью, протестуя против нее, воздух пронзил далекий и тонкий, сильно избывшийся, но все еще слышный, отчаянный крик:

— Минька-а-а!

Люся вздрогнула; она узнала его, это был ее собственный крик. Медленно-медленно, как под грузом,

повернула она голову влево: черемуховый куст был там же, на прежнем месте посреди поля. Кто-то когда-то пожалел его, объехал плугом, и куст с тех пор разросся, отвоевал себе у пашни землю, стал давать урожаи. Повинуясь первому, невольному чувству, Люся сделала к нему шаг и неожиданно сошла с дороги, дорога выпустила ее. Люся не удивилась, она уже поняла, что не сама выбирает, куда ей идти, что ее направляет какая-то посторонняя, живущая в этих местах и исповедующая ее сегодня сила.

Вблизи черемуховое гнездо оказалось сильно разграбленным. Срубленные засохшие кусты валялись на земле, живые, с редкой зеленью, затянутой паутиной, выглядели совсем бедно: самые лучшие ветки с них были оборваны. Сохранилась лишь боковая, податливая поросль, до которой можно дотянуться рукой, а всю середину вынесли, там теперь торчали только высокие, по грудь человеку, голые пни, от которых гнулись в сторону уцелевшие кусты. Кое-где на них еще висели ягодки.

Люся сорвала несколько — они были мягкие, сладко-прохладные, как и раньше, с мятой на вкус, и крик, найдясь через много-много лет, вдруг снова нахлынул на Люсю и сжал ее. Она испуганно осмотрелась — никого, но все-таки на всякий случай зашла за куст так, чтобы ее не видно было от Нижней речки.

...Это случилось тоже сразу после войны — жизнь тогда, не успев опомниться после четырех окаянных лет, гуляла еще крепко, зло: голодовка, разбой, суды, слезы. Второе лето вдоль реки откуда-то с севера бежали власовцы, наводя на маленькие таежные деревеньки незнакомый в этих краях страх: там ограбили магазин, там изнасиловали и убили бабу, там усыпили чем-то всю семью и обчистили ее до последней нитки. Одно время мужики выставляли на ночь караулы, но власовцы успевали творить свои дела, когда их не

ждали, и спокойно уходили дальше. Правда, где-то в низовьях двоих поймали; когда их везли в район, полюбоваться на них высыпала вся деревня. Они сидели в телеге спиной друг к другу, со связанными руками, обросшие, оборванные, злые и смотрели на людей с усталым вызовом, не отвечая на выкрики из толпы и на команды верхового конвоира из мужиков, решившего при народе покуражиться над арестантами.

Власовцы, как правило, бежали в начале лета, затем слухи о них затихали, и деревенская жизнь снова входила в свою привычную колею; бабы безбоязненно шли опять в лес, плыли за реку — хоть на колхозную работу, хоть по ягоды, по грибы, словно для беглецов, как для клещей, существовал какой-то определенный сезон, после которого они никому уже были не страшны.

В августе, ближе к середине, когда о власовцах потихоньку стали забывать, мать отправила Михаила и Люсю к этому кусту. Наверное, она заприметила его еще раньше, по весне, а потом проверила и ахнула: в тот неурожайный на черемуху год он буквально ломился от ягоды. В высоких хлебах с дороги его было не видать, сам он от тяжести пригнулся к земле, спрятался — оттого и сохранился, дал черемухе доспеть до полной готовности.

Рвать ее было одно удовольствие. Уж на что Михаил не любил брать ягоду, не находя терпения, чтобы одни и те же движения повторять тысячи и тысячи раз, но тут загорелся и он. Черемуха была крупная, в длинных и чистых, без листа, тяжелых гроздьях, которые под пальцами легко осыпались, стекая в ладони теплой и мягкой струей. Михаил передвигал за собой ведро, а Люся для удобства подвязала запан и освобождала его только тогда, когда груз на животе начинал оттягивать. Зато вывалишь — и в ведре сразу прибавится на добрую четверть. За каких-нибудь два часа они до краев

наполнили свои посудины, а куст едва ли удалось обобрать даже наполовину.

Они сходили домой и решили вернуться. Оставлять куст с ягодой на другой день не хотелось. Теперь, когда они знали к нему дорогу, казалось, что в любую минуту наткнуться на него может кто угодно. После обеда настоялся жар; Михаила разморило, и он тянулся в гору кое-как; Люся не стала ждать его и одна вышла к короткой, незаметной в хлебах меже, на которой стоял куст. До него оставалось шагов двадцать, может, чуть больше, когда куст вдруг зашевелился и на землю с него спрыгнул какой-то незнакомый страшный человек в зимней шапке с подвязанными наверх ушами, страшный уже одной этой шапкой в невыносимо душный летний день. Это было так неожиданно, что Люся остолбенела и вместо того, чтобы кинуться от него, застыла, как вкопанная. Человек засмеялся нервным, нетерпеливым и радостным смешком и поманил ее к себе пальцем. Она успела рассмотреть его: невысокий, коренастый, с черным небритым лицом, глаза горят белым, сумасшедшим огнем.

Вот здесь, вот здесь он и стоял, широко и удобно расставив ноги в сапогах, уверенный, что никуда она от него не денется, настолько, что позволил себе, как кошке с мышкой, еще поиграть, позабавиться с ней, чтобы полней и сытнее была потом победа — перед тем, как праздновать ее, он разжигал в себе голод. И вновь Люся в полную меру пережила весь тот ужас, которым грозила ей тогда эта встреча, и ее проняла дрожь. Оглядываясь, она отступила от куста в поле, но вспомнила, что совсем уйти отсюда ей все равно сейчас не удастся, ее не отпустят.

Человек засмеялся и поманил ее к себе пальцем — она попятилась. Скорчив обиженное лицо, он развел руки: что, мол, еще за фокусы! — и осторожно, словно стараясь не вспугнуть, пошел на нее: на лице его,

скошенном от волнения в одну сторону, прыгала короткая, жесткая улыбка.

И тут Люся, наконец, бросилась бежать. Она выскочила на дорогу и припустила по ней вниз, к деревне. Человек, отставший на пашне, где его сапоги заплетались в хлебах и вязли в мягкой земле, теперь догонял ее — она уже слышала за своей спиной его резкое, всхрапистое дыхание. Она обезумела от страха и неслась с ведром, загребая им воздух. Сзади ее уже царапнули руки, но в последний момент она успела оторваться и выпустила ведро — громыхая, оно покатилось за ней по дороге. — Минька-а-а!

Она закричала и в тот же миг увидела впереди фигуру брата. Ничего не понимая, он остановился, но уже в следующее мгновение рванулся навстречу Люсе. Человек тоже заметил Михаила и пристопорил, он никак не ожидал встретить здесь кого-то еще и растерялся. Люся проскочила мимо брата, крикнув, чтобы он бежал вслед за ней, но, оглянувшись, увидела, что он остался. Человек к этому времени успел разглядеть, что перед ним почти мальчишка, сопляк, и теперь наступал на него крадущимися, издевательскими шагами.

— Минька-а! Убегай! Убегай! Минька-а-а! — приплясывая на дороге, надрывалась Люся.

Михаил схватил с земли камень и приготовился. Человек присел и тут же быстро, как для прыжка, выпрямился — Михаил, не выдержав, отскочил назад. Человек засмеялся. Он попытался снова испугать Михаила, но тот больше не двинулся с места; сжимая камень в руке, он ждал. Тогда человек и в самом деле бросился на него — бросился и сразу свернул в сторону: нарочито припадая на одну ногу, он лениво, с видом сильного, не захотевшего заниматься пустяками и обижать маленьких, побежал через все поле к Нижней речке.

Так же неожиданно, как возник, крик вдруг прекратился, и вокруг далеко и полно упала тишина. Люся догадалась, что теперь можно идти дальше, воспоминание кончилось, и, тяжело тронувшись с места, направилась все туда же — к пустошке, за рыжиками. Она подумала о рыжиках, как о слабом, но еще возможном спасении: если сорвет хоть один, хоть самый маленький, тогда останется надежда, что все обойдется. А что, собственно, должно обойтись? Чего она боится? Неизвестно. Ничего неизвестно. Она боялась даже размышлять о том, пристало ли ей чего-нибудь здесь бояться, ей казалось, что и мысли ее тоже могут быть кем-то услышаны и истолкованы неверно. Она устала, ноги заплетались, но устала не от ходьбы, потому что и прошла-то пустяки, каких-нибудь три-четыре километра, а от чего-то другого, более значительного, важного, может быть, от воспоминаний, которые, как сговорившись, подстерегали ее сегодня на каждом шагу и заставляли переживать их заново — для какой-то своей, скрытой цели. Казалось, жизнь вернулась назад, потому что она, Люся, здесь что-то забыла, потеряла что-то очень ценное и необходимое, без чего нельзя, но и повторившись, прежнее, бывшее когда-то давно, не исчезало совсем, а лишь отходило в сторонку, чтобы видеть, что с ней сталось после этого повторения, что в ней прибыло или убыло, отозвалось или омертвело навеки — вот они окружили ее и следуют за ней все дальше и дальше: справа, шатаясь от голода и из последних сил волоча за собой по весенней грязи борону, бредет Игренька, слева скачет на черемуховом кусту незнакомый страшный человек в зимней шапке. Там еще и еще.

Люся остановилась. Неправда. Здесь никого нет, ни одной души, которую надо было бы опасаться, она одна. Эти страхи так же нелепы, как шапка на том человеке в жаркий летний день, эта тревога пуста: просто нервы

после телеграммы о матери приготовились к беде, к потрясению и теперь требуют возмещения за свою напрасную работу.

Она осматривалась вокруг снова и снова. Да, никого: солнечно, тихо, спокойно. Слишком солнечно, слишком тихо и спокойно, чтобы чувствовать себя в безопасности. Одна, одна, но одна среди чужого затаившегося безмолвия, где все сияние и внимание направлены только на нее. Ей некуда спрятаться, ее видят насквозь. Нет, надо бежать отсюда. «Бежать, бежать», — твердила она. Зачем, ну зачем она вылезла из деревни? Кто ее сюда гнал? Что она здесь забыла?

«Забыла?» — мысль вдруг задержалась на этом слове и придвинула его к Люсе ближе. Забыла… Вот оно, наконец, то, что, не открываясь, с самого начала сегодня томило ее молчаливой давней обидой, помимо ее желания, не давая свернуть в сторону ни на шаг, вело Люсю по местам, которыми ярче всего была отмечена ее прежняя деревенская жизнь, — вело до тех пор, пока Люся не призналась: забыла. В самом деле, там, в городе, она за последние годы все забыла — и воскресники по весне, когда заготавливали дрова, и поля, где работала, и завалившегося Игреньку, и случай у черемухового куста, и многое-многое другое, что бывало еще раньше, — забыла совсем, до пустоты. Она забыла, что когда-то боронила, пахала… Да, боронила, пахала — подумать только! Странно, что и это, не разобрав, она выкинула из памяти, уже этим-то можно бы и гордиться, едва ли кто-нибудь из ее приятельниц ходил за плугом. Давным-давно уже она не трогала воспоминания о деревне, и они затвердели, слежались в одном отринутом неподвижном комке, затолканном в дальний тыльный угол, как узел с отслужившим свое старьем.

И вот сегодня они ожили. К Люсе явилось запоздалое чувство стыда, будто всякий раз при этом ее

тыкали носом: помни, помни, помни..., а она не понимала, что с ней делают. Она чего-то боялась. Теперь страх пропал, и после него не осталось совсем ничего, одна тяжелая, гнетущая пустота, которую, казалось, ничто уже никогда не заполнит.

Со слабым удивлением Люся поймала себя на том, что она еще шевелится, откуда-то находит силы, чтобы переставлять ноги.

Лес вокруг полей раздвинулся, встав на свое место, и застыл. Солнце уже не было таким ярким и слепящим, как ей почудилось еще совсем недавно. Все вокруг словно отвернулось от нее, перестало замечать, потеряло к ней всякий интерес, никто, кроме нее самой, не подозревал о существовании ее. И только она все шла и шла.

Наконец, она добралась до пустошки и у края ее остановилась. В пустошке было светло и тихо. С высоких сосен, кружась и играя в густом воздухе, медленно опадали иголки: их чистый, волнующий шелест переходил из стороны в сторону, звучал то слева, то справа. Между деревьями белым ударным дымком тлела паутина, причудливыми пятнами и полосами лежало на земле солнце. Где-то в глубине весело и часто стучал дятел.

Дальше Люся идти не посмела. «Я буду приезжать сюда», — перед кем-то для чего-то оправдываясь и кому-то обещая, подумала она, но уже знала, что не приедет, все сделает для того, чтобы не приехать. Торопясь, она повернула обратно. «Скорей, скорей», — подгоняла она себя, все убыстряя и убыстряя шаг. И только перед самой деревней перевела дух и успокоилась.

Но потом, поздним вечером, после всего того, что случилось еще в этот день, когда Люся вышла на улицу и увидела рясное, как нигде, в звездах небо, ей снова

стало не по себе. И снова она, торопясь, укрылась в избе.

7

Наконец-то, к старухе пришла долгожданная Мирониха.

Старуха лежала на кровати так легко и невесомо, что сетка под ней совсем не прогибалась; у старухи дежурили только глаза, а тело, расстеленное на кровати и застывшее в немой неподвижности, оставалось без толчков и забот — как чужое. Не было никакой нужды трогать его: старуха давно уж лежала одна, будто потеряла себя от всех остальных и никак не может найтись. Ближе к обеду солнце с улицы попало в избу, и старуха, глядя на солнце, пригрелась от его веселого неустанного света, а то уж совсем затосковала сама с собой — хоть плачь.

Мирониха, настороженная тишиной в избе, в которую, она знала, понаехали гости, боязливо выглянула из-за перегородки, увидала, что старуха одна, и, вынырнув к ней, всплеснула руками:

— Оти-моти! Ты, старуня, никак живая?

Старуха обрадовалась Миронихе так, что в глазах засверкали слезы и завозилась на кровати, норовя подняться, вспомнила, что подниматься надо долго, и протянула Миронихе поддавшуюся руку.

— Дак видишь, живая. Вторые дни уж, как оклемалась. Тебе рази не сказывали?

Мирониха подержала старухину руку и выронила, но в руке нашлась сила и она сама легла ко второй, к левой руке и приласкалась к ней.

— Тебя пошто смерть-то не берет? — Мирониха присела к старухе на кровать и, говоря, наклонялась к ней. — Я к ей на поминки иду, думаю, она, как добрая, уж укостыляла, а она все тутака. Как была ты вредительша, так и осталась. Ты мне все глаза уж измозолила.

— Ты рази, девка, не знаешь, что я тебя дожидаюсь, — с охотой включаясь в игру, отозвалась старуха. — Мне одной-то тоскливо будет лежать, я тебя и дожидаюсь. Чтоб вместе в одну домовину лягчи.

— Я тебя, старуня, ногами запинаю. У меня ноги вострые, я их всю жисть об землю точила.

— А ты и вправду запинашь, с тебя чё взять.

— О-о. Ты меня не жди, сподобляйся. Я покамест побегаю, и ты ко мне не присуседивайся. Чем с тобой лежать, я лучше какого-нибудь старичка к себе возьму.

— Не присбиривай. Ты мне уж надоела со своими выдумками.

— Это ты мне надоела. Хуже горькой редьки. Скорей бы уж ты померла, чё ли. Ослобонилась бы я от тебя.

— Ишо плакать, девка, будешь, как помру.

— Если плакать буду, дак, думаешь, жалеть буду?

— И то правда, — согласилась старуха, останавливая Мирониху, чтобы — чего доброго! — не договориться до богохульства. С Миронихой недолго и в грех попасть, она и сама не помнит, что говорит. В молодости с ней лучше было не связываться, переспорит кого хочешь, да и сейчас еще язык не сточился совсем, того и жди — выкатит слово не для ушей и не поперхнется.

Мирониха только в последние годы стала посмирней, сядет и прижмется, а то чересчур жила бойкой, сорок дырок на одном месте просверлит и не заметит. Хоть она и жалуется на ноги, а сама и теперь может припустить так, что молодому надо гнаться, и неизвестно еще, догонит или нет. На работу она всю

жизнь была жадной и все-таки сберeглась, не дала работе изъездить себя; со старухой ее не сравнить: Мирониха круглей, живей, а главное — на своих ногах, куда захотела, туда и побежала. Короткие черные руки она держит перед собой ухватом, готовая в любую минуту пустить их в дело; лицо тоже черное, широкое; голос хриплый, но любой другой, поговорив с ее, давно бы уж совсем без голоса остался, а она его только вот так подпалила. Она моложе старухи всего на четыре года, но по виду ее хватит еще не на четыре — больше.

С приходом Миронихи старуха повеселела: посветлели глаза, в которых обозначились блекло-карие кружочки, в лице появился интерес — что-то принесла Мирониха, что-то она расскажет? Столько не видались, а жизнь без остановок шла вперед, жизнь вон какая широкая, на все города и деревни, на всех людей ее достает, и все сходится ровно-ровно, без остатка. До прошлого года у старухи на тумбочке стояло радио, и она сама крутила на нем черное, как пуговка, колесико: в одном месте поют, в другом плачут, в третьем горгочут не по-нашему, в четвертом не по-ихнему и не по-нашему — язык сломать можно, а они все горгочут и горгочут. Старуха любила слушать старинные песни и посылала Нинку за Миронихой, чтобы слушать вместе, но их пели редко, все больше чем-то бренчали. От ранешних протяжных песен она будто взлетала на крыльях над землей и, не улетая, делала большие плавные круги, тревожась и втихомолку плача о себе и о всех людях, которые еще не нашли успокоения. И тогда ей не жалко было умереть, ей чудилось, что эти песни поют у кого-то на поминках, после того как снесли в землю гроб, и она про себя подтягивала им, провожая незнакомую освободившуюся душу, которую не иначе как и встречать на том свете будут таким же старинным пением.

В прошлом году радио сломалось, и у старухи осталась одна радость — поговорить с Мирониxой.

— Ты пошто к мине долго не шла-то? — упрекнула ее старуха. — Я уж и Варвару утресь снарядила, чтоб она поглядела, где ты. А тебя, ветродуиху, все где-то носит. Ты когда дома-то живешь? Скорей бы ты обезножела.

— Я уж и так, старуня, обезножела, — качая кровать, наклонилась к самому старухиному лицу Мирониха. — Сичас вот сижу коло тебя, а ноги у меня гудьми гудят. Я ить их надсадила — какой день бегаю, корову свою ищу. У меня корова потерялась, домой не идет.

— Ой-ни-и! То-то я утресь слушаю, слушаю, а ее все не слыхать. Дак она у тебя где?

— Когда бы я сама знала — где, я бы тебе, старуня, сказала, а то я сама не знаю. Все елани в перекрест взяла. Оно так-то пропади она пропадом, бегать сломя голову за ей, первый раз она, чё ли, блудит, а тут сердце не на месте. Слыхала, поди-ка, что медведь у Голубева телку задрал?

— Ничё не слыхала, — опешила старуха и завозилась, подняла упавший голос. — Чё ты меня спрашиваешь, слыхала, не слыхала, откуль я услышу, кто мне чё скажет? Медведь, говоришь, у Голубева телку задрал?

Вот что значит Мирониха: кто, кроме нее, мог принести новость, от которой бы так захолонуло сердце? Не зря старуха ждала ее — как знала, что Мирониха не будет пустая. Старуха смотрела на Мирониху с таким вниманием, будто та сама науськала медведя на голубевскую телку и сейчас начнет рассказывать, как она это проделала.

— Задрал, задрал, — подтвердила Мирониха. — А Голубев раскидывал телку на тот год себе оставить, у его корова уж старая, без молока. Вот те и оставил.

Позавчерась Генка-десятник идет из лесу, глядит, чё тако: трава красная и примята вроде неладно. Он пообглянулся, а телка вон она, рядышком с Генкой в кустах лежит, хламьем только сверху привалена. Он, медведь-то, кровушку из ее выпил и оставил тухнуть, он с душком любит. Генка как увидал да как стреканет, был и нету. Прямо по воздуху домой прилетел. — Мирониха опять качнулась к старухе и переменила голос. — Сказывают, Генкина баба штаны, в каких он в лесу был, вчерась весь день в реке полоскала и сёдни полощет, а низовски бабы по воду теперича под наш берег ходют.

— А ты не подсмеивайся, — осудила ее старуха. — Когда сама только сичас не придумала, то и не подсмеивайся. Тебе бы так.

— Мне бы так, я бы никуды с места не стронулась. Сяла бы и сидела, покамест он обратно 127 не пришел. Он к телке, а я на его, да как затопочу: ты пошто, мать тебя перемать, Голубева зоришь? Он бы на меня не подумал, он бы подумал, это смерть за им явилась. Я бы его так напужала, никака медведиха не ототрет.

— У меня твои байки слушать терпения давно-о уж не стало. Ты пошто путем-то, как люди делают, не расскажешь? Он где задрал, в каком месте, телку-то?

— Ты, старуня, сама мне слова не даешь выговорить. Я бы уж на десять рядов все пересказала. От Нижней речки отворот в гору помнишь?

— Дак я его пошто не помню? Ну. Я, по-димте, ума ишо не решилась.

— Тамака он ее и встренул, под самой под деревней. Они того и гляди в деревню пойдут. Ноне тайга без корма осталась, его в берлогу нипочем не загонишь. От и будет округ деревни шастать.

— Будет, будет, — закивала старуха. — Нечего и говореть — будет.

— Я свою страмину не знаю, где искать. Она чё думает, я за ей месяц бегать подрядилась? И так уж сколева перемерила. Живая она, не живая... Мужики говорят, за хребтом чьи-то две коровы ходют, дак у меня ног нету за хребет бежать. Под мое тулово когда молодые бы ноги, дак я бы ишо сбегала, поглядела. А так я на своих палках до горы достану и меня уж к земле тянет.

— Ты за хребет, девка, не бегай. Ты там останешься, я чё без тебя делать буду?

— У меня только об тебе и разговор, — не поддалась Мирониха. — Я ей про корову толкую, а она все никак с себя не слезет.

— Твоя корова и так и эдак тепери молоко потеряла.

— Да уж не про молоко, старуня, печаль. Мне бы хошь саму корову-то на глаза увидать, я бы знала, что ее медведь не съел. А так броди она, сколева ей надо.

— Ох, девка ты девка. Далась тебе эта корова. Ну. Я бы пошто ее держать стала, мучиться, последние силенки на ее изводить. Каку-таку пользу, окромя хлопот, ты от ее видишь? Накосить — нанять надо, привезти — нанять надо, сена зимой не хватит — купить надо. А так рази маленько с ей беготни? От и носишься, от и носишься с темна до темна. У тебя чё — семеро по лавкам сидят, исть-пить просют? Господи, да захотела ты этого молока, приди ты к нашей Наде, она тебе кажин день банку нальет, а боле ты и не выпьешь. А охламину эту свою продала и полеживай, как барыня, тебе же ишо и деньги за ее дадут. Доведись до меня, я бы дак даром ее он-дала, только бы не мучиться с ей.

— О-о-о, — с издевкой пропела Мирониха. — Поглядите вы на ее. Корову бы она продала и деньги бы она не взяла. Забавная ты все ж таки, старуня. Как я своей коровой попущусь, когда я ее всю жисть держала? Для меня это живая смерть. Мне от ее и молока не надо, только бы корова в стайке мычала.

Кака-така нехоть на меня навалилась, что я себе корову не продержу?

— Да пропади ты с ей вместе, мне не жалко. Разговор об этом у них заходит не в первый раз, и старуха про себя согласна с Мирониxой: кто привык с коровой мучиться, тот уж без такого мученья не может. Да и что это за баба без коровы? Старуха и сама до последнего возилась со скотом, уж и двигаться как следует не могла, 129 а все хваталась за подойник, пока ей не запретили, и спорит она с Мирониxой больше от обиды, почти ревности: вот Мирониха в состоянии ходить за коровой, а она нет. Избавься Мирониха от своей скотины, и тогда они волей-неволей попадали в равное положение, и старухе было бы легче. Она смирилась со своим бессильем, но и в нем ей нужна подруга, да не какая-нибудь, а именно Мирониха, с которой она дружила всю жизнь.

Не сказавшись Мирониxе, старуха потянулась, чтобы сесть, и села легче, чем утром, на этот раз она была уверена в себе. Мирониха не двинулась, даже пальцем не пошевелила, чтобы помочь ей, знала, что старуха может ее за это пугнуть. Теперь они сидели рядом, и старуха стала еще немощней, чем была: крыльцы у ней торчали так, что казалось, вот-вот она взмахнет ими и полетит. Мирониха покосилась на нее сбоку и не утерпела:

— Изговелась ты у меня, старуня.

— Изговелась, — кивнула старуха, не глядя на себя и без того зная, что так оно и есть.

— Ребята-то твои приехали, чё говорят?

— Дак чё говорят… Поглядеть на меня приехали.

— Они тебя, старуня, поди-ка хоронить приехали.

— Ну и похоронют — как им мать не похоронить, — спокойно согласилась старуха, не отводя глаз от окна, будто разговаривала с кем-то оттуда.

— Не забаивайся. Они тебя ждать, чё ли, будут, когда тебя бог приберет?

— А им меня ждать и не надо, — по-особому, со смиренной решимостью сказала старуха и повернулась к Миронихе. Руками она держалась за край кровати, все еще боясь, что может упасть. — Я их задерживать не буду. Им тоже домой охота, я у их не одна. Я рази не понимаю? А я на Таньчору погляжу, как приедет Таньчора, и начну сподобляться. У меня смерть легкая будет, я чую. Попрощаюсь с ними, глаза сама закрою и помру. Подойдет к мине Варвара поглядеть, а из меня уж последний дух вылетел, я уж легкая. Она им скажет. Мне бы только Таньчору увидать. Где-то долго ее нету, не доспелось ли с ей чё. Говорели, вчерась — приедет, — нету. Вчерась говорели сёдни будет, — и тоже нету. Я себе на своей кровати места не нахожу, не знаю, чё и думать.

— Ты, старуня, зря не убивайся. Покамест время терпит, приедет твоя Таньчора. А чё зря убиваться. Тамака у ей, может, самолеты не летают. Теперича все на самолетах. У нас-то летают, я слышу, а у ей, где она живет, может, небо плохое, а то самолетов на ее не хватило. Это нам с тобой друг к дружке через дорогу перебежать, никого ждать не надо, а оттель, сама знаешь, дорога не ближняя.

— Им меня ждать не придется, — повторила старуха, качая головой. — Нет, нет, не придется. Мне боле уж нельзя задерживаться. Нехорошо. Я и так вдругорядь живу. Ребяты приехали, бог узнал и от чьей-то доли мне ишо маненько дал, чтоб я на их поглядела да от с тобой напоследок поговорела. Тепери назадь надо. Ишо как-нить день перемогу, и все, и надо снаряжаться. Пора. Пускай ребяты меня проводят, поплачут по матери, чтоб уж им не попусту приезжать. Какая-никакая, а мать — жалко. Я свою мамку, помню, хоронила, дак изревелась вся, а тоже уж не

молоденькая была, в годах. А как иначе? Никто из нас не вековечный, все изживаются. А ты, Мирониха, уж так и быть, помоги им сподобить меня, помоги. Хошь ты и говоришь, что я вредительша, а какая я вредительша? Сроду ей не была.

— Тебе уж и сказать нельзя.

— Да говори, — потеплела старуха. — Мне не жалко. Ты думаешь, я осердилась, ли чё ли, на тебя? Мы с тобой не такое друг дружке говорели за свою жисть, и то ничё. Ишо не хватало, чтоб я на тебя, девка, сердилась. Чё бы я без тебя делала? Я ить тебя со вчерашнего дня жду. Ты завтра-то тоже приди к мине, посидим ишо. Кажись, и жили долго, а и то не все друг дружке сказали, не наговорелись. Мне и там без тебя будет тоскливо.

— Дак я, старуня, может, раньше твоего помру.

— Ишо не лучше! Ране она моего помрет. Ты бы хошь говорела да не заговаривалась. Ты рази не слыхала, чё я тебе только сичас обсказывала? Я ить не приставлялась, я тебе правду сказала. И ты меня не путай.

— Я тебя не путаю.

— Ну и сиди, не спорь со мной.

— Я, однако, вот чё, — Мирониха привстала и через старуху потянулась к окну. — Я, однако, сбегаю, досмотрю: может, она, страмина, пришла. Досмотрю и назадь прибегу, посидю ишо с тобой. А ты покамест одна побудь.

— Ну дак беги, когда надо, я тебя не держу. — Ты не думай, я быстро провернусь.

— Беги, девка, не оговаривайся.

Старуха опять осталась одна, и исподволь, из ничего на нее нашла неслышная и легкая печаль, от которой она всплакнула и сразу же, не теряя слез, утишилась, будто сотворила короткую очищающую молитву. На полу рядом со старухой играло солнце, она

сдвинула на него свои ноги, и когда солнце, не боясь худобы, принялось гладить и пригревать косточки, ей стало совсем хорошо и снова захотелось заплакать, будто она начала с ног подтаивать и оседать. Она осмелилась и отцепила от кровати руки, сняв с них тяжесть и размышляя, что если она упадет, то упадет на солнце и пристанет к нему, а потом Мирониха придет и подберет ее. Но она не упала и сразу же забыла, что могла упасть, она смотрела через окно на улицу, где день, переламываясь, подступал к обеду и гнулось высокое отцветающее небо. Ее завораживало солнце, но не тот огненный шар, который сиял в небе, а то, что попадало от него на землю и согревало ее; вот уже второй день старуха, напрягаясь, искала в нем что-то, помимо тепла и света, и не могла ни вспомнить, ни найти. Она не тревожилась: то, что должно ей открыться, все равно откроется, а пока, наверное, еще нельзя, не время. Старуха верила, что, умирая, она узнает не только это, но и много других секретов, которые не дано знать при жизни и которые в конце концов скажут ей вековечную тайну — что с ней было и что будет. Она боялась гадать об этом и все-таки в последние годы все чаще и чаще думала о солнце, земле, траве, о птичках, деревьях, дожде и снеге — обо всем, что живет рядом с человеком, давая ему от себя жизнь, и готовит его к концу, обещая свою помощь и утешение.

И то, что все это останется после нее, успокаивало старуху: не обязательно быть здесь, чтобы услышать их повторяющийся, зовущий голос, — повторяющийся для того, чтобы не потерять красоту и веру, и зовущий одинаково к жизни и смерти.

Прибежала Мирониха, с маху шлепнулась на кровать рядом со старухой, и потревоженная старуха, оторвавшись от окна, нашла себя и узнала Мирониху. Мирониха махнула рукой, и старуха вспомнила, что это

она про корову, про то, что коровы как не было, так и нет. Где же у Миронихи корова, куда она запропастилась? Старуха стала думать об этом, чтобы подготовить и вернуть себя к разговору, который она потеряла и который Мирониха сейчас продолжит, — ведь надо же будет что-то отвечать ей, а не сидеть истуканом.

Мирониха сказала:

— У вас, старуня, чё-то баня ходуном ходит.

— Баня? — старуха поставила баню на место, где ей полагается стоять, но сразу не поняла, почему она должна ходить ходуном.

— Я бегу, а она то так, то эдак повернется, то одним боком, то другим, — хитрила Мирониха. — В ей у вас кто живет, чё ли, кака испидиция?

— Какая, девка, испидиция, чё ты присбирываешь? Туды, подимте, мои ребяты забрались.

— Все, чё ли?

— Да пошто все-то? Люся ишо утресь на гору ушла, а Варвара куды-то в деревню ухлестала. Мужики там, Илья да Михаил.

— Дак у них кака нужда днем-то мыться? — затягивала на бане петлю Мирониха.

— Мыться?! Ты, девка, как маленькая, ей-богу! — сердилась старуха. — Куды ишо мыться — вторые дни сёдни пошли. Ну. Мыться не мылись, а уж угостились. Горло оне там моют, а то оно, горло-то, заросло, хлебушко уж не лезет.

— Вино, чё ли, пьют?

— Нет, им Надя в тазу воды нагрела, оне ее стаканьями поддеют, стукаются и пьют за милу душу. Уж так сладко — не нарадуются. Ты рази не знаешь: дал бог денежку, а черт дырочку, от и катится божья денежка в чертову дырочку.

Выспросив все, что могла знать старуха, Мирониха добавила:

— Дак оне тамака твои-то, старуня, однако, не одне. Я будто голос Степки Харчевникова оттель слыхала.

— Степки Харчевникова?

— Будто его голос был.

— А какая тут, девка, дивля?! Степка где же обробеет! Он, однако, сухой тоже не живет?

— Однако что, старуня, так.

— Оне пошто так пьют-то? Какая им доспела нужда? Оне ить себя только гробят, боле ничё. В ранешнее время рази так было?

— Не забаивайся. Чё нам говореть про ранешнее время!

— Помнишь, Данила-мельник пил, дак его за человека не считали. Ну, пьянчужка и все. Так и звали: Данила-пьянчужка. Он ить один так пил, боле никто. А тепери Голубев не пьет, дак тепери его за человека не считают, что он не пьет, смешки над им строют.

— Так, старуня, так. Понужнули бы их раз, другой, глядишь, быстренько отпала бы охота в ем купаться. А то ить никакого с их спросу, никакой им кары. Чё хочут, то и делают. У другого собаку выманить нечем, а он пьет-гуляет, как купец какой. Вот и ходют по деревне, вот и ходют, собирают, покамест не насобираются. Он уж стоймя не стоит, а все ему подноси, все мало.

— Дак нет, девка, я когда радиу-то эту слушала, — показала старуха на тумбочку, где стояло радио, — дак там про пьянку эту тоже говорят, что она пьянка, боле ничё. Там ее тоже не хвалят.

— Ну и чё что не хвалят. Много оне слушают? Им не говорить надо, с их спрашивать надо, тогда, может, будет толк. Со своих и с чужих, жалко, не жалко — со всех надо стребовать, чтоб не изголялись над народом.

— Правда, девка, правда. А то делать как-нить, дак никак и будет.

— Я тебе об чем и толкую.

— В ранешное время хошь грех знали. Тепери и грех забыли.

— И грех, старуня, забыли, и стыд забыли.

— И стыд забыли, правда что. — Старуха осуждающе вздохнула, чуть помолчала. — От он наш: ухайдакается до того, глаза бы мои на его не глядели. Наутро подымется, тырк-пырк, соберет своих пьянчужек и опеть за ту же работу. И как ни в чем не бывало посмеиваются, рассказывают друг дружке, кто вчерась чё понатворил. Смех им. Доведись до меня, я бы со стыда сгорела.

— Оне лучше с вина, старуня, сгорят, чем со стыда.

— Ну. Я тебе, девка, чё хочу рассказать. Напомнила ты мне про стыд. — Старуха подождала, пока наберутся воспоминания и вернут ее в то неблизкое время, откуда донесся знакомый глухой отзвук случившейся жизни. — Это ишо в ту голодовку было, — пояснила она. — Варвара у меня тогда уж в девках ходила, помогала, и Илька тоже большенький вырос: там схватит да здесь урвет, и ничё, живой. От Люся, та не дай бог болезная росла: ручки-ножки тоненькие, как прутики, личико бледное, на ее и так-то жалко было глядеть, а тут и вовсе будто свечка тает. Ее поддержать бы, подкормить, да чем? Минька в ту пору на своих ногах бегал, а Таньчора, однако, ишо ползала. Или пошла ли — тепери и не скажу уж. Все оне исть просют, плачут, а их накормить рази маленько надо было? У меня сердце на части разрывалось. Чё тебе говореть, ты, подимте, без меня знаешь, сама двоих подымала. — Старуха остановила себя и, отступая от своего рассказа, спросила, чтобы не забыть потом: — Твои-то не сулятся ноне приехать?

— Ничё не пишут.

— Моить, без письма приедут?

— Не знаю, старуня. Помру — приедут.

— Дак от. Я тебе и говорю: намучилась я с имя — о-ё-ёй! Сам тогда от колхоза какие-то груза на базу возил, дома редко бывал. А Витя, которого на войне убили, на курсах в районе учился, от его тоже никакой подмоги. Николай с отцом ездил. Я одна с имя. Одного отпустишь, другой ревет. И корова, как на вред, у нас в тот год не огулялась, молока и того нету, а забивать корову жалко, как потом жить? Думаю, как-нить перебьемся, зато на другой раз с молоком будем. А Зорька наша уж в колхозе жила, помнишь, подимте, нашу Зорьку-такая хорошая была корова, комолая, по сю пору ее жалко. В колхоз как собирали, сам-то и ондал ее в колхоз, на обчий двор. От уж я поревела! Ну. А Зорька так и эдак наш двор помнит, все к нам лезла, я до этой до голодовки-то помои ей когда вынесу, а то ломоть хлеба солью посыплю. Там рази такой уход — чё тут говореть. Столько скота. От она и в голодовку все к нам, все к нам. Их там вечером подоят и сразу выгонят, а ишо мошка несусветная, скот бьется, ревет, носится. Зорька подойдет к нашему двору и мычит, мычит. Мне жалко ее станет, я загородку открою да впущу Зорьку. Курево ей от мошки разведу, вымя подмою, она не любила, когда грязное вымя. И от как-то раз я ей вымя теплой водой помыла и думаю, дай-ка я посмотрю, есть-нет в ем молоко. Чиркнула — есть. И стала я, девка, Зорьку подаивать. Их там не выдаивали до конца. Баночку она мне после вечерешнего удоя ишо спустит, я и баночке радая, разолью ее ребятишкам по капельке, и то слава богу. Лучше слава богу, чем дай бог.

И от, девка, сижу я один раз так же под нашей Зорькой, уж и не под нашей, под колхозной, сижу я под Зорькой и слышу: вроде дверка стукнула. А я в стайке ее додаивала и дверку за собой закрывала. Голову поворачиваю — Люся. Стоит и во все глаза на меня смотрит. До самой души те глаза мне достали. Она ить уж большенькая была, знала, что Зорька не наша

корова. Я сижу и боюсь подняться — как окаменела. Думаю, господи, ты-то куды смотрел, пошто ты-то не разразил меня на месте ишо в первый раз? И такой стыд меня взял, такой стыд взял — руки опускаются. Я ить, девка, после того, извиноватила себя, я в глаза-то Люсе до-о-олго не могла глядеть. Ишо и сичас думаю: помнит она или не помнит? Все мне кажется, что помнит и осуждает меня. Моить, оттого и не стала со мной жить, что мать такая.

— Не забаивайся, старуня. Откель она будет помнить? Она у тебя совсем ребенок была.

Ребенок была, а память-то, подимте, одна.

Запало и все.

— А хошь и помнит — чё с того? Лучше было бы, когда бы она с голоду померла, а ты своей Зорьке только и знала, что вымя мыть? Мало их, чё ли, в тот раз померло? А ты своих выходила.

— Оно и не лучше было бы, а и так тоже нехорошо. Стыд, его не отмоешь. Я отродясь не воровала, а тут хуже воровства вышло.

— Без стыда, старуня, рожу не износишь. Хватит тебе об этом трантить — нашла об чем говореть.

Старуха послушно умолкла, остужая в себе волнение, и устало повалилась на кровать, головой на подушку, уже лежа подобрала ноги. Мирониха придвинулась к ней ближе и опять заглянула в окно.

— Не видать? — спросила старуха.

— Не видать. Вот приди она, страмина, я ей все кости пообломаю. Она чё думает, у меня терпение каменное, чё ли?

— Ты уж, девка, не пужай ее, покуль она не пришла. Она, моить, оттого и не идет, что тебя боится.

— Я ей, страмине, побоюсь. Медведя в лесу она не боится, а меня испужалась. Пускай бы он ишо и в этот раз ее не съел, я бы на ей отыгралась. Она ить мне все нервы пережгла, я из-за ее не человек.

Старуха подобрала последнее Миронихино слово:

— Ты-то пошто не человек? Это от меня уж, однако, лежалым пахнет.

— Не забаивайся, старуня.

— Ты от подсела, дак видно, что тебя с улицы сюды занесло. А я уж на улицу сколь не выходю. Все тут, все тут, на одном месте. — Не гля дя на Мирониху, она сказала о ней и о себе: — Зажились мы с тобой, девка.

— Пошто зажились?

— А куды нам было столь жить? Пускай бы давно померли, как бы хорошо было. Ты бы си-час не искала свою корову, я бы не лежала тут, не думала, что хошь бы Мирониха не убежала, посидела ишо, а то мне одной опеть будет тоскливо. Это мне сам бог дал тебя, Мирониха. Он, он. Как бы я без тебя жила?

Старуха закрыла глаза и, соглашаясь, кивнула своим словам, себе и Миронихе. Глаза у нее не открывались, она осталась одна, забыв обо всем на свете и потерявшись не то во сне, не то в дремотном облегчающем покое. Карауля ее, Мирониха сидела рядом и думала о том, что хорошо бы им со старухой умереть в один час, чтобы никому не оставаться на потом. Она еще долго сидела возле старухи — пока не пришла Варвара.

8

— Ты расскажи, расскажи, Степан, как ты тещу обхитрил, — уговаривал Михаил длинного рыжего мужика Степана Харчевникова, который ему и Илье составил в бане компанию все за тем же горько-сладким занятием. — Расскажи Илье, а то он не слыхал.

— Михаил ронял голову и морщил лицо в смехе. — Давай, Степан, начинай.

В бане после Нинки снова завелись пустые бутылки. С закуской теперь стало легче, Михаилу больше не страшны были ни сатана и ни жена, он сделал два захода в избу и запасся даже супом, который без ложек приходилось прихлебывать из кастрюли через край. Вынес он и припрятанные Нинкой в муке бутылки и все их, как дрова, сложил в печку, куда никому не пойдет в голову заглядывать, а ящик приспособил себе под сиденье.

Он был все так же босиком, забыв за более важными делами обуться, и подсовывал ноги под постель, на которой ночью спал Илья. Сейчас Илья нес дежурство за курятником, командовал парадом.

— Давай, Степан, рассказывай, — пристал Михаил.

— А я слышу, говорят, Илья приехал, — объяснял Степан свое появление, хотя уже не один раз успел с ними выпить. — Думаю, во всяком разе надо Илью повидать. Одногодки же, вместе по деревне бегали, хулиганство творили. — Степан раскинул на всю баню руки, показывая, что не повидать Илью ему никак было нельзя. Голос у него жесткий и малоподвижный, оттого он и помогает ему руками. — Ну и пошел. Да чуть было не промахнулся. Я-то прямым ходом в избу двигаю, на баню не гляжу. Некультурный человек. Уж в последний момент смекнул: ну-ка, что там за собрание?

— И правильно сделал, что пришел, — одобрительно сказал Илья. — А у нас, сам знаешь, мать лежит, от нее никуда не уйдешь. Ну, мы тут и устроились, чтобы, значит, в случае чего рядом с матерью находиться.

— Это ты, Степан, очень даже правильно сделал, — подтвердил Михаил. — Выпили и еще выпьем. Ты не думай, у нас есть что выпить — вон, полная печка. И все такая же, белая, крепкая.

— Тебе, однако, уж очень даже хватит, — поддел его Степан. — Как бы ты очень даже пьяным не сделался.

— Нет, Степан, ты почему так говоришь? Ты пришел, я тебя встретил как гостя. Ты вот брата моего Ильи товарищ, мне тоже вроде как товарищ, в одной деревне живем. Мы с тобой никогда не ругались, ничего такого, наоборот, даже выпивали вместе. И ты мне такую непотребность говоришь. Вроде я совсем пьяный. Нет, Степан, я еще выпью, я свою норму знаю. А если что, я и сверх нормы могу — почему нет? Вы вот встретились, а мне тоже интересно с вами посидеть, поговорить. А ты вроде как спать меня укладываешь. Я вроде и посидеть не могу.

— Да сиди, сиди. Ты здесь хозяин — как я могу над тобой распоряжаться?

— Ты, Степан, лучше бы рассказал, как с тещей-то дело обстояло, — вспомнил опять Михаил. — Как ты, значит, тещу свою, тетку Лизавету, перехитрил.

— Да что рассказывать! Уж вся деревня, почитай, знает.

— Деревня пускай знает, а брат мой Илья не знает. Он из города, ты ему расскажи.

— Рассказать можно, язык не отвалится, — как бы нехотя, больше напуская на себя эту нехоть, согласился Степан и неожиданно весело подмигнул в сторону бутылки. — Только сначала надо, однако, горло промочить, чтоб надежней было.

Промочили, и Степан сам, без напоминания, сказал:

— Слушай, Илья, раз так.

— Слушаю, слушаю — ага.

— Оно и рассказывать особенно нечего. Я не знаю, что они тут нашли. История как история, мало ли у нас их тут по домашности происходит. Это вот летом было. Выпили мы так же с Генкой Сусловым, только не в бане, нет, а у него в огороде, его баба отправила туда

картошку окучивать. Ну, мы, значит, в борозде пристроились и давай окучивать. А бутылки-то я принес, я ему еще с зимы за сено был должен. Думаю, что это я рубли понесу, еще не возьмет, прихвачу-ка я лучше две пол-литры. Взял, прихожу, а мне говорят, Генка в огороде. В огороде, так в огороде, мне безразлично. Я туда. Генка на мои пол-литры посмотрел и сразу тяпку черенком в землю. Понял, значит, для какой цели я их приволок. Конечно, картошку окучивать или выпивать? — Степан развел руки и брезгливо встряхнул их, показывая, что такого вопроса для них не существовало. Он быстро увлекся и рассказывал с явным удовольствием. — Ну, сидим мы. За стаканом нам соседский мальчишка сбегал, Генка с гряды огуречных зародышков в карман нарвал, потом еще раз ходил — все есть. Сидим, стакан от одного к другому, как мячик, гоняем. Некультурные люди. Некультурные люди, а хорошо. Я к этому делу с полным моим интересом, я и шел выпивать, а Генка, правда, из дому снарядился картошку окучивать, у него другая была цель. Ладно, картошка стоит. Додавили мы бутылки, Генка говорит: «Я сейчас маленько еще потяпаю, чтоб баба завтра не сомневалась, а потом мы с тобой в деревню пойдем». Ладно, думаю, тяпай, я погляжу. Он мне опять говорит: «Ты, чем сидеть, лучше колючу в борозду стаскивай, быстрей будет». Я поднялся, глядь, а он уж колючу от картошки не видит, все под одну гребенку, под корень. Я ему толкую: «Тебе, однако, за такую работу баба волосы завтра на голове будет тяпать». Он послушался меня. «Пойдем, — говорит, — в деревню. Вечером, как жара стихнет, дотяпаю». Мы и пошли, у меня еще деньги в кармане были. — Словно запнувшись, Степан чуть помедлил и бережно, с любовью произнес: «Во всяком разе, я не помню, что там у нас дальше происходило».

— Это бывает, — с радостным смешком подтвердил Михаил, вскидывая голову. — Это такое дело. Ты дальше, дальше рассказывай. Ты, Илья, дальше слушай.

— А что дальше! Дальше известно, что. Очухался, как после атомной бомбежки, а сам еще глаза не открываю, прикидываю про себя: какой это день — тот, в который мы с Генкой картошку тяпали, или уж другой, и где я — дома, не дома? Ладно. Глаза потихоньку раскрыл — баба моя рядом лежит. Я ее сразу узнал. На другой кровати ребятишки — тоже мои. А там и теща со своего угла глаз на меня целит. Пообсмотрелся я и думаю: надо, однако, на ноги подняться. Только пошевелился, а теща, как кошка, прыг со своей лежанки. Я никакого значения ей не даю, подымаюсь, я только потом и сообразил, с какой целью она планировала меня опередить. Она, язва, и шагу, чтоб не во вред мне, не сделает, у нас с ней с первого дня партизанская война идет. Ей волю дай, она бы уж давно с самой низкой целью голову мне топором отрубила и даже не перекрестилась. Некультурный человек.

Поднялся я и пошел к Генке, чтобы, значит, узнать, как он со вчерашнего дня живет. А Генкина баба меня в воротах встретила и говорит: нету Генки. Я знаю, что дома, а она врет, что не ту и ждет, значит, когда я обратно поверну. Да 144 подавись ты своим Генкой, мне-то что! Ему же хуже. Он тобой не опохмелится — понимать должна.

— Это ты очень даже правильно ей сказал, Степан, — удивился Михаил. — Очень даже правильно. Молодец.

— Зашел я еще к Петьке Сорокину, а тот сделал вид, что не пьет и не пил никогда. «Нету, — говорит, — и денег нету». Как будто бы я не отдал ему. Во всяком разе, пришлось мне править домой. А сам знаю, что где-то в подполье у нас самогонка имеет полное право находиться. Баба уже на работе, осталась одна теща.

Прихожу — так и есть: она на западню поставила табуретку, на табуретку прялку, придавила ее своей квашней и сидит, нитку тянет. Она уж раньше меня сообразила, куда я полезу. Для того ведь только и живет, чтоб мне вредительство творить, другого дела у нее тут нету. Ладно, думаю, переждем, должна же ты с места сдвинуться. Мне бы только успеть в подполье запрыгнуть, меня потом оттуда подъемным краном не вытащишь. А сам виду не подаю, что я заинтересован, хитрость на хитрость у нас пошла. Выхожу на улицу, жду. А сколько можно ждать? Голова вот-вот пополам расколется. Думаю, долго ты меня будешь мурыжить? Иду на разведку — сидит как прикованная. Я ей вежливо так предлагаю: «Ты что это, теща, прядешь да прядешь, уж устала, поди, отдохни, прогуляйся куда-нибудь». Она мне по старинке некультурной грубостью: «Мне и здесь хорошо». Думаю, как бы сейчас тебя шмякнул, чтоб тебе еще лучше стало. Ну что ты с ней будешь делать? Ясно, что умрет тут, а не уйдет. А возьми я ее да перенеси вместе с прялкой в другое место, крик такой подымет, будто я ее резать хотел. Еще не вытерпишь, да и где-нибудь не так нажмешь, потом отвечать надо. Ладно, думаю, сиди. Сиди и не шевелись, падла ты такая. — Степан зло погрозил в пол рябым пальцем. — И вот когда у меня обнаружилось безвыходное мое положение, тут-то я и вспомнил, что неправда, я так просто не сдамся. Не хватало еще, чтоб она мне свою политику качала. Я взял из сарая лопату и пошел к Ивану. У нас дом барачного типа, сам помнишь, я на одной половине, Иван на второй. И подпольи у нас так же, за моим сразу его, а стеночка меж их совсем пустяшная, я еще в прошлом году две доски спустил, чтоб маленько укрепить ее, а то она уж совсем поползла. Пошел я к Ивану и под тем предлогом, что мне надо с этой стороны поглядеть, залез к нему в подполье. А там что — два раза копнул и готово, лезь. Я

и пролез на свою половину — будто тут и был. Пообтряхнулся, пообсмотрелся — вот она, банка с лекарством. И закуска есть. Что мне еще надо? Слышу, теща, сидит, пыхтит. Думаю, сиди, сиди, вот ты мне и пригодилась, никого хоть сюда не пустишь. И не тороплюсь. — Степан весело и ожидающе прищурился. — Так она, теща-то, чуть с ума не сошла, когда я оттуда запел «По долинам и по взгорьям...» Ее будто ветром сдуло. Слышу, только прялка брякнула.

Илья засмеялся, с любопытством вглядываясь в Степана, спросил — не потому, что не поверил сразу, а чтобы доставить удовольствие себе и Степану; продлить в воображении ту прекрасную картину, когда Степан пробрался в подполье:

— Там и выпивал?

— Там, там, — радостно подтвердил за Степана Михаил, счастливый тем, что история понравилась Илье. — Она, значит, наверху караулит, а он снизу, как червяк, из одного подполья в другое. И припал. Это такое дело. Вот за это я Степана очень даже уважаю.

— А песню-то зачем?

— А так. — Плутоватая улыбка на лице Степана стала еще шире. — Для смака. А то она жизнь прожила и не слыхала, как из подполья песни поют. Некультурный человек. Вот что я тебе скажу.

— Ну, даете вы здесь, — с удивлением и завистью покачал головой Илья и опять засмеялся. — Ну, даете.

— Жить-то надо как-то. Вот, значит, и живем. Для разнообразия жизни.

— А потом-то что тебе теща говорит, когда ты из подполья вылез? — допытывался Илья.

— А что мне потом скажешь? Мне потом хоть что говори.

— И жена тоже ничего?

— А я, Илья, к своей жене хладнокровие имею. Я сильно-то ей простору не даю. Она у меня ученая, во

сне помнит, что она баба, а я мужик. А мужик он и есть мужик, завсегда его верх обязан быть. — Степан еще не остыл от своего рассказа и, разогнавшись, говорил длинно. — Конечно, я не буду врать, что у ней ко мне возражений совсем не имеется. Имеются, особенно вот, как ты сам имеешь полное право догадаться, по части выпивки. Другой раз утром она мне свои возражения прямо в глаза, а если глаза закрыты, то прямо в уши, да громко так, как «руки вверх!», выложит. Ну, конечно, у меня на этот предмет свои, мужицкие, возражения находятся. Я их ей понятным голосом, чтоб зря дискуссию не разводить, обскажу, и опять все в норме.

— Нет, Степан, — тяжело выговаривая слова, не согласился Михаил. — Баба, она, кроме того, что она баба, она женщина. Ее бить нельзя. Твоя или моя там баба, она, кроме того что она твоя или моя баба, она государственная женщина. Она может в суд подать.

— А я тебе разве говорю про бить? — хмыкнул Степан. — Ты, Михаил, однако, уж не то слышишь. Зачем бить? Бить — это крайняя мера наказания. Как расстрел. Если баба ко мне с пониманием, то и я к ней с пониманием. Во всяком разе я тоже государственный, а не какой-нибудь первобытный человек. Мы вместе с моей бабой в народонаселение нашего государства засчитаны.

— Это ты очень даже правильно говоришь. Когда ты так говоришь, я с тобой очень даже согласный.

— Я, Михаил, понимаю, что наши с тобой бабы в государственном масштабе — это женщины. Что ты мне об этом рассказываешь? Я тоже мало-мальски грамотный человек, газеты выписываю, читаю.

— Я знаю, ты читаешь, Степан, читаешь.

— Я три газеты выписываю, — обращаясь к Илье, сказал Степан. Илья, поскучнев, кивнул. — Одну маленькую, из нашего района, и две больших — из области и центральную газету «Правда». И все их

прочитываю. Есть, которые выписывают так, для бумаги, для хозяйственных потребностей, а я пока газету от начала и до конца не прочитаю, у меня ее никто даже тронуть не смеет. Центральную «Правду» без выходных, каждый день печатают, а я все равно читаю, чтобы, значит, быть в курсе международного и внутреннего положения. Где какой переворот из-за власти или забастовка трудящихся — я уж знаю.

— Это ты очень даже правильно говоришь, — из последних сил тянулся за разговором Михаил. — И перевороты бывают, и забастовки. Я тоже знаю. А в нашей стране баба, она, кроме того, что она баба, она все равно женщина. Ее и бабой-то звать почти что нельзя. Для нее это вроде мата, не-уважи-тельно. — Трудные для себя слова Михаил делил на части и, чтобы не сбиться, произносил их с остановкой, только после того, как выяснял, что уже сказано и что осталось сказать. — И ты, Степан, не путай про те страны и про нашу страну. Мы с тобой живем в нашей стране.

— А я думал, не в нашей.

— Нет, нет, Степан, ты не путай.

Степан подмигнул Илье и показал глазами на Михаила: мол, все, готов, бормочет сам не зная что и мешает поговорить нам. Михаил клонился все ниже и ниже, его голова упиралась в колени. Степан не стал отвечать ему — может быть, нужна только минута, чтобы он, не слыша голосов, окончательно утихомирился, тогда его, как мешок, можно будет повалить на постель и спокойно продолжать разговор. Степан пригнулся и остановил взгляд на уровне водки в бутылке, будто хотел удостовериться, не убывает ли она на глазах. Мало ли что — бутылка открыта, всякая тварь может залезть и вылакать, как свою. Его мучила совесть перед раскупоренными и неопорожненными бутылками, для него это было то же самое, что любоваться страданиями недобитого животного; если

решил убить, так бей сразу, не тяни. Степан попытался поймать взгляд Ильи, чтобы намекнуть, что хватит им издеваться над бедной бутылкой, но Илья смотрел мимо.

Илья тоже отяжелел от водки и от разговоров, но не в пример Михаилу держался пока твердо. Тот счастливый и краткий момент, когда следовало остановиться с выпивкой, был давно упущен, и жалеть об этом теперь не стоило. Что еще делать? В самом деле, что делать, пусть кто-нибудь научит. Еще до Степана Илья зашел к матери — она дремала и не услышала его или сделала вид, что не слышит, а сама, быть может, исподтишка наблюдала за ним, и он обрадовался, что ему не пришлось с ней разговаривать, потому что не знал, что сказать; он не был пьян настолько, чтобы говорить все подряд. Водка, казалось, не брала его, а только добавляла груз к той тяжести, которая отзовется позже — завтра, послезавтра. Когда появился Степан, Илья повеселел, засуетился, но теперь, после того, как все первое, что говорится при встрече, было спрошено и отвечено, а до воспоминаний дело еще не дошло, он опять обмяк, с трудом заставляя себя следить за тем, что происходит вокруг, будто сидел среди этих людей, в том числе и со Степаном, так давно, что они успели порядком надоесть друг другу. С каким удовольствием он бы сейчас закрыл глаза и уснул, но его насторожил Михаил, ему не хотелось выглядеть при Степане так же, как брат, поэтому он старался держаться.

Солнце после обеда, зайдя сбоку, отыскало маленькое банное окошечко, и баня быстро нагрелась, в ней стало душно. А дверь открывать не хотели, чтобы никто не лез — ни курицы, ни собаки, ни люди. Так что приходилось терпеть. Степан потел, лысина у Ильи тоже покрылась мелкими капельками пота, и только

Михаилу было все равно — жара сейчас или клящий мороз.

Степан, вспомнив свой разговор с Михаилом, ворчливо и обиженно сказал:

— Если на то пошло, сильно много в ней женщины стало, от бабы ничего уж не осталось. А с ней не только в кино ходить, с ней жить надо.

Для жизни мне, к примеру, баба больше подходит. Она на любую работу способна, не будет ждать, когда мужик придет со смены и принесет ведро воды. Она все сама может. И терпеливая, по всякому пустяку не будет взбрыкивать. Мало ли что по домашности происходит — почему об этом должна знать вся деревня, а если в городе, то весь город? «Я женщина, я женщина», — передразнил он. Ну, не мужик, все видят, ну и что? На руках тебя за это надо носить, по головке гладить? Ты сначала поимей, за что на руках носят, потом спрашивай. Ты такой же человек, только другого полу, про наши разногласия в человеческом теле блохе и той известно, и нечего на этом предъявлять свои претензии. Конечно, никто не спорит, мы без них не можем, так жизнь построена. А они без нас могут, что ли? Во всяком разе, еще больше не могут, Как ты, Илья, считаешь? Я говорю, они без нас еще больше не могут, такая у них натура. А во-вторых, у мужика, кроме бабы, в нерабочее время также и другие занятия имеются, а у нее, почитай, нету.

— Это точно — ага, — коротко подтвердил Илья. Мысль о том, что женщина больше нуждается в мужике, чем мужик в женщине, пришлась ему по душе и взбодрила его, на лице у Ильи появилось плутовато-хитрое выражение, как после удачной выходки, о которой еще никто не знает.

Степан покосился на бутылку, вольно или невольно показывая, что одним из главных мужских занятий в

нерабочее время, о которых он упомянул, он считает выпивку.

— Я в прошлом году летом в город ездил, — продолжал он. — Там насмотрелся на этих женщин. И правда, кругом одни женщины, я уж потом нарочно приглядывался, чтоб хоть одну живую бабу увидать, которая на мясе, а не на пружинках. Если где встретится, так сердце за нее радуется, что сохранилась, а то ведь скоро мы их, как доисторических мамонтов, будем искать. Она идет, так по ней видно, что у ней и мать была, и бабка, видно, что в жизни человек находится, а то ведь эти, женщины-то, особенно которые помоложе, они все как заводные куклы, одна на другую до того похожи, не отличишь, где какая. Их не рожали, на фабрике делали…

— По ГОСТу, — вставил Илья.

— Как ты говоришь?

— Я говорю, по ГОСТу, по государственному стандарту.

— По нему, однако, и есть. Только у одних выточка получше, у других похуже, больше никакой разницы. И ходят красуются: вот я какая, поглядите на меня. Вот у меня какие ножки, эта правая, эта левая, будто у нее у одной ноги, а у всех костыли. Вот у меня какая вертушка — туда-сюда, туда-сюда, ишь, как красиво — будто никто не знает, для чего человеку это приспособление дадено. Ее, вертушку-то, прятать надо, а она рада ее совсем заголить. Вот сколько я на голове волос накопила, вот какие у меня глаза: я вас в упор не вижу, а вы на меня смотрите, любуйтесь. Для нее в том и состоит цель жизни, чтобы, значит, себя показывать, я не знаю, как она там дышит, когда ее никто не видит. А чуть чего: ой, у меня нервы, нервная система. И уж руки у нее нервы, и ноги нервы, и это самое место, откуда ноги растут, — тоже сплошь нервы. Я четыре 152 ночи у свояка ночевал, у него жена тоже, значит, такая же

женщина. Чуть он ей не угодил — она в больницу. При мне каждое утро бегала. Я интересуюсь: что болит? «На почве нервной системы». А что конкретно на этой почве болит-то, какое место? «Общая слабость, вам не понять». Где же мне понять... Не слабость у нее там никакая, а слабинка. Делать нечего, вот и уросит, каприз над ним строит. Вот они, женщины. Дело не в том, что женщины или не женщины, а в том, что делать ничего не умеют, к работе не приспособлены. Скоро уж рожать и то разучатся. Я не знаю... — Степан озабоченно покачал головой. — А если война? Что тогда с этих женщин? Слезы лить да помирать? В той войне нам наполовину бабы помогли победить. А теперь уж и баб-то не остается. Скажи, Илья.

— А что тут говорить? Правильно.

— Вот он сказал, — Степан кивнул на склоненного в три погибели Михаила, — что их будто и бабами-то называть нельзя, для них это будто оскорбительно. А почему оскорбительно? Что такого плохого в этом слове? Почему я не оскорбляюсь, когда мне говорят, что я мужик? И даже наоборот, назови меня кто мужчиной, это мне уж нехорошо, обидно, будто я не могу быть мужиком, не соответствую на работе или там по домашности. Мужик я и есть мужик — что мне еще надо? Так и баба. Гляди-ка, обидели ее! Вон ваша мать, тетка Анна, всю жизнь бабой прожила и ни на кого не обижалась. Пускай другие попробуют быть такой бабой, как она. Про нее никто, ни один человек худо не скажет, не имеет права. Язык не повернется. — Степан вдруг сразу, как поперхнулся, умолк, его осенило. — Давай, Илья, выпьем за вашу мать, — медленно и с удовольствием, с тем удовольствием, с каким охотники следят за падающей птицей, уже зная, что выстрел был на редкость удачным, и радуясь за себя, сказал Степан. — Давай, Илья. За тетку Анну не грех и выпить.

— Это оч-чень даже правильно, — неожиданно услышали они голос Михаила. Михаил оторвал с колен голову и точным, прицельным взглядом уставился на бутылку, ожидая, когда ее заставят делать то, что ей положено делать. — За мать-то оч-чень даже надо выпить, — подтвердил он. — Наливай, Илья.

— Мы думали, ты спишь, — покосился на него Степан.

— Я, может, и сплю, но за мать я могу и во сне выпить. Вот так, Степан. Мы для того ее и брали, чтоб за мать пить, больше ни за кого. Илья скажет. — Михаил, качнувшись, хрипло рассмеялся. — А сами забыли. Это ты очень правильно, Степан, сделал, что подсказал нам. — Очень даже правильно. А то мы забыли. Забыли, и все дела. Что ты с нас возьмешь? Пьем просто так, вроде нам и выпить не за кого. Оно, конечно, у нас тут промашка вышла. Мы не рассчитывали за нее за живую пить. Это такое дело. Илья скажет.

— Хватит тебе об этом! — оборвал его Илья. Михаил осекся, остановил на Илье нездоровый, прищуренный взгляд и медленно выговорил:

— Ну, если хватит, пускай будет хватит. Не нравится, значит.

— Мать у вас хорошая, — примирительно сказал Степан.

— Не умерла, — уже совсем невесело и непонятно, жалуясь или хвастая, произнес Михаил. — Так и не умерла. Живая. Если мне не верите, идите посмотрите сами. — Он потянулся за стаканом, и Степан, боясь, что он упадет, торопливо подал ему свой, а себе взял с курятника. — За мать до дна! — потребовал Михаил, как всегда, первый выпил и по полу катнул от себя стакан к Илье. Илья подобрал его, и они со Степаном молча чокнулись.

— Ты-то полное право имеешь забыть, маленький был, — обращаясь к Михаилу, сказал потом Степан. Михаил, не слыша, опять оседал, скручивался на своем ящике, и Степан повернулся к Илье. — Помнишь, Илья, как ваша мать вот за него отомстила? Как не помнишь, конечно, помнишь. Денис Агаповский, пусть ему на том свете отрыгнется, прихватил вашего Миньку в колхозном горохе и пустил ему в спину заряд соли. Помнишь, Денис, этот зверюга, тогда горох караулил — герой! Минька ему и попался. Всю спину разъело, смотреть было страшно. Мать ваша просто так это не спустила, тем же макаром запыжила два патрона солью, пошла к Денису и в упор из обоих стволов посолила ему задницу, да так, что он потом до-о-олго ни сидеть, ни лежать не мог, на карачках ползал. Помнишь?

— Помню — ага, — улыбнулся Илья. — Ее еще судить хотели, да как-то замялось потом.

— Я бы им посудил! За Дениса-то! Этого только не хватало.

— Что это вы там бормочете? — услыхал их Михаил и потребовал: — Песню. Давайте песню.

— Живучий же ты, Мишка, — удивленно сказал Степан. — Какую тебе еще песню? Может, ту, где медведи задом, значит, трутся об земную ось или там обо что-то еще. Хорошая песня. Как раз для нас с тобой.

— Нее, — отказался Михаил. — Другую. Русскую народную. — Он приподнял голову и, держа ее на весу, затянул:

— Нам бы подали, да мы бы выпили…

Голова его сорвалась и ткнулась в колени. Рыдая, Михаил закончил:

— Нам не стали подавать — мы не стали выпивать.

— Ишь, на что намекает, — ухмыльнулся Степан.

То же самое Михаил пропел еще раз, больше слов он, видно, не знал и, заворочавшись легко и бесшумно,

будто кто его снял, повалился с ящика вниз, на постель. Илья со Степаном полюбовались на него. Степан предложил:

— Может, правда споем?

— Давай. Гулять — так с музыкой. — Последняя водка сделала Илью решительней, в его глазах загорелись бесноватые огоньки.

— Только эти, теперешние, которые по радио передают, не будем, — сказал Степан. — Я их не люблю. Они какие-то… Пока поют, забавно, не так забавно, как щекотно, будто с тобой, как с ребенком, кто-то играется. А пропели — помнишь, у ребятишек есть обманка: «А кто слушал, тот дурак». Так и тут. Будто дураком себя выставил, что слушал, больше ничего. Давай уж лучше наши — которые за душу берут, без обмана.

— Может, твою любимую споем?

— Какую мою любимую?

— Ну ту, которую ты теще в подполье пел. Степан засмеялся:

— А что — можно и с нее начать.

Под взмах Степановой руки они дружно, в голос грянули боевую и заслуженную «По долинам и по взгорьям».

9

Кроме матери, никто Татьяну уже не ждал. Приехать так теперь бы приехала, не в Америке живет, а за три дня можно добраться даже из Америки. Придет, наверно, потом письмо, что, мол, так и так, не могла, не было дома или что-нибудь в этом роде. Интересно, что она будет спрашивать о матери, не зная,

жива мать, не жива? Так или иначе придется ведь писать и что-то спрашивать, тут не отмолчишься и не отделаешься приветами всем родным и знакомым, не упомянув о матери. Но это уж ее забота, пусть выкручивается, как хочет, раз не нашла нужным приехать. А что там у нее еще может быть? Конечно, никто не знает, судить-рядить трудно. Одно ясно: здесь ее нет, и ни слуху о ней, ни духу.

И только старуха ждала не переставая. Она вздрагивала от любого звука за окном и замирала при каждом шорохе у двери. Она не помнила, чтобы за дочерью это водилось, но ей казалось, что Таньчора, попав в избу, может подкрасться и посмотреть на мать тайком и только после того открыться, поэтому она все время держала дверь на прицеле, чтобы поймать дочь, когда та начнет выглядывать. Глаза у старухи были хорошие, при ее годах грех жаловаться, но и они уставали смотреть в одно место, будто им приходилось держать тяжелую заборку на весу, на себе. Старуха не давала им повады, заставляла смотреть — на что ей теперь их было беречь, для какой нужды? Разглядеть Таньчору их еще хватит, а больше ничего и не надо. И только когда глаза от усталости и боли начинали слезиться, старуха прикрывала их, оставляя узенькую щелочку по очереди то в одном глазу, то в другом, в которую можно было подсматривать, и так давала им отдохнуть.

Чем больше времени проходило в этом тяжелом, пустом ожидании, тем меньше его для ожидания оставалось. Старуха понимала, что Таньчора может приехать только сегодня, что это последний срок, который ей отпущен, а с завтрашним днем ей будет уже не по пути, он пойдет совсем в другую сторону. Что будет завтра, старуха не знала и не старалась узнать: пока оставалась надежда, она надеялась и верила, что Таньчора успеет и не допустит того, чтобы мать на нее

под конец не посмотрела. Если не явилась в эту минуту, явится в другую, время пока есть, и нечего зря изводить себя — приедет, никуда не денется.

Уже далеко после обеда был один момент, когда сердце у старухи заколотилось сильнее, и она поняла его так, что оно почуяло Таньчору, которая теперь совсем близко, на подходе. Старуха встрепенулась, как молоденькая, и заторопилась, ей захотелось встретить дочь сидя, чтобы не показаться ей с первого взгляда совершенно немощной, никуда не годной; заторопившись, она упустила как следует караулить себя и чуть не уронилась, только чудо помогло ей удержаться на кровати и не разбиться. Ей некогда было даже обругать себя за неловкость, она еще не осела на месте, а уж скорее повернула голову к двери и приготовилась. И правда, послышались шаги, зашевелилась занавеска — вошла Варвара. Своим взбудораженным, несмирившимся умом старуха подумала, что Варвара пришла известить ее о Таньчоре, но та, как нарочно, чтобы подразнить мать, стала рассказывать, кто что в деревне говорит про ее сон. Что с нее взять, Варвара она и есть Варвара. Старуха, не слушая ее, вся подалась к двери: вот-вот по воздуху донесутся другие шаги и другой голос... вот-вот... Но они задерживались, их не было.

Она сидела так долго, порой теряя себя, забываясь во внимании, и тогда ей казалось, что ее подменил здесь какой-то другой человек, которому все равно, приедет Таньчора или нет, оттого он ничего и не слышит — после этого она заставляла себя слушать еще внимательней. Сновала сюда-обратно Нинка с перепачканными от конфет губами и что-то бормотала, тяжело переступала по избе Варвара, растравляя голосистые половицы, и старуха злилась на них, что они занимают ее слух и мешают ему отыскать среди всего остального то, что он ищет. Потом вернулась с горы

Люся и стала спрашивать у матери, не болит ли у нее что, — старуха замотала головой, ей захотелось, чтобы Люся ушла. Люся и в самом деле скоро перешла в другую комнату и прилегла там на Михайлову кровать — видно, с непривычки наломала ноги и решила дать им отдохнуть.

В конце концов старуха почувствовала, что устала и больше не в состоянии сидеть, а от беспрерывного слушания в голове у нее начался гуд. Она припомнила, что и радость и нерадость любят являться нечаянно, как снег на голову, и упрекнула себя за то, что ждала чересчур сильно и сама же мешала Таньчоре. Вот уж правда: скажи дураку богу молиться, он лоб расшибет. Что такого, если Таньчора до того, как показаться на глаза, глянет на нее исподтишка и увидит в лежачем положении? Ее, старухи, от этого не убудет, Зато приедет, и старуха тоже увидит дочь перед собой. Не надо торопить себя, не надо, все равно не соскочишь и не побежишь навстречу, раскинув крылами легкие руки. Что уж тут говорить... Лежала — ну и лежала бы, если ни на что другое больше не способна.

Она послушалась себя и легла. Теперь бы еще ни о чем не думать, остыть от ожидания, как от боли, всем телом обмякнуть и забыться, оберегая себя в покое для скорой радости. Старуха повернулась в кровати удобнее, чтобы нисколько не чувствовать своего веса, и постаралась поддаться тишине — той благодатной тишине, которая неслышно вынет ее, полегчавшую, из кровати и заворожит далеким-далеким журчанием.

Солнце держалось еще на виду, его золотистый свет был неярким и теплым, и старуха пригрелась от него, а пригревшись, потихоньку усмирилась, помня и не помня себя, зная и не зная, что нужно ей на исходе этого спокойно-ясного дня. Уже в который раз сегодня она задремала, и все чутко, осторожно, сейчас особенно хорошо понимая, что она дремлет, и готовая в любую

минуту очнуться; ее сердце, укачав тело, продолжало дежурить, и его внимательные толчки не давали старухе забыться глубоко. И оттого, когда перед ней явилась Таньчора, старуха не поверила: память подсказала ей, что ее глаза закрыты и она не может видеть Таньчору взаправду. Но это был и не сон, потому что она не спала по-настоящему, а все время держалась на половине ко сну — нет, это слабое, измученное видение нарисовало перед ней, отходя, напрасное ожидание, от которого освобождалась усталая голова, и старуха осталась спокойной. Здесь же, в своей светлой, как сумерки, дремоте, она заново подумала о Таньчоре и поняла себя — эти ясные, звеняще-приятные мысли рождались сами собой, будто уже готовые шли со стороны, и были ей не в муку, а в утешение. В них она искала все то же — что могло задержать Таньчору? — и нашла. Это было совсем просто. Таньчора, наверное, приехала не одна — со своим мужиком, а его-то и нельзя было брать с собой. Он у нее военный, а бог, однако, не любит военных — вот он увидал их где-нибудь вместе и остановил, не разобрав, что этот военный Таньчорин, не чужой, и что они торопятся к ней, к старухе. Потом-то, наверное, он сам спохватился и отпустил их с места, но задержка произошла, ничего не поделаешь. Таньчора тут не виновата, это все из-за ее мужика. Но теперь-то они уже близко, вот-вот будут здесь.

Ей стало легче, душа ее вздохнула свободней, и старуха, качнувшись, поднялась в своей невеси еще выше, куда трудно достать посторонним звукам.

Она не видала Таньчору давно, а сколько давно, она не знала. Этот отсчет времени она вела не по годам, а по своему материнскому чувству — и три, и пять, и десять лет для нее не имели разницы и значили одно и то же: давно, дольше всех не была дома Таньчора. Уже после нее приезжала Люся, показался после севера

Илья, не говоря уж о Варваре, которая бывает каждый месяц, а Таньчоры все не было и не было. Однажды она написала, что ее мужика переводят служить на новое место, ехать туда почти мимо дома и они по пути обязательно заедут. Старуха тогда еще была на ногах и забегала, захлопотала, чтобы как следует принять дочь и не ударить в грязь лицом перед зятем, которого она еще ни разу не видала вживе, перед собой. Дожидаясь их, она каждый день мыла пол, чтобы ее не захватили врасплох, наготовила всякой всячины из еды и даже заставила Надю взять в магазине две бутылки вина, долго прятала их от Михаила у себя под подушкой. Потом все равно их пришлось отдать Михаилу, потому что Таньчора так и не приехала. Ее мужика и правда перебросили, но только не туда, куда собирались попервости, а в этот самый Киев, где они и живут. В другой раз уже из Киева, его хотели перевести куда-то за границу, и Таньчора опять написала, что перед тем ему дадут отпуск и они на прощанье приедут, но в этот раз старухиного зятя отчего-то не тронули совсем и отпуска тоже не дали. Старуха и опечалилась, что сызнова не увидела Таньчору, и обрадовалась, что дочь не уехала на житье еще дальше, совершенно к чужим людям, которые даже говорят не по-нашему и у которых ей, конечно, было бы не сладко.

Вот так оно все и продолжалось до последнего дня.

Таньчора писала не часто, но все-таки чаще других, и письма ее приходили прямо на старуху. Только она одна и отправляла письма на имя матери, и старуха, беря в руки красивый, с красными и синими полосками по краям конверт, вся замирала от гордости и ожидания: сейчас она узнает то, что хотела сказать ей Таньчора. Но она не торопилась и подолгу рассматривала письмо на свет, изучала картинку и штамп на конверте и только после этого очень осторожно распечатывала его, стараясь не повредить

конверт, и вынимала исписанный листок. Сама она читать не умела и, не читая, могла держать у себя письмо с утра до вечера, любуясь его скрытностью и пытаясь проникнуть в нее душой, зато потом начиналась пора чтения; старуха заставляла читать его и Надю, и Михаила, и кого-нибудь еще, кто заходил: она боялась, что в одном письме разные люди могут прочитать разное. И только когда всё от слова до слова сходилось, старуха успокаивалась и прятала письмо в изголовье, чтобы продлить свою радость и увидать Таньчору еще и во сне.

Над письмами, которые приходили от Люси и Ильи, она не имела такой власти. Ей читали их только по разу, а то и совсем не читали, в двух-трех словах передавали то, что в них было, и все, и старухе ничего не оставалось, как обходиться этой малостью. Она догадывалась, что не о всех письмах ей даже говорят, и не потому, что не хотят сказать, а потому, что забывают, не знают, что сказать: просто в них нет ничего такого, что обязательно надо передать матери и ради чего писалось письмо. Люся, как обычно, наказывала: берегите маму, Илья торопливо и как бы в шутку спрашивал: как там мать дышит? — или: как там у матери делишки? — чаще всего на этом и заканчивался интерес к матери, так что пересказать его в и самом деле было не просто. От Люси бывали и длинные, подробные письма, особенно если она перед тем долго не давала о себе знать, в которых матери отводилось больше места и в которых она писала что-нибудь вроде: «Скажите маме, что лекарства помогают в любом возрасте», — это когда старуха отказывалась пить таблетки, говоря, что от старости таблетками не спасешься, — или: «Следите, чтобы мама зимой одевалась лучше», — как будто старуха без нее не знала, что в холода по-летнему не проживешь. Илья, слава богу, хоть советов не давал. Старухе не это надо

было он них, она хотела знать, как живут они сами, как одеваются в морозы, чтобы не околеть, и что едят, раз не держат ни коров, ни куриц, ни свиней; старуха в конце концов заставила себя поверить, что в городе люди тоже не голодают, но не могла понять, как это им удается без домашнего хозяйства и как вообще можно без него жить. О себе Люся и Илья писали так мало, что старуха приставала к Наде, которая читала письма, с въедливыми и дотошными вопросами, будто та что-то утаила или по недосмотру пропустила, а Надя терялась, не зная, что отвечать: где она возьмет больше того, что есть в письме? Не будет же выдумывать от себя за Илью, от которого раз в год шли коротенькие, в ладошку, писульки. Читать старухе письма от Ильи и Люси было мучением, и оно обычно доставалось Наде; Михаил на вопрос матери, что пишут, мог отмахнуться: так… ничего — и уходил. Оставалась Надя.

Едва ли старуху до конца устраивали и письма Таньчоры, но им она многое прощала, к ним у нее было особое отношение. Эти письма были специально для старухи — специально для нее Таньчора собиралась их писать и писала, специально для нее их везли и несли, а чтобы не потерялись, на конвертах, на которых рукой Таньчоры было выведено имя матери, ставили важные печати. То, что Таньчора хотела сказать ей, она говорила не через кого-то, а прямо, как бы видя перед собой мать, она не писала «скажите маме», она писала: «мама моя», и это ласково-призывное и одинокое «мама моя» заставляло старуху замирать от счастья и страха; она чувствовала, как от этих слов по ее телу скользят прямые холодные иголки. Старуха не помнила, чтобы Таньчора так называла ее дома — нет, не потому, что не помнила, а потому, что не называла: эти слова не забудет даже самая беспамятная мать. Значит, дочь нашла для нее их уже там, на чужой стороне; старуха шепотом, одними губами произносила обращенное к

ней «мама моя!» и слышала в нем такой сиротливый стон, такую боль, что ей становилось жутко и она втихомолку от себя плакала, думая, что не помнит начала слез, и говоря себе, что они пролились совсем по другой причине. Плакать в согласии с собой значило бы смириться со своими страхами, а это было еще хуже, тогда труднее было искать надежду. Надежда идет от бога, думала старуха, потому что надежда робка, стеснительна, добра, а страхи, которые от черта, навязчивы и грубы — так зачем поддаваться им? Или она не знает, откуда они берутся?

И старуха вдруг светлела, легко, кончиками узких губ произносила те же самые слова и слышала в них только ласку, пронизанную мягким Таньчориным голосом. Потом слова эти повторялись уже без нее, без старухи, без ее губ — одним Таньчориным голосом, звучащим близко и ясно, как наяву, но все тише и тише, наконец они умолкали до полного беззвучия, но старухе и тогда по-прежнему было светло и радостно от их приветливой страсти и силы; она долго и с наслаждением ругала себя, что, как последняя грешница, перед тем услышала в них совсем чужое, не то, что в них есть, и казнилась перед дочерью за свою глухоту.

Не ей ли знать, что Таньчора и в самом деле выросла ласковей своих сестер. Старуха никогда не стала бы жаловаться ни на Люсю, ни на Варвару — не на что и жаловаться, но выделяла из них Таньчору. Все-таки она была последней, заскребышем, за которым у старухи никто не шел — поэтому мать больше замечала ее, чем своих старших, а потом, не привыкнув жить без маленьких, дольше не хотела отпускать от себя на волю. Всегда было так: не успевал подняться на ноги один, появлялся другой, и мать хваталась за него, а переднего отсаживала в сторону — ползи или иди куда хочешь, только не убивайся до смерти и не кричи,

теперь и без тебя есть кому кричать. Таньчору никто не подгонял, и она задержалась возле матери, все, бывало, как привязанная, бежала сбоку и лепетала: мамынька, мамынька. Вот и «мамынька» это — откуда она его взяла? В деревне как будто не было такого слова — разве у кого от чужих переняла или услыхала научивший голос во сне? Потом, когда подросла, называла уже, как все, мамой, но, смеясь, часто вспоминала и принималась теребить мать — «мамынька, мамынька», и старухе было приятно это ее дурачество, хоть она и отбивалась от него. А теперь вот новое — «мама моя!». Что тут такого тревожного после «мамыньки», что она, старуха, сама себя с ума сводит? Подумала бы, до того, как убиваться.

Но то, что Таньчора росла последней, конечно, еще не все. И из последней могла получиться всякая. На нее больше заботы, больше сердца, а она тебе за это больше немилости. Мало ли так бывает. Нет, Таньчора сама по себе была ближе к матери, по своему характеру. Если говорить о характере, то старухин нрав, скорее, переняла Люся — тоже твердая и гордая, мало кому спустит, только твердости и гордости дома у нее хватало на троих. Еще девчонкой была — как надуется, три дня в сторону смотрит, ничем ее не проймешь. Какой теперь стала Люся, старуха не знала — наверное, пообтерлась среди людей, пообломалась острыми краями об острые края, научилась что к чему. С тяжелым характером и жить тяжелей — она грамотная, должна понять, а по ней не похоже, что ей живется тяжело. Спрашивать старуха не хотела, спроси — скажет «хорошо» — и понимай, как знаешь. Все они так говорят, чтобы отвязаться, только одна Варвара все равно стала бы жаловаться, если бы даже каталась как сыр в масле, без забот и переживаний. Вот ведь родные сестры, а друг до дружки не достать. Варвара уж в девках ходила, а плакала и от Люси, и от ребят, и чуть

ли не от мухи. Росла размазней и выросла размазней, все шишки на нее валятся, а она под каждую готова подставить голову.

Таньчора не была похожа ни на кого из сестер. Она стояла как бы посередке между ними со своим особым характером — мягким и радостным — людским; она сердилась и тут же отходила, обижалась и сразу забывала об обиде, а уж если ей приходилось плакать... это про нее, не про кого-нибудь сказано: одна слеза катилась, другая воротилась. Она всегда шла туда, где были люди, не боясь ни стариков и ни маленьких, любила посмеяться, поговорить, и не так, что лишь бы себя повеселить, а к месту, ко времени, к общему удовольствию. Редкая полянка у молодых обходилась без Таньчоры; если она задерживалась дома, девки уж бежали за ней, и не потому, что она верховодила у девок, — как раз нет, а потому, что без нее на полянках было невесело, грубо, некому было ответить парням, когда те начинали задирать, и ответить так, что после этого находилось что сказать всем, одному лучше другого, или тихонько засмеяться вслед нетерпеливой парочке, решившей незаметно убежать с бревен возле сельсовета, где собиралась полянка, — всего лишь тихонько засмеяться, как бы только для себя, повернув лицо в ту сторону, куда в темноте пропадала парочка, но этот тихий, осторожный смех, как сигнал, тут же подхватывали все, и деревня со сна вздрагивала от его буйства. Некому без нее было подсказать песню, ту самую, которая бы не зачахла, не заплелась в траве за бревнами, а, поднятая сильными голосами, обнесла бы своей радостью или печалью деревню от края и до края.

Матери она предлагала: «Давай, мама, сюда свою голову», зная, что мать любит, когда ножичком царапают ей в голове, в поседевших волосах, и никто, даже если брать старух, не умел так расшевелить голову, как Таньчора, коснуться именно того места,

которое просится, чтобы его потрогали, и не повредить ни одного волоска. Из дочерей только Таньчора и ублажала этим мать. Она быстро-быстро водила ножичком и приговаривала: «Ты у нас, мама, молодец». — «Это еще пошто?» — удивлялась мать. «Потому что ты меня родила, и я теперь живу, а без тебя никто бы меня не родил, так бы я и не увидала белый свет!» Таньчора смеялась и подбирала, как гладила, старухины волосы. «Ну тебя! — притворно сердилась старуха. — Мелешь чё-то, мелешь, а чё к чему, и сама не помнишь». — «Нет, помню. Ты у нас, правда, молодец, ты и не знаешь, какая ты молодец, ты лучше всех. Скажи, мы у тебя хорошие или нет?» — «Я не говорю, что плохие». — «Значит, хорошие. И это все ты, никто больше не смог бы родить и вырастить таких хороших людей, никто — так и знай. Нам с тобой сильно повезло. У кого еще есть такая мать, как у нас? То-то и оно». Старуха замирала и терялась от этих слов, она не знала, что их можно говорить вслух, — едва ли в деревне, где не привыкли к нежностям, кто-нибудь произносил их еще. И так понятно, что никто, кроме нее, не смог бы родить ее ребят, но разве об этом говорят? Зачем? Мать пугалась и еще ниже опускала голову в Таньчорин подол. «Ты у нас будешь жить долго-долго, больше всех, потому что ты лучше всех, и мы тебя никому не отдадим, никакой старости». — «Не присбирывай!» — перебивала ее мать. «Я не при-сбирываю, я даже представить себе не могу, что мы сможем когда-нибудь остаться без тебя». Старухины глаза застилали слезы от этих оголенных лаской слов, и она торопливо поднималась: «Хватит на сегодня. Дорвались, а дело стоит».

Ее пугали такие разговоры, но они случались не часто, всего несколько раз, и это был приятный, усмиренный страх, как страх невесты перед первой брачной ночью. Мать потом долго испытывала их про

себя, как бы случайно, ненароком припоминая выпавшие слова, на самом деле старательно собранные в памяти, чтобы погреть, когда захочется, душу. И правда — какая мать останется при этом бессердечной?! Могла ли она не верить Таньчоре, если та всегда обходилась с ней ласково и тепло, делясь, как с подружкой, тем, что доверят не каждой матери. И даже когда выходила замуж, попросила в письме родительского благословения, и мать не отказала, не посмела, хоть и горько ей было, что не знает она, кто берет за себя ее дочь.

И вот ее Таньчора как уехала, так и сгинула.

В последнее время старуха готова была винить в этом не дочь, а себя. В чем ее вина, она не понимала, ей было не по силам отправиться к дочери, которая живет где-то так далеко, что старуха не могла добраться туде даже умом, не то что дорогой, но она понимала другое: нельзя матери столько не видеть свою дочь — тяжело перед собой, неловко перед людьми, стыдно перед дочерью. Вот и выходит: что она за мать, если смогла вытерпеть такую разлуку? Что она сделала для того, чтобы свидеться с Таньчорой? Только и знала, что ждать. Хоть бы палец о палец ударила. А как ударить, чтобы был толк? Господи, если бы кто-нибудь подсказал. Старуха не боялась за Люсю, верила, что она себя в обиду не даст — не такой она человек; Варвару, ту, наоборот, мог обидеть каждый, но Варвара была рядом, почти на глазах; Илья — мужик, он сумеет за себя постоять, и только Таньчора, как нарочно выброшенный кусок, больше всех маяла старухино сердце, не давая ему покоя ни днем, ни ночью. Посмотреть бы на нее хоть через щелочку, хоть разок, чтобы понять, что с ней сталось, как живется ей на дальней стороне, среди чужих людей, без матери. И по лицу, без слов, можно многое узнать, и тогда старуха решила бы, молиться ей за дочь или радоваться. Еще и

потому ей надо было перед смертью хоть мельком взглянуть на Таньчору, чтобы снять со своей души грех за то, что она ее долго не видела, очиститься перед богом и спокойно, радостно и светло предстать перед его судом: вот я, раба божья Анна, черного с собой не несу.

Но сегодня был последний срок: если до темноты Таньчора не приедет, значит, нечего больше и надеяться.

Уверив себя, что Таньчора обязательно будет, надо только потерпеть и не мешать ей подъезжать все ближе и ближе, старуха облегченно задремала — сначала чутко, сторожа со стороны каждый звук и все время помня, что она дремлет, потом, как это всегда бывает, ненароком выпустила себя из рук и потеряла, оставив в кровати вместо человека пустой мешок. И где она была, что делала, никто не знает.

Ее воротили голоса, она услышала их, находясь еще далеко, откуда не понять, о чем говорят. Слух первым вернулся к старухе, но он был слабым и уловил только неясное, обрывистое бормотание, похожее на бульканье, будто кто-то бросал в воду камни. Старуха теперь была не та, что раньше, когда просыпалась моментально, как тут и была; сейчас ей надо было время и силы, чтобы собрать все, что положено иметь человеку — и слух, и глаза, и память, словно она расклеивалась во сне на части, каждая из которых норовила забыть свою службу.

Она открыла глаза и сразу ничего не различила: в комнате было сумеречно, но сумерки уже достывали до полной темноты. Окна светлели только с той, с уличной стороны, но через стекла проходило мало. Четкий, нажимистый голос Люси, не теряясь в темноте, кому-то выговаривал:

— Как вам не стыдно?! Мама чуть живая лежит, а они как с ума сошли!

Старуха и испугалась не сразу, она успела рассмотреть склонившуюся над столом голову Михаила, с другой стороны стола сидел Илья — собираясь что-то ответить Люсе, он шевельнулся, и старуха скорее почувствовала, чем увидела и поняла, что мужики все еще не выбрались из пьянства, возятся в нем, как мухи в отраве, в которую для приманки добавили сметаны. В ногах у старухи глубоко, достав изнутри стон, вздохнула Варвара. Люсю не было видно, голос ее звучал справа, оттуда, где под божницей стояла тумбочка.

И тут на старуху напал страх. Изогнувшись в кровати, она крикнула, но крикнула не спрашивая, а зовя, требуя, чтобы ей отозвались:

— Таньчора!

До того, как наклониться над старухой, Варвара оповестила:

— Матушка наша проснулась.

— Таньчора! — снова позвала старуха, отдав слуху все, что в ней осталось, даже дыхание.

— Она еще не приехала, мама. — Щелкнул выключатель, и комнату, как рукавичку, будто вывернули на другую сторону, ярким наверх. У выключателя стояла Люся. — Таньчора еще не приехала, — повторила она, видя, что старуха не понимает.

Они загораживались от света ладошками и щурили глаза. Старухе показалось, что они прячутся, потому что не хотят сказать ей правду, и она не поверила им; качая головой, она обвела их умоляющим, до последнего натянутым взглядом, который смогла выдержать только Люся, и задохнулась, будто влезла на крутую гору, не оставив сил больше ни на шаг. Таньчоры не было тут, старуха должна была понять это с самого начала, как пробудилась: при Таньчоре говорили бы о другом. Проспала. Она все еще качала

головой, не веря ни себе, ни им и не в состоянии выговорить ни слова — голова ее в отчаянной мольбе, как у нищенки, тряслась на подушке, а горло все никак не отпускало от перехватившей его боли и невозможности вернуть ни одной капли света, которая посветила бы Таньчоре. В окне, как в зеркале, замазанном с той стороны черным, отсвечивала только залитая электричеством комната, за стеклом не проступало даже самое маленькое пятнышко. Старуха приподнялась на 172 локте и, подаваясь вперед, чуть не вываливаясь из кровати, нетерпеливо и жалобно спросила:

— Где? Где она?

Она застыла, прислушиваясь, глаза, не глядя ни на кого в отдельности, смотрели широко, чтобы не пропустить того, кто принесет ответ.

— Если бы мы знали, зачем бы мы стали скрывать от тебя, где она, — спокойно сказала ей Люся. — Пойми: мы сами ничего не знаем.

— Ей-богу, матушка, мы ее не видали. — Для пущей верности Варвара прижала руки к груди. — Я врать тебе не буду. Не видали.

— Приедет, — бодро и даже как бы радостно подхватил Илья. Скорей всего, он и в самом деле был рад, что разговор с него и Михаила переместился на другое. — Сегодня не приехала, завтра приедет — ага.

— Дак и вчерась вы мне так же говорели, а где она?

— А вот этого мы тебе сказать не можем. Приедет — сама расскажет.

— Вчерась вы мне так же говорели, а где она? — потерянно, как в бреду, повторила старуха и не услышала себя, потому что слова эти, не найдя ответа в первый раз, вернулись обратно и, входя, виноватым эхом отозвались в ней сами. Что теперь об этом спрашивать? Зачем? Теперь она знала: нет, не приедет. Время, которое было ей отпущено, вышло. Больше

ждать ни к чему. Не приехала Таньчора. Не приехала. Так и не увидала ее старуха.

Она опустила голову на подушку и заплакала.

— Ну вот, — хмыкнул Илья. — Начинается.

— Матушка! Матушка! — завозилась Варвара.

В старухе вдруг что-то оборвалось, что-то с коротким стоном лопнуло, и стон этот, не успев заглохнуть, неожиданно переиначился во вчерашний звон, запомнившийся ей еще в Девичестве и звучащий мягкими благовестными ударами, не прерывающими, а, наоборот, подхватывающими один другой. Старуху потянуло к нему так сильно, что она не могла и думать о том, чтобы сопротивляться. Поначалу идти надо было немного, совсем рядом, но потом звон стал отдаляться, уводя за собой старуху все дальше и дальше, но звучал все так же чисто и ясно, чтобы она не потеряла в него веру и знала, куда двигаться. Она едва помнила, что перед тем ей почему-то было больно и она плакала от какой-то потери, теперь боль утихла и идти за звоном было легко и радостно, теперь старуха плакала от радости, оттого, что все так хорошо кончается.

Старуха плакала, не закрывая лицо и не трогая лежащих по бокам рук. Глаза ее были открыты, из них сочились редкие темные слезы и медленно стекали по лицу. Она плакала неподвижно и молча, без единого звука. Лицо, подставленное под слезы, было почти спокойно и оттого казалось насмешливым. Все это настолько не вязалось одно с другим, выглядело настолько неправдашним и жутким, что ошеломило Варвару, сидевшую возле матери, — она вскрикнула и, наваливаясь на старуху, изо всех сил принялась ее трясти. Подскочила Люся, подошел, заглядывая из-за спин сестер, Илья. Михаил приподнялся и опять опустился на свое место.

Старуха застонала. Люся наконец оторвала от нее Варвару, и старуха повела в сторону головой, умоляя не

трогать ее. Чтобы оттеснить от матери сумасшедшую Варвару, Люся присела рядом со старухой, которая пошевелилась сама, своим движением, и отодвинулась от дочерей к стене, ладонью утерев с лица свои молчаливые слезы.

— Ты что это, мать, так пугаешь нас? — сказал Илья, возвращаясь к столу. — Я же тебе говорю: сегодня не приехала, завтра приедет — ага. Подождать надо.

— Мало ли что могло задержать ее, — подхватила Люся и поморщилась, она и сама не верила в то, что говорила, но все-таки продолжала: — В самом деле, подождем, теперь нам торопиться некуда.

Старуха слышала и не слышала их; она слышала слова, которыми они старались ее подбодрить, различала, кто их произносит, чей голос, а то, что было в этих словах, не доходило до ее понятия. Она пропускала их мимо. Она лежала, глядя перед собой невидящими глазами и чувствуя внутри себя горячую пустоту, и помнила, что она лежит тут только потому, что еще не успела умереть. Но больше ничего не держало ее здесь, никакая причина. Теперь оставалось потерпеть, пока душа, жившая все это время в ожидании и надежде, снова станет ясной и примирит старуху со случившейся потерей, облегчит ее от страданий и жалости, чтобы не оставить в себе ничего грешного — ничего, кроме себя. Она не хотела моментального освобождения, зная, что все выйдет так, как и должно быть, что ее судьба и без того уже прикатилась к своему месту, где ей осталось лишь остановиться.

Они говорили и говорили, думая, что матери стало легче и что это они помогли ей своими словами. Она не отвечала им, но частое упоминание Таньчоры, подталкивая старуху раз за разом, постепенно воротило ее оттуда, где она оставалась одна. Ее удивил электрический свет, но он 175 напомнил ей о свете, в

который не уложилась Таньчора и который уже не вернуть и не добыть никаким электричеством. И сразу же в ней ожила боль. Старуха встрепенулась и увидела их совсем рядом: вот Люся, вот Варвара, Илья, Михаил… Таньчоры не было. Ее и не могло тут быть.

— С ей чё-то стряслось, — казалось, старуха повторила за кем-то эти слова и только теперь, повторив, испугалась. С ей чё-то стряслось, — громче и настойчивей сказала она. Вы мне не говорите. Вы меня омманываете. Я знаю.

— Ты что это, мама?! — удивленно и обиженно поднялась с кровати Люся. — Ты что это?! Что мы должны тебе говорить?! В чем мы тебя обманываем?!

— Омманываете, омманываете. — Старуха тоже стала приподниматься, завозилась, и платок сполз с ее головы, открыв короткие и редкие седые волосы. — Я знаю, омманываете. Скрываете от меня, чтоб я не знала. Говорите: завтри, завтри, а боле все, боле не будет завтри. Вы думаете, я совсем из ума выжила, ничё не понимаю. — С растрепавшимися волосами и дрожащим лицом она и в самом деле походила на сумасшедшую. — Да Таньчора первая на крылах сюды к мине прилетела бы, когда бы с ей все было ладно. А я-то, как маленькая, как ребенок, жду, жду…

— Перестань, пожалуйста, мама! — прикрикнула Люся. — Ты хоть думаешь, что говоришь?! Никто тебя не обманывает — понимаешь ты или нет? Мы сами не знаем, где твоя Таньчора.

То, как сказала это Люся, ее голос, которому нельзя было не подчиниться, заставили замереть 176 всех и остановили старуху: она испуганно умолкла, и ее открытый рот задрожал, губы старались и не могли сомкнуться.

— Когда с ей чё доспелось, мне ить и на том свете смерти не будет, — жалобно сказала она.

— Мы не знаем, доспелось с ней что-нибудь или не доспелось.

Старуха убрала из-под себя руку и тихонько опустилась на кровать, в свою лежню. Кровь торопливо отливала от ее лица, и лицо на глазах бледнело все больше и больше. В тишине хорошо было слышно, как с тяжелым присвистом дышит Варвара.

— А там, где она тепери живет, там война шла или нет? — Старуха боязливо покосилась на Люсю и сжалась, вдавливаясь в постель.

Ей ответил Илья:

— В Киеве? Киев немцы брали — ага. Это я точно помню.

— Ну дак и от, — с горькой убежденностью закивала себе старуха и запричитала — Дак она пошто такая-то? Она пошто у людей-то не узнала? Я бы рази туды поехала? Она в кого такая беспутная-то? А я ее жду. Да рази оттуль тепери выберешься? Ну. Это ить она сама голову в петлю затолкала, сама. Это подумать надо.

— Подожди, мать, подожди, — перебил ее Илья. — Ты с луны, что ли, свалилась?! У нас война-то когда кончилась?

— Все равно.

— Что «все равно»?

— А где тогда она, где? Почему ее тут нету?

— Опять «где она». Сказка про белого бычка у нас с тобой, мать, получается — ага.

— Ладно, хватит. — Михаил пристукнул ладонью по столу и, качнувшись, поднялся. — Не приедет ваша Таньчора, и нечего ее ждать. Я ей телеграмму отбил, чтоб не приезжала.

Старуха вздрогнула.

— Чё он говорит? — не поверила она.

— Я говорю, что отбил ей телеграмму, чтоб не приезжала. Незачем ей сюда было ехать.

— Ой, что надела-а-ал? — ахнула Варвара.

— Когда это ты успел дать ей телеграмму? — быстро спросила Люся.

— Как мать проснулась, так и дал.

— Почему в таком случае ты до сих пор молчал?

— С этой пьянкой у меня из головы все вылетело. Забыл.

— А сейчас ты точно помнишь, что давал телеграмму?

— Точно помню.

— Может, тебе это тоже по пьянке, как ты выражаешься, приснилось?

— Нет, не приснилось. Отбивал — можете на почте проверить. Разговор сейчас об этом зашел, у меня и всплыло, что отбивал.

— Ну вот видишь, мать, ничего с твоей Таньчорой не стряслось, — обрадовался Илья. — Жива, здорова, чего и нам желает — ага. А ты тут сама по ней с ума сходишь и нас сводишь. Я же говорил: подождать надо, и все выяснится. Это всегда так. Главное — не торопиться, выждать.

Старуха не слышала его.

— Дак он пошто так сделал-то? — прошептала она, и лицо ее застыло в вопросительном отчаянии. — Он пошто так сделал-то? — спрашивала она и качала головой, как бы все еще не веря Михаилу и прося, умоляя его признаться, что он пошутил и никакой второй телеграммы Таньчоре не давал. — Ты пошто так сделал-то, Михаил?

— Пошто, пошто… Тебе лучше стало, думаю, что она зря поедет, будет тратиться.

— Дак ить я на ее поглядеть хотела. Ты пошто так-то? — Старуха закашлялась, обида перехватила ей горло. — Я хотела, чтобы она рядышком со мной посидела. Чтоб она мне чё-нить сказала. Я ей матерь родная, не кто-нить. Я собиралась проститься с ей, мне ее боле не видывать будет. Ты пошто такой-то?! Мне

ничё от ее не надо, никаких подарков, ничё — только узнать ее, поглядеть под конец, какая она тепери стала. — Старуха не плакала, но голос ее перешел в жалобный, почти скулящий стон. — А ты чё натворил? Ты у меня последнюю радость отнял, последний свет загородил. Ты меня перед смертью без Таньчоры оставил. Не пожалел. Не посмотрел, что я, дожидаючись ее, саму себя перетерпела.

— В самом деле, какое ты, Михаил, имел право, не посоветовавшись с нами, брать все на себя? — Казалось, Люся уже не спрашивала, а допрашивала, и Михаил сжался. — Ты ведь как будто тогда еще был трезвый — значит, должен был понимать, что делаешь.

— Прямо ни стыда, ни совести у человека! — подхватила Варвара.

Вместе с поддержкой к старухе пришла злость.

— Он ить нарочно это сделал, — медленно, словно припоминая, сказала она и села. Ее открытые волосы опять растрепались, худые дрожащие руки хватались за кровать. — Ты нарочно это сделал, я знаю. Нарочно захотел мне досадить. Хошь перед смертью, да досадю, не отпущу со спокоем. От и завернул Таньчору, чтоб ишо поиздеваться надо мной.

— Не собирай ты, мать, всякую ерунду. Зачем бы я стал нарочно это делать — что ты выдумываешь?!

— Нарочно, нарочно. — Старуха задохнулась и, подхватив руками грудь, осторожно, чтобы успокоить, покачала ее. — Ты думаешь, я молчать буду? Не буду — мне боле бояться некого. Он давно уж мне смерть ищет, я, старуха, ему поперек горла стою. Чё с меня взять? А подавать мне надо — от он и злится, всяки фокусы надо мной строит.

— Опомнись, мать, что ты городишь?! — Михаил сделал шаг к старухиной кровати и остановился, потому что Варвара крикнула:

— Не подходи! Не подходи к нашей матушке! Ишь какой. Не имеешь права подходить.

— Городишь, говоришь? — с вызовом сказала старуха и помолчала, как бы заманивая Михаила спорить. Он, покачиваясь, стоял теперь посреди комнаты. — А не помнишь, как ты напужал меня?

— Ничего я не помню.

— Пришел от так же пьяный: «Лежишь, мать?» — «Лежу, смерть свою дожидаюсь». Он и говорит: «А ты знаешь, что у нас теперь только по семьдесят годов живут, боле не полагается?» — «Как не полагается? — всегда, покуль смерть не придет, жили, никто не прогонял». — «Жили, — говорит, — а тепери нельзя, я сам в газетке читал».

— Это средняя продолжительность жизни у нас в стране, — догадалась Люся. — Это он, наверное, о ней говорил.

— Как это?

— Ну как… Каждый живет, мама, сколько может. Один больше, другой меньше, а когда подсчитали, оказалось, что человек в нашей стране живет в среднем семьдесят лет. Вот ты, например, проживешь девяносто…

— Не надо мне твои девяносто — куда мне их?

— Я к примеру говорю. Ты проживешь девяносто, а кто-то другой только пятьдесят. Это и будет у вас на двоих по семьдесят. А у нас сейчас на всю страну в среднем приходится по семьдесят. Ты понимаешь меня?

— Дак я пошто не понимаю-то? Когда бы он мне так сказал, я бы не стала вам передавать. А то ить я и Мирониху-то с ума свела. Пересказала ей, она говорит: «Ты, старуня, не забаивайся». А сама, вижу, напужалась. Напужалась, напужалась — чё там говореть. Сидим с ей и трясемся. Я говорю: «У тебя ноги ходят, ты сходи к Егорше, он в эти газетки тоже смотрит, моить, слыхал». Она пошла. Дак от Егорши

рази чё путное добьешься? Он ей говорит: «Ты знаешь, Мирониха, что в магазине черного мыла нету?» — «Однако правда нету». — «От. А тепери будет. Тепери приказ такой вышел: всех старух на черное мыло переводить, а то хозяйкам стирать нечем». Она говорит: «Ты, Егорша, надо мной зубы не мой, я не твоя Наталья, я терпеть не буду». Он ее ишо боле напужал. «Не веришь, — говорит, — не верь, вскорости сама увидишь. От в Ключах позавчерась уж всех старух на черное мыло передавили, на этих днях сюда приедут». Ну. Это ить подумать надо. Тоже похвалить нельзя — я бы пошто правду не сказала? Мы с Миронихой — две старухи — то ли живые, то ли мертвые, она уж и домой не идет. Кому охота на удавке болтаться? Мы ить крещеные, у нас бог есть.

— Ишь, чё творят, ишь чё творят! — всплеснула руками Варвара и всхлипнула: — Над матушкой нашей так издеваться — это чё ж такое на белом свете творится?

— Когда я тебе, мать, так говорил? — Михаил качнулся и вытер ладонью потное лицо. Он едва держался на ногах, даже со стороны видно было, что его мутит. Вся тошнота от вчерашней и сегодняшней водки подступила к горлу, и он судорожно сглатывал, пытаясь протолкнуть ее вниз. Сгорбившись, он переступал с ноги на ногу и уже не помнил, сам ли он поднялся из-за стола, за который можно было держаться, или его вывели сюда, на середину комнаты, силой. Мать, как привидение, то качалась перед его глазами, то вдруг пропадала, он никогда не видел старуху с распущенными волосами и боялся ее, но стоило ему перевести глаза на кого-нибудь из сестер, как комната, входя в свои пазы, испуганно замирала, и мать послушно опускалась на кровать, но потом снова куда-то исчезала, поднималась в воздух, а комната, поскрипывая в углах, начинала кружиться. Но то, что

рассказала старуха, казалось, удивило его, и он, поглядев перед тем на Варвару и остановив кружение, спросил: — Когда я тебе, мать, так говорил?

— Он и не помнит. Ничё не помнит. Сказал и забыл. Ну. А я с ума сходи.

— Правда, не помню.

— Что это такое, Михаил? — Люся начала почти ласково, вкрадчиво и вдруг сразу подняла голос: — Что это такое! — я спрашиваю. Это уже выходит за всякие рамки. Я не знаю даже, как называть то, что ты позволяешь себе вытворять над мамой. Это же самодурство, самое настоящее самодурство! Даже хуже. Кто тебе дал право так издеваться над ней?! Кто? И почему ты, мама, это терпишь? Тебя что — защитить некому? Один он у тебя? А я живу, ничего не знаю, считаю, что у вас тут все хорошо, все мирно.

— Слушай, матушка, слушай, — теребила старуху Варвара. — Наша Люся правду говорит. Ишь, обнаглел до чего! Он чё думает — на него управа не найдется? Найдется, голубчик, найдется. Не на таких находилась.

— В конце концов, можно было с кем-нибудь сообщить, какое тут к тебе отношение, а не терпеть подобные выходки. Уж, наверное, ты заслужила себе спокойную старость, и издеваться над тобой мы не позволим никому, а тем более родному сыну. Если он не хочет, чтобы ты у него жила, ну и не надо — обойдемся.

— А что?! — Михаил вдруг вскипел. — А что — может, кто-нибудь из вас заберет ее к себе?! Мать нашу — может, кто-нибудь заберет ее, а? Давайте. Забирайте. Корову отдам тому, кто заберет. Ну? — Он протянул руку, показывая на старуху, и зло, едко засмеялся. — Что же вы? Корову отдаю. Кто из вас больше всех любит мать? Забирайте. Что вы раздумываете? Я негодяй, а вы тут все хорошие. Ну, кто из вас лучше всех? — Он повернулся к Люсе. — Ты, что ли? Ты повезешь к себе мать? Ты будешь за ней ходить?

А корову продашь — деньги будут. Матери много не надо — видишь, она почти не ест. Ей коровы выше головы хватит. Ей твоя справедливость нужна. Ты же у нас самая справедливая, все знаешь. Знаешь, как содержать мать, чтобы ей было распрекрасно. Будешь ей чистые простынки подстилать, лекции читать. Забирай ее скорей, чтобы кто-нибудь не опередил, — что ты стоишь?!

— Ты с ума сошел! — задохнулась Люся. — Ты сумасшедший!

Откуда-то вывернулась Надя и бросилась к Михаилу:

— Перестань сейчас же, перестань! Не позорь нас. Уйди!

Он оттолкнул ее:

— Тебя здесь еще не хватало.

— Не слушайте его, не слушайте! — кричала Надя. — Не верьте ему.

Михаил опять засмеялся и почувствовал, как развеселилось в нем терзавшее его похмелье, как от радости оно взвыло и бросилось в пляс.

— Я с ума сошел — все ясно. А матери нельзя находиться с сумасшедшим. Тогда, может, ты ее заберешь? — весело спросил он у Варвары. — Уж тебе-то корова никак не помешает. А с твоей семьей мать не соскучится. Там ей будет куда как спокойней, с дочерью всегда лучше, дочь не напьется, не обидит. Ну? Соглашайся, соглашайся — что ты молчишь?

— Да у нас жить негде, — растерялась Варвара. — У нас Сонька сызнова прибавку ждет. Я бы взяла.

— Жить, говоришь, негде? И корову, значит, поставить тоже негде.

— Нет, корову есть где. В стайке.

— Корову есть где, а мать негде. Мать в стайку не поместишь — вон она, — он показал на Люсю, — лет через пять или десять приедет и скажет, что это выходит за всякие рамки. А я ей подвою. Да я и не

позволю, чтобы мать в стайке жила. Мне тоже надо, чтобы она находилась по-человечески. — Он повернулся к Илье. — А ты, Илья, как ты на это смотришь? Может, тебе забрать нашу мать? Увезешь ее к своей бабе, та будет за ней ухаживать. А то ты все на работе да на работе, ей там не с кем ласковым словом перекинуться. А мать у нас, сам видишь, бессловесная, она для нее сгодится. После меня она там отдохнет у вас.

— Ты перепил, Михаил, — нервничая, сказал Илья. — Ты сам не помнишь, что делаешь, — ага. Поговорим об этом лучше завтра.

— Неужели ты не понимаешь, что маму сейчас нельзя никуда трогать? — крикнула Люся.

— Значит, никто не желает? — Михаил крутанулся на месте и еще раз обвел всех сумасшедшими глазами. — Никто. И корова никому не нужна. Тогда, может, без коровы? Тоже нет. Ясно. — Он набрал в легкие воздуха и прошипел: — Тогда идите вы все от меня, знаете куда... И не говорите мне, что я такой да сякой, не лайте на меня. А ты, мать, ложись и спи. Ложись, где лежала. Они так тебя больше любят, когда ты здесь лежишь. Понимать надо.

Он бросился в дверь.

Наступило жуткое, леденящее кровь молчание. И в этом молчании старуха взмолилась:

— Господи, отпусти меня, я пойду. Пошли к мине смерть мою, я готовая.

10

В эту же ночь, не откладывая, старуха решила умереть. Делать больше на этом свете ей было нечего и отодвигать смерть стало ни к чему. Пока ребята здесь,

пускай похоронят, проводят, как заведено у людей, чтобы в другой раз не возвращаться им к этой заботе. Тогда, глядишь, приедет и Таньчора, придется Михаилу давать ей еще одну телеграмму, чтобы ехала, никуда от этого не денешься. Старуха подумала о ней уже без боли, зная, что все равно ей не увидать Таньчору. Зря надеялась, изводила себя и других. Теперь бы уж давно готовенькая лежала и забыла, что она была, жила — обо всем бы забыла, от всего освободилась. Конечно, дождись она Таньчору, и смерть была бы чище и радостней — на это старуха и рассчитывала. Ну да ладно — что теперь душу травить, ее не травить надо, а отпустить с покаянием, пускай себе летит. Пора.

Старуха лежала в кровати и ждала, когда затихнет изба, потому что знала: смерть у нее боязливая и на шум не пойдет. Улеглись в этот вечер рано, сразу же после позорища, которое учинил Михаил, но уснуть не могли — ворочались, вздыхали. Не так-то просто выкинуть из головы все, что он наговорил, и забыться — это не кнопка, которой включают и выключают электричество: нажал — светло, нажал — темно. Уснула, может, только Нинка, но и та что-то причмокивала во сне — или улеглась с конфеткой во рту, или за день до того натрудила свой язык сладким, что он еще и теперь не найдет себе места.

Старуха много раз думала о смерти и знала ее, как себя. За последние годы они стали подружками, старуха часто разговаривала с ней, а смерть, пристроившись где-нибудь в сторонке, слушала ее рассудительный шепот и понимающе вздыхала. Они договорились, что старуха отойдет ночью: сначала уснет, как все люди, чтобы не пугать смерть открытыми глазами, потом та тихонько прижмется, снимет с нее короткий мирской сон и даст ей вечный покой.

Это неправда, что на всех людей одна смерть — костлявая, как скелет, злая старуха с косой за плечами.

Это кто-то придумал, чтобы пугать ребятишек да дураков. Старуха верила, что у каждого человека своя собственная смерть, созданная по его образу и подобию, точь-в-точь похожая на него. Они как двойняшки, сколько ему лет, столько и ей, они пришли в мир в один день и в один день сойдут обратно: смерть, дождавшись человека, примет его в себя, и они уже никому не отдадут друг друга. Как человек рождается для одной жизни, так и она для одной смерти, как он, не научившись жить раньше, сплошь и рядом живет как попало, не зная впереди себя каждый новый день, так и она, неопытная в своем деле, часто делает его плохо, ненароком обижая человека мучениями и страхом.

Но про себя старуха знала, что смерть у нее будет легкая. У них было время, чтобы насмотреться, как живут и умирают другие, и им под конец незачем мучить друг друга — да и сил для этого у них не осталось. Старуха не будет сопротивляться, а та, другая, не станет злиться на нее за то, что она так долго водила ее за собой: она делала это не нарочно и никогда не боялась смерти — разве только по молодости, по глупости, а так всегда почитала ее избавлением от мук и позора. И если она до поры не звала ее, то и гнать от себя тоже не гнала и больше других жить не собиралась — жила, как выходило. А теперь время звать. Хватит.

Старуха не понимала только, почему умирают маленькие. Она считала грехом, когда родителям приходится опускать в могилу своих детей, и грех этот готова была отдать богу. У маленького и смерть такая же маленькая, несмышленая, она заиграется с ним, забудется да по нечаянности и коснется его — и сама не поймет, что натворила.

А он-то, бог-то, где был, куда смотрел? Грех, грех, когда ребенок, только-только родившись и не успев

разобрать, что с ним, почему он видит в глазах свет и чувствует в животе голод, принужден тут же и потерять себя, не имея за собой даже капли вины, чтобы с ним можно было так обходиться. Зачем тогда его обманывали — рожали? Зачем показали ему белый свет и дали человеческое понятие?

Она и сама похоронила пятерых и уложила их рядом друг с дружкой, чтобы они не тосковали по отдельности. Четверо хоть хворали, а пятый, мальчишечка, тот умер и совсем ни от чего. Еще с вечера был здоровенький, целенький, спокойно уснул, а среди ночи закричал, как все они кричат, когда им что-нибудь надо, и разбудил мать. Она подняла его из зыбки на руки, дала грудь, считая, что он проснулся от голода, и сама тоже задремала над ним. Потом услыхала, что он откинулся, но еще посидела, подержала его, чтобы он уснул крепче, а когда собралась подниматься, будто кто в бок ее толкнул: что это от него тепла нету? Хватилась — а он уж и зубки приоткрыл. Она думала, что сосать хочет, а он на руки к ней просился, чтоб возле матери умереть, не одному. А за что, за какие грехи? Какие у него там грехи, когда он даже ходить не умел и только смотрел, как ходят другие, когда он даже говорить не умел и только понимал, ласковое или нет ему говорят другие? Если он почти ничего из человеческого не умел — только есть да спать, но и этому научился не здесь и не сам, а еще раньше, когда не по своей охоте и не по своей молитве выправлялся в человечий росток.

Старухе не один раз за свою жизнь приходилось успокаивать себя: бог дал, бог взял. Но сюда эта поговорка не подходила. Как можно взять то, что, разобраться если, еще и не дал, а только посулил да показал? А больше того — как можно, едва надоумив маленького, что он есть, что он, засыпая, проснется и откроет глаза, чтобы научиться и понять больше, чем он

знал и умел, и подрасти, больше, чем он был, — как можно после этого сорвать его с корешков, на которых он едва держался, и бросить в ноги? Грех, грех.

Еще троих старухе не пришлось хоронить — этих убила война. И то, что мать не видела их смертей и не знала их могил, заставляло ее терпеть другое наказание: ей все время казалось, что она потеряла их сама, по своему недосмотру. Что она должна была делать, чтобы сохранить их, она не понимала и теперь, но что-то, наверное, делать надо было, а не сидеть сложа руки и не ждать у моря погоды. Вот и дождалась — принесли три похоронных, на каждого по бумажке. Уезжали живые, здоровые ребята, один к одному, уже и не ребята, а мужики, а остались от них три бумажки: на одной синие чернила, на второй — красные, на третьей — черные.

Так что ей есть от кого уходить и есть к кому уходить. Кроме своих ребят, там у нее отец, мать, сестры, братья. Из большой отцовской семьи она одна задержалась здесь, последний брат скончался в позапрошлом году. Туда же в войну перебрался и ее старик, но ему в то лихолетье довелось умереть своей смертью: его взяли в трудармию, там он занемог и не перенес болезнь, но умер по тогдашней поре удачно: успел доехать до дому, стояло лето.

Старуха приняла кончину старика как судьбу — не больше и не меньше. К тому времени она уже привыкла обходиться в семье без него. Они жили друг с дружкой не сказать, что совсем плохо, потому что живут еще в тысячу раз хуже, но и не хорошо. Нет, он не пил, хотя, может, было бы лучше, если бы пил: человечью дурь, как накипь в котелке, тоже надо чем-то снимать, и водка, если ее не хлестать через край, для многих тут бывает лекарством: выпил, песни попел, почудил — и отмяк, варись дальше. В нем эта дурь не проходила месяцами, и тогда он не давал старухе никакого житья

— и то ему не так, и это не по нему. Чтобы она ни сделала, все было неладно. Она сама себе диву давалась, откуда бралось в ней терпение переносить его попреки, которые сыпались и днем и ночью. Потом дурь вдруг поворачивалась на другой бок: он умолкал и мог не сказать ни слова хоть полгода. Хорошо еще, что дома он находился мало: то уходил на охоту, то уезжал на заработки, то на зиму устраивался возить из города в сельпо грузы, а тогда, до войны, их возили на конях, ездили подолгу.

В его кончине старуху больше всего поразило то, что ему, побывавшему где-то возле самой войны, где смерть поголовно перешла в смертоубийство, удалось воротиться домой и в тишине и покое принять свою собственную смерть. Она нашла в этом для себя тайный знак и сразу примирилась со стариком. «Господи, прости нам прегрешения наши...» — начала она молитву, когда увидела, что он отошел. Она не сказала: его прегрешения, она сказала: наши. И слезы ее, скорбь ее были настоящими. Как-никак он был отцом всех ее ребят — и мертвых, и убитых, и живых.

Что правда, то правда: ей есть к кому уходить и есть от кого уходить.

Она прислушалась: где-то за окном позванивало на скотине ботало, по избе, сталкиваясь волнами, ходило дыхание людей, а спят они или не спят, было не понять. Нет, еще рано, лучше не торопиться.

Старуха хорошо знала, как она умрет, так хорошо, словно ей приходилось испытывать смерть уже не один раз. Но в том-то и дело, что не приходилось, а все-таки почему-то знала, ясно видела всю картину перед глазами. Может быть, потом, перед самой кончиной, это открывается каждому человеку, чтобы он заранее, пока еще в памяти, досмотрел свою жизнь до последней точки. О начале ему рассказали, когда он подрос и стал

понимать, что к чему, и было бы неправильно, несправедливо, если бы ему не явился конец.

Она уснет, но не так, как всегда, незаметно для себя, а памятно и светло-словно опускаясь по ступенькам куда-то вниз и на каждой ступеньке приостанавливаясь, чтобы осмотреться и различить, сколько ей еще осталось ступать. Когда она наконец сойдет на землю, покрытую сверху желтой соломой, и поймет, что теперь полностью уснула, навстречу ей с лестницы напротив спустится такая же, как она, худая старуха и протянет руку, в которую она должна будет вручить свою ладонь. Немея от страха и радости, которых она никогда не испытывала, старуха мелкими шажками начнет подвигаться к протянутой руке, и тогда вдруг справа откроется широкий и чистый, как после дождя, простор, залитый ясным немым светом. Душа в нетерпении поторопит старуху, и она пойдет скорее. Идти надо будет совсем немного, и старуха почти сразу же увидит, что пришла. В последний момент ей захочется отступить или обойти место, к которому несли ее ноги, но она не сможет ни того, ни другого и остановится как раз там, где надо, а потом, уже не владея собой, подаст руку, чтобы поздороваться, и почувствует, что рука свободно, как в рукавичку, входит в другую руку, полную легкой приятной силы, от которой оживет все ее немощное тело. И в это время справа, где простор, ударит звон.

Сначала он ударит громко, празднично, как в далекую старину, когда народ оповещали о рождении долгожданного наследника, потом лишний гром в нем уберется, и над старухиной головой поплывет, кружась, песенная перезвонница. В непонятном волнении старуха оглянется вокруг себя и увидит, что она одна: та, другая, старуха исчезла. И тогда, ничего не пугаясь, счастливо и преданно она пойдет вправо — туда, где звенят колокола. Она пойдет все дальше и дальше, а

кто-то, оставшись на месте, ее глазами будет смотреть, как она уходит. Ее уведет за собой затихающий звон.

Как только она скроется из виду, глаза опадут и затеряются в соломе. Лестницы тоже исчезнут — до следующего раза. Земля сравняется, и наступит утро. Живое утро.

Нет, ей не страшно умереть, всему свое место. Хватит, нажилась, насмотрелась. Больше тратить в себе ей нечего, все истратила — пусто. Изжилась до самого донышка, выкипела до последней капельки. А что, спрашивается, видела она в своей жизни? Только одно и знала: ребятишки, которых надо было накормить, напоить, обстирать, загодя заготовить, чтобы было чем напоить, накормить их завтра. Восемьдесят годов, как видно, одному человеку все-таки много, если она поизносилась до того, что теперь только взять да выбросить, но, оглядываясь сейчас на них со своего смертного порога, она не находила между ними большой разницы — все они, подгоняя друг друга, прошли одинаково в спешке: по десять раз на дню старуха задирала в небо голову, чтобы посмотреть, где солнце, и спохватывалась — уже высоко, уже низко, а она все еще не управилась с делами. Всегда одно и то же: теребили с чем-нибудь ребятишки, кричала скотина, ждал огород, а еще работа в поле, в лесу, в колхозе — вечная круговерть, в которой ей некогда было вздохнуть и оглядеться по сторонам, задержать в глазах и в душе красоту земли и неба. «Скорей, скорей», — подгоняла она себя, набрасываясь то на одно дело, то на другое, а им, сколько ни делай, не видно было ни конца и ни края. Вот так и пролетела вся жизнь, по годам вроде долгая, разная — вон сколько меры старуха взяла на себя, а по памяти бедная: одно находило на одно, год на год, забота на заботу. Старуха еще захватила, как сидели при лучине, при ней перешли на керосиновые лампы, теперь давно уже

чиркают электричеством — все это не так скоро делалось, как сказывается, но все это, одно слабей, другое ярче, подсвечивало ей в ее беготне, для которой не хватало белого дня. С большой семьей иначе и не бывает. И только когда слегла, когда одолела старость, поопнулись и годы, заскрипели над ее головой длинными сонными зимами — смотри, старуха, смотри и не говори, что год длиннее года, а у тебя их было довольно.

Но она не жаловалась на свою жизнь, ей никогда бы не пришло это в голову. Как можно жаловаться на то, что было твоим собственным, больше ничьим, и что выпало только тебе, больше никому? Как прошла, так и ладно, во второй раз не начнется. Потому-то и хватает человеку одной жизни, что она у него одна, — двух бы не хватило. А старуха жила не хитро: рожала, работала, ненадолго падала перед новым днем в постель, снова вскакивала, старела — и все это там же, где родилась, никуда не отлучаясь, как дерево в лесу, и справляя те же человеческие надобности, что и ее мать. Другие ездили, смотрели, учились новому — зато она их слушала, когда доводилось, удивлялась их рассказам, да и сама нарожала ребят, которые ездят не хуже других, но никогда ей не приходило в голову, что хорошо бы стать на чье-то место, чтобы, как он, больше увидеть или легче, как он, сделать. Из своей шкуры не выскочишь — не змея. И никогда никому она не завидовала, как бы удачно он ни жил и с каким бы красивым лицом ни ходил — для нее это было нисколько не лучше, чем хотеть себе в матери чужую мать или в дети чужого ребенка. Своя жизнь — своя краса. Случались и у нее светлые, дорогие радости, каких ни у кого не бывало, и случались дорогие печали, которые чем дальше, тем становились дороже, роднее и без которых она давно бы уж растеряла себя в суете и мельтешенье; после каждого несчастья она заново

собирала себя из старых косточек, окропляла живой водой и подталкивала: ступай, живи, без тебя никто на твое место не заступит, без тебя никто тобой не станет. Пока не избылась — будь, иначе нельзя. Справлять свою жизнь для нее было то радостью, то мучением, она не знала, где они сходились и где расходились и что из них для нее было полезней, она принимала их в себя, для себя же, для своего продолжения, для того, чтобы озариться их потайным огнем.

Старуха лежала, слушала — слушала, с каким вниманием дышит в ночи изба, освещенная колдовским, томным светом звезд, слушала глухие невольные вздохи дремлющей земли, на которой стоит изба, и высокое яркое кружение неба над избой, и шорохи воздуха по сторонам — и все это помогало ей слышать и чувствовать себя, то, что навсегда выходило из нее в ночной простор, оставляя плоть в легкости и пустоте.

И своя жизнь вдруг показалась ей доброй, послушной, удачной. Удачной, как ни у кого. Надо ли жаловаться, что она всю ее отдала ребятам, если для того и приходит в мир человек, чтобы мир никогда не скудел без людей и не старел без детей.

Она вспомнила слова, которые сказал ей Михаил после рождения Володьки, своего первенца. Он не был пьян от вина, его опьянило удивление, что он, сам почти еще парнишка, стал отцом и принял первое участие в продолжении человеческого рода. Он сказал:

— Смотри, мать: я от тебя, он от меня, а от него еще кто-нибудь. — И добавил с затаенностью и горечью провидца: — Вот так оно все и идет.

Он только тогда понял, что вот так оно все идет, шло и будет идти во веки веков и до скончания мира, когда эта простая, никого не обходящая истина, не замкнувшись на нем, накинула на него новое кольцо в своей нескончаемой цепи. И тогда уже он как следует, по-взрослому и наедине сам с собой понял, что он

смертен, как смертно в мире все, кроме земли и неба. И это заставило его пойти к матери и сказать ей то, что она знала давным-давно и думала, что он знает тоже.

В какой-то момент старухе почудилось, что она находится в старом, изношенном домишке с маленькими закрытыми изнутри окнами, а звездное завораживающее сияние проходит сквозь стены, сквозь крышу. Каждое из окошек — это воспоминание о ком-нибудь из ребят: здесь о Люсе, здесь о Варваре, а это об Илье, о Михаиле, о Таньчоре. Сверху еще один ряд совсем маленьких заколоченных окошек, которые трогать ни к чему, — это воспоминания о тех, кого уже нет в живых. Как лунатик, старуха бродит от окошка к окошку, не оставляя после себя тени, и не знает, какое из них ей открыть, куда посмотреть, кого выбрать.

Вся жизнь тут, в этих окошках. Растворяй их и гляди, чем ты, старуха, была богата, какие воспоминания, сохранившись, пошевелят после тебя податливые ягодные кусты на берегу реки, ветки березы на опушке леса или пахнут кому-то в лицо, вызвав в нем смутные и тревожные предчувствия, для которых в нем ничего не было. Только что с высокой ветки в лесу сонно, чуть не до земли, оборвалась птичка, но это еще не твоя жизнь, не твои воспоминания, перейдя в шорохи, в шепоты, в неясные распадающиеся звуки, потревожили ее сон, не твои — чужие.

Старуха пошевелилась, расправляя затекшее тело, и кто-то в той комнате, словно отзываясь ей, прося ее, чтобы она не забыла о нем, зашевелился тоже. Почему-то она подумала, что это ворочается Илья — он сегодня спал в избе.

Вот и Илья... Что ей выбрать о нем из вечной материнской памяти, на что взглянуть, чтобы не обидеть ни его, ни себя? Сегодня и воспоминания должны быть тихие, светлые, согласные; нехорошо,

если хоть какая-нибудь горечь, какой-нибудь неверный крик, бывавшие прежде, потревожат эту последнюю прощальную ночь. Скоро, скоро время.

Вот и Илья... Илья рос заполошным: свой огород полным-полнехонек, а он лез в чужой, самим есть нечего, а он единственный кусок отдавал первому встречному. Никогда нельзя было знать, что он выкинет через минуту.

Но сейчас старухе вспомнилось другое. Илью тоже брали на войну, только уже под конец, и воевать ему не пришлось: пока его там чему-то обучали, война, слава богу, прекратилась. Провожая его, об этом, понятно, еще не знали.

Стоял сухой, ветреный перед зимой день; готовая подвода ждала в ограде, дорожный мешок был уложен, ворота распахнуты — осталось проститься; Илья — маленький, прибитый и одновременно возвышенный отъездом на войну, главный, уже наполовину чужой в эту последнюю минуту — подошел к матери. Она перекрестила его, и он принял ее благословение, не отказал, она хорошо помнит, что он не просто вытерпел его, жалея мать, а принял, согласился, это было у него в глазах, которые дрогнули и на миг засветились надеждой. И старухе сразу стало спокойней за него.

Воспоминание об одном отъезде потянуло за собой другой — они не были похожи, и все-таки, видно, в старухиной памяти всегда находились рядом.

Люся уезжала в город летом, по воде. На пристань пришли рано, задолго до парохода и табором расположились на берегу, разведя курево от мошки, которой тогда было — не продохнуть. Люсю окружили подружки, завидуя ей и жалея ее, возле них же крутилась Таньчора, а старуха одна сидела на низком, вросшем в землю бревне неподалеку от девчонок и тоскливо, покорно караулила, когда над островом покажется пароходный дым. Наконец он показался, но

остроглазые девчонки увидели его раньше и сразу подняли гвалт, завскрикивали, теребя Люсю, что-то наказывая ей, перебивая друг дружку. Старуха сидела молча и подавленно.

Пароход пристал, и Люся торопливо стала совать подружкам руку, последней подала матери. Старуха пожала ее горячую, растерянную ладошку и подтолкнула за плечи — иди, и сама тоже отошла чуть в сторонку от толпы, где бы ее лучше было видно. Трап быстро убрали, пароход зашевелил колесами, оттолкнулся, и Люся вместе с ним отодвинулась от берега, поплыла. Она стояла у борта, за белой металлической решеткой, и махала рукой подружкам — мать она почему-то не видела, хоть старуха два или три раза крикнула ей, а потом, чтобы броситься дочери в глаза, начала, как блажная, подпрыгивать и выбрасывать вверх руки.

Уже с накренившегося борта, готового черпануть воду, пассажиров погнали на другую сторону, уже пошла Люся... Старуха готова была заплакать. И вдруг, оглянувшись в последний раз на берег, Люся оттолкнула парня в тельняшке, который выпроваживал ее со старухиных глаз, бросилась обратно и истово, отчаянно, горько замахала матери сорванным с головы платком. Лицо у нее было испуганное, белое, в глазах моментально вскипели слезы. Старуха кинулась ей навстречу, забрела по колено в воду, но пароход уже разогнался, зашлепал в полную силу, и вслед ему, слепя, подгоняя, превращая его в сияющую игрушку, ударило сзади солнце.

У старухи тогда было такое чувство, что они простились навсегда. Неожиданно, перебивая ее воспоминания о ребятах, перед ней высветился дальний-дальний день — и тоже с рекой.

Только что прошел дождь, короткий, буйный, окатный, из нечаянно подвернувшейся по-летнему

единственной тучи, а уже опять солнце, поляны дымятся, с деревьев и кустов капает набрякшими, тяжелыми каплями, там и там по траве, как жучки, катятся росинки, в реке еще плавают пузыри, ходит пена — все чисто и азартно блестит, пахнет остро, свежо, звенит от птиц и стекающей воды. Земля, опьяненная дождем, раскрылась, распахнулась догола, дышит утомленно, с наслаждением, небо над ней снова глубокое, ясное, голубое.

Она не старуха — нет, она еще в девках, и все вокруг нее молодо, ярко, красиво. Она бредет вдоль берега по теплой, парной после дождя реке, загребая ногами воду и оставляя за собой волну, на которой качаются и лопаются пузырьки. Песок на берегу темный и ноздреватый, берег низкий, прямо напротив него остров, где-то там на мысу шумит вода.

Протока длинная, сильная и пустая, в ней хорошо видно течение, его широкую прямую струю.

Она все бредет и бредет, не спрашивая себя, куда, зачем, для какого удовольствия, потом все-таки выходит на берег, ставит свои упругие босые ноги в песок, выдавливая следы, и долго, с удивлением смотрит на них, уверяя себя, что она не знает, откуда они взялись. Длинная юбка на ней вымокла и липнет к телу, тогда она весело задирает ее, подтыкает низ за пояс и снова лезет в воду, тихонько смеясь и жалея, что никто ее сейчас не видит. И до того хорошо, счастливо ей жить в эту минуту на свете, смотреть своими глазами на его красоту, находиться среди бурного и радостного, согласного во всем действа вечной жизни, что у нее кружится голова и сладко, взволнованно ноет в груди.

Еще и теперь при воспоминании о том дне у старухи замерло сердце: было, и правда было, бог свидетель.

Она подумала: неужели эта красота еще и сейчас является людям, неужели за то время, которое она

прожила на свете, красота совсем нисколько не увяла и не померкла? Можно ли, переплыв на противоположный от деревни берег, где она тогда была, застать ее там хоть раз в том же виде, в той же свежести и радости? Столько всяких на земле перемен — неужели одна она осталась прежней?

Ей стало обидно, грустно, но она тут же пристыдила себя: хороша бы она была, если бы хотела, чтобы все на свете старело и умирало вместе с ней.

Когда-то давно, когда Варвара была еще девчонкой, старуха нашла ее однажды в проулке, где Варька, стоя на коленках, щепкой раскапывала землю.

— Ты чё тут делаешь? — спросила ее мать.

— Рою.

— Зачем?

— Тут курица рыла, а собака прибежала и согнала ее. А я увидала. Ты меня не прогонишь?

— Нет, не прогоню.

— Тогда я посижу, порою.

Старуха посмеялась про себя и ушла. Когда Варька воротилась домой, мать поинтересовалась:

— Нашла ты чё-нить там, где копалась?

— А я ничё не искала, я так рыла. Только меня бык бодучий согнал. Иди прогони его и порой.

— Зачем?

— Так. Рой и все. И увидишь.

— Чё увидишь?

— Не знаю. Чё-нибудь увидишь. Интересно. Вот почему теперь, через много-много лет, к старухе пришло неожиданное желание сесть где-нибудь в поле на корточки и рыть по Барышному примеру землю, со вниманием и волнением рассматривая, какая она есть, и отыскивая то, что никто еще в ней не знает.

Смеются: старый да малый, имея в виду, что один выжил из ума, а второй его еще не нажил. Правильно, старый да малый — только они как следует и способны

ежедневно и остро удивляться своему существованию, тому, что окружает их на каждом шагу.

Ночь настыла, сделалась тверже, ее ясное, холодное сияние, проникая сквозь окна, ворожило на стенах.

Старуха не забыла, как звенит и играет в эту пору небо, с какой призывной страстью и обещанием горят звезды и близко, царственно ходит молодой месяц. А на земле тихо, мертво, неподвижно — все убрано сном, все в его глубоком, колдовском оцепенении.

И старуха, содрогнувшись, решила: пора. Самое время, ночь перевалила на вторую половину, больше ждать нельзя. Сон сейчас крепкий, никто не услышит, не помешает. А ночь веселая — тоже хорошо, она и проводит.

Старуха собиралась спокойно, без суеты и страха. Тихонько освободила от одеяла грудь, чтобы было с чего начать, осторожно, не вызывая шума, покачала себя в кровати и нашла, что ничего лишнего в ней нет, все вышло. В ней успело шевельнуться и тут же погасло слабое удивление своей невесомостью, тем, насколько легко, как в воздухе, поддалось движению ее тело. Оно пока еще было тут, с ней, и она слышала, как сердце, обманывая, посылает ему свои токи. Ноги она вытянула и устроила удобней — вот и ноги скоро подравняются со всем телом и не будут больше страдать, что они отказали первые. Сколько раз она им говорила, что они не виноваты, она сама их надсадила беготней, да они не понимали. Теперь поймут, никуда не денутся.

Глаза у нее все еще были открыты, она по-прежнему держала в них мертвенно-бледный лунный свет — последнее, что осталось ей видеть. Пусть он плотнее накроет все, что бывало в глазах раньше, тогда сверху легче будет принять тьму. Старухе стало жутко и холодно от явившейся вдруг догадки, что она, прожив почти восемьдесят лет и всегда имея запас времени

впереди, теперь повисла на волоске. В этот миг у нее уже не было ни капли будущего, только прошлое, вся жизнь сошла в одну сторону, а в следующий не будет ни того, ни другого. После нее останутся на свете ребята, а у самой старухи никого и ничего не останется, даже себя. Интересно, куда денется ее жизнь? Ведь она жила, она помнит, что жила, это было совсем недавно. Кому достанется ее жизнь, которую она, как работу, худо ли, хорошо ли довела до конца? Ну да, рукавички из нее не сошьешь — это правда. Помянут словом, кивнут в ее сторону, и все — была и быльем поросла. А потом и поминать забудут. Тоже правда. А что ей еще надо? Знать хотя бы, зачем и для чего она жила, топтала землю и скручивалась в веревку, вынося на себе любой груз? Зачем? Только для себя или для какой-то пользы еще? Кому, для какой забавы, для какого интереса она понадобилась? А оставила после себя другие жизни — хорошо это или плохо? Кто скажет? Кто просветит? Зачем?

Как невнятный, неразборчивый ответ, в дальнем темном углу скрипнуло, и старуха осеклась: это за ней.

И вдруг теперь, перед самым концом, ей показалось, что до теперешней своей человеческой жизни она была на свете еще раньше. Как, чем была, ползала, ходила или летала, она не помнила, не догадывалась, но что-то подсказывало ей, что она видела землю не в первый раз. Вон и птицы рождаются на свет дважды: сначала в яйце, потом из яйца, значит, такое чудо возможно и она не богохульствует. Это было давным-давно, и ночью над землей разразилась гроза — с молнией, с громом, с проливным дождем, вокруг все гремело и полыхало, разверзая небеса, с которых стеной падала вода.

Никогда больше в свете не случалось похожего страха: вполне может быть, что та гроза и убила ее, потому что больше она ничего не помнила, ни до, ни после, только грозу, но и это воспоминание мелькнуло

перед ней отзвуком какой-то прежней, посторонней памяти.

Она осторожно перекрестилась: пусть простится ей, если что не так, она никого не хотела прогневить этим непрошеным воспоминанием, она не знает, откуда оно взялось и как оно к ней попало.

Только теперь старуха закрыла глаза — сразу, не сделав последнего прощального взгляда. Перед глазами в захлопнувшихся створках слева направо поплыли дымные извивающиеся колечки, словно кто-то тотчас принялся окуривать ее перед новым причастием. Она вытянулась и замерла, напрягшись в ожидании первого щекотливого прикосновения, от которого по телу начинает разливаться скорбная и усыпляющая благость. Вот и побыла она человеком, познала его царство. Аминь. Она чувствовала, как меркнет в ней сознание, немеют руки. Или ей это только казалось, этого хотелось? Налившись обещанным звоном, повисли над землей колокола.

Прошли минуты и еще минуты — ничего не изменилось.

Старуха по-прежнему помнила себя: кто такая, где, зачем. Смерть почему-то не торопилась принять ее, чего-то выжидала. Старуха прислушалась к себе внимательней. Похоже было, что все в ней на прежних местах продолжало исполнять свою службу. Не понимая, за чем остановка, она тихо, сдавленно простонала: тут я, тут. Может, смерть думает, что она еще не готова, — пусть знает.

Для верности она простонала еще раз, бередя жалобным и призывным звуком ночную тишину: не бойся, спускайся, я жду тебя.

Ей стало не по себе, ее охватило недоброе предчувствие. А ну как она умаяла свою смерть до того, что та теперь не в силах сюда добраться? Столько годов водила ее за собой, даже не водила, а, можно сказать,

гоняла — мудрено ли запалить до полного изнеможения. Вдруг правда: смерть не в состоянии достать до старухи, а старуха не в состоянии подтянуться к ней ближе. Значит, ей теперь и смерти не выйдет? Нет-нет, так не бывает. Не умирает только тот, кто не рождается. Да и причина тут, наверно, все-таки другая. Уж со своим-то делом, для которого она существует на свете, смерть найдет как справиться.

Старуха дышала уже бестолково, тревожно. Только что уверовала, что очистилась от всего, чем живет человек, и вот на тебе, начинай все сначала.

Она одумалась: надо успокоиться, остыть. Что-то, собравшись умереть, она делала не так. Не смерть отступилась от нее, а, скорей всего, она сама помешала смерти и помешала тем, что хотела взять ее работу на себя. Кому это понравится?

Долгих восемьдесят годов та ждала своего единственного праздничного часа, на десять раз перебирала, что за чем пойдет, в каком порядке — у нее свои планы. Разве можно было в них вмешиваться? То-то и оно.

Она решила: надо уснуть. Для того и ночь, чтоб спали. А там, когда старуха не будет ни видеть и ни слышать, смерть подступит к ней смелее, уберет самые больные связи, которые держат старуху с людьми и миром, и тогда, может статься, разбудит, чтоб отойти ей в памяти. Ночи много, но еще не поздно, до утра нетрудно успеть.

Теперь старуха затаилась в постели для того, чтобы погрузить себя в обыкновенный человеческий сон, которым пользовалась в своей жизни тысячи и тысячи раз. Глаза она так и не открыла, только дала им послабление, чтобы они лежали легко, свободно и не помышляли о свете. Это им ни к чему.

Тихонько трогая спиной кровать, она стала укачивать себя, ее губы нашептывали невнятные, под

песню, слова, которыми баюкают детей. Она была совсем близко от забытья, ей чудилось, что ее бережно оборачивают мягкие серые материи, в которых она тонет все больше и больше, с удовольствием отдаваясь их приятной мягкой толще и завораживающему шуршанию, но что-то вернуло ее обратно, а потом безжалостно возвращало снова и снова.

Сон не шел. Старуха догадывалась, в чем дело: он накреп, окаменел к этой поре настолько, что стал неподвижным и глухим, из него трудно сейчас выйти, но еще труднее в него войти. Из-за одного человека он не будет поворачивать обратно, и приставать к нему бесполезно. Надо как-то по-другому. Надо, видно, просто лежать, ничего не хотя, кроме лежания, ни на чем не настаивая, — тогда, быть может, от безделья само собой ее сморит, закружит и ненароком подобьет ко сну, он и знать не будет, кто она такая, и примет ее за свою. Вот хорошо бы.

Надо не торопиться и держаться так, будто времени у нее впереди сколько угодно и ночь только начинается.

Она стала подготавливать себя: ослабила дыхание и тело, смирила расходившуюся грудь и удобно переплела на ней руки. Как она и надеялась, ей повезло, ее почти сразу подхватила сладкая, упоительная волна, покачивая и вынося ее в блаженную тишь, до которой оставалось уже совсем немного, всего несколько мгновений — как вдруг бесстыдно, громко, заполошно где-то в деревне завопил петух. Это было так неожиданно, так некстати, что у старухи сам собой вырвался острый сдавленный стон и раскрылись глаза- она сейчас же захлопнула их, но уже поняла, что поздно, напрасно. Все пропало. Не спаслась. Если спасение даже и было рядом, теперь оно далеко.

Вслед за первым петухом заголосил второй, потом третий, четвертый — ночь трещала и рвалась по всем

швам, и ничто на свете не могло вернуть ей покоя.

Все вышло зря. Больше старухе надеяться было не на что.

Уже понимая, что делает, она открыла глаза, и ее охватил стыд. Другого такого позора она не знала: распрощалась, сказала последние слова, утешила себя последними воспоминаниями, застелила глаза мраком и — обратно. Кто же так поступает? Нет, она не испугалась, она никогда этого не боялась, перед собой ей лукавить нечего.

Что до нее, то она умерла, и как, на чью жизнь, на чье дыхание будет пробавляться ее грешное трусливое тело, оставившее в себе способность шевелиться, ей неизвестно.

Ночь гасла, лунный свет ослаб, стал суше, беднее, и по нему было видно, куда развернулось небо. Петухи покричали и утихли, но после них в ночи что-то потрескивало, подрагивало — ночь, торопясь, шла под уклон. Звезды в такое время поднимаются выше и смотрят устало, тускло. Все это вошло в старуху само собой, без всякого ее желания или нежелания, как в пустую открытую посудину, забытую не на месте.

Она лежала потерянно и беспомощно, в полном оцепенении, и все на свете ей теперь было безразлично.

Она лежала так долго, до самого утра. А когда взошло утро и в старухину комнату набралось достаточно света, она очнулась и скинула с себя одеяло. Потом села. С отвращением глядя на свои ноги, она натянула на них чулки и сунула в шлепанцы. Все это старуха научилась делать еще вчера. Но сегодняшнее утро не походило на вчерашнее.

Вчера она радовалась наступающему дню, возлагала на него надежды, думала о Таньчоре. И ничего из загаданного не сбылось. Ночь и та отказала ей в спасении, оставила без сна — уж этого-то добра у ней всегда хватало на каждого. На старуху не хватило.

Она опостылела всем, никому не нужна — зачем тогда и ей считаться с собой, если никто с ней не считается?

Ухватившись за спинку кровати, старуха попробовала подняться в рост. Ноги под ней подогнулись, но она не пожалела их: раз не захотели умереть, делайте, что вам велят, не прикидывайтесь бедненькими, все равно никто вам не поверит. Повиснув на руках, она выпрямила их и в отчаянном, нечеловеческом усилии заставила сдвинуться с места — идите. Если не умерли — идите, как ходят все живые ноги, и не вздумайте подломиться! И-ди-те! В них заскрипела, застонала каждая косточка, но и это ее не остановило. Скрипите, сколько вам надо, но двигайтесь. Хватит вас слушаться, слушайтесь теперь вы. Перебирая руками по заборке, она волочила ноги по полу.

Со стороны, верно, показалось бы, что старуха ползет по стене — она почти лежала на ней, раскинув руки, которые искали, за что бы ухватиться. Через порог она перелезла на четвереньках — иначе его было бы не взять.

У крыльца был еще один порог, пониже, но старуха уже не поднималась — так, на четырех подпорках, как собака, и вылезла на улицу, хоть лай или вой. Силы ее были на исходе, и она кое-как, с большим трудом усадила себя на верхнюю ступеньку.

Утро поднималось высокое, ясное, тугое. На небе, особенно в той стороне, которую могла видеть старуха, еще до солнца густо выступила синяя краска, и предутренняя муть утонула в ней. Было рано, но лес уже оправился ото сна, стоял легко и свежо, отличая дерево от дерева, даже поверху зелень не сливалась в одно, а вычерчивалась мягкими живыми линиями. С насеста за амбаром снимались курицы и, хлопая тяжелыми крыльями, слетали вниз, где торопливо отряхивались и сразу принимались целить в землю,

двигаясь быстрыми, согревающими шагами. И впрямь было прохладно, свежо, с реки доносило настоявшейся за ночь сыростью, в огороде холодно поблескивала на листьях роса. Но утро менялось, двигалось в свою сторону: только что казалось застрявшим, ленивым, серым, а уже высветилось до дня, заиграло, заходило в нетерпеливом, детском ожидании, в небе узкими столбами встали радужные полосы — и правда, скоро после этого на глазах у старухи взошло солнце, и земля счастливо, преданно озарилась.

Старуха и сама не знала, зачем она вылезла на улицу. Может быть, надеялась, что где-нибудь по дороге, не выдержав нагрузки, оборвется сердце и дело тем самым можно будет еще поправить. Нет, не вышло и тут. Выбралась. Она сидела одиноко, стыло, безучастно, смотрела в огород, в лес — на что натыкались глаза — смотрела и ничего не видела, не находила. Она походила на свечку, которую вынесли на солнце, где она никому не нужна. Но солнцу старуха поддалась; она была в тонкой постельной рубахе и озябла до дрожи, даже скупое, чуть достающее тепло было ей кстати. Не полено — какой-никакой, а человек, тело, оказывается, еще узнает, что холод и что не холод. И все-таки этот день казался ей лишним, чужим, она с самого начала не хотела и боялась его: если не суждено было умереть ей ночью, значит, что-то предстоит еще вынести днем. Зря ничего не бывает. И она сидела, ждала.

В сенях зазвенел подойник — вышла Надя. Она никак не ожидала найти здесь старуху и с испугу подалась назад.

— Мама! — невестка звала ее мамой. — Ты как тут?

Старуха, обернувшись, услышала ее и кивнула: тут.

— Как ты сюда выбралась?! Ты же замерзла. Давай я тебя отведу обратно.

Отказываясь, старуха решительно покачала головой: нет.

— Но как же…

Надя бросилась в избу, но сначала заглянула в старухину кровать — она в самом деле была пустая, и только потом сняла с вешалки и вынесла старухе фуфайку.

— Как же это ты додумалась? — не могла опомниться она. — А все спят, не знают. Может, разбудить их?

— Не надо, — сказала старуха. — Ты иди, дои. Я посидю тут.

До двора Надя раза два или три оглянулась на свекровь — сидит!

Солнце уже оторвалось от леса, вышло в чистый, готовый для него простор, держась чуть справа, как вчера и позавчера, десять и двадцать лет назад.

Оно все еще было неяркое, четкое и не слепило глаза. Росы в огороде, казалось, даже прибавилось, горящими, заманчивыми искрами она блестела повсюду. Деревня просыпалась, над крышами поплыл дым, по улице тяжело и сыто, содрогая землю, брел скот, хлопали в избах тугие двери, раздавались первые, хорошо слышные поутру голоса.

И вот в это раннее, совсем не гостевое время перед старухой нежданно-негаданно, как из-под земли, явилась Мирониха.

По своей привычке смотреть себе под ноги, а не вперед, она чуть не столкнула старуху с крыльца и от удивления присела, всплеснула руками:

— Это, старуня, ты али не ты?

— Я, — сказала ей старуха. Она как будто не обрадовалась даже Миронихе, голос у нее был тусклый, слабый: ее спросили — она ответила.

— Вылезла?

— Вылезла.

— Дак ты, старуня, моить, за хребет сёдни со мной побежишь? Вдвоем нам с тобой все веселей будет в гору подыматься.

— Не. Я койни-как сюды-то выползла. Где на карачках, где как.

— А я бегу, думаю, узнаю у Нади, с чем моя старуня там сёдни лежит. А она со своей кровати уж он куды ухлестала, на волю.

— Не умерла, — сказала старуха.

— А просилася?

— Просилася.

— Выходит, не время.

— Какое ишо надо время? — в голосе старухи впервые сегодня послышалось выражение — оно было обиженным. — Ребяты тут, оне меня долго ждать не будут. Самое было время. Ан нет.

— Все мы, старуня, под богом ходим. Как он захочет, так и выйдет.

— А я не ходю, я ползаю под им. Думаю, выползу, покажусь матушке-смертыньке, а то она меня потеряла, не видит. Пускай заприметит.

— Не забаивайся.

Старуха не стала продолжать этот невеселый разговор; Миронихи ночью с ней не было, она не поймет, а разве можно объяснить, что чувствует человек в смертный час и что чувствует он потом, когда, приняв исповедь, смерть обманывает его. Поэтому старуха спросила:

— Ребяты-то твои ничё не пишут?

— Дак ты только вчерась у меня это спрашивала, — удивилась Мирониха.

— Вчерась было вчерась. Седни, моить, написали — откуль я знаю?

— Ага, всю ночь спать не укладывались, цельную газету для меня тамака исписали. Не знаю, как и читать буду. — Мирониха говорила без зла, но и без надежды,

подсмеиваясь над одной собой. — Кака-така лихоманка на их напала — письмо мне отправлять?

— Раньше как бывало, — сказала старуха. — Кто где родился, там и пригодился. А тепери никак на месте не держатся. Ездют, ездют, а куды, зачем?

— Ничё мы, старуня, с тобой не понимаем.

— Моить, и не понимаем. Мы с тобой, однако, уж две последние старинные старухи на свете остались. Боле нету. После нас и старухи другие пойдут — грамотные, толковые, с понятием, чё к чему в мире деется. А мы с тобой заблудилися. Тепери другой век идет, не наш.

— Однако что так, старуня.

— А пошто не так? Так. От помяни мое слово. Они помолчали. Мирониха вздохнула и поднялась:

— Хорошо с тобой, старуня, да надо бежать.

— Посиди маненько.

— Корова у меня так и не пришла. Мужики говорят, за хребтом чьи-то две коровы живут. Делать нечего — надо туды бежать.

— Не дойдешь ты, девка, за хребет.

— Дойду, не дойду, а пойду. Кого я за себя отправлю?

— Упадешь ты там.

— Моить, и упаду. Кака разница, где лежать? Тамака одной и тутака одной. Слягу — и воды некому подать.

— Ты бы сама им написала.

— А чё им писать? То они не знают, что мне семьдесят пять годов стукнуло. Нет, старуня, пиши, не пиши… И грамота у нас с тобой одинака. А они, видно, хорошо живут, раз не едут, не пишут. Плохо жили бы, написали бы.

— Написали бы.

— То-то и оно.

Мирониха переступила с ноги на ногу, ей уже не стоялось на месте.

— Ну, сиди, старуня, побегу я. Сиди и ничё не выдумывай. А я как возвернусь, опеть к тебе. Посидим ишо, побормочем.

— Не упади там.

Прощаясь, старуха подала ей руку, и Мирониха вдруг дернулась, неловко клюнула головой и прижала старухину руку к своей щеке. У старухи из глаз брызнули слезы. Она хотела подняться, но Мирониха удержала ее и повернула к воротам. Она-то, наверно, считала, что идет ходко, не идет, а бежит, а на самом деле вся вытягивалась, когда переставляла ноги, видно было, с каким трудом дается ей каждый шаг.

Вытирая слезы, старуха подумала, что, быть может, оттого она и не умерла ночью, что не простилась с Миронихой, со своей единственной во всю жизнь подружкой, что не было у нее того, что есть теперь — чувства полной, ясной и светлой законченности и убранности этой давней и верной дружбы.

Старуха знала: больше они не увидятся.

11

Приходилось жить еще день — лишний, ненужный.

Обратно в избу старуху привела Надя — не привела, а, можно сказать, принесла на руках: ноги под старухой не держали совсем. Опять она лежала в постели, поглядывая перед собой печальными, виноватыми глазами и осторожно прислушиваясь к тому, что творилось вокруг; ей казалось, что ни на что на свете она не имеет больше права — ни смотреть, ни говорить, ни дышать — все было как ворованное. С утра, когда поднялись и Надя рассказала, что старуха самостоятельно выходила на улицу, над ней поохали,

поахали, радуясь и удивляясь тому, что она поправляется не по дням, а по часам, потом постепенно разошлись, и старуха осталась одна. Заглядывали, правда, часто — то Люся, то Илья, то Надя, но только заглядывали и сразу обратно. Илья сказал, что теперь надо ждать, когда старуха пустится в пляс, чтобы похлопать ей в ладоши, и шутка эта понравилась, ей улыбнулась даже Люся, а Варвара понесла ее в деревню, вместе с последними сообщениями о том, что мать встала на ноги.

Илья к тому времени успел подогреть себя, голова его розово, жарко светилась, распространяя вокруг сияние, глаза вспыхивали внезапной, отчаянной веселостью. Ему не терпелось что-нибудь делать, в чем-нибудь участвовать, а делать совсем было нечего, поэтому он снова и снова шел к матери и повторял:

— Лежишь, мать? Ну, полежи, полежи, отдохни. А плясать вздумаешь, обязательно крикни нас. Посмотрим — ага. Мы знаем, мать, знаем, что ты собираешься плясать — не отказывайся.

Старуха отвечала ему испуганным, умоляющим взглядом.

Позже всех к ней зашел Михаил; старуха была одна. Он сел на то же самое место у стола, что и вчера перед скандалом, и закурил, делая быстрые, жадные затяжки. Лицо у него против обычного налилось нездоровой, горячей чернотой, глаза притухли. Он курил и, вздыхая, отдыхиваясь от наваливающейся тяжести, все время посматривал на мать, чего-то ждал, на что-то надеялся.

До старухи достал дым, и она, хватаясь руками за грудь, мучительно закашлялась: сухие, натужные звуки, казалось, раздирали ее горло. Михаил торопливо загасил папиросу и вышел. Они так и не сказали друг другу ни слова.

Но после, когда кашель утих и к старухе пришла Нинка, старуха сразу отозвалась ей. Подняв руку, она

стала гладить девчонку по плечу, согреваясь от этого приятного прикосновения к родному детскому телу душевным теплом — будто гладили ее.

Она даже закрыла глаза — как в минуты особенного удовольствия.

Нинка вдруг ни с того ни с сего сказала:

— Твоя тетя Люся обещалкина, больше никто.

— Пошто так? — очнулась старуха.

— Ага. Она обещала мне конфет купить? Обещала. Все слыхали. А сама не купила. Вот и обещалкина.

— Дак ты ей и скажи, чтоб купила.

— Ага. Я ее боюсь. Ты сама скажи.

— Чё ее бояться? Она, подимте, не зверь, не укусит.

— Не укусит, а все равно. Она как посмотрит, так я сразу боюсь. Пускай она не смотрит, я не буду бояться.

— Не присбирывай, чё не следно.

— Давай, я ее позову, а ты ей скажешь, — добивалась Нинка.

— Не надо. Куды тебе ишо конфетки? Ты и так, однако что, вчерась весь рот ими спалила, с утра до вечера сосала.

Нинка обиженно дернулась, вырвалась от старухи.

— Ты сама ее боишься, — поддразнила она. — Если бы не боялась, сказала бы. Вояка ты, больше никто.

Старуха хотела улыбнуться, но улыбка не вышла, только чуть дрогнули без всякого выражения губы.

Видно, она все-таки задремала, потому что не слышала, когда появилась Люся. Открыла глаза. — Люся стоит, смотрит на нее, что-то в ней ищет. Встретившись взглядом с матерью, спросила:

— Как ты себя, мама, чувствуешь?

— Дак ничё, — сказала старуха. Она не знала, что отвечать, ей казалось, что она уже вышла за те пределы, когда чувствуют себя хорошо или плохо, да и раньше, при жизни, мало разбиралась в этом, различая

больше здоровье и нездоровье, усталость и силу, мочь и немочь.

— Лучше, чем вчера? — все допытывалась Люся.

— Ты, Люся, помирись с Михаилом, — вдруг попросила старуха. — Помирись. Не надо вам меж собой ругаться. Это я виноватая: накинулась на его. А он не стерпел, его обида взяла. Он тепери сам переживает.

— Его, видите ли, обида взяла, а меня нет, — хмыкнула Люся. — Очень интересно. Он наговорил всем нам гадостей, а я теперь должна за это перед ним извиняться. Что ты выдумываешь, мама? И, пожалуйста, не защищай его, мне сейчас совсем не хочется об этом говорить.

Старуха растерялась.

— Я об ем ничё не говорю, — стала объяснять она. — Я его не оправдываю — не. Он один человек, ты другой. А чё тепери делать? Какой ни есть, а все равно он твой брат. Я какая ни есть, а все равно ваша мать — и твоя, и его. Мне охота, чтоб вы всегда ладили, а не так. Помирись, Люся, пожалей меня. От меж собой помиритесь, и я ослобонюсь. Меня тепери только это и держит.

— Не надоело тебе об этом, мама? Уже почти здоровый, нормальный человек, даже ходишь, а все о том же. Неужели больше ни о чем нельзя говорить?

Опять принесло Нинку — совсем некстати.

— Иди, погуляй, погуляй покуда, — стала отправлять ее старуха, подталкивая от себя. — Иди, потом придешь, я тебя ждать буду.

— Твоя тетя Люся обещалкина, больше никто, — упираясь, выпалила Нинка и скосила глаза на Люсю.

Старухе ничего не оставалось делать, как спросить:

— Пошто так?

— Ага. Она обещала мне конфет купить? Обещала. Все слыхали. А сама не купила, обманула.

— Это еще что такое?! — удивилась Люся. — Ты почему со мной так разговариваешь?

— Я не с тобой разговариваю, я с бабой, и ты не подслушивай.

— А кто это, интересно, тебе дал право называть меня на «ты»? Я тебе подружка, что ли? Ты разве не знаешь, что старших надо называть на «вы»? Никто тебе не объяснил?

— Покайся, — шепнула Нинке старуха.

— Ага, — сказала Нинка и захлюпала носом, готовясь зареветь.

— Не вздумай только плакать, — опередила ее Люся. — Никто в твои слезы не поверит. Какая, оказывается, невоспитанная девочка. Я не люблю невоспитанных. Я не люблю, когда со мной так разговаривают. Смотрите-ка, до чего уж дошло.

— Она боле не будет, — осторожно вставила старуха.

— Подожди, мама. Вот так вы ее и воспитали: боле не будет, и все. А почему она так поступает — пусть ответит. Она вам скоро еще не то покажет — вот увидите. — Люся повернулась к Нинке: — Если они тебе очень нужны, я, конечно, куплю конфет, — сказала она, — но только это будет уже не подарок, а вымогательство. Ты знаешь, что такое вымогательство?

Нинка торопливо кивнула, она своего добилась: купит.

Когда Люся вышла, Нинка выпорхнула следом. Наверно, решила караулить ее у ворот, а то побежала за ней в магазин, чтобы там, на людях, в самый удобный момент вынырнув из толпы, ткнуть пальцем в витрину:

— Тетя Люся, мне вот этих, я эти больше люблю.

Она нигде не пропадет, ни в мать, ни в отца — в лихого молодца.

Опять старуха забылась, растерялась сама с собой, а когда очнулась, полкомнаты было залито солнцем.

Она стала следить за ним, боясь и хотя, чтобы оно скорей подобралось к кровати. Ей казалось, что сегодня, в этот день, в который она не имела права заступать, ей может открыться то, чего не знают при жизни; старуха во все глаза смотрела на солнце на полу, на его широкое горящее пятно, надеясь увидеть в нем рисунок или услышать голос, которые бы ей что-то разъяснили. Пока ничего не было, но солнце все ближе и ближе подступало к старухе, наползая на кровать справа, где оно выпрямлялось в окне. Старухе вдруг пришло в голову, что солнце может растопить ее, как какую-нибудь рыхлую, прикрытую тряпьем снежную фигуру. Она пригреется от него, приласкается, а сама, не замечая того, начнет все убывать, убывать и убывать, пока не исчезнет совсем. Придут люди, а в кровати никого нет. Они решат, что она опять полезла на улицу. Старуха так и подумала: люди, не делая разницы для своих и чужих.

Солнце наконец поднялось в кровать, и старуха подставила под него руку, набирая тепло для всего тела.

Ей показалось, что вместе с теплом в нее натекает слабость, но старуху она не испугала: слабость была мягкой, приятной. Старухе только не хотелось бы уснуть, пускай все происходит на памяти.

Где-то неподалеку заговорила с кем-то Варвара, и старухе вдруг пало на ум еще одно, что она совсем забыла.

Выдавливая из себя голос, старуха позвала Варвару, но никто ей не ответил: голос был слишком тихим и ушел недалеко. Старуха крикнула еще, на этот раз сильнее. Варвара услышала, пришла.

— Чё тебе, матушка?

— Сядь, — старуха глазами показала на кровать возле себя. Варвара села.

— Чё, матушка?

— Погоди. — Старуха собралась со словами. — Помру я…

— Не говори так, матушка, — запыхтела Варвара.

— Помру я, — повторила старуха и сказала: — Обвыть меня надо.

— Чё надо?

— Обвыть. Оне не будут. Тепери ни ребенка ко сну укачать, ни человека в могилу проводить — ничё не умеют. Одна надёжа на тебя. Я тебя научу, как. Плакать ты и сама можешь. Надо с причитаньем плакать.

Похоже, Варвара поняла, на лице ее выступил страх.

— От слушай. Я ишо мамку свою тем провожала, и ты меня проводи, не постыдись. Оне не будут. — Старуха вздохнула и прикрыла глаза, приводя в порядок давние, полузабытые слова, которыми теперь не пользуются, потом тонким, протяжным голосом начала: — «Ты, лебедушка моя, родима матушка…»

— Матушка-а-а! — качая головой, словно отказываясь участвовать в этой затее, взвыла Варвара.

— Да не реви ты, — остановила ее старуха. — Ты слушай покуль, учись. Не надо сичас реветь. Я ишо тут. Слезы на потом оставь, на завтрева. А то кто-нить придет и перебьет нас. Давай потихоньку.

Она подождала, пока Варвара утихнет, и начала снова:

— «Ты, лебедушка моя, родима матушка»…

— «Ты, лебедушка моя, родима матушка», — сквозь рыдания повторила за ней Варвара.

— «Куда же ты снарядилася, куда же ты сподобилася?»

— «Куда же ты снарядилася, куда же ты сподобилася?»

Старуха села в кровати и, успокаивая, обняла Варвару за плечи. Голос ее стал настойчивей, сильней:

Во котору дальнюю сторонушку?

По дороженьке проежжей,
По дубравушке зеленой,
К матушке божжей церкве,
Ко звону колокольному,
Ко читаньицу духовному,
А из матушки божжей церкви
В матушку сырую землю,
Ко своему роду-племеню.

День продолжался и продолжался солнечно, тепло, свободно, в воздухе стоял тот особый, с горчинкой, зной, который бывает в начале ясной осени.

Небо, по-прежнему синее, светло-синее сверху, только у самого края за рекой, где вечером заходить солнцу, чуть подернулось дымчатой, безобидной с виду пленкой, выше и левее, выплывая в небо, висела одинокая прозрачная тучка, слишком игрушечная, чтобы вызывать тревогу, словно нарочно выпущенная, чтобы ею можно было любоваться.

Весь остальной простор над головой оставался чистым, глубоким и выражал бесконечный покой, под которым, залитая солнцем, послушно и отрадно лежала земля.

Михаил давно уж томился на предамбарнике, подперев ладонью лицо, глушил одну за другой папиросы. К нему подсел Илья, поинтересовался:

— Не опохмелялся сегодня? Михаил покачал головой.

— А я немножко принял. Так, для настроения. Слыхал, мать-то у нас уж на ноги встала?

— Слыхал.

— Плясать скоро будет — ага. Вот и возьми ее. — Он засмеялся. — Может, выпьем помаленьку. Тут рядом, далеко ходить не надо.

— Нет, — отказался Михаил. — Хватит. Почудили вчера и хватит.

— Да, ты вчера здорово перебрал. Набрасываться стал на всех на нас. С матерью ругался.

— Я с ней не ругался.

— Она-то на тебя здорово рассердилась — ага. Особенно за Таньчору. Готова была отлупить тебя. Это точно. — Он опять засмеялся и вдруг спросил: — Слушай, а когда это ты отбил Таньчоре телеграмму, чтоб не приезжала? Я же с тобой все эти дни был, никуда от тебя. Когда ты успел?

Михаил щелчком стрельнул от себя окурок, к которому кинулись курицы, и посмотрел брату в глаза.

— А я не отбивал ей никакой телеграммы, — сказал он.

— Как не отбивал?

— Вот так.

— Ты же говорил, что отбивал? Вчера из-за этого весь сыр-бор и разгорелся. Не помнишь, что ли?

— Почему не помню? Помню. А если бы не говорил, ты знаешь, что бы с матерью было? Лучше обмануть, чтоб она не ждала ее.

— Но… Но где же тогда Таньчора?

— Откуда я знаю?

— Вот это да! Вот это фокус так фокус!

— Ты только не выдавай им меня, пусть думают, что отбивал, — торопливо сказал Михаил, потому что от ворот к ним шла Люся. Он опустил голову: сейчас начнется. Припомнит вчерашнее и позавчерашнее, все, что было и не было. Стыдить его сейчас бесполезно, он потом пристыдит себя сам, и это будет куда полезней, а выслушивать ее выговоры тошно — ну их! И без того хоть сбегай куда-нибудь.

— Илья! — начала Люся еще на ходу. Вид у нее был решительный и взволнованный, будто что-то случилось. Она сказала совсем не то, чего боялся Михаил. — Илья, ты знаешь, что сегодня «Ракета»? Скоро уж. А следующая будет только через три дня.

Илья растерянно поднялся:

— И что нам теперь делать?

— Смотри сам. А мне надо ехать. Мне больше оставаться здесь никак нельзя.

— Ехать надо, — кивнул Илья и посмотрел на Михаила. — Мать вроде поправилась.

— Подождали бы, — несмело сказал Михаил. Ему никто не ответил.

Они вошли в избу все вместе и в старухиной комнате вдруг застыли. Их не заметили. Варвара, склонясь над матерью, почти упав ей на грудь, всхлипывала, а старуха с закрытыми глазами тянула из себя какой-то жуткий, заунывный мотив. Лицо при этом у нее было высветленным, почти торжественным.

Они прислушались и различили слова — ласковые, безнадежные и в то же время как бы вывернутые наизнанку слова, имеющие обратный и единственный смысл:

Отходила ты у нас полы дубовые.
Отсидела лавочки брусчатые,
Отсмотрела окошечки стекольчаты,
Ты, лебедушка моя, родима матушка.

— Что это у вас тут происходит? — громко и насмешливо спросила Люся. — Что за концерт? Кого это вы хороните?

Варвара и старуха враз смолкли. Варвара вскочила, показала на мать:

— Вот, матушка…

— Видим, что не батюшка, — хохотнул Илья.

— Помру я, — жалобно, пытаясь что-то объяснить, пролепетала старуха.

— Мама, мне уже надоели эти разговоры о смерти. Честное слово. Одно и то же, одно и то же. Ты думаешь, нам это приятно? Всему должна быть мера. У тебя это

превратилось в культ, в настоящий культ. Ты ни о чем больше не можешь говорить. Тебе еще жить да жить, а ты все что-то выдумываешь. Так же нельзя.

— До ста лет, мать, чтоб обязательно — ага, — подхватил Илья.

Старуха, уставившись куда-то в стену, молчала.

— Ты же сама понимаешь, мама, что ты почти полностью выздоровела. Ну и живи, радуйся жизни. Будь как все и не хорони себя без смерти. Ты живой, нормальный человек — вот им и будь. — Люся выдержала небольшую паузу и тем же ласковым голосом сказала: — А нам сегодня надо ехать. Так получается, мама.

— Да вы чё это?! — вскрикнула Варвара. Старуха, не веря, оторопело покачала головой.

— Надо, мама, — мягко, но настойчиво повторила Люся и улыбнулась. — Сегодня «Ракета». А следующая будет только через три дня. Так долго ждать мы не можем.

— Не, не, — простонала старуха.

— Нельзя сёдни от матушки уезжать, нельзя, — кипятилась Варвара. — Вы прямо как неродные. Никто вас не гонит. Сами подумайте. Нельзя.

— Еще хоть день-то подождали бы, — поддержал ее Михаил.

— Мы ведь, мама, не вольные люди: что хочу, то и делаю, — не отвечая им, говорила матери Люся. — Мы на работе. Я бы с удовольствием прожила здесь хоть неделю, ко тогда меня могут попросить с работы. Мы ведь не в отпуске. Пойми, пожалуйста. И не обижайся на нас. Так надо.

Старуха заплакала, поворачивая лицо то к Люсе, то к Илье, повторяла:

— Помру я, помру. От увидите. Сёдни же. Погодите чутельку, погодите. Мне ничё боле не надо. Люся! И ты, Илья! Погодите. Я говорю вам, что помру, и помру.

— Опять ты, мама, о том же. Мы тебе о жизни, ты нам о смерти. Не умрешь ты и не говори, пожалуйста, об этом. Ты у нас будешь жить еще очень долго. Я рада была повидать тебя, но теперь надо ехать. А летом мы опять приедем. 225 Обязательно приедем, обещаем тебе. И тогда уж не наспех, как сейчас, а надолго.

— Что летом! — вмешался Илья. — Не летом, а раньше увидимся. Мать вот как следует на ноги встанет, и можно к нам в гости приехать. Приезжай, мать. В цирк сходим. Я рядом с цирком живу. Клоуны там. Обхохочешься.

— Одним днем раньше, одним позже, — пытался понять Михаил. — Какая разница?

Люся вспылила:

— Я не собираюсь обсуждать с тобой этот вопрос. Наверное, я лучше знаю, есть разница или нет. Или ты по-прежнему считаешь, что мы должны везти маму с собой и для этого обязаны подождать ее?

— Нет, не считаю.

— И на том спасибо.

Они стали собираться. Сборы были торопливые, неловкие. Старуха больше не плакала, она, казалось, оцепенела, лицо ее было безжизненно и покорно. Ей что-то говорили, она не отвечала. Только глаза забыто, потерянно следили за суматохой.

Прибежала Надя, хотела на прощанье накрыть на стол, но ее удержали.

Всем было не до еды. Илья шепнул Михаилу:

— Может, на дорожку выпьем? Посошок — ага.

— Нет, — отказался Михаил. — Не хочу. Хватит.

Варвара все-таки не забыла, вслух сказала Люсе:

— А платье-то?

— Что?

— Платье, которое ты здесь шила. Ты говорила, что отдашь.

Люся достала из сумки уже уложенное раньше платье, брезгливо кинула его Варваре в руки.

В самый последний момент Варвара вдруг заявила:

— Я, однако, тоже поеду. Раз все, то и я. Вместе-то веселей.

— Варвара, — чуть слышно простонала старуха.

— Я, матушка, боюсь, как бы там ребяты без меня избу не спалили. Их одних оставлять никак нельзя. Того и гляди, чё-нибудь без меня натворят.

— Езжай, — махнул рукой Михаил. — Езжайте все.

Стали прощаться. Люся чмокнула мать в щеку, Илья пожал ей руку. Варвара заплакала.

— Выздоравливай, мама. И не думай ни о какой смерти.

— Мать у нас — молодец.

— Я, матушка, скоро приеду. Может, на той неделе.

Михаил пошел их проводить. Старуха слышала, как прозвучали за окном шаги, как что-то сказал и засмеялся Илья. Потом все стихло, и старуха закрыла глаза.

Ее растолкала Нинка.

— Возьми, баба. — Нинка протягивала ей конфету. Старуха отвела ее руку.

— Они нехорошие, — сказала Нинка об отъезжающих.

Губы у старухи шевельнулись — то ли в улыбке, то ли в усмешке.

Потом вернулся Михаил и подсел к ней на кровать.

— Ничего, мать, — после долгого молчания сказал он и вздохнул. — Ничего. Переживем. Как жили, так и жить будем. Ты не сердись на меня. Я, конечно, плохой тебе сын, но уж какой есть. Переделываться теперь поздно. Лежи, мать, и не думай. Дурак я. Ох, какой я дурак! — простонал он и поднялся.

Старуха слушала, не отвечая, и уже не знала, могла она ответить или нет. Ей хотелось спать. Глаза у нее

смыкались.

До вечера, до темноты, она их еще несколько раз открывала, но ненадолго, только чтобы вспомнить, где она была.

Ночью старуха умерла.

ВНИЗ И ВВЕРХ ПО ТЕЧЕНИЮ

Очерк одной поездки

Слава Богу, все кончилось. Кончилась эта бестолковая и изнурительная беготня по магазинам, когда и сам не знаешь, что ищешь, лишь бы что-нибудь купить, не забыть никого подарком и не обделить гостинцем; это торопливое сваливание с себя всяких разных дел, больших и маленьких, скопившихся, как всегда, на последний день, и надо срочно бежать туда и сюда, поговорить с тем и с этим — взять одно и отдать другое; эти суматошные, с постоянной оглядкой — не забыть бы что-нибудь — сборы. Кончилось все разом, как обрубило, едва лишь Виктор вошел в каюту и поставил чемодан, и теперь впереди предстояло одно легкое и приятное безделье, заранее волнующее своей праздничностью и свободой.

Погода для мая выдалась на удивление жаркая, весь день пекло, а теперь, перед вечером, жара еще более сгустилась, потяжелела — в каюте к тому же пахло краской, воздух был затхлый и горький. Виктор тут же, как вошел до конца, до упора опустил раму стекла в окне и высунулся наружу. Его обдало теплым и слабым, но все же ветерком, от воды едва уловимо потянуло свежестью. До пяти часов, до отплытия, оставалось еще минут пятнадцать; посадка

продолжалась, слышно было, как по сходням идут люди, но уже во всем чувствовалось близкое освобождение, уже начала подрагивать в нетерпении массивная белая туша теплохода, уже полусонный женский голос с пластинки волнуя и дразня, повел прощальную дежурную песенку о том, что — «провожают пароходы совсем не так, как поезда».

Каюта была маленькой, но достаточно удобной и уютной: диван с высокой мягкой спинкой, у окна небольшой столик с намертво прикрученной к нему настольной лампой, у дверей шкаф для вещей и одежды и за тяжелой зеленой занавесью — раковина для умывания. Виктор впервые взял отдельную каюту и теперь с нетерпением ждал отплытия, чтобы в полную меру насладиться в ней своим одиночеством. Здесь он сам себе хозяин, сколько угодно будет валяться и читать, никому не мешая и ни от кого не завися, вечером поднимет в окне решетку и зажжет настольную лампу, утром отоспится до последнего, до усталости в голове, и выйдет на борт, под ветер.

Студентом он ездил в третьем классе, помещавшемся тогда внизу, в трюме, и эти поездки всякий раз были для него праздником, о котором он начинал мечтать еще с зимы и к которому готовился со всей возможной тщательностью: копил деньги, выкраивая рубли из тощенькой стипендии, нарочно оставлял нечитаной самую лучшую, по слухам среди своего брата студента, книгу, подправлял как мог свою амуницию. Здесь он с полным правом, обласканным и пригретым в мечтах за месяцы зубрежки, позволял себе наконец небольшое расточительство: шел в ресторан, выбирал столик у одного из широких, в полстены, окон и заказывал пиво. Это и была главная, самая волнующая часть праздника — сидеть, небрежно развалившись в кресле, потягивая холодное пиво и делая вид, что понимаешь в нем толк, и смотреть, смотреть без устали

в окно на ровное и неторопливое течение, в которое врывается пароход, на берега, на все то, что на них стоит и живет. Тогда еще не существовало этой песенки — «вода, вода, кругом вода», которую с выразительным бесстрастием продолжает сейчас тянуть все тот же полусонный голос, но вода и тогда завораживала ничуть не меньше, чем теперь, — завораживала пьянила и влекла куда-то, вызывая смутное и глубокое беспокойство. Это было какое-то необычное, необъяснимое, неземное состояние, когда, будоража душу, вдруг вспыхивали неожиданные желания, чудились необыкновенные подвиги или ни с того ни с сего приходило умиление собственной жизнью, где самым большим счастьем казалось видеть, думать, запоминать.

Здесь же, на пароходе, у него случилась однажды любовь со студенткой из медицинского института, девочкой хорошенькой, но тоненькой до того, что невольно брало сомнение: каким образом ей удалось вместить в себя все, что положено иметь человеку? Она ехала не одна — с матерью. Виктор уже не помнил теперь, с чего, с какой случайности началось это знакомство, зато хорошо помнил как всю ночь потом они прятались от ее матери, скрывались то на верхней палубе, то в корме, среди бочек и бромных катушек с тросами, то в трюме, на его скамье, как он укрывал ее от ветра своим пиджаком, как счастлив был, слушая о торопливый и, в сущности, чепуховый шепот. Вот что творит с людьми «вода, вода, кругом вода». Все лето затем они гнали друг другу нетерпеливые и нежные письма, а встретившись осенью в городе, в стороне от воды, спокойно и без всякого сожаления разошлись.

Грянул наконец отчальный марш, и теплоход тут же легонько отвалился, отодвинулся от стенки. С берега и с борта закричали, замахали друг другу, послышались отдельные слова команды в машинное отделение, где-

то тревожно и громко заплакал ребенок. Теплоход встал поперек реки и дал течению развернуть его вниз, по ходу. С берега он сейчас выглядел, наверно, очень красиво: белый, легкий и длинный, сияющий всей своей оснасткой. В нынешней навигации он шел только в первый, именинный рейс и был чисто убран, подкрашен и подлажен, матросы щеголяли в новенькой форме, молоденькие проводницы улыбались вежливыми и любопытными улыбками. Все это потом поистреплется, померкнет или покажется просто ненужным и лишним, но пока, если не придираться, все было в довольно приличном виде. Если бы еще не пахло так сильно краской в каюте.

Теперь уже двинулись своим ходом. За бортом зашумела потревоженная вода, быстрее потянулся назад берег, в окно рванулся ветер. Дышать стало легче. Виктор поднялся с дивана и не спеша, приноравливая себя к праздной и ленивой жизни в дороге, начал устраиваться: достал из чемодана то, что могло здесь понадобиться, сходил к проводнице за постельным бельем. На него нашло ровное и приятное удовлетворение собой: вот он и едет, несмотря ни на что, все-таки едет... Можно пойти сейчас в ресторан и, усевшись, как когда-то, у окна, попросить пива. Правда, он уже отвык от пива, но, чтобы показать и самому себе, и кому-то еще, кто помнит его по прежним привычкам, что он все тот же человек, одну бутылочку выпить стоит.

Пять лет он не был дома, в своей деревне, долгих пять лет, которые сильно и изменили и усложнили его жизнь. За эти годы он повидал многие другие края, съездил даже за границу. Все это было хорошо, полезно и нужно ему; он возвращался обратно исполненным какого-то особого, внутреннего смысла; в него как бы вливалась свежая кровь, внося в привычное и размеренное существование чувства и остроту и

новизну. Но до чего же все-таки уставал он в этих поездках! От начала и до конца там приходилось быть в постоянном напряжении: всегда что-то тревожило впереди, вынуждало подстегивать или, наоборот, удерживать себя, все время, боясь ошибиться, надо было делать выбор: то или это, одно или другое, туда или сюда. Даже редкие минуты расслабленности казались там покоем человека, подвешенного вверх ногами. И только дома (уже и не дома, надо говорить, а как-то по-другому, потому что у него своя семья в городе, из которого он сейчас выехал), и только в родной деревне, у отца с матерью, он знал, отдых его будет полным, абсолютным и неощутимым; он пойдет туда, куда пойдется, станет делать то, что взбредет в голову, он окунется в эту жизнь, как в возвратившееся детство и долго будет оставаться там в счастливом забытьи, не помня ничего ни о себе, ни о других и подчиняясь лишь самым простым и легким желаниям. Уже и теперь он чувствовал себя так покойно и уютно, как давным-давно с ним не бывало, словно каждая клеточка, распутавшись из тугого клубка, наконец-то нашла в нем свое место.

Он все же решил заглянуть в ресторан, хоть и не знал, останется там или нет. Один столик у окна оказался свободным, словно специально для него, и он не посмел уйти. Раньше Виктор плавал на пароходах, это был теплоход, причем теплоход морского типа, не боящийся большой волны, но ресторан в нем, похоже, остался прежним, как бы перенесенным с парохода в полной неприкосновенности, — то же полукруглое, покатое к бортам небольшое помещение в корме, с узкими, на две стороны, дверями, те же просторные окна, убранные желтыми шторами, и те же низкие и мягкие кресла в белых чехлах. Виктор мог бы побиться об заклад, что и меню здесь ничуть не изменилось, разве что в какой-нибудь малости. Он раскрыл карточку

и улыбнулся. Конечно, все то же: щи, пустовато-кислый запах которых он помнил еще и теперь, яичница, бифштекс и рисовая каша. Но речную рыбу заменила морская, это он должен был предвидеть. Во веем остальном меню походило на высеченную раз и навсегда в камне надпись, свидетельство постоянства вкуса неизвестного снабженца.

Сидеть, развалясь в кресле, со стаканом пива, оставляя его в руке, было и удобно и приятно. Где-то наверху неслышно и сильно работал вентилятор, гоняя воздух, и по залу кругами ходил ветерок, шевелил на окнах легкие высокие шторы и осторожным, затухающим движением касался лица. С одной стороны за соседним столиком уже пошумливала за пивом компания мужиков, с другой с молчаливой и несерьезной, как в игре, шутливой сосредоточенностью ужинала семья: он и она с одинаково широкими и чистыми, почему-то похожими (уж не от совместной ли жизни?) лицами — молодыми и добрыми, и мальчик с девочкой примерно одного возраста, лет шести или семи. Ребятишки, не доставая до стола из кресел, ели стоя. Видимо, это и вызывало хитровато-внимательное и веселое настроение родителей: то и дело они переглядывались и улыбались. Наблюдая за ними, Виктор невесть с чего ощутил в себе непонятную ревность к этой небольшой, но уже полной семье, что-то, помимо любви и согласия, задевало и волновало его в ней — то ли похожесть и физическое равенство, которые сразу бросались в глаза, словно он и она специально были созданы друг для друга, как левая рука для правой, то ли осторожная, четкая умеренность: мать, отец, сын, дочь — всего, что может быть, по разу, но все красиво, крепко, во славу человека, то ли что-то еще, сокрытое более глубоко и прочно. И потому, что он не мог найти объяснения своему чувству, беспокойство не проходило и мешало

ему; оно не сразу забылось и после того, как за соседним столом отужинали и ушли.

А за окном, за неширокой полосой воды, все скользил и скользил берег, за кормой удивленно и неохотно вскипала вода и, подобравшись, катила на две стороны волны. Река позади, казалось, легонько раскачивалась то влево, то вправо; на ее поверхности далеко и долго, докуда хватал взгляд, держалась после волн искрящаяся на солнце рябь, от которой больно и задорно было глазам; течение там словно бы слабело, а то и прекращалось совсем. Берег часто менялся: то низкий, ярко-зеленый, на свежей зелени пасутся коровы, то за поворотом сразу яр, наверху постройки, вниз, к воде и лодкам, ведут ступеньки, возле лодок прыгают, что-то кричат и машут руками ребятишки, возле домов, прикрываясь от солнца ладошками, стоят взрослые.

Виктор вырос на этой реке, каждый божий день пропадал на ней с утра до ночи, и большая часть его детских и уже не детских радостей была связана с ней. Никогда не забыть ему, как всякий раз боялся он пропустить ледоход; с каким восторгом и страхом, не помня себя, смотрел на дикую, безудержную силу, сталкивающую лед вниз, вздыбливая и кроша неповоротливые, отливающие глубокой синевой глыбы; какой многоголосый и протяжный, со стоном и отчаяньем стоял вокруг гул.

Одно воспоминание, чуть ли не самое дальнее, было ярче других. Ему тогда исполнилось шесть лет, и не просто исполнилось, а исполнилось именно в тот день — 1 мая. Ледоход обычно тоже приходился на конец апреля — начало мая. Ему, мальчишечке, мало было того, что его день рождения столь удачно совпал с праздником, ему еще хотелось, чтобы к этому дню обязательно тронулся лед, — иначе не будет счастья. Откуда, из каких глубин и снов взялась в нем эта

суеверная связь одного с другим, он, конечно, не знал; но только и до сих пор еще, правда без прежней откровенности и заинтересованности, как бы в шутку, он продолжает следить, когда — до или после праздника — вскрылась река, улыбнется или нет ему нынче удача (вот и еще разница: счастье поменялось на удачу, с которой легче и безопасней обращаться — если и упустишь, не велика потеря; с возрастом он, кажется, приучает себя рисковать только тем, что недорого и стоит).

С раннего утра 1 мая он сидел на берегу, вглядываясь в посиневший, вспучившийся лед. Никогда еще не приходилось ему видеть первого, решающего толчка, который срывал лед с места, и теперь он ждал его с нетерпеливым и тяжелым вниманием, больше всего на свете боясь, что день кончится раньше. Где-то в деревне пели, ярко светило солнце, с низовий даже и не дул, а легонько плыл над рекой мягкий ровный ветерок, донося откуда-то свежий и прохладный, вербный запах только что освободившейся воды. Река беспокойно возилась, покачивалась, вздыхала; порой изнутри доходил глухой, утробный шум, затем раздавался быстрый и сильный, как выстрел, треск, и во льду вспыхивали трещины. Вот-вот все это должно было сорваться с места, закружиться, зашуметь, поплыть, но стояло. Держалось какими-то силами, цеплялось за что-то, упиралось, но никуда не двигалось. Весь день он прождал понапрасну, вечером, вконец бедного и измученного, его с трудом увели домой. Теперь все: никогда не кончится война, не придет с фронта отец, не полюбит его соседская девчонка Нинка. Жить дальше не имело никакого смысла.

Среди ночи он проснулся от неясного дальнего гула, который то затихал, то вдруг мучительно и тревожно возникал снова. В другой раз шестилетний мальчишка наверняка тут же спрятался бы от него с головой под

одеяло и постарался скорей уснуть, но теперь последняя надежда заставила его пересилить страх и подняться с постели. Следуя какой-то посторонней властной силе, он ощупью добрался до двери, неслышно приоткрыл ее и выскользнул на улицу. И небо и земля были затянуты сплошной, кромешной теменью, сквозь которую ничто нигде не проступало, но дорогу к реке он знал и с закрытыми глазами. Смешно и неловко подпрыгивая, боясь налететь на забор, но еще больше боясь идти шагом, он бросился на берег.

Здесь было светлее. Ото льда поднималось слабое серое мерцание, и в нем он легко рассмотрел, что река как стояла, так и стоит. Ничего в ней с вечера не изменилось. Она даже как бы успокоилась, притихла, после долгих напрасных потуг на нее нашло безразличие. От ужаса, от непонимания того, что с ним происходит, почему он тут, а не дома, не в постели, маленький Витька оцепенел. Прибежав сюда, он уже не в состоянии был бежать обратно. От страха у него отнялись ноги.

Где-то далеко в тайге зарокотало, набрало силу и покатилось, покатилось прямо на деревню, грозя раздавить и смять ее, и, только чуть-чуть не докатившись, развалилось. Надвигалась гроза. То, что он принял за шум реки, было громом небесным, первым в ту весну, родившимся неожиданно и поначалу негромко. Вспыхнул и тут же погас короткий свет молнии, и снова направился гром, выпрямляясь в своем движении над рекой, и снова застрял неподалеку от деревни.

Небо теперь было могучее и страшное. По краям, сливаясь с землей, оно уходило в бесконечную темь, сверху нависало огромной неспокойной тяжестью. В нагромождении туч, двигаясь и меняясь, зловещей синевой пылали какие-то полосы и пятна. В промежутках между ударами грома, когда наступала

тишина, с высоты доносился невнятный, едва уловимый шум — не то шуршание туч, не то приглушенный свист ветра. Внизу воздух был тревожно-неподвижен и пуст: без резких весенних запахов, без обычной ночной свежести — гроза успела высосать из него все.

Гром гулял уже над самой деревней. Он начинался неохотно, лениво, словно не зная, стоит или не стоит греметь, но, растравив себя ворчанием, вдруг делал мгновенный и яростный прыжок в сторону и тяжело, натужно лопался, взрывался, разбрасывая вокруг множество гремящих осколков. Не успевал отшуметь один раскат, возникал другой. В ярком и мертвенном блеске молний избы в деревне казались прозрачными, и если за стенами ничего нельзя было увидеть, то лишь потому, что за ними ничего и не было, а лес — до жути белым и неживым, с узкими и длинными каменными стволами.

Втянув голову в плечи, мальчишка вхлипывал — судорожно, беспомощно и уже беспамятно. Он был на ногах, но давно потерял ощущение земли под собой, словно его, как пушинку, подхватило и унесло куда-то и никто никогда не отыщет даже и следа этого маленького несчастного человечка.

Гроза, добиваясь дождя, все накалялась и накалялась. Небо из совершенно черного, непроглядного стало темно-багровым и выделилось четче. Гром бил размеренно и зло, без той сдержанности и игривости, что были вначале, он взрывался сразу и, не ослабляя, гнал этот взрыв, покуда где-нибудь в другой стороне не вспыхивал новый. Все вокруг было заполнено только грохотом, подстегиваемым частыми взмахами молний, все сжималось и трепетало перед ним, а ему уже не хватало пространства, он задыхался от ярости… вот-вот должно было произойти что-то и совсем уж страшное.

И оно произошло. Молния хлестнула, как обычно, тонким, длинным росчерком, но не погасла, а вдруг, словно запутавшись, закружилась, заплясала и разошлась широким концом, обнажив жуткий голубой огонь. Бешеной, небывалой силы грохот сразу же охватил все небо, раздирая его на части, — оно треснуло и обвалилось.

Мальчишка закричал и упал, не смог устоять, но сразу же опять вскочил на ноги. Он услышал, хотя не в состоянии был ни слышать и ни видеть, каким-то чудом он услышал, как звук раздираемого неба, слабей и легче, но тот, тот самый звук повторился где-то неподалеку от него. В жутком и неожиданно-радостном предчувствии он вскинул голову и увидел, как, ломая лед, выносит середину реки. Ее только-только сорвало, ее полоса была совсем неширокой.

И сразу же упал дождь. Гроза стала быстро отходить, молния взблескивала лишь в одной стороне, на самом краю неба, туда же, совсем присмирев, переместился гром. Небо потемнело и притихло, из него сыпал дождь.

А мальчишка все плакал, не утирая слез, и все смотрел, смотрел на реку, на ее шумное праздничное освобождение, начавшееся ночью, среди грозы, подальше от людских глаз.

…Бог мой, неужели это было?! И было ли это так, как он запомнил, не приснилось ли это ему в чистых и ярких детских снах?

…Еще несло льдины, лед лежал и на берегах, а они ребятишки, уже забрасывали в мутную зеленоватую воду переметы. Вскрывшаяся река была полной и нетерпеливо-быстрой; от ее открытого, свободного движения вокруг становилось сразу просторней и выше; в легком и звонком воздухе со свистом проносились стрижи, снижаясь и чиркая о воду белыми брюшками; звучала капель с нависших над каменишником тяжелых

ледяных козырьков; весело и широко играло солнце. Было какое-то особое — чуткое и тайное счастье в том, чтобы, чуть приподняв нитку перемета над водой, слушать, как тюкает рыба наживку; в волнующем ожидании замирало сердце, и весь огромный мир сходился в одну эту тонкую нитку, по которой передавались толчки.

Скоро река выправлялась, освободившись от всего лишнего, чужого, снесенного в нее с гор шалыми весенними речками и ручьми; вода в ней становилась темно-голубой, прозрачной, так что далеко было видно дно; течение натягивалось, находило свою неторопливую, спокойно-быструю силу, которую могло сбить только долгое ненастье. Летом они всей семьей уплывали за реку на сенокос, брали там ягоды, потом грибы; Виктор выпрашивал себе у бакенщика два ближних к сенокосному наделу бакена, по вечерам зажигал их, по утрам гасил, научился не хуже мужиков подниматься в лодке на шесте, управляться с одноручным веслом. Ему доставляло неустанное, бесконечное удовольствие бывать на реке, заглядывать в ее жуткую заманчивую глубину, в сильный вал, испытывая свое счастье, сталкивать лодку и грести от берега, все дальше и дальше, взлетая и проваливаясь в волнах, а затем, удачно вернувшись, считать себя победителем и думать, что река после этого сразу стала спокойней.

В темные осенние ночи дедушка, теперь уже покойный, брал его с собой лучить. В носу лодки ярко и бойко горело смолье, дедушка, широко расставив ноги и терпеливо вглядываясь в воду, стоял подле огня с наготовленной острогой, а он, сидя в корме, бесшумно правил веслом. Река устало и глухо сносила их вниз; в тяжелом металлическом цвете воды слабо поблескивал опавший лист; лопались и меркли пузырьки; где-нибудь посреди реки невесть с чего в спокойную погоду долго

держалась на одном месте длинная полоса зыби, мерцающая непонятным волнением, которая затем так же неожиданно, как и появлялась, исчезала. Было сыро и зябко, огонь лишь дразнил недостающим теплом, но было и тревожно-сладостно, необыкновенно на душе — от проплывающих в строгом молчании склоненных с берега кустов, от таинственных всплесков, возникающих то здесь, то там, от дальнего крика ночной птицы, от сказочной и предательской пляски огня, на который где-то мчится и никак не может остановиться ошалевшая от его сияния рыбина.

Воспоминания, связанные с рекой, жили в нем отдельно от других, и жили теплой душевной печалью, возле которой он часто грелся и отдыхал, перед тем как двинуться дальше. Он понимал: их сберегло детство — все, что относится к первым впечатлениям, сохраняется надолго, может быть, навеки, но в том-то и дело, что из многого другого детство выделило именно их. Тайга не волновала и не пытала Виктора так, как река; тайга оставалась и должна была оставаться на месте, между тем как река могла исчезнуть, уплыть, кончиться, обнажив на память о себе голое каменистое русло, по которому будут бегать собаки. По утрам, боясь признаться в этом даже самому себе, он осторожно шел проверить, не случилось ли что-нибудь с рекой, и не понимал, почему это больше никого не тревожит, почему все спокойны, что река и завтра будет течь так же, как текла вчера и позавчера.

Он расплатился за пиво и вышел на борт. Большое закатное солнце было совсем низко и близко, так что казалось, будто оно не уйдет за гору, а сядет на берегу, и берег в ожидании этого первого, чудесного и опасного прикосновения замер. Его уже накрыла тень от горы, но краски были светлые, ясные и точные, в сплошной зелени листьев легко различались осина и береза, в яру сочно краснела глина. Второй,

противоположный берег, залитый солнцем, пологий и пустой, лежал далеко и тоскливо. Похоже, там было болото, высокая темная трава росла неровно, пучками, нигде поблизости не маячила живая душа. Вскоре отошла куда-то вглубь и гора с левой, с западной стороны, и солнце сразу отодвинулось от реки и поднялось выше, стало меньше. По небу понесло дым.

Минут через пятнадцать объявили первую пристань. Теплоход подходил к городу, которого не так давно — Виктор в своих первых плаваниях еще захватил то время — не было здесь и в помине. Построили его быстро и, пока строили, писали и говорили о нем много: в глухой тайге, на голом месте и так далее, хотя по сибирским понятиям то, что лежит у дороги, да еще у железной, уже никакая не тайга. Затем появились другие, более громкие названия и город было притих, но вскоре прославился снова, на этот раз своими демографическими показателями: выяснилось что здесь, если годочки старого и малого сложить вместе, а затем разделить на число жителей, поселился самый молодой народ в стране, который в расчете на каждую тысячу душ больше всех играл свадеб, после чего, естественно больше всех рожал детей. Но с тех пор город отстал кажется, и по этой части.

С реки его не было видно, он стоял в стороне, торчали лишь его высокие разномастные трубы. Но свой причал он на всякий случай имел. Пассажиры обычно пользовались им на обратном пути. Течение здесь сильное, и теплоход поднимаясь вверх, шлепает отсюда до конечной остановки добрых восемь часов, между тем как дорога на электричке занимает всего час. Поэтому наиболее нетерпеливые выгружаются здесь и едут на вокзал. Так было прежде, так, видимо, бывает и теперь. Теплоход наполовину пустеет; лишь на скамьях, обложившись узлами, с бесконечным терпением на лицах сидят старушки да по верхней палубе, не находя

себе перед прибытием места, бродят семейные с детьми. Становится тихо и сиротливо: команда занята уборкой, оставшиеся пассажиры почему-то говорят вполголоса, смотрят вокруг задумчиво и печально, а то и вовсе уединяются, надолго прилипают к перилам, уходят в себя. Берега, кажется, не сдвигаются, не сползают вниз, лишь чуть разворачиваются, шевелятся, когда теплоход в поисках наиболее легкого и способного пути ползет то к одному, то к другому из них; но там и там одинаково яростно и шумно бьет о нос теплохода сильная встречная струя, высоко вверх поднимая крупные и острые брызги. Все это Виктору предстояло снова увидеть и испытать на обратном пути, но прежде он, помнится, любил эти последние длинные и томительные часы, потому что ехал из дому и никуда не торопился; нетерпение и пустая суетливость других, кто то и дело выбегал смотреть, сколько еще осталось плыть, заставляли его недоумевать: неужели, думал он, они не понимают, что в этом ожидании надо исходить не из расстояния и не из скорости, а из времени, указанного в расписании, которое осуществится именно в свой срок, как бы быстро ни двигался пароход. Знай, что ты приедешь ровно в девять часов вечера, ни минутой раньше, и до тех пор спокойно спи или читай книжку, а не изводись и не дергайся зря — мимо не провезут.

Словно напоминая, чем еще совсем недавно был знаменит этот город, на берегу теплоход ждала свадьба. Она топталась возле маленького автобусика, на котором, видимо, и приехала сюда прямо от стола. Устало и нервно взрыдывала гармошка, но под нее уже не пели и не плясали, под нее лишь галдели, поглядывая на подчаливающий теплоход. Как только он приткнулся к дебаркадеру и застыл, свадьба пошла к сходням и расположилась за деревянным бортиком. Парни уговаривали кого-то не ехать, погулять еще день

или два, а кого уговаривают, в толпе было не рассмотреть. Виктору почему-то захотелось, чтобы поехали жених с невестой, чтобы это они решили устроить себе небольшое свадебное путешествие, но скоро он понял, что они тоже кого-то лишь провожают. Жаль, подумал он, очень жаль. Вместе с ними на теплоходе поселилась бы чистая и явная тайна, вокруг которой все обретает прекрасный и загадочный смысл. Приходят воспоминания и мечты о любви и счастье и приходит грусть о том, что могло свершиться и удаться, но не свершилось и не удалось; больно и горько вздрагивает сердце, уязвленное признанием, что когда-то, в лучшие дни своей молодости, оно билось неудачно; и в слабом и покорном обещании чего-то неведомого просыпается душа. Неужели они не могли догадаться взять билеты в каюту и поехать куда глаза глядят, туда и обратно, вниз и вверх по течению, подальше от шумного и пьяного застолья, от друзей и родственников, от выкриков и звона посуды. Здесь бы им никто не помешал, никто не потревожил бы их одиночества, и люди смотрели бы на них с завистью и надеждой; люди завидовали бы их неопытности и неведенью, тому, что они не знают и не хотят знать, что с ними будет завтра, сколько им любить друг друга, кого родить, когда расставаться и встречаться, тому, что они околдованы и одурманены первой близостью, важней которой для них сейчас ничего нет. Они были бы на теплоходе главными пассажирами, и теплоход плыл бы куда-то только ради них, и лишь потому, что на нем оставались еще свободные места, он бы прихватил по пути и всех остальных.

Виктор внимательно всматривался в лица жениха и невесты, пытаясь найти в них что-то особенное, какое-то нечаянное и удивленное признание, стыдливое откровение, но видел одну усталость да в цепких прищуренных глазах девушки холодный вызов: что вы

на меня уставились? Судя по всему, свадьба продолжалась уже не первый день, но молодые еще не скинули с себя свадебные наряды: он был в черном, к этому времени изрядно помятом костюме, она — в белом, как прежде говорили, подвенечном платье, но узком и коротком, много выше тяжелых крепких коленок с подрагивающими чашечками, с головы широко и легко свисала на плечи узорчатая фата. Девушка держала парня за руку, и на губах ее забыто и слабо билась улыбка. Вокруг них снова разливали вино и чокались, потом поднесли и им — девушка, не дожидаясь жениха, запрокинула голову, открыв длинную красивую шею, и одним махом, по-мужски выпила.

Рядом с Виктором кто-то удивленно присвистнул. Он обернулся — почти вся палуба была забита людьми, наблюдавшими за свадьбой с вниманием и любопытством. Справа от Виктора, свешиваясь через борт, стоял парень с веселым, горяче-розовым после ресторана, круглым лицом, на котором открытый, подрагивающий рот выдавал с трудом сдерживаемое желание вмешаться. Когда девушка столь решительно выпила свое вино, парень не утерпел.

— Ну, да-е-е-от!

Девушка обняла жениха за шею и потянулась к нему, чтобы сказать что-то на ухо, но движение это, понятое неверно, обмануло и разочаровало пассажиров с теплохода.

— Горько! — негромко подбросил кто-то сзади.

— Горька-а-а! — обрадованно, во все свое могучее горлышко, приседая, взревел парень рядом с Виктором и оглушил его, в ушах у Виктора жалобно и тонко запели какие-то струночки. — А вы что?! — парень обернулся к народу и требовательно вскинул вверх руки. — А ну! Три-четыре! Горька-а!

На этот раз ему подтянуло несколько голосов. Остальные, радуясь приключению, смеялись. На крики с той и другой стороны, с кормы и носа теплохода, торопились люди. Любопытные, возбужденные лица выглядывали из кают. Наверху, над головой Виктора, послышались быстрые шаги и тут же раздался короткий и густой — одобрительный гудок теплохода.

— Три-четыре! — командовал парень. — Три-четыре!

— Горька-а! — дружно и мощно отзывалась палуба. — Горь-ка!

Свадьба растерялась. Жених взял девушку за руку, чтобы увести ее, но она вдруг быстро и решительно, с неожиданной силой и страстью притянула голову жениха к себе и впилась в его губы долгим и откровенным поцелуем.

Наверху замерли. Чей-то сорвавшийся и словно бы жалобный смешок тут же умолк. Парень, подававший команды, звучно облизнулся и задумчиво, растянутым голосом, сказал:

— А ты, девка, не умаялась.

Невеста подняла наверх пуще прежнего прищуренные глаза и, уже дразня людей с теплохода, снова потянулась губами к губам жениха и завозилась в них.

— Я говорю, не умаялась она у тебя, — с веселой злостью крикнул парень жениху. — Что ж ты это так, а?

— Езжай, куда едешь, — отмахнулся тот.

— Я-то поеду, но ты смотри, как бы из твоей команды кто к ней не подъехал. Вот они, все, как один, комсомольцы-добровольцы. Смотри.

Началась перепалка. Жених, торопясь, уйти от нее, пожал кому-то, кто уезжал, руку и потянул за собой невесту. С палубы, поверх дебаркадера, было видно, как они поднялись на берег и, не оглядываясь, вошли в автобус. Ребята со свадьбы попытались силой увести

туда же и отъезжавшего, но он вырвался и заскочил на теплоход.

Парень рядом с Виктором долго не унимался:

— Смотри, жук какой! Увел. Съели бы ее тут. Она ему еще покажет. Она ему покажет! — грозил он. Эта девка — о-е-ей! Вон, поехали, повез. Вези, вези, не останавливайся, а то как бы не убежала. Я ему правильно сказал, он не раз меня вспомнит. Жени-их.

Когда снова снялись, стало уже темнеть. Солнце давно ушло, на берега легла сплошная густая тень, и только у самой воды узкой ломающейся полоской желтел каменишник. Горы вдали, молчаливые и низко сгорбленные, заволакивало серой, едва уловимой дымкой. Кое-где уже пробивались огоньки, но, помигав, пропадали, растворялись в неверном и зыбком свете сумерек. Небо казалось подтаявшим, размытым, звезды на нем еще не проклюнулись, горизонт мягко и невидно сливался с землей. От воды несло сыростью и прелью, но и сквозь них с берегов доставали слабые и приятные, чуть горчащие запахи остывшего жаркого дня. Река светилась как бы изнутри, из своей глубины, и, переливаясь, из конца в конец блестела четкой, густо-синей лентой, таинственной и холодно-сказочной, над которой в воздух поднималось бледное и призрачное сияние. Мерно и приглушенно шумела за бортом вода, да откатившейся по камням волны долетало осторожное и ленивое журчание.

Виктор стоял, слушал, смотрел. И эти печальные и чуткие картины позднего летнего вечера у реки, со смутными и теплыми, еще не затвердевшими красками; чистые, негромкие звуки, пятнавшие наползающую на землю тишину, чуткость, отзывчивость и ненадежность всего этого вызывали в нем сладкое и томительное чувство благодарности и любви. «Как же так? — упрекая и сокрушаясь в забытьи, рассуждал он. — Почему мы на вред себе не хотим замечать то, что нам

необходимо знать и видеть в первую очередь. Почему так много времени мы проводим в хлопотах о хлебе едином, и так редко поднимаем глаза вокруг себя, и останавливаемся в удивлении и тревоге: отчего я раньше не понимал, что это мое и что без этого нельзя жить? И почему забываем, что именно в такие минуты рождается и полнится красотой и добротой человеческая душа?»

Он спрашивал и не мог ничего ответить.

Потом он уже не смотрел, не слушал и не размышлял. Он плыл в воздухе, совсем один, сворачивая то к дальним молчаливым горам или черным пашням, то снова возвращаясь к реке, и все, что оставалось позади него, отходило ко сну. Он плыл, благословляя открывшиеся ему в свой сокровенный час родные места на отдых и силу, и слышал, как они отзываются ему благодарным шепотом.

Мимо, совсем близко, прошумел остров, высокий и закругленный, как баржа, и Виктор очнулся. Да, проплыли остров… Как хорошо теперь на островах, где поднимаются мягкие и нежные, будто мех, травы и особенно ярко и щедро цветут цветы, где запахи воды, земли и буйной зелени смешиваются в тонкий и острый хмельной настой, который, несмотря на вечные ветры, никогда не пропадает, лишь к осени становится острей и суше. От ветров гнутся в одну сторону деревья, но стоят крепко, кряжисто, широко раскинув цепкие и тугие корни. Возле воды заросли ольхи и тальника, а в нем ягодник — больше всего смородины. И всегда на острове возникает удивительное — обманчивое и одновременно верное ощущение движения, словно ты на корабле, на пароходе, плывущем медленно и важно, и возникает оно не столько от воды кругом, сколько от волнующего чувства какой-то приподнятости над землей, пьянящего и желанного парения. Знаешь, что стоишь на твердой земле, но под ногами, передвигаясь,

мелко подрагивает, поворачивает то влево, то вправо, и ты уже не в состоянии сопротивляться — плывешь куда-то осторожно и загадочно.

И вдруг Виктор испуганно вспомнил: а ведь возле его деревни больше нет островов. Нет больше ни Хлебника, ни Березовика, где когда-то он брал смородину, рвал дикий лук и чеснок, пас коней, боронил поля и косил сено. Их затопило. Поднялась вода, выше любого, самого страшного наводнения, какое видывали на своем долгом веку острова, и захлестнула, подмяла их, изо всех сил старавшихся сжаться и закаменеть, чтобы выстоять до солнца, но вода все прибывала и прибывала, скрыла под собой деревья и ушла выше. Теперь она давно уже вымыла и разнесла по сторонам всю землю, на которой росли хлеба и травы, и сровняла острова с дном. Нет больше островов, и названия их, сиротливые и пустые, потеряв свою суть, звучат все реже и отходят все дальше, откуда уже не дано вернуться.

Стало прохладно от ветра и как-то неловко, совестно на душе от этого воспоминания, и Виктор пошел к себе в каюту.

Да, давно он не был в деревне. Но последний свой приезд туда помнил так хорошо, будто только сейчас и возвращался обратно. Это было как раз накануне затопления водохранилища ГЭС, которую строили ниже по течению, и деревню переносили на новое место. Точней сказать, ее разрывали на части. Колхоз уезжал куда-то за двести километров в чужие степные края, леспромхоз, занимавшийся очисткой ложа водохранилища, оставался здесь же, но от воды переносил свое хозяйство в гору, сплавную контору переводили в другое село. На три стороны снималась деревня. Никого никуда не неволили, но и без того непросто было выбрать человеку свою судьбу, если он

не знал другой работы, кроме пашни, и не представлял, как можно жить где-то, где нет ни реки, ни тайги.

Виктор вот так же приплыл на пароходе в начале июля и тоже вечером, под сумерки. Еще с парохода он заметил, как сильно поредела и оголилась деревня, потеряв свои привычный порядок и вид. На пристань, кроме нескольких ребятишек, никто не пришел — значит, было не до того. Берегом, не выходя на улицу, Виктор, направился к себе домой; перед тем, как свернуть в проулок между огородами, постоял у воды, греясь под низким и теплым, бьющим прямо в лицо солнцем из-за реки, и только после этого зашагал дальше. Он не удивился, когда, подняв глаза, не увидел поверх бани знакомого ската крыши: опоздал.

Избу успели разобрать. Часть высокого глухого забора из плах, на котором маленьким Витька спустил с себя не одни штаны, тоже снесли, вторая часть, примыкающая к амбарам и оканчивающаяся широкими и тяжелыми, старинной работы расписными воротами, стояла нелепо и горестно. Особенно нелепо выглядели упрямо закрытые в разгороженную ограду ворота, рядом с которыми уже обозначилась внутрь дорожка. Виктор нарочно не пошел по ней, а повернул большое чугунное кольцо на воротах и приподнял задвижку. Из амбара к нему кинулась мать, но, не добежав, остановилась и заплакала, показывая рукой на чернеющее избище. Вышел отец, поздоровался с Виктором за руку и, пряча глаза, сказал:

— Ну, вот и хорошо, что приехал. Хоть поможешь теперь. А то уж мы не знали, что и делать.

Виктор подошел к избищу и долго стоял над ним, как над могилой, с волнением и недоумением глядя на рассыпанную золу, на куски окаменевшей глины от русской печки, на две маленькие металлические пуговицы, которые, быть может, он сам же когда-то закатил под пол, и вдыхая теплый и кисловатый, еще не

испарившийся запах человеческого жилья. Стенки подполья осыпались, но на одной, уцелевшей, зеленели изогнувшиеся вверх картофельные ростки. По старой, изопревшей щепе проворно бегали зеленые жучки, в углу, то приседая, то поднимаясь на своих длинных тонких ногах, шевелился большой, серый паук. И этот открывшийся глазу, вытертый деревом до пыли кусочек земли, который занимала изба, показался вдруг Виктору до того маленьким и ничтожным, а все, что составляло избу и что лежало теперь рядом двумя аккуратными штабелями, — до того грубым и ненадежным, что он и не знал уже, верить ли, что все это стояло именно здесь и было добротно, уютно и просторно.

В тот же вечер он обошел всю деревню из конца в конец. От нее оставалось уже немногое. Только несколько изб и стояло еще спокойно, остальные были или развалены, или початы: неуклюже и голо торчали раскрытые стропила, мертво и властно смотрели в улицу проемы выставленных окон, за которыми, не оседая, клубилась пыль и недоуменно и зябко, словно после пожара, стыли под небом оставленные на произвол судьбы русские печи, «битые» из глины и не приспособленные для переездов. По улице валялись осколки стекла, куски кирпича и сгнившего, лохматого и вязкого дерева, легкие и колючие, похожие на «перекати-поле» клубки почерневшего мха, которым когда-то конопатили стены, — все то, что обычно и появляется при разорении, и остро ощущался в воздухе сырой и смрадный запах поднятого тлена. Не трогали только огороды, вдруг весело и отчаянно вышедшие на передний план, не могли тронуть и кладбище, расположенное посреди деревни, выше мостика через речушку, и лежащее посреди общей сутолоки в каком-то особенно жутком молчании. Не один век с тех пор, как поселились здесь люди, освящало и полнило оно эту

землю ушедшими, смущая живых своей тайной и болью, и вот теперь подходила пора расставаться.

С Виктором здоровались, заводили разговор, но прежде всего спрашивали:

— Видал, что делается, а? Светопреставление.

Он заметил, что люди взбудоражены как-то неестественно и испуганно. То не к месту смеялись, то вдруг на вопрос умолкали и смотрели мимо задумчиво и печально, отдавшись своим тревожным мыслям. С трудом заставив себя вытащить первый гвоздь и снять с крыши первую доску, они начинали торопиться, ими словно овладевал неудержимый и яростный азарт разрушения, который не остывал до тех пор, пока было что ломать. По вечерам, боясь одиночества, они собирались вместе у кого-нибудь на бревешках от поваленной избенки, курили и говорили об одном и том же — о переезде.

Это было жаркое, суматошное и душное лето. Горели леса, которые не успевали убрать с пользой, из-за реки на паромах плавили постройки (сюда же, в одну кучу, собирали еще три ближних деревни), шныряли какие-то незнакомые люди, с надрывным ревом ползли в гору машины и тракторы, перевозя на новое место разобранные дома, стучали топоры, больше обычного, чувствуя перемены, кричал скот, как всегда в дни неурядиц и непорядка, много спорили и кричали по пустякам люди, а по ночам, когда ненадолго утихал весь этот шум и гам, в наступившей тишине принимались выть собаки.

И шли бесконечные разговоры о деньгах: кто выгадал и кто прогадал на переселении, почему оценочная комиссия износ одной избы определила больше, а другой — меньше, кто уже успел пропить свои денежки и кто приберег на «черный» день. Рассуждали, как вывернется Николай Точилов, известный в деревне хитрец, который собирался

сначала ехать с колхозом и получил деньги за длинную дорогу, потом передумал, но деньги по перерасчету возвращать отказался, сославшись на то, что у него их нет.

Каких только историй не наслушался Виктор в то лето, чего только не нагляделся.

Тогда же, при нем, уезжали колхозники. Колонна была готова еще с вечера: погрузили на лесовозы и тракторные телеги жилье, столкали в грузовики вещи. Трогаться договорились с зарей, чтобы за день поспеть до места, но едва-едва снялись к обеду. Со времен войны не видывала деревня ничего похожего. Пили прощальную водку мужики; плакали, сквозь слезы отдавая последние наказы по скотине и огородам, бабы; испуганно и шустро сновали, сбившись в стаи, ребятишки. Обнявшись посреди улицы, горько и громко голосили две старухи — бабушка Виктора и их соседка, старуха Лукея. Всю жизнь они прожили рядом, каждый день ходили одна к другой на чай, давно решили меж собой, что и с того света будут прилетать к людям двумя одинаковыми пташками-подружками, но теперь старуху Лукею увозили. В передней машине строго и торжественно, готовый на любые испытания, сидел глухой дед Степан в добытой где-то милицейской фуражке и при двух Георгиевских крестах на полинявшей добела гимнастерке. Тракторист Иван Зуев долго гонялся за кобелем, которого хотел взять с собой, но кобель никак не давался, и Иван со злости пристрелил его, а потом за пятнадцать минут напился и стал выбрасывать из машины свои узлы. Кто-то в каменной неподвижности сидел на кладбище, кто-то в последний момент спохватывался и бежал за забытой у соседки посудиной. Горели подожженные с вечера колхозные конюшни, и горький дым, не подымаясь, стлался по улице. Срывалась и умолкала нетрезвая песня, в который раз раздавалась команда садиться по

машинам. Наконец, тронулись, заплакали, закричали и запели громче, поехали.

День был тихий, неяркий, и так же тихо и ровно текла река, не зная за собой ни вины, ни беды.

После отъезда колхозников оставшиеся заторопились еще больше. Теперь только на короткие темные часы и умолкал перестук топоров. Новая деревня одним концом выходила в поле, вторым должна была пробиваться в лес. Участок под избу отцу Виктора достался довольно чистый, со старой межи, но с тоской и отчаянием смотрел отец на прохладный, тенистый угол немолодого сосняка, который ему предстояло корчевать под огород. Виктор помог ему собрать избу и уехал. Ему пора было выходить на работу.

Из дому писали часто, сообщая больше о том, кто умер, кто женился и кто родился, а написать, как стоит сейчас деревня, как она живет и здравствует, не умели.

Но теперь уж только до завтра. Завтра он увидит все своими глазами.

Он долго сидел на диване в полутемной каюте, ни за что не принимаясь и глядя в стену бессмысленно и слепо. В открытое окно наносило прохладу, от которой он начинал дрожать, но окно не закрывал. Постепенно воспоминание отошло и погасло. Теперь он знал, что, собираясь в деревню, обманул себя, он все время имел в виду деревню старую и почему-то не хотел вспоминать, что ее давно нет. Но не это сейчас беспокоило его, в конце концов он ехал к отцу с матерью, которых обязан был повидать, где бы они ни жили.

За окном возникали и удалялись тихие и осторожные шаги. Где-то звучала музыка, и знакомый голос, казавшийся теперь бесконечно грустным, снова и снова дразнил редким, особо-волнующим положением: «Вода, вода, кругом вода».

Он ждал чего-то, какого-то значительного и чудесного завершения этого длинного неспокойного дня, каких-то редких и счастливых волнений. Что-то должно было случиться. Что именно, он не знал и не гадал, но ждал и боялся упустить что-то такое, что могло быть только сегодня и не могло никогда повториться. Смутное и неопределенное чувство, томя таинственным обещанием, не давало ему покоя.

Позже он снова вышел на борт. Звезды, еще не назрев, были по-весеннему далекими и мелкими, зато луна, круглая и полная, висела под небом совсем низко и празднично. В ее молчаливо-торжественном серебристом свете все вокруг лежало в ленивом и блаженном оцепенении, и только река, в глубине которой во всей своей сказочной роскоши отражалось ночное небо, сверху отсвечивала своим стеклянно-зеленым надменным сиянием. Теплоход двигался почти бесшумно, чуть отваливая от бортов воду, и в чистом холодном воздухе мерещился тонкий, на одной струне, счастливо-ноющий лунный звук, то спадающий на землю, то медленно уходящий вверх. Он звал куда-то, напоминая что-то дивное и давнее, и сердце, тревожась и не понимая, заходилось в отчаянной мольбе: что? куда? Отзвучав, он возвращался опять и снова и снова бередил желанной и сладостной болью, снова и снова манил в чистые и заповедные дали.

В корме танцевали, и Виктор пошел туда, стал смотреть на танцующих. Здесь же были и муж с женой, за которыми он наблюдал в ресторане, когда они ужинали всей семьей. Кажется, только им одним танец и доставлял удовольствие, остальные топтались с нервным упрямством в движениях, с болезненной покорностью на лицах. На их лицах светилось наслаждение. Она положила ему руки на плечи, откинув голову назад и улыбаясь, и он, чуть приседая, кружил ее в полном и счастливом самозабвении. Но

Виктору не пришлось долго любоваться ими. Муж что-то сказал ей на ухо, она в ответ засмеялась и покачала головой, но покачала с такой очаровательной медлительностью, и с такой удивленно-радостной отзывчивостью в глазах, что отказ этот и невозможно было понять иначе, как согласие. Скоро, все так же кружась, они оторвались от всех остальных и поплыли по палубе в сторону, все дальше и дальше, пока не скрылись совсем. И больше не появились. И снова, как и в первый раз, Виктор поймал себя на неловком и завистливом чувстве, он был рад, что они ушли, ему легче было наблюдать за такими же одинокими, как и он сам, и усталыми людьми, истомленными безуспешной надеждой дождаться своего счастливого мига.

Нет, что-то все-таки должно было случиться и не случалось.

С неба сорвалась звезда и, прочертив горящую линию, погасла. И тут же невесть с чего, как спросонья, коротко и жалобно хныкнул гудок теплохода. Сильней и ближе зазвенело небо и еще глуше и бледней стала земля. В отходящей к берегу волне, удлиняясь в свечки, играли звезды. Встречный ветер, треплющий освещенный прожектором флаг теплохода, дул поверху и не тревожил речную гладь, но после волны за кормой оставалась легкая зыбь. Изредка сбоку возникали желтые или красные огни бакенов, возле них шумела вода.

Широко и ярко гуляла над землей ясная майская ночь, уже летняя, смелая, но справа, на востоке, там, где заниматься заре, начинал слабеть край неба.

И все так же мучилась и болела душа, отзываясь на какое-то прекрасное обещание, звучащее в ночи с неистовой и страстной силой.

Давно уже, года два назад, Виктор видал однажды запомнившийся ему сон. Собственно, это был даже не

сон, а что-то среднее между сном и обыкновенными, вполне контролируемыми размышлениями, составившими в забытьи горячечную картину, бред истерзанного сомнениями мозга.

У Виктора тогда только что вышла книжка рассказов, в которой была одна история об умирающем старике, со всеми вытекающими отсюда вздохами, ахами, мыслями и чувствованиями — не чувствами, а именно чувствованиями, поскольку последнее предполагало более тонкий разрез человеческой души. Мало того — как всякий неопытный и потому смелый писатель, Виктор пошел еще дальше: попытался перебраться за черту, которая отделяет одно состояние от другого. Потом он догадался, что этого делать не следовало, но догадался, разумеется, поздно.

И вот будто встал на пороге человек старого, почти прозрачного вида, очень похожий на дедушку Виктора, но с более тонким, благообразно-удлиненным, интеллигентным лицом (дедушка у Виктора был обыкновенный медвежатник; впрочем, подобная обыкновенность теперь уже стала редкостью). Встал этот человек из своего небытия и говорит:

— Прочитал я твою книжку.

— И как? — спрашивает Виктор, конечно, с надеждой, что книжка понравилась.

— А так, — вздохнув, отвечает тот. — Я не понимаю... Он долго и задумчиво, с печальной проницательностью качает головой. — Не понимаю, зачем нужно писать о том, чего ты не можешь знать. Совсем не можешь, никак. Это не похоже ни на что совершенно, что у вас есть. Это настолько больше и значительней, настолько невероятней того, что может придумать ваша бедная фантазия... И потом... — полудедушка-полупрофессор грустно улыбается, ваши слова не годятся для этого. Они слишком мелки, слишком коротки. Вы о своем-то, — опять вздох, о

человеческом не можете говорить как следует, а тут вон куда захотел, в такую тайну! Так, кажется, просто сказать, что хочешь, — нет, не можете. Что-то видите, что-то слышите, что-то чувствуете, а что именно, не скажете или скажете неточно, приблизительно, невпопад. До чего же вы любите говорить приблизительно, ходить вокруг да около. Ах, боже мой… А ты спрашиваешь: как? Когда ты встанешь на мое место и будешь знать то, что знаю я, тогда лишь ты по-настоящему поймешь, как слаб сейчас и немощен. Вот так. Если ты и впредь собираешься писать дело твое, но только не ходи никогда дальше своих сил.

…Виктор проснулся от странного и длинного скребущего звука — будто теплоход терся обо что-то бортом. Он прислушался: нет, теплоход двигался, его мерные и частые, подхватывающие друг друга толчки чувствовались отчетливо. Сквозь изогнутые под углом деревянные пластинки на поднятой в окне решетке играло на полу таким же тонко разлинованным рисунком солнце. В каюте было свежо и прохладно — значит, утро еще не нагрелось. Шел всего седьмой час.

Снова протянулся из конца в конец тот же непонятный звук, но уже слабей и выше, с глухим перестуком. Зевая и морщась со сна, Виктор поднялся с постели, опустил вниз и с трудом закрепил на задвижке срывающуюся решетку и вдруг отшатнулся: перед его лицом, едва не задев, подпрыгнула и исчезла грязная острая ветка. Впору было перекреститься: теплоход двигался по лесу. Мимо, царапая ветвями борт и оставляя на палубе сучки, проплыли две стоящие рядом березы, потом показалась верхушка сосны, потом снова береза.

Виктор торопливо оделся и вышел на воздух. Теплоход пробирался внутрь какого-то неведомого широкого залива, с берегов которого далеко в воду уходили деревья. Они торчали и впереди и сзади.

Первое впечатление двоилось и подменялось; неясно было, что удивительней и невероятней: то ли считать теплоход, осторожно ползущий среди деревьев, огромным доисторическим чудовищем, то ли смотреть на деревья, растущие из воды, как на какую-то фантастическую картину.

Впрочем, фантастическую ли? Деревья были голые и жалкие, без листьев, с редкими, скатавшимися иголками хвои, с набухшими от воды осклизлыми ветками, с черными, похожими на гусениц, сережками на березах. Одни еще держались прямо, другие уже клонились, их потихоньку вымывало. На них, подпрыгивая, наскакивала волна, и тогда они с хлюпающим стоном качались, натягивая и без того ослабшие корни, качались, как плавуны, долго и бессильно, без той гибкости и игры, с какой ходит лес под ветром. На березе, стоящей на краю берега, лист был совсем желтый и мелкий, ветви обвисли, весна для нее так и не наступила, но дальше, как ни в чем не бывало, толпясь, взбегал в гору молодой крепкий сосняк, горела под солнцем сочной майской зеленью высокая осина.

После неожиданного в этих безлюдных местах и как бы нарочито приглушенного гудка теплоход приткнулся к голому, необжитому берегу, где на поднятом щите было накорябано название какой-то незнакомой, не существовавшей прежде на реке, пристани. На землю сошли две женщины и направились по дороге в гору. Теплоход тут же развернулся и пополз обратно, все так же крадясь между затопленными деревьями, где булькала рыба. Солнце поднялось уже высоко, стало теплей и суше, разошлись по сторонам и развиднелись дали. По берегу, перелетая одна за другой с елки на елку, с громким карканьем провожали теплоход две вороны, но в их корявом, раскатистом крике не было ничего, кроме любопытства. Навстречу, тарахтя на

малых оборотах, как трактор, прошла моторная лодка, в шапке и телогрейке сидел в корме бородатый мужик, в носу лодки валялись мокрые неразобранные сети.

Залив, раздвигая берега, все расширялся и расширялся. Теперь уже плыли по чистой воде, не боясь ни за что зацепиться, и двинулись, набирая ветер, шибче. Просыпался на теплоходе народ, забегали ребятишки. Матросы в тельняшках, покрикивая друг на друга, суетились над чем-то в носу; шаркала веником по палубе молодая женщина в расстегнутом халате; из кухни снизу потянуло запахом разогреваемых щей.

Наконец еще после получаса хода теплоход выбрался из залива и, не сворачивая, направился куда-то к противоположному берегу, который темнел впереди далеко и неясно. Виктор и не представлял себе, как широко могла разлиться вода, и смотрел вокруг с удивленной оторопью, не зная, чему больше поражаться — ленивой ли мощи огромной массы воды, которую теперь называли морем, затопившей тысячи и тысячи гектаров земли, или тому, что все это заранее загадано и осуществлено с той точностью и уверенностью, которые никогда не поддаются пониманию несведущего в таких делах человека. От реки тут, конечно, ничего не осталось, и даже приблизительно нельзя было указать, где пролегало ее русло: еще ночью, когда Виктор спал, река захлебнулась и утонула во встретившем ее равнодушном разливе. От берега до берега было километров десять, если не больше, потому что вода обычно скрадывает расстояние; на севере, куда прежде уходило течение, земля не смыкалась долго до далекого и низкого горизонта.

Вода казалась неподвижной и серой. Бревно, оставшееся за кормой, не смещалось в сторону, а только отдалялось от теплохода; и высокое, почти прямо стоящее солнце не могло проникнуть внутрь,

освещая лишь мутное и блеклое колыхание. В ней уже не было причудливой игры синей и зеленой красок, живой и волнующей неустанности в красоте и радости свершающегося движения, омутного, темнобутылочного сияния глубины, и чистой, со стеклянным звоном, музыки на перекатах, и волнистых поперечных дорожек от впадающих с силой горных речек, и гордого, манящего к себе вида островов — всего того, что еще только вчера несла с собой река. Из края в край вода лежала покорно и глухо одной необъятной равниной, подавляя своей тяжестью унылые и низкие берега. Воздух над ней был пуст, не носились в нем стрижи со свистящим, отрывистым звуком, не заливались ласточки, не собирались они в дружные, гомонящие — хоть уши затыкай! — стаи, чтобы отогнать ястреба. Зато, как знал Виктор, появились чайки, стали прилетать откуда-то большие, невиданные прежде в этих местах орлы — море, какое бы оно ни было, постепенно обзаводилось своей жизнью.

Теплоход между тем приближался к большому, стоящему, видимо, на вырубке селу: ниже улиц густо желтели круги пней. Среди старых, почерневших изб много было новых, срубленных совсем недавно; их красноватые, с потеками от запекшейся серы стены пылали под солнцем ровным налитым жаром; крутые тесовые крыши висели легко и весело, готовые, казалось, оторваться и улететь. Несколько домов стояло и совсем богато: под шифером — неслыханная раньше роскошь! В палисадниках уже прижились рябина, березки, елочки. Кое-где на улицах остались от леса и сосны, но, как всегда в соседстве с человеком, они изо всех сил торопились подняться вверх и торчали голо и бедно, с неказистыми ветками на макушке.

Со всех сторон этого села к пристани торопились люди. Трещали мотоциклы, виляя из стороны в сторону в безуспешной попытке объехать пни и все-таки прыгая

по ним; затеяв отчаянную возню, носились по берегу собаки; две коровы, подняв от травы головы, смотрели на подходящий теплоход пристально и очумело; от гудка стреканул к огородам теленок и жалобно замычал там, косясь на незнакомое голосистое чудовище; за пряслом, возле которого дрожал теленок, взлетел на голову огородного пугала петух и загорлопанил с бурлацкой откровенностью, внося свой вклад в общее оживление. И ребятишки, ребятишки, которые, как горох, сыпались из каждой щели. Какой-то карапуз, сверкая рыжей головенкой, не поспевал за растянувшейся цепочкой детей постарше и от обиды ревел на бегу, но никто не обращал на него внимания, все неслись как угорелые. Наконец, запнувшись, карапуз упал и зашелся в крике, зовя кого-то, — и дозвался: такая же рыжая, как и он, девочка лет семи или восьми, бежавшая впереди, быстро развернулась, подскочила к мальчишке, торопливо и зло отшлепала его и снова помчалась дальше. Он тут же вскочил и кинулся за ней — удивительно и непонятно было, как мог он бежать и одновременно, не прерываясь, кричать столь громко и требовательно, заглушая своим ревом все остальные звуки.

Вот так же когда-то и маленький Витька, как эти ребятишки, мчал со всех ног к первому пароходу и, не зная, что с собой делать от радости, готов был лезть в воду и тонуть. После того лишь и наступало по-настоящему лето, как из-за Верхнего острова появлялся знаменитый в те годы «Лейтенант Шмидт», вечно заваливающийся на один борт пассажирский колесник, и издавал протяжный приветственный гудок. О, что тут творилось, какая подымалась суматоха! Хлопали двери, калитки, ворота, с единым многоголосым воем, разбрызгивая по сторонам всякую мелкую живность, вроде куриц и поросят, неслась по улице детвора. Кто-то палил из ружья, кто-то, забравшись на колхозный

амбар у пристани, размахивал содранным с сельсовета флагом. Тарахтели телеги, ржали разгоряченные кони. Все, что только могло ходить, выплескивалось на берег. Не помеченный красным числом, не сдабриваемый выпивкой, не отпущенный на отдых, это был праздник, который ждали ничуть не меньше, чем любой другой. Да и потом уже, позже, всякий раз как прийти пароходу, на пристани собиралась толпа, до полуночи и больше, если он опаздывал, жгли костры, но не расходились. Матери, заслышав гудок, туркали ребятишек: «Беги скорей, посмотри, кто к кому приехал, да гляди не перепутай».

Что и говорить — летом деревня оживала. Наезжали гости, привозили подарки, да и сами деревенские изредка позволяли себе сесть на пароход и отправиться куда-нибудь по делам и заботам. Добирались сюда с экспедициями и совсем чужие, незнакомые люди из больших, по-чудному звучащих городов, которые, оказывается, действительно существуют на свете, а не придуманы только в книжках (одно лишь название своей деревни представлялось понятным и вечным, словно с нее и пошла земля, остальные почему-то походили на шуточные, несерьезные, которым то ли верить, то ли нет). А кроме того, всегда интересно было просто смотреть на пассажиров, стоящих на палубе в забавных, невиданных одеждах, и представлять себе, что и ты когда-нибудь нисколько не хуже их возьмешь да и покатишь куда-нибудь, куда твоей душеньке будет угодно.

Но проходило лето, подступала зима. И — Боже мой! — как тоскливо и горько — хоть плачь! — становилось на душе, когда последний пароход исчезал все за тем же Верхним островом, а вслед ему задувала холодная, с дождем и снегом, низовка; печальная, сиротливая деревня оставалась одна-одинешенька на всем белом свете со своей неказистой судьбой, на долгие месяцы в

терпении и надежде оставалась ждать следующего лета. И снова жгли костер, но он был прощальным, и вокруг него стояли молча и подавленно, грея руки и спины, снова кто-нибудь палил из ружья, но от выстрелов этих еще больше сжималось сердце.

Но и зима проходила. Поверите ли, из-за Верхнего острова опять появлялся «Лейтенант Шмидт»…

Под шум, гам, треск, лай и вой всего, что собралось на берегу, теплоход ткнулся носом в дно на довольно почтительном расстоянии от земли и замер. Стало ясно, что пристать здесь не просто: берег низкий, дно высокое, вода держится только поверху. Отгребаясь, теплоход сдал назад и попробовал сунуться в другом месте — то же самое. После четырех безуспешных попыток подойти ближе, на которые ушло почти полчаса, когда толпа на берегу не переставала подавать советы, один лучше другого, капитан, потеряв терпение, крикнул наконец сверху «стоп!», и теплоход застыл, оттянув на всякий случай корму в море. Автоматический трап, красиво развернувшись в воздухе, не достал до земли даже наполовину; по трапу, повисшему в пустоте, полез матросик, волоча за собой стремянку, но и ее оказалось недостаточно. С берега матросику толкнули доску, потом сбегали еще за одной — с большим трудом переправа была все-таки наведена, хоть и непрочная и дырявая, потому что в стыке доски и стремянки плескалась вода.

И тут же на теплоход ринулись мужики. Матросик пытался остановить их, срывающимся тонким голосом кричал, что сначала надо выпустить приехавших, но, оказавшись в воде, сразу притих и стал заворачивать наверх свои мокрые штанины. А мужики все перли и перли — весело и отчаянно, и все налегке, без вещей, от посадочных талонов, которые им пытались вручить у трапа, они отмахивались и бегом, громыхая сапогами, один за другим бросались куда-то внутрь.

— Васька-а! На меня не забудь. Васька-а-а! — надрывался кто-то с берега.

Впереди толпы Виктор увидел и своего знакомого — рыжего карапуза лет четырех, который перед тем с шумом и приключениями добирался до пристани. Лицо у него было конопатое, в крапинках, слезы давно высохли, и он, бороздя обутыми на босу ногу сандалиями воду, в которую, наверно, и сам не помнил, как забрел, смотрел на теплоход и на всю связанную с ним суету с внимательным и серьезным удивлением. Сзади, не предупреждая, к нему подскочила все та же похожая на него, скорая на расправу девчонка, без всяких объяснений шлепнула его и как ни в чем не бывало, не переставая что-то возить во рту, вернулась к своим подружкам. Мальчишка дернулся, но смолчал. Более того — он понял назначение этого шлепка, неторопливо отцепил с ног сандалии и кинул их на берег. Без них он почувствовал себя даже лучше и уже смело стал бродить туда и обратно перед теплоходом, пока не взобрался на затопленный пень. Потоптался, потоптался на нем и решил сесть, но только успел окунуть в воду место, на которое обычно садятся, как к нему опять проворно метнулась девчонка, имевшая на него какие-то особые права, и снова быстро и ловко, с заученным механизмом размашистого движения, нашла этому месту свое привычное применение — с сочным и аппетитным звуком. Но и тут мальчишка догадался, что к чему, и сразу принялся стаскивать с себя штанишки.

— Гринька, паразит, — жующим говорком предупредила его девчонка, — если ты еще рубаху сымешь, я тебя утоплю — так и знай.

Снимать рубаху Гринька не решился. Зато после некоторого раздумья он приподнял свой открывшийся всему белому свету отросточек и, направив его в сторону теплохода, стал булькать в воду. Кончив, содрогнулся всем телом, вздохнул таинственно и

печально и сел, как до того собирался, на пень под собой, погрузившись в воду по грудь и, конечно, замочив последнее, что на нем осталось, — рубашку.

Теплоход загудел и за длинным гудком дал сразу все три коротких. И посыпались, посыпались обратно на берег поразбухшие мужики, позвякивая бутылками, натолканными в сетки, сумки, в карманы, за пазуху — всюду, где их можно было пристроить. Теперь объяснилось, что вело их на теплоход в одном страстном и могучем порыве; словно пытаясь оправдать их, Виктор вспомнил, что сегодня воскресенье. Парень в синей спортивной майке с длинной единицей на спине, взбугривая огромные волосатые руки, вынес ящик пива, осторожно опустил его на землю в сторонке от толпы и, не обращая внимания на подскочивших к нему дружков, которые радостно хлопали его по спине, принялся сбивать первую пробку. Рослая и здоровая, молодая еще женщина с ленивой деревенской красотой молча гонялась за юрким плюгавеньким мужичонкой. Вертясь от нее в толпе, он успевал незаметно опускать в заботливо подставленные карманы прозрачные бутылки с простой и выразительной наклейкой. Одним словом, к тому времени, когда капитан подал команду сниматься, жизнь в этом поселке уже обещала интересное продолжение.

Теплоход не без труда оторвался от земли, пополз, трап, переламываясь посредине, поплыл наверх, но тут выскочили откуда-то еще два мужика, кинулись к трапу и, хватаясь руками за трос, полезли по нему, так что трап пришлось выпрямлять, потом, как с вышки, покачавшись на его пружинящем конце, под смех и крики с той и другой стороны бухнулись в воду. Третий мужик торопливо и нервно, со свистящим выдыхом, перебрасывал бутылки на берег. От них шарахались, разбегались, затем снова смыкались, чтобы поднять, но две бутылки, угодив о пни, разбились. Освободившись

от груза, мужик бросился за борт и сам, но ему понадобилось уже подгребать, прежде чем удалось встать на ноги. Мало того, был еще кто-то и четвертый, невидимый Виктору сверху, потому что люди на берегу, приплясывая, кричали:

— Прыгай! Прыгай! Петро, прыгай!

— Та я ж плаваты не можу, — с мягким хохлацким выговором отвечал им этот Петро.

— Тогда бутылку бросай! Бутылку!

— Та вы ж выпьете.

— Ну, Петро, — громко терзал его чей-то женский голос. — Задаст тебе Анка, как приедешь. Она тебе задаст — о-е-ей! Она тебе что говорила? Ты ей что говорил?

— Анке кажите, щоб блюла себя. Кажите, що скоро прииду.

— Она тебе поблюдет. Ты сам-то себя как блюдешь? Ты ей что говорил?

— Петро-о! — вдруг возопил кто-то громче всех через сложенные рупором ладони. — Держись, Петро, я тебя выручу. Я за тобой сейчас помотаю. Слышишь, Петро?

— Слышу-у. Выручи, Семен.

Семен на берегу рысцой побежал к стоящим длинным рядом справа от пристани лодкам. Слышно было, как там зазвенела цепь, потом зачихал и частой дробью зашелся мотор. И вот уж Семен в красной полосатой рубашке достал на своей лодке теплоход, пристроился сбоку.

— У тебя, Петро, деньги с собой есть? — спрашивал он.

— Та есть маленько.

— Ты на меня там штуки две или три возьми. Хватит у тебя? Мне только до дому, я отдам.

— Та хватит.

— А я тебя выручу. Мы с тобой, как штык, сегодня же обратно будем. Твоя Анка раскипятиться не успеет, а мы уж тут.

Виктор сошел вниз, к расписанию. До следующей пристани было больше сорока километров, два часа ходу. Когда он снова поднялся на палубу, лодка Семена уходила с задранным носом в сторону от теплохода, выбрав свой, видимо, более короткий путь, а сам он, накрывшись от ветра и брызгающей воды не то плащом, не то куском брезента и низко склонившись в корме, походил на большую нахохлившуюся птицу. Но примерно через час Виктор услышал из своей каюты, как хриплый, простуженный голос звал:

— Петро! Петро-о!

Виктор выглянул: лодка Семена опять шла сбоку, впереди волны, а Семен сидел в совсем мокром и дырявом плаще и, вытягивая шею, продрогшим басом выводил:

— Петро-о! Где ты, Петро-о?

Затем лодка отстав, исчезла, и голос сдавленно донесся с другой стороны:

— Петро-о!

Но Петро не отзывался.

К пристани Семен поспел раньше теплохода. Спустили трап, и он сразу встал возле него с блуждающей и застуженной, еще не отогревшейся улыбкой. Стали выходить пассажиры — две старушки, одной из которых помогал матрос, женщина с ребенком и солдат. Последним, держась обеими руками за тросяные поручни и все равно сильно шатаясь, спускался невысокий, хорошо сбитый мужик со стриженной под машинку головой, на которой только у лба болтался узкий, как ленточка, светлый чубчик. Лицо Семена на мгновение вытянулось, затем улыбка разошлась на нем еще шире. Он подхватил мужика под руки и, что-то быстро и весело говоря ему, повел к

лодке. С трудом усадив его в носу, Семен что-то спросил. Мужик кивнул. Семен сказал что-то еще, после чего мужик полез рукой в карман, долго возился там и наконец вытащил бутылку. Виктор, наблюдавший за ними, сразу понял, что это не та бутылка, которую ждали, что в ней скорей всего фруктовая вода. Семен с брезгливой осторожностью взял ее в руки и снова что-то спросил. Мужик покачал головой и для пущей убедительности похлопал себя по карманам. Семен долго смотрел на него, надо полагать, до бесконечности признательным взглядом и, припечатав одно из тех коротких и веских слов, которым нет и не может быть замены в русском языке, с силой хлестнул бутылкой о край лодки.

Эх, Семен, Семен, чудак-человек...

После обеда Виктор впервые увидел чаек. Две птицы летели за теплоходом с красивой и важной медлительностью, держась рядом, плавно и торжественно двигая длинными крыльями. Сияло солнце, но небо побелело и подул встречный ветер, который, казалось, загибал и сносил солнечные лучи, путая, куда им упасть, поэтому возникало ощущение, будто греешься чужим теплом. По морю заходили волны, взбивая пену, и чайки, садясь на воду, сразу терялись в ней. Садились они часто, как только долетали до какой-то определенной черты, которую не хотели переступать, чтобы не оказаться к людям ближе, чем это положено. Затем всякий раз издали доносился гортанный крик, и чайки, как под команду, одновременно взмывали.

Берега по сторонам были все так же унылы и однообразны. Солнце мало веселило их. Лес, не затопленный водой, чудом спасшийся от смерти на кромке своего счастья, словно бы не до конца верил в это чудо и ждал для себя какой-то новой беды. Выглядел он неопрятно и запущенно, со случайно

торчащими в одном месте деревьями, спрятанными прежде в тайге и не готовыми к тому, чтобы стоять на виду. Да и берега как такового, как линии между водой и землей не было, за одним сразу начиналось другое, и даже более того — не успевало кончиться одно, заступало другое. Нигде еще, сколько сегодня плыли, не видел Виктор ни каменишника, ни песку, очерчивающих эту границу, нигде не возник перед глазами яр с красками глины и камней в стене, с аккуратно выложенным красным плитняком подножием. Когда-то теперь все это установится, отстоится, придет в порядок и красоту.

Но иногда вдруг появлялись поля, и сразу отходило на душе. Этот небольшой просвет в заунывной синеве чащи был как желанный отдых посреди долгого и утомительного пути. Где-нибудь на краю поля чисто и бело теплилась березовая роща, дальше, где (он знал на память) даже тени светились отраженным сиянием, прозрачной зеленью курились кружочки полян. И так хотелось перенестись туда, уткнуть голову в траву, на которой замысловатыми кружевами сквозь листья деревьев играет солнце, и уснуть, оглушенному цырканьем кузнечиков и важным, державным шумом верхового ветра.

Но, развернувшись, поле исчезало, и опять наплывал сырой и сумрачный лес, платящий бесконечной тоской за то, что, не спросясь и не подготовив, его вывели на передний план.

Вода разошлась еще полней, умножившись в воды; ее слепой могучий разлив вызывал какое-то неопределенно-зыбкое, словно миражное чувство удивления и растерянности. С глухим гулом возились волны, едва намекая на скрытую изнутри силу, по волнам ходили яркие и резкие блики падающего солнца, в холодном ветреном мареве дробились берега. Далеко справа прошла навстречу самоходная баржа,

груженная лесом, с нее доносилась музыка, и видно было, как на веревке треплется белье. Длинным усталым звуком свистел в пустом воздухе ветер, ищущий преграды и забавы. И такой же продолговатой впадиной, в которой лежало море, как верхняя прозрачная створка, висело невысокое вытянутое небо.

Строгая и по-своему красивая картина. Только все в ней было как-то просто и ясно, как в сколоченном собственными руками ящике, которым можно гордиться, но в котором знаешь каждый сучок. Не витал в поднебесье над этими многими водами чистый и ветхий дух тайны, заставляющий в детском изумлении перед красотой вопрошать ежедневно и ежечасно: как, зачем, с каких пор, откуда это взялось и продолжает браться? Перестала трепетно и пламенно, обмирая от глубины, биться душа над пропастью времени, и ушло, закрылось прочной крышкой ощущение вечности. Все здесь было понятно — и как, и зачем, и с каких пор, и с какой целью.

Ветер натягивался, смелел, покачивало уже не на шутку. Но чайки все так же, то садясь, то снова взмывая, продолжали лететь за теплоходом. Только крылья их стали как бы короче и махали они ими чаще, с видимым усилием преодолевая ветер. Но что-то, какая-то важность, какой-то смысл заставляли их все лететь и лететь.

Виктор попробовал читать и не смог. С тех пор как он сам начал писать, чтение перестало доставлять ему обычное удовольствие, когда спокойно и доверчиво следуешь за автором всюду, куда его понесет, когда происходящие в книге события и участвующие в них персонажи воспринимаются как случившаяся реальность, независимо от того, нравятся они или нет. И отношение к литературе легко вмещалось прежде в три довольно категорических измерения: хорошо, плохо, так себе. Теперь же появился чисто

профессиональный интерес. Ох, уж этот профессиональный интерес... ни дна бы ему, ни покрышки.

До чего было просто раньше и до чего трудно сейчас — будто ты находишься на постоянном дежурстве и не хочешь, да видишь, как ерзает, а то и бьется в мучительных судорогах неправильно поставленное слово, как беззастенчиво хихикают или аукают посередь серьезного разговора, потому что им делать тут нечего, пустые, ненужные фразы, как врет, соловьем заливается во лжи какой-нибудь положительный герой, купаясь в громких и почтенных словах, словно в мыльной пене, в то время как он, по мысли автора, должен произносить правду, правду и одну только правду, как вся книга руками и ногами бьет, требуя, чтобы ее читали, и вопя о книжном равноправии, хотя пользы от подобного чтения нет и не может быть. Видишь, понимаешь и не можешь вмешаться — ни помочь, ни одернуть, ни пристыдить. Уж лучше бы не видеть и не понимать. Вся штука в том, что хорошая книга, как и плохая, создается из одного и того же материала, из одних и тех же слов, расставленных, правда, в ином порядке, звучащих в иной интонации и благословенных иным перстом.

Но от хорошей книги, благодаря все той же профессиональной разборчивости, тоже нелегко. Когда при обыкновенном слове «застонала» ты содрогаешься от боли этого стона, когда при названии краски ты ясно различаешь ее оттенки и ощущаешь ее запах, когда ты собственными ушами слышишь звук падающего в книге с дерева яблока и плачешь при встрече двух людей, придуманных фантазией автора, ты пытаешься понять, каким образом все это было достигнуто, какой живой водой окроплено, ты снова и снова перебираешь слова, следуя по ним, как по ступенькам бесконечной лестницы, пытаясь проникнуть в их удивительную

тайну, заставляющую их звучать, пахнуть, светиться и волновать. И ты все видишь, потому что в книге трудно что-либо скрыть, всю вязь слов, музыку их, обозначенную нота за нотой, стыки между фразами и паузы между мыслями — все видишь и тем не менее ничего не понимаешь. Отчаявшись, ты откладываешь книгу и бессильно закрываешь глаза, ненавидя себя за беспомощность, бесталанность и за все остальное, что с этим связано.

Но без книг нельзя. И ты, конечно, читаешь, но, Господи, какая это трудная, нервная и бесконечная работа!

Последние часы перед прибытием были особенно тягостны. Ветер к вечеру поутих, волна спала, море еще колыхалось, но как-то лениво и бессмысленно, больше напуская на себя морской форс. Небо выстоялось и посинело, солнце сходило под уклон чистым, ровно горящим кругом. Чайки за кормой уже и не летели, а плыли в воздухе, изредка вздрагивая крыльями. Что вело их за теплоходом — красота ли его, или что другое? С вязким, замедленным звуком шумела за бортом вода, вяло трепыхался наверху флаг, утихли по своим углам ребятишки, весь день с нарочитым, громким топотом бегавшие по гулкой палубе, — все вокруг выравнивалось в общем большом ожидании всякого разного: темноты, отдыха, пристани, новизны.

Прежде Виктор наизусть знал места, мимо которых сейчас плыли. Начиная с пятого класса он учился в райцентре, в пятидесяти километрах от дома: ближе средней школы тогда не было. На зимние и весенние каникулы добираться в деревню много раз приходилось пешком — машину за ним, конечно, никто не посылал, а попутки в эту сторону выпадали редко, а если и выпадали, то недалеко. Сейчас и самому с трудом верится: 12-летним мальчишкой он за день отмахивал все пятьдесят километров. Шел и вел свой счет: десятая

часть дороги позади, шестая, четвертая, третья... стараясь обмануть себя и оставить впереди поменьше километров, чтобы потом, когда он совсем устанет и будет двигаться медленно, они таяли сами собой.

Но теперь он ничего не узнавал. Даже по заливам вдоль речек, по распадкам невозможно было определить, где и что. Все сошлось и размылось в одной длинной и отчужденной картине тайги. Что удивительного: он ходил тогда не по чаще — по дороге, а дорогу ту унесло водой. Приходилось ориентироваться только по времени, указанному в расписании.

Оставалось час, полчаса, затем и того меньше.

Пора было собираться. Виктор уложил чемодан и в последний раз выглянул в открытое окно. Теплоход заметно прибивался к берегу, который по-прежнему был заперт глухой стеной леса. Даже тут, на подступах к родной деревне, ничто не отзывалось сердцу, бившемуся в сладостном и тревожном волнении, ничто не откликалось на его зов, словно Виктор ехал сюда впервые.

— Как ты мог?! Как мог?! Как тебе не стыдно?! — вдруг услышал он быстрый, срывающийся голос и, обернувшись на него, невольно, чтобы не выдать себя, отшатнулся. Он ожидал там увидеть кого угодно, но только не их, не этих до бесконечности счастливых вчера друг другом людей, за которыми Виктор наблюдал сначала в ресторане, затем вечером на танцах, любви, согласию и открытой нежности которых завидовал с щемящей и печальной ревностью. Что-то у них случилось. Жена с пылающим от злости, резко очерченным лицом подступала к мужу — тот, морщась, отмахивался:

— Перестань. Надоело. Иди в каюту, не кричи тут.

Рядом в спокойном ожидании, словно подобные сцены для них были не в диковинку, стояли прохожие

на близнецов мальчик и девочка.

М-да, хмыкнул Виктор, вот еще лишнее доказательство того, что любое счастье недолговечно. И все же он расстроился. Неужели они не могли потерпеть пятнадцать, меньше — десять, пять минут, чтобы он успел уйти и ничего этого не узнал, чтобы в его памяти они навеки остались прекрасной и надежной, потому что он сам был ее свидетелем, легендой о неумирающей любви в одном человеческом гнезде.

Он попрощался с проводницей, которая пришла, чтобы вернуть ему билет, и спустился вниз. В проходе по правому борту уже толпились с вещами пассажиры. Виктор встал с краю, у барьерчика, так, чтобы видеть берег. Далеко впереди показались штабеля леса, перед ними широким рукавом уходил в тайгу залив. И сразу, как только оттянулся назад гребень горбатого мыса, открылась площадка, к которой сбегались люди, и за деревьями засветились крыши домов. Теплоход дал гудок и круто повернул к берегу.

И странно, Виктор еще не сошел с теплохода, а тот для него уже не существовал, он как бы отдалился, померк. В душе была звонкая горячая пустота: от одного состояния он уже отказался, другое еще не наступило. И гулко и нетерпеливо стучало в голове, выдавая волнение. В толпе, собравшейся на берегу, он стал узнавать знакомых, среди ребятишек отличил своих племянников, двух светлоголовых, коренастых мальчишек, на лицах которых, как и у него, явно проступало далекое, но непобедимое из рода в род тунгусское происхождение. В сторонке, надвинув, как всегда, кепку на глаза и засунув руки в карманы, стоял отец. К нему подскочили племянники, стали что-то наперебой говорить и показывать руками на теплоход — отец встрепенулся и подошел ближе, туда, где уже опускался на землю трап.

— Что ж ты не написал, — радостно и быстро заговорил он, когда Виктор сошел и они поздоровались. — Мы и не ждали. А мать-то, мать-то сном-духом не чает. Ну, сейчас засуетится.

Виктор похлопал по спинам племянников и, перед тем как уходить, оглянулся на теплоход. На палубе, как раз напротив его каюты, прямо и неподвижно, но уже одна, без мужа и ребятишек, стояла все та же женщина из обманчиво-счастливой семьи. Ее отрешенное, горько-торжественное лицо было обращено куда-то в пустоту, глаза смотрели оцепенело и невидяще. Виктор поискал в себе и не нашел ни жалости и ни сочувствия к ней: на счастье и на несчастье одинаково надо иметь двери, а не выставлять их напоказ каждому встречному.

— Ну, пойдем, что ли? — заторопил отец.

— Пойдем.

За разбитой тракторами, широко растянутой дорогой они взяли влево и пошли через оставшийся у берега кусок леса. По обглоданным и примятым кустам голубицы и жимолости Виктор узнал его: тропинка к ягоднику начиналась прежде у кладбища и недалеко отсюда сходилась с дорогой на елань. Вон куда поднялась вода: до старого берега здесь было никак не меньше двух километров — да еще в гору. Где-то тут же, он помнил, стояла тогда пустошка из молодого, на редкость густого ельника, сквозь который продраться можно было только чуть ли не ползком и в котором высыпали самые первые рыжички. Виктор осмотрелся, но пустоши, конечно, не нашел. Среди деревьев бродили телята, рылись свиньи, почему-то все пятнастые, похожие одна на другую; вышагивали, высоко поднимая ноги, курицы.

Впереди, прыгая через коровьи лепешки и вспугивая с них больших зеленых мух, бежали племянники. Старшего звали Санькой, имя младшего Виктор забыл: когда он приезжал сюда в последний раз,

тому было года полтора, он едва-едва переваливался на своих коротких, неимоверно кривых ногах, которые у него постоянно норовили заплестись. Сейчас ноги как будто выпрямились, по крайней мере, до вполне допустимой нормы. Отец шел сбоку; Виктор заметил, что походка у него стала совсем стариковской, тяжеловатой, он двигался, приседая больше обычного, как бы скрадывая кого-то и выкланиваясь вперед. В прошлом году у него замкнулся шестой десяток — не шутка.

— Надолго приехал? — осторожно спросил отец.

— Не знаю еще. Поживу.

Он и в самом деле не мог сказать ничего определенного. Как получится, загадывать сейчас не стоит. Лето у него было свободно, и он втайне надеялся, если все пойдет хорошо, полностью провести его здесь, поработать и отдохнуть. Через месяц у жены отпуск, и тогда они с сыном, очевидно, тоже приедут сюда — на чистый воздух, на парное молоко, на свежую зелень и ягоды. Виктор поможет отцу с матерью накосить сена и дождется августа, когда полезут грибы, — он не знал большего душевного удовольствия, большой радости, чем выйти с корзинкой сразу после утренней росы в лес, в те особые, хорошо известные ему заповедные места, которые облюбовали рыжики или грузди, и, нацелившись, насторожившись, в подступающем горячем азарте уже с опушки сделать первый широкий огляд.

Они вышли на улицу и стали подниматься по ней вверх. Виктор с интересом осматривался. Какая уж тут деревня — перед ним был большой рабочий поселок. В ту и другую сторону несколькими длинными порядками уходили ряды домов, вовсю дымила труба какого-то явно производственного назначения, под ней краснело приземистое здание кирпичной кладки.

— Сколько же у вас теперь здесь улиц? — спросил он у отца.

— Улиц? — загибая пальцы, отец стал считать. — Внизу — Набережная, у поля — Нагорная, где школа стоит — Школьная. Наша — Криволуцкая, тут из Криволуцкой деревни больше живут. А еще есть Почтовая — по почте. Пять или шесть. Сначала каждая деревня своей улицей строилась, а теперь все перепуталось.

— И много всего народу?

— А шут его скажет. Я, почитай, половину не знаю. Хозяев еще знаю, кто своим домом живет, а тут теперь полно вербованных. Эти сюда едут, обратно бегут, их не упомнишь.

На тротуаре везде лежали собаки. Они лениво приподымали головы, смотрели навстречу задумчивым, оценивающим взглядом, но с места не двигались, и их надо было обходить. Коровы захватили мелкие, запущенные канавы вдоль тротуаров. У ворот стояли люди, вышедшие посмотреть, кто пройдет с теплохода; Виктор здоровался со всеми подряд, знакомыми и незнакомыми, ему отвечали и спрашивали у отца:

— Сына, значит, дождался, Степаныч?

— Дождался, — говорил отец.

С одной улицы они свернули на другую, перешли на противоположную сторону. Отец приостановился:

— Узнаешь?

Нет, он не узнал свою избу и, будь один, наверное, прошел бы мимо. Она показалась ему теперь совсем маленькой и старенькой, с полуслепыми, как в зимовье, окошечками, с почерневшими, потрескавшимися бревнами в стенах и нелепо торчащими неровными углами. Но это была она, и теплое и горькое чувство благодарности и вины нахлынуло на Виктора и сжало его сердце.

— Что это вы гостей не встречаете? — крикнул отец.

— Каких гостей? — услышал Виктор испуганный голос матери из сеней и побежал на него.

Через час уже сидели за столом. Собрались все свои: отец, мать, дядя, или, лучше сказать, Николай, брат отца, которого Виктор дядей никогда не называл, потому что тот был старше Виктора всего на каких-то пять лет и у них давно уже установились простые и приятельские отношения; жена Николая — Настя, женщина удивительно спокойная и добрая, с чуть тяжеловатым от излишней доброты лицом; их ребятишки — Санька и Генка, встречавшие Виктора на пристани и неожиданно оказавшиеся вовсе никакими не племянниками ему, а двоюродными братьями; Галина, по родственному узелку тетка Виктору, которую он теткой тоже не называл, хоть она была старше Николая; Галину раньше знал весь район, она получила орден за колхозный огород, а теперь, оказывается, работала уборщицей в школе. Бабушка к столу не пошла, осталась сидеть у себя на кровати, куда ей подали чай, и она пила его вприкуску с пиленым сахаром, привезенным ей Виктором из города, и внимательно прислушивалась к разговору, изредка вступая в него и опять умолкая, чтобы заняться чаем.

Отец разливал водку и рассказывал, как Санька с Генкой первыми увидали на теплоходе Виктора и побежали к нему, а он долго не мог понять, о чем они трещат, потому что никто сейчас Виктора не ждал.

— А я знала, что он в этом году приедет, — заявила мать. — Может, на первый пароход не надеялась, а вообще все равно знала.

— Откуда ты знала?

— Оттуда. Знала и знала.

Она сильно постарела и сгорбилась, и Виктор смотрел на нее растерянно, с нежной и печальной недоверчивостью: неужели это она, его мать? Что с ней сталось? Да и отец тоже… У отца за ушами появились

глубокие впадины, обозначив череп, голова выглядела по-детски маленькой, сухое лицо полностью исчертили морщины. И только бабушка, казалось, не изменилась, словно ей стариться дальше было уже некуда и она уперлась в какую-то последнюю невидимую черту, за которой на этом свете нет продолжения. Виктор поймал себя на том, что испытывает к этим родным, самым близким ему людям странное чувство любви и отчуждения, сопротивления им, их старости, их движению в извечную человеческую сторону, куда на невидимой и молчаливой неослабной цепочке они невольно тянут и его. И уж мерещилось, верилось ему, что он приехал сюда только затем, чтобы понять, как далеко он продвинулся вслед за ними, где, на какой отметке теперь находится, и попросить, уговорить их, чтобы они не торопились.

Разговор больше всего шел о старой деревне, о том, кто куда из нее уехал, как сложилась их судьба. Вспоминали колхоз, в котором жили бедно, но весело и дружно, вместе сходились в рабочем азарте, когда подступала страда, и вместе сходились в обмане, утаивая сотки от налогов, когда приезжал кто-нибудь переписывать огороды, или ссылаясь на болезни, когда дальше тянуть с личным сенокосом было нельзя. И, разбереженная, растравленная воспоминаниями, всхлипнула Галина, пожаловалась:

— При колхозе я хоть человек была, а теперь…

— Ну и ехала бы с колхозом, — сказал Николай.

Она с неожиданной злостью огрызнулась:

— А ты почему не поехал?

— Мне не надо. Мне и здесь хорошо.

— Ну и мне не надо. Куда я от своих? Хотя моя судьба такая была: на земле работать, а не грязь за ребятишками каждый день подтирать.

— Ага, — вдруг громко и радостно заговорила бабушка с кровати — радостно потому, что вспомнила,

не забыла вставить кстати. — Вот Лукея уехала и году не прожила. Это как? А если бы ее не трогали? — И уже очнувшимся, отрезвевшим голосом, с болью и стоном сказала, обращаясь к одному Виктору: — Померла ведь Лукея-то, царство ей небесное, померла. Все, сказывают, тосковала, обратно просилася. Тут хошь елань своя, а там все до капельки чужое. Она и не вынесла. Сильно, сказывают, плакала перед смертью.

— А как вода поднималась? — стал спрашивать Виктор. — Сразу или как обычно прибывала после дождей?

Они помолчали, собираясь с воспоминаниями и медленно погружаясь в то недалекое, но важное, переломное для всех для них время, когда это случилось.

— Ты думаешь, валом? — заговорил отец и покачал головой. — Нет. Но ходко. — Он еще помолчал. — А я перед тем все спускался туда. На бережку посижу, по улице, где избы стояли, пройдусь…

— Тянуло, — подтвердил Николай. — Я тоже ходил. Она ругается, — он кивнул на Настю, — то, се надо по дому, а меня туда манит. Уж знали, что вот-вот будут затоплять. Жалко. Вроде как прощаться ходили. С работы приду, поем — не поем, а уж под гору надо. Воровски убегу и прячусь где-нибудь. Видишь: в одном месте наш бродит, в другом… Дядю Егора Плотникова Мишка каждый день матом оттуда выгонял. Сядет и сидит, ночь — не ночь, он как пристынет.

— Ага, — вскинулась бабушка, слушавшая до того с нетерпеливо-мучительным напряжением на лице. — А мертвых утопленниками сделали — это как? Они уж померли, а с ними все равно не посчитался. Это как?

— Да что уж сейчас про мертвых говорить…

— А пошто не говорить?! Там твоя бабка лежала. Все наши там лежали. А теперь где их искать, под каким берегом?

— Ну вот, — стал продолжать отец. — А в последний раз так было. Только с горы спускаться, гляжу: река уж взбучилась, кипит. Я скорей туда. Боюсь, не утонуть бы, а ноги несут, не удержишь. До дороги добежал, а вода с другой стороны, как раз до нашего двора дошла. И лезет, лезет, глазом видно, как лезет. Я прячусь от нее, но смотрю, не убегаю. Сор подняло, какой был, угли, крапиву, лебеду теребит. До избы докатилась, где изба наша стояла, и воронкой давай крутить — в подполье, значит, кинулась. Пока смотрел, оглянулся, а она уж меня со стороны обошла, уж грести надо. На первую гору за Егоровым огородом залез, вижу, народ из деревни бежит. А сначала один был, никого больше, первый ее, холеру, встретил.

— А мы в тот день на покос ходили, — вспомнила Настя. — Ты был тогда, нет ли? — повернулась она к Николаю.

— А кто с тобой, интересно, еще был, если не я? Может, Степка-казак на нашу корову косил?

— А, был, был. Туда утром ушли — все ничего, обратно к речке подбегаем — батюшки вы мои! — это что ж такое на белом свете деется! Мостик через речку сорвало, он, голубчик, посередке плавает, а вода по траве — ш-ш-ш — так и шумит, так и шумит. Как домой попадать? Полезли мы опять в гору. Далеко-о пришлось обходить, до старой верховской дороги дошли — нигде больше не перебраться. Бегу и боюсь: а ну как все на свете этой водой затопило — и старую деревню, и новую. Он, — на Николая, — на меня кричит: дура да дура. А что дура? Ежели никогда такого не бывало, поневоле испугаешься. Откуда что знаешь? Долго ли ошибиться, кто эту воду пускал. Потом ее разве остановишь? А там ребятишки — конечно, сердце не на месте. В потемках уж на поля выскочили — слава Богу, живы наши избенки, стоят. А там, где старая деревня была, вода блестит.

— В первый год она только на нижнюю гору поднялась и приостановилась. Прибывала, но так, потихоньку. На другое лето дальше полезла.

— А вот точно все-таки сказали, докуда дойдет. Умеют распознавать. Гришка Суслов огород свой ниже отметки пустил, и пол-огорода затопило.

— Зато теперь рыбы полно, — сказал Николай.

— Много рыбы? — обрадованно переспросил Виктор.

— Много. Только какая рыба: окунь, сорога, щука. Щуки здоровые есть, как бревна. А мясо у ней уже не то, правда что как деревянное, и тиной отдает. У нас их даже свиньям скармливают.

— А хариус, ленок?

— Откуда? Это чистая рыба, и вода ей нужна чистая, проточная. За харюзом теперь надо в верховья Куя идти. Ходят, есть такие. Если долго проживешь, можно договориться с кем-нибудь. Вот хоть с дядей Егором Плотниковым, тот ни окуня, ни сорожину эту не признает. Ему старую рыбу подавай, чистопородную. А мы уж и вкус ее стали забывать, какой она была. Теперешняя есть — и ладно.

— Сколько погостить-то у нас? — спросила мать.

И опять Виктор ответил неопределенно:

— Не знаю. Пока не надоест.

— Рассказал бы хоть, как живешь? Все свои книжки пишешь?

— Пишу.

— И теперь все равно пишешь?

— И теперь пишу.

— А что ругали-то тебя, ничего тебе за это не было?

Виктор заметил, как при последних словах матери все замолкли и насторожились. Галина тихонько, чтобы не брякнуть, опустила на стол ложку и, склонившись над столом, подалась вперед. Во внимательном ожидании замер отец. Настя даже и не цыкнула, а только одернула за рукав Генку, когда тот некстати

завозился на своем стуле. И в голосе матери, когда она спрашивала, чувствовалось напряжение.

— Когда ругали, за что? — не понял Виктор.

— Ну, за писанину-то за эту. В газетке. Нам учитель нарочно газетку показал, чтоб знали. Жива она у тебя, отец?

Отец молча полез в тумбочку и подал Виктору газету.

— Вот, — сказал он, заметно волнуясь. — Там, в конце.

— У нас все спрашивают, уволили или нет, — говорила мать, — а мы и сами ничего не знаем. Я уж всякое передумала. А тут еще бабка наша спокою не дает: что да что тебе за это будет?

Виктор развернул газету и нашел на четвертой полосе небольшую статью о своей последней книжке рассказов. Он вспомнил эту рецензию, появившуюся месяца полтора назад в областной газете, читал ее, но не придал ей тогда никакого значения. Разве можно всерьез относиться к тому, что тебя упрекают в каком-то излишнем психологизме, в излишнем копании в душах людей, в том, что в твоих рассказах нет явно выраженных положительных и отрицательных героев, а есть персонажи с расплывчатой жизненной философией, которых, не знаешь, можно ли взять себе в друзья. Как будто друзей ищут в книгах и ищут по принципу: кто громче говорит. Рецензия была неинтересной, из тех, что составляются из вечно торчащих наготове услужливых резиновых фраз, имеющих необыкновенную способность годиться по любому поводу, — вот почему Виктор сразу забыл о ней.

— А, это, — улыбнулся он и отдал газету отцу. — Это чепуха.

За столом помолчали. Потом мать недоверчиво сказала:

— В газетке пропечатано.

Ну и что — в газетке. Там тоже люди работают — значит, как и все мы, могут ошибаться. Меня, конечно, есть за что ругать, но то, что он насобирал тут, — чепуха. — Виктор не знал, как лучше объяснить им все это, и стал объяснять долго и путано. Едва ли его поняли.

— Ты все-таки поосторожней там будь, — сказала мать. — Мало ли что.

Ему ничего не оставалось, как, улыбаясь, согласиться:

— Хорошо, мама.

Эту ночь от спал в небольшом дощатом пристрое к сеням, приспособленном под кладовку. Тут было прохладно, остро пахло затхлой горечью и овчиной, где-то в углу скреблись мыши, и все равно сон его, как в детстве, был полным и глубоким. И проснулся он от утра — от кудахтанья куриц во дворе, от сытого, терпеливого мычанья коровы, от бодрого и тонкого, доносящегося отдельно, словно по особому каналу, чириканья воробьев, от солнечных лучей, бьющих сквозь щели в кладовку, — проснулся и, вспомнив, что он в деревне, радостно встрепенулся.

Он вышел на крыльцо и постоял там, давая привыкнуть глазам к яркому солнечному свету. Утро казалось удивительным ясным и чистым, все в нем было на виду и все вызывало волнующее ощущение простора и первозданности, будто только что, час или два назад, на смену прежним выступили свежие, совершенно новые краски. В небе дотаивали после ночи прозрачные, изогнутые, как крылья, редкие белые облака, мягко всплывало в высоту, наливаясь теплом и страстью, солнце, воздух, нагреваясь, слабел, размыкался и парил, за огородами близко, широким полукружьем вздымался лес, а с другой стороны, за крышами домов, сверкающей под солнцем бездной покоилась вода.

Со двора вышла мать с подойником, оттягивающим руку. Увидев Виктора, мать удивилась:

— Ты куда так рано встал? Ложись еще, поспи. У нас в эту пору только хозяйки подымаются.

Виктор по-прежнему щурясь от солнца, улыбнулся и не ответил. Спать он сейчас все равно бы не смог. Утро, раннее по часам, но уже поспевшее, полное, вызывало редкое и пьянящее чувство соучастия в нем, в его скором и счастливо удавшемся наступлении, и от чувства этого, как от всякого доброго дела, становилось радостно и чутко на душе, хотелось нового, столь же большого и необыкновенного дела и нового удовольствия от него.

Сам не зная, за что ему взяться и к чему прикоснуться, он пошел в огород, скинул у ворот тапочки с ног и босиком зашагал по черной, недавно поднятой, холодной земле. Пахано было плугом, на поперечных межах еще не затянулись зеленью следы копыт и круги от плуга, когда его переводили из борозды в борозду. Посреди огорода стояли две лиственницы, которые отец, видимо, не решился тронуть, одна из них еще зеленела, вторая торчала сухостоиной. На длинной огуречной гряде топорщились в лунках крепкие, шершавые ростки. Картошку еще не сажали, и Виктор с удовольствием подумал, что не минует нынче эту простую, бесхитростную работу, как не минует и многих других крестьянских работ, полузабытых в деле и оттого кажущихся еще более привлекательными.

Потом ему было приятно, сидя на крыльце, бросать курицам зерно и наблюдать за их голодной суетой, которая по мере насыщения превращалась в задиристую и шумную игру. Среди куриц прыгали воробьи, безбоязненно выхватывая корм из-под самого куриного носа, то и дело вспархивая и тут же опускаясь обратно. Из закутка за амбаром вывалилась свинья,

разогнала и куриц и воробьев и завозила своим носом, как магнитом, втягивая вместе с остатками птичьего корма землю.

Виктор решил пойти в лес.

Он выпил стакан парного молока, но не стал ничего есть: мать растопила русскую печь и гоношила пирожки. За завтраком, чтобы угодить ей, надо было постараться, так что не стоило перебивать аппетит.

По проулку, забитому лежащими коровами, он неожиданно попал за огородами на аэродром. Сбоку, на выходе из деревни, стоял большой новый дом с белым опознавательным крестом на крыше и со сходящимися на верху высокой мачты антеннами радиостанции. Посадочное поле, переиначенное из поля хлебного, красиво и ровно было размечено белыми столбиками. Но и здесь лежали коровы. Виктор, приостановившийся было, не зная, можно ли по нему ходить, приободрился и направился напрямик. И все же он шел по полю с каким-то странно-недоверчивым, странно-путающимся чувством удивления и обиды, словно его в чем-то обманули, но обида и удивление состоят не в том, что его обманули, а в том, что обман этот никак не может обнаружиться.

Вдоль аэродрома с верхней стороны была вырыта канава, отводящая от него талые воды с горы, но стенки ее осыпались и канава давно вихляла, норовя пробить свой, удобный ей путь для воды. Сразу за ней начиналась сосновая пустошка, где когда-то было полным-полно маслят. Но маслята тогда за грибы не считали, так разве, на жареху-другую свеженьких набрать, а потом на них никто и не смотрел, подходили рыжики, грузди. И вообще от незнания ли, или от великого богатства все остальные грибы называли поганками и не брали их. И правда, рыжиков на всех хватало, их солили на зиму огромными кадками, а гриб этот до самой весны остается твердым и запашистым.

Виктор хотел пойти по пустошке, он знал здесь каждый угол и отдельно помнил многие деревья. Но оказалось, что идти по ней невозможно, она лишь со стороны сохраняла видимость леса, с нижнего края, а внутри была почти полностью вырублена. Слишком близко стояла она от новой деревни, где городили огороды, ставили стайки, и это ее погубило: сосенки извели на жерди, на слеги. На земле черными завалами, через которые не пробраться, лежали сучья, пожухла и вросла внутрь хвоя под ногами, торчали остренькие высокие пеньки. Кое-где виднелась и свежая работа: то, что подрастало и годилось для дела, в дело под скорым топором и шло. Виктор успокоил себя: зато там, откуда снялись деревни, перебравшись сюда, лес больше трогать некому — даже на веники, на могильные кресты и новогодние елки. А здешнему такая, видно, выпала судьба — никуда теперь от нее не денешься.

Он долго поднимался в гору по опушке, часто оглядываясь и ожидая, когда скроется деревня. Но край ее все время был виден, с нижней стороны он сходился с водой, открывающейся отсюда так широко и богато, что невольно хотелось ущипнуть себя, чтобы проверить, не снится ли это ему где-нибудь в глухую недобрую ночь с тоски по родным местам. Потом опушка кончилась, он повернул вправо и вышел на тропинку, но, пройдя немного, бросил ее: рядом с тропинкой припарилась неизвестно откуда взявшаяся тракторная дорога, по обочинам которой, как заборы, валялись стасканные в кучи деревья с высоко торчащими необрубленными ветками. И он пошел просто так, куда глаза глядят и где удобней идти, всюду натыкаясь на знакомые, памятные ему уголки. Вот здесь, под этими черемуховыми кустами, вылезало столько сырых груздей, что их можно было брать каждый день; вот здесь он, впервые осмелившись, схватил рукой змею и притащил ее в деревню, но эту смелость в нем вызвала

месть, он собирался подбросить змею Нинке, не ответившей — умри, несчастная! — взаимностью на его любовь; а вот здесь они, ребятишки, ставили шалаш — деревянный почерневший клин до сих пор еще торчал в сосне. Он останавливался, подолгу стоял, внимательно, с какой-то излишней пристальностью и дотошностью вглядываясь в траву, в деревья, словно пытаясь установить важную для себя связь с собой же, каким он был в те годы, — и отходил ни с чем.

Потом он неожиданно набрел на лужайку, которую почему-то не помнил, не знал о ее существовании, точно она появилась здесь после него. Это было уже далеко от деревни. Он шел без дороги, надеясь, что наткнется на тропинку и начнет потихоньку спускаться вниз. Мать, наверное, теперь беспокоится, а пирожки остыли. В раздумье он не сразу заметил, что из невеселого, в колодинах, леса попал совсем с другой мир.

Здесь было просторно, светло и празднично. Раздвинувшись, чтобы не застить друг другу свет и не тянуть друг у друга влагу из земли, важно и фасонисто, как барыни-боярыни, стояли полные и пышные березы с широко раскинутыми, свешивающимися вниз тяжелыми ветками. Листья на них были еще клейкие, как чешуя, и нежные, с тонкими, бледными прожилками, каждый по отдельности листочек представлялся знобко-притаившимся, пугливым, а все вместе они вызванивали длинную и счастливую песнь покоя. Кружась перед главами, пятнистые стволы берез, омытые весной, вызывали смутное и далекое, блаженно-скорбное томление, то озаряющееся внезапной вспышкой, когда чудилось, что вот-вот оно откроется и назовет свою тайну, то снова покрывающееся туманом. В узорных корявинах и царапинах стволов собирались и обрывались вниз капли сока. Внизу струилась и плавилась тень от берез и цвели подснежники; от

невысокой и ровной, будто подстриженной, травы, над которой гудели шмели и порхали бабочки, шёл густой, терпко-медяной дух и веял вздымающимися волнами тихий, молитвенный шелест. И далеко-далеко, дразня и пугая, обносил своим гаданием звонко-равнодушный голос кукушки.

И так хорошо, так сладостно-жутко от жизни и солнца, так удивительно и счастливо было здесь, что от этого невыразимого, несусветного счастья хотелось плакать.

После обеда мать, загремев ведрами, собралась за водой. Виктор окликнул ее:

— Куда ты? Полный бак вон воды. Куда еще?!

— Ой, Витя, — махнула она рукой на бачок. — Я хочу самовар поставить, а эта вода на чай нехорошая. Она из водокачки, какая-то сильно жесткая. Голову, например, ею нельзя мыть, потом никаким гребнем волосы не раздерешь. На варево мы ее еще берем, а на чай с реки таскаем, хоть и далеко.

Виктор успел заметить одну особенность: когда дело касалось воды как таковой, которую можно набрать, принести, в которой можно купаться, ловить рыбу, здесь говорили «река»; когда же речь заходила о движении по этой воде, увеличенном во много раз по сравнению с прежними расстояниями, говорили «море», хотя в действительности это было ни то ни другое, у этого понятия имелось свое точное слово — «водохранилище», но уж больно оно было громоздким и неповоротливым, язык, произнося его, казалось, перемалывал валуны.

— Что я — воды не принесу? — обиделся Виктор. — Сказала бы.

— Ну, сходи, если охота. Я думала, ты устал, набродился уж где-то сегодня.

— Как идти-то, чтобы поближе?

— Вот по этому заулку. Прямо и прямо, пока не упрешься.

Он подцепил ведра на коромысло и, позванивая ими, вышел на улицу. Тянул ветерок, но все равно было жарко; лето нынче начиналось каленое, пора бы уж взойти, показаться дождям, поддержать ту влагу, которая еще оставалась в земле. Здесь не пашут и не сеют, а лес валить можно в любую погоду, но и здесь по привычке думают о хлебе, о тех, кто пашет под него и сеет, и здесь держат огороды и косят сено.

Набрать воды оказалось непросто. У берега хлюпала волна, и вода была красной, глинистой — такую обычно несет весной с полей. Виктор потоптался, потоптался возле лодок, которыми был заставлен берег, зашел в одну, другую, черпая с кормы и выплескивая обратно, — эту воду не то что пить, на огурцы добрая хозяйка посовестится выливать. Что же делать? Не возвращаться ведь с пустыми ведрами обратно? Виктор стал раздеваться и не заметил, как сзади к нему подошел мальчишка.

— Купаться, дядя, будете? — спросил он.

Виктор недовольно обернулся: вот уж готов и первый свидетель, очевидец того, что он не умеет из реки, из моря, из водохранилища, из всего сразу набрать обыкновенной воды. Не все же они тут для этого раздеваются догола, наверное, как-то обходятся по-другому.

— Купаться, — ответил он. — У вас здесь поневоле начнешь купаться.

Он подхватил ведро и пошел в воду. Под ногами, как каша, поползла тина, и, поскользнувшись, он чуть не упал. Это его разозлило еще больше: черт знает, действительно, что творится? Дальше он уже с трудом вытягивал из этой засасывающей внутрь каши ноги, но упрямо лез вперед.

— Не-е, — крикнул ему с берега мальчишка. — Надо на лодке.

Виктор все же зачерпнул то, что перед ним было, и, подталкивая ведро впереди себя, кое-как выбрел обратно.

— На лодке надо, — повторил мальчишка. — Этой водой подавиться можно.

— На какой еще лодке? — Виктор стряхивал с себя приставшие соринки и со страхом и брезгливостью наблюдал, как все тело покрывается мелкими, игольными точками грязи.

— Вы к дяде Петру Степановичу приехали? — спросил мальчишка.

— Да.

— Ваша лодка на замке. Вот там она. Можно на нашей.

— И куда?

— Туда, — мальчишка показал в море.

— Вы что же — в лодках теперь за водой ездите?

— А на чем больше?

— И всегда так?

— Не-е, зачем всегда. Если чистая, отсюда берем. Это ветер вчера взбаламутил. Теперь к завтрему то ли отстоится, то ли нет.

— Взбаламутил, — передразнил его Виктор. — Ну что ж, поплыли — где твоя лодка? Лодка-водовозка.

Мальчишке было лет десять-одиннадцать. Плечи его и шея успели загореть до черноты, но из-под майки выглядывал совершенно белый живот. На подвижном курносом лице глаза бегали быстро и деловито, сразу схватывая то, что нужно. Но самой важной отметиной мальчишки были краснеющие на руках цыпки, которые Виктор разглядел, когда мальчишка вставлял в гнезда уключины весел. Давно он не видел ребятишек с цыпками, теперь это аккуратный стал народ, и обрадовался им как старым знакомым, с которыми

когда-то расставался редко. О, цыпки, цыпки, детки воды и грязи, скулящие по ночам даже под гусиным салом с бесконечной голодной требовательностью, так что не разжать без боли рук и не двинуть ногой, а утром как ни в чем не бывало снова готовые на любые приключения. Как же без цыпок? Есть, есть, значит, на свете мальчишки — не одни только мальчики. Молодцы, мальчишки!

Они отгребли от берега метров на сто, и Виктор достал наконец свою воду, которая по затраченным усилиям вполне стоила живой. В ней, правда, тоже что-то плавало, чернело, крутилось, но это уже не имело никакого значения.

— Купаться будем? — спросил мальчишка.

— Купаться? — Виктор задумался. — А не рано?

— Не-е, вода теплая. Я в этом году уж три раза купался.

— Ну, если не боишься, давай. А мне так даже и полезно сейчас обмыться.

Виктор первым бросился в воду, мальчишка нырнул вслед за ним. Вода обожгла, но скоро Виктор понял, что она действительно терпима, по крайней мере, гораздо теплей той, что была в реке. Течения нет, нагревается быстро. Ребятишкам теперь приволье, а они раньше из реки бежали к разведенному на берегу костру.

— Туда, — закричал мальчишка, показывая рукой в сторону торчащих из воды верхушек деревьев.

Они поплыли рядом. Двигался мальчишка быстро и легко, он переворачивался на спину, переваливался на бок, опять переходил на «саженки», демонстрируя перед Виктором все свое мастерство, и видно было, что плыть так он может долго. Виктор уже отставал. Вот, пожалуйста, и преимущество моря: в теплой воде можно научиться как следует плавать. В реке больше пяти минут вынести было трудно.

Они уже подгребали к деревьям. Мальчишка взобрался на сосну, Виктор недалеко от него — на березу. Она согнулась под ним, но выдержала. Вот и второе преимущество: кто прежде мечтал о таких пунктах отдыха средь воды?

— Вы только не ныряйте там, — предупредил мальчишка. — Там где-то под водой елка стоит. Мишка Жуков в прошлом году нырнул и весь бок себе распорол. Кровищи было. Мы его кое-как к берегу приплавили — так красный след сзади и тянулся.

— Ну и что? Живой этот Мишка?

— Живой-то живой. Но бок у него тоже как елка стал. Ему операцию делали.

— Как тебя зовут? — спросил Виктор.

— Филипп.

— Филька, значит?

— Ну, можно и Филька. Только я не люблю, когда так называют. Вроде прозвища. Филипп лучше.

Виктор засмеялся:

— Серьезный ты человек.

— А что? — не понял мальчишка.

— Хорошее у тебя имя — вот что. Ну вздумай его менять, когда вырастешь.

Наверное, у мальчишки, который имеет цыпки, и должно быть такое имя, как Филипп.

— А я уж искать тебя отправилась, — сказала мать, выходя за ворота. — Думаю, не утонул ли где. Нету и нету. Давай сюда хоть одно ведро, отец давно чай просит.

Виктор разговаривал со своим товарищем по детству, веселым и бесстрашным забиякой Славкой Капустиным, вымахавшим теперь в здоровенного двухметрового верзилу с огромными длинными руками и прямыми широкими плечами. Славка окликнул его, когда Виктор подходил со своей драгоценной водой к дому. Оказывается, он жил напротив.

— А я слышу, говорят, какой-то важный чин к дяде Пете приехал, — заливал Славка, прищуривая один глаз. — Не могу понять: что за чин, кто такой?

— Ладно, ладно, не придуривайся, — весело, в том же тоне отвечал ему Виктор. — Чин. Сам ты чин.

— А что — я тоже чин. Я знаешь, сколько пользы государству приношу? О-го-го! Во-первых, четырех ребятишек сделал, и все парни. У тебя сколько?

— Один.

— Мало, мало. Что ты за мужик, если не можешь даже за себя да за бабу свою отработать? Кому-то надо потом вместо вас землю топтать. Ты с этим не шути.

У Славки еще в детстве было одно прекрасное качество: его не приходилось расспрашивать, он сам выкладывал о себе все.

— Работаю на тракторе, в лесу. Дай Бог каждому так работать. По триста-четыреста рубликов чистенькими в месяц. У тебя столько выходит?

— Нет.

— Ну, вот видишь. Переезжай-ка к нам. У нас лучше. Другой народ, все свои. Если кто и обматерит — ну и что, все равно дальше голоса не слыхать. А тебя в газете чуть покритиковали, так об этом весь белый свет знает. Ну, ладно, приходи, посмотришь, как я живу. Хвастать не буду, сам увидишь.

— Приду обязательно.

— А если что — правда переезжай. — Славка громко захохотал. — Но я тебя в свою бригаду не возьму. Обижайся — не обижайся, а не возьму. У меня знаешь как надо поворачиваться? О-го-го! А ты на своей работенке уже не тот. Я тебя Степке Шелковникову подсуну. Он возьмет. Так что подумай.

Сердиться на Славку было невозможно. Есть же такие счастливые люди, у которых все, что бы они ни мололи, выходит складно, ладно и безобидно.

И потянулись дни — ясные, солнечные и долгие.

Виктор никак не мог привыкнуть к тому, что он уже приехал, ему казалось, будто он все еще в дороге и остановился где-то неподалеку от родной деревни, настолько неподалеку, что иногда вдруг нечаянно можно выйти к знакомым местам, памятным по детству и прежним наездам, окунуться в их таинственный и заветный дух и почувствовать в себе чистое и трепетное волнение, отзывающееся на их близость. Он был рядом и все-таки в стороне, и там, где он теперь находился, висело другое небо — однобокое и неровное, сильно смещенное в один край над водой; лежала другая земля, в редкие сокровенные минуты напоминающая ту, на которой он рос, и все же чужая и неясная; гнулись под небом другие горизонты и стояло в центре всего этого другое село — большое, пестрое и шумное. Он готов был поверить, что приехал сюда не вовремя — или слишком поздно, или рано, но не в свой час, затерявшийся неизвестно где по ту или другую сторону от этих дней.

Он много бродил по лесу; ему было приятно идти, окуная ноги в траву, убирая от лица тяжелые тугие ветви и жадно, с какой-то особой обостренностью прислушиваясь к разноголосице птиц, к перестуку заходящихся в дроби дятлов, к шелесту листьев; на его душу упадал мягкий блаженный покой, убаюкивающий все тревоги, но чувство это, он знал, могло возникнуть где угодно, в каком угодно лесу, а не только здесь, в нем не было того единственного, неповторимого более, страстного и глупо-умильного отзвука, который вызывают родные места. Лишившись чего-то главного, основного, какого-то центра, собиравшего их воедино, в один круг, они разбрелись кто куда, превратились в отдаленно-знакомые, постаревшие от времени уголки и казались всего лишь воспоминаниями, которые также могут явиться где угодно.

На третий день после приезда он поплыл с Николаем на рыбалку. Они остановили лодку среди затопленных деревьев, наживили на крючки червей и тут же, у борта, с одной и другой стороны лодки спустили в воду утяжеленную грузилом капроновую нить, оставив конец ее в руках. Вся хитрость заключалась в том, чтобы время от времени поддергивать эту нить, показывая червяка и подсекая рыбу, отчего такое приспособление и называлось дергалкой. Не прошло пяти минут, как Николай вытащил первого окуня. Затем и Виктор почувствовал, как заходила под рукой леска, и стал торопливо выбирать ее. За два часа они вдвоем набросали в лодку больше ведра окуней. Это была почти механическая работа: опустить леску, подождать, поддернуть, еще подождать, еще поддернуть коротким рывком, ощутить отчаяние обманутой рыбины и вытащить ее на воздух. Азарт, охвативший поначалу Виктора, быстро прошел, а ожидание, нетерпение, мучительное и сладкое отчаяние, без которых и рыбалка не рыбалка, не успев назреть, лопались и исчезали, не доставляя обычного в таких случаях наслаждения.

Он помог матери посадить картошку, с удовольствием поливал по вечерам огурцы. Но чаще все-таки не знал, как справиться со временем, и снова и снова шел в лес.

Раза два или три, задумавшись о чем-нибудь, он останавливался посреди села в растерянности и удивлении: где это он, куда забрел? Вокруг стояли незнакомые дома и шли незнакомые люди, которые не имели с ним никакой связи, — приходилось делать над собой усилие, чтобы припомнить, почему он здесь, но и припомнив, разобравшись, найдясь, он все равно испытывал смутное недоумение: ну да, теперь ясно, что тут такое и как он сюда шел, но неясно, зачем он сюда шел, что ему здесь было нужно. И, торопясь, он

поворачивал обратно. Он убеждал себя, что надо подождать еще несколько дней, чтобы привыкнуть, сойтись со всем, что его окружало, в полном понимании и близости, совместить в себе то представление о деревне, которое жило в нем все эти годы, с картиной, которую он здесь увидел, но дни шли, и ничего не менялось. Он знал, что сам виноват в этом, и все-таки не мог с собой ничего поделать.

И он сдался. Оставшись однажды с матерью наедине, он решительно объявил:

— Со следующим теплоходом я поеду.

Она вскинула на Виктора испуганные глаза, долго смотрела на него, не зная, как быть, и сказала:

— Места себе не находишь.

Он согласился:

— Не нахожу.

Через два дня после этого он уезжал. Мать и отец молча и подавленно ждали, чтобы проводить его на пристань; Виктор в последний раз зашел в избу попрощаться с бабушкой. Она с трудом поднялась с постели, заплакала и, плача, перекрестила его.

— Ты уж не пиши там, чего не велят, — сказала она сквозь слезы.

Виктор не выдержал и засмеялся:

— Что ты, бабушка?! О чем ты говоришь?!

О святая простота — как же нам без тебя, как же!

И опять теплоход. Взять каюту на этот раз не удалось: весь теплоход был забит туристами (ох уж эти путешествующие в поездах и пароходах туристы, эти полнеющие женщины и лысеющие мужчины, которые и ног-то не хотят мять и которые весь смысл подобных путешествий видят только в общении между собой, — кто поставит памятник вашей горькой и смешной неутомимости?). Все остальные пассажиры забились по углам и выглядывали оттуда со страхом и любопытством, а вокруг смеялись, пели, бренчали,

гонялись друг за другом, как дети, — теплоход более всего напоминал цыганский табор. Хорошо еще, что мать положила Виктору в дорогу какие-то печенюшки, а то бы пришлось голодать: ресторан был отдан только туристам, а буфет к этому времени они успели разграбить.

Виктор оставил чемодан у старушек внизу, вчетвером сбившихся на одной скамье, и бродил по палубе. Далекие берега были неподвижны, вода спокойной, и теплоход, продвигаясь вперед, создавал видимость медленного и важного встречного течения. Лето набралось, разгорелось еще больше, поднялось выше, по обе стороны от воды все было охвачено его ровным и светлым зеленым огнем.

Дни, проведенные Виктором в деревне, свернулись в один смутный, неразличимый клубок, успевший закатиться куда-то, и Виктор никак не мог поверить, что он уже возвращается обратно. Он пытался понять, что заставило его уехать, можно сказать, даже сбежать из деревни, но попытки эти были слабыми. Кажется, он не жалел, что уехал. Видимо, надо было уехать. Видимо, надо было уехать, чтобы повторить все сначала: сесть в городе на теплоход; любоваться по пути рекой, ее берегами и течением, проснуться на рассвете от странного скребущего звука и увидеть затопленные деревья, новые берега и новые деревни, удивиться и испугаться разливу воды — увидеть и испытать заново все то, что он уже видел и испытал в этой поездке, но быть самому другим человеком, более опытным и спокойным, хорошо и ясно представляющим, куда он едет и что там найдет.

И он знал уже, что так оно и выйдет, — должно быть, скоро.

ВСТРЕЧА

— Надо же, — повторяла Анна. — Надо же, встретились! Кто бы мог подумать! Николай, улыбаясь, пожимал плечами.

Перед этим они долго приглядывались друг к другу, потом Николай, не вытерпев, подошел и спросил: «Вы не такая ли?» — «Такая, — ответила она, — а вы откуда меня знаете?» — «А я вот такой, если вы такого помните, ведь столько лет прошло». — «Ой, — спохватилась она, — а я уж и узнала, спросила и сразу узнала, вы еще и ответить не успели, а я уж узнала». Она подала ему руку. «Надо же, — удивленно сказала она, — надо же, встретились, чего только не бывает на свете! Кто бы мог подумать!»

Зазвонил звонок, созывая людей в зал, но это был только первый звонок, и они, казалось, не услышали его.

«Вы все там же живете?» — спросил он. «Там же, — ответила она, — никуда и не трогалась, а теперь уж и трогаться поздно. А вы где?» — «А я вот там как с войны пришел, так и туда, уж больше двадцати лет прошло». — «Я и не знала, — сказала она, — в одной области живем, а я и не знала».

Звонок зазвонил во второй раз, и она, улыбаясь, оглянулась на зал. Теперь уже надо было идти. После перерыва свободных мест в зале стало больше, и они сели в последнем ряду, где можно поговорить. Сразу же опять начались выступления — это было областное совещание передовиков сельского хозяйства, на которое он приехал с одного конца области, а она с другого, и без него, без этого совещания, едва ли им пришлось бы встретиться.

Они стали слушать выступавшего, но слушать его было неинтересно, и они просто смотрели, как он говорит. Потом Николай не вытерпел и взглянул сбоку на Анну, на ее лицо, и она, чувствуя, что он на нее смотрит, обернулась к нему и улыбнулась настороженной, готовой в любое мгновение разгладиться на лице улыбкой, почти полуулыбкой.

— Бормочет, бормочет, а чего бормочет, непонятно, — сказал он, чтобы что-нибудь сказать.

— Ага, — согласилась она. — Чего уж они не подыскали, кто голосом посильней. Вот наш председатель заговорит, так хочешь не хочешь, а будешь слушать — будто гром гремит.

Склонившись, они облегченно засмеялись.

— У вас все колхоз? — спросил он.

— Колхоз. Года три назад говорили, что совхоз сделают, а потом, видать, передумали — молчат.

— А ты где работаешь? — Он перешел на «ты».

— Дояркой. Давно уж, скоро пятнадцать лет исполнится.

В зале стало шумно, и выступавшего было почти не слышно. Председательствующий за столом президиума сморщился, взял колокольчик и зазвонил. Зал умолк и стал смотреть на председательствующего, на то, как он ставит на стол колокольчик, как, чувствуя на себе сотни глаз, говорит что-то своему соседу, что-то необязательное и первое попавшееся.

— Ты в гостинице остановилась? — спросил Николай.

— Нет, — оглядываясь на президиум, зашептала Анна. — У меня тут тетка живет, я у нее.

Он засмеялся.

— Да ты не бойся.

— Ругаются, — смущенно сказала Анна. — А ты где, в гостинице?

— Там.

Они помолчали, украдкой поглядывая друг на друга, потом Николай склонился к ней и предложил:

— Давай мы вот как сделаем. Сейчас кончится, давай пойдем ко мне.

— А зачем? — осторожно спросила она.

— Поговорим — как зачем? Столько лет не видались! Посидим, поговорим, чтоб никто не мешал.

— Не знаю.

— А чего тут знать?

— Не знаю, что и делать.

— Да ты какая-то дикая стала! — удивился он. — Как девчонка. Я помню, ты в молодости будто не трусливая была.

— Не подначивай, — сказала она. — Поеду, так и быть. Ты меня не съешь.

— Понятно, не съем.

В перерыве они оделись и вышли. На улице уже начинались скорые зимние сумерки, но было тепло, и оттепель эта, наступившая за те несколько часов, пока они сидели на совещании, казалась удивительной. Не верилось, что стоит декабрь, конец декабря, середина зимы. Люди туда и обратно шли одинаково не спеша, отдыхая от морозов и постоянной зимней спешки. При тусклом свете загорающихся в сумерках огней в воздухе висели редкие лохматые снежинки, оставшиеся после недавнего снега, но доставали ли они до земли, было не видно. Машины двигались почти бесшумно, и потому казалось, что они движутся медленно и осторожно.

Николай и Анна сели в автобус, можно сказать, не сели, а стали: свободных мест не было, и им пришлось стоять. Анна, пригибаясь, то и дело заглядывала в окно на мелькающую улицу — отсюда, из автобуса, она выглядела сверкающей и оживленной.

— Садись. — Николай легонько подтолкнул Анну к сиденью, с которого поднялась женщина.

— Да я постою, — стала отказываться она. — Ты говоришь, тут недалеко, можно и постоять.

— Садись, садись, не строй из себя молоденькую.

Она села и, обернувшись к нему, хохотнула:

— Ишь, кавалер!

— А что? — Он подмигнул ей. — Может, скажешь, что я в молодости был плохой кавалер?

— Не знаю, — хитро поглядывая на него снизу, сказала она.

— Ты-то должна помнить.

— Не помню.

Он не стал продолжать ее игру и сказал свое:

— Мы и теперь с тобой не старики.

— К тому дело идет — чего уж там! Мне через два года пятьдесят будет, отжила свое.

— А у меня все пятьдесят со мной, ни один не потерялся, и то не жалуюсь, — бодро сказал он. — Нам с тобой по пять раз еще можно жениться да замуж выходить.

— Ну уж. Ты скажешь.

— А что? Точно.

Автобус тряхнуло, и Николай невольно схватил Анну за плечи, но руку убрал не сразу. Анна съежилась, ожидающе обернулась к нему.

— Испугалась?

— Да нет. Какие тут страхи?

— Поднимайся, — сказал он. — Сейчас нам выходить.

На улице уже совсем стемнело, и только от выпавшего снега, еще теплого и белого, шло вверх ровное голубоватое свечение. Казалось, стало еще теплее, почему-то верилось, что эта зимняя благодать наступила неспроста, что она каким-то образом связана с их встречей.

Они шли к гостинице молча. У широких освещенных окон кружились снежинки. Анна, улыбаясь, одной ногой

загребала снег, оставляя за собой извилистую полосу. Николай смотрел на нее и добродушно ухмылялся. У дверей Анна остановилась и серьезно сказала:

— Страшно.

— Проходи, проходи — чего тут страшного?

— Скажут: ты ему не сестра, не жена — зачем идешь?

— Вот увидишь, никто ничего не скажет. Проходи.

Они поднялись на второй этаж, по длинному и узкому коридору прошли в самый конец. Анна, оглядываясь, бежала впереди. Пока Николай открывал свой номер, она прижалась к стене. Он распахнул перед ней дверь.

— Вот здесь я и проживаю.

— Ты смотри! — удивилась она, щурясь от яркого света. — У тебя тут как у министра какого.

Он, довольный, засмеялся.

— Нет, правда. Я в таких и не бывала ни разу. Телефон, шторы, кресло. Неужели ты тут один и живешь?

— Один.

Все еще удивляясь, она покачала головой.

— Ты раздевайся, — сказал Николай. — Я сейчас.

Он куда-то ушел. Анна сняла пальто, осматриваясь, присела у стола, но сразу же поднялась и подошла к окну. Окно выходило во двор, не забитый ни ящиками, ни бочками, в нем лежал непримятый, как на поляне, снег. Она долго смотрела на снег, потом отвернулась от окна, увидела рядом с собой телефон и бережно погладила сверху его изогнутую, как скобка, зеленую трубку.

За дверью послышались шаги; Анна испугалась и торопливо присела в кресло. Пришел Николай. Шумно дыша, он поставил на стол две бутылки вина, стал доставать свертки.

— Это еще зачем? — нарочито удивилась Анна.

— Гулять будем, Анна.

— Ты с ума сошел!

Он весело хмыкнул:

— Вот и ты скорей сходи, чтобы вместе.

— Но куда же столько вина — ты подумай!

— Пригодится.

Она со страхом и любопытством смотрела, как он режет хлеб и колбасу, открывает бутылки и банки, но страх уже проходил. Она улыбнулась, спохватившись, погасила улыбку, но сразу же улыбнулась снова и с вызовом спросила:

— Значит, гулять будем?

— Гулять, Анна, гулять.

— А, — она махнула рукой, — давай. Говорят, один раз живем.

— Вот это правильно, это по-нашему.

Он разлил в стаканы вино, потирая руки, оглядел стол.

— Как будто все. Ну, давай поближе, Анна. Давай за встречу. Поднимай. Столько лет не видались.

— За встречу, — повторила она.

Они чокнулись и выпили. Анна закрыла глаза, потом осторожно открыла их, опустила стакан на стол. Николай снова потянулся за бутылкой. Анна попыталась его удержать, но он отвел ее руку.

— Ты меня, может, споить задумал? — спросила она.

Он засмеялся.

— Надо же мне когда-то отомстить за старое.

— За какое старое?

— За то, что ты не пошла за меня замуж. Забыла уже?

— Может, и помню, может, и нет.

— А то я могу напомнить.

Он обиженно умолк. Она подняла на него глаза и сразу же опустила их. Обоим стало неловко.

— Давай выпьем, — сказал он. — запьем все, что было. Давай гулять, и дело с концом.

— Давай гулять, — согласилась она и подняла стакан. — Я хочу выпить за тебя, за то, что ты живой, здоровый.

— Спасибо.

— И за то, чтобы у тебя и дальше все ладно было.

О чем-то задумавшись, она держала стакан в руках. Он кашлянул. Она спохватилась и торопливо выпила, глядя на него.

— Я не спросила тебя, — сказала она, — ты-то теперь кем работаешь?

— Я механик на отделении.

— Ишь ты, и правда начальник.

— Самый главный, — отшутился он.

— А я доярка, скоро уж пятнадцать лет будет, как на ферме. Ничего, привыкла, будто так и надо.

— Ты замуж-то выходила после войны или нет? — спросил он.

— Выходила, — ответила она и замолчала, задумчиво ссутулившись над столом, потом выпрямилась и стала рассказывать: — Ты его не знал, он приезжий был. Я его, можно сказать, пожалела, он инвалид, с одной ногой ходил, пожалела и взяла к себе в дом. А потом тысячу раз покаялась. Сначала все ничего было, пока не пил, а потом запил. — Она вздохнула и отставила от себя стакан. — А напьется — известное дело, скандалы, лезет драться. Ревновать меня вздумал. Да разве мне до мужиков было? День и ночь работала — сам знаешь, времечко тогда не сладкое стояло — давай и давай. Какие уж тут мужики — придешь без рук, без ног, а утром опять иди. Ну да ладно, чего уж теперь об этом…

— Рассказывай, рассказывай!

— Мальчишку невзлюбил, — вспомнила она. — Того, от Ивана, а с ним у меня не было ребят. И то ему

неладно, и другое неладно. Измотал всю. Я как дура терпела, думала, может, наладится — нет, дальше хуже, дальше хуже. Сколько можно терпеть? Раз поднялся он на меня, я и не вытерпела. Чем такой мужик, уж лучше без мужика жить, правда?

Николай не ответил.

— Спокойней, — сказала она. — И вот с той поры я одна. Сватались ко мне, да я уж больше не стала судьбу пытать — хватит. Два мужика было, а по-доброму одного надо. Уж если сразу не повезет, то потом и не жди, чтоб повезло. А я и одна неплохо живу, сама себе хозяйка, ни попреков тебе, ни побоев. Никто обо мне худого слова не скажет, как я жила. Парня вырастила, он теперь уж взрослый, в прошлом году женился. Ну вот, всю жизнь я тебе рассказала.

— И правильно сделала, что рассказала.

— Ой, а я уж пьяненькая-пьяненькая стала. — Анна зажмурилась и, улыбаясь, замотала головой. — Чего доброго, упаду тут у тебя. Я ведь не часто пью, разве что по праздникам. Соберемся с бабами, поплачем, песни попоем — все вместе. Ты-то как? — спросила она. — Я болтаю, болтаю, тебе и слова не даю сказать. Семейный или, может, в холостяках ходишь?

— Семейный. Куда от этого денешься?

— А баба-то здешняя?

— Нет, я ее с Украины привез.

— Смотри-ка ты! Здешние, выходит, не по вкусу пришлись?

Он сказал, глядя ей в глаза:

— Была одна, которая пришлась по вкусу, да она мне отказала.

— Ладно тебе. Чего уж теперь об этом говорить?

— К слову пришлось, вот и сказал.

— Все сердишься на меня?

— Нет — зачем? Вот еще не хватало мне — сердиться на тебя!

— Сам видишь, как у меня все получилось, — сказала она.

— Вижу.

— Ну вот.

Они замолчали. Анна, помаргивая, зачем-то еще раз оглядела комнату, потом положила ладони себе на лоб, опустила голову.

Николай тронул ее за плечо.

— Ну, чего ты?

— А? — Она подняла голову. — Так просто. Чего-то нашло.

Он придвинул свой стул поближе к ней.

— Коля, — сказала она, — наливай, а. Давай вспомянем с тобой Ивана.

Он смотрел на нее, словно решая, наливать или нет. Потом все-таки налил.

— Чокаться нельзя, — предупредила она и залпом выпила.

Они немного помолчали — ровно столько, сколько полагается в таких случаях молчать.

— Хороший он был, — чуть слышно сказала потом она. — Я его до самой смерти помнить буду.

— Мне как написали про него, я с неделю сам не свой ходил, — отозвался Николай. — Мы с ним были самые лучшие товарищи, ты же знаешь. Даже когда вы сошлись, я на него не злился. На тебя злился, а на него нет.

— Мы как голубки жили, — сказала она. — Не знаю, как бы дальше было, но пока его не забрали, мы весь год жили, честное слово, как голубки.

— Вы хорошо жили, я помню.

— Я при нем ни на кого и глядеть не хотела.

— И меня ты не любила, — сказал Николай.

Анна недоуменно взглянула на него.

— Не надо, — попросила она. — Зачем ты это? Ты же знаешь, я тебя до него любила, я и замуж за тебя

собиралась. А тут он. Ты не сердись на меня.

— Чего мне теперь на тебя сердиться?

— Не сердись, не надо. Я ведь не со зла.

— Хватит тебе.

— Больше не буду, — покорно согласилась она и вдруг засмеялась, прикрывая рот рукой. — Мой-то инвалид, — сквозь смех сказала она, — ну, с которым я жила, он меня и к Ивану ревновал. — Она перестала смеяться. — К убитому. Вот чума!

— А ты все такая же, как была, — сказал Николай. — Постарела, а характер такой же.

— А что?

— Да так, ничего.

— К чему ты это сказал-то?

— К тому, что я бы на тебе и сейчас женился.

— А давай. — Она выдержала его взгляд. — Я согласна.

— Давай.

— Не возьмешь, — задумчиво произнесла она. — Я-то пойду, да ты не возьмешь. Вот и считай, что мы с тобой теперь расквитались.

— Возьму, — сказал он. — Хоть сегодня.

— Сегодня-то возьмешь, — усмехнулась она. — На ночь возьмешь, а завтра выгонишь. Не знаю я, что ли? Нет уж, не перепадет тебе.

— Смотри-ка, какая ты!

— А вот такая. Какая есть, такая и есть. Пьяная я, — прикрывая глаза, сказала она. — Пьяная-пьяная. Видел бы меня сейчас Иван, уж он бы мне за-да-ал.

— Чего это ты все Иван да Иван? Ивана теперь не воротишь, а легче тебе от этого не станет.

— И правда, чего это я все Иван да Иван? Ты не сердись на меня.

— Да дело не в этом, — с досадой ответил он.

— Я какая-то ненормальная стала. То кажется, все хорошо, все ладно, а то вдруг вспомню про судьбу свою,

и плачу и плачу. Проплачусь — опять все хорошо. Живу, будто меня через день в воду окунают, а через день выставляют на солнышко сушиться. А теперь думаю: жизнь моя прошла, плохо ли, хорошо ли, а прошла, и ждать больше особенно нечего. Раньше было страшно о таком подумать, а теперь ничего, привыкаю, привыкла уж, считай. Так-то лучше. Хвастаться мне в своей жизни нечем, а жаловаться тоже не хочу и мачехой называть ее не стану. Что было — все мое.

— А если бы ты вышла за меня? — все-таки спросил он.

Она замерла, словно прислушиваясь к себе, неопределенно пожала плечами.

— Не знаю, Николай. Не могу загадывать. Ты вот живой, здоровый. — Она протянула руку и дотянулась до его плеча. — Ничего не знаю, Коля. Наверно, мы с тобой бы так и жили. Зачем теперь об этом говорить?

— Ты хоть вспоминала меня?

— Я все больше Ивана вспоминала. Ты не сердись, он муж мне. Может, теперь буду вспоминать, после сегодняшнего.

— Тут пока нечего и вспоминать.

— Как же! Я ведь рада, что встретила тебя. Не чужие.

— Когда-то обнимались по задворкам, — сказал он.

— Было. — Она смутилась, но вспоминать об этом ей, видно, было приятно. — Что было, то было. Не один раз до петухов простаивали. А утром…

Она умолкла. Дверь неожиданно открылась, в нее просунулась чья-то голова, что-то пролепетала и так же неожиданно исчезла.

— Вот заполошный, — засмеялась Анна.

— Эти заполошные мне надоели, — сказал Николай. — Утром один чуть свет в дверь забарабанил, я открываю, а он: «Извините, ошибся». Не смотрят и лезут.

Он снова налил.

— Давай еще по одной, тут уж немного осталось.

— Ну, мы с тобой за-гу-ля-ли. — Анна взяла стакан обеими руками и потянулась чокаться. — Прямо дым коромыслом.

— Нам с тобой можно. Мы с тобой полжизни не видались, теперь нам все можно.

— Полжизни не видались, — повторила она, удивляясь. — Надо же! И все-таки встретились. И ты меня первый узнал. Запомнил все-таки, а?

— Эх, Нюрка, Нюрка!

— Ну, чего Нюрка? — с вызовом спросила она.

— Хорошая ты баба.

— А чего во мне хорошего? Баба как баба. Таких много.

— А может, ты мне одна такая нужна?

— Как же — нужна стала! — Она хохотнула и погрозила ему пальцем. — Я пьяная-то пьяная, да все равно еще не опьянела. Не мылься — мыться не будешь.

— Вот как?

— Ага, вот так.

Он поднялся и закрыл изнутри дверь на ключ.

— Зачем закрылся? — спокойно спросила она.

— Чтобы зря не лезли все подряд. Надоели.

— Хитри, хитри. Ишь, гусь.

Он подошел, обнял сзади за плечи. Она обернулась.

— Поиграть решил?

— Ну, решил.

— Давай поиграем, — сказала она. — Давно я с мужиками не играла.

— Не боишься?

— А чего мне бояться?

Прищурившись, они смотрели друг другу в глаза.

— Ну, так пойдешь за меня замуж? — спросил он.

— Ишь, прыткий какой! — Анна засмеялась. — Замуж... Его дома жена ждет, а он тут еще одну

сватает. Уж хоть не говорил бы «замуж», как-нибудь по-другому говорил бы. Я же тебе сказала: не мылься — мыться не будешь.

— Это мы еще посмотрим.

— Нечего и смотреть.

— Чего это ты такая? — сказал он, начиная сердиться.

Она засмеялась.

— Я же тебе говорю: тебя дома жена ждет, а ты тут…

— А тебя-то дома кто ждет?

— Никто не ждет, — присмирела она. — Это правда. Был бы Иван…

— Иван, Иван, — опять перебил он ее. — Заладила одно по одному. Если на то пошло — Иван тоже не святой был. Вы уж вместе жили, а мы с ним сколько раз к девкам бегали.

От неожиданности она сморщилась и неловко улыбнулась.

— Врешь ты, — недоверчиво сказала она.

— Для чего бы я стал врать — сама подумай!

— Врешь ты, Николай, — повторила она, вглядываясь в него.

Он замялся.

— Не надо бы мне говорить об этом, да уж сказал. Ивана в живых больше двадцати лет нету, не будешь же ты теперь ревновать его?

— Вот еще!

Она убрала руки со стола на колени и подались вперед, будто что-то рассматривала на столе и никак не могла рассмотреть. Он тревожно наблюдал за ней. Она не двигалась, только чуть-чуть шевелились брови — казалось, она силится поднять глаза и не может.

— Анна! — окликнул он.

Она очнулась.

— А, пускай, — сказала она. — Мне наплевать — так или не так! — Она увидела в стаканах вино и обрадовалась. — Да ведь мы с тобой не выпили. Как же это мы, а?

Не дожидаясь его, она залпом выпила, с размаху поставила стакан на стол и опять замерла.

— Вот гад! — сказала потом она и с горькой улыбкой покачала головой. А я знать не знала. Вот гад так гад!

— Чего это ты?

— А, ничего. Вспомнила тут одно дело. — Анна нервно и громко засмеялась. — Значит, говоришь, женишься на мне? Или раздумал уж? Смотри, а то я правда пойду.

Он не ответил.

Она засмеялась еще громче.

— Вот жених! Женюсь, женюсь, а сам в кусты. А я-то обрадовалась.

И сразу же затихла.

— Хорошо мы с тобой погуляли, — протянула она, опустив голову, — хо-ро-шо. И разговор был интересный. Про войну, про баб, про мужиков, про девок. — Она коротко хохотнула. — Все интересное друг другу рассказали. Помолчала. — Ивана помянули. Сначала помянули, потом вспомнили. — Еще помолчала. — Вот гад, а!

— Послушай. — Николай поднялся и подошел к ней вплотную. — Я ведь выдумал это про Ивана. Обидно мне стало, что ты все про него да про него, я и ляпнул. Хотел тебя раззадорить. Не было ничего такого.

— Врешь ты, — устало отозвалась она.

— Да не вру я.

— Врешь. Я же вижу, что теперь врешь, а не тогда. Пожалеть меня решил. Не надо меня жалеть. — Она тяжело вздохнула. — Чего ему надо было? Обидно. Если бы это инвалид мой сделал — не обидно, ни одна жилка

бы не дрогнула. А тут обидно. Обидел он меня, нельзя так.

Она заплакала — без слез, трудно-трудно, с глухими всхлипами, похожими на стоны, не закрывая лица.

Николай, всасываясь губами в папиросу, жадно курил.

Анна успокоилась скоро, только долго еще вздрагивала всем телом. Лицо ее было сухо, но она все равно пошла в ванную и умылась. Двигалась она медленно, осторожными шагами, словно все время боялась упасть.

Друг на друга они старались не смотреть.

Она вышла из ванной, постояла возле стола и виновато сказала:

— Напилась я тут у тебя.

Он взглянул на нее как-то воровато, исподтишка и ничего не ответил.

— Пойду я, — сказала она.

— Подожди, — попросил он. — Посиди еще пять минут. Просто так посиди.

Она села на краешек своего стула. Они молчали. Прошло пять минут, пошли еще минуты. Она поднялась:

— Надо идти.

Он тоже стал одеваться, чтобы проводить ее.

...Они ехали в трамвае. Это был тот час, когда влюбленные провожают своих подруг домой. Николай и Анна сидели, прижавшись друг к другу, он держал ее руку в своей руке.

Влюбленные с любопытством поглядывали на них и посмеивались.

Первая встреча состоялась в трамвае. Она тронула его за плечо и, когда он открыл глаза, сказала, показывая на окно:

— Вам сходить.

Трамвай уже остановился, и он, проталкиваясь, прыгнул сразу за ней. Она была совсем девчонка, лет пятнадцати-шестнадцати, не больше, он понял это тут же, увидев ее круглое, моргающее лицо, которое она повернула к нему, ожидая благодарности.

— Спасибо, — сказал он, — я ведь мог проехать. Он почувствовал, что ей этого недостаточно, и добавил:

— Сегодня был сумасшедший день, я устал. А в восемь мне должны позвонить. Так что ты меня здорово выручила.

Кажется, она обрадовалась, и они вместе побежали через дорогу, оглядываясь на мчащуюся машину. Шел снег, и он заметил, что на ветровом стекле машины работал «дворник». Когда идет снег — вот такой мягкий, пушистый, словно где-то там, наверху, теребят диковинных снежных птиц, — не очень-то хочется идти домой. «Подожду звонка и снова выйду», — решил он, оборачиваясь к ней и размышляя, что бы ей сказать, потому что дальше молчать было уже неудобно. Но он понятия не имел, о чем можно с ней говорить и о чем нельзя, и все еще раздумывал, когда она сама сказала:

— А я вас знаю.

— Вот как! — удивился он. — Это каким же образом?

— А вы живете в сто двенадцатом, а я в сто четырнадцатом. В среднем два раза в неделю мы вместе ездим в трамвае. Только вы, конечно, меня не замечаете.

— Это интересно.

— А что тут интересного? Ничего интересного нету. Вы, взрослые, обращаете внимание только на взрослых, вы все ужасные эгоисты. Скажете, нет?

Она повернула голову вправо и смотрела на него слева, снизу вверх. Он хмыкнул только и не стал ничего ей отвечать, потому что все еще не знал, как вести себя с ней, что можно и что нельзя ей говорить.

Некоторое время они шли молча, и она глядела прямо перед собой и, так же глядя прямо перед собой, как ни в чем не бывало заявила:

— А вы ведь еще не сказали, как вас зовут.

— А тебе это необходимо знать?

— Да. А что особенного? Почему-то некоторые считают, что если я хочу знать, как зовут человека, то обязательно проявляю к нему нездоровый интерес.

— Ладно, — сказал он, — я все понял. Если тебе это необходимо — меня зовут Рудольф.

— Как?

— Рудольф.

— Рудольф. — Она засмеялась.

— Что такое?

Она засмеялась еще громче, и он, приостановившись, стал смотреть на нее.

— Ру-дольф, — она округлила губы и снова закатилась. — Ру-дольф. Я думала, что так только слона в зверинце могут звать.

— Что?!

— Ты не сердись, — она тронула за рукав. — Но смешно, честное слово, смешно. Ну что я могу поделать?

— Девчонка ты, — обиделся он.

— Конечно, девчонка. А ты взрослый.

— Сколько тебе лет?

— Шестнадцать.

— А мне двадцать восемь.

— Я же говорю: ты взрослый, и тебя зовут Рудольф. Она снова засмеялась, весело поглядывая на него слева, снизу вверх.

— А тебя как зовут? — спросил он.

— Меня? Ни за что не угадаешь.

— А я и не буду гадать.

— А если бы и стал — не угадал бы. Меня зовут Ио.

— Как?

— Ио.

— Ничего не пойму.

— Ио. Ну, исполняющий обязанности. Ио.

Отмщение наступило моментально. Не в силах остановиться, он хохотал, раскачиваясь то вперед, то назад, как колокол. Достаточно было ему взглянуть на нес, и смех начинал разбирать его все больше и больше.

— И-о, — булькало у него в горле. — И-о. Она ждала, оглядываясь по сторонам, потом, когда он немного успокоился, обиженно сказала:

— Смешно, да? Ничего смешного — Ио — такое же обыкновенное имя, как все другие.

— Ты извини, — улыбаясь, он наклонился к ней. — Но мне действительно было смешно. Вот теперь мы квиты, правда?

Она кивнула.

Первым был ее дом, а за ним — его. Остановившись у подъезда, она спросила:

— А какой у тебя телефон?

— Тебе это не надо, — сказал он.

— Боишься?

— Дело не в этом.

— Взрослые всего на свете боятся.

— Это верно, — согласился он.

Она вынула из рукавицы свою ручонку и подала ему. Рука была холодной и тихой. Он пожал ее.

— Ну, беги домой, Ио.

Он опять засмеялся.

У двери она остановилась.

— А теперь ты меня узнаешь в трамвае?

— Еще бы, конечно, узнаю.

— До трамвая... — Она подняла над головой руку.

— …в котором мы вместе поедем, — добавил он.

* * *

Через два дня он уехал в командировку на север и вернулся только через две недели. Здесь, в городе, уже чувствовался пряный, острый запах наступающей весны, сдунувшей с него, словно пепел, зимнюю неясность и неотчетливость. После северных туманов все здесь было ярче и звонче, даже трамваи.

Дома жена чуть ли не сразу же сказала ему:

— Тут тебе каждый день какая-то девчонка звонит.

— Какая еще девчонка? — равнодушно и устало спросил он.

— Не знаю. Я думала, ты знаешь.

— Не знаю.

— Она мне надоела.

— Забавно, — нехотя улыбнулся он.

Он принимал ванну, когда зазвонил телефон. Через дверь было слышно, как жена отвечала: приехал, моется, пожалуйста, попозже. И он уже собирался ложиться, когда телефон зазвонил снова.

— Да, — сказал он.

— Рудик, здравствуй, ты приехал! — раздался в трубке чей-то радостный голос.

— Здравствуйте, — осторожно ответил он. — Кто это?

— А ты не узнал? Эх ты, Рудик… Это я, Ио.

— Ио, — тотчас вспомнил он и невольно рассмеялся. — Здравствуй, Ио. Ты, оказывается, подобрала для меня более подходящее имя.

— Да. Тебе нравится?

— Меня так звали, когда мне было столько же, сколько сейчас тебе.

— Не важничай, пожалуйста.

— Нет, что ты…

Они замолчали, и он, не выдержав, спросил:

— Так в чем дело, Ио?

— Рудик, она что — твоя жена?

— Да.

— А почему ты не сказал мне, что женат?

— Прости меня, — шутливо ответил он, — я не знал, что это очень важно.

— Конечно, важно. Ты что — любишь ее?

— Да, — сказал он. — Ио, послушай, пожалуйста: не надо мне больше звонить.

— Ис-пу-гал-ся, — нараспев произнесла она. — Ты, Рудик, не подумай чего. Ты, конечно, живи с ней, если хочешь, я не против. Только так тоже нельзя: не звони. А может, мне по делу надо будет.

— По какому делу? — улыбаясь, спросил он.

— Ну как по какому? Ну… ну, например, из одного резервуара у меня вода никак под ответ не выкачивается в другой, — нашлась она. — Ведь тогда можно, правда?

— Не знаю.

— Конечно, можно. А ее ты не бойся, Рудик, ведь нас двое, а она одна.

— Кого? — не понял он.

— Да жену твою.

— До свидания, Ио.

— Ты устал, да?

— Да.

— Ну, хорошо. Пожми мне лапу и ложись спать.

— Жму тебе лапу.

— А с ней даже не разговаривай.

— Ладно, — он засмеялся. — Не буду.

Все еще улыбаясь, он вернулся к жене.

— Это Ио, — сказал он. — Так зовут эту девочку. Забавно, правда?

— Да, — выжидающе ответила она.

— Она не могла решить задачу с двумя резервуарами. Она учится не то в седьмом, не то в восьмом классе — не помню.

— И ты помог ей с задачей?

— Нет, — сказал он. — Я все перезабыл, а резервуары — это действительно сложно.

* * *

Утром телефон зазвонил чуть свет. Какой там свет — никакого света не было, весь город спал последним предрассветным сном. Поднимаясь, Рудольф взглянул на дом напротив — ни одно окно еще не было освещено, и только подъезды, как губные гармошки, сияющие металлом, светились четырьмя правильными рядами. Телефон трезвонил беспрерывно. Подходя к нему, Рудольф взглянул на часы: половина шестого.

— Слушаю, — сердито сказал он в трубку.

— Рудик, Рудик…

Он рассвирепел:

— Ио, ведь это же черт знает что такое…

— Рудик, — перебили его, — послушай, не сердись, ты еще не знаешь, что случилось.

— Что случилось? — остывая, спросил он.

— Рудик, ты уже больше не Рудик, ты Рудольфио, — торжественно объявили ему. — Рудоль-фио! Здорово, правда? Это я только что придумала. Рудольф и Ио — вместе получается Рудольфио, как у итальянцев. Ну-ка повтори.

— Рудольфио. — В его голосе смешались отчаяние и ярость.

— Правильно. Теперь у нас с тобой одно имя — мы нерасторжимы. Как Ромео и Джульетта. Ты Рудольфио, и я Рудольфио.

— Послушай, — приходя в себя, сказал он. — Ты бы не могла в другой раз нарекать меня в более

подходящее время?

— Ну как ты не поймешь, что я не могла ждать. Вот. А потом, тебе пора вставать. Рудольфио, запомни: в половине восьмого я жду тебя на трамвайной остановке.

— Я сегодня не поеду на трамвае.

— Почему?

— У меня отгул.

— А что это такое?

— Отгул — это внеочередной выходной, я не пойду на работу.

— А-а, — сказала она. — А как же я?

— Не знаю. Поезжай в школу, и все.

— А у твоей жены тоже отгул?

— Нет.

— Ну, это еще ничего. Только ты не забывай: нас теперь зовут Рудольфио.

— Я счастлив.

Он водворил трубку на место и, чертыхаясь, пошел кипятить чай. Уснуть теперь все равно он бы не смог. К тому же в доме напротив уже светились три окна.

* * *

В полдень в дверь постучали. Он как раз мыл полы и, открывая, держал в руках мокрую тряпку, которую почему-то не догадался оставить где-нибудь по дороге.

Это была она.

— Здравствуй, Рудольфио.

— Ты! — удивился он. — Что случилось?

— Я тоже взяла отгул.

Лицо как у святой — ни единой капли того, что называют угрызениями совести.

— Вон как! — мужественно ответил он. — Гуляешь, значит. Ну, проходи, коли пришла. Я сейчас домою.

Не раздеваясь, она села в кресло возле окна и стала смотреть, как он, склонившись, водит тряпкой по полу.

— Рудольфио, по-моему, ты несчастлив в семейной жизни, — заявила она через минуту.

Он выпрямился.

— С чего ты взяла?

— Это очень легко увидеть. Например, ты без всякого удовольствия моешь полы, а у счастливых так не бывает.

— Не выдумывай, — улыбаясь, сказал он.

— А скажешь, счастлив?

— Ничего не скажу.

— Ну вот.

— Ты лучше разденься.

— Я тебя боюсь, — заглядывая в окно, сказала она.

— Что-что?

— Ну, ты же мужчина.

— Ах вон что. — Он засмеялся. — Как же ты осмелилась сюда прийти?

— Ну, мы же с тобой Рудольфио.

— Да, — сказал он, — я все забываю об этом. Это, конечно, накладывает на меня определенные обязанности.

— Конечно.

Она замолчала и, пока он гремел ведром в кухне, сидела тихо. Но когда он вышел к ней, пальто уже висело на спинке кресла, а лицо Ио было задумчивое и печальное.

— Рудольфио, а я сегодня плакала, — вдруг призналась она.

— Отчего, Ио?

— Не Ио, а Рудольфио.

— Отчего, Рудольфио?

— Это из-за моей старшей сестры. Она устроила скандал, когда я решила взять отгул.

— По-моему, она права.

— Нет, Рудольфио, не права. — Она поднялась с кресла и стала возле окна. — Один раз можно, как вы не поймете. Я сейчас знаешь какая счастливая, что с тобой говорю…

Она опять замолчала, и он внимательно посмотрел на нее. Сквозь платье, волнуясь, у нее пробивались груди, как два маленьких гнездышка, которые лепят неведомые птицы, чтобы выводить в них птенцов. Он заметил, что уже через год лицо у нее удлинится и станет красивым, и ему стало грустно от мысли, что со временем будет и у нее свой парень. Он подошел к ней, взял ее за плечи и, улыбнувшись, сказал:

— Все будет хорошо.

— Правда, Рудольфио?

— Правда.

— Я тебе верю, — сказала она.

— Да.

Он хотел отойти, но она позвала:

— Рудольфио!

— Да.

— Зачем ты так рано женился? Ведь еще бы два года, и я бы вышла за тебя замуж.

— Не торопись, — сказал он. — Ты и так выйдешь замуж за какого-нибудь очень хорошего парня.

— Я бы хотела за тебя,

— Он будет лучше, чем я.

— Ну да, — недоверчиво протянула она. — Ты думаешь, лучше бывают?

— В тысячу раз лучше бывают.

— Но это будешь не ты. — Она неумело вздохнула.

— Давай лучше пить чай, — предложил он.

— Давай.

Он пошел на кухню и поставил чайник на плитку.

— Рудольфио!

Она стояла возле полок с книгами.

— Рудольфио, у нас с тобой самое красивое имя. Вот посмотри, даже у писателей нет лучше. — Она на мгновение умолкла. — Может быть, только вот у этого. Эк-зю-пе-ри. Правда, красивое?

— Да, — сказал он. — А ты не читала его?

— Нет.

— Возьми и почитай. Только без отгулов — договорились?

— Договорились.

Она стала одеваться.

— А чай? — вспомнил он.

— Рудольфио, я лучше пойду, хорошо? — Улыбка у нее стала грустной. — Ты только не говори жене, что я здесь была. Хорошо, Рудольфио?

— Ладно, — пообещал он.

Когда она ушла, он почувствовал, что ему стало тоскливо, он был полон какой-то необъяснимой, еще не открытой тоски, тем не менее существующей в природе. Он оделся и вышел на улицу.

* * *

Весна наступила как-то сразу, почти без предупреждения. Люди за несколько дней стали добрее, и эти несколько дней казались им переходным периодом от поры ожидания к поре свершения, потому что весенние сны с мастерством опытной гадалки напророчили им счастье и любовь.

В один из таких дней, уже вечером, когда Рудольф возвращался домой, его остановила пожилая женщина.

— Я мать Ио, — начала она. — Вы простите, вас, кажется, зовут Рудольфио.

— Да, — улыбнувшись, согласился он.

— Я знаю о вас от дочери. В последнее время она много говорит о вас, но я…

Она замялась, и он понял, что ей трудно спросить то, что необходимо было спросить как матери.

— Вы не волнуйтесь, — сказал он. — У нас с Ио самая хорошая дружба, и ничего плохого от этого не будет.

— Конечно, конечно, — смущаясь, заторопилась она. — Но Ио — взбалмошная девчонка, она нас совсем не слушает. И если вы повлияете на нее... Понимаете, я боюсь, возраст такой, что надо бояться, — она может натворить глупостей. И потом, меня пугает, что у нее совсем нет подруг среди одноклассниц и вообще среди сверстников.

— Это плохо.

— Я понимаю. Мне показалось, вы имеете на нее влияние...

— Я поговорю с ней, — пообещал он. — Но, по-моему, Ио хорошая девочка, зря вы так беспокоитесь.

— Не знаю.

— До свиданья. Я поговорю с ней. Все будет хорошо.

* * *

Он решил позвонить ей сразу же, не откладывая, тем более что жены дома не было.

— Рудольфио! — было видно, что она очень обрадовалась. — Какой же ты молодец, что позвонил, Рудольфио, а я опять плакала.

— Нельзя так часто плакать, — сказал он.

— Это все «Маленький принц». Мне его жалко. Ведь правда, он был у нас на земле?

— По-моему, правда.

— И по-моему, тоже. А мы не знали. Ведь это же ужасно. И если бы не Экзюпери, никогда бы не узнали, Не зря у него такое же красивое имя, как и у нас.

— Да.

— Я еще вот о чем думаю: хорошо, что он так и остался Маленьким принцем. Потому что страшно: а вдруг потом он стал бы самым обыкновенным? А у нас и так слишком много обыкновенных.

— Не знаю.

— Зато я знаю, это точно.

— А «Планету людей» ты прочитала?

— Я все прочитала, Рудольфио. По-моему, Экзюпери очень мудрый писатель. Даже страшно становится, до чего мудрый. И добрый. Помнишь: Барка выкупают на свободу, дают ему деньги, а он тратит их на туфельки для ребятишек и остается ни с чем.

— Да, — сказал он. — А помнишь Боннафуса, который разорял и грабил арабов, а они его ненавидели и в то же время любили?

— Потому что без него пустыня казалась бы им самой обыкновенной, а он делал ее опасной и романтичной.

— Ты молодчина, если все это понимаешь, — сказал он.

— Рудольфио… — она замолчала.

— Я слушаю, — напомнил он.

Она молчала.

— Рудольфио, — отчего-то волнуясь, сказал он. — Приходи сейчас ко мне, я один.

* * *

Оглядываясь, она прошла к креслу и села.

— Ты чего такая тихая? — спросил он.

— Ее правда нет?

— Жены?

— Ну да.

— Нет.

— Мымра она у тебя.

— Что?

— Мымра — вот что!

— Где ты взяла это слово?

— В великом русском языке. Там для нее ничего более подходящего нет.

— Ио, ну нельзя же так.

— Не Ио, а Рудольфио.

— Ах да,

— Я недавно позвонила и попала на нее. Знаешь, что она мне сказала? Если, говорит, ты насчет резервуаров, то лучше обратись к учителю. По-моему, она ревнует тебя ко мне.

— Не думаю.

— Рудольфио, а правда, я лучше ее? Я ведь еще не оформилась как следует, у меня все впереди.

Он улыбнулся и кивнул.

— Вот видишь. По-моему, тебе пора с ней развестись.

— Не говори глупости, — оборвал он ее. — Я тебе слишком многое позволяю.

— Из любви, да?

— Нет, из дружбы.

Она, насупившись, умолкла, но было видно, что это ненадолго.

— Как ее зовут?

— Кого — жену?

— Ну да.

— Клава.

— Ничего себе нагрузочка.

Он рассердился:

— Перестань.

Она поднялась, на мгновение закрыла глаза и вдруг сказала:

— Рудольфио, я ненормальная, прости меня, я не хотела…

— Только не реветь, — предупредил он.

— Не буду.

Она отошла и отвернулась к окну.

— Рудольфио, — сказала она, — давай договоримся так: я у тебя сегодня не была и ничего этого не говорила, хорошо?

— Да.

— Считай, что это «до свиданья» я тебе сказала по телефону.

— Да.

Она ушла.

Через пять минут зазвонил телефон.

— До свиданья, Рудольфио.

— До свиданья.

Он подождал, но она положила трубку.

* * *

Она уже больше не звонила, и он ее долго не видел, потому что опять уезжал и вернулся только в мае, когда на солнечных весах лето окончательно перевесило весну. В это время у него всегда было много работы; вспоминая о ней, он все откладывал: поговорю завтра, послезавтра, но так и не поговорил.

Они встретились случайно — наконец-то в трамвае. Он увидел ее и стал нетерпеливо проталкиваться, боясь, что она сойдет, — ведь она могла сойти и на другой остановке, а он бы, наверное, не решился прыгнуть вслед за ней. Но она осталась, и он поймал себя на том, что обрадовался этому больше, чем следовало, наверное, при их дружеских отношениях.

— Здравствуй, Ио, — касаясь рукой ее плеча, сказал он.

Она испуганно обернулась, увидела его и, радостно замешкавшись, кивнула.

— Не Ио, а Рудольфио, — как и раньше, поправила она. — Мы ведь с тобой все еще друзья, правда?

— Конечно, Рудольфио.

— Ты уезжал?

— Да.

— Я однажды звонила, тебя не было.

— Я уже целую неделю здесь.

Народу в трамвае было много, и их беспрерывно толкали. Пришлось встать совсем близко друг к другу, и ее голова касалась его подбородка, а когда она поднимала лицо и он, прислушиваясь, наклонялся, приходилось отводить глаза — настолько это было рядом.

— Рудольфио, хочешь, я тебе что-то скажу? — спросила она.

— Конечно, хочу.

Она опять подняла лицо, совсем близко к его лицу, так что ему захотелось зажмуриться.

— Я все время скучаю без тебя, Рудольфио.

— Глупышка ты, — сказал он.

— Я знаю. — Она вздохнула. — Но ведь не скучаю же я по всяким мальчишкам, они мне сто лет не нужны.

Трамвай остановился, и они сошли.

— Ты пойдешь к своей Клаве? — спросила она.

— Нет, давай погуляем.

Они свернули к реке, туда, где начинался пустырь, и шли без дорожки, перепрыгивая через кочки и кучи мусора, и он взял ее за руку, помогая перебираться через завалы.

Она молчала. Это было непохоже на нее, но она молчала, и он чувствовал, что она, как и он, тоже полна волнения — сильного, гудящего и ничему не подвластного.

Они вышли к яру и, все еще держась за руки, смотрели на реку, и куда-то за реку, и снова на реку.

— Рудольфио, — не выдержав, сказала она. — Меня еще ни разу никто не целовал.

Он наклонился и поцеловал ее в щеку,

— В губы, — попросила она.

— В губы целуют только самых близких людей, — мучаясь, выдавил он.

— А я?

Она вздрогнула, и он испугался. В следующее мгновение он вдруг понял не почувствовал, а именно понял, — что она ударила его, закатила самую настоящую пощечину и бросилась бежать, снова туда — через пустырь, через кочки, через волнение и ожидание.

А он стоял и смотрел, как она убегает, и не смел даже окликнуть ее, не смел броситься за ней и догнать. Он еще долго стоял — опустошенный, ненавидящий себя.

* * *

Это случилось в субботу, а в воскресенье рано утром ему позвонила ее мать.

— Рудольфио, простите, пожалуйста, я, наверное, подняла вас…

Голос у нее был сбивчивый, дрожащий.

— Я слушаю, — сказал он.

— Рудольфио, Ио сегодня не ночевала дома.

Ему надо было что-нибудь ответить, но он молчал.

— Мы в отчаянии, мы не знаем, что делать, что предпринять, это впервые…

— Сначала успокойтесь, — сказал наконец он. — Может быть, она заночевала у подруги.

— Не знаю.

— Скорей всего так оно и есть. Если часа через два не придет, будем искать. Только успокойтесь, через два часа я позвоню вам.

Он опустил трубку, подумал и сказал сам себе: ты тоже успокойся, может быть, она заночевала у подруги. Но успокоиться он не мог, наоборот, он почувствовал, что его начинает бить нервная дрожь. Чтобы унять ее,

он пошел в чулан и, насвистывая, стал рыться в своих старых, еще школьных учебниках. Задачник по алгебре где-то запропастился, и, отыскивая его, он немножко отвлекся.

Телефон, притаившись, молчал. Рудольф закрыл за собой на кухне дверь и стал листать учебник. Вот она: если из одного резервуара в течение двух часов перекачивать воду в другой резервуар…

Зазвонил телефон.

— Она пришла. — Не сдержавшись, мать заплакала.

Он стоял и слушал.

— Рудольфио, придите, пожалуйста, к нам.

Она опять заплакала и уж потом добавила:

— С ней что-то случилось.

* * *

Не спрашивая разрешения, он снял плащ, и мать молча показала ему рукой на дверь ее комнаты.

Ио сидела на кровати, поджав под себя ноги, и, раскачиваясь, смотрела прямо перед собой в окно.

— Рудольфио! — позвал он.

Она обернулась к нему и ничего не сказала.

— Рудольфио!

— Перестань, — брезгливо сморщилась она. — Какой ты Рудольфио, ты самый обыкновенный Рудольф. Самый обыкновенный Рудольф, понимаешь?

Удар был настолько сильным, что боль сразу охватила все тело, но он заставил себя остаться, он подошел к окну и оперся на подоконник.

Она все раскачивалась взад и вперед и все смотрела перед собой, мимо него, и тихо скрипели под ней пружины кровати.

— Ну хорошо, — соглашаясь с ней, сказал он. — Но объясни, где ты была!

— Иди ты к черту! — не оборачиваясь, устало ответила она.

Он кивнул. Потом снял с вешалки свой плащ и, не отвечая на молчаливые вопросы ее матери, спустился с лестницы и пошел к черту. Воскресенье только еще начиналось, прохожих на улице было мало, и никто его не остановил. Он перешел через пустырь, спустился к берегу и вдруг подумал: а куда же дальше?

ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА

Василиса просыпается рано. Летом ее будят петухи, зимой она петухам не доверяет: из-за холода они могут проспать, а ей просыпать нельзя. Некоторое время она еще лежит в кровати и думает, что сегодня ей надо сделать то-то, то-то и то-то — она как бы прикидывает день на вес, тяжелым он будет или нет. После этого Василиса вздыхает и опускает с деревянной кровати на крашеный пол ноги — кровать вслед за ней тоже вздыхает, и они обе успокаиваются. Василиса одевается и смотрит на стену напротив, она думает, что, слава богу, наконец-то вывела всех тараканов, ни одного не видать.

Это полусонное-полубодрствующее состояние длится у нее недолго. Она не замечает его, для нее это всего один шаг от сна к работе, один-единственный шаг. Одевшись, Василиса срывается и начинает бегать. Она затапливает русскую печь, лезет в подполье за картошкой, бежит в амбар за мукой, ставит в печь разные чугунки, готовит пойло для теленка, дает корм корове, свинье, курам, доит корову, процеживает сквозь марлю молоко и разливает его по всевозможным банкам и склянкам — она делает тысячу дел и ставит самовар.

Она любит ставить самовар. Первая волна работы схлынула, рань прошла, и теперь Василиса по привычке испытывает жажду. День у нее разделяется не на часы, а на самовары: первый самовар, второй, третий... На старости лет чаепитие заменяет ей чуть ли не все удовольствия.

Она еще бегает, возится с чугунками, а сама все время посматривает на самовар: вот он уже посапывает, вот начинает пыхтеть, а вот забормотал, заклокотал. Василиса переносит самовар на стол, садится к нему поближе и вздыхает. Она всегда вздыхает, вздохи у нее имеют множество оттенков — от радости и удивления до боли и страданий.

Василий поднимается не рано: рано ему подниматься незачем. Единственное, как в бане, маленькое окошечко в его амбаре на ночь занавешено: Василий не любит лунный свет, ему кажется, что от луны несет холодом. Кровать стоит изголовьем к окошку, по другую его сторону стоит столик. У дверей на гвоздях развешаны охотничьи и рыболовные снасти, поверх них полушубки и телогрейки. Просыпаясь, Василий сдергивает с окна занавеску, жмурится от врывающегося света, а привыкнув к нему, заглядывает в окно: как там со снегом, с дождем, с солнцем? Он одевается молча, совсем молча — не пыхтит, не кряхтит, не стонет.

Когда Василий входит в избу, Василиса не оборачивается. Он садится у другого края стола и ждет. Не говоря ни слова, Василиса наливает ему стакан чаю и ставит на середине стола. Он придвигает стакан к себе и отпивает первый обжигающий горло глоток, который уходит внутрь твердым комом.

Василиса пьет чай вприкуску с сахаром-рафинадом. Василий пьет без сахара, он его не любит. Он считает, что все надо потреблять в чистом, первозданном виде: водку — так без примесей, чай — так неподслащенный.

Он выпивает свой чай и ставит стакан на середину стола. Василиса берет стакан, наливает и опять ставит на середину.

Они молчат. На кровати у стены, скрючившись, спит Петр, последний сын Василия и Василисы. Его голые колени выглядывают из-под одеяла — так всегда, и зимой и летом.

Василиса вздыхает и наливает себе еще стакан чаю. Василий ставит свой стакан на середину стола, поднимается и уходит. Василиса не оборачивается, когда он уходит.

— Эй, отик, — говорит она Петру, — вставай, а то пролежни будут.

Петр с неудовольствием открывает глаза и прячет колени под одеяло.

— Вставай, отик, — беззлобно повторяет Василиса. — Не на Лену выехал. Пей чай да отправляйся.

Таня, жена Петра, тоже просыпается, но ей на работу не идти, она ждет маленького.

— Ты лежи, — говорит ей Василиса. — Тебе торопиться некуда. Отика поднимать надо.

Для нее все лентяи делятся на три категории: просто лентяй — или лентяй начинающий, лодырь — лентяй с опытом и со стажем, и отик — неисправимый лентяй. Третью категорию в этом разделении Петр не заслужил, и Василиса знает, что она несправедлива к нему, но поворчать ей надо.

— Отик — он и есть отик, — бормочет она.

Она уже снова на кухне, что-то доваривает, дожаривает. День еще только начался. Василиса вздыхает — весь день еще впереди.

* * *

Вот уже почти тридцать лет Василий живет в амбаре, среднем среди трех, стоящих одной

постройкой. Амбар маленький и чистый, без сусеков, с ладно сделанным, как в избе, полом и хорошо подогнанным потолком. Летом раньше в нем спали ребята, но это было давно, очень давно — еще когда Василий жил в избе.

На зиму он ставит к себе в амбар железную печку. Пять лет назад Петр провел к нему свет, но с тех пор ласточки почему-то перестали вить гнезда над дверью амбара и куда-то переселились. В первое время Василий огорчался, он любил наблюдать за ними, но потом привык и без них.

Только раз в день, еще когда молодые спят, Василий заходит в дом, и Василиса наливает ему стакан крепкого горячего чая. Она сидит у одного края стола, он у другого. Они молчат — ни разу они не сказали ни слова, будто не видят друг друга, и только по стакану, который ставится на середину стола, каждый из них знает о присутствии другого. Они молчат, и это не натянутое молчание, это даже вовсе не молчание, а обычное физическое состояние без слов, когда слов никто не ждет и они не нужны.

Обедает и ужинает Василий у себя в амбаре. У него есть кой-какая посудёнка, и он давно уже сам научился готовить. Правда, его стряпня бесхитростна — все больше каша да макароны вперемешку с консервами, но иногда, если повезет на охоте, бывает и свеженина. В такие дни на довольствие к нему переходит и Петр — то и дело он бегает в избу за сковородкой, за солью, еще за одной вилкой, еще за одним стаканом, — значит, с удачи взяли бутылку.

— Если ты там загулеванишь, домой не приходи! — кричит ему вслед Василиса. — Вот отик!

«Отик» она произносит нараспев, с удовольствием.

У амбара вьются ребятишки: тут и Петрин Васька, названный в честь деда, и все трое Настиных. Настя, средняя дочь Василия и Василисы, живет в этом же

доме, но в другой половине — дом разделен на две половины, и меньшая досталась Насте. Через три дома живет и старшая дочь Анна, она замужем за учителем.

Василий не скупой. От добычи он оставляет себе не много, ему много и не надо. Самый большой кусок он отдает Насте — ей приходится хуже других: трое ребятишек на шее, мужика нет. Петр отрубает для себя кусок сам и сразу же, чтобы не мозолил глаза, уносит его в свой амбар. Оставшееся мясо Василий делит пополам и одну долю велит ребятишкам отнести Анне. Ребятишки убегают всей гурьбой. Тогда-то и появляется сковорода со свежениной — с еще шевелящейся от жара, с побрызгивающим и потрескивающим салом, с прожаренными до корки боками больших кусков. Дверь закрывают, бутылку открывают.

Без тайги Василий жить не может. Он знает и любит ее так, будто сам ее сотворил, сам разместил и наполнил всеми богатствами, какие в ней есть. В сентябре он уходит за орехами и бьет шишку до самого снега, затем сразу наступает пора промысла — Василий промышляет белку и соболя дважды, до Нового года и после Нового; весной опять орехи: после снега шишка-паданка валяется под ногами, в мае можно брать черемшу, в июне грех не половить таежных красно-черных хариусов, в июле поспевает ягода — и так каждый год.

К нему приходят мужики, допытываются:

— Как считаешь, Василий, будет нонче орех или нет?

— Если кедровка не съест, то будет, — хитро отвечает он.

— Оно понятно, — мнется мужик.

— Через неделю пойду на разведку, погляжу, — не вытерпев, говорит Василий. — Вот тогда можно сказать. А сейчас, сам видишь, в амбаре сижу, отсюда не видать.

Он нигде не работает, тайга его кормит и одевает. Пушнины он сдает больше всех, ореха в урожайные годы набивает по пять, по восемь кулей. Еще с зимы ему идут письма от лесоустроителей из Литвы и от геологов из Москвы и из области, чтобы он согласился на лето пойти к ним проводником в экспедицию. Как правило, предпочтение он отдает литовским лесоустроителям: ему интересно наблюдать за людьми из другого народа и запомнить их мудреные слова. Поднимаясь после привала, он, не сдерживая довольной и хитрой улыбки, говорит «айнам», и литовцы смеются и идут вслед за ним. Лесоустроители нравятся Василию еще и тем, что они специально учились, чтобы привести тайгу в порядок, и никогда не пустят в лесу пала, а геологи чувствуют себя в ней постояльцами и могут напакостить, повалить из-за десятка шишек богатющий кедр или не притоптать костер.

Уходя в тайгу, Василий запирает амбар на замок, и Василиса, наблюдая за ним из окна, ворчит:

— Как же, обворуют, сундуки там у него добром набиты. Хоть бы штаны с больших денег купил. Ходит с голой задницей, людей смешит. Ни стыда ни совести.

...Они сидят друг против друга — Василий на кровати, Петр на низкой детской табуретке, сколоченной для него же лет двадцать пять назад, и Василий, еще не захмелев, жалуется на поясницу:

— Болеть, холера, стала. Согнешься, а разгибаться нету ее.

— Пора бы ей болеть, — хмыкает Петр. — Ты бы еще хотел, чтобы в шестьдесят пять лет молодым бегать. И так здоровье — дай бог каждому.

— Один нонче побаиваюсь бельчить, надо товарища искать. — Василий говорит это почти с гордостью: вот, мол, только когда понадобился товарищ.

Петр сосредоточенно тычет вилкой в сковороду.

— Может, ты со мной пойдешь? — спрашивает Василий, зная, что никуда тот не пойдет.

Петр вскидывает вверх свое курносое небритое лицо:

— Так я бы пошел — да кто отпустит? Колхоз не отпустит.

— Колхоз не отпустит, — соглашается Василий.

— Но.

Вопрос решен, и Василий снова наливает в стаканы.

…К Василисе пришла подружка, семидесятилетняя бабка Авдотья.

— Иду, дай, думаю, зайду, на Василису погляжу! — кричит она на всю избу.

Василиса снимает фартук — она что-то стирала и не достирала, — подходит к Авдотье и протягивает ей руку.

— Давай поручкуемся, старуха Авдотья.

У бабки Авдотьи рука слабая, как тряпка.

— Иду, дай, думаю, зайду, на Василису погляжу! — снова кричит она. — А тебе и присясть некогды.

— А как присядешь? — с готовностью откликается Василиса. — Весь день на ногах, то одно, то другое…

— Ее и за тыщу лет не переработать! — кричит бабка Авдотья. — Попомни, Василиса, она все равно после нас останется. Хошь конем вози, а останется.

— Останется, останется, — кивает Василиса. — Ее из одного дня в другой перетащишь, а уж надо дальше тащить. Так и кочуешь, как цыган с торбой.

— И никуды не денешься!

— А куда денешься?

— Нет, нет.

Они долго и согласно кивают друг другу головами. Потом бабка Авдотья спрашивает:

— У тебя Петра-то где — на работе?

— Как же, жди — на работе! — хмыкает Василиса. — Евон, в амбаре заперлись, поливают, поди, на чем свет

стоит.

— Во-во-во! — обрадованно кричит Авдотья. — У меня с зятем такая же история. Один зять трезвенный, а другой просыхать не хочет.

Василиса понимающе кивает.

— Ты-то туда не заходишь? — Бабка Авдотья головой показывает в сторону амбара.

— Ты, старуха, ума, ли че ли, решилась, — обижается Василиса. — Да я с ним в уборной рядом не сяду. Ты сморозишь — хоть стой, хоть падай.

— Хех-хе-хе, — смеется бабка Авдотья. — Интерес меня взял, я и спросила. Думаю, может, на старости лет сошлись, а я знать не знаю.

— Не болтай, старуха Авдотья.

…Василий взбалтывает остатки водки и разливает. Петру неудобно сидеть на детской табуретке, и он пересаживается на кровать.

— Обидно мне, Петька, что ты тайгу не уважаешь, — говорит Василий. — У нас вся родова была таежники, а я умру, и ружье продавать надо.

— Я ее уважаю, — слабо возражает Петр, — да кто из колхоза отпустит?

— Оно конечно.

— Никто не отпустит. Если бы я был не тракторист, тогда другой разговор. А так — это головой о стенку биться.

— Ружье не продавай, — вдруг строго говорит Василий.

— Вот еще — зачем мне его продавать?

— Не продавай. Мне жить немного осталось, пускай память обо мне будет. Глядишь, и зверя где встретишь. Ружье доброе.

— Хватит тебе. Сказал, не продам — значит, не продам.

Они умолкают. Последняя водка в стаканах еще не выпита, она мелко дрожит, и сверху при электрическом

свете кажется, что она подернулась тонкой пленкой.

— Петька, — говорит Василий, — давай споем.

— Давай.

— Какую петь будем?

— Мне все равно, начинай.

Василий долго не начинает. Он берет стакан и держит его в руках. Потом, склонившись над самым столом, решается.

Расцветали яблони и груши...

Он поворачивается к Петру, и тот подхватывает. Больше они не смотрят друг на друга.

Выходила на берег Катюша,
На высокий на берег крутой.

Василиса поднимает голову и прислушивается. Бабка Авдотья ушла. Василиса вздыхает, но и самой ей непонятно, что было в этом вздохе.

* * *

Случилось это года за два до войны. Тогда Василий вдруг задурил: через день да каждый день приходил домой пьяный, а как-то раз попытался избить Василису. Он загнал ее на русскую печку, где деваться ей было уже некуда, и полез вслед за ней. В последнюю секунду под руку Василисе попался ухват, она схватила его, наставила рогами в приподнявшуюся шею Василия и изо всех сил саданула вперед. Василий упал, а она, не выпуская ухвата, спрыгнула и успела прижать его шею к полу. Он извивался, вытянув шею, как петух на чурке перед тем, как ему отрубят голову, хрипел, матерясь, но вырваться из-под ухвата не смог. Василиса

выпустила его только тогда, когда он пообещал не трогать ее.

Напившись, Василий, вспоминая этот случай, свирепел от сознания своего позора и набрасывался на Василису с кулаками. Она усмиряла его: с пьяным с ним справиться было нетрудно. Но как-то раз — Василиса в то время опять была беременной — он схватил топор, лежавший под лавкой, и замахнулся. Василиса до смерти перепугалась, закричала не своим голосом и выскочила из избы. В ту ночь у нее случился выкидыш. Вернувшись домой, она растолкала Василия и показала ему на порог:

— Выметайся!

Василий спросонья ничего не понимал. Она повторила еще решительнее:

— Выметайся, тебе говорят!

Василиса сама вынесла одежонку Василия на крыльцо, и он по деревянному тротуарчику, настланному им незадолго перед этим, перетащил ее в амбар. Вечером он хотел было войти в дом, но Василиса решительно стала в двери:

— Не пущу!

Они прожили вместе двадцать лет, и у них было семеро детей. Два старших парня уже работали, младшему, Петьке, пошел пятый год. Когда грянула война, председатель сельсовета послал нарочного по домам, чтобы все знали и чтобы никто не собирался в тайгу. Василисина семья как раз сидела за столом. Нарочный, сопленосый мальчишка, которому война представлялась игрой для взрослых, забарабанил в окно и весело закричал:

— Э-э-э! Война началась! Война!

Сразу же пришел Василий, и Василиса не стала его выгонять, не до того было. Он сел на лавку у двери, положил руки на колени и молчал, — видно, одному в амбаре молчать было невмоготу.

Через три дня он опять пришел, уже собранный, с мешком. Мешок он оставил у дверей, сам прошел на середину горницы. Все встали, Василиса тоже. Василий, сморщившись, потерянно махнул рукой и стал неловко тыкаться лицом в ребячьи плечи. Потом он подошел к Василисе и остановился перед ней. Ребята смотрели на них и мучительно ждали.

— Василиса, — хрипло сказал Василий, — не суди меня боле, — убьют, поди. Ты тут ребят… того…

Василиса первая подала ему руку, Василий пожал ее и, не договорив, ушел. Он аккуратно прикрыл за собой ворота и зашагал к сельсовету, где фронтовиков ждали подводы.

Потом подводы выезжали прямо со двора. Василиса проводила на войну двоих старших сыновей и дочь Анну. Каждый из них садился в сани или в телегу еще во дворе, и Василиса сама открывала ворота, прижимала фартук к губам и, крестясь, смотрела, как из дворов одна за другой выезжают подводы и медленно двигаются по улице за деревню, как поют пьяные мужики, как, хватаясь за них, голосят бабы. Василиса не ходила за деревню, она стояла у ворот, а потом закрывала за собой ворота, словно запиралась от новой подводы.

Один из сыновей не вернулся совсем, а другой вернулся, но сразу же уехал в город и теперь живет там. Василий пришел позже всех.

Была уже осень, в деревне копали картошку. Василиса только что принесла на себе мешок и собралась высыпать картошку в подполье, когда прибежала Настя:

— Мама, отец приехал! Идет.

Василиса выпрямилась.

— Живой, выходит, остался, — рассуждая сама с собой, неторопливо сказала она. — А вот Сашку убили.

Не развязывая мешка, она сбросила его в подполье и вздрогнула, когда он ударился о твердое. Раздражаясь все больше и больше, Василиса ушла в горницу. Переодеваться она не стала, ни к чему. Когда на крыльце послышались шаги, она готова была ругаться. Василиса не могла понять, устала она или ее тошнит.

— Это я, Василиса, — сказал Василий от порога, и она опять вздрогнула, потому что давно не слышала его голоса. Она молчала, но ее лицо, готовое к ответу, не выдержало, и она, подчиняясь этой готовности, произнесла:

— Сашку убили.

Василий кивнул.

Больше она ничего не сказала. Слава богу, прибежали ребята, и ей можно было уйти во двор и заняться своими делами. Потом пришли гости, мужики, тоже вернувшиеся с войны, а Василиса сидела на кухне, пока не устала сидеть. Тогда она зажгла лампу, полезла в подполье и стала перебирать картошку.

Мужики пели незнакомыми, приобретенными где-то там, на войне, голосами, приобретенными и в криках «ура», и в криках о помощи, — Василисе казалось, что они собрались только для того, чтобы до конца пропеть и прокричать в себе чужие голоса, вслед за которыми должны начаться их собственные.

Песни были пьяными, но сдержанными, без залихватской удали, и мужики, выводя их нестройными голосами, казалось, все время оглядывались, не случилось ли что-нибудь позади них; казалось, каждый из них приостанавливает себя, чтобы не забыться и не потеряться. И громкий пьяный разговор тоже был сдержанным, он быстро прерывался песнями, — все это походило на тупую, беспокойную боль, вспыхивающую то в одном, то в другом месте.

Василиса устала и вылезла из подполья, делать ей больше ничего не хотелось. Она позвала Настю и сказала:

— Иди прибери отцу в амбаре.

— Мама! — голосом упрекнула Настя.

— Иди, — сказала Василиса. — Не твое дело.

Почти сразу же в кухню пришел Василий.

— Не хоть, стало быть, простить? — спросил он, вставая прямо перед Василисой. — Не хоть. А я, Василиса, тебе гостинец привез, да все не знал, как поднести.

— Не будет нам житья вместе, — сказала Василиса. — Я, Василий, один раз сделанная, меня не переделать.

— Война всех переделала, — тихо возразил Василий.

— Война, война… — повторила Василиса. — Война — она горе, а не указ. Она и так из баб мужиков понаделала. Когда это теперь новые бабы нарастут? Похоронить ее надо скорей, войну твою.

Она вздохнула. Василий попытался ее обнять, но она отстранилась, и его руки провалились в воздухе.

— Незачем это, — сказала она, отходя. — Я, Василий, спеклась, меня боле греть ни к чему.

Когда он ушел, она боялась, что ей захочется плакать, но плакать совсем не хотелось, и она осталась довольна. В ту ночь она уснула быстро, и ее сон был спокойным, а утром, поднявшись, Василиса увидела, что на улице лежит густой, непроглядный туман — ей захотелось снова лечь в постель и уснуть.

После войны Василий дома жил недолго, он дождался лета и уехал на Лену, на золотые прииски. Прощаясь, он давал понять, что вернется не скоро, может быть, не вернется совсем. Кто знает, разбогатеть он хотел или невмоготу ему стало жить рядом с семьей, да совсем отдельно от нее, как прокаженному. Перед отъездом Василий отдал Петьке все свои ордена и медали, наказав беречь их пуще глаза, постирал с

вечера гимнастерку и пошел в деревню прощаться. В тот день он был разговорчивый и веселый, обещал всем прислать деньги, а наутро замолчал, будто уехал раньше срока.

На пароход Василия провожали Настя и Анна, Петька где-то забегался и опоздал. Спустили трап. Василий заволновался. Как-то рассеянно он пожал руки дочерям и ушел, через минуту они увидели его на палубе, но он уже не смотрел на них. Пароход трижды прогудел и отчалил, и Василий, уезжая, по-прежнему стоял на палубе и, кажется, все так же никуда не смотрел и ничего не видел.

Настя вышла замуж уже без него. Среди всех своих сестер и братьев, которые были одинаково медлительными и рассудительными, Настя выделялась порывистостью и удивительной энергией. «Скороспелка», — говорила о ней Василиса. В двенадцать лет Настя была доверенным лицом чуть ли не всех деревенских влюбленных, они передавали ей друг для друга записки, а двадцатилетние девки поверяли свои тайны. В четырнадцать Настя пошла работать на ферму, в семнадцать вышла замуж, через год родила двойню. Она торопилась даже тогда, когда незачем было торопиться, и ее женское счастье, видно, не выдержало такой спешки и лопнуло: через четыре года Настин мужик погиб на лесозаготовках, оставив ей трех маленьких ребятишек. После этого жизнь пошла медленней.

Василий вернулся на другое же лето после своего отъезда. Удачи он на приисках не добыл, денег тоже, он приехал исхудавший и обовшивевший, в одной гимнастерке, которую Настя потом долго парила и проглаживала. Неделю Василий отсыпался в амбаре, никуда не выходя и ни с кем не разговаривая, потом снарядился и ушел в тайгу.

* * *

Июль, вторая половина месяца. Лето пошло на убыль, но дни стоят душные и тяжелые. Дороги безудержно пылят, и пыль, оседая на крышах, делает дома незначительными, похожими на прошлогодние скирды. Над Ангарой стоит дым: где-то горят леса.

Колхоз уже откосился, уборку начинать еще рано. Колхозники, как могут, используют эту небольшую передышку для себя — теперь начинается личный сенокос. По утрам деревня уплывает на острова, уходит в тайгу, в домах остаются немногие, и они усердно, по два раза в день, утром и вечером, поливают огороды. Над огородами, несмотря на жару, стоит дружный огуречный дух.

У Петра и Насти покос в одном месте — от деревни пятнадцать километров. Бегать каждый день туда и обратно тяжело, поэтому уходят сразу на неделю, чтобы пораньше начинать, попозже заканчивать. На две семьи с ребятишками и с хозяйством остается одна Таня. Василий тоже мог бы никуда не ходить, но он уже привык к таким походам и считает себя обязанным помочь сыну и дочери. Впервые в этом году на сенокос увязался Васька, девятилетний сын Петра.

Погода сенокосная, сено в жару сохнет быстро, но косить тяжело: трава перестояла и высохла еще на корню, так что только успевай отбивать литовки. У Василия покос широкий, но недлинный, он часто останавливается и курит, отирая рукавом рубахи пот со лба и затылка.

— Васька! — кричит он. — Где котелок?

Васька бегом приносит воду, и Василий жадно пьет, потом задирает голову и щурится на солнце. Кажется, солнце, как мяч, закатилось в яму, откуда ему ни за что не выкатиться, — вот и будет теперь жарить бесконечно.

— Хоть бы какая дешевенькая тучка прикрыла, — бормочет Василий и снова берется за литовку.

Петр косит в сторонке, он в майке, голову повязал носовым платком. Его литовка, вонзаясь в траву, уже хрипит от бессилия. Петр поднимает ее, окунает брусок в воду и начинает быстро водить им по литовке. Потом оглядывается на Василису — она давно уже неподвижно сидит на колодине.

— Мать, — кричит он, — шла бы ты в шалаш! Пускай жара спадет, потом покосишь.

Василиса не отвечает.

— Мама, — услышав Петра, кричит Настя, — иди ставь обед, сейчас все придем!

Василиса поднимается и подходит к Петру.

— Сил нету, — печально говорит она ему и вздыхает. — Износилася. Думала, помогу, ан нет.

— Ты чего, мать? — спрашивает Петр.

— Я отойду, ты не думай. Вот полежу и отойду, а завтра сама своя буду. Это с непривычки, уж год не косила.

Согнувшись, она уходит к шалашу, и все трое — Василий, Настя и Петр — смотрят ей вслед.

— Давай перекурим! — кричит Василий Петру.

Петр подходит к нему и, зажав руками котелок, долго пьет. Потом он сдувает со лба капли нависшего пота и садится.

— Чего это с матерью? — спрашивает Василий.

— Старая, — обычным голосом отвечает Петр. — Сколько ей лет?

— На два года моложе меня была.

— Старая, — повторяет Петр.

Поздно вечером они сидят у костра и пьют после ужина чай. Костер то взвивается вверх, и тогда на каждом из них, как одежда, отчетливо видна усталость, то снова сникает. За шалашом, в темноте, собака звучно вылизывает из банки остатки консервов. Ночь ложится

на деревья, на скошенную траву, и только на костер, боясь обжечься, она лечь не решается. Костер от этого гоношится, подпрыгивает.

Они долго не спят: начало сенокоса положено, первый день прошел как надо, и все это живет в них ближними, еще не улегшимися чувствами.

— Пора укладываться, — говорит наконец Василий. — Копен девять за день накосили, и то ладно.

— Нет, больше, — быстро поправляет Настя, она всегда говорит быстро. — Я одна копен пять намахала.

— Хорошо бы больше, — откликается Петр.

— Завтра поторапливаться надо. — Василий поднимается. — Ненастье будет.

— Какое еще ненастье? — настороженно спрашивает Василиса и смотрит на Петра.

— Собака траву ела, — говорит Василий Петру. — Примета верная.

Петр молчит.

* * *

Василий и Петр женились в один год, даже в один месяц. Петр, которому тогда едва исполнилось двадцать лет, привел в дом с нижнего края деревни Таню, дочь кузнеца. Василий привел в амбар чужую, не деревенскую, которая как-то ненароком забрела в деревню и задержалась, переходя из избы в избу и обшивая баб сарафанами да платьями. Мастерица она была хорошая, за шитье брала недорого, и заказы поступали к ней один за другим. Рассказывали, что новенькая приехала с Украины, чтобы разыскать сына, потерявшегося в войну, да вот на обратную дорогу денег ей не хватило, и она решила приработать.

Где и как они с Василием сговорились, никто не знал. Петру уже сыграли свадьбу, на которой больше всех пела и плясала Настя, прошли октябрьские

праздники, выпал запоздавший в ту осень снег. Василий, собиравшийся перед этим на промысел, вдруг приостановил сборы и позвал к себе Петра.

— Ты эту, пришлую, видел? — спросил он сына, не глядя на него.

— Это которая шьет?

— Ага.

— Видел, она ж по деревне ходит.

— Хочу взять ее к себе, — сказал Василий и повернулся к Петру.

— Да ты что, отец, серьезно? — не сдержавшись, удивился Петр.

— А чего? Нельзя мне, что ли?

— Да почему нельзя? — забормотал Петр, не зная, что сказать. — Конечно. Ты еще не старый. Кто говорит, что нельзя?

— Дело не в том, старый или не старый, — невесело поправил Василий. — Надоело мне самого себя обстирывать, самому себе кашу варить. Живу как арестант. Хозяйка нужна — вот какое дело.

Они помолчали.

— Заходи перед вечером завтра, бутылку на троих разопьем, свадьбу, стало быть, сыграем. Я Насте накажу, чтоб сготовила.

Дома Василиса хлопотала на кухне.

— Мать! — возбужденно закричал Петр, входя. — У нас отец женится.

— Но, — бесстрастно откликнулась Василиса.

— Точно говорю. Завтра приведет.

— Пускай хоть тыщу раз женится, я к нему никакого касанья не имею.

— Обидно, поди?

— Чего ты, Емеля, мелешь? — вскинулась Василиса. — Обидно стало, изошлась вся от обиды — куды там! Полоумная она, раз идет за него. Добрая не пошла бы.

Новую жену Василия звали Александрой, и была она ненамного старше Анны, его первой дочери. Василиса впервые увидела ее утром из окна, когда Александра, припадая на одну ногу, шла через двор в уборную.

— Да она хромоножка, — обрадовалась Василиса. — Я говорила, добрая за него не пойдет, так и есть. Теперь они заживут. Черт черту рога не обломит.

В первое время Александра нигде не показывалась, отсиживалась в амбаре. Василий сам кипятил чай, сам ходил в магазин, но и он тоже старался лишний раз на улицу не выходить. Для деревни его женитьба была ковшом меда, вылитым на муравейник: ее судили и рядили на все лады, после войны она стала самым важным событием, намного важнее любой смерти, случившейся за последние годы. У баб вдруг не стало хватать соли, хлеба, исчезли куда-то стиральные доски и утюги, и за всем этим они шли к Василисе, заводя разговор о молодых, — конечно, имелось в виду, что они спрашивают о Петре и Тане. И только бабке Авдотье, которая уже и тогда была глуховатой, хитрить не приходилось.

— Ты, сказывают, сестричкой обзавелась, Василиса! — кричала она, расположившись на скамье.

— Тебе, старуха Авдотья, делать нечего, вот ты и ходишь, сплетни полощешь, — сердито отвечала Василиса.

— А тебя за душу берет?

— Мне начхать, мне ихнее исподнее белье не стирать.

Бабка Авдотья обводила избу испытующим взглядом и снова кричала:

— Сюды-то не заходит?

— Пускай только зайдет — я ей глаза выцарапаю.

— Выцарапай, выцарапай, — поддакивала бабка Авдотья. — Ей волю дай, и тебя из избы выгонит. Ты, Василиса, с ее глаз не спускай.

Вскоре они встретились — жить в одном дворе и совсем не встречаться было невозможно. Александра, выйдя из амбара, вдруг прямо перед собой увидела Василису и в нерешительности остановилась, не зная, как быть. Василиса с интересом разглядывала ее и ждала.

— Здравствуйте, — совсем растерявшись, чуть слышно поздоровалась Александра.

— Вот оно как — здрасте, значит, — удивилась Василиса и рассердилась. — А чаю не хотите? Хромай, куды хромала, хромоножка, я не сахарная, от твоих «здрасте» не растаю. Ишь ты, здрасте, обходительная какая!

Она долго не могла успокоиться, ворчала на Петра, через стенку накричала на Настю, на весь дом гремела посудой. Ей казалось, что ее оскорбили и она не сумела ответить как следует, она на все лады повторяла злополучное «здравствуйте», произнесенное Александрой, словно оно не переставало ее жалить.

Настя подружилась с Александрой и уже через месяц звала ее Шурой. А потом у Насти застучала машинка — это Александра шила ее ребятишкам рубашонки, штанишки, и они, несмышленыши, бежали хвастаться обновой к Василисе. Заглянув на стук машинки один раз, зачастила в Настину избу и Таня — тоже что-то кроила, шила, а потом появлялась в новом халате, в новой юбке. Василиса хмурилась, молчала. Через стенку было слышно, как на той половине избы разговаривали, смеялись. Василисе казалось, что никто ее больше не замечает, никто с ней не считается, а только терпят, — мол, живешь, ну и живи.

— Матерью-то еще не зовешь ее? — с обидой спрашивала она у Насти.

— Ты, мама, не собирай чего не следует, — сердилась Настя.

— А по мне, хошь зови. Мне помирать скоро, а она вон кобылицей ржет — молодая.

— Ты, мать, жизнь прожила, а ума не нажила, — вступался за Александру Петр. — Ходишь злишься, а за что — сама не знаешь. В чем она перед тобой виновата?

Василиса умолкала, уходила в себя.

Однажды после Нового года, когда Василиса ушла в гости, Александра наконец-то осмелилась войти в избу — сама бы она ни за что даже через порог не переступила, да ее позвала Таня, чтобы помочь ей разобраться в какой-то выкройке. Они разговорились, потом Александра выглянула в окно и ахнула: Василиса закрывала за собой ворота. Александра метнулась в дверь, но проскочить незамеченной мимо Василисы не успела.

— Эт-то еще чего?! — увидев ее, закричала Василиса. — Ах ты, супротивица! В избу захотела. Я тебе счас покажу дорожку, я тебе…

— Меня Таня позвала, — пыталась оправдаться Александра.

— Мало ей амбара! — гремела Василиса, торопливо осматривая двор, словно подыскивая палку. — Мало ей Настькиной половины — сюда захотела! Я тебя отважу!

— Не смей! — пыталась защищаться Александра.

— Я тебе не посмею! Я тебе вторую ногу обломаю!

— Злишься, да? — вдруг переходя в наступление, закричала Александра. — Хочешь выжить меня? Не выйдет! Все равно он с тобой жить не будет, — отталкиваясь одной ногой, она наступала на Василису. — Он мой! Ты ему не нужна, не нужна, не нужна!

— Чего, чего! — опешила Василиса и рявкнула: — Кыш, кукша! Кыш, кукша! — еще раз крикнула она и, не оборачиваясь, пошла в дом.

— Чтоб больше эта хромая нога сюды не ступала! — строго выговорила Василиса Тане. — Покуда я здесь хозяйка, а не она. У меня и без нее кровь порченая, моя

судьба не сладкая была. Вот умру — еще помянете меня.

Она сняла с головы платок, который снимала редко, и стала гребешком расчесывать свои седые волосы. Таня, напугавшись, забилась на кровать и молчала.

— Сейчас бы квасу попила, — неожиданно сказала Василиса Тане.

— А квасники есть? — обрадовалась Таня. — Я бы поставила…

— Нету, — вздохнула Василиса.

Со временем Василиса, кажется, стала привыкать к Александре, она уже не ворчала, не злилась, а, встречая ее, отводила глаза и молча проходила мимо. О случившемся Василиса не вспоминала — то ли чувствовала себя виноватой, то ли просто не хотела бередить душу. Она стала молчаливой, задумчивой, по вечерам, убравшись по хозяйству, уходила к старухам на чай и возвращалась только ко сну.

— Ты у нас, мать, не заболела? — спрашивал Петр.

— Есть когда мне болезнями заниматься, — неласково отвечала она и уходила.

Потом выяснилось, что Василиса писала письмо среднему сыну, который жил в тридцати километрах от деревни в леспромхозе, чтобы он взял ее к себе. Сын с радостью согласился и даже собирался ехать за ней, но она с попутчиками передала, чтобы он не торопился. Переселиться на новое место она так и не решилась.

— Везде хорошо, где нас нету, — вздыхая, говорила она Тане. — Куды мне теперь трогаться, помирать скоро надо.

В последнее время Василиса привязалась к Тане, по утрам, жалея ее, старалась не греметь посудой, не позволяла ей делать тяжелую работу. Таня часто болела, заболев, улыбалась грустной и виноватой улыбкой.

— Поболей, поболей, — утешала ее Василиса. — Потом детей народишь, болеть некогда будет. А жисть, она долгая. Твоя жисть тоже не сладкая будет, мужик тебе не золото достался.

Потом она шла к Насте и говорила:

— Ты бы, Настька, сходила в амбар, к этим. У них, поди, малина есть. Пускай Таня чай с малиной попьет. Скажи Александре своей — для Тани.

Прошла зима, в марте сбежала под гору талая вода, запели по дворам петухи, Настиных ребятишек в эту пору домой загонять приходилось ремнем или пряником. Убегут и дверь не закроют, кому не лень приходи и все собирай. Мать на работе, Василиса, как могла, следила — да разве за всем уследишь?

Как-то раз Василиса пошла посмотреть, есть ли кто у Насти дома, открыла незапертую дверь и вдруг замерла. В комнате кто-то плакал. Осторожно ступая, Василиса воровато заглянула в комнату — на кровати, зарывшись головой в подушки, лежала Александра и всхлипывала.

— Евон как, — удивилась Василиса. — Плачет.

Она подождала, но Александра все не успокаивалась. Василиса подумала и подошла к самой кровати.

— Слезами горе не зальешь, — негромко, чтобы только дать о себе знать, сказала Василиса.

Александра испуганно вскочила и села на край кровати.

— А может, горя-то и нету, — продолжала Василиса. — У бабы, как у курицы, глаза на мокрое место поставлены.

Александра, не переставая всхлипывать, по-прежнему смотрела на нее с испугом.

— Пойдем-ка, бабонька, ко мне, — вдруг предложила Василиса. — Я самовар поставлю, чай попьем.

Александра, отказываясь, замотала головой.

— Пойдем, пойдем, не ерепенься, — решительно сказала Василиса. — Я на тебя зла не имею, и ты на меня не имей. Нам с тобой делить нечего.

Она привела ее в дом и усадила у стола, Александра то всхлипывала, то начинала икать.

— Не могу, когда бабы плачут, — обращаясь к опешившей Тане, которая лежала в кровати, объяснила Василиса. — Для меня это нож острый по сердцу. Жисть как пятак — с одной стороны орел, с другой решка, все хотят на орла попасть, а того не знают, что и с той и с другой стороны он пять копеек стоит. Эх, бабоньки! — Она вздохнула. — Много плакать будем — сырость пойдет, а от сырости гниль заводится. Да кто вам сказал, что ежели плохо, то плакать надо?

Она ушла на кухню и загремела там самоваром.

— Ну? — вернувшись, спросила она у Александры и показала в сторону амбара. — Он, ли че ли?

— Нет, — замотала головой Александра. — Это из-за мальчика, из-за сына.

Она взглянула на Василису и умолкла.

— Ты расскажи, — попросила Василиса, — легче будет.

— Легче не будет. Я чай подожду, чтобы запивать. Так не могу.

Александра промолчала, но почти сразу же, не вытерпев, стала рассказывать:

— Ему было четыре годика, совсем маленький. Меня взяли в трудармию, а он остался с моей мамой. Их без меня эвакуировали, я долго не могла попасть в город, пришла, а их нету.

Она опять всхлипнула.

— Скоро чай будет, — напомнила Василиса.

— Маму дорогой ранило, ее сняли с поезда, а его повезли дальше. Говорили, что в вашу область.

— Скоро чай будет, — опять сказала Василиса.

— Теперь он мне снится. Когда ему исполнилось десять лет, снился десятилетним, когда исполнилось пятнадцать, и во сне столько же. А теперь он совсем взрослый. Приходит сегодня ночью и говорит: «Мама, дайте мне свое родительское благословение, жениться хочу».

— А ты? — вся подавшись вперед, спросила Василиса.

— А я ему отвечаю: «Подожди, сынок, вот найду тебя, тогда и женись». — «А скоро ты меня найдешь?» — спрашивает он.

— Ой ты! — ахнула Василиса.

— «Скоро, — говорю, — сынок, очень скоро». Он и пошел от меня. «Ау! — кричит. — Мама, ищи».

Василиса, замерев, ждет продолжения, Александра молчит.

— Так и ушел?

— Ушел.

— А не сказал, где искать-то?

— Нет.

— Спросить надо было, допытаться.

Александра бессильно пожала плечами.

Они пили чай и разговаривали, потом разговаривали уже после чая. А через несколько дней рано утром Александра зашла к Василисе прощаться.

— Собралась я, — грустно сказала она. — Пойду дальше.

— С Богом, — благословила ее Василиса. — Иди, Александра, иди. Земля у нас одна, так и иди по ней. А я за тебя молиться буду.

Она вышла проводить ее за ворота и долго смотрела ей вслед, как когда-то в войну, когда провожала ребят.

В то утро Василий впервые пришел к самовару. Василиса налила ему стакан чаю и поставила на середину стола.

* * *

В последнее время Василий все чаще и чаще жалуется на поясницу. Он сидит на кровати и, раскачиваясь, пробует размять спину. При этом он морщится и кряхтит, на его измученном лице в рыжей щетине блестят капли пота.

— Ох, — стонет он, — подсидела, окаянная, скараулила, нечистая сила! Хошь бы на минутку отпустила.

Обессилев, Василий ложится и закрывает глаза. Спокойно лежать он тоже не может и опять приподнимается.

— Васька! — кричит он в открытую дверь.

Никто ему не отвечает.

— Васька!

Васьки нет.

После работы к Василию приходит Петр.

— Ты накажи Ваське, чтоб заглядывал ко мне, — говорит Василий. — А то круглый день один. Умру, и никто глаза не закроет.

— Как у тебя? — спрашивает Петр.

— Чего как? Сам видишь как. Вся спина книзу опускается. Хошь караул кричи.

— Врача надо.

— Врача, врача, — злится Василий. — Была вчера фельдшерица, а толку сколько? Я ей говорю, поясница болит, а она глазами хлопает. Она до меня знать не знала, что у человека поясница есть.

— У них это по-другому называется.

— Они понос тоже по-другому зовут, а лечить обязаны, на то учились.

— Что она тебе сказала-то?

— А ничего. Постукала и ушла, как на экскурсию сходила. «Завтра, — говорит, — приду», и все идет.

Он откидывается к стене и стонет. Через минуту опять выпрямляется.

— Ты сбегай в магазин, а, — просит Василий. — От нее мне легчает. Хошь ненадолго, а отпустит, чтоб оглядеться. Деньги над дверью. И сам со мной с устатку выпьешь.

Петр поднимается, молча отыскивает деньги и уходит.

На следующий день за водкой бежит Васька.

— На сдачу конфет взял, — хвастает он Василисе.

— Хорошее лекарство придумали, — с удовольствием язвит Василиса. — Стакан выпил, крякнул, и вся хворь из тебя, как от чумы, уходит.

После водки Василий и в самом деле успокаивается и засыпает. Но потом боль становится еще сильней, она словно злится за свое вынужденное отступление и свирепствует с новой силой.

Наконец-то опять пришла врачиха и сказала, что Василия надо везти в районный центр на рентген. Василий молча согласился, он устал. Ему хотелось скорее выпить и уснуть, а потом пусть везут его хоть в Москву, он все вытерпит и все будет делать так, как ему скажут. Он прожил немало, кто-то, видно, не может родиться, пока он здесь, или просто подошла его очередь, и он теперь задерживает движение.

Врачиха уходит, и Василий торопливо наливает себе полный стакан, Петру полстакана. Они выпивают, через минуту Василий оживляется.

— Скажи ты мне, — спрашивает он, — почему это люди все больше рождаются и умирают по ночам?

— Не знаю, — пожимает плечами Петр.

— Вот то-то и оно — никто не знает. А почему человек на белый свет приходит ночью и уходит ночью? Неправильно это. Я хочу днем умереть. Люди разговаривают, курицы крыльями хлопают, собаки лают. Ночью страшно, все спят. А тут ребенок кричит,

из матери вышел. В другом месте старик кричит — из него жизнь уходит. А люди, которые посередине, спят. Вот это и страшно, что спят. Проснутся, а уж кочевье произошло. Работу свою сделают, не сделают, опять ночь, опять спать, и опять все сдвинулось. О-хо-хо! Ночью никто тебе не поможет, не скажет: «Умирай, Василий, умирай, не бойся, ты все сделал, а чего не сделал, другие доделают». Человека успокоить надо, тогда ему не страшно в домовище ложиться.

— Ты чего это, отец? — испуганно спрашивает Петр. — Чего мелешь-то?

— Мелешь, говоришь? А мне страшно. Вот ты встал и ушел, а я один. Я привык один — жить, значит, привык один. Умирать одному страшно. Не привык.

Он тянется за бутылкой.

— Давай разольем, да я лягу.

Петр приходит домой и говорит Василисе:

— Плохо отцу.

Василиса не отвечает.

Опять день. Дверь в амбар снова открыта.

— Васька! — кричит Василий.

Васьки нет.

Василиса, придерживая в руках край платка, осторожно заглядывает в дверь.

— Нету Васьки, не кричи почем зря, — говорит она.

Василий приподнимается и смотрит на нее.

— Это ты, Василиса? — ослабевшим голосом спрашивает он. — А где Васька?

— Убежал.

— Ты зайди, Василиса, чего уж теперь.

Василиса перешагивает через порог и останавливается.

— Подойди, Василиса.

— Захворал, ли че ли? — спрашивает Василиса от порога.

— Чую, смерть моя близко. Ты подойди, попрощаемся.

Она осторожно подходит и садится на край кровати.

— Плохо мы с тобой жили, Василиса, — шепчет Василий. — Это я во всем виноватый.

— Совсем не плохо, — качает головой Василиса. — Дети выросли, работают.

— Плохо, Василиса. Стыдно перед смертью.

Василиса подносит к губам край платка и наклоняется над Василием.

— Ты чего это выдумал-то, Василий? — шепчет она. — Чего это ты выдумал-то?

— На меня твои слезы капают, — обрадованно шепчет Василий. — Вот опять.

Он закрывает глаза и улыбается.

— Чего это ты выдумал-то, Василий? Боже мой, грех-то какой!

Она трясет его за плечи, он открывает глаза и говорит:

— Давай попрощаемся, Василиса.

Он подает ей руку, она пожимает ее и, всхлипывая, поднимается.

— Теперь иди, — говорит он. — Теперь мне легче стало.

Она делает шаг, второй, потом оборачивается. Василий улыбается. Она всхлипывает и выходит.

Он улыбается, лежит и улыбается.

Стоит тихий, словно перед дождем, день. В такой день хорошо пить простоквашу — не очень холодную и не очень теплую — и смотреть в окно, что происходит на улице.

УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО

Анастасии Прокопъевне Копыловой

Странно: почему мы так же, как и перед родителями, всякий раз чувствуем свою вину перед учителями? И не за то вовсе, что было в школе, — нет, а за то, что сталось с нами после.

* * *

Я пошел в пятый класс в сорок восьмом году. Правильней сказать, поехал: у нас в деревне была только начальная школа, поэтому, чтобы учиться дальше, мне пришлось снаряжаться из дому за пятьдесят километров в райцентр. За неделю раньше туда съездила мать, уговорилась со своей знакомой, что я буду квартировать у нее, а в последний день августа дядя Ваня, шофер единственной в колхозе полуторки, выгрузил меня на улице Подкаменной, где мне предстояло жить, помог занести в дом узел с постелью, ободряюще похлопал на прощанье по плечу и укатил. Так, в одиннадцать лет, началась моя самостоятельная жизнь.

Голод в тот год еще не отпустил, а нас у матери было трое, я самый старший. Весной, когда пришлось особенно туго, я глотал сам и заставлял глотать сестренку глазки проросшей картошки и зерна овса и ржи, чтобы развести посадки в животе, — тогда не придется все время думать о еде. Все лето мы старательно поливали свои семена чистой ангарской водичкой, но урожая почему-то не дождались или он был настолько мал, что мы его не почувствовали. Впрочем, я думаю, что затея эта не совсем бесполезная и человеку когда-нибудь еще пригодится, а мы по неопытности что-то там делали неверно.

Трудно сказать, как решилась мать отпустить меня в район (райцентр у нас называли районом). Жили мы без отца, жили совсем плохо, и она, видно, рассудила, что хуже уже не будет — некуда. Учился я хорошо, в школу ходил с удовольствием и в деревне признавался за грамотея: писал за старух и читал письма, перебрал все книжки, которые оказались в нашей неказистой библиотеке, и по вечерам рассказывал из них ребятам всякие истории, больше того добавляя от себя. Но особенно в меня верили, когда дело касалось облигаций. Их за войну у людей скопилось много, таблицы выигрышей приходили часто, и тогда облигации несли ко мне. Считалось, что у меня счастливый глаз. Выигрыши и правда случались, чаще всего мелкие, но колхозник в те годы рад был любой копейке, а тут из моих рук сваливалась и совсем нечаянная удача. Радость от нее невольно перепадала и мне. Меня выделяли из деревенской ребятни, даже подкармливали; однажды дядя Илья, в общем-то скупой, прижимистый старик, выиграв четыреста рублей, сгоряча нагреб мне ведро картошки — под весну это было немалое богатство.

И все потому же, что я разбирался в номерах облигаций, матери говорили:

— Башковитый у тебя парень растет. Ты это… давай учи его. Грамота зря не пропадет.

И мать, наперекор всем несчастьям, собрала меня, хотя до того никто из нашей деревни в районе не учился. Я был первый. Да я и не понимал, как следует, что мне предстоит, какие испытания ждут меня, голубчика, на новом месте.

Учился я и тут хорошо. Что мне оставалось? — затем я сюда и приехал, другого дела у меня здесь не было, а относиться спустя рукава к тому, что на меня возлагалось, я тогда еще не умел. Едва ли осмелился бы я пойти в школу, останься у меня невыученным хоть

один урок, поэтому по всем предметам, кроме французского, у меня держались пятерки.

С французским у меня не ладилось из-за произношения. Я легко запоминал слова и обороты, быстро переводил, прекрасно справлялся с трудностями правописания, но произношение с головой выдавало все мое ангарское происхождение вплоть до последнего колена, где никто сроду не выговаривал иностранных слов, если вообще подозревал об их существовании. Я шпарил по-французски на манер наших деревенских скороговорок, половину звуков за ненадобностью проглатывая, а вторую половину выпаливая короткими лающими очередями. Лидия Михайловна, учительница французского, слушая меня, бессильно морщилась и закрывала глаза. Ничего подобного опа, конечно, не слыхивала. Снова и снова она показывала, как произносятся носовые, сочетания гласных, просила повторить — я терялся, язык у меня во рту деревенел и не двигался. Все было впустую. Но самое страшное начиналось, когда я приходил из школы. Там я невольно отвлекался, все время вынужден был что-то делать, там меня тормошили ребята, вместе с ними — хочешь не хочешь приходилось двигаться, играть, а на уроках — работать. Но едва я оставался один, сразу наваливалась тоска — тоска по дому, по деревне. Никогда раньше даже на день я не отлучался из семьи и, конечно, не был готов к тому, чтобы жить среди чужих людей. Так мне было плохо, так горько и постыло! — хуже всякой болезни. Хотелось только одного, мечталось об одном — домой и домой. Я сильно похудел; мать, приехавшая в конце сентября, испугалась за меня. При ней я крепился, не жаловался и не плакал, но, когда она стала уезжать, не выдержал и с ревом погнался за машиной. Мать махала мне рукой из кузова, чтобы я отстал, не позорил себя и ее, я ничего не понимал. Тогда она решилась и остановила машину.

— Собирайся, — потребовала она, когда я подошел. Хватит, отучился, поедем домой.

Я опомнился и убежал.

Но похудел я не только из-за тоски по дому. К тому же еще я постоянно недоедал. Осенью, пока дядя Ваня возил на своей полуторке хлеб в Заготзерно, стоявшее неподалеку от райцентра, еду мне присылали довольно часто, примерно раз в неделю. Но вся беда в том, что мне ее не хватало. Ничего там не было, кроме хлеба и картошки, изредка мать набивала в баночку творогу, который у кого-то под что-то брала: корову она не держала. Привезут кажется много, хватишься через два дня — пусто. Я очень скоро стал замечать, что добрая половина моего хлеба куда-то самым таинственным образом исчезает. Проверил — так и есть: был нету. То же самое творилось с картошкой. Кто потаскивал — тетя Надя ли, крикливая, замотанная женщина, которая одна мыкалась с тремя ребятишками, кто-то из ее старших девчонок или младший, Федька, — я не знал, я боялся даже думать об этом, не то что следить. Обидно было только, что мать ради меня отрывает последнее от своих, от сестренки с братишкой, а оно все равно идет мимо. Но я заставил себя смириться и с этим. Легче матери не станет, если она услышит правду.

Голод здесь совсем не походил на голод в деревне. Там всегда, и особенно осенью, можно было что-то перехватить, сорвать, выкопать, поднять, в Ангаре ходила рыба, в лесу летала птица. Тут для меня все вокруг было пусто: чужие люди, чужие огороды, чужая земля. Небольшую речушку на десять рядов процеживали бреднями. Я как-то в воскресенье просидел с удочкой весь день и поймал трех маленьких, с чайную ложку, пескариков — от такой рыбалки тоже не раздобреешь. Больше не ходил — что зря время переводить! По вечерам околачивался у чайной, на базаре, запоминая, что почем продают, давился слюной

и шел ни с чем обратно. На плите у тети Нади стоял горячий чайник; пошвыркав гольного кипяточку и согрев желудок, ложился спать. Утром опять в школу. Так и дотягивал до того счастливого часа, когда к воротам подъезжала полуторка и в дверь стучал дядя Ваня. Наголодавшись и зная, что харч мой все равно долго не продержится, как бы я его ни экономил, я наедался до отвала, до рези и животе, а затем, через день или два, снова подсаживал зубы на полку.

* * *

Однажды, еще в сентябре, Федька спросил у меня:

— Ты в “чику” играть не боишься?

— В какую “чику”? — не понял я.

— Игра такая. На деньги. Если деньги есть, пойдем сыграем.

— Нету.

— И у меня нету. Пойдем так, хоть посмотрим. Увидишь, как здорово.

Федька повел меня за огороды. Мы прошли по краю продолговатого, грядой, холма, сплошь заросшего крапивой, уже черной, спутанной, с отвисшими ядовитыми гроздьями семян, перебрались, прыгая по кучам, через старую свалку и в низинке, на чистой и ровной небольшой поляне, увидели ребят. Мы подошли. Ребята насторожились. Все они были примерно тех же лет, что и я, кроме одного — рослого и крепкого, заметного своей силой и властью, пария с длинной рыжей челкой. Я вспомнил: он ходил в седьмой класс.

— Этого еще зачем привел? — недовольно сказал он Федьке.

— Он свой, Вадик, свой, — стал оправдываться Федька. — Он у нас живет.

— Играть будешь? — спросил меня Вадик.

— Денег нету.

— Гляди не вякни кому, что мы здесь.

— Вот еще! — обиделся я.

Больше на меня не обращали внимания, я отошел в сторонку и стал наблюдать. Играли не все — то шестеро, то семеро, остальные только глазели, болея в основном за Вадика. Хозяйничал здесь он, это я понял сразу.

Разобраться в игре ничего не стоило. Каждый выкладывал на кон по десять копеек, стопку монет решками вверх опускали на площадку, ограниченную жирной чертой метрах в двух от кассы, а с другой стороны, от валуна, вросшего в землю и служившего упором для передней ноги, бросали круглую каменную шайбу. Бросать ее надо было с тем расчетом, чтобы она как можно ближе подкатилась к черте, но не вышла за нее, — тогда ты получал право первым разбивать кассу. Били всё той же шайбой, стараясь перевернуть. монеты на орла. Перевернул — твоя, бей дальше, нет — отдай это право следующему. Но важней всего считалось еще при броске накрыть шайбой монеты, и если хоть одна из них оказывалась на орле, вся касса без разговоров переходила в твой карман, и игра начиналась снова.

Вадик хитрил. Он шел к валуну после всех, когда полная картина очередности была у него перед глазами и он видел, куда бросать, чтобы выйти вперед. Деньги доставались первым, до последних они доходили редко. Наверное, все понимали, что Вадик хитрит, но сказать ему об этом никто не смел. Правда, и играл он хорошо. Подходя к камню, чуть приседал, прищурившись, наводил шайбу на цель и неторопливо, плавно выпрямлялся — шайба выскальзывала из его руки и летела туда, куда он метил. Быстрым движением головы он забрасывал съехавшую челку наверх, небрежно сплевывал в сторону, показывая, что дело сделано, и ленивым, нарочито замедленным шагом ступал к деньгам. Если они были в куче, бил резко, со

звоном, одиночные же монетки трогал шайбой осторожно, с накатиком, чтобы монетка не билась и не крутилась в воздухе, а, не поднимаясь высоко, всего лишь переваливалась на другую сторону. Никто больше так не умел. Ребята лупили наобум и доставали новые монеты, а кому нечего было доставать, переходили в зрители.

Мне казалось, что, будь у меня деньги, я бы смог играть. В деревне мы возились с бабками, но и там нужен точный глаз. А я, кроме того, любил придумывать для себя забавы на меткость: наберу горсть камней, отыщу цель потруднее и бросаю в нее до тех пор, пока не добьюсь полного результата — десять из десяти. Бросал и сверху, из-за плеча, и снизу, навешивая камень над целью. Так что кой-какая сноровка у меня была. Не было денег.

Мать потому и отправляла мне хлеб, что денег у нас не водилось, иначе я покупал бы его и здесь. Откуда им в колхозе взяться? Все же раза два она подкладывала мне в письмо по пятерке — на молоко. На теперешние это пятьдесят копеек, не разживешься, но все равно деньги, на них на базаре можно было купить пять поллитровых баночек молока, по рублю за баночку. Молоко мне наказано пить от малокровия, у меня часто ни с того ни с сего принималась вдруг кружиться голова.

Но, получив пятерку в третий раз, я не пошел за молоком, а разменял ее на мелочь и отправился за свалку. Место здесь было выбрано с толком, ничего не скажешь: полянка, замкнутая холмами, ниоткуда не просматривалась. В селе, на виду у взрослых, за такие игры гоняли, грозили директором и милицией. Тут нам никто не мешал. И недалеко, за десять минут добежишь.

В первый раз я спустил девяносто копеек, во второй шестьдесят. Денег было, конечно, жалко, но я

чувствовал, что приноравливаюсь к игре, рука постепенно привыкала к шайбе, училась отпускать для броска ровно столько силы, сколько требовалось, чтобы шайба пошла верно, глаза тоже учились заранее знать, куда она упадет и сколько еще прокатится по земле. По вечерам, когда все расходились, я снова возвращался сюда, доставал из-под камня спрятанную Вадиком шайбу, выгребал из кармана свою мелочь и бросал, пока не темнело. Я добился того, что из десяти бросков три или четыре угадывали точно на деньги.

И наконец наступил день, когда я остался в выигрыше.

Осень стояла теплая и сухая. Еще и в октябре пригревало так, что можно было ходить в рубашке, дожди выпадали редко и казались случайными, ненароком занесенными откуда-то из непогодья слабым попутным ветерком. Небо синело совсем по-летнему, но стало словно бы уже, и солнце заходило рано. Над холмами в чистые часы курился воздух, разнося горьковатый, дурманящий запах сухой полыни, ясно звучали дальние голоса, кричали отлетающие птицы. Трава на нашей поляне, пожелтевшая и сморенная, все же осталась живой и мягкой, на ней возились свободные от игры, а лучше сказать, проигравшиеся ребята.

Теперь каждый день после школы я прибегал сюда. Ребята менялись, появлялись новички, и только Вадик не пропускал ни одной игры. Она без него и не начиналась. За Вадиком, как тень, следовал большеголовый, стриженный под машинку, коренастый парень, по прозвищу Птаха. В школе я Птаху до этого не встречал, но, забегая вперед, скажу, что в третьей четверти он вдруг, как снег на голову, свалился на наш класс. Оказывается, остался в пятом на второй год и под каким-то предлогом устроил себе до января каникулы. Птаха тоже обычно выигрывал, хоть и не так,

как Вадик, поменьше, но в убытке не оставался. Да потому, наверно, и не оставался, что был заодно с Вадиком и тот ему потихоньку помогал.

Из нашего класса на полянку иногда набегал Тишкин, суетливый, с моргающими глазенками мальчишка, любивший на уроках поднимать руку. Знает, не знает — все равно тянет. Вызовут — молчит.

— Что ж ты руку поднимал? — спрашивают Тишкина.

Он шлепал своими глазенками:

— Я помнил, а пока вставал, забыл.

Я с ним не дружил. От робости, молчаливости, излишней деревенской замкнутости, а главное — от дикой тоски по дому, не оставлявшей во мне никаких желаний, ни с кем из ребят я тогда еще не сошелся. Их ко мне тоже не тянуло, я оставался один, не понимая и не выделяя из горького своего положения одиночества: один — потому что здесь, а не дома, не в деревне, там у меня товарищей много.

Тишкин, казалось, и не замечал меня на полянке. Быстро проигравшись, он исчезал и появлялся снова не скоро.

А я выигрывал. Я стал выигрывать постоянно, каждый день. У меня был свой расчет: не надо катать шайбу по площадке, добиваясь права на первый удар; когда много играющих, это не просто: чем ближе тянешься к черте, тем больше опасности перевалить за нее и остаться последним. Надо накрывать кассу при броске. Так я и делал. Конечно, я рисковал, но при моей сноровке это был оправданный риск. Я мог проиграть три, четыре раза подряд, зато на пятый, забрав кассу, возвращал свой проигрыш втройне. Снова проигрывал и снова возвращал. Мне редко приходилось стучать шайбой по монетам, но и тут я пользовался своим приемом: если Вадик бил с накатом на себя, я, наоборот, тюкал от себя — так было непривычно, но так

шайба придерживала монету, не давала ей вертеться и, отходя, переворачивала вслед за собой.

Теперь у меня появились деньги. Я не позволял себе чересчур увлекаться игрой и торчать на полянке до вечера, мне нужен был только рубль, каждый день по рублю. Получив его, я убегал, покупал на базаре баночку молока (тетки ворчали, глядя на мои погнутые, побитые, истерзанные монеты, но молоко наливали), обедал и садился за уроки. Досыта все равно я не наедался, но уже одна мысль, что я пью молоко, прибавляла мне силы и смиряла голод. Мне стало казаться, что и голова теперь у меня кружится гораздо меньше.

Поначалу Вадик спокойно относился к моим выигрышам. Он и сам не оставался внакладе, а из его карманов вряд ли мне что-нибудь перепадало. Иногда он даже похваливал меня: вот, мол, как надо бросать, учитесь, мазилы. Однако вскоре Вадик заметил, что я слишком быстро выхожу из игры, и однажды остановил меня:

— Ты что это — загреб кассу и драть? Ишь шустрый какой! Играй.

— Мне уроки надо, Вадик, делать, — стал отговариваться я.

— Кому надо делать уроки, тот сюда не ходит.

А Птаха подпел:

— Кто тебе сказал, что так играют на деньги? За это, хочешь знать, бьют маленько. Понял?

Больше Вадик не давал мне шайбу раньше себя и подпускал к камню только последним. Он хорошо бросал, и нередко я лез в карман за новой монетой, не прикоснувшись к шайбе. Но я бросал лучше, и если уж мне доставалась возможность бросать, шайба, как намагниченная, летела точно на деньги. Я и сам удивлялся своей меткости, мне надо бы догадаться придержать ее, играть незаметней, а я бесхитростно и

безжалостно продолжал бомбить кассу. Откуда мне было знать, что никогда и никому еще не прощалось, если в своем деле он вырывается вперед? Не жди тогда пощады, не ищи заступничества, для других он выскочка, и больше всех ненавидит его тот, кто идет за ним следом. Эту науку мне пришлось в ту осень постигнуть на собственной шкуре.

Я только что опять угодил в деньги и шел собирать их, когда заметил, что Вадик наступил ногой на одну из рассыпавшихся по сторонам монет. Все остальные лежали вверх решками. В таких случаях при броске обычно кричат “в склад!”, чтобы — если не окажется орла — собрать для удара деньги в одну кучу, но я, как всегда, понадеялся на удачу и не крикнул.

— Не в склад! — объявил Вадик.

Я подошел к нему и попытался сдвинуть его ногу с монеты, но он оттолкнул меня, быстро схватил ее с земли и показал мне решку. Я успел заметить, что монета была на орле, — иначе он не стал бы ее закрывать.

— Ты перевернул ее, — сказал я. — Она была на орле, я видел.

Он сунул мне под нос кулак.

— А этого ты не видел? Понюхай, чем пахнет.

Мне пришлось смириться. Настаивать на своем было бессмысленно; если начнется драка, никто, ни одна душа за меня не заступится, даже Тишкин, который вертелся тут же.

Злые, прищуренные глаза Вадика смотрели на меня в упор. Я нагнулся, тихонько ударил по ближней монете, перевернул ее и подвинул вторую. “Хлюзда на правду наведет, — решил я. — Все равно я их сейчас все заберу”. Снова наставил шайбу для удара, но опустить уже не успел: кто-то вдруг сильно поддал мне сзади коленом, и я неловко, склоненной вниз головой, ткнулся в землю. Вокруг засмеялись.

За мной, ожидающе улыбаясь, стоял Птаха. Я опешил:

— Чего-о ты?!

— Кто тебе сказал, что это я? — отперся он. — Приснилось, что ли?

— Давай сюда! — Вадик протянул руку за шайбой, но я не отдал ее. Обида перехлестнула во мне страх ничего на свете я больше не боялся. За что? За что они так со мной? Что я им сделал?

— Давай сюда! — потребовал Вадик.

— Ты перевернул ту монетку! — крикнул я ему. — Я видел, что перевернул. Видел.

— Ну-ка, повтори, — надвигаясь на меня, попросил он.

— Ты перевернул ее, — уже тише сказал я, хорошо зная, что за этим последует.

Первым, опять сзади, меня ударил Птаха. Я полетел на Вадика, он быстро и ловко, не примериваясь, поддел меня головой в лицо, и я упал, из носу у меня брызнула кровь. Едва я вскочил, на меня снова набросился Птаха. Можно было еще вырваться и убежать, но я почему-то не подумал об этом. Я вертелся меж Вадиком и Птахой, почти не защищаясь, зажимая ладонью нос, из которого хлестала кровь, и в отчаянии, добавляя им ярости, упрямо выкрикивая одно и то же:

— Перевернул! Перевернул! Перевернул!

Они били меня по очереди, один и второй, один и второй. Кто-то третий, маленький и злобный, пинал меня по ногам, потом они почти сплошь покрылись синяками. Я старался только не упасть, ни за что больше не упасть, даже в те минуты мне казалось это позором. Но в конце концов они повалили меня на землю и остановились.

— Иди отсюда, пока живой! — скомандовал Вадик. — Быстро!

Я поднялся и, всхлипывая, швыркая омертвевшим носом, поплелся в гору.

— Только вякни кому — убьем! — пообещал мне вслед Вадик.

Я не ответил. Все во мне как-то затвердело и сомкнулось в обиде, у меня не было сил достать из себя слово. И, только поднявшись на гору, я не утерпел и, словно сдурев, закричал что было мочи — так что слышал, наверное, весь поселок:

— Переверну-у-ул!

За мной кинулся было Птаха, но сразу вернулся — видно, Вадик рассудил, что с меня хватит, и остановил его. Минут пять я стоял и, всхлипывая, смотрел на полянку, где снова началась игра, затем спустился по другой стороне холма к ложбинке, затянутой вокруг черной крапивой, упал на жесткую сухую траву и, не сдерживаясь больше, горько, навзрыд заплакал.

Не было в тот день и не могло быть во всем белом свете человека несчастнее меня.

* * *

Утром я со страхом смотрел на себя в зеркало: нос вспух и раздулся, под левым глазом синяк, а ниже его, на щеке, изгибается жирная кровавая ссадина. Как идти в школу в таком виде, я не представлял, но как-то идти надо было, пропускать по какой бы то ни было причине уроки я не решался. Допустим, носы у людей и от природы случаются почище моего, и если бы не привычное место, ни за что не догадаешься, что это нос, но ссадину и синяк ничем оправдать нельзя: сразу видно, что они красуются тут не по моей доброй воле.

Прикрывая глаз рукой, я юркнул в класс, сел за свою парту и опустил голову. Первым уроком, как назло, был французский. Лидия Михайловна, по праву классного руководителя, интересовалась нами больше других

учителей, и скрыть от нее что-либо было трудно. Она входила, здоровалась, но до того, как посадить класс, имела привычку внимательным образом осматривать почти каждого из нас, делая будто бы и шутливые, но обязательные для исполнения замечания. И знаки на моем лице она, конечно, увидела сразу, хоть я, как мог, и прятал их; я понял это потому, что на меня стали оборачиваться ребята.

— Ну вот, — сказала Лидия Михайловна, открывая журнал. Сегодня среди нас есть раненые.

Класс засмеялся, а Лидия Михайловна снова подняла на меня глаза. Они у нее косили и смотрели словно бы мимо, но мы к тому времени уже научились распознавать, куда они смотрят.

— И что случилось? — спросила она.

— Упал, — брякнул я, почему-то не догадавшись заранее придумать хоть мало-мальски приличное объяснение.

— Ой, как неудачно. Вчера упал или сегодня?

— Сегодня. Нет, вчера вечером, когда темно было.

— Хи, упал! — выкрикнул Тишкин, захлебываясь от радости. — Это ему Вадик из седьмого класса поднес. Они на деньги играли, а он стал спорить и заработал. Я же видел. А говорит, упал.

Я остолбенел от такого предательства. Он что — совсем ничего не понимает или это он нарочно? За игру на деньги нас в два счета могли выгнать из школы. Доигрался. В голове у меня от страха все всполошилось и загудело: пропал, теперь пропал. Ну, Тишкин. Вот Тишкин так Тишкин. Обрадовал. Внес ясность — нечего сказать.

— Тебя, Тишкин, я хотела спросить совсем другое, — не удивляясь и не меняя спокойного, чуть безразличного тона, остановила его Лидия Михайловна. — Иди к доске, раз уж ты разговорился, и приготовься отвечать. Она подождала, пока растерявшийся,

ставший сразу несчастным Тишкин выйдет к доске, и коротко сказала мне: — После уроков останешься.

Больше всего я боялся, что Лидия Михайловна потащит меня к директору. Это значит, что, кроме сегодняшней беседы, завтра меня выведут перед школьной линейкой и заставят рассказывать, что меня побудило заниматься этим грязным делом. Директор, Василий Андреевич, так и спрашивал провинившегося, что бы он ни творил, разбил окно, подрался или курил в уборной: “Что тебя побудило заниматься этим грязным делом?” Он расхаживал перед линейкой, закинув руки за спину, вынося вперед в такт широким шагам плечи, так что казалось, будто наглухо застегнутый, оттопыривающийся темный френч двигается самостоятельно чуть поперед директора, и подгонял: “Отвечай, отвечай. Мы ждем. смотри, вся школа ждет, что ты нам скажешь”. Ученик начинал в свое оправдание что-нибудь бормотать, но директор обрывал его: “Ты мне на вопрос отвечай, на вопрос. Как был задан вопрос?” — “Что меня побудило?” — Вот именно: что побудило? Слушаем тебя”. Дело обычно заканчивалось слезами, лишь после этого директор успокаивался, и мы расходились на занятия. Труднее было со старшеклассниками, которые не хотели плакать, но и не могли ответить на вопрос Василия Андреевича.

Однажды первый урок у нас начался с опозданием на десять минут, и все это время директор допрашивал одного девятиклассника, но, так и не добившись от него ничего вразумительного, увел к себе в кабинет.

А что, интересно, скажу я? Лучше бы сразу выгоняли. Я мельком, чуть коснувшись этой мысли, подумал, что тогда я смогу вернуться домой, и тут же, словно обжегшись, испугался: нет, с таким позором и домой нельзя. Другое дело — если бы я сам бросил школу… Но и тогда про меня можно сказать, что я

человек ненадежный, раз не выдержал того, что хотел, а тут и вовсе меня станет чураться каждый. Нет, только не так. Я бы еще потерпел здесь, я бы привык, но так домой ехать нельзя.

После уроков, замирая от страха, я ждал Лидию Михайловну в коридоре. Она вышла из учительской и, кивнув, завела меня в класс. Как всегда, она села за стол, я хотел устроиться за третьей партой, подальше от нее, но Лидия Михайловна показала мне на первую, прямо перед собой.

— Это правда, что ты играешь на деньги? — сразу начала она. Она спросила слишком громко, мне казалось, что в школе об этом нужно говорить только шепотом, и я испугался еще больше. Но запираться никакого смысла не было, Тишкин успел продать меня с потрохами. Я промямлил:

— Правда.

— Ну и как — выигрываешь или проигрываешь? Я замялся, не зная, что лучше.

— Давай рассказывай, как есть. Проигрываешь, наверное?

— Вы… выигрываю.

— Хорошо, хоть так. Выигрываешь, значит. И что ты делаешь с деньгами?

В первое время в школе я долго не мог привыкнуть к голосу Лидии Михайловны, он сбивал меня с толку. У нас в деревне говорили, запахивая голос глубоко в нутро, и потому звучал он в волюшку, а у Лидии Михайловны он был каким-то мелким и легким, так что в него приходилось вслушиваться, и не от бессилия вовсе — она иногда могла сказать и всласть, а словно бы от притаенности и ненужной экономии. Я готов был свалить все на французский язык: конечно, пока училась, пока приноравливалась к чужой речи, голос без свободы сел, ослаб, как у птички в клетке, жди теперь, когда он опять разойдется и окрепнет. Вот и

сейчас Лидия Михайловна спрашивала так, будто была в это время занята чем-то другим, более важным, но от вопросов ее все равно было не уйти.

— Ну, так что ты делаешь с деньгами, которые выигрываешь? Покупаешь конфеты? Или книги? Или копишь на что-нибудь? Ведь у тебя их, наверное, теперь много?

— Нет, не много. Я только рубль выигрываю.

— И больше не играешь?

— Нет.

— А рубль? Почему рубль? Что ты с ним делаешь?

— Покупаю молоко.

— Молоко?

Она сидела передо мной аккуратная, вся умная и красивая, красивая и в одежде, и в своей женской молодой поре, которую я смутно чувствовал, до меня доходил запах духов от нее, который я принимал за самое дыхание; к тому же она была учительницей не арифметики какой-нибудь, не истории, а загадочного французского языка, от которого тоже исходило что-то особое, сказочное, неподвластное любому-каждому, как, например, мне. Не смея поднять глаза на нее, я не посмел и обмануть ее. Да и зачем, в конце концов, мне было обманывать?

Она помолчала, рассматривая меня, и я кожей почувствовал, как при взгляде ее косящих внимательных глаз все мои беды и несуразности прямо-таки взбухают и наливаются своей дурной силой. Посмотреть, конечно, было на что: перед ней крючился на парте тощий диковатый мальчишка с разбитым лицом, неопрятный без матери и одинокий, в старом, застиранном пиджачишке на обвислых плечах, который впору был на груди, но из которого далеко вылезали руки; в перешитых из отцовских галифе и заправленных в чирки марких светло-зеленых штанах со следами вчерашней драки. Я еще раньше заметил, с каким

любопытством поглядывает Лидия Михайловна на мою обувку. Из всего класса в чирках ходил только я. Лишь на следующую осень, когда я наотрез отказался ехать в них в школу, мать продала швейную машину, единственную нашу ценность, и купила мне кирзовые сапоги.

— И все-таки на деньги играть не надо, — задумчиво сказала Лидия Михайловна. — Обошелся бы ты как-нибудь без этого. Можно обойтись?

Не смея поверить в свое спасение, я легко пообещал:

— Можно.

Я говорил искренне, но что поделаешь, если искренность нашу нельзя привязать веревками.

Справедливости ради надо сказать, что в те дни мне пришлось совсем плохо. Колхоз наш по сухой осени рано рассчитался с хлебосдачей, и дядя Ваня больше не приезжал. Я знал, что дома мать места себе не находит, переживая за меня, но мне от этого было не легче. Мешок картошки, привезенный в последний раз дядей Ваней, испарился так быстро, будто ею кормили, по крайней мере, скот. Хорошо еще, что, спохватившись, я догадался немножко припрятать в стоящей во дворе заброшенной сараюшке, и вот теперь только этой притайкой и жил. После школы, крадучись, как вор, я шмыгал в сараюшку, совал несколько картофелин в карман и убегал за улицу, в холмы, чтобы где-нибудь в удобной и скрытой низинке развести огонь. Мне все время хотелось есть, даже во сне я чувствовал, как по моему желудку прокатываются судорожные волны.

В надежде наткнуться на новую компанию игроков, я стал потихоньку обследовать соседние улицы, бродил по пустырям, следил за ребятами, которых заносило в холмы. Все было напрасно, сезон кончился, подули холодные октябрьские ветры. И только по нашей полянке по-прежнему продолжали собираться ребята. Я

кружил неподалеку, видел, как взблескивает на солнце шайба, как, размахивая руками, командует Вадик и склоняются над кассой знакомые фигуры.

В конце концов я не выдержал и спустился к ним. Я знал, что иду на унижение, но не меньшим унижением было раз и навсегда смириться с тем, что меня избили и выгнали. Меня зудило посмотреть, как отнесутся к моему появлению Вадик и Птаха и как смогу держать себя я. Но больше всего подгонял голод. Мне нужен был рубль — уже не на молоко, а на хлеб. Других путей раздобыть его я не знал.

Я подошел, и игра сама собой приостановилась, все уставились на меня. Птаха был в шапке с подвернутыми ушами, сидящей, как и все на нем, беззаботно и смело, в клетчатой, навыпуск рубахе с короткими рукавами; Вадик форсил в красивой толстой куртке с замком. Рядом, сваленные в одну кучу, лежали фуфайки и пальтишки, на них, сжавшись под ветром, сидел маленький, лет пяти-шести, мальчишка.

Первым встретил меня Птаха:

— Чего пришел? Давно не били?

— Играть пришел, — как можно спокойней ответил я, глядя на Вадика.

— Кто тебе сказал, что с тобой, — Птаха выругался, — будут тут играть?

— Никто.

— Что, Вадик, сразу будем бить или подождем немножко?

— Чего ты пристал к человеку, Птаха? — щурясь на меня, сказал Вадик. — Понял, человек играть пришел. Может, он у нас с тобой по десять рублей хочет выиграть?

— У вас нет по десять рублей, — только чтобы не казаться себе трусом, сказал я.

— У нас есть больше, чем тебе снилось. Ставь, не разговаривай, пока Птаха не рассердился. А то он

человек горячий.

— Дать ему, Вадик?

— Не надо, пусть играет. — Вадик подмигнул ребятам. — Он здорово играет, мы ему в подметки не годимся.

Теперь я был ученый и понимал, что это такое — доброта Вадика. Ему, видно, надоела скучная, неинтересная игра, поэтому, чтобы пощекотать себе нервы и почувствовать вкус настоящей игры, он и решил допустить в нее меня. Но как только я затрону его самолюбие, мне опять не поздоровится. Он найдет, к чему придраться, рядом с ним Птаха.

Я решил играть осторожно и не зариться на кассу. Как и все, чтобы не выделяться, я катал шайбу, боясь ненароком угодить в деньги, потом тихонько тюкал по монетам и оглядывался, не зашел ли сзади Птаха. В первые дни я не позволял себе мечтать о рубле; копеек двадцать-тридцать, на кусок хлеба, и то хорошо, и то давай сюда.

Но то, что должно было рано или поздно случиться, разумеется, случилось. На четвертый день, когда, выиграв рубль, я собрался уйти, меня снова избили. Правда, на этот раз обошлось легче, но один след остался: у меня сильно вздулась губа. В школе приходилось ее постоянно прикусывать. Но, как ни прятал я ее, как ни прикусывал, а Лидия Михайловна разглядела. Она нарочно вызвала меня к доске и заставила читать французский текст. Я его с десятью здоровыми губами не смог бы правильно произнести, а об одной и говорить нечего.

— Хватит, ой, хватит! — испугалась Лидия Михайловна и замахала на меня, как на нечистую силу, руками. — Да что же это такое?! Нет, придется с тобой заниматься отдельно. Другого выхода нет.

* * *

Так начались для меня мучительные и неловкие дни. С самого утра я со страхом ждал того часа, когда мне придется остаться наедине с Лидией Михайловной, и, ломая язык, повторять вслед за ней неудобные для произношения, придуманные только для наказания слова. Ну, зачем еще, как не для издевательства, три гласные сливать в один толстый тягучий звук, то же “о”, например, в слове “beaucoup” (много), которым можно подавиться? Зачем с каким-то пристоном пускать звуки через нос, когда испокон веков он служил человеку совсем для другой надобности? Зачем? Должны же существовать границы разумного. Я покрывался потом, краснел и задыхался, а Лидия Михайловна без передышки и без жалости заставляла меня мозолить бедный мой язык. И почему меня одного? В школе сколько угодно было ребят, которые говорили по-французски ничуть не лучше, чем я, однако они гуляли на свободе, делали что хотели, а я, как проклятый, отдувался один за всех.

Оказалось, что и это еще не самое страшное. Лидия Михайловна вдруг решила, что времени в школе у нас до второй смены остается в обрез, и сказала, чтобы я по вечерам приходил к ней на квартиру. Жила она рядом со школой, в учительских домах. На другой, большей половине дома Лидии Михайловны жил сам директор. Я шел туда как на пытку. И без того от природы робкий и стеснительный, теряющийся от любого пустяка, в этой чистенькой, аккуратной квартире учительницы я в первое время буквально каменел и боялся дышать. Мне надо было говорить, чтобы я раздевался, проходил в комнату, садился — меня приходилось передвигать, словно вещь, и чуть ли не силой добывать из меня слова. Моим успехам во французском это никак не способствовало. Но, странное дело, мы и занимались здесь меньше, чем в школе, где нам будто бы мешала

вторая смена. Больше того, Лидия Михайловна, хлопоча что-нибудь по квартире, расспрашивала меня или рассказывала о себе. Подозреваю, это она нарочно для меня придумала, будто пошла на французский факультет потому лишь, что в школе этот язык ей тоже не давался и она решила доказать себе, что может овладеть им не хуже других.

Забившись в угол, я слушал, не чая дождаться, когда меня отпустят домой. В комнате было много книг, на тумбочке у окна стоял большой красивый радиоприемник; с проигрывателем — редкое по тем временам, а для меня и вовсе невиданное чудо. Лидия Михайловна ставила пластинки, и ловкий мужской голос опять-таки учил французскому языку. Так или иначе от него никуда было не деться. Лидия Михайловна в простом домашнем платье, в мягких войлочных туфлях ходила по комнате, заставляя меня вздрагивать и замирать, когда она приближалась ко мне. Я никак не мог поверить, что сижу у нее в доме, все здесь было для меня слишком неожиданным и необыкновенным, даже воздух, пропитанный легкими и незнакомыми запахами иной, чем я знал, жизни. Невольно создавалось ощущение, словно я подглядываю эту жизнь со стороны, и от стыда и неловкости за себя я еще глубже запахивался в свой кургузый пиджачишко.

Лидии Михайловне тогда было, наверное, лет двадцать пять или около того; я хорошо помню ее правильное и потому не слишком живое лицо с прищуренными, чтобы скрыть в них косинку, глазами; тугую, редко раскрывающуюся до конца улыбку и совсем черные, коротко остриженные волосы. Но при всем этом не было видно в ее лице жесткости, которая, как я позже заметил, становится с годами чуть ли не профессиональным признаком учителей, даже самых добрых и мягких по натуре, а было какое-то осторожное, с хитринкой, недоумение, относящееся к

ней самой и словно говорившее: интересно, как я здесь очутилась и что я здесь делаю? Теперь я думаю, что она к тому времени успела побывать замужем; по голосу, по походке — мягкой, но уверенной, свободной, по всему ее поведению в ней чувствовались смелость и опытность. А кроме того, я всегда придерживался мнения, что девушки, изучающие французский или испанский язык, становятся женщинами раньше своих сверстниц, которые занимаются, скажем, русским или немецким.

Стыдно сейчас вспомнить, как я пугался и терялся, когда Лидия Михайловна, закончив наш урок, звала меня ужинать. Будь я тысячу раз голоден, из меня пулей тут же выскакивал всякий аппетит. Садиться за один стол с Лидией Михайловной! Нет, нет! Лучше я к завтрашнему дню наизусть выучу весь французский язык, чтобы никогда больше сюда не приходить. Кусок хлеба, наверное, и вправду застрял бы у меня в горле. Кажется, до того я не подозревал, что и Лидия Михайловна тоже, как все мы, питается самой обыкновенной едой, а не какой-нибудь манной небесной, настолько она представлялась мне человеком необыкновенным, непохожим на всех остальных.

Я вскакивал и, бормоча, что сыт, что не хочу, пятился вдоль стенки к выходу. Лидия Михайловна смотрела на меня с удивлением и обидой, но остановить меня никакими силами было невозможно. Я убегал. Так повторялось несколько раз, затем Лидия Михайловна, отчаявшись, перестала приглашать меня за стол. Я вздохнул свободней.

Однажды мне сказали, что внизу, в раздевалке, для меня лежит посылка, которую занес в школу какой-то мужик. Дядя Ваня, конечно, наш шофер, — какой еще мужик! Наверное, дом у нас был закрыт, а ждать меня с уроков дядя Ваня не мог — вот и оставил в раздевалке.

Я с трудом дотерпел до конца занятий и кинулся вниз. Тетя Вера, школьная уборщица, показала мне на стоящий в углу белый фанерный ящичек, в каких снаряжают посылки по почте. Я удивился: почему в ящичке? — мать обычно отправляла еду в обыкновенном мешке. Может быть, это и не мне вовсе? Нет, на крышке были выведены мой класс и моя фамилия. Видно, надписал уже здесь дядя Ваня — чтобы не перепутали, для кого. Что это мать выдумала заколачивать продукты в ящик?! Глядите, какой интеллигентной стала!

Нести посылку домой, не узнав, что в ней, я не мог: не то терпение. Ясно, что там не картошка. Для хлеба тара тоже, пожалуй, маловата, да и неудобна. К тому же хлеб мне отправляли недавно, он у меня еще был. Тогда что там? Тут же, в школе, я забрался под лестницу, где, помнил, лежит топор, и, отыскав его, оторвал крышку. Под лестницей было темно, я вылез обратно и, воровато озираясь, поставил ящик на ближний подоконник.

Заглянув в посылку, я обомлел: сверху, прикрытые аккуратно большим белым листом бумаги, лежали макароны. Вот это да! Длинные желтые трубочки, уложенные одна к другой ровными рядами, вспыхнули на свету таким богатством, дороже которого для меня ничего не существовало. Теперь понятно, почему мать собрала ящик: чтобы макароны не поломались, не покрошились, прибыли ко мне в целости и сохранности. Я осторожно вынул одну трубочку, глянул, дунул в нее, и, не в состоянии больше сдерживаться, стал жадно хрумкать. Потом таким же образом взялся за вторую, за третью, размышляя, куда бы мне спрятать ящик, чтобы макароны не достались чересчур прожорливым мышам в кладовке моей хозяйки. Не для того мать их покупала, тратила последние деньги. Нет, макаронами я так просто не попущусь. Это вам не какая-нибудь картошка.

И вдруг я поперхнулся. Макароны... Действительно, где мать взяла макароны? Сроду их у нас в деревне не бывало, ни за какие шиши их там купить нельзя. Это что же тогда получается? Торопливо, в отчаянии и надежде, я разгреб макароны и нашел на дне ящичка несколько больших кусков сахару и две плитки гематогена. Гематоген подтвердил: посылку отправляла не мать. Кто же в таком случае, кто? Я еще раз взглянул на крышку: мой класс, моя фамилия — мне. Интересно, очень интересно.

Я втиснул гвозди крышки на место и, оставив ящик на подоконнике, поднялся на второй этаж и постучал в учительскую. Лидия Михайловна уже ушла. Ничего, найдем, знаем, где живет, бывали. Значит, вот как: не хочешь садиться за стол — получай продукты на дом. Значит, так. Не выйдет. Больше некому. Это не мать: она бы и записку не забыла вложить, рассказала бы, откуда, с каких приисков взялось такое богатство.

Когда я бочком влез с посылкой в дверь, Лидия Михайловна приняла вид, что ничего не понимает. Она смотрела на ящик, который я поставил перед ней на пол, и удивленно спрашивала:

— Что это? Что такое ты принес? Зачем?

— Это вы сделали, — сказал я дрожащим, срывающимся голосом.

— Что я сделала? О чем ты?

— Вы отправили в школу эту посылку. Я знаю, вы.

Я заметил, что Лидия Михайловна покраснела и смутилась. Это был тот единственный, очевидно, случай, когда я не боялся смотреть ей прямо в глаза. Мне было наплевать, учительница она или моя троюродная тетка. Тут спрашивал я, а не она, и спрашивал не на французском, а на русском языке, без всяких артиклей. Пусть отвечает.

— Почему ты решил, что это я?

— Потому что у нас там не бывает никаких макарон. И гематогену не бывает.

— Как! Совсем не бывает?! — Она изумилась так искренне, что выдала себя с головой.

— Совсем не бывает. Знать надо было.

Лидия Михайловна вдруг засмеялась и попыталась меня обнять, но я отстранился. от нее.

— Действительно, надо было знать. Как же это я так?! — Она на минутку задумалась. — Но тут и догадаться трудно было — честное слово! Я же городской человек. Совсем, говоришь, не бывает? Что же у вас тогда бывает?

— Горох бывает. Редька бывает.

— Горох... редька... А у нас на Кубани яблоки бывают. Ох, сколько сейчас там яблок. Я нынче хотела поехать на Кубань, а приехала почему-то сюда. — Лидия Михайловна вздохнула и покосилась на меня. — Не злись. Я же хотела как лучше. Кто знал, что можно попасться на макаронах? Ничего, теперь буду умнее. А макароны эти ты возьми...

— Не возьму, — перебил я ее.

— Ну, зачем ты так? Я знаю, что ты голодаешь. А я живу одна, денег у меня много. Я могу покупать что захочу, но ведь мне одной... Я и ем-то помаленьку, боюсь потолстеть.

— Я совсем не голодаю.

— Не спорь, пожалуйста, со мной, я знаю. Я говорила с твоей хозяйкой. Что плохого, если ты возьмешь сейчас эти макароны и сваришь себе сегодня хороший обед. Почему я не могу тебе помочь единственный раз в жизни? Обещаю больше никаких посылок не подсовывать. Но эту, пожалуйста, возьми. Тебе надо обязательно есть досыта, чтобы учиться. Сколько у нас в школе сытых лоботрясов, которые ни в чем ничего не соображают и никогда, наверное, не

будут соображать, а ты способный мальчишка, школу тебе бросать нельзя.

Ее голос начинал на меня действовать усыпляюще; я боялся, что она меня уговорит, и, сердясь на себя за то, что понимаю правоту Лидии Михайловны, и за то, что собираюсь ее все-таки не понять, я, мотая головой и бормоча что-то, выскочил за дверь.

* * *

Уроки наши на этом не прекратились, я продолжал ходить к Лидии Михайловне. Но теперь она взялась за меня по-настоящему. Она, видимо, решила: ну что ж, французский так французский. Правда, толк от этого выходил, постепенно я стал довольно сносно выговаривать французские слова, они уже не обрывались у моих ног тяжелыми булыжниками, а, позванивая, пытались куда-то лететь.

— Хорошо, — подбадривала меня Лидия Михайловна. — В этой четверти пятерка еще не получится, а в следующей — обязательно.

О посылке мы не вспоминали, но я на всякий случай держался настороже. Мало ли что Лидия Михайловна возьмется еще придумать? Я по себе знал: когда что-то не выходит, все сделаешь для того, чтобы вышло, так просто не отступишься. Мне казалось, что Лидия Михайловна все время ожидающе присматривается ко мне, а присматриваясь, посмеивается над моей диковатостью, — я злился, но злость эта, как ни странно, помогала мне держаться уверенней. Я уже был не тот безответный и беспомощный мальчишка, который боялся ступить здесь шагу, помаленьку я привыкал к Лидии Михайловне и к ее квартире. Все еще, конечно, стеснялся, забивался в угол, пряча свои чирки под стул, но прежние скованность и угнетенность

отступали, теперь я сам осмеливался задавать Лидии Михайловне вопросы и даже вступать с ней в споры.

Она сделала еще попытку посадить меня за стол — напрасно. Тут я был непреклонен, упрямства во мне хватало на десятерых.

Наверное, уже можно было прекратить эти занятия на дому, самое главное я усвоил, язык мой отмяк и за шевелился, остальное со временем добавилось бы на школьных уроках. Впереди годы да годы. Что я потом стану делать, если от начала до конца выучу все одним разом? Но я не решался сказать об этом Лидии Михайловне, а она, видимо, вовсе не считала нашу программу выполненной, и я продолжал тянуть свою французскую лямку. Впрочем, лямку ли? Как-то невольно и незаметно, сам того не ожидая, я почувствовал вкус к языку и в свободные минуты без всякого понукания лез в словарик, заглядывал в дальние в учебнике тексты. Наказание превращалось в удовольствие. Меня еще подстегивало самолюбие: не получалось — получится, и получится — не хуже, чем у самых лучших. Из другого я теста, что ли? Если бы еще не надо было ходить к Лидии Михайловне... Я бы сам, сам...

Однажды, недели через две после истории с посылкой, Лидия Михайловна, улыбаясь, спросила:

— Ну а на деньги ты больше не играешь? Или где-нибудь собираетесь в сторонке да поигрываете?

— Как же сейчас играть?! — удивился я, показывая взглядом за окно, где лежал снег.

— А что это была за игра? В чем она заключается?

— Зачем вам? — насторожился я.

— Интересно. Мы в детстве когда-то тоже играли, Вот и хочу знать, та это игра или нет. Расскажи, расскажи, не бойся.

Я рассказал, умолчав, конечно, про Вадика, про Птаху и о своих маленьких хитростях, которыми я

пользовался в игре.

— Нет, — Лидия Михайловна покачала головой. — Мы играли в “пристенок”. Знаешь, что это такое?

— Нет.

— Вот смотри. — Она легко выскочила из-за стола, за которым сидела, отыскала в сумочке монетки и отодвинула от стены стул. Иди сюда, смотри. Я бью монетой о стену. — Лидия Михайловна легонько ударила, и монета, зазвенев, дугой отлетела на пол. Теперь, — Лидия Михайловна сунула мне вторую монету в руку, бьешь ты. Но имей в виду: бить надо так, чтобы твоя монета оказалась как можно ближе к моей. Чтобы их можно было замерить, достать пальцами одной руки. По-другому игра называется: замеряшки. Достанешь, — значит, выиграл. Бей.

Я ударил — моя монета, попав на ребро, покатилась в угол.

— О-о, — махнула рукой Лидия Михайловна. — Далеко. Сейчас ты начинаешь. Учти: если моя монета заденет твою, хоть чуточку, краешком, — я выигрываю вдвойне. Понимаешь?

— Чего тут непонятного?

— Сыграем?

Я не поверил своим ушам:

— Как же я с вами буду играть?

— А что такое?

— Вы же учительница!

— Ну и что? Учительница — так другой человек, что ли? Иногда надоедает быть только учительницей, учить и учить без конца. Постоянно одергивать себя: то нельзя, это нельзя, — Лидия Михайловна больше обычного прищурила глаза и задумчиво, отстранение смотрела в окно. — Иной раз полезно забыть, что ты учительница, — не то такой сделаешься бякой и букой, что живым людям скучно с тобой станет. Для учителя, может быть, самое важное — не принимать себя

всерьез, понимать, что он может научить совсем немногому. — Она встряхнулась и сразу повеселела. — А я в детстве была отчаянной девчонкой, родители со мной натерпелись. Мне и теперь еще часто хочется прыгать, скакать, куда-нибудь мчаться, что-нибудь делать не по программе, не по расписанию, а по желанию. Я тут, бывает, прыгаю, скачу. Человек стареет не тогда, когда он доживает до старости, а когда перестает быть ребенком. Я бы с удовольствием каждый день прыгала, да за стенкой живет Василий Андреевич. Он очень серьезный человек. Ни в коем случае нельзя, чтобы он узнал, что мы играем в “замеряшки”.

— Но мы не играем ни в какие “замеряшки”. Вы только мне показали.

— Мы можем сыграть так просто, как говорят, понарошке. Но ты все равно не выдавай меня Василию Андреевичу.

Господи, что творится на белом свете! Давно ли я до смерти боялся, что Лидия Михайловна за игру на деньги потащит меня к директору, а теперь она просит, чтобы я не выдавал ее. Светопреставление — не иначе. Я озирался, неизвестно чего пугаясь, и растерянно хлопал глазами.

— Ну что — попробуем? Не понравится — бросим.

— Давайте, — нерешительно согласился я.

— Начинай.

Мы взялись за монеты. Видно было, что Лидия Михайловна когда-то действительно играла, а я только-только примеривался к игре, я еще не выяснил для себя, как бить монетой о стену ребром ли, или плашмя, на какой высоте и с какой силой когда лучше бросать. Мои удары шли вслепую; если бы вели счет, я бы на первых же минутах проиграл довольно много, хотя ничего хитрого в этих “замеряшках” не было. Больше всего меня, разумеется, стесняло и угнетало, не давало

мне освоиться то, что я играю с Лидией Михайловной. Ни в одном сне не могло такое присниться, ни в одной дурной мысли подуматься. Я опомнился не сразу и не легко, а когда опомнился и стал понемножку присматриваться к игре, Лидия Михайловна взяла и остановила ее.

— Нет, так неинтересно, — сказала она, выпрямляясь и убирая съехавшие на глаза волосы. — Играть — так по-настоящему, а то что мы с тобой как трехлетние малыши.

— Но тогда это будет игра на деньги, — несмело напомнил я.

— Конечно. А что мы с тобой в руках держим? Игру на деньги ничем другим подменить нельзя. Этим она хороша и плоха одновременно. Мы можем договориться о совсем маленькой ставке, а все равно появится интерес.

Я молчал, не зная, что делать и как быть.

— Неужели боишься? — подзадорила меня Лидия Михайловна.

— Вот еще! Ничего я не боюсь.

У меня была с собой кой-какая мелочишка. Я отдал монету Лидии Михайловне и достал из кармана свою. Что ж, давайте играть по-настоящему, Лидия Михайловна, если хотите. Мне-то что — не я первый начал. Вадик попервости на меня тоже ноль внимания, а потом опомнился, полез с кулаками. Научился там, научусь и здесь. Это не французский язык, а я и французский скоро к зубам приберу.

Мне пришлось принять одно условие: поскольку рука у Лидии Михайловны больше и пальцы длиннее, она станет замерять большим и средним пальцами, а я, как и положено, большим и мизинцем. Это было справедливо, и я согласился.

Игра началась заново. Мы перебрались из комнаты в прихожую, где было свободнее, и били о ровную

дощатую заборку. Били, опускались на колени, ползали но полу, задевая друг друга, растягивали пальцы, замеряя монеты, затем опять поднимаясь на ноги, и Лидия Михайловна объявляла счет. Играла она шумно: вскрикивала, хлопала в ладоши, поддразнивала меня — одним словом, вела себя как обыкновенная девчонка, а не учительница, мне даже хотелось порой прикрикнуть. Но выигрывала тем не менее она, а я проигрывал. Я не успел опомниться, как на меня набежало восемьдесят копеек, с большим трудом мне удалось скостить этот долг до тридцати, но Лидия Михайловна издали попала своей монетой на мою, и счет сразу подскочил до пятидесяти. Я начал волноваться. Мы договорились расплачиваться по окончании игры, но, если дело и дальше так пойдет, моих денег уже очень скоро не хватит, их у меня чуть больше рубля. Значит, за рубль переваливать нельзя — не то позор, позор и стыд на всю жизнь.

И тут я неожиданно заметил, что Лидия Михайловна и не старается вовсе у меня выигрывать. При замерах ее пальцы горбились, не выстилались во всю длину, — там, где она якобы не могла дотянуться до монеты, я дотягивался без всякой натуги. Это меня обидело, и я поднялся.

— Нет, — заявил я, — так я не играю. Зачем вы мне подыгрываете? Это нечестно.

— Но я действительно не могу их достать, — стала отказываться она. — У меня пальцы какие-то деревянные.

— Можете.

— Хорошо, хорошо, я буду стараться.

Не знаю, как в математике, а в жизни самое лучшее доказательство — от противного. Когда на следующий день я увидел, что Лидия Михайловна, чтобы коснутся монеты, исподтишка подталкивает ее к пальцу, я обомлел. Взглядывая на меня и почему-то не замечая,

что я прекрасно вижу ее чистой воды мошенничество, она как ни в чем не бывало продолжала двигать монету.

— Что вы делаете? — возмутился я.

— Я? А что я делаю?

— Зачем вы ее подвинули?

— Да нет же, она тут и лежала, — самым бессовестным образом, с какой-то даже радостью отперлась Лидия Михайловна ничуть не хуже Вадика или Птахи.

Вот это да! Учительница, называется! Я своими собственными глазами на расстоянии двадцати сантиметров видел, что она трогала монету, а она уверяет меня, что не трогала, да еще и смеется надо мной. За слепого, что ли, она меня принимает? За маленького? Французский язык преподает, называется. Я тут же напрочь забыл, что всего вчера Лидия Михайловна пыталась подыграть мне, и следил только за тем, чтобы она меня не обманула. Ну и ну! Лидия Михайловна, называется.

В этот день мы занимались французским минут пятнадцать-двадцать, а затем и того меньше. У нас появился другой интерес. Лидия Михайловна заставляла меня прочесть отрывок, делала замечания, на замечания выслушивала еще раз, и мы не мешкая переходили к игре. После двух небольших проигрышей я стал выигрывать. Я быстро приловчился к “замеряшкам”, разобрался во всех секретах, знал, как и куда бить, что делать в роли разыгрывающего, чтобы не подставить свою монету под замер.

И опять у меня появились деньги. Опять я бегал на базар и покупал молоко — теперь уже в мороженых кружках. Я осторожно срезал с кружка наплыв сливок, совал рассыпающиеся ледяные ломтики в рот и, ощущая во всем теле их сытую сладость, закрывал от удовольствия глаза. Затем переворачивал кружок вверх дном и долбил ножом сладковатый молочный отстой.

Остаткам позволял растаять и выпивал их, заедая куском черного хлеба.

Ничего, жить можно было, а в скором будущем, как залечим раны войны, для всех обещали и счастливое время.

Конечно, принимая деньги от Лидии Михайловны, я чувствовал себя неловко, но всякий раз успокаивался тем, что это честный выигрыш. Я никогда не напрашивался на игру, Лидия Михайловна предлагала ее сама. Отказываться я не смел. Мне казалось, что игра доставляет ей удовольствие, она веселела, смеялась, тормошила меня.

Знать бы нам, чем это все кончится…

…Стоя друг против друга на коленях, мы заспорили о счете. Перед тем тоже, кажется, о чем-то спорили.

— Пойми ты, голова садовая, — наползая на меня и размахивая руками, доказывала Лидия Михайловна, — зачем мне тебя обманывать? Я веду счет, а не ты, я лучше знаю. Я трижды подряд проиграла, а перед тем была “чика”.

- “Чика” не считово.

— Почему это не считово?

Мы кричали, перебивая друг друга, когда до нас донесся удивленный, если не сказать, пораженный, но твердый, звенящий голос:

— Лидия Михайловна!

Мы замерли. В дверях стоял Василий Андреевич.

— Лидия Михайловна, что с вами? Что здесь происходит?

Лидия Михайловна медленно, очень медленно поднялась с колен, раскрасневшаяся и взлохмаченная, и, пригладив волосы, сказала:

— Я, Василий Андреевич, надеялась, что вы постучите, прежде чем входить сюда.

— Я стучал. Мне никто не ответил. Что здесь происходит? Объясните, пожалуйста. Я имею право

знать как директор.

— Играем в “пристенок”, - спокойно ответила Лидия Михайловна.

— Вы играете на деньги с этим?.. — Василий Андреевич ткнул в меня пальцем, и я со страху пополз за перегородку, чтобы укрыться в комнате. — Играете с учеником?! Я правильно вас понял?

— Правильно.

— Ну, знаете... — Директор задыхался, ему не хватало воздуха. — Я теряюсь сразу назвать ваш поступок. Это преступление. Растление. Совращение. И еще, еще... Я двадцать лет работаю в школе, видывал всякое, но такое...

И он воздел над головой руки.

* * *

Через три дня Лидия Михайловна уехала. Накануне она встретила меня после школы и проводила до дому.

— Поеду к себе на Кубань, — сказала она, прощаясь. — А ты учись спокойно, никто тебя за этот дурацкий случай не тронет. Тут виновата я. Учись, — она потрепала меня по голове и ушла.

И больше я ее никогда не видел.

Среди зимы, уже после январских каникул, мне пришла на школу по почте посылка. Когда я открыл ее, достав опять топор из-под лестницы, — аккуратными, плотными рядами в ней лежали трубочки макарон. А внизу в толстой ватной обертке я нашел три красных яблока.

Раньше я видел яблоки только на картинках, но догадался, что это они.

Тому, кто не имеет ее, самостоятельность кажется настолько привлекательной и увлекательной штукой, что он отдаст за нее что угодно. Саню буквально поразило это слово, когда он всмотрелся в него. Не вчитался, не вдумался, там и вдумываться особенно не во что, а именно всмотрелся и увидел. «Самостоятельность» — самому стоять на ногах в жизни, без подпорок и подсказок — вот что это значит. Иногда для важного решения не хватает пустяка; так произошло и на этот раз; как только Саня увидел, что такое самостоятельность, он словно бы встал на свое собственное, ему принадлежащее место, где ему предстояло сделаться самостоятельным, встал так уверенно и удобно, что никаких сомнений не могло быть, его ли это место, и решил: все, хватит. Хватит ходить по указке, поступать по подсказке, верить сказке… Пятнадцать лет человеку, а для папы с мамой все ребенок, и никогда это не кончится, если не заявить раз и навсегда: сам. Сам с усам. Я — это я, это мне принадлежит, в конце концов, мне за себя в жизни ответ держать, а не вам. Конечно, он не собирался переходить границы, в этом не было необходимости, но границы собирался пораздвинуть.

И удивительно: стоило Сане принять решение, ему сразу же повезло. Еще в начале лета папа с мамой никуда не собирались, но, вернувшись из спортивного лагеря, где Саня провел июнь, он вдруг узнал, что они уезжают. Они летят в Ленинград, там садятся со своими знакомыми в машину, едут в Прибалтику, затем в Калининград, затем в Брест, куда-то еще и возвращаются только в конце августа, чтобы собрать Саню в школу. «А ты побудешь у бабушки», — сказала мама. Папа вздохнул. Август у бабушки на Байкале — золотой месяц: ягоды, грибы, рыбалка, купанье, и папа, будь на то его воля, не раздумывая, поменялся бы с

Саней местами. Только Саня, разумеется, отказался бы меняться — и не потому, что ему не хотелось побывать в Прибалтике и увидеть Брест, хотелось, и особенно в Брест, но он предпочитал быть там, где нет папы с мамой, которые и в Бресте умудрились бы затолкать его в окоп или в траншею и не позволили бы высовываться, чтобы, не дай бог, не схлопотать выпущенную сорок лет назад пулю. Если у родителей один ребенок, они, судя по всему, сами впадают в детство, продолжая играть с ним, как с куклой, до тех пор, пока он не откупится собственным родительским вкладом. Сане было неловко за своих родителей и жалко их, когда он видел, что, говоря нормальным и ровным языком с его товарищами, они тут же с ним переходили на язык или неумеренного заискивания, или неумеренной строгости, то и другое делая как бы вслепую, не видя его, а лишь подозревая, что он должен тут быть, говоря не столько для него, сколько для себя, чтобы доказать что-то друг другу. Он так и научился относиться к их словам, когда они были вместе: это не для него, это они для себя. Однако каждый из них в отдельности мог с ним разговаривать и серьезно. Особенно это относилось к папе, и в нем же особенно заметно было, как неловко ему перед сыном за их общий разговор с мамой вместе, но наступал следующий раз, подходило время следующего разговора, и снова все повторялось сначала. «Как маленькие, честное слово, как маленькие», — в тон им размышлял Саня, досадуя и понимая, что его родители в этом отношении не хуже и не лучше, чем другие, и что человек в слабостях своих на всю жизнь остается ребенком.

На Байкале, куда Саня приехал к бабушке, везение продолжилось. Прошло три дня — и вдруг бабушке приносят телеграмму: срочно выезжай, Вера в больнице, дети одни. Тетя Вера, мамина сестра, жила в городе Нижнеангарске на Северном Байкале, и вот,

стало быть, серьезно заболела, а муж ее — геолог, до него в тайге не достучаться. Бабушка заахала, потерялась: и здесь парнишка на ее руках, и там неизвестно что. Санины родители в это время гуляли по Ленинграду или катили в Таллин, все сошлось лучше некуда для Сани, и он заявил: останусь один. Выручила тетя Галя, бабушкина соседка, она согласилась не только кормить бабушкиных поросят, но и доглядывать за ее внуком, а на ночь брать его в свою избу. Бабушка уехала, а тетя Галя и думать забыла про Саню. Про поросят она, правда, помнила, и этого было достаточно.

Саня зажил как кум королю. Он полюбил ходить в магазин, варить себе немудреную еду, справлять мелкую работу по дому, без которой не обойтись, полюбил даже пропалывать грядки в огороде, чего раньше терпеть не мог, и сделал одно важное открытие: в своей собственной жизни он выдвинулся поперед всего, что окружало его и с чем он прежде постоянно вынужден был находиться рядом. Ничего, казалось бы, не изменилось, внешне все оставалось на своих местах и в своем обычном порядке… кроме одного: он получил удивительную способность оглянуться на этот мир и на этот порядок с расстояния, мог войти в него, но мог из него и выйти. Люди только на чужой взгляд остаются в общем ряду, каждый из них в отдельности, на свой взгляд, выходит вперед, иначе жизнь не имеет смысла. Многое для Сани находилось тут еще в тумане, но ощущение того, что он вышел вперед, было отчетливое и радостное, как ощущение высоты, когда открываются дали. Больше всего Саню поражало, что к этому ощущению и к этому открытию он пришел благодаря такому, казалось бы, пустяку, как взявшаяся в нем откуда-то необходимость возиться с грядками — самой неприятной работы. Это было и не желание, и не понуждение, а что-то иное: поднялся утром, и при мысли, как лучше собрать предстоящий

день воедино, едва ли не раньше всего остального приходит на ум напоминание о грядках, которое точь-в-точь сходится с твоей собственной потребностью движения и дела, подобно тому как вспоминаешь о воде лишь тогда, когда появляется жажда.

Ночевать одному в старой избе, в которой постоянно что-то скрипело и вздыхало, поначалу было невесело, но Саня справлялся со страхом своим способом — он читал перед сном «Вечера на хуторе близ Диканьки». Книжка была читаная-перечитаная, истрепанная до последней степени, что еще больше заставляло сердце замирать от рассказанных в ней жутких историй, которые в новой книжке можно принять за выдумку, а в старой нет, в старой поневоле поверишь, но после них, после этих историй в книге, вознесенных в своей красоте и жути до самого неба, с подголосками из самой преисподней, сил и страхов на свои заугольные и застенные шорохи уже не оставалось, и Саня засыпал. В его представлении призраки и нечистая сила, которые были там, в книге, почему-то не соединялись с теми, которые могли быть здесь, словно не желая признавать теперешнюю исхудавшую и обесславленную породу за свое будущее; и Саня, откладывая книгу, лишь с жалостью и недоумением думал о всем том, чего он порывался бояться, с жалостью не к себе, а к ним: вот ведь какую имели власть и до чего докатились!.. А потом привык. Привык различать дальние, как стоны, сигналы пароходов в море, шум ветра, который набирается за день и гудит в стенах ночью, тяжкий скрип старых лиственниц во дворе и глухой, могучий гуд от Байкала, который в темноте зовет и не может дозваться какую-то свою потерю.

Так Саня прожил неделю, потихоньку гордясь собой, своей самостоятельностью и хозяйственностью и беспокоясь лишь о том, чтобы не нагрянула бабушка, от которой не было никаких известий. У бабушки на стене

в горнице висел отрывной календарь; Саня снимал с него листочки и складывал их на тумбочке рядом с толстой бабушкиной горкой своим отдельным порядком, видя в этом какой-то неуясненный, но значительный смысл.

* * *

В пятницу после обеда пришел Митяй. Он не знал, что Саня живет один, но видел его за день до того в магазине, поэтому рассчитывал застать здесь Саниного отца. К нему Митяй и шел за помощью и теперь, растерянный и расстроенный, сидел на табуретке у входной двери и внимательно и невидяще смотрел, как Саня иголкой нанизывает на двойную нитку разрезанные подберезовики. Он смотрел долго, с усилием морща лицо и переживая, чтобы кусочки грибов на прогнувшейся длинной нитке не задевали о пол, затем спросил:

— Сушишь?

— Сушу.

— Молодец.

Не похвала подействовала на Саню, нет, он знал, что она ничего не стоит и сказана не от сердца, ему просто жалко стало Митяя, вспомнив, как жалел его в таких случаях и заступался за него перед мамой и бабушкой папа, когда Митяй вот так же приходил, садился и ждал.

— Дядя Митяй, вам, наверно, три рубля надо. Я могу дать, у меня есть.

Митяй, всматриваясь в Саню возрождающимся взглядом, пуще прежнего поморщился и ответствовал:

— Ты корову теткой не зовешь?

— Зачем?

— То-то и оно… зачем?.. Митяй — кличка, как у быка. Кто ж кличку дядькает? Зови, как все, — Митяй, чего

там… Не подавлюсь.

— А вообще-то как тебя зовут? — Саня не решился сказать «вас». Но они и вправду знакомы были давно, и «ты» у Сани по-свойски проскакивало и раньше.

— Митяй. Так и зовут. Хошь — спроси у моей мамаши, она умерла сто лет назад.

И это было знакомо Сане, и об этом говорил папа, замечая, что, когда Митяю неловко за себя, его «заносит» в обратную сторону. Как, впрочем, и многих, о чем Саня мог судить по себе. «Он не от обезьяны выродился, а от дьявола, — сурово сказала бабушка, когда Саня попытался однажды объяснить ей теорию происхождения человека. — Ежли бы от обезьяны, он бы помалкивал, не позорил себя. А ему, вишь, чем хужей, тем милей. Это от него, от нечистого».

Саня достал из тумбочки, где у него хранились деньги, три рубля одной бумажкой и подал Митяю. Тот, как-то особенно строго взглянув на Саню, взял и вместо благодарности сказал:

— Дурак твой отец. Ягода пошла, а он укатил. Ягоды нонче — от и до.

Эх, слышал бы это папа, слышал бы… У него и там, в достославных Риге, Калининграде и Бресте, стоном застонала бы душа, просясь обратно, — до того любил он и ждал весь год эту ягодную пору, ухитряясь каждое лето приурочивать свой отпуск именно на нее, на эту пору. Он и нынче угадывал на нее и сколько, поди, старался, сколько волновался и бился, чтоб не раньше и не позже, а вот не пришлось. Слышал бы он это «от и до», означающее на языке Митяя богатство редкое, полное, выпадающее раз в пять, а то и десять лет. Митяй зря говорить не будет, уж что-что, а такое за ним не водится, он, напротив, как все местные жители, боящиеся сглазу, готов скорее преуменьшить, чем преувеличить. Значит, на славу уродила тайга. И бабушка, уезжая, вздыхала: «Люди говорят, сыпом ноне

насыпано ягоды, а я и на горку на свою не сбегаю. Плакала моя ягодка».

На ягоде папа с Митяем и сошлись. Уже много лет они ходили вместе, умудряясь даже в неурожайные годы что-нибудь да набрать. Если не бруснику, то голубицу; если не смородину, то жимолость; если не малину, то чернику. Ездили однажды поздней осенью и за облепихой, но ехать надо было далеко, в чужую тайгу, они попали под снег и вернулись ни с чем. Своей же ягоды, из своей тайги, кроме редких, совсем уж пустых лет, обычно бывало вдоволь. Бабушка не успевала варить ее и толочь, Саня не успевал бегать в магазин за сахаром. К зиме широкие, в два ряда полки в кладовке у бабушки были сплошь заставлены банками, где на наклеенных бумажках Саниным почерком крупно было написано, где кислица и где малина, где толченье и где варенье. Половина этих банок переправлялась затем в город и съедалась под гостеванье и бытованье, половина оставалась у бабушки, да много ли бабушке одной надо, и доживала до весны и до лета, когда, снова собравшись вместе, наваливались на ягоду всей семьей — только подавай!

Мама была отсюда, из этого поселка, выросла здесь, а папа городской, но именно он постоянно тянул ее сюда, а мама если и ехала, так нехотя, без удовольствия, лишь бы не обидеть бабушку.

И дружба папы с Митяем не нравилась маме. Митяй когда-то «сидел», кроме того, он «пил» — были, были у него особого рода меты, которые отпугивают благочинных людей. Он и не скрывал их, а чувствуя неприязнь к себе Саниной мамы, любил, когда его «заносило», рассказывать при ней тюремные истории или пьяные свои похождения, по которым выходило, что за два года в неволе он зарезал там не менее двадцати человек, а не позже чем вчера ограбил на берегу возле столовой пятерых туристов. Митяй уж больно

преувеличивал, нажимая при этом на лагерный жаргон, и мама, конечно, верила не всему, но кое к чему относилась всерьез, считая, что для того и рассказываются небылицы, чтобы скрыть правду, заинтересованную в том, чтобы ее скрывали. Что же касается теперешних похождений Митяя, мама не могла не знать, что, осужденный в свое время за пьяную драку, Митяй с тех пор больше смерти боится всякого мужицкого шума и старается отойти в сторонку, едва лишь он назревает. Папа, защищая Митяя, в споре с мамой начинал горячиться, а потому мало что мог сказать, он повторял лишь раз за разом, что даже в самом скотском виде Митяй остается человеком и ведет себя как человек, не то что некоторые трезвенники. Бабушка, не любившая споров и тоже боявшаяся их, как Митяй драк, примирительно вздыхала: «Он мужик-то не дурной, нет, только из круга выбился». Вот это «из круга выбился» почему-то больше всего и возбуждало в Сане интерес к Митяю. Есть, значит, люди в круге и есть за кругом, — и что же, не может или не хочет он вернуться обратно в круг?

Митяй не спрятал Санину трешку, вертел ее в руках, раздумывая, очевидно, что пообещать, какой назначить себе и Сане срок, чтобы вернуть деньги. И неожиданно пожаловался:

— Я, Санек, уж три ведра ягоды задолжал народу. Завтра надо топать.

Это означало, что он занимал деньги под ягоду. Тем он и отличался, то и ставил ему всегда папа в заслугу, что Митяй не попрошайничал, как некоторые в поселке, которые знали одно: любым способом взять, выманить, выпросить — нет, Митяй сразу назначал, когда и чем он может вернуть долг, и, за редкими исключениями, возвращал потом в точности, а исключения эти заключались в том, что в назначенный срок Митяй,

пьяный или трезвый, приходил и говорил: сегодня, хоть режь меня, не могу, а смогу тогда-то.

Он вертел в руках трешку и вел какие-то уж очень сложные подсчеты, но, ничего утешительного, по-видимому, не вычислив, вдруг предложил:

— А хошь — пойдем завтра со мной заместо отца. Ягода есть — я бегал смотрел. Промнешься, чем дома сидеть.

И когда Саня, удивленный и обрадованный, согласился без раздумий, Митяй посмотрел на него внимательней и строже, словно только теперь дотянув тяжелым своим умом, что перед ним совсем еще не тертый в тайге, да и нигде не тертый, домашний городской парнишка. Саня заметил его неуверенность.

— Да ты что, Митяй, ты думаешь, не дойду, что ли? Я хожу нормально, ты не бойся.

— Не дойдешь, там останешься, — сердито буркнул Митяй и спрятал трешку в карман. — Только это... с ночевой пойдем, запас бери. Одежонку, главно, потеплей бери на ночь.

* * *

Саня ахнул и невольно приостановился, когда, спустившись с горы и вывернув из-за последнего дома, увидел он утром на площадке, где притормаживал поезд, огромную толпу народа. В серых и вялых утренних сумерках, когда ни свет, ни темь, толпа действительно казалась огромной — много больше, чем живет в поселке, и люди с трех сторон все подходили и подходили. В четвертой стороне, на воде, один за другим взревывали оглушительно моторы, и лодки с пригнувшимися и настороженными, как на гонках, фигурами устремлялись вдоль берега вправо. Те, что ждали поезда, держались группами и тоже были почему-то насторожены и малоразговорчивы.

В этом незнакомом по большей части и недружелюбном многолюдье Саня не сразу отыскал Митяя. Сегодня это был совсем другой человек, чем вчера. С хитровато и уверенно поблескивающими глазами, с плутоватой улыбкой на широком и поздоровевшем за ночь лице, Митяй сидел на рельсе и, по-монгольски подогнув под себя короткие ноги в сапогах, задирал стоящего перед ним и в чем-то перед ним виноватого, хмурого и растрепанного с головы до пят, помятого мужика, рассказывая тому что-то, что тот не помнил и не хотел помнить. Хмуро отнекиваясь, мужик с надеждой смотрел в сторону вокзала, откуда должен был появиться поезд. Когда Саня подошел и поздоровался, он тут же, воспользовавшись случаем, отодвинулся от Митяя, и — за спины, за спины…

— Куда?! — весело закричал ему вслед Митяй. — Ну, Голянушкин, пустая голова, я тебя в тайге разыщу, ты от меня не спрячешься.

Саня оглянулся: почему пустая голова? — но мужика уже и след простыл. А оглянулся Саня потому, что у Митяя на голове была шапка, старая и матерчатая, выцветшая до столь скорбной окраски, что ее нельзя уже и назвать, но как-то удивительно подходящая для Митяя, для всего его ладного в это утро и подогнанного вида. Все по отдельности было некстати — шапка, голубенькая майка под темным пиджаком с подвернутыми рукавами, широкие, как шаровары, и светлые от частой стирки брюки, заправленные в разношенные, намазанные дегтем сапоги, — и все вместе казалось именно тем, что и должно быть на человеке, который отправляется в лес не на прогулку. То ли благодаря лицу, то ли фигуре, то ли чему еще. Саня знал уже, что есть такие счастливые люди, на которых любая нескладина сидит так, что позавидуешь, но у Митяя было что-то иное, у него этот лад шел словно бы от какого-то согласия с собой, когда человеку

все равно, что надеть, лишь бы было удобно, и потому все надетое вынуждено выглядеть ловко и хорошо.

Митяй увидел за спиной у Сани рюкзак с высовывающимся краем ведра и спросил:

— А горбовик отцов где?

— Он большой сильно.

— Из большого не выпадет. Зря ты. Он, главно, легкий, по спине. Ладно, полезли, не зевай.

Подходил поезд, и Митяй, нацеливаясь, где лучше встать, сделал несколько шагов по ходу и придержал возле себя за рюкзак Саню. Как раз напротив них оказалась раскрытая дверца вагона, Митяй быстро и сильно втолкнул в нее Саню, прыгнул сам, и, пока давились в дверях, они сидели уже за столиком у окна. Довольный первой удачей, Митяй весело посматривал в окно на толкотню, подергиваясь и порываясь в особенно интересные моменты что-то крикнуть и все-таки удерживаясь. И опять Саня подивился той перемене, которая произошла с ним со вчерашнего дня, будто и не Митяй с ним был, а его двойник, всегда веселый и беззаботный. Впрочем, Саня еще раньше начал подозревать, что у каждого человека должен существовать где-то в мире двойник, чтобы по результатам двух одинаковых по виду и противоположных по своей сути людей кто-то единый мог решать, что ему делать дальше.

— Ну, орда, ну, орда! — громко и вызывающе-счастливо крикнул Митяй, когда поезд двинулся и их сдавили на той и другой скамьях так, что не пошевелиться. — Держись, тайга!

— Что-то уж сильно много, — озираясь, осторожно заметил Саня, у которого испуг от многолюдья все еще не прошел. — Неужели они все за ягодой?

— Ягоды хватит, когда бы по-людски ее брать. Только это орда. Она не столь соберет, сколь потопчет. Счас пёром попрет. — Митяй вытягивал шею, кого-то

высматривая. — Ниче, Санек, мы им не попутчики, они скоро вывалят. Это все на обыденок, а мы ягодники сурьезные. Мы туда пойдем, где ихая нога не ступала.

Поезд шел медленно и неровно, подергивая старый скрипящий вагон, выслуживший пять сроков, какого на сквозных линиях давно не встретишь. И только здесь они все еще служат, удивляя заезжего человека грубым, на теперешний взгляд, затрапезным видом: тяжелые деревянные полки; маленькие и подслеповатые, как в зимовье, окна в рамах, узкие проходы с торчащими углами и в избытке оставленные на память, вырезанные на стенах, окнах, дверях и полках имена и пожелания жаждущих вечности путников.

Да это и не было тем, что принято называть поездом, а скорее грузовой состав, к которому прицеплялось для пассажиров когда три, когда четыре вагона, а зимой так хватало и одного. Рано утром устаревшее сборное чудо-юдо уходило из поселка и поздно вечером возвращалось, толкая в вагонах, выгородках и открытых платформах уголь и бензин, сборные деревянные дома и ящики с водкой, металлические конструкции и печенье-конфеты-галеты, огромные и красивые, сияющие яркой краской заграничные машины и отечественные походные электростанции. Весь этот груз в поселке перегружался на корабли и по Байкалу доставлялся потом на северную стройку.

Прежде тут проходила знаменитая Транссибирская магистраль. Из Иркутска она шла левым берегом Ангары и здесь этим берегом Байкала устремлялась дальше на восток. На знаменитой Транссибирской магистрали Кругобайкальская железная дорога была еще более знаменитой — по трудности прокладки и эксплуатации пути, а главное — по красоте и по тому особенному и необыденному духу, который и в работе, и

в дороге может дать только Байкал. Теперь едут, чтобы доехать, а прежде ехали, чтобы еще и посмотреть, и вот в таком путешествии (теперь и слово-то «путешествие» кажется столь же устаревшим, как, например, «фаэтон») эти места были самое главное, самое желанно-жданное и самое памятное. Поезд останавливался не ради себя, а ради пассажиров на удобном и красивом береговом километре, и расписания так составлялись, чтобы он мог постоять, а люди могли поплескать друг другу в лицо байкальской водичкой, поохать и поахать над всем тем, что есть вокруг, и ехать потом дальше с затаенной мечтой увидеть и почувствовать все это снова. На станции Байкал в истоке Ангары продавался в деревянных рядах омуль соленый, копченый, вяленый, жареный, с душком, с лагушком, шла бойкая и беспрерывная жизнь со свистками и гудками, с объявлениями по радио и криками на перроне, — и куда все это подевалось?!

«Как в другой жизни было», — говорила бабушка, но говорила без печали, точно о молодости, которая в надлежащем порядке была и прошла.

Эта прежняя жизнь оборвалась по обыкновенной теперь уже причине: стали строить Иркутскую ГЭС, и потому железную дорогу с берега Ангары, который затоплялся новым водохранилищем, потребовалось переносить выше. От Иркутска ее спрямили, выведя без зигзагов сразу в самую южную точку Байкала — на станцию Култук, а эта часть дороги от Култука до Байкала осталась, таким образом, не у дел и уперлась в тупик. Одну рельсовую нитку сняли, другую на всякий случай оставили. Разъезды и полустанки опустели, люди выехали из поселков, которые за десятки лет стали им родными, бросив и огороды, и дома. Только на станциях, бывших когда-то немаленькими и существовавших не одной лишь дорогой, теплилась еще жизнь; там, впрочем, старики и дотягивали.

Но то, что не разобрали вторые пути, теперь, когда загремел БАМ, оказалось кстати, и хотя поезд делал по-прежнему за день один круг, рано утром уходя и поздно вечером возвращаясь, шел он обратно тяжелей и был длиннее. Ягодников это расписание как нельзя более устраивало, чтобы доехать до нужного места, загрузиться, насколько позволит удача, а иной раз и под завязку за долгий летний день, и тем же ехалом в тот же день домой. А места здесь — не было бы счастья, да несчастье помогло, став малодоступными для горожан, все еще могли считаться богатыми. Проникал, конечно, и сюда по-родственному и по-приятельски горожанин, да не так, как по новой дороге, где он, как саранча, выгрызал все, от черемши до кедровых орехов, подчистую.

Если бы не горбовики, в вагоне с этим народом было бы, пожалуй, даже просторно. С горбовиком, на который навьючены еще и одежда, и котелки, человек занимает в два раза больше пространства. Но, глядя на ягодников, Саня жалел уже, что не взял папин горбовик — из гнутой фанеры, легкий и удобный для таски, с которым можно падать, можно проваливаться в ямы: ягода останется в целости и сохранности. Он бы и взял его, да, примеряя вчера, обнаружил, что лямки ему великоваты. Но лямки, наверное, можно было укоротить, Митяй бы помог. Санин новый зеленый рюкзак с выпирающим ведром выглядел среди этой дружной и ладной оснащенности уж очень нелепо — будто парень собрался не в тайгу, а на базар.

— Станция Березай! Кому надо — вылезай! — крикнул от ближней двери картавый и нездоровый голос.

Митяй, заглядывая в окно, пояснил:

— Восьмидесятый. Счас будет полегче.

Километраж здесь сохранился прежний: когда-то досюда насчитывалось восемьдесят километров от

Иркутска.

Поезд начал тормозить, и горбовики зашевелились, закачались, потом, отбивая в купейные боковины остающихся, поплыли к выходу, куда их втягивало, как в воронку, и с силой выносило на простор, разметывая на стороны, где они обретали наконец хозяев, окликающих друг друга и собирающихся опять своими группами. Вышло едва не половина народу, и в вагоне действительно стало полегче. Видно было, когда поезд тронулся, как вышедшие длинной очередью, выстроившись друг за другом, уходили в распадок мимо покинутых домов, сквозящих в окнах пустотой и холодом.

Отсюда, из окна вагона, картина эта поразила Саню. День поднимался пасмурный, серый, тайга еще не согрелась от света, и люди, удаляющиеся в темный распадок мимо нежилых домов, как мимо чужих гробов, казались уходящими туда в поисках своего собственного вечного пристанища и несущими в этих странных посудинах итоги своей жизни. Что там ягода?! Ягода так, для отвода глаз. И пока не скрылся из виду распадок, у Сани было полное и яркое ощущение того, что он смотрит изнутри на старое место захоронения, и над домами, точно над могилами, где-то там, по другую сторону, стоят, как и положено, памятники.

Папа, читая однажды книгу, вслух произнес оттуда фразу: «смертный ужас рождения». «Как, как?» — переспросила мама. Папа повторил. «Что за глупость?» — растерянно сказала мама, на что папа не сразу и задумчиво произнес: «Не такая уж, однако, и глупость. Тут есть что-то такое, что нам не положено знать. Тут, может, это случайно сказано, но за этой случайностью — бездна». Он отложил книгу и в еще большей задумчивости, неестественным, странно удаленным голосом продолжал: «Нам чудится, что мы живем, а нас, может, давно похоронили, но мы ничего не помним. Мы

суетимся тут, хлещемся... Как перевертыши. И не понимаем, что нас нет, что это кто-то собрал наши грехи и страсти, чтобы посмотреть, какими мы были». Мама испугалась: «Перестань, не говори хоть при Сане свои глупости. Он же запомнит». Папа посмотрел на Саню и улыбнулся: «И правда глупости. Живи, Саня, так, будто ты только здесь и родился».

Но мама была права: Саня запомнил, и папина фраза из книжки прозвучала сейчас на остановке голосом того неизвестного, кто ее впервые сказал.

Раз за разом пошли тоннели, которыми славится дорога, недлинные и чистые, с красиво отделанными порталами; на освободившейся от вторых путей обочине стояли в тоннелях копны с сеном, в опущенное окно наносило горьковатой сыростью, мелькали белые наросты на стенах, извивающиеся полосами и похожие на сосуды в утробе, поднимался и нарастал, самооглушаясь, шум поезда, сильнее скрипел и болтался вагон, но странно: сумрак тоннелей нравился Сане, он начинал возбуждать в нем какое-то особое, глубинное чутье и не успевал — снова вырывались в широкий и светлый небесный сумрак дня и снова ненадолго наддавал поезд. Саня не бывал здесь и смотрел во все глаза. За тоннелями в опасных местах тянулись оградительные от камнепада стенки, ровно и аккуратно, будто вчера только, выложенные; на одной из них торчал огромный, как танк, валун. Невозможно было представить, как удалось ему запрыгнуть на стенку и удержаться на ней, будто это и имел он целью: встать, словно памятник на постаменте, в виду исполинской скалы в подтверждение того, что стена здесь стоит не напрасно.

Пялясь на дорогу, Саня и не заметил, когда к ним подсел пожилой, много старше Митяя, мужик с белым не по-здешнему и дряблым лицом, но по манерам, по

уверенности в себе здешний. Сначала он услышал голос Митяя:

— А я тебя гляжу, гляжу… Уж думал, остался… Или проспал.

— Под самый конец залез. Едва протолкался, — ответил кто-то незнакомый, и тут Саня обернулся к ним от окна. Мужик в выпущенной поверх штанов толстой байковой рубахе сидел рядом с Митяем и, готовясь к еде, выуживал из раскрытого горбовика помидоры.

— Чаю утром не успел попить. Парень, что, с нами идет? — не глядя на Саню, спросил он.

— С нами.

— Ты не говорил.

— Ну и что? Когда бы я сказал?

— Да ладно, я сам в пристяжке. Дождь вот не снарядился бы, дождем пахнет.

Саня насторожился: он тоже не знал, что они с Митяем идут не вдвоем. С третьим в тайге, конечно, надежней и веселей, но отчего-то неприятно было, что он узнал о нем только сейчас.

На 94-м километре, где остановки не полагалось, но машинистов, своих мужиков, уговорили притормозить еще, быть может, вчера, посыпались вниз с задраенными горбовиками, как сбрасываемые части какого-то одного разобранного огромного существа. Так показалось Сане. Машинисты, поторапливая, подергивали состав, и люди, устанавливаясь на земле на ногах, смеялись и грозили в голову состава кулаками. В вагоне осталось всего несколько человек, но они были снаряжены не для тайги и ехали в райцентр. Митяй, обойдя вагон, повеселел и, вернувшись на свое место, задиристо сказал:

— Ты только, дядя Володя, не каркай. Дождя не должно быть. Правильно я говорю, Санек?

Они втроем сошли на 102-м, и Митяй, дурачась, замахал рукой: трогай, больше нам тут никто не нужен.

* * *

— Пошто, говоришь, они все там остались, а мы сюда? А по то, Санек, что там ходьба легкая. Час, ну, чуть боле враскачку — и на месте. А тут покуль дойдешь, надо три раза ноги, как коней, менять, да сколь потов сойдет. Усек? — Митяй, обращаясь к Сане, говорил это и дяде Володе, который тоже шел здесь впервые, предупреждая их таким образом о трудной дороге.

Бессчетное число раз переходили они речку с берега на берег, поднимаясь встречь ей по распадку, то прыгая по камням, то перебираясь по упавшим поперек лесинам, то вброд, а то перешагивая в узких глубоких горловинах, в которых клокотала темная вода. Тропа на белых, как высушенных, камнях терялась, не оставалось, сколько ни всматривался Саня, никакой мало-мальской приметы, но Митяй словно бы видел ее поверху и точно выходил на ее продолжение. Они шли то по крутому откосу, где больше сил тратилось, чтобы, упираясь, не скатиться вниз, чем передвигаться вперед, то по такому узкому прижиму рядом со скалой, на котором не только не разминуться вдвоем, но и одному было тесно, так что приходилось заплетать ноги, чтобы шагать в линию; то по высокой, выше человеческого роста, траве в заболоченных низинах. Но затем тропа, давая отдохнуть, забирала в лес, становилась сухой и широкой, шагу ничего не мешало, и идти по ней было одно удовольствие.

Тайга стояла тихая и смурная; уже и проснувшись, вступив в день, она, казалось, безвольно дремала в ожидании каких-то перемен. Про небо в густой белой мути нельзя было сказать, низко оно или высоко, из него словно вынули плоть, и осталась одна бездонная глухая пустота. Солнце сквозь нее не проникало, не

было и ветра — тяжелые, раздобревшие за лето деревья стояли недвижно и прямо, охваченные истомой, и только над речкой, повинуясь движению и шуму воды, подрагивали на березках и кустах листья. Время от времени вспархивали птицы, однажды, шагая, они вспугнули с тропы выводок рябчиков, но и он снялся и улетел спокойней обычного, чтобы не нарушать общей тишины.

Чем дальше уходили они, тем больше становилось кедрача и тем чаще задирал Саня голову, высматривая шишки. Их было много, и висели они — как сидели в густой темной хвое, пузато заваливаясь на сторону в поисках опоры. А после того как Митяй, идущий впереди, поднял с тропы несколько потревоженных кедровкой шишек, Саня стал сигать едва не под каждое дерево и тоже нашел одну шишку, наполовину вышелушенную, и две вместе на общем отростке, сорванные ветром и нисколько не пострадавшие. Как тут было утерпеть, чтобы не похвастаться! Саня побежал к Митяю, тот, не убирая шага, кивнул:

— Орех нонче есть. От и до. Но и кедровка, подлюка, уж полетела. — И добавил неодобрительно: — Ты шибко-то не прыгай. Скоро нам ног мало будет, на карачках поползем.

Это «скоро» началось после того, как, отдохнув и поев без чая, они оставили речку и взяли от нее влево. До этого все время тянулся подъем, то положе, то круче, он и теперь продолжался, но они пошли наискось горе и шли, обманывая ее, поначалу легко. Кедрач и ельник остались внизу, начался осинник с высокой и уже полегшей травой, закрывшей с обеих сторон тропу так, что ее нащупывали только ноги. Потом и осинник поредел, все снова пошло вперемешку — кедры, сосны, березы, ели, а гора, которую они старательно обходили, словно перехитрив их, развернулась и встала перед ними в рост. Они полезли.

Митяй по-прежнему шагал первым, и только он один знал, что ждет их впереди. Лес все больше и больше редел, освобождая небо, — казалось, вот-вот они заберутся наконец на вершину, откуда начнется крутой спуск: оттого и открылось небо. Дядя Володя дышал тяжело, с подсвистом. Саня не решался обходить его, они шли все в том же порядке, как вышли, но Саня с дядей Володей теперь уже далеко отстали от Митяя, вздернутый горбовик которого, закрыв голову, двигался словно бы самостоятельно, на собственных ногах и не знал устали.

Крутизна действительно поубавилась, в лицо дохнуло свежестью… Саня шел с опущенной головой, глядя себе под ноги, и едва не натолкнулся на горбовик дяди Володи. За ним, развернувшись, стоял Митяй и ожидающе улыбался.

— Ты что это?.. Ты куда нас? — испуганно озираясь, спрашивал дядя Володя.

— Перекур! — объявил Митяй и сел на первое поваленное дерево, как-то без удовольствия, мрачно довольный тем, что он может им показать. — Дальше по-пластунски.

Саня не верил глазам своим: только что шли по живому, как всегда, на перевале аккуратному, весело и чисто стоящему лесу, и вдруг… Отсюда, где они остановились, и докуда-то дотуда впереди, где это кончалось, огромной и неизвестно сколько длинной полосой вправо и влево все было снесено какой-то адской, чудовищной силой. Деревья, наваленные друг на друга, высоко вверх задирали вывороченные вместе с землей гнезда корней, топорщились сучьями с необлетевшей еще желтой хвоей, валялись обломками, треснувшими вдоль и поперек. Таких завалов Саня и представить себе не мог. То, что не выворотило с корнями, — больше всего это были ели и кедры, — обломало, оставив уродливо высокие и расщепленные

пни, стоящие в причудливом и словно бы не случайном порядке. Только кое-где уцелел подрост, и его зеленая хвоя и зеленые листья, уже осмелевшие и продирающиеся вверх, казались среди этого общего и чересчур наглядного поражения неуместной игрой в продолжающуюся жизнь.

— Что это?.. Что тут было? — едва опомнившись, спросил Саня.

— Смерч, — сказал Митяй.

— Какой смерч?

— Такой, с Байкала. Больше неоткуль. Я сам впервой такую разруху вижу. В прошлом году с отцом твоим по ягоду так же пошли — все нормально. А осенью я по орех... Может, главно, первый и увидел. Ты пойди погляди, до чего ровно с этой стороны обрезал. Как отмерено.

Саня прошел и посмотрел: граница между повалом и живым, стоящим лесом действительно была на удивление ровной, хотя и с зазубринами, куда бросало с обреченной полосы деревья.

— Этак и убить могло, — угрюмо заметил дядя Володя, исподлобья озирая поверженное лесное воинство.

Митяй засмеялся, Сане послышалось — не без злости:

— Могло? Да тут не могло не пришибить, когда бы ты на ту пору тут оказался. Не гадал бы счас.

— Я дома сижу. Это ты по лесам шастаешь, — не остался в долгу дядя Володя.

— А новичков-то и хлещет. Их-то, главно, и караулит. Из-за их-то и происходит. Ишь, сколь тайги из-за одного такого погубило.

— Из-за кого? — вскинулся дядя Володя. — Что ты мелешь?!

— Откуль я знаю, из-за кого. Я тут не был.

— Ну и не болтай зря. Хозяин тайги сыскался! Как это вы все не любите новичков — что Николай Иванович, что Леха, что ты... Будто свой огород... захочу — пущу, не захочу — заверну.

Митяй усмехнулся.

— Ты меня с ими не равняй, — подумав, примирительно сказал он. — Я бы такой был, как ты говоришь, я бы тебя с собой не взял. И парня бы вот не позвал. Про Леху ты тоже зря: слыхал звон, да не понял, где он. Леха — аккуратный мужик, он порядок любит. А кажного в тайгу пускать — это на разор только, ее и так разорили.

— Я рядом с тобой живу — почему я каждый?

— Я не про тебя, дядя Володя, не про тебя, — вроде бы и искренне и еще более примирительно ответил Митяй, но даже Саня почувствовал в его голосе нетвердость и пустоту: что-то Митяй недоговаривал.

И вот через эту полосу шириной не более километра они продирались часа полтора. Прежде Митяй уже пытался чистить здесь ход, он и сейчас шел с топором, часто останавливаясь и обрубая сучья, отбрасывая их на сторону, и все равно идти было тяжело. Они то подлезали под стволы снизу, задевая и корябая горбовиками, то и дело осаживая назад и неуклюже заваливаясь, то забирались наверх и двигались по стволам, как по перекрещенным и запутанным мосткам, перебираясь со ствола на ствол, чтобы хоть несколько шагов, да вперед. Шли замысловатыми зигзагами — куда можно было идти. Дядя Володя стонал и ругался, пот лил с него ручьями. Большой зеленый узел, оказавшийся плащ-палаткой, с его горбовика сдернуло — ее подобрал Саня, который и без того замучился со своим поминутно сползающим с плеч рюкзаком. Спохватившись и увидев свою поклажу в руках у Сани, дядя Володя лишь бессильно кивнул головой: неси, пока не вышли, так и быть.

Но когда выбрались они наконец из завала и, пройдя еще минут пятнадцать по чистой тропке, поднялись на вершину, обрывисто стесанную слева и соступающую вправо каменистым серпантином, когда неожиданно ударил им в глаза открывшийся с двух сторон необъятный простор в темной мерцающей зелени, победно споривший в этот час с белесой пустотой неба, — за все, за все они были вознаграждены. Среди огромных валунов, заросших брусничником, важно и родовито, не имея нужды тянуться вверх, стояли — не стояли, а парили в воздухе — могучие и раскидистые сосны, как и должно им быть царственными и могучими в виду многих и многих немереных километров вольной земли. Здесь был предел, трон — дальше и внизу, волнисто воздымаясь к дымчатому горизонту и переливаясь то более светлыми, то более темными пятнами, словно бы соскальзывая и упираясь, широким распахом стояла в таинственном внимании державная поклонная тайга.

Митяй, сняв горбовик, весело и громко возгласил:

— Ну вот, дядя Володя, а ты говорил! Зачем ты неправду говорил?!

Дядя Володя, тяжело, с кряхтеньем усаживаясь на камень, не отозвался.

— Вот это да-а! — ахнул Саня, подошедший последним.

— От и до, Санек, а?! — крикнул ему Митяй. — Запоминай — во сне потом будет сниться!

Где-то рядом, сердито заявляя свои права на эту округу, засвистел бурундук. Митяй засмеялся:

— Да уйдем, уйдем, парень. Посидим и уйдем. Что ж ты, дурак такой, и меня не помнишь?

* * *

«Не может быть, — не однажды размышлял Саня, — чтобы человек вступал в каждый свой новый день вслепую, не зная, что с ним произойдет, и проживая его лишь по решению своей собственной воли, каждую минуту выбирающей, что делать и куда пойти. Не похоже это на человека. Не существует ли в нем вся жизнь от начала и до конца изначально и не существует ли в нем память, которая и помогает ему вспомнить, что делать. Быть может, одни этой памятью пользуются, а другие нет или идут наперекор ей, но всякая жизнь — это воспоминание вложенного в человека от рождения пути. Иначе какой смысл пускать его в мир? Столь совершенного, совершенству которого Саня начинал удивляться все больше и больше, все больше упираясь в этом удивлении в какую-то близкую и ясную непостижимость; столь законченного в своих формах и способностях и столь возвышенного среди всего остального мира, — и вдруг, как перекати-поле, на открытую дорогу — куда ветром понесет? Не может быть! К чему тогда эти долгие и замечательные старания в нем? Столько сделать внутри и оставить его без пути? Это было бы чересчур нелепо и глупо».

Сане казалось, что таким именно он это место и видел, как можно видеть предстоящий день, стоит только сильней обычного напрячь память. Не совпадали лишь кой-какие детали. Вернее, он не заставил себя рассмотреть их в подробностях, увидев главное и решив, что этого достаточно. Через пять минут, после того как подошли к шалашу, Саня уже не сомневался, что он бывал здесь. Конечно, он не бывал в действительности, но он словно бы, не свернув с тропы, как лежащего перед ним пунктира, пришел туда, куда должен был прийти, и застал то, что должен был здесь застать. Но застал и увидел в полной картине, а не в голых представлениях, во всех красках и полной, не имеющей нигде больше подобия, жизни.

Славное это было место: на сухом взгорке среди елей и кедров. Под защитой огромного, густо и широко разросшегося кедра и стоял шалаш, крытый корой и ветками и устланный от земли старым лапником и травой. Рядом чернело кострище, аккуратно и по-хозяйски обустроенное и обложенное камнями, с наготовленным таганком и свисающими с него закопченными березовыми рогульками для котлов, а чуть поодаль со стороны речки высоко упавшую лесину сверху затесали и приспособили под стол. И чисто, обжито было здесь: ни бумаги, ни банок, ни склянок — порядок, заведенный человеком, поддерживала и тайга. Сухие сучья, накиданные ветром, словно приготовлены были для растопки, чтобы не искать ее человеку, и загорелись сразу. Митяй, распоряжавшийся весело и нетерпеливо, сгонял Саню за водой, и, пока дядя Володя нарезал хлеб, пока доставали каждый с излишней готовностью принесенную еду и раскладывали ее в ряд на длинном и узком постолье, пока то да се — чай был готов. Пили его после трудной дороги всласть и, попив, разморились, осоловели от сытости, от густо и недвижно стоящего воздуха и усыпляющего бульканья воды в речке — потянуло отдохнуть. Позевывая, Митяй позволил:

— Ладно, полчаса на отлежку — само то. Только чтоб ни одна нога не хрумкала. Успеем, наломаемся.

Он лег подле затихавшего костра, подложив под голову шапку и подстелив под себя телогрейку, которая зимовала и летовала у него здесь не один уже год и превратилась в подобие телогрейки, не потерявшее все же, по-видимому, способности греть и мягчить. Дядя Володя ушел в шалаш и скоро засопел там, а Саня сидел у лесины, где пили чай, на камне и, расслабившись, безвольно и дремотно, смотря и не видя, слушая и не слыша, открылся для всего, для всего, что было вокруг: для широкой заболоченной низины за речкой, сплошь

заросшей голубичником и размеченной корявыми березками; для низкого неба, начинающего постепенно натекать какой-то мутной плотью; для приглушенных и зыбких звуков, доносящихся, как неверное эхо, из глубины переполненного тишиной мира. И все это вливалось, входило, вносилось нароком и ненароком в забывшегося в сладкой истоме парня, все это искало в нем объединяюще-продолжительного, в иную, не человеческую меру участия и правильного расположения — все это заворожило и обморило его до того, что захотелось застыть здесь как истукану и никуда не двигаться.

Было душно; по щеке неподвижно лежащего на боку с закрытыми глазами Митяя струился пот, его пила большая сизая муха, то отбегая, то снова припадая бархатной членистой головкой к натекающей влаге и не давая ей скатиться за шею. Эта муха в конце концов разбудила Митяя, он сел, встряхнулся, отер рукавом пиджака пот и осмотрелся.

— Кончай ночевать, мужики, — негромко сказал он, позевывая и внимательней всматриваясь в небо. — Выпросил ты все ж таки дождя, дядя Володя, выпросил. Надо успеть до него.

А через минуту уже опять весело и напористо распоряжался:

— Давай, давай, Санек, пошевеливайся. Чтоб, главно, полведра сегодня у тебя стучало. Ого, ты гляди, дядя Володя-то у нас!.. Держись, ягода! — Он увидел, как дядя Володя, подстегнув на ремень котелок, встал на изготовку с совком в руке. — А давай на спор, дядя Володя, что я без совка больше твоего нахвостаю. Давай? Боишься? Чего ее совком драть, когда ягода такая?! Ты ее рукой в леготочку натрясешь. И ягода будет чистая — хоть на базар. Совком только лист обрывать, ты вполовину с листом ее домой попрешь.

Дядя Володя, не отвечая, первым двинулся к речке.

— Почали, Санек, почали, — возбужденно повторял Митяй, когда и они перешли речку и встали перед ягодником. Дядя Володя уходил слева в глубину низины, под ногами его чавкала и переливалась вода. Издав губами отрывистый, понукающий звук, Митяй наклонился над кустарником, и Саня услышал, как голо, отрывисто упали в его котелок первые ягоды, а потом, падая и падая, перешли в частый и мягкий бормоток.

* * *

Столько ягоды Саня никогда еще не видывал. И не представлял, что ее может столько быть. Он ходил раньше не раз с бабушкой за малиной, ходил в прошлом году с папой и Митяем здесь же, на Байкале, в падь Широкую за черной смородиной, то был первый его серьезный выход в тайгу, окончившийся удачно, но они брали тогда по оборышам, подчищая оставшееся после других, и, хоть набрали хорошо, большого удовольствия это не доставляло. Тут же на этот раз они были первые, никто до них ягоду тут не трогал и не мял, а наросло ее на диво, в редкий год, по словам Митяя, удается такой урожай. Теперь Саня знал, что это такое — кусты ломятся от ягоды: они действительно ломились, лежали от тяжести на земле или стояли согбенно, поддерживая друг друга в непосильной ноше.

Саня раздвигал кусты и замирал от раскрывшегося потревоженного густоплодья. Дымчато-синяя, сыто и рясно подрагивающая сыпь ослепляла, вызывая и удивление, и восторг, и вину, и что-то еще, чему Саня не знал имени и что западало в душу все это вместе скрепляющим чувством — смутным и добротворным. Нагибая к себе куст, обряженный то круглыми, то продолговатыми плодами, Саня приступал к нему с игрой, которая вызвалась сама собой и нравилась ему. «Не обижайся, — наговаривал он, — что я возьму тебя…

я возьму тебя, чтоб ты не пропала напрасно, чтоб не упала на землю и не сгнила, никому не дав пользы. И если я тебя не возьму, если ты не успеешь упасть на землю и сгнить, все равно тебя склюет птица или оберет зверь, — так чем же хуже, если сейчас соберу тебя я? Я сберегу тебя, — Сане не хотелось признаваться, что он будет варить или толочь ягоду, это казалось варварством, — и зимой маленькая девочка по имени Катя, которая часто болеет… — И грубым, бестактным казалось называть себя — то, что он станет есть ягоду, и Саня вспоминал свою двоюродную сестру, которой и в самом деле перепадало немало варенья, так что Саня здесь не совсем лгал. — И маленькая девочка по имени Катя… она очень любит голубицу, любит тебя, ты очень помогаешь этой девочке. Когда мы приедем домой, ты увидишь ее и поймешь, как ты нужна ей… не обижайся, пожалуйста».

Пальцы скоро научились чувствовать податливость ягоды, ее крепость и налив, и трогать ее то одним легким касанием, то осторожным нажимом, то с мягкой подкруткой, чтобы не оборвать плоть, когда ягода не хотела отставать от ростка; пальцы делали свое дело быстро и на удивление ловко, чего Саня и не подозревал в себе, словно и это пришло к нему как недалекое и желанное воспоминание. И, обминая, обласкивая каждую ягоду, подталкивая их одну за другой в ладонь и ссыпая затем в пристегнутый к ремню бидон, болтавшийся у него на животе, повторяя во множестве одни и те же движения, он и не замечал их однообразия, как не замечал времени, с головой уйдя в это живое и чувственное рукоделье и потерявшись совершенно в его частом и густом узоре. И когда что-то — посторонний звук или неосторожное движение — приводило его в память, он, с трудом узнавая, озирался вокруг: вот он, оказывается, где, это он, оказывается,

ягоду берет, а ему чудилось... Но что ему чудилось, сказать было нельзя.

И как приятно было, не заглядывая в бидон, ощущать его все возрастающую и возрастающую тяжесть, а потом, опуская ягоду, словно бы ненароком натолкнуться рукой на его поднявшееся теплое нутро: так быстро! И идти с наполненным бидоном к шалашу, постоять подле ведра, прежде чем высыпать в него, засмотревшись на парную и живую, томно дышащую, каждая ягодка отдельно, светло-глянцевую синеву сбора. Снизу, когда Саня высыпал голубицу в ведро, она была уже отпотевшей и темной и казалась задохнувшейся. Отсюда, снизу, можно было кинуть наконец несколько ягодок в рот, обмереть на мгновение от растекшейся под языком сладости и нежно тающей плоти и, причмокивая, медленно возвращаться обратно к кустарнику, а там на десять, на пятнадцать минут и вовсе забыть про бидон, словно бы допивая начатое снадобье, все дополняя и дополняя его неоговоренную меру.

Нет, нету на свете ягоды нежней и слаще голубицы, и стойким надо быть человеком, чтобы принести ее из лесу в посудине.

Пошел дождь, но никто из них троих ничем не отозвался на него, не заторопился в шалаш, каждый еще больше заторопил руки. Митяй и Саня по-прежнему держались неподалеку друг от друга, к ним постепенно приближался из глубины болотины дядя Володя. Дождь, падая на кустарник, шумел густо и звучно; мокрую ягоду брать стало трудно, она давилась, мялась, к рукам налипали листья. Быстро темнело, и только тогда, спохватившись, Митяй прокричал отбой. Саня успел к этой поре высыпать в ведро три трехлитровых бидона, наполнив его больше чем наполовину.

В темноте и под дождем они рубили и подтаскивали дрова, наготавливая их на сырую и неспокойную ночь.

Митяй ругал и себя, и дядю Володю за то, что, как маленькие, заигрались на ягоде и припозднились, но чувствовалось, что ругается он так, для порядка, довольный сам, что брали до последнего и успели немало. Гоношиться под дождем с варевом не захотели, вскипятили опять чай и, забравшись в шалаш, пили его при свете костра долго и сладостно, как можно наслаждаться им только в тайге после нелегкого и удачного, несмотря ни на что, дня.

Это была первая Санина ночь в тайге — и какая ночь! — точно взявшаяся показать ему один из своих могучих пределов. Тьма упала — хоть ножом режь, в ней не видно было ни неба за кругом костра, ни сторон, сплошным шумом шумел там дождь. Он то примолкал ненадолго, то припускал сильней, и сильней тогда начинал шипеть костер, сопротивлявшийся воде, с досадой выстреливая вверх угольками и принимающийся время от времени для острастки поддувно и сердито завывать. Но огонь горел хорошо, Митяй перед тем, как окончательно укладываться, навалил на костер, положив их рядом, две сухие лесины, которых должно было хватить надолго. Саня сидел и смотрел, как мечутся по этим лесинам маленькие древесные муравьи, как отгорает и опадает щепа, обнажая источенное ими, похожее на опилки, зернистое крошево. Когда он поднимал глаза к небу, там все так же стояла исполинская тьма, начинавшаяся сразу от земли и поднимавшаяся до неизвестно какой бесконечности. Дождь, проходящий сквозь нее, казалось, мог быть только черным. И до чего жалок, беспомощен и игрушечен, должно быть, представлялся откуда-то оттуда этот костер! Но кому, кому мог он представляться, кто, кроме сидящего подле него Сани, мог его видеть? Но не для того ли и тьма, тьма-тьмущая, чтобы можно было его видеть из таких далей, которые трудно представить? А рядом Саню —

настороженного и готового ко всему, ждущего чего-то с неба ли, со стороны ли с нетерпением и уверенностью: нет, что-то должно случиться… Такая ночь не напрасно. Вот спит уже Митяй, давно похрапывает укрывшийся с головой плащ-палаткой дядя Володя — почему только ему, Сане, не хочется спать? Но не потому ли и уснули они, не потому ли их усыпили, чтобы он мог остаться один и наедине?.. Кто внушил ему, и это внушение он ощущал в себе все отчетливей, будто сразу не расслышал и только после расшифровал по оставшимся звукам сказанное, — кто внушил ему, что именно теперь и должно что-то для него открыться? Нетерпение становилось все сильней — и ближе, значит, было исполнение, точно что-то, невидимое и всесильное, склонилось и рассматривает, он ли это. Нет, не рассматривает, Саня вдруг понял, что он ошибается и рассматривать его не могут, но это что-то улавливает все его чувства, всю исходящую из него молчаливую тайную жизнь и по ней определяет, есть ли в нем и достаточно ли того, что есть, для какого-то исполнения.

Дождь опять стал примолкать, во вздымающемся воздухе ощутимо донесся запах багульника и кедровой смолы. Перевернулся с боку на бок и что-то пробормотал спросонья Митяй. И еще тише стал дождь, он висел над костром на темном фоне парящим бусом. Саня замер, приготовившись, почему-то предчувствуя, что вот сейчас… И вдруг тьма единым широким вздохом вздохнула печально, чего-то добившись, затем вздохнула еще раз. Дважды на Саню дохнуло звучанием исполински-глубокой, затаенной тоски, и почудилось ему, что невольно он отшатнулся и подался вослед этому возвеченному, невесть как донесшемуся зову — отшатнулся и тут же подался вослед, словно что-то вошло в него и что-то из него вышло, но вошло и вышло, чтобы, поменявшись местами, сообщаться затем без помехи. На несколько мгновений Саня потерял себя, не

понимая и боясь понять, что произошло, приятное тепло сплошной мягкой волной разлилось по его телу, напряжение и ожидание исчезли вовсе, и с ощущением какой-то особенной полноты и конечной исполненности он поднялся и перешел в шалаш.

Он уснул быстро, пристроившись на свободное место между Митяем и дядей Володей, но, засыпая, услышал, как снова припустил дождь и закапало сверху сквозь ветки и корье. И вдруг проснулся — дядя Володя, перегнувшись через него, расталкивал Митяя и испуганно шептал:

— Митяй! Митяй! Поднимайся! Кто-то ходит.

— Кто ходит... Медведь, наверно, ходит, — недовольно отвечал Митяй. — Кому тут еще ходить?!

— Слышишь? Ты послушай!

Митяй, продолжая сердито ворчать, поднялся и стал подживлять костер. Затрещали посыпавшиеся в стороны искры, затем ровно загудел огонь. Когда Митяй вернулся на свое место, Саня уже спал: слова о медведе мало встревожили его — или он окончательно не проснулся, или подействовал спокойный голос Митяя.

И еще раз он услышал сквозь сон, как дядя Володя снова расталкивает Митяя, но слова его звучали где-то далеко-далеко и были плохо слышны. И там же, далеко, но с другого конца Митяй ворчливо объяснял:

— Да ты не бойся, спи. Походит и уйдет. Ему же интересно поглядеть, кто это тут, вот он и выглядывает. Больше мы ему ни про что не нужны. Если бы ты тут жил, а к тебе бы, главно, медведи без спросу приперлись, на твою территорию, — тебе что, неинтересно было бы? И ты бы так же бродил.

Больше Саню уже ничто не могло разбудить.

* * *

Его растормошил Митяй. Первое, что увидел Саня, открыв глаза, было солнце — не случайно выбравшееся из-за туч, чтобы показаться, что оно живо-здорово, а одно-единственное во все огромное чистое небо, склоненное от горы за речку и дальше, чтобы солнцу легче было выкатиться на простор. Возле горы лежала еще тень, слабая и начинающая подтаивать, от нее, казалось, и натекала небольшая сырость, но вся низина сияла под солнцем, и взрывчато, звездчато взблескивали там на кустах яркими вспышками погибающие капли воды. И куда все так скоро ушло — и беспросветная, бесконечная тьма в небе, и дождь, и ночные тревоги и страхи — нельзя было представить.

Митяй успел не только вскипятить чай, но и приготовить варево, которое дружным согласием решили оставить на обед — перед тем как уходить обратно. Костер догорал, слабый дымок редкой и тонкой прядью уходил прямо вверх, куда чувствовалась общая тяга. Саня и ступал как-то необыкновенно легко и высоко, словно приходилось затрачивать усилия не для того, чтобы ступать, а чтобы удержаться на земле и не взлететь. Деревья стояли с задранными ветками, и вытянуто, в рост, прямилась трава.

Они попили чаю и посидели еще, наслаждаясь солнцем и поджидая, пока оно подберет мокроту. Митяй был весел и громок и потрунивал над дядей Володей, над его ночным бденьем. Дядя Володя, по обыкновению, отмалчивался, но на этот раз с видимой затаенностью и злостью. Это в конце концов почувствовал и Митяй и отстал от него. Саню же все в это яркое утро приводило в восторг — и то, как обрывались с кедра и шлепались о шалаш и о землю последние крупные капли дождя; и то, как умиротворенно и грустно, вызывая какую-то непонятную сладость в груди, затихал костер; и то, как дурманяще и терпко пахла после дождя лесная земля;

как все больше и больше выбеливалась низина, куда им предстояло идти; и даже то, как неожиданно и дурноголосо, напугав их, закричала над головами кедровка.

Солнце вошло в силу, воздух нагрелся — пора было приниматься за дело. Саня заглянул в свое ведро, стоящее по-прежнему в рюкзаке под кедром, — ягода в нем заметно осела и сморилась, и все-таки больше двух бидонов, прикинул он, в ведро уже не войдет. Можно не торопиться. Но только начал он брать, только потекла сквозь пальцы первая ягода, еще больше налившаяся, отличающаяся от вчерашней тем, что произошло в эту ночь, и вобравшая в себя какую-то непростую ее силу, только окунулся он опять в ее живую и радостную россыпь — руки заработали сами собой, и удержать их было уже невозможно. Под солнцем голубица скоро посветлела и стала под цвет неба, — стоило Сане на секунду поднять глаза вверх, ягода исчезала совершенно, растекалась в синеве воздуха, так что приходилось затем всматриваться, напрягать зрение, чтобы снова отыскать ее — по-прежнему рясную, крупную, отчетливо видимую.

Он и не заметил, как набрал один бидон, потом другой… Ведро было полнехонько, а он только разохотился. Обвязав сверху ведро чистой тряпицей, которую он для этой надобности и прихватил с собой, чтобы не высыпалась по дороге ягода, он неторопливо стал спускаться по тропке обратно. Митяй, не разгибая спины, рывками шевелился за строем реденьких березок справа, дядю Володю видно не было, он, похоже, предпочитал оставаться один. От избытка счастья Саня сладостно вздохнул — так хорошо было, так светло и покойно и в себе, и в мире этом, о бесконечной, яростной благодати которого он даже не подозревал, а только предчувствовал, что она где-то и для кого-то может быть. Но чтоб для него!.. И в себе,

оказывается, многого не знал и не подозревал — этого, например, нечеловечески сильного и огромного чувства, пытающегося вместить в себя все сияние и все движение мира, всю его необъяснимую красоту и страсть, всю обманчиво сошедшуюся в одно зрение полноту. Саню распирало от этого чувства, он готов был выскочить из себя и взлететь, поддавшись ему… он готов был на что угодно.

Захотелось вдруг пить, и он, спустившись к речке, попил, прихлебывая из ладони.

Солнце поднялось высоко, день раздвинулся шире и стал глубже и просторней. Все вокруг было как-то по-особенному ярко и свежо, точно Саня только что попал сюда совсем из другого, тесного и серого мира или, по крайней мере, из зимы. Воздух гудел от солнца, от его ровно и чисто спадающего светозарного могучего течения; теперь, после ночи, пила и не могла напиться и насытиться солнцем земля, и так до новой ночи, когда небо опять потребует от нее свою долю. Всякий звук, всякий трепет листочка казался не случайным, значащим больше, чем просто звук или трепет, чем обычное существование их во дню, как и сам день не мог быть лишь движением времени. Нет, это был его величество и сиятельство день, случающийся на году лишь однажды или даже раз в несколько лет, в своем величии, сиянии и значении доходящий до последних границ. В такой день где-то — на земле или в небе — происходит что-то особенное, с него начинается какой-то другой отсчет. Но где, что, какой? Нет, слишком велик и ничему не подвластен, слишком вышен и всеславен был он, этот день, чтобы поддался он хоть какому-нибудь умственному извлечению из себя. Его возможно лишь чувствовать, угадывать, внимать — и только, а неизъяснимость вызванных им чувств лишь подтверждает его огромную неизъяснимость.

Саня принялся опять за ягоду, за дело, которое было ему по силам, но, смущенный и раздосадованный то ли неумелостью, то ли оплошностью своей, помешавшим понять ему что-то важное, что-то такое, что было совсем рядом и готово было помочь ему, расстроенный и недовольный собой, он провозился с последним бидоном долго. «Что-то», «какой-то», «где-то», «когда-то» — как все это неверно и неопределенно, как смазано и растерто в туманных представлениях и чувствованиях, и неужели то же самое у всех? Но ведь, как никогда прежде, близок он был к этим «что-то» и «какой-то», ощущал тепло и волнение в себе от их дыхания и вздрагивал от их прикосновения, с готовностью раскрывался и замирал от их обещающего присутствия. И чего же недостало в нем, чтобы увидеть и понять? Какого, способного отделиться, чтоб встретить и ввести вовнутрь, существа-вещества, из каких глубин какого изначалья? Или его только дразнили, играли с ним в прятки, заметив его доверчивость и любопытство? И как знать: если бы он оказался в состоянии угадать и принять в себя эту загадочную и желанную неопределенность, раскрыть и назвать ее словом — не стало бы это примерно тем же, что говорящий попугай среди людей?

Увидев, что дядя Володя направляется к шалашу, Саня пошел вслед за ним и хотел высыпать из своего бидона в его далеко не полный горбовик, но дядя Володя неожиданно грубо и резко не позволил. Саня, очень удивленный, отступил и поставил бидон на землю рядом с рюкзаком. Делать больше было нечего. Он сел на камень возле потухшего костра и, задумавшись и заглядевшись без внимания, окунулся опять в тепло и сияние до конца распахнувшегося, замершего над ним во всей своей благодати и мощи, раскрытой бездонности и нежности, без сомнения, заглавного среди многих и многих, дня. Он сидел и слабой,

усыпленной, завороженной и отрывистой мыслью думал: «Что же мне еще надо? Так хорошо! В одно время он, такой день, и я… в одно время и здесь…»

И когда на обратном пути поднялись они с тяжелой поклажей на вершину перевала, на тот таежный каменный «трон», откуда волнами уплывали вдали леса; когда, встав на краю обрыва, оглядел на прощанье Саня это сияющее под солнцем без конца и без края и синеющее уже под ним величественное в красоте и покое первобытное раздолье — от восторга и непереносимо-сладкой боли гулко и отрывисто застучало у Сани сердце: пусть, пусть что угодно — он это видел!

* * *

В поздних и мягких сумерках они вышли к Байкалу, перешли через рельсовую дорогу и в высоко и округло, как остров, стоящем лесном отбое между дорогой и берегом скинули со спин поклажу. Мягкие сумерки — верный признак того, что сегодняшний день по звонкой и чистой мощи своей не повторится ни завтра, ни послезавтра, долго-долго. Земные праздники мы знаем — то был праздник неба, который оно, небо, не может справлять только в своих просторах, то было щедрое пограничье между двумя пределами. И вот он кончился, и вот оно минуло. Догорел свет, небо потухло, не давая глубины, и затмилось; сглупа выскочили над Байкалом слабые, мутные звездочки и тут же, как одернутые, скрылись. Резко и отчетливо выделяясь, темнел лес, не вставший еще сплошной стеной, выказывающий разнорост и глубину, в нем длинными и тоскливыми вздохами пошумливал верховой ветер. Резко очерчивались густой синью и дальние берега на той стороне Байкала; вода в море, притушенная скучным

небом, едва мерцала дрожащим и искривленным, как бы проникающим из-под дна свечением.

До поезда оставалось минут сорок. Растянувшись на траве у края обрывистого берега, они не шевелились: не было сил. Гудели ноги, гудели спины — без боязни хоть сколько-нибудь ошибиться, это можно было сказать о всех троих. Они замешкались сначала на ягоде из-за дяди Володи, которому хотелось добрать горбовик, потом замешкались в дороге, соблазнившись шишками, когда Митяй отыскал припрятанный колот и показал, как им пользуются в деле. Так что шли они из тайги с двумя разными урожаями — не шли, а, припозднившись больше, чем можно, последние километры бежали едва не бегом, чтобы успеть при свете. В темноте по этой тропе сам черт ногу сломит, не то что они. Спина у Сани саднила: нижней тяжелой кромкой ведра, прыгающего при каждом шаге, он набил себе кровавую полосу, только теперь по-настоящему оценив достоинства горбовика. Дядя Володя к концу дороги совсем запалился, он и теперь дышал со всхлипами, делая попытки ругаться и давясь словами. Митяй молчал; привычный и не к таким марш-броскам, он устал, но не изнемог и лежал отдыхая, а не так, как Саня с дядей Володей — пластом, мало что и видя и слыша вокруг себя.

Отдышавшись, Митяй поднялся, нашел справа от леска спуск к Байкалу, у воды разделся до пояса и стал шумно плескаться, пошлепывая руками по телу и вскрикивая; Саня подумал, что и ему надо бы тоже помыться, но ноги не поднимали. Митяй, взбодренный и повеселевший, вернулся с котелком воды и, развязывая притороченную к горбовику торбу с оставшейся едой, сказал:

— Хорошо бы чаек сварганить, да не успеем.

Саня потянулся к рюкзаку, достал из него хлеб и мятые яйца, кое-как вытянул из кармашка кружку. Что

хотелось, так это пить. Теперь, когда немного отдохнули и вязкая горечь из горла ушла, давала знать себя глубокая, требовательная жажда. Он залпом выпил кружку, хотелось еще. Дядя Володя тоже потянулся к котелку и принялся пить через край, толстое и морщинистое горло его ходило как мехи. Митяй подождал, пока дядя Володя оторвется, выплеснул остатки и протянул ему котелок:

— Теперь твоя очередь.

— Вон парень сходит, — прохрипел дядя Володя, передавая котелок Сане.

Саня спустился, заставил себя умыться, вытер лицо рукавом рубашки и, замерев, прислушался. Все вокруг затаенно жило своей отдельной, не сходящейся в одно целое, жизнью: так же пошумливал в верхушках деревьев вялый, прерывистый ветер, слабо шевелилась с облизывающимся причмокиванием вода, пестрела, отдавая теплом, россыпь камней на берегу, плавали в воздухе над водой с резким моторным звуком круглые черные жуки. Сверху доносились неразборчивые и недружелюбные голоса дяди Володи и Митяя. Когда Саня подошел, они смолкли. Он снова налил в кружку воды и принялся очищать яйцо. Есть по-прежнему не хотелось — по-прежнему хотелось пить, но, чтобы получить у кого-то право на воду, он заставил себя проглотить невкусную и теплую мякоть яйца.

Рюкзак сполз с ведра, и оно, обвязанное сверху тряпкой, выделялось в темноте резкой, раздражающей глаз белизной. Саня не поленился и прикрыл ведро.

— Ну и что ты собираешься делать с этой ягодой? — вдруг спросил дядя Володя, спросил негромко, но как-то значительно, с ударением.

— Не знаю, — пожал плечами Саня. Он решил, что дядя Володя спрашивает потому, что не уверен, сумеет ли он, Саня, обработать без взрослых ягоду. — Сварю, наверно, половину… половину истолку.

— Нельзя ее варить, — решительно и твердо сказал дядя Володя. И еще решительней добавил: — И есть ее нельзя.

— Почему?

— Кто, какой дурак берет ягоду в оцинкованную посуду? Да еще чтоб ночевала! Да такая ягода!

Саня ничего не понимал: какая такая особая ягода? При чем здесь ночевала? Что такое оцинкованное? Шутит, что ли, дядя Володя?

Митяй не сразу, с какой-то излишней задумчивостью и замедленностью поднялся, нагнулся над Саниным рюкзаком и стащил с ведра тряпку. И увидел — ведро действительно оцинкованное.

— Ты, гад!.. — оборачиваясь к дяде Володе, начал он. — Ты что же это делаешь, а? Ты что же это?.. — Он двинулся к дяде Володе, тот вскочил. — Ведь ты же видел, ты знал, ты, главно, там видал! И дал парню набрать, дал ему вынести — ну, не гад ли, а?! Я тебя!..

— Только тронь! — предупредил дядя Володя, отскакивая, и закричал: — А ты не видал? Ты там не видал? Ты не знал? Чего ты ваньку валяешь? Оно на виду, оно открытое стояло! Ты что, маленький?!

Митяй опешил и остановился.

— Да видал! Видал! — завопил он. — Знал! Но у меня, главно, из головы вон. Я смотрел и не видел. А ты, гад, ждал. Я забыл, совсем забыл!

— Больше не забудешь. Учить вас надо. И парень всю жизнь будет помнить.

Митяй заметался, словно что-то подыскивая под ногами, на глаза ему попалось ведро с открытой ягодой, — решительно и вне себя он выхватил это ведро из рюкзака и резким и быстрым движением вымахнул из него ягоду под откос. Она зашелестела, скатываясь, и затихла.

— Митяй, ты что?! — вскочил до того сидевший и все еще ничего не понимавший Саня. — Зачем ты, Митяй?!

Зачем?!

— Нельзя, Саня, — торопливо и испуганно забормотал Митяй, и сам пораженный той решимостью, с которой он расправился с ягодой. — Нельзя. Она, главно, за ночь сок дала… сам отравишься и других… никак нельзя в оцинкованное… Ну, идиот я, ну, идиот. От и до. Ходи с таким идиотом…

Он сел и затих. Саня подобрал ведро и поставил его в рюкзак, потом аккуратно, со странной внимательностью следя за собой, как за посторонним, застегнул рюкзак на все застежки.

— Теперь, дядечка Володечка, ходи и оглядывайся, — неожиданно спокойно сказал Митяй. — Такое гадство в тайгу нести… мало тебе поселка?!

— Сядешь, — так же спокойно ответил дядя Володя. — Сидел и еще сядешь.

— А я об тебя руки марать не буду, — уверенно и как дело решенное заявил Митяй. — На тебя первая же лесина сама свалится, первый же камень оборвется. Вот увидишь. Они такие фокусы не любят… ой не любят!

Стал слышен стукоток поезда.

…Сане снились в эту ночь голоса. Ничего не происходило, но на разные лады в темноту и пустоту звучали в нем разные голоса. И все они шли из него, были частью его растревоженной плоти и мысли, все они повторяли то, что в растерянности, в тревоге или в гневе мог бы сказать он. Он узнавал и то, что мог бы сказать через много-много лет. И только один голос произнес такое, такие грязные и грубые слова и таким привычно-уверенным тоном, чего в нем не было и никогда не могло быть.

Он проснулся в ужасе: что это? кто это? откуда в нем это взялось?

НАТАША

Недавно я лежал в больнице в большом чужом городе, где мне сделали операцию, по моим ощущениям довольно неприятную, которая прошла, однако, удачно и обошлась благополучно. Но не о том речь… Там, в больнице, я снова встретил Наташу.

«Снова встретил» – это так и не так. То, о чем я хочу рассказать, есть странное соединение сна, может быть, даже не одного сна, с реальностью, которая придала этой истории законченный, хоть и не вполне разгаданный, оставшийся, пожалуй, еще более таинственным, смысл. Но все разгадать нельзя, да и не надо: разгаданное скоро становится ненужным и умирает; погубив таким образом немало самого замечательного в своем мире и нисколько этим не обогатившись, мы снова с детской непосредственностью и необремененностью потянулись к предчувствиям и ко всему тому, что к ним близко.

Я увидел Наташу, кажется, на третий день моей больничной жизни. Почему не утром, когда медсестры заступают на дежурство, и не в течение долгого и однообразного дня, как удалось мне за весь этот день не столкнуться с Наташей и дотянуть до вечера, не знаю, тут что-то было особое. Как обычно, перед отбоем дежурный врач обходил больных, его сопровождала по своему блоку медсестра. Я уже лежал в постели, читал, когда они вошли: плотный, с густым голосом, излишне энергичного вида мужчина на исходе молодости, которую он старательно оберегал, и совсем еще молоденькая девушка, рослая и пухлая, но в пухлости своей какая-то вся аккуратная, без излишеств, и заманчивая, словно бы так с самого начала и задуманная, с широким, мягким, цветущим добротой

лицом, встретив которое даже где-нибудь в Австралии или Новой Зеландии можно без опаски заговаривать по-русски. Это и была Наташа. Войдя и увидев меня, она вдруг покраснела и смутилась. Я заметил это, а она заметила, что я заметил, и смутилась еще пуще. Отвечая на обычные вопросы врача о самочувствии, я наблюдал потихоньку за пытающейся скрыться за его спиной и никак не помещающейся за ней девушкой и узнавал ее все больше и больше. Не было никаких сомнений, что я прежде встречал ее, сталкивался не в уличной сутолоке, когда раз мелькнувшее лицо может надолго зацепиться в памяти, а в общении, вовсе не случайном и не пустяковом для меня, которое должно было выйти из привычного порядка вещей. Но что это такое было, как ни напрягал я память, все же не вспомнил. Уходя, Наташа не выдержала и в дверях, пропустив вперед врача, оглянулась с робкой и обнадеживающей улыбкой, словно подтверждая, что да, я не ошибся и это она и есть.

Все последующие дни превратились для меня в мучение. Я вспоминал и не мог вспомнить, и чем старательнее перебирал я все, что случалось со мной в последние годы, тем большую чувствовал безнадежность. Где-то это было не там, что-то не оттуда. Наташа, казалось, ждала, тайком посматривая на меня с терпением и укором, но, только поднимал я на нее глаза, ищущие вольную или невольную подсказку, она тотчас убирала свои и смущалась. Эта способность смущаться и краснеть, нынче почти изжитая в девушках, настолько была в ней приятна и естественна и так к ней шла, ко всему ее крупному лицу и крупной фигуре, что после первого удивления Наташу и представить нельзя было иной и наблюдать за ней доставляло удовольствие, словно сама душа затеплилась в тебе счастливым ответным смущением. Многие больные лечились здесь годами, в болезни

своей были особенно несчастны, потому что ее нельзя скрыть, и она в самом прямом смысле торчит на виду; постороннему человеку, не знающему, что это такое, она представляется ужасным уродством, перед которым не всякий сумеет сдержаться, и это отношение со стороны, это ощущение себя как невольного пугала, которому то ли повезет, то ли нет снова когда-нибудь стать здоровым и, как говорят, лицеприятным, сказывалось, конечно, на больных, работать с ними было непросто. Но перед робостью Наташи робели почему-то все. Ни разу я не слышал, чтобы кто-нибудь, даже самый отчаявшийся, взялся при ней грубить или капризничать, это показалось бы не только неприличным, но значило бы, что силы больного кончились и надо срочно, если позволяет болезнь, выписывать его, дать пожить и отдохнуть среди родных, а потом вызывать снова. Так уж само собой принялось, что молчаливая, стеснительная и безответная Наташа, которой и в голову не пришло бы жаловаться, стала и для больных, и для врачей больше чем просто медсестра, исправно и с душой исполняющая свои обязанности. Как бы это назвать?.. Пожалуй, на нее смотрели как на человека немножко не от мира сего, на одну из тех, без странностей, причуд и наивных глаз которых мы, люди мира сего, давно свихнулись бы в своем могучем поживательстве и пожинательстве, давно свернули бы себе шею, если бы нас не останавливало их робкое непонимание.

Наташа дежурила на неделе дважды, но не через равное количество дней, а по какому-то своему, ломаному графику и появлялась всегда возле своего столика в коридоре тихо и незаметно: только что не было – и тут, неслышно двигается, что-то сверяет по бумагам в своем хозяйстве, открывает сейф с лекарствами, идет к больным в палаты. Всякий раз, увидев ее, я вздрагивал – так близко было до того,

чтобы вспомнить: я делал уже порывистое движение к Наташе и замечал, что и она с готовностью поднимала навстречу мне лицо; все во мне замирало перед озарением, и я, казалось, уже вспоминал, но из-за спешки, из-за горячности или из-за чего-то еще не мог удержать воспоминания. Лицо Наташи, обиженно опускаясь, вспыхивало, я неловко здоровался и отходил. Снова и снова все было напрасно.

Дошло до того, что мы стали избегать друг друга – и я без крайней нужды не обращался к ней, и она заходила в палату все реже. Но в нашем закутке, или блоке на шесть палат, совсем не встречаться было нельзя, а назначения врачей приходилось исполнять и ей, и мне. Наташа в таких случаях торопилась сделать свое дело и уйти, я же чувствовал себя вконец виноватым: она ведь могла считать, что я прекрасно все помню, но из какой-то своей корысти не хочу открываться, а спрашивать ее, что это было, что я не в состоянии вспомнить, тоже казалось мне неприличным – могло ведь ничего и не быть, я мог все это навыдумывать из болезненной фантазии, от одного лишь любопытного внимания.

Исподтишка я продолжал наблюдать за ней.

Задумавшись, она порой подолгу смотрела в окно в коридоре, куда-то поверх улицы и домов, и до того ей приятно было что-то там видеть, что лицо ее озарялось уже не краской смущения, а волнением только ей одной лишь доступного чувства. Затем я снова замечал ее взгляд на себе – то пытливый и проницательный, вызывающий тревогу, то отсутствующий, с потерянной мыслью, то быстрый, настороженно-лукавый…

В последнюю неделю Наташа дежурила почему-то часто – возможно, подменяла кого-нибудь из заболевших подруг. И ничего удивительного, что ей же выпало везти меня на операцию. Сестра из операционной, направляя каталку со мной, шла

впереди, Наташа подталкивала ее сзади. Укрытый простыней, я видел перед собой только ее большие, казавшиеся мне огромными глаза на опущенном лице, она избегала смотреть на меня и все-таки с испугом взглядывала и крупно, словно крестясь, принималась моргать. В это утро мне было не до воспоминаний. По яркому электрическому свету я догадался, что меня ввезли в операционную. Наташа осталась в дверях и, придерживая их, смотрела из коридора, как меня подкатывают к столу и помогают перебираться на него. Устроившись как надо, я повернул голову к дверям – Наташа продолжала смотреть на меня, но под моим взглядом закрыла двери.

Все, я остался один среди этих людей, никого из которых с закрытыми лицами нельзя было узнать. И даже голоса их, как подкрученные, звучали с одинаковым металлическим настроем. Я пытался прислушиваться к ним, но ничего не понимал, они говорили на незнакомом языке.

Минут через десять, не зная себя совершенно, я уже спал.

…Так трудно было потом проснуться. Иногда я почти приходил в себя, чтобы почувствовать, что я есть, почувствовать в себе озноб и глухую боль, и снова впадал в тяжелое, тупое забытье. До меня доносились женские голоса, я различал и один голос, и второй, требовавшие, чтобы я не спал, но я не мог не спать, это было свыше моих сил. Все было свыше моих сил, мне по силам было только спать – даже и не спать, а находиться в удушливом беспамятстве, из которого, я все-таки дышал этим сознанием, должен когда-нибудь открыться выход.

И он постепенно приоткрывался во мне: я чувствовал уже, как берут мою руку, чтобы проверить пульс, как ставят градусник и делают уколы. Помню свое ощущение: я пытаюсь подняться из глубокого,

закачанного угаром шахтного колодца, невесть как очутившегося на моем пути, я тороплюсь, чтобы не задохнуться в нем, но так медленно всплываю… дышать уже нечем. Оказалось, что я был обложен грелками. Я заворочался со стоном, меня каким-то образом поняли, и грелки были убраны. Стало легче. В темном тумане начали появляться обрывочные и бессвязные видения, настолько бессвязные и далекие один от другого, точно они слетались ко мне от разных людей, а может быть, и не только от людей. Одно из них я почему-то никак не хотел отпускать, оно было чем-то мне приятно и о чем-то напоминало; я очень расстроился, когда оно все-таки исчезло.

Наконец я открыл глаза и увидел, что лежу лицом к просторному, во всю стену, окну. Там, за окном, был еще день – единственное, что я отметил, и снова забылся. Но теперь я владел собой и не позволял себе опускаться во сне глубоко. Я слышал, когда ко мне подходили и отходили, слышал голоса женщин, разговаривающих между собой и отвечающих кому-то на вопросы обо мне. Потом кто-то надолго остановился надо мной и стал ждать, когда я очнусь.

Это была Наташа. В сумерках ее фигура показалась мне выше и легче, точно парила в воздухе. Я сразу пришел в полную память. Обрадованным и слабым голосом, едва слыша себя, я с усилием проговорил:

– Наташа, я вспомнил, вспомнил… мы летали…

Она с волнением закивала мне, прикоснулась легкой и мягкой рукой к моему горячему лбу и отошла так быстро, что мне показалось, что она убежала.

* * *

То, что я вспомнил, жило во мне давно, и не знаю, откуда взялось. Вероятней всего, привиделось что-то во сне, но не в полной картине, а полная картина

составилась затем, когда я думал об этом вольными представлениями, как и всегда, с заботой достраивающими в нас все неоконченное. Не думать же об этом было нельзя, мы невольно придаем значение и ищем вещий смысл в подобных видениях, тем более что здесь было в чем его и искать.

И почему я сразу не догадался, что это она и есть, та девушка из сна? Совпадение настолько полное и так часто это лицо стояло у меня перед глазами в плоти и крови, что я обязан был узнать его тут же, без промедления. А встретил – и растерялся, две недели мучился воспоминанием, которое находилось рядом. Оттого, вероятно, и растерялся, оттого и мучился, что рядом, – всему, что близко, мы и не привыкли доверять. Теперь, встревоженная этим досадным препятствием, вся картина ожила передо мной еще ярче и явственней, и я все меньше склонен верить, что она произошла из сна. Краски, запахи, ощущения – нет, многое во сне является совсем по-другому.

Я и сейчас, как наяву, вижу большую поляну на горе (она, эта поляна, существует, и видеть ее не составляет труда), полную цветов – жарков, колокольчиков, белых и сиреневых ромашек. Я сижу среди них на земле в каком-то тревожном и восторженном ожидании, которое наполняет меня все больше и больше, так что я начинаю в нетерпении оглядываться и что-то искать. Прямо передо мной Байкал, широким и стремительным выносом уходящий вдаль и там подымающийся в небо, слева Ангара, внизу, под горой, мой домишко, из которого я был позван сюда неведомой повелительной силой. Солнце, небо чистое и глубокое, с Байкала тянет ровным влажным ветерком, вода внизу сияет пышущей голубизной – я продолжаю всматриваться вокруг с пристальным, предчувствующим что-то вниманием, беспокойство мое нарастает, я жду чего-то и сам не

знаю, что это может быть, но жду в полной и ясной уверенности, что от этого изменится вся моя жизнь.

И вот позади меня слышится мягкий шелест травы, я оборачиваюсь и вижу приближающуюся с улыбкой девушку. Она в простеньком, плотно облегающем ее летнем платье и босиком, светлые волосы свободно распущены по плечам – если бы не босые ноги, в ней нет ничего необычного. Но тогда я принял босые ноги как само собой разумеющееся и только уж после, разбирая и обдумывая каждую подробность, споткнулся: почему босые? что это значит?

Она приближается, и я вскакиваю ей навстречу. Не может быть сомнений: это ее я и жду. Меня только удивляет немного, что она оказалась рослей и полней, чем я мог предполагать, хотя за минуту до того я ничего не мог предполагать. Чувствуя мое смущение, она улыбается. От улыбки ее широкое, с крупными чертами лицо озаряется светом удивительного согласия с собой и кажется на редкость красивым.

С ее появлением все вокруг незаметно меняется, точно перестраивается для какого-то действия. Поляна превращается в вытянутое к Ангаре поле, густо усеянное все теми же цветами, которые, как расчесанные с пробором волосы, с одной стороны поля наклонены к Байкалу, с другой – к горе. Мы стоим посредине. Солнце, только что державшееся над головой, упало близко к закату, и теплый свет его идет низко над землей. Байкал еще больше вычистило, выяснило, и еще заметней стала его дальняя вознесенность к небу.

Я смотрю на все это без удивления, будто так и должно быть. Но в душе моей возрастает тревога, мне страшно, что я чего-то не смогу и кого-то подведу, а если не смогу и подведу, то меня уже не станет. Но, странно, мне чудится, что меня не станет таким, как я

есть, если даже я смогу и не подведу. И вместе с жалостью к себе меня охватывает гордость.

– Готов? – спрашивает девушка.

– Не знаю. Я не сумею.

– Как же не сумеешь, если ты уже умеешь, – говорит она озабоченно. – Если бы ты не умел, я бы не велела тебе прийти сюда.

– А это ты велела мне прийти? – Я не сомневаюсь, что это так, и спрашиваю, лишь бы оттянуть время.

– Пошли! – Она берет меня за руку и ставит у края поля лицом к Ангаре, так что солнечный свет бьет нам в спину. – Бежим! Ну, бежим, бежим!

Я чувствую, что бегу рядом с ней, бегу все быстрей и легче; она опускает мою руку и остается где-то позади, но я слышу ее голос, требующий, чтобы я бежал еще быстрей. Я несусь огромными скачками, мне кажется, что я продолжаю бежать, когда замечаю проплывающую внизу четырехскатную железную крышу дома, в котором живет мой товарищ. Я что-то кричу то ли ему, то ли всем, кто остался на земле, и прибавляю ходу. Ноги мои вытягиваются, руки выдвигаются вперед, солнечный свет сильным порывом подхватывает меня и возносит высоко вверх. Рядом с собой я обнаруживаю девушку, она улыбкой пытается успокоить мое волнение, но даже и ей это не под силу. Восторг распирает меня, вот-вот, кажется, оборвется от него сердце, и я двигаюсь неровно, подныривающими толчками, мне уже мало того, что я лечу, и хочется чего-то большего, окончательного, хочется, повернув к солнцу, от которого я ощущаю сладостную тягу, рвануться к нему и никогда не остановиться, но девушка настороже, она рукой показывает мне, куда править. Мы проплываем над Ангарой, делаем и круг, и второй над ее истоком и уходим далеко от берегов в Байкал. Я постепенно успокаиваюсь, восторг мой, отбушевав, становится мало-помалу разумным, и теперь

я в состоянии со вниманием всматриваться и вслушиваться в творящуюся вокруг меня жизнь.

Мы парим на той пограничной высоте, докуда достает нагретый за день, настоявшийся воздух, на котором можно лежать, почти не шевелясь. Он то приливно приподымается, волнуясь от закатного солнца, то опускается, и мы качаемся на нем, как на утомленной, затухающей волне, из далекого далека дошедшей до берега и теперь играющей возле него. Небо остывает, и я хорошо вижу в нем обозначившиеся тенями тропинки, талыми провисшими путками ведущие в разные стороны. Они пусты, но по легким вдавленностям заметно, что по ним ходили, и меня ничуть не удивляет, что они, точно от дыхания, покачиваются и светятся местами смутным, прерывистым мерцанием.

Солнце склоняется все ниже и ниже, и могучая торжественная музыка заката достигает такого согласия, что кажется тишиной. И в этой тишине громко и тяжело звучит шорох, с каким опускающийся воздух задевает о гладь воды. И еще – вон там, на берегу, в том лесу на сопке пискнула, я слышу, раскольничьим голоском, не в лад общей музыке, пичужка, пискнула и осеклась, с испугом оглядываясь, что с ней будет. Я вижу и слышу все и чувствую себя способным постичь главную, все объединяющую и все разрешающую тайну, в которой от начала и до конца сошлась жизнь… вот-вот она осенит меня, и в познании горького ее груза я ступлю на ближнюю тропинку…

И вдруг, оборачиваясь ко мне, девушка говорит:

– Пора.

И показывает на берег.

– Нет, нет, – волнуюсь я. – Еще. Я не хочу.

– Солнце заходит. Пора, – терпеливо и радостно, со сдерживаемым торжеством в голосе настаивает она.

И я понимаю: пора. Мы медленно плывем к берегу. Земля уже в сплошной синей тени, звуки, потеряв музыку, сливаются в одно глухое гудение. Мы приземляемся на ту же самую поляну, и я, пробуя ноги, делаю первые шаги, которые огромной тяжестью отдаются во всем теле. Девушка с усталой и неспокойной улыбкой наблюдает за мной.

– А дальше? – спрашиваю я.

– Что дальше? – Она делает вид, что не понимает.

– Если дальше ничего не будет, то зачем это было? Я хочу еще. Я дальше хочу. Там оставалось совсем немного.

Помолчав, она говорит:

– Я буду приходить.

На этот раз она говорит без улыбки, и я замечаю, что без солнца черты ее лица резко обострились и напряглись, а фигура выглядит угловатой и неловкой. Она и сама, очевидно, знает, как изменилась, и, робкой рукой прикоснувшись ко мне, сделав последнюю попытку улыбнуться, начинает уходить.

Я смотрю ей вслед и такую чувствую в себе и в ней тревогу, загадочным выбором соединившую нас, но относящуюся ко всему, ко всему вокруг, такую я чувствую тоску и печаль, словно только теперь, полетав и посмотрев с высоты на землю, я узнал наконец истинную меру и тревоги, и печали, и тоски.

Она уходит, и быстро сгущающиеся сумерки скрывают ее.

Но она сказала: я буду приходить.

* * *

Через два дня из послеоперационной меня перевели обратно в свою палату. Ковыляя по коридору в сопровождении медсестры, я еще издали выглядывал: вдруг сегодня опять Наташа? Нет, ее не было,

дежурила милая, но другая девушка, которая и приняла меня с рук на руки, уложила в постель и сообщила, сколько раз и в какие часы мне назначено давать лекарства и делать уколы. Я смиренно слушал и представлял, как мы с Наташей встретимся, когда она придет, и о чем станем говорить. Все-таки нам предстояла необычная встреча.

Я ждал и день, и два, и три – Наташа не появлялась. Конечно, у нее могли скопиться отгулы за внеочередные дежурства, она могла заболеть, много чего могло быть, но я уже чувствовал, что все это не то. Когда, наконец решившись, я спросил о ней, мне ответили, что Наташа уволилась и уехала из этого города.

Оказалось, она работала в больнице недолго.

ЧТО ПЕРЕДАТЬ ВОРОНЕ?

Уезжая ранним утром, я дал себе слово, что вечером обязательно вернусь. Работа у меня наконец пошла, и я боялся сбоя, боялся, что даже за два-три дня посторонней жизни растеряю все, что с таким трудом собирал, настраивая себя на работу, — собирал в чтении, раздумьях, в долгих и мучительных попытках отыскать нужный голос, который не спотыкался бы на каждой фразе, а, словно намагниченная особым манером струна, сам притягивал к себе необходимые для полного и точного звучания слова. «Полным и точным звучанием» я похвалиться не мог, но кое-что получалось, я чувствовал это и потому без обычной в таких случаях охоты отрывался на сей раз от стола, когда потребовалось ехать в город.

Поездка в город — это три часа от порога до порога туда и столько же обратно. Чтобы, не дай бог, не передумать и не задержаться, я сразу проехал в городе на автовокзал и взял на последний автобус билет. Впереди у меня оставался почти полный день, за который можно успеть и с делами, и побыть, сколько удастся, дома.

И все шло хорошо, все подвигалось по задуманному до того момента, когда я, покончив с суетой, но не сбавляя еще взятого темпа, забежал на исходе дня в детский сад за дочерью. Дочь мне очень обрадовалась. Она спускалась по лестнице и, увидев меня, вся встрепенулась, обмерла, вцепившись ручонкой в поручень, но то была моя дочь: она не рванулась ко мне, не заторопилась, а, быстро овладев собой, с нарочитой сдержанностью и неторопливостью подошла и нехотя дала себя обнять. В ней выказывался характер, но я-то видел сквозь этот врожденный, но не затвердевший еще характер, каких усилий стоит ей сдерживаться и не кинуться мне на шею.

— Приехал? — по-взрослому спросила она и, часто взглядывая на меня, стала торопливо одеваться.

До дому было слишком близко, чтобы прогуляться, и мы мимо дома прошли на набережную. Погода для конца сентября стояла совсем летняя, теплая, и стояла она такой без всякого видимого изменения уже давно, всходя с каждым новым днем с постоянством неурочной, словно бы дарованной благодати. В ту пору и в улицах было хорошо, а здесь, на набережной возле реки, тем более: тревожная и умиротворяющая власть вечного движения воды, неспешный и неслышный шаг трезвого, приветливого народа, тихие голоса, низкая при боковом солнце, но полная и теплая, так располагающая к согласию, осиянность вечереющего дня. Это был тот час, случающийся совсем не часто, когда чудилось, что при всем многолюдье гуляющего

народа каждого ведут и за каждого молвят, собравшись на назначенную встречу, их не любящие одиночества души.

Мы гуляли, наверное, с час, и дочь против обыкновения почти не вынимала своей ручонки из моей руки, выдергивая ее лишь для того, чтобы показать что-то или изобразить, когда без рук не обойтись, и тут же всовывала обратно. Я не мог не оценить этого: значит, и верно соскучилась. С нынешней весны, когда ей исполнилось пять, она как-то сразу сильно изменилась — по нашему понятию, не к лучшему, потому что в ней проявилось незаметное так до той поры упрямство. Сочтя себя, видимо, достаточно взрослой и самостоятельной, дочь не хотела, чтобы ее, как всех детей, водили за руку. С ней случалось вести борьбу даже посреди бушующего от машин перекрестка. Дочь боялась машин, но, отдергивая плечико, за которое мы в отчаянии хватали ее, все-таки норовила идти своим собственным ходом. Мы с женой спорили, сваливая друг на друга, от кого из нас могло передаться девочке столь дикое, как нам представлялось, упрямство, забывая, что каждого из нас в отдельности для этого было бы, разумеется, мало.

И вот теперь вдруг такие терпение, послушание, нежность... Дочь расщебеталась, разговорилась, рассказывая о садике и расспрашивая меня о нашей вороне. У нас на Байкале была своя ворона. У нас там был свой домик, своя гора, едва ли не отвесно подымающаяся сразу от домика каменной скалой; из скалы бил свой ключик, который журчащим ручейком пробегал только по нашему двору и возле калитки опять уходил под деревянные мостки, под землю и больше уже нигде и ни для кого не показывался. Во дворе у нас стояли свои лиственницы, тополя и березы и свой большой черемуховый куст. На этот куст слетались со всей округи воробьи и синицы,

вспархивали с него под нашу водичку, под ключик (трясогузки длинным поклоном вспархивали с забора), который они облюбовали словно бы потому, что он был им под стать, по размеру, по росту и вкусу, и в жаркие дни они плескались в нем без боязни, помня, что после купания под могучей лиственницей, растущей посреди двора, можно покормиться хлебными крошками. Птиц собиралось помногу, с ними смирился даже наш котенок Тишка, которого я подобрал на рельсах, но мы не могли сказать, что это наши птички. Они прилетали и, поев и попив, опять куда-то улетали. Ворона же была точно наша. Дочь в первый же день, как приехала в начале лета, рассмотрела высоко на лиственнице лохматую шапку ее гнезда. Я до того месяц жил и не замечал. Летает и летает ворона, каркает, как ей положено, — что с того? Мне и в голову не приходило, что это наша ворона, потому что тут, среди нас, ее гнездо и в нем она выводила своих воронят.

Конечно, наша ворона должна была стать особенной, не такой, как все прочие вороны, и она ею стала. Очень скоро мы с нею научились понимать друг друга, и она пересказывала мне все, что видела и слышала, облетая дальние и ближние края, а я затем подробно передавал её рассказы дочери. Дочь верила. Может быть, она и не верила; как и многие другие, я склонен думать, что это не мы играем с детьми, забавляя их чем только можно, а они, как существа более чистые и разумные, играют с нами, чтобы приглушить в нас боль нашего жития. Может быть, она и не верила, но с таким вниманием слушала, с таким нетерпением ждала продолжения, когда я прерывался, и так при этом горели ее глазенки, выдавая полную незамутненность души, что и мне эти рассказы стали в удовольствие, я стал замечать в себе волнение, которое передавалось от дочери и удивительным образом уравнивало нас, точно сближая на одинаковом друг от

друга возрастном расстоянии. Я выдумывал, зная, что выдумываю, дочь верила, не обращая внимания на то, что я выдумываю, но в этой, казалось бы, игре существовало редкое меж нами согласие и понимание, не найденные благодаря правилам игры здесь, а словно бы доставленные откуда-то оттуда, где только они и есть. Доставленные, быть может, той же вороной. Не знаю, не смогу объяснить почему, но с давних пор живет во мне уверенность, что, если и существует связь между этим миром и не-этим, так в тот и другой залетает только она, ворона, и я издавна с тайным любопытством и страхом посматриваю на нее, тщась и боясь додумать, почему это может быть только она.

Наша ворона была, однако, вполне обыкновенная, земная, без всяких таких сношений с запредельем, добрая и разговорчивая, с задатками того, что мы называем ясновидением.

С утра я забегал домой, кое-что знал о последних делах дочери, если их можно назвать делами, и теперь пересказал их ей якобы со слов вороны.

— Позавчера она опять прилетала в город и видела, что вы с Мариной поссорились. Она, конечно, очень удивилась. Так всегда дружили, водой не разольешь, а тут вдруг из-за пустяка повели себя как последние дикари…

— Да-а, а если она мне показала язык! — тотчас вскинулась дочь. Думаешь, приятно, да, когда тебе показывают язык? Приятно, да?

— Безобразие. Конечно, неприятно. Только зачем ты ей потом показала язык? Ей тоже неприятно.

— А что, ворона видела, да, что я показывала?

— Видела. Она все видит.

— А вот и неправда. Никто не мог видеть. Ворона тоже не могла.

— Может быть, и не видела, да догадалась. Она тебя изучила как облупленную, ей нетрудно догадаться.

На «облупленную» дочь обиделась, но, не зная, на кого отнести обиду, на меня или на ворону, примолкла, обескураженная еще и тем, что каким-то образом стало известно слишком уж тайное. Чуть погодя она призналась, что показала Марине язык уже в дверь, когда Марина ушла. Дочь покуда ничего не умела скрывать, вернее, не скрывала, подобно нам, всякую ерунду, которой можно не загружать себя и тем облегчить себе жизнь, но свое, как говорится, она носила с собой.

Мне между тем подступало время собираться, и я сказал дочери, что нам пора домой.

— Нет, давай еще погуляем, — не согласилась она.

— Пора, — повторил я. — Мне сегодня уезжать обратно.

Ее ручонка дрогнула в моей руке. Дочь не сказала, а пропела:

— А ты не уезжай сегодня. — И добавила как окончательно решенное: Вот.

Тут бы мне и дрогнуть: это была не просто просьба, каких у детей на каждом шагу, — нет, это была мольба, высказанная сдержанно, с достоинством, но всем существом, осторожно искавшим своего законного на меня права, не знающего и не желающего знать принятых в жизни правил. Но я-то был уже немало испорчен и угнетен этими правилами, и когда не хватало чужих, установленных для всех, я выдумывал, как и на этот раз, свои. Вздохнув, я вспомнил данное себе утром слово и уперся:

— Понимаешь, надо. Не могу.

Дочь послушно дала повернуть себя к дому, перевести через улицу и вырвалась, убежала вперед. Она не дождалась меня и у подъезда, как всегда в таких случаях бывало; когда я поднялся в квартиру, она уже занималась чем-то в своем углу. Я стал собирать рюкзак, то и дело подходя к дочери, заговаривая с ней;

она замкнулась и отвечала натянуто. Все — больше она уже не была со мной, она ушла в себя, и чем больше пытался бы я приблизиться к ней, тем дальше бы она отстранялась. Я это слишком хорошо знал. Жена, догадываясь, что произошло, предложила самое в этом случае разумное:

— Можно первым утренним уехать. К девяти часам там.

— Нет, не можно. — Я разозлился оттого, что это действительно было разумно.

У меня оставалась еще надежда на прощание. Так уж принято среди нас: что бы ни было, а при прощании, даже самом обыденном и неопасном, будь добр оставить все обиды, правые и неправые, за спиной и проститься с необремененной душой. Я собрался и подозвал дочь.

— До свидания. Что передать вороне?

— Ничего. До свидания, — отводя глаза, сказала она как-то безразлично и ловко, голосом, который ей рано было иметь.

Будто нарочно, сразу подошел трамвай, и я приехал на станцию за двадцать минут до автобуса. А ведь мог бы эти двадцать минут погулять с дочерью, их бы, наверное, хватило, чтобы она не заметила спешки и ничего бы между нами не случилось.

* * *

Дальше, как бы в урок мне, сплошь началось невезенье. Автобус подошел с опозданием — не подошел, а подскочил нырком, вывернув из-за угла со скрежетом и лязгом: вот, мол, как я торопился, — расхристанный весь и покорябанный, с оборванной половинкой передней двери. Мы сели и сидели, оседлав этот норовистый, подозрительно притихший под нами, как перед очередным прыжком, автобус, а шофер,

зайдя в диспетчерскую, сгинул там и не появлялся. Мы сидели и десять, и пятнадцать минут, вдыхая запах наваленной на заднее сиденье в мешках картошки; народ подобрался молчаливый, отяжелевший к вечеру и не роптал. Мы сидели безмолвно, удовлетворенные уже и тем, что сидим на своих местах, — как мало, не однажды я замечал, надо нашему человеку; постращай, что автобуса до утра не будет, подымется яростный, до полного одурения крик, а подгони этот автобус, загрузи его и не трогай до утра — останутся довольны и поверят, что своего добились. Тут срабатывает, видимо, правило своего законного места, никем другим не занятого и никому не отданного, а везет это место или не везет, не столь уж и важно.

Была, была у меня здравая мысль сойти с этого никуда не везущего места и вернуться домой. Как бы обрадовалась дочь! Конечно, она бы и виду не подала, что обрадовалась, и подошла бы, выдержав характер, не сразу, но потом прилепилась и не отошла бы до сна. И я бы был прощен, и ворона. И какой бы хороший, теплый получился вечер, который потом вспоминай да вспоминай во дни нового одиночества, грейся возле него, тревожа и утишая душу, мучайся с отрадой его полной и счастливой завершенностью. Наши дни во времени не совпадают с днями, отпущенными для дел; время обычно заканчивается раньше, чем мы поспеваем, оставляя нелепо торчащие концы начатого и брошенного; над нашими детьми с первых же часов огромной тяжестью нависает не грех зачатия, а грех не исполненного своими отцами. Этот день на редкость мог остаться законченным, во всех отношениях закрытым и, как зерно, дать начало таким же дням. Когда я говорю о делах, о законченности или незаконченности их во днях, не всякие дела я имею в виду, а лишь те, с которыми соглашается душа, дающая

нам, помимо обычной работы, особое задание и спрашивающая с нас по своему счету.

И я уж готов был подняться и выйти из автобуса, совсем готов, да что-то удерживало. Место, на котором я усиделся, удерживало. Удобное было место, у окна с правой стороны, где не помешают встречные машины. А тут и шофер наконец подбежал чуть не бегом, показывая опять, как он торопится, быстро пересчитал нас, сверился с путевым листом и газанул. Я смирился, обрадовавшись даже тому, что у меня отнята возможность решать, ехать или не ехать. Мы поехали.

Поехать-то мы поехали, да уехали недалеко. Ничего другого и нельзя было ожидать от нашего автобуса и от нашего шофера. Шофер, маленький, вертлявый, плутоватый мужичонка, смахивал на воробья — те же подскоки и подпрыги, резкость и кособокость в движениях, а плутоватость, та просматривалась не только в лице, где она прямо-таки сияла, но и во всей фигуре, и когда он сидел к нам спиной, то и со спины было видно, что этот нигде не пропадет. Я стал догадываться, почему он задерживался в диспетчерской: это был не его рейс, и не этот автобус должен был выйти на линию, но он из какого-то своего расчета уговорил кого-то подмениться, затем уговорил диспетчера — и вот мы, отъехав с глаз долой за два квартала, снова стоим, а шофер наш с ведерком в руке прыгает по-воробьиному посреди дороги, выпрашивая бензин, чтобы дотянуть до заправки. Там, значит, опять стой; я не на шутку стал тревожиться, дождется ли наш рейс, как это было принято, переправа. Мы уже опаздывали слишком. Не хватало еще, чтобы, выдержав все ради утренней работы, мне пришлось ночевать на виду своего домишки на другом берегу Байкала, не ночевать, а маяться всю ночь в ожидании утренней переправы и погубить тем самым весь предстоящий день. И тут еще я мог сойти, но и тут не сошел.

«Вредность, парень, поперед тебя родилась», — говаривала в таких случаях моя бабушка. Здесь, однако, и не вредность была, а другое, приобретенное от прежних судорожных попыток выковывать характер, которые нет-нет да и отзывались еще во мне. Характер, разумеется, тверже не стал, но та сторона, куда гнули его, иногда самым неожиданным образом выказывалась и требовала своего.

В конце концов мы с грехом пополам добрались до заправки, а там и тронулись дальше. Я боялся смотреть на часы: будь что будет. За городом сразу стемнело; лес, не потерявший еще листа, размашисто отваливался с моей стороны плотной черной боковиной. Свету в салоне не оказалось, и странно, если бы он оказался, хорошо, хоть горели фары; мы ехали в темноте и все дремали. Автобус между тем, словно торопясь домой к себе, разбежался; взглядывая сквозь полудрему в окно, я видел быстро сносимое назад полотно дороги и мелькающие километровые столбики. В расположенную дверь задувало, и чем ближе к Байкалу, тем ощутимей, лязгало и дрызгало адскими очередями под ногами у шофера, когда он переключал скорости, но мы все мало что замечали и мало чем отличались от наваленных позади мешков с картошкой.

Везет — это не когда действительно везет, а когда есть изменения к лучшему по сравнению с невезеньем. Тут градус отклонения обозначить нельзя. Я так обрадовался, увидев при подъезде огоньки переправы, что и внимания не обратил, что это не «Бабушкин», не теплоход, с апреля по январь выполнявший паромную работу и приспособленный не только для грузов, но и для пассажиров, а маленький катер, едва заметный под причальной стенкой. Шофер с набегу резко затормозил, дав нам почувствовать, что мы все-таки живые люди, и первым торопливо выскочил, склонился к катеру, что-то

крича и размахивая руками, до чего-то докричался и кинулся обратно поторапливать нас.

Байкал шумел, и довольно сильно. В воздухе, однако, было совсем спокойно, даже глухо — стало быть, Байкал раскачало где-то на севере и вал гнало многие десятки километров, но и здесь он шел с такой мощью, прочерчивая раз за разом под тихим молодым месяцем огнистые полосы пены, и с таким гулом, что становилось ветрено и зябко от возникающего в тебе собственного холода. Бедный катерок подпрыгивал у стенки, словно силясь заскочить наверх. Мы опоздали почти на час, и команда катера, четверо или пятеро молодых парней (точно сосчитать их было невозможно), не теряла времени даром: все они были распьянешеньки. Шофер проворно выносил из автобуса мешки с картошкой, подавал вниз, а они, принимая, бестолково суетились, кричали и, чувствовалось, заваливались вместе с мешками. Пассажиры разошлись, и только мы, три несчастные фигуры, которым предстояло переправляться на этом катере с этой командой через этот Байкал, жались друг к другу, не зная, что делать. Безветрие и грохот воды; ощущение было жутковатое — точно там, за краем причальной стенки, начинается другой свет. Парни оттуда, из преисподней, прикрикнули на нас, и мы неловко, подолгу прицеливаясь и примериваясь, в последней степени обреченности принялись прыгать вниз. Я прыгнул первым. Уже снизу я сумел услышать сквозь грохот, как шофер весело наказывал, чтоб не вздумали дурить, дождались, пока он поставит автобус, и успокоился: с этим не пропадешь.

Припоминая потом обратную дорогу от начала и до конца, и особенно переправу, я думал о ней не как о чем-то ужасном или неприятном, а как о неизбежном, происшедшем во всей этой последовательности и во всех обстоятельствах только из-за меня, чтобы

преподать мне какой-то урок. Какой? — я не знал и не скоро, быть может, узнаю; да тут и не ответ важен, а ощущение своей вины. Это были не случайные случайности. Мне казалось, что и люди, которые ехали со мной, страдали и рисковали только по моей милости. А в последние полчаса, когда мы перегребали с берега на берег, риск, конечно, существовал — что и говорить! Они, эти полчаса, почти не остались ни в памяти моей, ни в чувствах; катерок наш то вонзался в воду, то взлетал в воздух, парни в рубке, а с ними шофер, от восторга издавали какой-то один и тот же клич, а я, мокрый и продрогший, сидел на мешке с картошкой, который ездил подо мной, и безучастно ждал, чем все это кончится. Помню, мы долго не могли подойти к причалу, к этому времени я уже снова вошел в память; помню, когда наконец зацепились и стали выползать наверх, на твердую землю, один из четверки или пятерки отважных бросился нам вдогонку собирать по сорок копеек за переезд. Шофера нашего ждали и встретили на берегу шумно, с ласковыми матерками и толпой сразу куда-то повели.

Я так изнемог за этот день, что не стал, придя к себе, ни чай кипятить, ни даже разбирать рюкзак, а тут же повалился в постель. Было уже за полночь. В последний момент, на волосок ото сна, меня вдруг поразило: зачем, почему он вез картошку из города сюда, в деревню, если все, напротив, как и должно быть, везут ее отсюда в город?

* * *

Не знаю, бывает ли у кого еще такое, но у меня нет чувства полной и нераздельной слитности с собою. Нет у меня, как положено, того ощущения, что все во мне от начала и до конца совпадает, смыкается во всех мелочах в одно целое, так что нигде не хлябает и не

топорщится. Постоянно во мне что-нибудь хлябает и топорщится: то голова заболит, и не простой болью, которую можно снять таблетками или свежим воздухом, а словно бы от страдания, что не тому она досталась; то поймаешь себя на мысли или чувстве, которых никаким образом в тебе не должно бы быть; то подымешься утром, выспавшийся и здоровый, без всякого желания жить, то что-нибудь еще. Конечно, у нормального человека такого не бывает, это свойство людей случайных или подменных. Относительно «подменных» я думал особо: предположим, кто-то должен был родиться, но по какой-то (не нам знать) причине ему не выпало в свой черед родиться, и тогда срочно из соседнего порядка на его место был призван другой.

Он и родился, ничем не отличаясь от остальных, поднялся; никому в огромном многолюдье невдомек, что с ним что-то не то, и только сам он чем дальше, тем больше мучается своей невольной виной и своим несовпадением с тем местом в мире, которое отведено было для другого.

Похожие мысли, какими бы ни показались они вздорными, в минуты разлада с собой не раз приходили мне в голову.

А отсюда и другая моя ненормальность: я никак не привыкну к себе. Проживши немало лет, каждое утро, просыпаясь, я обнаруживаю себя с продолжающимся удивлением, что я — это действительно я и что я существую наяву, а не в донесшихся до меня (то, что могло быть передо мной или после меня) чьих-то воспоминаниях и представлениях. Это случается не только по утрам. Стоит мне глубоко задуматься или, напротив, забыться и приятном бездумье, как я тут же теряю себя, словно бы отлетаю в какое-то предстоящее мне пограничье, откуда не хочется возвращаться. Это небыванье в себе, этакая беспризорность происходят довольно часто, невольно я начинаю следить за собой,

сторожить, чтобы я был на месте, в себе, но вся беда в том, что я не знаю, чью мне взять сторону, в котором из них подлинный «я», — или в том, что с терпением и надеждой ждет себя, или же в том, что в каких-то безуспешных попытках убегает от себя? Убегает, чтобы отыскать нечто другое, но свое, родное, с кем произошло бы полное и счастливое совпадение. Или ждет, чтобы смирить своим подобием и невозможностью хоть на капельку что-нибудь поправить? Ведь должен же быть в каком-то из них «я», так сказать, изначальный, основной, которому что-то затем бы добавлялось, а не которым что-то добавлялось в случившейся неполноте.

* * *

Наутро после поездки в город я поднялся поздно. Ночью я не закрыл ставни на окнах, и еще во сне меня терзало солнце, я спал и не спал под его натиском, мучаясь тем, что хочу и не могу проснуться. Беспомощность эта хорошо всем знакома: вот-вот, кажется, продерешься сквозь тягостную плоть к спасительному выходу, где можно очнуться, — нет, в последний момент какая-то сила сбрасывает тебя обратно. Я всякий раз в таких случаях испытываю ужас перед тем пространством, которое надо преодолеть, чтобы снова приблизиться к черте пробуждения, а еще больше — приблизившись, угадать последнее движение так, чтобы встречным порывом тебя опять не сорвало вниз. Там, в этом неподвластном тебе глухом сознании, все имеет другие измерения: кажется, для того, чтобы проснуться, может уйти вся жизнь.

Изловчившись, я все же открыл глаза… Я открыл глаза и сразу, будто увидел перед собой, почувствовал свое нездоровье. И в груди, и в голове давила тяжелая пустота, слишком хорошо мне известная, чтобы

отмахнуться от нее, из того разряда неурядиц с собой, которые я пытался объяснить. Но, странно, я нисколько не удивился этому своему состоянию, словно должен был знать о нем заранее, но отчего-то забыл.

Солнце, которое чудилось мне во сне сильным и ярким, лежало в комнате на полу размытым блеклым пятном, оконные переплеты подрагивали на нем едва приметной, далеко вдавленной тенью.

Домишко мой был некорыстный: маленькая кухня, на добрую треть занятая плитой, и маленькая же передняя комната, или горница, с двумя окнами через угол на две стороны, из того и другого виден за дорогой Байкал. Третья стена, та, что под скалой, глухая, оттуда всегда несет прохладой и едва различимым запахом подгнивающего дерева. Сейчас этот запах проступал сильней — верный признак того, что погода сворачивает на урон. И верно, пока я одевался, солнечное пятно на полу исчезло совсем; выходит, солнце не приснилось мне ярким, а на восходе действительно могло быть ярким, но с той поры его успело затянуть. Было тихо; я не сразу после мучительного сна осознал, что тишина полная, какой в этом бойком месте, где стоит мой домишко, рядом с причалом и железной дорогой, почти не случается. Я прислушался снова: тишина была — как в праздник для стариков, если бы таковой существовал, и это меня насторожило, я заторопился на улицу.

Нет, все оставалось на месте — и вагоны, длинной двойной очередью в никуда стоящие с весны на боковых путях неподалеку от дома, и большой сухогруз напротив на Байкале со склоненной к нему стрелой замершего портального крана, и сидящая на бревнышке у дороги старушка с сумками возле ног, с молчаливым укором наблюдающая за мной, не понимая, как это можно подниматься столь поздно… Байкал успокаивался. На нем еще вздрагивала то здесь, то там

короткая волна и, плеснув, соскальзывала, не дотянув до берега. Воздух слепил глаза каким-то мутным блеском испорченного солнца; его, солнце, нельзя была показать в одном месте, оно, казалось, растекалось по всему белесо-задымленному, вяло опушенному небу и блестело со всех сторон. Утренняя прохлада успела к этой поре сойти, но день еще не нагрелся; похоже, он и не собирался нагреваться, занятый какою-то другой, более важной переменой, так что было не прохладно и не тепло, не солнечно и не пасмурно, а как-то между тем и другим, как-то неопределенно и тягостно.

И опять я почувствовал такую неприкаянность и обездоленность в себе, что едва удержался, чтобы, ни к чему не приступая, снова не лечь. Сон, из которого я не чаял как вырваться, представлялся уже желанным освобождением, но я знал, что не усну и что в попытках уснуть могу растревожиться еще больше.

Мне удавалось иногда в таких случаях переламывать себя… Я не помнил, как это происходило — само собой или с помощью сознательных моих усилий, но надо было что-то делать и теперь. С преувеличенной бодростью принялся я растапливать печку и готовить чай, разбирая между делом рюкзак, вынося в кладовку банки и свертки. Я люблю эти минуты перед утренним чаем: разгорается печь, начинает посапывать чайник, на краю плиты томится на слабом жару в ожидании кипятка, испуская благостный дух, приготовленная заварка, а в открытую дверь дыханием наносит и, словно обжегшись о печь, относит обратно уличной свежестью. Я люблю быть в такие минуты один и, поспевая за разгорающимся огнем, чувствовать и свое поспевание к чаю, выстраданную и приятную готовность к первому глотку. И вот чай заварен, вот он налит, кружка курится душистым хмельным парком, над горячей, густо коричневой поверхностью низко висит укрывающей, таинственно

пошевеливающейся пленкой фиолетовая дымка... Вот наконец первый глоток!.. Как не сравнить тут, что торжественным колокольным ударом прозвучит он в твоем одиноком миру, возвещая полное пришествие нового дня, и, ничем не прерываемый, дозвучит до множественных, как рассыпавшееся эхо, отголосков. И второй глоток, и третий — те же громогласные сигналы общей готовности разморенных за ночь сил. Затем начинается долгое, едва не на час, рабочее чаепитие, постепенно подкрадывающееся и подлаживающееся к твоему делу. Для начала этакий барский, поверхностный взгляд со стороны: что это ты там вчера навыдумывал? Годится или нет? Туда или не туда заехал? В тебе словно бы и интереса нет ко вчерашней работе, а так, вспомнил ненароком, что делал что-то... Это направленное, но еще блуждающее внимание. Не торопясь ты пьешь чай, все глубже и глубже задумываясь с каждым глотком какой-то неопределенной и беспредметной мыслью, ощупью и лениво ищущей неизвестно что в полном тумане. И вдруг невесть с чего, как зрак, мелькнет в этом тумане первая ответная мысль, слабая и неверная, которой придется затем посторониться, но, мелькнув, она покажет, где искать дальше. Теперь уж близко, ты переходишь, прихватив с собой кружку с чаем, с одного стола за другой, ты для порядка просматриваешь еще старую, сделанную работу, а в тебе нетерпеливо начинает звучать продолжение.

Ничего похожего на этот раз у меня не было. Я даже двигался с усилием. Чай пил, как всегда, с удовольствием, но он нисколько не помог мне и не взбодрил, беспричинная холодная тяжесть и не собиралась отступать. Из упрямства я подсел все-таки к столу с бумагами, но это было все равно что слепому смотреть в бинокль: ни единого проблеска впереди, сплошь серая плотная стена. Полным истуканом, с

кирпичом вместо головы, просидел я полчаса и, до последней степени возненавидев себя, поднялся.

Что-то как бы пискнуло со злорадством за моей спиной, когда я отходил от стола…

* * *

Не находя себе места, я двигался бесцельно и бестолково — то выйду во двор и вслушиваюсь и всматриваюсь во что-то, сам не зная, во что, то вернусь снова в избу и встану, истязая себя, подле горячей печки, пока не станет до дурноты жарко, и опять на улицу. Помню, я все пытался понять, как, откуда набралась столь полная, древняя тишина, хотя прежней, утренней тишины уже не было — уже стучало что-то время от времени на сухогрузе, командовал где-то над водой в мегафон крепкий, привыкший командовать, голос, два или три раза прострочил мимо мотоцикл. Но глуше и мягче становилось в воздухе, словно укрывался, пытаясь запахнуться в себе от чужого простора день, и глохли, увязали в плотном воздухе звуки, доносясь до слуха слабо и уныло.

Промаявшись так, наверное, с час и чувствуя, что облегчения не найти, я закрыл избу и пошел куда глаза глядят. И верно, как по выходе из калитки смотрелось, туда и пошел по выбитой рядом с рельсами сухой тропке и в минуту ушел далеко за поселок, в те звонкие по берегу Байкала и радостные места, которые бывают звонкими, радостными и полновидными в любую погоду и летом, и зимой, и в солнце, и в ненастье. Но даже и здесь теперь почти осязаемо чувствовалось, как все ниже и ниже опускается день и как плотнее сходится он с краев. На Байкале без ветра не бывает, это как дыхание — то спокойное, ровное, то посильней, а то во всю моченьку, когда успевай только прятаться куда ни попало… и теперь дул ветерок, но словно бы не

сквозной, словно бы все пытающийся разогнаться и все-таки застревающий… Солнце сморилось окончательно и затухало уже и в воздухе. Байкал лежал в сплошной и густой синеве.

Я постоял на берегу, выбирая без всякого желания, спуститься ли к воде, или подняться в гору, и оттого, что спуск к воде был здесь пологим, легким, а гора крутая, как и везде почти, из страха перед Байкалом торопливо вставшая во весь рост, оттого, что здесь она казалась особенно крутой, я начал подыматься в нее, стараясь дышать под шаг, чтобы растянуть дыхание на отрезок горы побольше. По голому каменному крутяку, переполошив каменную мелочь, я выбрался на траву, длинными и белыми космами выбивающуюся из-под редкой еще и тоже белой земли, и оглянулся. Надо мной кружилось низкое, склоненное широким краем к Байкалу небо — какое-то совсем бесцветное и выгоревшее, для чего-то разом из конца в конец приготовляемое и еще не готовое. Ветер на высоте был посвежей, но от камней и от земли несло сухим и глубинным, словно тоже для чего-то торопливо отдаваемым теплом. Я пошел дальше и за следующий переход выбрался на изломанную и узкую длинную поляну, которая прибиралась в сенокос, — сено с нее давно было спущено и увезено, и она в своей сиротливой и праздничной ухоженности лежала как-то уж очень грустно и одиноко. Пожалев ее, я сел здесь на камень и стал смотреть вниз.

Медленно и беззвучно продолжало кружиться небо, снижаясь все ближе и ближе и набираясь сухо-дымчатой безоблачной плоти. За горой, за редкими на вершине деревьями его уже не было, там зияла серая и неприятная пустота, все небо стянулось и стало над Байкалом, точь-в-точь повторяя и цвет его, и форму. Но теперь и вода в Байкале, подчиняясь небу, начала движение медленными и правильными, не

выплескиваясь на берег, кругами, будто кто-то, как в чане, размешал ее и оставил затихать.

Они закружили меня. Скоро я уже плохо понимал, что я, где я и зачем я здесь, и понимание этого было мне не нужно. Многое из того, что заботило меня еще и вчера и сегодня и представлялось важным, было теперь не нужно и отошло от меня, с такой легкостью, точно в каком-то определенном порядке обновления это стало неизбежным и для этого подступил свой черед. Но это было и не обновление, а что-то иное, что-то совершающееся в большом, широко и высоко от меня отстоящем мире, внутри которого я очутился совершенно случайно и таинственное движение которого ненароком захватило и меня. Я чувствовал приятную освобожденность от недавней, так мучившей меня болезненной тяжести, ее не стало во мне вовсе, я точно приподнялся и расправился в себе и, примериваясь, знал каким-то образом, что это еще не полная освобожденность и что дальше станет еще лучше.

Я сидел не шевелясь, с рассеянной, как бы ожидающей особенного момента, значительностью глядя перед собой на темное зарево Байкала, и слушал поднимающееся из глубины, как из опрокинутого, направленного в небо колокола, гудение. Тревога и беспокойство слышались в нем в движении, — или они затихали, или, напротив, набирали силу — мне не дано было понять: тот миг, за который они родились, растягивался для меня в долгое и однозвучное существование. И не дано было понять мне, чья была сила, чья власть — неба над водой или воды над небом, но то, что они находились в живом и вышнем подчинении друг другу, я увидел совершенно ясно. В вышнем — для чего, над чем? Где, в какой стороне высота и в какой глубина? И где меж ними граница? Где, в каком из этих равных просторов сознание,

ведающее простую из простых, но недоступную нам тайну мира, в котором мы остановились.

Конечно, вопросы эти были напрасны. На них не только нельзя ответить, но их нельзя и задавать. И для вопросов существуют границы, за которые не следует переходить. Это то же самое, что небо и вода, небо и земля, находящиеся в вечном продолжении и подчинении друг к другу, и что из них вопрос и что ответ? Мы можем, из последних сил подступив, лишь замереть в бессилии перед неизъяснимостью наших понятий и недоступностью соседних пределов, но переступить их и подать оттуда пусть слабый совсем и случайный голос нам не позволится. Знай сверчок свой шесток.

Я тщился и размышлять еще, и слушать, но все больше и больше и сознание, и чувства, и зрение, и слух приятной подавленностью меркли во мне, отдаляясь в какое-то общее чувствилище. И все тише становилось во мне, все покойней и покойней. Я не ощущал себя вовсе, всякие внутренние движения сошли из меня, но я продолжал замечать все, что происходило вокруг, сразу все и далеко вокруг, но только замечать. Я словно бы соединился с единым для всего чувствилищем и остался в нем. Ни неба я не видел, ни воды и ни земли, а в пустынном светоносном миру висела и уходила в горизонтальную даль незримая дорога, по которой то быстрее, то тише проносились голоса. Лишь по их звучанию и можно было определить, что дорога существует, — с одной стороны они возникали и в другую уносились. И странно, что, приближаясь, они звучали совсем по-другому, чем удаляясь: до меня в них слышались согласие и счастливая до самозабвения вера, а после меня почти ропот. Что-то во мне не нравилось им, против чего-то они возражали. Я же, напротив, с каждым мгновением чувствовал себя все приятней и легче, и по мере того как мне становилось

легче, затихали и выходящие голоса. Я уже готовился и знал каким-то образом, что тоже помчусь скоро, как только буду готов, как только она откроется передо мной в яви, по этой очистительной дороге, и мне не терпелось помчаться. Я словно бы нестерпимый зов слышал с той стороны, куда уходила дорога.

Потом я очнулся и увидел, что перед глазами моими, качаясь, висит одинокая паутинка. Воздух гудел все теми же голосами (я еще не потерял способности их слышать), творившими вокруг меня прощальный наставительный хоровод. Я сидел совсем в другом месте и, судя по берегу Байкала, далеко от прежнего. Рядом со мной три березки грустно играли, точно ворожили, сбрасываемыми листочками. Воздух совсем замер; в такой вот неподвижности, когда все предоставлено, кажется, только себе, и отлетает, отмирает более, чем под ветром, чему положено отмереть; это покой осторожного вышнего присутствия, собирающего урожай. Как радостно, должно быть, вольной и заказанной душе умереть осенью, в светлый час, когда открываются просторы!..

И снова, придя в себя, я обнаружил, что нахожусь далеко и от последнего места с березками. Байкала видно не было — значит, я успел перевалить через гору и по обратной стороне спуститься чуть не до конца. Смеркалось. Я стоял на ногах — или только что подошел, или поднялся, чтобы идти дальше. А как, откуда шел, почему шел сюда — не помнил. Где-то внизу шумела в камнях речка, и по шуму ее, бойкому и прерывисто-слитному, я, не видя речки, увидел, как она бежит — где и куда поворачивает, где бьется о какие камни и где, вздрагивая пенистыми бурунами, ненадолго затихает. Я нисколько этому зрению не удивился, точно так и должно было быть. Но это не все: я вдруг увидел, как поднимаюсь со своего прежнего места возле березок и направляюсь в гору. Я продолжал

стоять там же, где обнаружил себя, для верности ухватившись рукой за торчащий от упавшей лиственницы толстый сук, и одновременно шел, шаг за шагом, взгляд за взглядом, выбирая удобную тропку; я ощущал в себе каждое движение и слышал каждый свой вздох. Наконец я приблизился к тому месту, где стоял возле упавшей лиственницы, и слился с собой. Но и этому я ничуть не удивился, точно и это должно было быть именно так, лишь почувствовал в себе какую-то излишнюю сытость, мешающую свободно дышать. И тут, полностью соединившись с собой, я вспомнил о доме.

Было уже совсем темно, когда я подошел к своей избушке. Ноги едва держали меня — видать, все переходы, памятные и беспамятные, совершались все-таки на ногах. Возле ключика я отыскал в траве банку и подставил ее под струю. И долго пил, окончательно возвращаясь в себя — каким я был вчера и стану завтра. В избу идти не хотелось, я сел на чурбан и, замерев от усталости и какой-то особенной душевной наполненности, слился с темнотой, неподвижностью и тишиной позднего вечера.

Темнота все сгущалась и сгущалась, воздух тяжелел, резко и горько пахло отсыревшей землей. Я сидел и размягченно смотрел, как миликает напротив на ряжах красным светом маленький маячок, и слушал доносимые ключиком бессвязные, обессловленные голоса моих умерших друзей, до изнеможения пытающихся что-то сказать мне…

Господи, поверь в нас: мы одиноки.

* * *

Среди ночи я проснулся от стука дождя по сухой крыше, с удовольствием подумал, что вот и дождь, как подготовлялось и ожидалось весь день, наладился, и

все же невесть с чего опять почувствовал в себе такую тоску и такую печаль, что едва удержался, чтобы не подняться и не заметаться по избенке. Дождь пошел чаще и глуше, и под шум его я так с тоской и уснул, даже и во сне страдая от нее и там понимая, что страдаю. И во всю оставшуюся ночь мне слышалось, будто раз за разом громко и требовательно каркает ворона, и чудилось, будто она ходит по завалинке перед окнами и стучит клювом в закрытые ставни.

И верно, я проснулся от крика вороны. Утро было серое и мокрое, дождь шел не переставая, с деревьев обрывались крупные и белые, как снег, капли. Не разжигая печки, я оделся и направился в диспетчерскую порта, откуда можно было позвонить в город. Мне долго не удавалось соединиться, телефон подключался и тут же обрывался, а когда я наконец дозвонился, из дому мне сказали, что дочь еще вчера слегла и лежит с высокой температурой.

ЖЕНСКИЙ РАЗГОВОР

В деревне у бабушки посреди зимы Вика оказалась не по своей доброй воле. В шестнадцать годочков пришлось делать аборт. Связалась с компанией, а с компанией хоть к лешему на рога. Бросила школу, стала пропадать из дому, закрутилась, закрутилась... пока хватились, выхватили из карусели уже наживленная, уже караул кричи. Дали неделю после больницы отлежаться, а потом запряг отец свою старенькую "Ниву", и, пока не опомнилась, к бабушке на высылку, на перевоспитание. И вот второй месяц перевоспитывается, мается: подружек не ищет, телевизора у бабушки нет - сбегает за хлебом, занесет в

избу дров-воды и в кровать за книжку. Темнеет мартовским вечером в восьмом часу, а электричество... прошли те времена, когда электричество всякую минуту было под рукой. Сковырнули за-ради него ангарские деревни, свалили как попало в одну кучу, затопили поля и луга, порушили вековечный порядок - все за-ради электричества, а им-то и обнесли ангарские деревни, пустив провода далеко в стороне. Выгоняли его при старых порядках для местных нужд из солярки, а солярка теперь сделалась золотой, требует прорвы денег. Утром посветят, чтобы на работу отправить, а вечером - не всегда... Наталья по-старушечьи укладывается рано, вслед за солнышком; Вика поскрипит-поскрипит на продавленной пружинной кровати и тоже затихнет.

Девка она рослая, налитая, по виду - вправду в бабы отдавай, но умишко детский, несозревший, голова отстает. Все еще по привычке задает вопросы там, где пора бы с ответами жить. И вялая, то ли с ленцой, то ли с холодцой. Скажешь - сделает, не скажешь - не догадается. Затаенная какая-то девка, тихоомутная. Распахнутые серые глаза на крупном смуглом лице смотрят подолгу и без прищура, а видят ли они что - не понять.

В этот вечер не спалось. Бывает же так: как из природы томление находит, как неоконченное что-то, зацепившееся не дает отпущения ко сну. Вздыхала, ворочалась Наталья; постанывала, крутилась Вика. То принималась играть с котенком, то сбрасывала его на пол. За беленькими тонкими занавесками в двух окнах, глядящих на Ангару, мерцал под ранним месяцем ранний вечер. Сбилось со своего сияния электричество - и опять увидели небо, запотягивались, как всякая Божья тварка, за солнышком, стали замечать, когда скобочка молодого месяца, когда полная луна.

День отстоял на славу - солнечный, яркий, искристо играли тугие снега, берущиеся в наст, звенькало из первых сосулек, загорчил первым подтаем воздух. За Ангарой после заката долго горело растекающееся зарево и долго томилось, впитываясь внутрь, долго потом уже новым, не зимним, мягким пологом лежала по белому полю нежная синева. Но еще до темноты взошло и разгорелось звездное небо с юным месяцем во главе и пролился на землю капельный, росистый сухой свет.

Нет, не брал сон, ни в какую не брал. Истомившись, бабушка и внучка продолжали переговариваться. Днем Наталья получила письмо от сына. Викиного отца. Читала Вика: собирается отец быть с досмотром. Из-за письма-то, должно быть, и не могло сморить ни одну, ни другую.

- Уеду, - еще днем нацелилась Вика и теперь повторила: - Уеду с ним. Больше не останусь.

- Надоело, выходит, со мной, со старухой?

- А-а, все надоело...

- Ишо жить не начала, а уж все надоело. Что это вы такие расхлябы без интереса к жизни?

- Почему без интереса? - то ли утомленно, то ли раздраженно отозвалась Вика. - Интерес есть...

- Интерес есть - скорей бы съесть. Только-только в дверку скребутся, где люди живут, а уж - надоело!.. В дырку замочную разглядели, что не так живут... не по той моде. А по своей-то моде... ну и что - хорошо выходит?

- Надоело. Спи, бабуля.

- Так ежели бы уснулось... - Наталья завздыхала, завздыхала. - Ну и что? - не отступила она. - Не тошно теперь?

- Тошно. Да что тошно-то? - вдруг спохватилась Вика и села в кровати. - Что?

- Ты говоришь: уедешь, - отвечала Наталья, - а мы с тобой ни разу и не поговорили. Не сказала ты мне: еройство у тебя это было али грех? Как ты сама-то на себя смотришь? Такую потрату на себя приняла!

- Да не это теперь, не это!.. Что ты мне свою старину! Проходили!

- Куда проходили?

- В первом классе проходили. Все теперь не так. Сейчас важно, чтобы женщина была лидер.

- Это кто ж такая? - Наталья от удивления стала подскребаться к подушке и облокотилась на нее, чтобы лучше видеть и слышать Вику.

- Не знаешь, кто такая лидер? Ну, бабушка, тебе хоть снова жить начинай. Лидер - это она ни от кого не зависит, а от нее все зависят. Все бегают за ней, обойтись без нее не могут.

- А живет-то она со своим мужиком, нет? - Все равно ничего не понять, но хоть это-то понять Наталье надо было.

Вика споткнулась в растерянности:

- Когда ка-ак... Это не обязательно.

- Ну, прямо совсем полная воля. Как у собак. Господи! - просто, как через стенку, обратилась Наталья, не натягивая голоса. - Ох-ох-ох тут у нас. Прямо ох-ох-ох...

Вика взвизгнула: котенок оцарапал ей палец и пулей метнулся сквозь прутчатую спинку кровати на сундук и там, выпластавшись, затаился. Слышно было, как Вика, причмокивая, отсасывает кровь.

- А почему говорят: целомудрие? - спросила вдруг она. - Какое там мудрие? Ты слышишь, бабушка?

- Слышу. Это не про вас.

- А ты скажи.

- Самое мудрие, - сердито начала Наталья. - С умом штанишки не скидывают. - Она умолкла: продолжать, не продолжать? Но рядом совсем было то, что могла она

сказать, искать не надо. Пусть слышит девчонка - кто еще об этом ей скажет. - К нему прижаться потом надо, к родному-то мужику, к суженому-то. - И подчеркнула "родного" и "суженого", поставила на подобающее место. - Прижаться надо, поплакать сладкими слезьми. А как иначе: все честь по чести, по закону, по сговору. А не по обнюшке. Вся тута, как Божий сосуд: пей, муженек, для тебя налита. Для тебя взросла, всюю себя по капельке, по зернышку для тебя сневестила. Потронься: какая лаская, да чистая, да звонкая, без единой без трещинки, какая белая, да глядистая, да сладкая! Божья сласть, по благословению. Свой, он и есть свой. И запах свой, и голос, и приласка не грубая, как раз по тебе. Все у него для тебя приготовлено, нигде не растеряно. А у тебя для него. Все так приготовлено, чтоб перелиться друг в дружку, засладить, заквасить собой на всю жизню.

- Что это ты в рифму-то?! Как заучила! - перебила Вика.

- Что в склад? Не знаю... под душу завсегда поется.

- Как будто раньше не было таких... кто не в первый раз.

- Были, как не были. И девьи детки были.

- Как это?

- Кто в девичестве принес. Необмуженная. До сроку. Были, были, Вихтория, внученька ты моя бедовая, - с истомой, освобождая грудь, шумно вздохнула Наталья. - Были такие нетерпии. И взамуж потом выходили. А бывало, что и жили хорошо в замужестве. Но ты-то с лежи супружьей поднялась искриночкой, звездочкой, чтоб ходить и без никакой крадучи светить. Ты хозяйка там, сариса. К тебе просются, а не ты просишься ради Бога. А она - со страхом идёт, со скорбию. Чуть что не так - вспомнится ей, выкорится, что надкушенную взял. Будь она самая добрая баба, а раскол в ей, терния...

- Трения?

- И трения, и терния. Это уж надо сразу при сговоре не таиться: я такая, был грех. Есть добрые мужики...

- Ой, да кто сейчас на это смотрит, - с раздражением отвечала Вика и заскрипела кроватью.

- Ну, ежели не смотрите - ваше дело. Теперь все ваше дело, нашего дела не осталось. Тебе лучше знать.

И - замолчали, каждая со своей правдой. А какая у девчонки правда? Упрямится, и только. Как и во всяком недозрелом плоду кислоты много.

За окном просквозил мотоцикл с оглушительным ревом, кто-то встречь ему крикнул. И опять тихо. Наталья бочком подъелозилась к спинке кровати и отвела рукой занавеску. Еще светлее стало в спальне - отцеженным, слюдянистым светом.

- Зачем ты? Закрой! - встревоженно встрепенулась Вика.

Тонко, из звездной волосинки назревший, висел месяц. И скрадывал - где еще звездочка зазевалась. Полнится каждую ночь, полнится, пока не наберется в круглую сытую луну. Избы на другой стороне улицы стояли придавленно и завороженно - ни дымка, ни огонька, ни звука. Снежные шапки на крышах, подтаявшие за день, сидели набекрень и леденисто взблескивали под могучим дыханием неба. Такое там царило безлюдье, такая немота и такой холод, так искрилось небо над оцепеневшею землей и такой бедной, сиротливой показалась земля, что Наталье стало не по себе. Опустив занавеску и уползая под одеяло, она прошептала:

- Господи помилуй...

- Что там, бабушка? - не поняла Вика.

- Везде там, внученька, Господи помилуй...

- Ты что - больше ничего не видела?

- Нет. Спи.

Не сразу, через молчание, через вздохи, совсем по-бабьи:

- А у вас как с дедушкой было?

Наталья далеко была, не поняла:

- С дедушкой? Что было?

- Ну, как в первый раз сходились? Или ты забыла?

Наталья вздохнула так, что показалось - поднялась с кровати. Пришлось во-он откуда возвращаться, чтобы собраться с памятью. И сказала без радости, без чувства:

- Мы невенчанные легли. Это уж хорошего мало. Повенчаться к той поре негде было, церквы посбивали. Взяла я под крылышко свои восемнадцать годочков, перешила старое платье под новое - вот и вся невеста. Год голодный стоял. Выходили в деревне и в шестнадцать годочков, как тебе... Так выходили доспевать в мужних руках, под прибором... - Наталья сбилась и умолкла.

- Ну и что с дедушкой-то? - настаивала Вика.

- А что с дедушкой... Жили и жили до самой войны. У нас в заводе не было, чтоб нежности друг дружке говорить. Взгляда хватало, прикасанья. Я его до каждой чутельки знала.

- У вас и способов не было...

- Чего это? - слабо удивилась Наталья. - Ты, Вихтория, не рожала... Как пойдет дитенок, волчица и та в разум возьмет, как ему помогчи. Без дохторов, без книжек. Бабки и дедки из глубоких глубин укажут. У людей пожеланье, угаданье друг к дружке должно быть. Как любиться, обзаимность учит. Тяготение такое. У бабы завсегда: встронь один секрет, а под ним еще двадцать пять. А она и сама про них знать не знала.

- Это правильно, - подтвердила Вика. А уж что подтверждала - надо было догадываться. - Женщина теперь сильнее. Она вообще на первый план выходит.

- Да не надо сильнее. Надо любее. Любее любой.

- Бабушка, ты опять отстала, ты по старым понятиям живешь. Женщина сейчас ценится... та женщина ценится, которая целе-устремленная.

- Куда стреленная?

- Не стреленная. Целе-устремленная. Понимаешь?

- Рот разинешь, - кивала Наталья, - так и стрелют, в самую цель. Об чем я с тобой всю ночь и толкую. Такие меткачи пошли.

Вика с досады саданула ногой по спинке кровати и ушибла ногу, утянула ее под одеяло.

- Ты совсем, что ли, безграмотная? - охала она.- Почему не понимаешь-то? Целе-устремленная - это значит, идет к цели. Поставит перед собой цель и добивается. А чтобы добиться, надо такой характер иметь... сильный.

Устраиваясь удобнее, расшевелив голосистые пружины кровати, Наталья замолчала.

- Ну и что, - сказала потом она. - И такие были. Самые разнесчастные бабы. Это собака такая есть, гончая порода называется. Поджарая, вытянутая, морда вострая. Дадут ей на обнюшку эту, цель-то, она и взовьется. И гонит, и гонит, свету невзвидя, и гонит, и гонит. Покуль сама из себя не выскочит. Глядь: хвост в стороне, нос в стороне и ничегошеньки вместе.

- Бабушка, ну ты и артистка! При чем здесь гончая? И где ты видала гончую? У вас ее здесь быть не может.

- По тиливизиру видала, - смиренно отвечала Наталья. - К Наде, к соседке, когда схожу вечером на чай, у ней тиливизир. Все-то-все кажет. Такой проказливый, прямо беда.

- И гончую там видала?

- И гончую, и эту, про которую ты говоришь, целе-устреленную... Как есть гончая на задних лапах. Ни кожи ни рожи. Выдохнется при такой гоньбе кому она нужна? Нет, Вихтория, не завидуй. Баба своей бабьей

породы должна быть. У тебя тела хорошая, сдобная. Доброе сердце любит такую телу.

- Все не о том ты, - задумчиво отвечала Вика. - Все теперь не так.

Котенок спрыгнул с ее кровати, выгибая спинку, с поднятым хвостом вышагал на середину комнаты и, пригнув голову, уставился на окно, за которым поверх занавески играло ночное яркое небо. Звездный натек застлал всю комнату, чуть пригашая углы, и в нем хорошо было видно, как котенок поворачивает мордочку то к одному окну, то к другому, видна была вздыбившаяся пепельная шерстка и то, как он пятится, как неслышно бежит в кухню.

"Не о том, - согласилась с внучкой Наталья. - Хочешь не хочешь, а надо сознаваться: все тепери не так. На холодный ветер, как собачонку, выгнали человека, и гонит его какая-то сила, гонит, никак не даст остановиться. Самая жизнь гончей породы. А он уж и привык, ему другого и не надо. Только на бегу и кажется ему, что он живет. А как остановится - страшно. Видно, как все кругом перекошено, перекручено..."

- Тебя об одном спрашиваешь, ты о другом, - с обидой сказала Вика, не отставая: что-то зацепило ее в этом разговоре, чем-то ей хотелось успокоить себя.

- Про дедушку-то? - вспомнила Наталья. - Ну так а что про дедушку. Твой-то дедушка и не тот был, с которым я до войны жила...

- Как не тот? - поразилась Вика.

- Ну, а как ему быть тому, если того на войне убили, а твой отец опосле войны рожденный? Ни того ни другого давно уж нету, но сначала-то был один, а уж потом другой. Сначала Николай был, мы с ним эту избенку, как сошлись и отделились от стариков, в лето поставили. Здесь дядья твои Степан да Василий родились, Николаевичи. Отсюда он, первый-то дедушка,

на войну ушел. А второго дедушку, твоего-то, он же, Николай, мне сюда послал.

- Как сюда послал? Ты что говоришь-то, бабушка? - Вика рванула кровать, как гармонь, и уселась, наваливаясь на спинку и подбивая под себя подушку. - Ты расскажи.

Что делать: заговорила - надо рассказывать. Наталья подозревала, что младшие ее внуки мало что знают о ней. Одного совсем не привозили в деревню, Вика же была здесь лет пять назад, и неизвестно, когда приехала бы снова, когда бы не эта история. Знают только: деревенская бабушка; вторая бабушка была городской. Подозревают, что деревенской бабушке полагался деревенский дедушка, но его так давно не было, что о нем и не вспоминали. Легче было вспоминать того, первого, о нем хоть слава осталась: погиб на фронте.

- Как он мог прислать, если он погиб? - И голос звонче сделался у Вики, выдавая нетерпение, и кровать под нею наигрывала не переставая. - И как это вообще можно прислать?

- Вот так, - подтвердила Наталья и покивала себе. - Чего только в жизни не состроится. Ко мне Дуся на чай ходит... знаешь Дусю?

- Ну.

- Она опосле войны у родной сестры мужика отбила. У старшей сестры, у той уж двое ребятишек было, а не посмотрела ни на что, увела. Мужик смиренный, а взыграл, поддался. Та была путная баба, а у Дуси все мимо рук, все поперек дела. Ни ребятишек не родила, ни по хозяйству прибраться... охальница, рюмочница... Ну, как нарочно, одно к одному. И терпел мужик, сам стряпал, сам корову доил. Теперь уж и его нет, и сестры не стало, а Дуся к тем же ребятам, которых она без отца оставила, ездит в город родниться, помочь от них берет. Приходит позавчера ко мне: "Наталья, я в городу

была, окрестилася. Потеперь спасаюсь". - "Тебе спасаться до-ол-гонько надо, говорю ей. - Не андел".

- Бабушка! - вскричала Вика. - Тебя куда опять понесло? Мне неинтересно про твою Дусю, ты про себя, про себя. Про второго дедушку.

- Ворочаюсь, ворочаюсь, - согласилась Наталья, вздыхая. - Я тоже стала - куда понесет. Ну, слушай. С Николаем я прожила шесть годов. Хорошо жили. Он был мужик твердый. Твердый, но не упрямый... ежели где моя права, он понимал. За ним легко было жить. Знаешь, что и на столе будет, и во дворе, и справа для ребятишек. Меня, если по-ранешному говорить, любил. Остановит другой раз глаза и смотрит на меня, хорошо так смотрит... А я уж замечу и ну перед ним показ устраивать, молодой-то было чем похвалиться.

- И чем ты хвалилась?

- А своим. Все своим. Чем еще? Работой я в ту пору не избита была, из себя аккуратная, улыбистая. Во мне солнышко любило играть, я уж про себя это знала и набиралась солнышка побольше. Потом-то отыгра-ало! - протянула она, проводя границу. - Потом все. Сразу затмение зашло. Отревела опосле похоронки, пообгляделась, с чем осталась... Двое ребятишек, одному пять годков, другому три. А младшенький еще и слабенький, никак в тело не мог войти, ручки-ножки как прутики...

- А папы, значит, тогда еще не было? - пробовала Вика спрямить бабушкин рассказ.

- Папы твово не было. Он из другого замеса. Похоронку на Николая принесли зимой, вскорости война кончилась, а осенью, как поля подобрали, прихожу повечеру домой, какой-то мужик на бревнышках под окошками сидит. В шинельке в военной, в сапогах. Меня увидал - поднялся. Я, говорит, вместе с вашим мужем воевал и был при нем, когда он от раны смертельной

помер. Я, говорит, писал вам, как было... получали мое письмо?

Письмо такое было, оно и потеперь у меня в сохранности. Зашли мы в избу, давай я чай гоношить. А сама все оглядываюсь на него, все думаю: зачем приехал? И ехать неблизко, из-под самого из-под Урала, гора поперек земли так называется. Как снял шинельку - худой, длинный, шея колышком стоит, руки-ноги, как у мальчонки мово, у Васьки, болтаются. По всему видать, досталось солдатику. Один раз был раненый и другой раз контуженый. Контузия получилась хужей раны, он никак не мог ее в до-кончательности снять.

- Ну и что? - не выдержала Вика. - Вы пили чай, и он сказал, что его прислал первый дедушка вместо себя?

- Не егози, - одернула ее Наталья. - Это у вас - раз, и готово. В первый день он только и сказал, что дал Николаю слово проведать нас. Я отвела его ночевать к старикам. Ты по воду ходишь по заулку... третья изба по правую руку на углу, совсем уж старенькая, под тесовой крышей... это наш был дом, у меня там отец с матерью жили. Ну, и я там жила, покуль мы с Николаем здесь не построились. Отвела я его туда, забрала ребятишек... они, ребятишки, когда я на работе, у стариков оставались. Он ребятишкам гостинцы дал, по большому куску сахару. Приметила, как уходила: отец за-ради такого гостя из запасу бутылку достал, а он пить не стал. Мне, говорит, контузия не позволяет.

Набираясь сил, Наталья придержала рассказ. Тишина стояла такая, что словно бы потрескивание звездочек доносилось с неба тонким сухим шуршанием. Спущенная с постели, болтающаяся рука Вики виделась несоразмерно большой и неестественно белой, окостеневшей. И уже не из левого, а из правого окошка смотрел на Вику запрокидывающийся серпик месяца.

- На другой день он пришел с утра, - без подталкивания продолжила Наталья. - Я, говорит, вчера

не все сказал. Его Семеном звали, твой отец Семенович. Прошу, говорит, меня выслушать до конца и не удивляться, а дать свою волю. Я так и закаменела, в голову что ударило: живой, думаю, Николай, но сильно покалеченный и боится показаться. А он говорит... он вот какую страсть говорит. Будто просил Николай придти ко мне и передать его пожеланию. Сильно, мол, любил он меня и дал мне перед смертью вольную от себя. Какую вольную? Выдти за другого. Стоит в шинельке, я его и раздеться не позвала, голова дергается... это у него от контузии... как за нервы заденет, голову поддергивает... не так чтоб сильно, но заметно. И говорит... Мне, говорит, Николай сказал, что нигде, во всем белом свете не найду я бабу лучше и добрей, чем ты. А тебе от него завещание, что будет тебе со мной хорошо. Вот такая смертная воля. Я так и села...

- Но тебе же приятно было, что он тебе предложение сделал? - спросила Вика, неумело подтрунивая.

Наталья не стала отвечать.

- "И ты за-ради этого поехал?" - спрашиваю его. "Поехал". - "Отец, мать есть у тебя?" - "Мать померла, отец есть". - "Что это за приказания такая, что от отца, от братьев, поди, от сестер пошел неведомо куда и про родню забыл?" - Молчит. - "Что за приказания такая лютая?" - "Что в ней, говорит, - лютого? Ты Николая любила, а я ему верил. Я тебя не знал, ты меня не знала, а он знал и тебя, и меня. Он бы зря не стал нас сводить". "Не-ет, ты голову, - говорю, - на место поставь и подумай: на что тебе брать чужую бабу с хвостами, когда теперь молодых девок невпересчет? На что? Во мне уж теперь ни одной сочинки для любовей не осталось, я тебе совсем даже негожая. Я, поди, старше тебя". - Стала спрашивать про годы так и есть, на три годочка я старше. - "Ты, видно, - говорю, - хороший

человек, Николай плохого не подослал бы, но я твою милость принять не могу. Уходи, уезжай". Он постоял, постоял и ушел.

- Ушел?! - поразилась Вика. - Как ушел? Откуда же он потом взялся?

- Ушел, уехал,- подтвердила Наталья ровным голосом и перевела дух. - А недели через три или там через сколько, снег уж лег, с торбой обратно. Это он на зиму одежу привез. Ко мне не зашел, встал на постой у моих стариков. Прямо родня. Начал ходить на колхозную работу. Я на него не гляжу, будто его и нету, и он не глядит, будто не из-за меня воротился.

Вика опять не удержалась:

- Ну, бабушка, какие же вы раньше были забавные! А ты уж его полюбила, да?

- Да какая любовь?!

- У вас что - и любви в то время по второму разу не было?

- Слушай, - с досадой отвечала Наталья, недовольная, что ее перебивают, как ей казалось, глупостью. - Любовь была, как не быть, да другая, ранешная, она куски, как побирушка, не собирала. Я как думала: неровня он мне. Зачем мне себя травить, его дурить, зачем людей смешить, если никакая мы не пара? На побывку к себе брать не хотела, это не для меня, а для жизни устоятельной ровня нужна.

Наталья замолчала. Все-таки сбилась она с рассказа, потеряла нитку, которую тянула, и теперь словно бы нашаривала ее, перебирая торчащие прихваты.

- Ну, живет, - повздыхав, повела она дальше. - Ребятишки там, у стариков, и он там. Стал их к себе приучать. Они уж и домой не идут. Сам же и приведет, уговорит, что до завтрашнего только дня расстаются, а со мной разговор самый посторонний. Борьба у нас пошла - кто кого переборет. Я упористая, и он на войне

закаленный. Вижу, он мою же силу супротив меня сколотил: ребятишки души в нем не чают, а там и старики его сторону взяли. Особливо мать. Пошло на меня нажимание со всех сторон. Бабы в деревне корят: дура да дура. А сам вроде и ни при чем, даже и не подступает.

Вика рассмеялась:

- А тебе уже обидно, что не подступает. Ты уж ревнуешь...

- Я не ревную, а обложили. Это бы ладно, это бы я выдюжила, я баба крепостная...

- С чего ты крепостная? Крепостные при царе были. Крепкая, что ли, ты хотела сказать?

- Я любой приступ бы выдюжила, это мне нипочем, - повторила Наталья не без похвальбы. - Но я говорю: он был контуженый, больной. А контузия такая: ляжет - и весь свет ему не мил. Не слышит ниче и не видит, глаза страхом каким-то зайдутся. Койни-как оторвет себя от кровати, встанет, а идти не может. Потом опять ниче. Ну, вот. Смотрела я, смотрела и высмотрела, что это я ему нужна, что без меня он долго не протянет.

- И ты его за это полюбила?

- Что ты все: полюбила, полюбила... - без раздражения, спокойно ответила Наталья. - Это уж вы любитесь, покуль сердце горячее. А я через сколько-то месяцев, это уж вода побежала по весне, смирилась и позвала его. Без всяких любовей. Чему быть, того не миновать. Он пришел и стал за хозяина. Семь годов мы с ним прожили душа в душу, дай-то Бог так кажному. И в год потом загас. Не жилец он был на белом свете, я это знала. Но мне и семь годов хватило на всю остатную жизню.

- Он что - лучше был первого дедушки? - спросила Вика, уже теряя интерес и сползая в постель: история кончилась.

- Отшлепать бы тебя за такие разговоры, - слабо возмутилась Наталья. Так я тебе скажу, внученька. Я древляя старуха, столько годов прожила, что на две могилы хватит. Источилася вся от жизни. И отсюда, с высокой моей горушки, кажется мне: не два мужика у меня было, а один. В одного сошлось. На войну уходил такой, а воротился не такой. Ну, так, а что с войны и спрашивать? Война и есть война. Ты говоришь... молоденькая, без подумы говоришь... Когда он прикасался ко мне... струнку за стрункой перебирал, лепесток за лепестком. Чужой так не сумеет.

- Забавная ты, бабушка, - неопределенно сказала Вика и громко, со вкусом зевнула.

- Вот поживешь с мое, и даст тебе Бог такую же ночку поговорить со внукой. И скажет она тебе: забавная ты старуха. Не отказывайся: и ты будешь забавная. Куда деться? Ох, Вихтория, жизня - спаси и помилуй... Устою возьми. Без устои так тебя истреплет, что и концов не найдешь.

Наталья отлежала спину и со стоном повернулась на бок. Вика уже посапывала. Ее лицо, большое и белое, лежало на подушке в бледном венчике ночного света, склонившись чуть набок, на подставленную руку. Наталья вгляделась: нет, неспокойно засыпала девчонка - подергива-лись, одновременно вздрагивая, плечи, левая рука, ища гнезда, оглаживала живот, дыхание то принималось частить, то переходило в плавные неслышные гребки.

...С тихим звоном билась в стеклину звездная россыпь, с тихим плеском наплывал и холодно замирал свет. Стояла глубокая ночь, ни звука не доносилось из деревни. И только небо, разворачиваясь, все играло и играло мириадами острых вспышек, выписывая и предвещая своими огненными письменами завтрашнюю неотвратимость.

В БОЛЬНИЦЕ

На третью неделю после выписки с операции Алексей Петрович Носов почувствовал себя совсем плохо. Шла кровь, лекарства не помогали, он спустил ее в унитаз, должно быть, с полведра. Поликлиники Носов избегал, не зная, примут ли его в старой, которой он пользовался несколько лет с тех пор, как переехал в Москву, ибо с переменой власти и отменой персональных пенсий поликлиника перешла на обслуживание нового начальства и на платное для богачей. А от старого, смещенного начальства освобождалась. В том числе и от пенсионеров. Поэтому и тянул Алексей Петрович: в районную поликлинику он не успел перебраться, да и, признаться, боялся ее, а в прежней не хотел натолкнуться на неприятное: простите, вас у нас нет.

Он слабел, он чувствовал это. Поднимался с кровати и тут же искал стену, хватаясь за нее при неуверенном шаге, в низу живота появилась мозжащая, грызущая боль. Вслед за нею поднялась температура. И он сдался. Позвонил-таки в старую поликлинику урологу, с которым имел дело до операции, и неожиданно сердитым голосом сказал, что готов заплатить за прием, но идти ему больше некуда. «Ну что вы, — вздыхая, отвечал врач. — Конечно, приходите. Я и карточку вашу еще не сдал».

Идти было недалеко, но Алексей Петрович не отказался от помощи жены. Раз десять делали передышку, пока дотянули до богатого, с колоннами, старинного особняка поликлиники. Дальше, приняв от жены нагревшуюся от термоса сумку, он полез один. Не хотелось, чтобы при жене придирались к пропуску, не

хотелось, чтобы она суетилась объяснениями. Всякие объяснения теперь недействительны.

Потом, побывав у врача, он сидел в коридоре, на широком диване желтой кожи, поставив между ног кубастый китайский термос яркой расцветки, и пил, пил… Чтобы наполнить мочевой пузырь, выпить надо было много, не меньше двух литров. Чай заваривался с травками, был приятен и согревал не только теплом, но и запахами сухой степи. Он сидел как раз в углу коридора, расходящегося на две стороны, и видел оба его длинных конца, один из которых вел к парадной мраморной лестнице, застланной ковром, а другой уходил в пристрой, не менее роскошный, чем дворцовая часть. В коридоре не толклись у дверей, не шумели очереди, здесь каждому назначался для приема определенный час. И пышные ковры, и высокие потолки с широко раздвинутыми стенами, и большие окна топили и разносили запахи болезней, оставляя лишь запах казенной чистоты.

Операцию Носову делали в госпитале ветеранов войны. Алексей Петрович выбрал его сам. Выбрал, собственно, не госпиталь, а хирурга, как делают многие. Хирург оказался могучего сложения, с огромными, как ковши, руками, из бывших шахтеров. Принял он Алексея Петровича спокойно и равнодушно, но, посмотрев рентгеновские снимки, воодушевился. «Картинки», как он выразился, ему понравились. Тяжело и радостно ступая вперед-назад в узком проходе заставленного и заваленного кабинета, он наливал в маленькие фарфоровые чашки кипяток для кофе, а в большие — коньяк из пузатой, под самовар, бутылки с краником… а Алексей Петрович косился на его «ковши» и пытался представить инструмент, который бы в них не хрупнул и не затерялся в едва сгибающихся тяжелых пальцах.

— Мы сделаем сразу две операции, — мощно прихлебывая из большой чашки, объяснял хирург, снова и снова любуясь «картинками». — Тур и полостную. Вам объяснили, что такое тур. Транс-уретральная резекция. Это для аденомы. Введем инструмент через канал и все, что надо, вырежем и вычистим. Заодно в мочевом пузыре я сделаю с внешней стороны во-от такое окошечко, — он покрутил пальцем, и по взмаху руки окошечко выходило преизрядным. — Потом, чтобы вам не терять лишней крови, вскроем полость и уберем ваш дивертикул.

Этот проклятый дивертикул, от которого Алексей Петрович за последние полгода натерпелся вдоволь, и заставлял идти на операцию. Каких только напастей на человека ни наслано! Лишняя полость неизвестного происхождения, и звучит благородно, но терпеть ее дальше было невмочь. Одно утешало: если есть название — должно быть и лечение. Компьютер дал размеры этого «диверсанта», вычислил, сколько отсасывается в него из мочевого пузыря жидкости и сколько не сливается, застаиваясь и воспаляя полость. Дивертикул заставил Алексея Петровича на старости лет познакомиться с таким набором изощренных процедур, о применении которых к безвинному человеку нельзя было и подозревать.

Операция прошла удачно. Удачно для Алексея Петровича и блестяще, как он видел, для хирурга. По нескольку раз на дню он забегал в палату к Носову, был неизменно бодр, даже весел, доволен собой и, откидывая с больного одеяло, жадно всматривался в воспламененное и наполовину заклеенное пластырем «стыдное» место с тремя торчащими выводными трубками…

— Вы, оказывается, мастер по кроссвордам, — сообщил он сразу же, как только Алексея Петровича вернули из реанимации в палату.

— О чем это вы?

— Не помните? С анестезиологом занимались кроссвордом, пока я над вами трудился. Поэт этот… литовец… поэму «Человек» написал. Город в Северной Африке… Ловко так. Но когда полость вскрыл, тут уж пришлось поспать.

— Не помню.

После рентгена он заставил Алексея Петровича долго сидеть в холодном каменном коридоре — пока не принесли снимки. И в полутемном лифте, пока поднимались на десятый этаж, выставив против света черную бумагу с водянистым контуром чего-то безобразного, увесисто, не набивая себе цену, а подтверждая ее, сказал:

— Как новенький ваш пузырь. Видите? Неужели не видите? Как у ребенка.

И еще раз хирург приходил в нетерпении, в жажде получить очередной необходимый результат. Он вернулся после операции, про которую на вопрос Алексея Петровича отозвался по-пижонски: «фирма веники не вяжет». От него чуть слышно попахивало коньяком. По настороженным, нацеленным невесть на что глазам Алексей Петрович догадался, что предстоит какое-то важное действие.

— Загоните вы себя, — всматриваясь в него и зная, как много он работает, не удержался Алексей Петрович. — Загоните, а больных меньше не будет. И для них же хуже будет.

— У меня на прошлой неделе было… — и, опять показалось, с бравадой признался: — Зажало сердце — и ни туда ни сюда. Я уж взмолился: если ты есть, Бог, дай в какую-нибудь одну сторону, не держи.

— Вот видите.

Хирург решительно снял с Алексея Петровича одеяло, чуть подождал, вглядываясь, и с той же решимостью выдернул последнюю трубку — ту, по

которой из мочевого пузыря сливалась в целлофановый мешок по прозрачному тонкому шлангу жидкость. Алексей Петрович и ахнуть не успел.

— А если не пойдет? — не без испуга спросил он.

— Должна пойти. Сестра сейчас тут обработает. И пейте. Без меня не проверяйте.

Они вместе, спустя час, зашли в туалет — и, когда, разбрызгиваясь сквозь резь, вместе со сгустками крови выдернулась струя, хирург крякнул удовлетворенно, придвинул свое большое мужицкое лицо к узкому прямоугольнику зеркала на стене и оттуда, из зеркала, подмигнул Алексею Петровичу.

Больше Алексей Петрович был ему неинтересен.

* * *

И вот снова больница. Алексей Петрович уже готов был к этому, все состояние, какое-то ржаво-горячечное, доходящее до беспамятства, весь перехваченный болью таз говорили ему, что дома не подняться. Однако он не был готов к новой операции. Но в поликлинике дважды за два дня, собираясь по нескольку человек у экрана ультразвукового аппарата, пришли к выводу: разошелся внутренний шов, без операции не обойтись.

Его привезли вечером, уже в сумерках. Из той поликлиники могли привезти только в эту больницу — барскую, принадлежавшую еще недавно знаменитому четвертому управлению, расположенную в большом парке на окраине города. Носов и на нее не имел прав, как не имел прав на поликлинику, но уж коли удалось ему проникнуть в поликлинику, другой дороги, кроме этой больницы, не существовало.

В приемном покое пришлось сидеть долго. Старушка, направленная в терапевтическое отделение, никак не хотела ехать в кардиологическое. Большая, рыхлая, с белой головой, с жестким сухим голосом,

привыкшим к повелительной интонации, она уже сидела в коляске, когда из телефонного разговора дежурной поняла, что ее собираются везти не туда, куда надо, и решительно воспротивилась. Дежурная, красивая, вся подтянутая с ног до головы, отшлифованная, выдрессированная в вежливости молодая женщина, объясняла, то поднимаясь и выходя из-за стола, то снова присаживаясь к телефону, что места в терапевтическом сегодня нет, нет ни одного, оно будет завтра или послезавтра. Старушка решительно отвечала, что не может быть, чтобы не было, зачем же тогда ее везли сегодня, она бы и приехала завтра или послезавтра. Высокий флегматичный парень с заспанным лицом, санитар, то брался за коляску, когда казалось, что наконец договорились, то отступал и взирался в телевизор. Телевизор был приглушен, но, когда прыгают в нем с микрофоном в руках, надрывая глотку, звук имеет свойство переходить в рев как-то сам собою.

Уткнувшись в себя, Алексей Петрович сидел в низком кресле в туманной полудреме. Температура опять набралась, во рту было сухо, все тело, казалось ему, униженно скулит. Мало этого — начался еще и кашель. Из тумана наплывала и всматривалась в него фигура хирурга из госпиталя, делавшего операцию. Алексей Петрович вдруг вспомнил себя на операционном столе, вспомнил памятью больного нутра, как хирург, навалившись на его живот, точно бы подваживает чем-то, каким-то рычагом, приподнимая и отдирая часть нутра. Все тело под могучими руками хирурга поддается этим рывкам, совершенно безболезненным, и ходит ходуном. А справа, откуда-то споднизу, доносится гулкий голос анестезиолога, то спрашивающего о самочувствии, то зачитывающего вопросы из кроссворда. Нижняя часть тела отнялась,

отсутствуя полностью, зато почему-то ясно и свежо было в голове.

Старуху наконец увезли, Алексей Петрович пропустил, на что она согласилась, но дежурная после нее была обессилена. Она зашла за штору, плохо прикрыв ее за собою, и перед зеркалом обеими руками принялась массировать лицо. Привезли и поставили перед Носовым коляску, кто-то показал ему, где переодеться, кто-то ему, уже сидевшему в коляске в полотняной больничной паре с короткими рукавами и штанинами, сунул градусник. Опять сидела за столом та же дежурная, записывала и звонила. Лифт, в котором поднимали, был с зеркалом, и санитар, совсем еще парнишечка с едва пробивающимися усиками, все оттягивал верхнюю губу перед зеркалом, все трогал усики то пальцами, то языком.

В палате на двоих, с широким окном и железными кроватями вдоль боковых стен, работал телевизор. Боясь телевизора, Алексей Петрович прежде всего замечал его. На кровати справа лицом к двери и телевизору лежал сосед в белой и толстой нижней рубахе. Ничего больше в тот вечер Алексей Петрович не рассмотрел. Почти сразу же ему принесли граненый графин с желтоватой водой и заставили пить. Сосед о чем-то спрашивал, Алексей Петрович сквозь обморочный полумрак что-то отвечал. Внимание сосредоточено было на графине, на том, как вылить из него в себя противную жидкость с ржавым привкусом. И телевизор казался мерцающим, пышущим красками сосудом, и из него надо было переливать волнующееся пойло. Он очнулся от прикосновения холодной трубки, шарящей по низу живота, которую вдавливали внутрь все сильней и сильней, и справа от себя увидел фигуру, вплотную склонившуюся к экрану. Пахло кофе. «Что там?» спросил Алексей Петрович. Голос ответил: «Кажется, не то. Завтра надо повторить». А что не то,

хорошо это или плохо, не было сил спросить. С последним трудом он поднялся с лежанки, поданной бумажной салфеткой стер с живота вазелин и пошел в дверь. «Не туда, не туда!» — закричали ему в два голоса. Но как выходил «туда», не помнил.

Ночью его дважды вытаскивали из забытья, чтобы сделать уколы. Гребясь коленками и локтями, он переворачивался на живот, в котором булькало, едва чувствовал жалящий удар и снова забывался. Что-то брезжило ему урывками, какие-то неприятные медузные пятна на экране и на рентгеновских снимках, приготовившиеся к движению… Совсем рядом дробно, гулко стучало.

* * *

Стучала капель по подоконнику, обитому жестью. Ночью шел снег и сразу таял, в раскрытую форточку над батареей парового отопления доносило сыростью. В окне стоял сумеречный гнилой свет, по которому не определить, раскрывается день или уже закрывается. Окно выходило на лес, стоящий высоко и густо, с перекрещенными черными ветками голых деревьев. Громко и картаво кричали вороны, отъезжали с фырканьем где-то неподалеку машины, раздавались крикливые голоса двух женщин…

На тумбочке стояла тарелка с остывшей котлетой. Едва взглянув на нее, Алексей Петрович почувствовал тошноту. Есть не хотелось, но стакан горячего чая для побудки оставшихся в нем сил теперь бы не помешал. Он взглянул на часы: доходил десятый час. Работал телевизор; один из тех, молодых, да ранних, кто лезет теперь в глаза и уши из каждой светящейся или звучащей дырки, с каждой газетной полосы, женственный и писклявый, с ужимками поводя обвислыми плечами, соловьем заливался с экрана о

красотах приватизации. Сосед с кровати внимательно слушал. На шевеление Алексея Петровича он оторвался от телевизора, справился о самочувствии и, возвращаясь обратно, сказал с удивлением:

— До чего умные мужики подобрались!

Говорить это без иронии, казалось Алексею Петровичу, нельзя, и он в ответ слабо и подтверждающе улыбнулся.

Потом он внимательно рассмотрел соседа. А расспрашивать его не пришлось, он рассказывал сам. Был он невысок и плотен, из того сорта людей, что всегда бодры, много едят, много пьют и не страдают угрызениями совести, все пропуская сквозь себя словно бы только физиологически. Звали его Антон Ильич. Карьеру сделал своим ходом, без посторонней помощи, и продвинулся в своем деле от инженера и начальника участка до управляющего крупным строительным трестом. Теперь четвертый год на пенсии. И четвертый год ходит по врачам с камнями в почке. Человек неслабой воли, после отставки и жестоких приступов боли, сваливающихся всегда неожиданно, становился он все более раздражительным, все более неуверенным в себе и упрямым. Три года отказывался от операции и перебирал, не жалея денег, расплодившихся врачевателей с новомодными способами лечения. Но... крепок был он сам и камень в почке взрастил крепким, как булыжник, не поддающимся ни специалистам филиппинским и итальянским растворам, ни бомбардировке лазером. И вот... сдался. За операцию заплатил трест, которым он руководил, но оставалось еще рассчитываться после за каждый день пребывания в больнице, что заставляло его считать дни не только от тоски по дому, нервничать и подгонять себя. Однако он мог дергать себя и нервничать сколько угодно, а в больнице был свой порядок, а возможно, и свой расчет. От него ничего не зависело. Он, должно быть, за

последние годы привык, что от него зависит все меньше и меньше, но тут и вовсе было какое-то непонятное ему противоречие, какой-то хитрый парадокс: в интересах собственного же здоровья не следовало сокращать больничное время, но как только начинал он задумываться, во что ему может обойтись это вольное лежание, трезвые рассуждения летели ко всем чертям.

Алексея Петровича бил кашель, все злей и злей. Температура снизилась, но это по утренней поре, к вечеру подскочит. Он не без труда поднялся с постели, достал из сумки кипятильник и старую металлическую кружку, с которыми не расставался при любой отлучке из дома, и кружку за кружкой пил и пил обжигающий крепкий чай. За этим занятием и застал его врач, делающий с медсестрами обход, — в белом халате и шапочке, аккуратный, невысокий и немногословный, с добрыми печальными глазами. Стоя над Алексеем Петровичем, он выслушал сестру, затем осторожно, чтобы не вызвать боль, прошелся маленькой рукой вокруг шва и спросил Алексея Петровича, как он спал.

— Кашель, — сказал Алексей Петрович, опять закашлявшись. — Отдает туда, — и показал на пах.

— Ну, с кашлем как-нибудь, — задумчиво отвечал врач и пошел к двери.

— А меня когда, Вадим Сергеич? — вскинулся сосед. — Когда меня возьмете?

— Да вы ведь еще не готовы…

— Я готов, — перебил сосед.

— Не торопитесь, — говорил от двери врач. — Пройдете обследование, еще раз посмотрим как следует — тогда.

И вышел. Медсестра осталась и, склонившись над тумбочкой соседа, писала для него направления — когда и куда тому идти на анализы.

В госпитале, где лежал Алексей Петрович, медсестры были молодые горластые девчонки,

грубоватые, покрикивающие на стариков, но расторопные и умелые. Но там и больные были потяжелей, и насчитывалось их вполовину больше. Здесь вчера и сегодня сестры пожилые, безнатужно вежливые, спокойные, ни о чем не забывающие.

— Вы кстати пьете, — сказано было Алексею Петровичу. — Через час пойдем с вами на ультразвук. Пейте больше.

— Я ночью там был.

— И ночью, и днем, и утром, и вечером, — певуче отвечала сестра, поворачивая Алексея Петровича неожиданно сильными руками на бок. И, пришлепнув по мягкому месту, тотчас всадила иглу, не дав приготовиться, а потому и не дав почувствовать боль.

Сосед ушел, не выключив по своему обыкновению телевизор, и тот, не обнаружив внимания и добиваясь его, стал проделывать перед Алексеем Петровичем такие штучки, что Алексей Петрович сжался в испуге. Но подниматься, чтобы отказаться от его услуг, Алексею Петровичу не хотелось: кашель под горячим чаем притих, а поднимешься — расшевелишь его. Из глубины экрана, как из тоннеля, летели одна за другой на Алексея Петровича громадными хищными птицами голые девицы с вытянутыми вперед ногами, которыми они в последний момент, алчно вскрикивая, оплетали какое-то рекламное слово, имевшее форму… Господи, прости и помилуй! Даже наедине неприлично было это видеть, но некуда было и отвернуться, девицы в скоростном бреющем полете устремлялись и из стоящего за кроватью соседа темно-коричневого лакированного шкафа, и из створчатого трюмо за кроватью Алексея Петровича. Потом рекламный номер сменился: налетавшись, девицы выстроились в ряд, потрясли под звуки бубенчиков своими прелестями, клацнули одновременно ослепительными улыбками, на лету поймали какие-то баночки и в остервенении

принялись натирать себя белой мазью. «Господи! — взмолился Алексей Петрович. — И это... и это...» Что «это», ему так и не удалось обнаружить.

Сосед вернулся с газетами, их, оказывается, продают на первом этаже. Тут пришли и за Алексеем Петровичем, волей-неволей надо было подниматься. Он плелся за медсестрой, которая отбегала от него и останавливалась в ожидании перед очередным поворотом; шли в тот же кабинет, что и ночью, но Алексей Петрович совершенно не помнил, где это, не помнил и лифта, в котором пришлось подниматься, и только распластавшись на лежанке и подняв к потолку глаза, узнал комнату.

Но и на обратном пути без медсестры он снова спрашивал дорогу в свое отделение.

Сосед спал, поверх одеяла были разбросаны газеты. «Злодей», усадив любимцев своего экрана в кружок за низким журнальным столиком, вбивал в мозги все ту же песню стоящего за дверью благоденствия. Все это были, как на подбор, бородачи, лопочущие быстро и неестественно, актерскими голосами; Алексею Петровичу показалось, что это мультфильм. Он с таким удовольствием нажал на кнопку выключателя и с таким наслаждением смотрел, как бородачи, превращаясь в куклы, уносятся прочь, что его это развлекло.

Пасмурный мартовский день мерк окончательно, лес за окном стоял в застывшей печали, с трудом узнавалось, где в переплетении черных ветвей липы и где сосны. Ночной снег вытаял, мокро, грустно смотрелась и земля в обнажившейся подстилке бурых листьев, и обвисшее небо с водянистыми разводами у горизонта. В лес уводила бетонная прогулочная дорожка, она была пуста.

Алексей Петрович опять прилег. Мозжило и занывало уже не только в больном месте, но и во всем теле. Его тянуло в сон, но уснуть не давал кашель. Из

коридора доносился голос медсестры, ее столик в коридоре был почти напротив двери. Время от времени слышались шаги: торопливые, со стуком каблучков — медперсонала, и мягкие, замедленные — больных. Раздавался приглушенный расстоянием говорок радио. Все это действовало усыпляюще.

Принесли на высокой подставке капельницу, Алексей Петрович заученно вытянул руку, услышал одинаковое во всех больницах «поработаем кулачком» и, подгоняя кровь, принялся сжимать и разжимать кулак, пока не ощутил тугой жгут, пережавший руку выше локтя, и не почувствовал, как вползает в вену игла. Сквозь полудрему он разглядел на тумбочке, кроме вставленной в подставку, еще две пузатые банки, которые предстояло перекачать в вену. Это часа на два. Морозило — и он попросил сестру чем-нибудь его укрыть. И пригрелся под наброшенным одеялом, притаился, обиженный и одновременно приласканный, страдающий и утешенный. Боль в паху тоже пригрелась и слабо потокивала. «Ничего, ничего», — опять бессвязно думал Алексей Петрович, и перед ним наплывали знакомые лица, застывшие в ожидании, то ли его провожать, то ли встречать.

Подходила сестра, и он заставлял себя открывать глаза, скашивал их на капельницу. Желтоватая жидкость тянулась и тянулась по прозрачному шлангу и стекала на обмершей растянутой руке в вену. Никакого присутствия чего-то постороннего он не ощущал и снова в приятной слабости погружался в тепло.

Для чего-то надо было очнуться, он открыл глаза. В полумраке перед ним стоял врач, отчетливо выделяясь белым халатом и шапочкой.

— Что, доктор, как там… когда операция? — стараясь, чтобы голос не звучал слабо, спросил Алексей Петрович.

— Посмотрим, посмотрим, — он, казалось, для того и зашел, чтобы посмотреть на Алексея Петровича, и, посмотрев, не прикоснувшись к нему, вышел. Успокоенный, что не надо подниматься, Алексей Петрович счастливо оттолкнулся от твердого берега, куда он ненадолго приставал, и, как аквалангист, медленно и томно поплыл, поплыл опять в приятную глубину.

* * *

На следующий день Носову запретили подниматься. На гремящей тележке привозили в палату еду, он едва трогал ее и, изнемогая, отставлял, чувствуя, как неудобно, грубо укладывается в желудке пища. День опять вставал хмурый и мокрый, в окно наливался серый тяжелый свет. В больном месте как бы перебегало что-то из конца в конец и садняще тукало. В одном подействовало лекарство: кашель стал меньше и выкашливался без надсады, поэтому Алексей Петрович мог больше спать. Он уходил в сон мгновенно, стоило лишь закрыть глаза, но был ли это сон, трудно сказать. Словно он окунался по многу раз в одну и ту же купель с нечистой водой и застоявшимся воздухом. В ней не было ни плохо, ни хорошо, она просто утягивала в себя и затуманивала сознание. Приходили с уколами, с таблетками, с приборами — он механически исполнял все, что требовалось, бессмысленно смотрел с минуту на дергающиеся в телевизоре фигуры и безвольно закрывал опять глаза.

Изредка случались просветления, возвращающие к жизни. В одно из них он вспомнил, что жена беспокоится, не находит себе места, а в эту, режимную, больницу без пропуска не пустят, и попросил соседа позвонить жене и сказать, что он закажет пропуск на завтра. Завтра должно стать легче. Он уже попросил

соседа, тот стоял наготове, но никак не мог Алексей Петрович найти в своей памяти телефон. Совсем отказывала память. Все отказывало. Он вспомнил, наконец, зайдя в память с другой стороны: представил, как записаны цифры на приклеенной к телефонному аппарату маленькой желтой карточке. А добившись результата, совсем очнулся.

Сосед позвонил, передал и засобирался за газетами, надевая на белую нательную рубаху куртку от ярко-синего спортивного костюма. Ожидание операции делало соседа беспокойным и натянутым, голос его иногда оборванно взбулькивал, глаза смотрели затравленно. Вечером он просил у сестры снотворное.

— Возьмите, пожалуйста, и для меня, — попросил Алексей Петрович и назвал две газеты.

Сосед, оглядывающий себя в зеркало, неопределенно хмыкнул и вышел.

В первый раз идти на операцию особенно тяжело. Жил-жил человек, каким создал его Господь Бог, и вдруг что-то происходит, что требует немедленного вмешательства и ремонта. Есть в этом что-то неестественное, грубое, незаконное, особенно теперь, когда стали менять органы. Божественное, единое, незаменное опускалось до уровня механического и составного. Можно вырезать желчный пузырь, убрать негодную почку, легкое, окоротить и подтянуть, как шланги, выводные пути, вырезать из одного места и приставить к другому, подшить оборванную руку или ногу, из аппендикса сшить мочевой пузырь. Наука ремонта достигла невиданных результатов и совершенствуется все больше и больше. Вмешиваясь в божественность человеческого сосуда, споря с нею, она сама по степени мастерства становится божественной и претендует на высочайшую роль. Спасенная жизнь оправдывает все — пока человек живет. Но каждое такое спасительное вмешательство, должно быть,

откладывается в нем в особый счет… и кому он потом будет предъявлен? Алексей Петрович четырежды прошел через операционный стол, живет от починки к починке, как примус, но после каждой операции невольно в нем нарастает тревога от какого-то словно бы повторяемого предательства… Он не мог сказать, что предавалось и что именно тревожило его, но чувство нечистоплотности не проходило.

Вернулся сосед, ни слова не говоря, шурша газетами, стал укладываться.

— А про меня забыли, Антон Ильич? — спросил Носов.

— Откровенно говоря, не забыл, — вдруг резко, отчеканивая слова, точно вздымая принципы, ответил сосед и дернулся лицом. — Не захотел руки марать. Вот так.

— То есть как? — не понял Алексей Петрович. — Что вы такое говорите?

— Одна вражеская пропаганда в ваших газетах. Вред один. Вот так. Если хотите, читайте мои.

— Можно, конечно, и ваши, — растерянно отвечал Алексей Петрович, всматриваясь в соседа с болью и стыдом. И вдруг тоже разозлился, беспомощно и жалко. — А разве там у вас, — трясущейся рукой он показал на телевизор, не вражеская пропаганда? Не растление? Не одурачивание?

— Нет. А если бы и так? Дураков одурачивать — только умными делать.

— А вы не слишком грубо? Да и рискованно, пожалуй…

— Я не имел в виду вас лично.

— Спасибо. Но если мы с вами не входим в число дураков, вы бы этой штуковине, — Алексей Петрович с ненавистью кивнул на телевизор, — давали иногда отдохнуть. Неизвестно, как она действует на умных…

— Говорите, если мешает. Что же не говорите? Будем договариваться.

«Неужели так трусит перед операцией? — размышлял Алексей Петрович, закрывая глаза. — Но в таком случае, кажется, должно быть наоборот». Он стал вспоминать, что чувствовал перед операцией сам. Но можно было и не вспоминать. Да, угнетенность… жаль себя немного. И в то же время особая пристальность ко всему, что окружает, словно стараешься крепче зацепиться, внимательность к людям, примирение с ними, готовность оказать услугу. Так грустно бывает и почему-то так легко! Ничто от тебя больше не зависит, ты, как никогда, свободен и обращен в сторону, где живет вечность. Но зависит еще до операции, до хирурга, от мнения о тебе людей, которое собирается вместе в бестелесную, как тень, фигуру, ангелом-хранителем стоящую неподалеку. Да, там без ангела-хранителя нельзя. Алексей Петрович перевел размышления на себя. Где сейчас его, Алексей Петровича, ангел-хранитель, не устал ли он его сопровождать?

Однажды, после одной из операций, кажется второй, которая могла кончиться печально, Алексей Петрович видел сон. Он пришел в себя после наркоза в реанимационной, кровать почему-то была поднята высоко, на уровень стоящей рядом тумбочки. Неподалеку стонала и вскрикивала женщина, быстрые шаги приближались и удалялись. Было не душно, но воздух, казалось, был обработан до сухости и колючести. Алексей Петрович и не проснулся бы, если бы не тормошила и не шлепала его по щекам сестра — зачем-то требовалось, чтобы он не спал. Он очнулся в страшном ознобе, тело ходило ходуном, и, не слыша своего голоса, попросил, чтобы его укрыли. Озноб не проходил. «Не спите, не спите», — повторяла сестра, оттягивая его руку и массажируя ее в локте, чтобы

найти вену. Ему хотелось помочь ей, но веки, едва разведенные из-под непосильной тяжести, снова и снова закрывались.

Тогда он и увидел этот сон. Огромный, ярко освещенный зал без окон, стены завешены картинами в легких прямоугольных рамах, на холстах все что-то абстрактное, неправильные фигуры и ломаные, рвущиеся линии. Он ищет выход и не может его найти, снова и снова обходя зал и приподнимая все подряд картины, за которыми могли бы быть окно или лаз. Ничего, все та же белая глухая стена. В отчаянии он принимается плакать, понимая, что оставаться ему здесь нельзя. И уже бегает, бегает, совсем потеряв голову, а свет становится все ярче и ярче... еще мгновение, и он испепелит его.

Сестра едва добилась, чтобы он снова очнулся. Слезы продолжали бежать, он попросил сестру не отходить, ухватившись, как маленький, за ее руку. «Не спите, — умоляла она. — Попробуйте не закрывать глаза. Держитесь». Все двадцать лет после этого, вспоминая случаи, когда ему удавалось всерьез проявить волю, Алексей Петрович начинал перечень прежде всего с того огромного усилия, которое удалось тогда в полубессознании собрать, чтобы не соскользнуть в беспамятство.

С тех пор он боялся повторения этого сна. Да и не сон, казалось ему, это был, а что-то иное, прощальное. Когда- нибудь оно должно было вернуться. Он так четко, так зримо помнил глухой зал, залитый нестерпимо ярким электрическим светом, и себя, со слезами мечущегося по нему, что где-то это должно было находиться неподалеку. В последний раз, в госпитале, легко придя в себя после неглубокого наркоза, он обрадовался сильнее, чем прежде, должно быть, все меньше надеясь на свои запасы. И

обрадовался, сам того не сознавая, больше всего тому, что вернулся, миновав знакомый зал.

Сестра дежурила вторые сутки подряд. Она же была и за нянечку. Сегодня Алексей Петрович лучше рассмотрел ее: удлиненное и сухощавое доброе лицо со спокойными, терпеливо светящимися глазами, привыкшими к страданиям, и чуть более, чем нужно, укороченные, толчковые движения человека, пережившего лучшую пору. И нагибалась она как-то изломанно, и шваброй по полу водила со стесненными, безразмашными движениями, и, выпрямляясь, прислушиваясь к звукам в коридоре, чуть заметно клонилась вперед.

— Как вас зовут? — с опозданием спросил Алексей Петрович, с мукой наблюдая, как она, чтобы отереть пот, отворачивается и тычется в подставленный платок.

— Татьяна Васильевна зовут. Сорок лет трудового стажа. Почти двадцать лет здесь, — подсмеиваясь над собой и одновременно гордясь, доложила она, не оставляя работы.

— А что вы без отдыха второй день?

— Не люблю отдыхать. В молодости любила, как все молодые, а теперь так бы и жила в больнице, — она говорила и гремела передвигаемыми стульями, взглядывая на Алексея Петровича с обращенной к себе иронической улыбкой.

— Зарплаты, что ли, не хватает? — вмешался сосед. — Не может быть, чтобы у вас здесь была маленькая зарплата.

— У сестричек она нигде не была большая. Ни в этой больнице, ни в другой. Я работала в районной больнице, работала в институтской — разница невелика.

— Муж-то есть? — поинтересовался сосед.

— Нет. Умер.

— Вот так везде, — оборачиваясь к Алексею Петровичу, невесело подытожил сосед. — Мужа нет, а

жена есть. Вся демография сюда сходится.

Татьяна Васильевна со скорбью посмотрела на него.

— А еще трое внуков есть, — сказала она без выражения. — А у дочери тоже мужа нет.

— Помогать им приходится?

— Приходится.

— Все равно в этой больнице легче.

— Здесь легче, потому что больных меньше, — стала объяснять сестра. Но здесь больной — за двоих. Капризный очень, требовательный, нервный. Сколько я здесь слез пролила, пока научилась сдерживаться…

— Контингент, — понимающе кивнул сосед. — Номенклатура. Как только не издевались над человеком…

— Да, — замешкавшись, согласилась медсестра. — Только сейчас еще больше издеваются. Очень грубые поступают люди. — Говорить больше сказанного ей не хотелось, и она снова принялась за работу. Но тут же оставила ее. — А знаете, — обратилась она к Алексею Петровичу, — вам, наверное, не будут делать операцию. Шов у вас в порядке. Но обширный инфильтрат, много запекшейся внутри крови. Вас не долечили. Если удастся инфильтрат рассосать… Вадим Сергеевич заказал… — она назвала лекарство, но с таким мудреным названием, что Носову совсем нечем было задержать его в памяти. Если это лекарство пришлют — вам повезло.

Она с улыбкой ожидающе смотрела на Алексея Петровича, но он в ответ не мог показать радости, ему было как-то все равно. Но он вдруг ясно увидел, как шов его где-то там в недрах тела, который представлялся оборванным, с кровоточащими бахромистыми краями ткани, обвисшими и треплющимися при движении, в одно мгновение чудом превратился в ровную бледную стежку, едва выдающую постороннее вмешательство.

И с такой счастливой покорностью он отдался слабости, что через полчаса опять спал. До того, как уйти в сон, уже с закрытыми глазами услышал он голос соседа:

— А вы где работали?

И ответил с усилием сквозь накрывающую пелену:

— В министерстве лесного хозяйства.

— Люблю лес, — донеслось до него.

Это были достойные слова, ими можно было прощаться и с жизнью.

* * *

Вся вторая половина этого дня прошла в продолжающихся сонных обрывах, вязких и душных, из которых Алексей Петрович выдирался лишь тогда, когда совсем нечем было дышать. Но, выдираясь, сразу вспоминал он о шве, исправно несущем службу, согревался и ненадолго взбадривался чудом исправности, тянул руку к стакану с водой, но не было сил подняться и вскипятить чай. Ужин он пропустил, с тумбочки, из накрытой блюдцем тарелки доносило пресным запахом гречневой каши. Сумерки сменились электричеством, уколы ставила новая, третья по счету, медсестра с острым, как у птицы, лицом и распущенными по высоко поднятым плечам черными волосами, с голосом резким, кавказским. Сосед то приходил, то уходил, меняя в телевизоре голоса, скрипел кроватью, вздыхал. Перед отбоем зашел дежурный врач, молодой, неимоверно длинный, клонящий маленькую голову. Температура у Алексея Петровича опять поднялась, видел он подходящих мутно, в дрожащем мареве противоположной белой стены. И снова засыпал.

Проснулся он ночью еще прежде тревожного часа, встряхнувшего все отделение. Проснулся с чувством —

все, выспался. Подушка была мокрой от пота, мокрой была и рубаха, в жаре и беспамятстве он влип в постель так плотно, что при движении потянул за собой простыню. Нащупав на спинке кровати полотенце, Алексей Петрович протянул его по спине, свел концы полотенца на груди и завязал, оттопыривая от тела мокрую рубашку. И перевернул подушку. За окном тревожно шумел ветер, натягиваясь в продолжительные свистящие порывы, что-то где-то падало с гулким гремящим звуком, отчаянно скрипели деревья и шоркало длинными голыми ветками. Качались на опорах электрические светильники и качался, метался по комнате набрасываемый в окно свет. Сосед густо, натужно храпел, перекатывая в горле громовые удары, каждая очередь которых оканчивалась тоненькой, как у младенца, фистулой.

Все было тревожно — и ветер, гудящий зло, напористо, угрожающе, и всполохами прыгающий по стене свет, и неумеренно громкий храп, и эта издевательская фистула. Алексей Петрович лежал и слушал, все наполняясь и наполняясь звуками общего, широко распростертого, гулко переливающегося через край уже и не шума, а страдания, требовавшего какого-то результата.

И вдруг еще один звук — продолжительный, требовательный звонок в коридоре. Не телефонный, а высокий, беспрерывный, надрывный, как сирена. Послышались отбегающие шаги, смолк и звонок, на несколько минут в коридоре примолкло — и вдруг снова торопливые шаги, испуганный голос в телефон, короткие возбужденные голоса за дверью. Алексей Петрович приподнялся на локте и всматривался в дверь: что-то случилось непростое. В коридоре уже царила суматоха, бежали с той и другой стороны, бегом прокатили громыхающую тележку, по телефону просили срочно отыскать какого-то Василия

Степановича. Пост медсестры был рядом, ее резкие, гортанные вскрики то появлялись, то исчезали. Затем все откатилось влево, в глубину длинного коридора. Надолго наступила тишина, лишь с тем же упорством бил и бил ветер. Натянутый, объятый острой жалостью к себе и в себе — к человеку вообще, Алексей Петрович ждал. И вот слева возникло движение, молчаливое шествие сразу нескольких ног и придавленное тяжестью колесное шипение по полу каталки. Оно проплыло мимо в сторону лифтов и стихло. Уже без спешки, четко протянулись шаги отставшего, затем еще одного.

Ночь продолжалась. Ни разу Алексею Петровичу не пришло в голову взглянуть на часы: время как бы остановилось. Он все вслушивался во что-то, ожидая какого-то окончательного звука, быть может, едва различимого прощального стенания. Вернулась к своему столику сестра, придерживаемым изменившимся голосом возбужденно и растерянно говорила по телефону.

Алексей Петрович не смерти боялся, а умирания. Это надо было сделать достойно. И плыть потом вместе с землей, став частью ее живого организма, плыть и плыть бесконечно, ни во что не вмешиваясь. Он не рассчитывал на долгую память о себе — нет, очень скоро иссекут ее дожди и снега, истопит солнце и занесет, завалит привозом новых дней. Дети, внуки? А разве не поступил он точно так же со своими родителями? Время от времени донесет печальным невидимым током, потревожит робким прикосновением, а он и побыть не предложит, ему все некогда. Его детям, судя по новым временам, будет еще более некогда. Нет, уходя, надо прощаться навсегда. Не есть ли этот ветер, тревожный, требовательный, заунывными порывами стискивающий душу… не есть ли он?.. Алексей Петрович не стал додумывать,

натолкнувшись на запретное. Ветер есть ветер, Алексей Петрович знал, откуда берется ветер. Но что такое знания в такую ночь, нет никакого знания. Только что провезли длинную, в рост человека каталку — и разве все продолжается своим чередом без изменения? Придет новый день — и разве то будет день, похожий на вчерашний? Зачем он, Алексей Петрович, хватается за жизнь? Нет ничего, совершенно ничего, что держало бы его здесь с необходимостью избранного. Он сам изнашивает память о себе до ветхого и скорбного образа, еще при жизни теряющего черты.

Алексей Петрович зашевелился протестующе: нет, не так. Не так. Не ему это решать. Четырежды он ходил на операцию и четырежды его словно бы ставили на весы, отмеривающие две известные меры. И отпускали обратно. Его пробрало холодом, когда представил он, что, быть может, в последний раз перевес оказался таким ничтожно малым, что за ним послали вновь. И с напряжением вслушался в себя, отодвинув посторонние звуки. Но не услышал, а увидел, как воровато озираясь, подкладывает он в ту чашу, которая ползла вверх. Слезы брызнули из глаз Алексея Петровича: нет, жить, жить! Он обтирал их со сладкой непереносимой мукой, чувствуя опустошительное облегчение. Вложил в эту мольбу все силы и, изнеможенный, уснул.

* * *

Эта ночь оказалась переломной, после нее Алексей Петрович пошел на поправку.

Он и проснулся с радостью: жара не было, кашель с облегчением вызванивал последнюю немочь, хотелось движения. В больном месте чувствовалась тяжесть, будто каменная плита давила, но и она не пугала его так, как вчера: что там, теперь известно, и что делать, известно тоже. Гнилостный кислый запах, проникавший

и сквозь кожу и донимавший Алексея Петровича особенно по утрам, на этот раз не был таким густым и беспощадным. Какой-то грязный, душный оболок сошел с него, стало просторней в груди, в голове — везде. Но его сильно качнуло, когда он поднялся на ноги; болезнь выцедила из него слишком много. Крепко, не жалея себя, Алексей Петрович умылся под тугой холодной струей и решительно продолжил подвиг дальше: снял больничную белую рубаху из грубой материи и протер себя мокрым махровым полотенцем. И — обессилел. Натянул вместо снятой домашнюю рубашку, мягкую и теплую, в мелкую коричневую клетку, и откинулся на подушку.

Ветер стих, ночные поднебесные страсти унесло, сквозь взбитые, пухлые тучи пятнами пробивался солнечный свет. Намаянные за ночь, продолжали вздрагивать и скрестись верхушки деревьев. Опять резко, грубо кричали вороны и уносились одна за другой за лес, проплывая в окне общим тревожным сбором. Алексей Петрович вспомнил ночное событие, но вспомнил без страха, как нечто происшедшее в свой черед, чему он был нечаянным свидетелем. В свой черед значит неизбежно.

Весь этот день он прожил на подъеме.

При обходе врач подтвердил, что с операцией торопиться не будут. Шов действительно целехонек, а инфильтрат, быть может, удастся убрать, лекарство удалось отыскать. Выходило, что он не исключает возможность операции, но его «может быть», как показалось Алексею Петровичу, прозвучало с уверенностью и было по форме всего лишь необходимым оберегом осторожного человека от случайности. Замечать этого по той же причине Алексею Петровичу не полагалось, ему-то в особенности, но так он был настроен, такая в нем

гудела ободряющая струна, что не испугался заметить. Должно же когда-то кончиться невезение.

Сегодня врачу было что сообщить больным этой палаты. Ощупывая живот соседа, бугристый и безволосый, как у юноши, он из наклона тянул голову за плечо, что-то диктуя сестре, что она записывала, потом выпрямился и сказал:

— Ну что, Антон Ильич, будем готовиться. Завтра возьмем вас.

— А как… как готовиться? — споткнувшимся голосом спросил сосед и осторожно снял ноги с кровати. Он натянуто улыбался.

— Сестра скажет, — и, не задерживаясь как всегда, врач вышел.

Сестра была та, что принимала Носова в первый вечер, он ее почти не запомнил в горячечном тумане и теперь узнал по оставшейся перед глазами маленькой сухой ручке с красными, как обваренными, пальчиками. Она и вся оказалась маленькой, бескровной, но быстрой, с живыми острыми глазами, имевшей за острыми плечиками, торчащими под детским халатом, не менее полудюжины десятков лет. «Ветиран», как писал внук Алексея Петровича на поздравительной открытке: «дорогой дедушка-витеран». Голос у нее был хриплый, прокуренный. Алексей Петрович вспомнил и этот голос, когда она заговорила с соседом, давая ему наставления:

— До обеда без изменений. Пообедаете. Ужинать не надо. Вечером я вами займусь.

— Может, и не обедать на всякий случай? — как ни ждал, как ни торопил сосед с операцией, сообщение ударило его. Предлагая свою помощь, он невольно заискивал перед этой маленькой женщиной, которая увидит его во всей беспомощности.

— Обедайте, обедайте. Это не помешает.

— Поздравляю, — задумчиво сказал сосед после ухода сестры. — Повезло вам.

— Через два-три дня и я вас буду поздравлять, — искренне ответил Алексей Петрович. — Знаете, с какой радостью приходишь в себя после операции: позади. А сам, несмотря ни на что, вперед.

— Операции лучше в молодости делать.

— Если в молодости начинать, вы бы не были таким молодцом.

Сосед понимал, что трусит, что лицо его покраснело и невольно обвисло и затаились глаза, выглядывающие невидяще. Он принимался то за одно дело, то за другое, рылся в сумке, переставлял с тумбочки на подоконник банки, ложился, тупо глядел в телевизор и опять поднимался, выходил в коридор. Спустился вниз и принес газеты, снова только для себя, пошелестел-пошелестел и оставил.

— Ваше министерство, — спрашивал он, — это где лес рубят?

— Нет, где охраняют.

— Разве его у нас охраняют?

И не слушал ответа, глядя куда-то перед собой.

Не он первый — поставили укол, и потихоньку стал он успокаиваться. Обмякшее лицо подобралось и подобрело, но глаза смотрели все так же затаенно и печально. Голос был жалобным. Это и не успокоение было, а торможение, при котором снижается чувствительность и вялыми, неотчетливыми делаются очертания предстоящего события, еще полчаса назад бывшие острыми и обжигающими. Весь мир плывет в этом состоянии бесстрастно и прочно, отыскав какое-то надежное установление. Сосед даже всхрапнул забывчиво, но недолго и без громогласия, с хрипящим стоном. Очнулся и, встрепанный, потерянный, словно не узнавал, где он, водя глазами по стенам, с часами на руке, спросил у Алексея Петровича:

— Сколько времени?

— Скоро два. Скоро обед, — подсказал Алексей Петрович.

— Надо пообедать, — и засобирался торопливо, отыскал разрисованную цветочками пластмассовую кружку, предмет зависти Алексея Петровича, потому что его, металлическая, обжигала.

После обеда они разговорились. Но неприятным вышел этот разговор — не к месту, не ко времени. Один не мог сдержать чувства возвращающегося здоровья, второму предстояло пройти сквозь опасное и болезненное испытание. Один, истерзанный, измученный, ослабший, выходил победителем, второй только еще шел на решительное сближение и нервничал, до хруста в скулах поводил влево-вправо ртом со сжатыми губами. Но продолжал смотреть в телевизор. С телевизора и началось.

— Отдохнули бы от него, — не выдержал со своей кровати Алексей Петрович. — И мне бы дали отдохнуть.

— Это пожалуйста, — выкрикнулось неожиданно у соседа. Он с готовностью поднялся и загасил телевизор. И только тогда, должно быть, увидел себя в этой сцене жалким и спросил отрывисто: — А что это вы на него так?

— Вражеская пропаганда, как вы говорите, — с удовольствием вспомнил Алексей Петрович.

— Я ничего подобного не говорил.

— Вы про газеты говорили. А я про него, про это пучило одноглазое… со своей, разумеется, стороны.

— Чем оно вас не устраивает?

— Долго объяснять. Да вы и знаете. Вас же мои газеты не устраивают. До того, что вы и в руки их брать брезгуете. Я тоже разборчив.

— О старом, значит, жалеете? Так. — Это «так» было у него как точка, не больше, но можно было представить, что когда-то, когда сосед был при власти,

оно звучало твердо, сильно, заглубляя сказанное решительным взмахом руки.

Разговор расходился, и Алексей Петрович устроился удобней, развернувшись на бок и подбив под локоть подушку.

— Жалею, — согласился он. — Но не так, как вы, должно быть, представляете. Я в старом, если хотите знать, с потрохами не увязал. Мне из старого только рюкзачок собрать — и в новом. Я и в партии не состоял.

— Это в министерстве-то? — не поверил сосед.

— Да. Я в министерстве проработал три года. Да и попал туда случайно. Директора института назначили министром, он меня с собой на управление потащил. Да и министерство… оно для нас было важным. Вот и вы толком не знали, рубят там лес или охраняют. Разве это о положении министерства не говорит?

— Привилегии для всех министерств были одинаковые, — чувствовалось: сосед продолжает разговор через силу. Он лежал и, согнув в колене левую ногу, закинув за нее правую, нервно мотал ею и посматривал на дверь.

— Кое-что было, — согласился Алексей Петрович, — хоть и по третьему разряду. Больница эта… я, правда, впервые здесь, когда и прав на нее не имею. Да, больница. Курорт. Но зачем мне, человеку лесному, курорт? Я там ни разу и не был. Машина у меня своя, свою пригнал. Должность не велика, с вашей не сравнить. Вы князем были, Антон Ильич, первый-то человек в крупном строительном тресте. Там привилегии, льготы эти сами плывут, за ними и ходить не надо. Не буду говорить про вас, не знаю. НО ЧТО ТАКОЕ НАЧАЛЬНИК ТРЕСТА, ЗНАЮ. Из министерства ходил и в ноги падал.

Сосед молчал. Алексей Петрович отдышался.

— Вы ведь в партии были, Антон Ильич?

— Был, конечно. Вы же знаете. Как бы я там не был?

— И не просто членом партии, а членом обкома?

Сосед мог и не отвечать: иначе не бывало.

— А воевали?

— Три года. Тяжелое ранение имею, — с набирающейся твердостью отвечал сосед. — Что это вы мне допрос устраиваете?

Вошла сестра, поставила эмалированную ванночку со шприцами на тумбочку к Алексею Петровичу и приказала обоим разворачиваться тылом. Тот и другой свое получили. Нельзя было надивиться, как ловко умеют здесь вонзить в одно безболезненное касание иглу и вторым небрежным касанием мазнуть место укуса спиртом и тут же, поймав и заведя руку больного, приложить ее к ватке над единственной капелькой крови.

— Я продолжу, Антон Ильич, с вашего позволения договорю, — сказал Алексей Петрович после ухода сестры. Они одновременно повернулись друг к другу. — Что выходит: вы воевали, имели крупную должность, были своим в местной партийной верхушке, вложили в старую систему немало сил… как же получилось, что вы ее на дух не терпите, будто вы — это не вы, а что-то, что заново родилось?

Сосед перебил решительно:

— Я за Россию воевал, Россию строил, а не старую систему.

— За Россию, — согласился Алексей Петрович и шумно выдохнул. — Вы воевали за нее, да… Но почему тогда, когда эти бесы из научных институтов, — Алексей Петрович, перегнувшись, далеко вымахнул в сторону телевизора руку, — захватили говорильню и принялись издеваться над вами… да, и над вами в том числе… принялись утверждать, что жертва была напрасной и победа была не нужна… почему вы заслушались, как дитя, и поверили? Вы Россию защищали…

— Я и сейчас ее защищаю.

— Господь с вами! Если бы на фронте вас убедили развернуть оружие… за Россию… вы бы поверили? Хотя — что я?! Бывало и это. Все уже бывало. Вот это и страшно, что ничему нас научить нельзя. Но если вы не развернули оружие там, вы должны были знать, где Россия. А они развернули. — Снова выпад в сторону телевизора. — И давай из всех батарей поливать Россию дерьмом, заводить в ней порядки, которых тут отродясь не водилось, натягивать чужую шкуру. Неужели вас в сердце ни разу не кольнуло, почему, по какой-такой причине поносят так русских? В России. Вы ведь русский, Антон Ильич?

— Не видно, что ли? — сосед смотрел на Алексея Петровича исподлобья и сказал холодно, отчужденно.

— Пока видно. Есть же у нас свои черты. Но скоро их состругают. Скажите, какие же мы с вами русские, если дали так себя закружить? Хоть чутье полагается иметь, если нет ничего другого. Для вас Россия в одной стороне, для меня в другой. Нет, не там, где мы с вами были при коммунизме. Но и не там, где вы видите, совсем она не там. Можно допустить, что я ошибаюсь. Но посмотрите. Мы дикари, звери, развратники, пьяницы, матершинники… полный набор… лодыри, покорное стадо, к иконе подходим не иначе как с топором. Надо нас в цивилизованный мир, чтобы привести в порядок. Посмотрите, как цивилизуют. Пьяницы — и заливают дешевой водкой. Развратники — и весь срам, все бесстыдство людское со всего мира, все несусветное уродство — сюда. Дикари — и гуляй свободно любой головорез, насилуй, грабь, воруй, убивай беспрепятственно, захватывай мафия и коррупция государственное богатство, объединяйся между собой, захватывай власть. Лодырь — и хлеб, масло у своего крестьянина не берут, везут из-за океана. Грубияны — и полон рот мата у каждого

воспитателя. Не кажется это вам... ну, не совсем подходящим способом воспитания... совсем не подходящим?! Свободы хватило только на это — как сделаться окончательно без стыда и без совести, разграбить страну и оболванить нас с вами. А мы и рот разинули: настоящую Россию нам кажут! Нет, Антон Ильич, это не Россия. Избави Бог!

Алексей Петрович задохнулся и умолк. Сосед тоже дышал тяжело и смотрел на него враждебно. И вдруг сделал совсем по-мальчишески: поднялся и демонстративно включил телевизор.

— Новости, — объявил он. — Извините, новости я пропустить не могу.

— Конечно, конечно, — не без удивления согласился Алексей Петрович и так же демонстративно отвернулся к стенке. Но успокоиться он не мог, остро жгло в груди разгоревшейся болью обиды и потери — огромной, всеохватывающей, лежащей где скорбно, где торжествующе на каждой человеческой фигуре, выговаривающейся в каждом слове. И, не договорив, ждал, когда дикторша с лицом и прической куклы Барби закончит учащенный механический стукоток своего голоса.

— Знаете, что еще непонятно, — нашел он после новостей паузу, чтобы продолжить. — Понятно, конечно, понятно. Но понятно до беспонятия; голова отказывается принимать. Одни и те же трубадуры дурили нас и десять лет назад, дурят и сейчас. А мы уши развесили. Но если вы согласны с ними сегодня, значит надо признать, что вчера они дурили нас, потому что говорили совсем наоборот. А если дурили вчера и если это те же самые, дурят и сегодня. Такая это порода на нашем горбу развелась. То капитализм чудовище, то рай. Если бы они могли, они бы и солнце развернули, чтобы всходило на западе. А нам, дуроломам, пришлось бы со спины отращивать перед.

Знаете, как я рулю? Если эта свора в голос запела, что выгода для России вот там — значит, выгода совсем с другой стороны. Так потом и оказывается. Безошибочная ориентация — ни компаса, ни азимута не надо.

— Оттого вы один такой и умный, а все дураки! — выкрикнул сосед, решительно поднимаясь. — Остыньте, Алексей Петрович, с меня хватит. Я, может, дурак, но мне сегодня все равно.

Алексей Петрович осекся: что это он в самом деле? Не на митинге. Глаз не надо, чтобы увидеть, что не это мает сейчас соседа. Он извинился, сосед не ответил. И как раз в это время открылась дверь и вошла жена Алексея Петровича, улыбаясь еще от двери и вглядываясь в Алексея Петровича, поздоровалась, установила на пол возле кровати тяжелую сумку и пропела:

— Как хорошо тут у вас! Совсем в лесу!

— Болей не хочу, — в тон ей ответил Алексей Петрович.

* * *

Утром соседа увезли, стало просторно и тихо. Он суетливо и долго взбирался на высокую и узкую каталку и нервно говорил. «Я бы ногами, ногами, — повторял он, — туда-то можно и ногами, зачем вам беспокоиться?» Две операционные сестры в накрахмаленных халатах и шапочках, молодые, красивые, со строго выглядывающими из белизны ликовыми лицами неземных вестников, стояли по краям каталки и ждали. Когда же было велено соседу раздеться донага и когда, голого, укрыли его простыней, он сразу жертвенно затих. Только, натягивая шейные жгуты, крутил по сторонам большой седой головой. Каталка попалась

разношенная, дребезжащая, и долго слышно было справа, куда увозили, надсадный скрип и стон.

Пришла своя сестра, Татьяна Васильевна, вздыхая, собрала с кровати соседа постельное белье и откатила в угол телевизор. Алексей Петрович удивился:

— Как вы угадали, что я с ним не в ладах?

— Зачем же угадывать? — ответила она. — Мы видим. Не вы один. У нас это первая причина для конфликтов. Одному нужна первая программа, второму четвертая... Или одного за уши не оттащишь... поверите, был случай в прошлом году: умер за телевизором. А второй принципиально не смотрит, просит перевести в палату без телевизора.

— А разве есть такие — без телевизора?

— Нет. Но есть неработающие. Погоняйте-ка с утра до ночи — никакая гарантия не выдержит. Ну и «диверсанты», конечно...

— Это что такое?

— Выводят из строя сознательно. Не показывал, не показывал — вдруг запоказывал, — говорила она неглубоким, с шуршинкой, певучим голосом. — Это значит — «диверсант» выписывается, на место что-то там воткнул. А один забыл воткнуть, он уж очень сердит был... уехал, а телевизор как не пыхал, так и не пышет. На его место новенький поступил, ему подавай, чтоб пыхал, мастера требует. А что мастера — я-то чую, что не мастера. Звоню тому, он человек серьезный, на посту. Говорю: «Вы, Анатолий Сергеич, никакую маленькую трубочку с собой не забыли?» — медсестра засмеялась, вспомнив, как отвечал обнаруженный «диверсант». «Ой, — говорит, — Татьяна Васильевна, вправду забыл. Как вы узнали? Эта трубочка в шкафу на верхней полке в ваточку завернутая лежит. Не кладите трубку, посмотрите, там она или нет, не то я другую пришлю». Что же... там, конечно. Совсем-совсем

маленькая, — сестра на пальце показала, какая маленькая, — а этакую оказину повергла в бесчувствие.

— Это сопротивление, — подсказал Алексей Петрович, тоже улыбаясь той опаске, с какой сестра покосилась на притаившееся зево телевизора.

— Вот-вот, сопротивление, а такое маленькое...

После операции соседа держали в реанимации два дня. Простояли эти дни все такими же сумеречными, с глухим вислым небом, наводящим тоску. Алексей Петрович подолгу стоял у окна и смотрел, как по бетонной дорожке вбегают в лес и выбегают из него человеческие фигуры, уже с непокрытыми головами и в легких накидках на плечах. Под окном у служебного хода громко топали ногами, сбивая налипший лист. Две женщины в красных форменных поддевках, могучие, как все дорожницы, собирали набросанные ветром сучья и громко разговаривали, ругая какого-то Одинцова, который врет и ворует. «Все врут и воруют!» время от времени делали они обобщения, устанавливаясь друг против друга в позе пророков и воздымая руки, а затем опять переходили к Одинцову. Одна, в кроссовках на огромных ногах и в какой-то странной нахлобучке на голове типа армейской пилотки, с властным трубным голосом, особенно громогласила.

— Говорит мне, — на хохлацкий манер басила она, — иди во Кремль работать, ежели тута не нравится.

— Какой находчивый, — отозвалась вторая, говорившая нараспев.

— Во Кремль! — говорю. — Во Кремль! Во Кремль! «Чем тебе, — он говорит, — Кремль не нравится? Будешь там шубы от снега веничком обмахивать. Ты женчина народного происхождения, тебе доплачивать будут за народную фигуру».

— Глите-ка! И где так навострился?! — удивлялась вторая. — Самого-то соплей перешибешь, а на

народную фигуру хвост подымает. Где бы его так скараулить, чтоб промеж себя давнуть невзначай. Пускай бы поосторожней с народной фигурой…

А поверх леса издалека доносился то частый стукоток поезда, то нежный затихающий перезвон колоколов, и стоял сытый, утробный гул большого города. Быстро мерк серый свет, загорались дрожливо, как ранние звездочки, ранние огни, расходились длинными мерцающими гирляндами, пока не превращались в одно широкое зарево — точно у горизонта горела земля. Грустно было, как из клетки, смотреть и слушать, но еще грустнее было думать, что с такой же неизлечимой тоской придется ему смотреть неведомо куда и из окна своей квартиры и убеждаться всякий раз, что ждать больше от жизни нечего. В большом городе, напоминающем руины одного гигантского сооружения с пробитыми наспех ходами, смотреть в окно — это смотреть в безысходность. И только, отойдя, среди родных голосов и лиц, можно успокоиться и вновь сказать себе, что самое главное теперь — дожить достойно. Теперь, когда из недр жизни изверглось все зло, копившееся там столетиями, и обрушилось на каждого человека потоками, тем более нужно было спастись от него во что бы то ни стало и доказать всему миру и себе, что не все склоняется перед победившей злой волей.

По длинному коридору бродили, расхаживаясь, больные — согнутые в пояснице, ступающие осторожно, чтоб ничего в себе не разбередить и не расплескать, с выглядывающими из-под курток полиэтиленовыми мешочками на бедрах, перекладывающимися при шаге и булькающими. Выходил к ним и ослабевший Алексей Петрович, так же сгибался и так же шарил ногами по полу, так же вполголоса говорил. В госпитале подобное же шествие состояло из одних только стариков, здесь было много молодых, одетых в яркие спортивные

костюмы, говоривших свободней, громче, но тоже с застывшими в болезни лицами. И еще одно заметил Алексей Петрович: дооперационные держались своей группой, послеоперационные, смотревшие веселей и начинавшие подшучивать друг над другом, — своей. Постоянно торопились, пробегая, медсестры, врачи, бренчал телефон то на одном посту, то на другом, катили бренчащие склянками тележки, несли на вытянутых руках на высокой подставке капельницу, вспыхивали над палатными дверями лампочки вызова медсестер — и двигалась, двигалась вдоль стены, шаркая ногами, словно в ритуальном шествии, согбенная колонна в семь — восемь фигур, а за нею еще одна…

Алексея Петровича нещадно кололи, но горячая тяжесть под швом не расходилась, особенно давая себя знать, когда он поднимался на ноги. Но ему показывали снимки, и на них темное пятно инфильтрата начинало постепенно подтаивать и слабеть. Он еще больше поверил, что обойдется, хотя врач по-прежнему был осторожен в предположениях. Но есть в нас какое-то органическое самослышание, которое подбадривало Алексея Петровича.

Не дождавшись однажды лифта, он обнаружил широкую мраморную лестницу с медным, ярко надраенным ободом перил над металлическим, выкрашенным черной краской кружевом литья — точно парадный вход в залу для бала. И будто припрятанный выход нашел — так его опахнуло надеждой. По этой лестнице, останавливаясь и набираясь сил, он спустился в библиотеку и взял старого, дореволюционного издания Достоевского о князе Мышкине. Приходила жена, и он провожал ее по этой же лестнице. Жена залюбовалась широкими, во всю стену, окнами на площадках, она любила, когда много света, и Алексей Петрович удивился, почему он не

обратил внимание на окна. Внимание все-таки было суженным.

Опять, подменяя кого-то, не в свой черед вышла на дежурство Татьяна Васильевна и рассказала, как ее внучку, третьеклассницу, выживают из родной школы.

— Сделали из школы гимназию, для богатых, — Татьяна Васильевна с хрустом обламывала стеклянные игольчатые горлышки у ампул и втягивала лекарства в баллончик шприца. — Сделали и давай чужих вытеснять. А какие мы чужие, школа всю жизнь была для нашего района, у меня еще дочь там училась. А они со всего города туда на лимузинах. Ой, какие лимузины, Алексей Петрович! На улице в потоке не заметно, а как соберутся вместе — выставка! Выставка... — глуше повторяла она, наклоняясь над Алексеем Петровичем и моментально делая свое дело. — Еще с осени объявили Наташку умственно отсталой. Это она-то умственно отсталая, она очень умная девочка. Мать осенью отказалась забирать. А им классы нужны маленькие, чтоб лучше учить. Так что придумали... Вчера — родительское собрание, дочь моя Вера пошла. Опять: недоразвитая у вас девочка, у нас останутся одни умственно-передовые. И объявляют: с сентября платное обучение. За валюту. Вот так, Алексей Петрович, за валюту, — с твердым и беспомощным подчеркиванием закончила она, с бряком опуская использованный шприц в ванночку. — А мы — безвалютный люд, от валютного все вытерпим.

* * *

Соседа привезли перед обедом. Когда переваливался он, поддерживаемый сестрами, с каталки на кровать, нельзя было не заметить, что за два дня он стал меньше, совсем как подросток. И только большая голова на обвисшем коротком теле,

делавшая его головастиком, напоминала о прежней налитости. Он отдышался в кровати и скосил на Алексея Петровича пожелтевшие глаза.

— Ну, как, сосед, живем? — запавшим и треснувшим голосом спросил он и повел рукой вниз, к ране.

— Живем… куда деться? Как операцию перенесли?

— Как!.. Руки-ноги свяжут, нож острый наточут и вспарывают. Переноси, если жить хочешь. Вот такой булыжник выворотили, — похвалился он, показывая, какой. — Больше голубиного яйца. Хирург на память обещал.

Сквозь боль слышалось в его голосе удовлетворение, гордость: перенес, через такой перевал перевалил!

Ночью Алексей Петрович проснулся от грохота упавшего стула. Белая фигура, сидевшая на кровати, низко склонялась и снова выпрямлялась, что-то вышаривая на полу. Потом поднялась в рост и тяжело ступила. Алексей Петрович торопливо нажал на кнопку под правой рукой, услышал, как в коридоре за дверью тревожно пропел звонок, и стал подниматься. Вошла медсестра, оставив дверь приоткрытой, и, вглядываясь, нашла две стоящие друг против друга фигуры. Она щелкнула выключателем и закрыла дверь. Но кинулась спросонья к Алексею Петровичу, вытягивая руки, чтобы усадить его, уже коснулась Алексея Петровича, но, дернула головой тем резким рывком, который выдает мгновенное опамятование, развернулась и пошла на соседа. Это была та маленькая, пожилая неукротимая сестра, которая все делала бегом. Как она сгребла своими детскими ручонками соседа, где нашла силы, чтобы его, сопротивляющегося, пытающегося устоять, мягко усадить, прижать и осторожно завести в кровать ноги, приходилось только удивляться. Помощь Алексея Петровича не понадобилась.

— Лежи, лежи, миленький, — приговаривала она, продолжая удерживать соседа силой. — Вот блуда. Нельзя тебе подниматься. Мы что с тобой потом делать будем?

Сосед что-то невнятно бормотал. Потом затих.

— Он что — себя не помнит? — спросил Алексей Петрович.

— Это остатки наркоза. Он может долго действовать, — прибирая крашеные какой-то яркой желтизной короткие волосы и нахлобучивая на них шапочку, быстрым говорком объясняла сестра. — Вы не против, если я дверь оставлю приоткрытой? Боюсь, что это не все.

И это действительно было не все. Сосед ненадолго успокаивался, шумно дыша и пуская хлюпающий храп, затем голова его приподымалась, руки начинали шарить, сползали вниз ноги. Алексей Петрович трижды еще жал на звонок, вбегала сестра, укладывала без особого труда, приговаривая: «Куда, куда, лунатик? А на место не хочешь?» — вжимала больного в постель так, что стонали пружины кровати, вставала подле недолгим караулом и неслышно выходила. Кончилась вся эта возня уколом, утихомирившим соседа до позднего утра. Алексей Петрович больше не уснул. Он слушал, как просыпается огромное, многоэтажное, многоклеточное, заполненное до отказа, вместилище болезней, называемое больницей: глухим хлопком стучала дверь служебного входа, скользил по шахте лифт и щелчком тыкался кабиной в этаж, дзинькала дужка ведра, кто-то приглушенно охал... И видел он каким-то особым зрением, как соступает с лифта на выложенную золотистой плиткой площадку молодая, совсем юная девушка в уличной короткой куртке, высоко открывающей ноги, как входит она в сестринскую и начинает переодеваться в белое и в пять минут преображается в ангела, но черные волосы ее по-

прежнему раскинуты, движения замедлены. Она приходит раньше, чтобы выпить перед дежурством кофе, и ждет, когда забурлит под электричеством подаренный кем-то из счастливых больных маленький, литровый чайник с торчащим полукругом ручки... А в конце коридора начинает возить шваброй по толстому, глухо закрывшему половицы линолеуму под паркет тяжелая на вид пожилая женщина, совсем старуха. Она отжимает над ведром тряпку и взмахом выбрасывает ее перед собой. Лицо у нее отечное, полное, зубы сжаты, потрепанная темно-синяя юбка от размашистых движений задирается, показывая под грубыми чулками на резинке белое дряблое тело, буграми перекладывающееся в работе вперед — назад. Женщина живет неподалеку от больницы и приходит рано; потом она тоже выпьет стакан горячего чая, согретого к тому времени в столовой, и, прихлебывая, станет равнодушно наблюдать, как натаптывают только что вымытый коридор. Будет среди них, среди тех, кто не заметит ее работы, и Алексей Петрович.

За два дня Алексей Петрович привык к одиночеству, и возвратившийся в палату сосед стал занимать еще больше места, чем прежде. Но и жаль было его, даже спящего, храпящего и стонущего одновременно на два голоса, лежащего на спине как-то обломленно и смято, с мукой на обросшем сединой лице. Ничего из своих ночных куролес он не помнил. И когда Алексей Петрович, не вдаваясь в подробности, сказал ему, разбуженному для укола, что ночью он вставал на ноги, тот испуганно вскрикнул:

— Да мне же нельзя!

— В том-то и дело, что нельзя. Как вы себя чувствуете?

— Не мог я себе навредить? — спросил сосед, не отвечая.

— Думаю, что обошлось. Иначе вы бы давно проснулись.

Алексей Петрович читал газеты, за которыми теперь спускался сам. И, читая, обжигался болью, другой, не телесной, горячим ветром обносившей грудь, откидывался обожженно на подушку и терзал себя: как же это могло случиться? Как случиться могло, что на самую дешевую наживку поддались и пошли крушить, и пошли… И кому поддались?! Господи, их только послушать, на них только посмотреть! В любой деревне пустоболта за человека не считали, имели же глаза и уши, чтобы оценить. А когда собралась куча пустоболтов, один другого развязней, один другого корыстней, что за наваждение нашло?! И бил, бил в голову, наяривая лихо, развеселый мотив: «Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить; с нашим атаманом не приходится тужить!»

— Что пишут? — спрашивал сосед, взглядывая искательно: вдруг Алексей Петрович смилостивится и принесет и для него газеты. Алексей Петрович делал вид, что не понимает, и отвечал сердито:

— Добивают Россию. Доламывают.

— Через тяжелый период пройти надо…

— И куда выйти? — подхватывал Алексей Петрович. — В пустыню? В сплошные развалины? Они же не строители, они не умеют строить. У них профессия такая, талант такой — разрушать! Да, — спохватился он, — вы-то ведь строителем были. Вы можете отличить: или выкладывают стены, или бьют по ним чугунной бабой!

— Я строитель и знаю, что без чугунной бабы на нулевом цикле не обойтись.

— Вот правильно: нулевой цикл. Не дальше нулевого цикла.

— Да вы хоть знаете, что такое нулевой цикл?

Они уже кричали друг на друга. Сосед перекинул через голову руки, ухватился за спинку кровати и подтянулся, чтобы освободить голос, звучащий сдавленно и пискляво. Алексей Петрович поднялся и перебирал ногами, словно собираясь рвануться. И вдруг враз умолкли — будто увидели себя со стороны. Продолжать было опасно.

— Включите мне, пожалуйста, телевизор, — подчеркнуто вежливо попросил сосед.

— Отдохните, — раскланиваясь, не уступая соседу в вежливости, отвечал Алексей Петрович. — Вам вредно.

И одновременно с удивлением наблюдал за собой: зачем же так?

Удивился и сосед:

— Алексей Петрович, ведь вы же не в лесу!..

— Вот именно. Там мы ваши срамотильники не держим на соснах, на елках не развешиваем. Поэтому у нас звери порядочнее людей.

— Да считайте, как хотите. Но телевизор-то включить можно?

— Отдохните! — Алексей Петрович не узнавал себя, не понимал своего упрямства, уже представлял, как он будет потом мучиться от стыда, — и стоял, как пень, на своем.

Он не заметил, когда сосед нажал кнопку. Вошла сестра, Татьяна Васильевна, наклонилась над соседом:

— Болит, Антон Ильич? Обезболивающее сделать?

— Сделать! — сердито отвечал он. — И включите мне, пожалуйста, телевизор.

Сестра выпрямилась и, обернувшись, напряженно и вопросительно смотрела на Алексея Петровича. Он кивнул.

И вышел.

* * *

Солнце то выглядывало из-под тающей алой зыби неба, то снова терялось в ней, как в волне; срывалось вдруг откуда-то бледное солнечное пятно, бежало по аллее, вспрыгивало на ярко-голубую, свежевыкрашенную скамейку и взметывалось на черную стену леса. Парк расходился на все четыре стороны, и с трех сторон разрезали его широкие аллеи с асфальтным полотном машинной дороги, по бокам которой тянулись пешеходные дорожки с часто расставленными скамьями. Дорожки уходили и в лес — и там яркими пятнами с натоптанной подле залысевшей землей стояли скамейки, и туда тянулись на белых легких опорах с выгнутыми шеями перевернутые чаши светильников.

Алексею Петровичу еще вчера позволили гулять, еще вчера он отыскал и перенес в раздевалку плащ и теперь, одевшись, впервые вышел на воздух. Вначале показалось, что свежо, так и дохнуло на него сырой струей, как только вышел, но это и естественно было после недельного лежания, а до того — с маленьким невольным перерывом после лежания месячного в непродуваемой комнате с застоявшимся духом болезней, после кидающих в жар лекарств и не менее кидающих в жар рассказов о том, что бывает, если застудить и воспалить место, где скрывался его незабвенный дивертикул. Но скоро он попривыкнул — нет, хорошо: дышит земля, дышит лес подсыхающей прелью, дышит раскрывающееся небо, воздух полон сладких запахов весеннего брожения и дурманит голову, бередит горло. Алексей Петрович вышел на одну аллею, перешел на другую — все асфальт, и земля не пружинит под ногами, не хрупнет сучок, не блеснет серебристо в сыром углу на месте вытаявшего снега тенетистое кружево… Он вспомнил, что видел из своего окна сквозь голые деревья полосу воды, и пошел туда, где она могла быть. И вышел к маленькому прудку с

темной водой, с крошечным насыпным островком посередине и перекинутым к нему горбатым деревянным мостиком. Тут и солнце ударило, золотистыми блестками засветив прудок и делая его еще более сказочным. Стало совсем тепло.

Алексей Петрович нашел удобную скамью — и пруд виден вместе с островком и мостком, и сам он спрятан в глубине уютной освещенной полянки — и опустился на нее, глубоко откинувшись на низкую спинку. Все было рядом — и небо, сгоняющее тучи влево, к востоку, и веселое зеркальце пруда, отороченное, как рамой, маслянистой полосой ила, и две березы на левом его полукружье, низко склоняющие над водой ветви, и железная решетчатая ограда фигурного литья за прудом, и голоса людей с аллеи справа... И так хорошо было, отдавшись солнцу, закрыть глаза и чувствовать, что все это рядом.

Он задремал, но слышал шаги слева, слышал, как уселись там на такую же скамейку, развернутую на дорожку, торцом к пруду.

— Витька! Витька! — донесся счастливый и плачущий молодой женский голос — Как же ты прошел?

— Что же тут не пройти? — отвечал возбужденно Витька. — Я к тебе в любую темницу пройду.

— Почему в темницу?

— В светлицу. Если бы там в древнем замке на краю скалы сторожили тебя драконы — я бы и туда прошел. Мимо Змея-Горыныча и всех его двадцати пяти голов.

Она, не сдерживаясь, заплакала сильней:

— Я тебя люблю, Витька.

— Ну, что за беда, — с нарочитой небрежностью отвечал он. — Я тебя тоже люблю. От этого не плачут.

— Я слабая. И я все еще боюсь.

— Не бойся, Леся, проехало. — Парень еще что-то добавил, но Алексей Петрович не расслышал. Он не хотел подслушивать, но еще более не хотелось ему,

пригревшемуся и завороженному, подниматься и переходить. Да и их он бы вспугнул.

— За что они так тебя? — спрашивала она.

— Ты же знаешь: мозги у нас с тобой не туда повернуты. Не то делаем, не так делаем. Знаешь ты, Леся.

Она помолчала и натянуто спросила:

— Ты скрываешься?

— Нет, — быстро сказал он. — Это пусть они скрываются. Я на своей земле.

— Скажи мне правду, Витька…

— Я тебе правду говорю. Правду, правду и одну только правду. — Он говорил прерывисто, должно быть, лаская ее. — Поправляйся скорей. Придет лето — поедем мы с тобой на Валаам. Там и обвенчаемся. Дадут нам келью, мне на подворье обещали. Рядом, под маленьким окошечком, будет плескаться вода. Кругом ни одной чужой души, все свои. Ты там быстро окрепнешь.

— Витя, а ты на подворье скрываешься, да? Скажи мне.

Твердо, по-мужски:

— Я нигде не скрываюсь, даю тебе честное слово. Ты поправляйся, не думай об этом.

Они умолкли, и надолго. Булькнуло: кто-то бросил в воду камешек. Шелестели за деревьями голоса гуляющих по аллее, с фырканьем пронеслась стайка воробьев. И все теплее, все спокойней и ласковей пригревало солнце. Алексей Петрович опять задремал. Снова заговорили с соседней скамьи, но о чем, он не различал, и снова девушка плакала, а мягкий рокоток парня успокаивал ее. Все было как во сне. И, как во сне, где-то далеко-далеко раздался колокольный звон, сначала мерный, важный, потом все быстрей, все тревожней, собирая голоса, которые принялись вторить ему: бом-бом-бом!

Алексей Петрович напрягся. Голоса то отдалялись, то снова сливались со звоном, словно птицами летая вокруг, подныривая и устремляясь ввысь, чтобы возгласить оттуда:

Бом, бом, бом — спешите в храмы Божии,
Бом, бом, бом — пока еще, пока еще звонят.

Звон умолк. В тишине девушка попросила:
— Включи.
— Ты опять будешь плакать.
— Я постараюсь. Включи.
Алексей Петрович окончательно очнулся. И, скосив глаза, увидел поверх решетчатой спинки скамьи две склоненные друг к другу головы — одну в белой вязаной шапочке и другую — непокрытую и крупную, в ежике русых волос. Снова ударил звон. «Да это же кассета, песня», — догадался Алексей Петрович. Ударил звон, и парень с девушкой, накинув на плечи друг друга руки и еще теснее прижавшись, повели вместе с глубоким, грудным, красиво и сурово вопрошающим голосом певицы:

Бом, бом, бом — где ж вы, сыны русские?
Бом, бом, бом — почто забыли мать?
Бом, бом, бом — не вы ль под эту музыку
Бом, бом, бом — шли парадным шагом умирать?!

Девушка, склонившись, заплакала навзрыд. Парень выключил запись. Алексей Петрович, уже не таясь, смотрел в их сторону. Парень успокаивающе водил рукой по спине девушки и в оцепенении глядел куда-то прямо перед собой.
…Полгода потом Алексей Петрович будет искать эту песню, спрашивая в кругу, где могли ее знать, пока однажды вовсе не молодой человек, сверстник Алексея

Петровича по возрасту, не расскажет ему о монахе Псково-Печерского монастыря Романе, который сложил и эту песню, а вместе с нею и многие другие для попечения о запущенной русской душе.

В ТУ ЖЕ ЗЕМЛЮ

Крайней улицей микрорайон выходил на овраг, обширный и пустой, лежащий огромной неровной впадиной. Его можно было принять за заросший карьер, но нет, грунтовой выемки тут никогда не было, так устроилось природой. Вокруг этого города, блиставшего в свое время славой великой стройки коммунизма, земля перебучена и перелопачена на десятки километров, здесь вбили в русло гигантскую плотину для электрических турбин, построили огромный алюминиевый завод, лесопромышленный комплекс, до десятка других крупных заводов, но и здесь кое-где остались участки нетронутой земли. Одним из них и был этот овраг, заросший среди глинистых проплешин обдерганными кустами ольхи, осинником да крапивой. Город с двух сторон полукругом подступил к нему и остановился. На третьей, на южной стороне, где ходило солнце, противоположной микрорайону, сразу за оврагом тянулся в гору сосняк, вблизи города побитый, с частыми следами кострищ и палов, но все-таки живой, отрадно зеленеющий и зимой и летом.

В прежние годы, когда еще делались попытки приукрасить жизнь, у обрывистого края оврага, где микрорайон, соорудили спортивный трамплин для прыжков с лыжами. И прыгали, пружинисто выбрасываясь в воздух, и летели на птичьей высоте выгнутыми вперед фигурами, насаженными на лыжи, и,

приземляясь, взрывали снег и долго катились под уклон. На трамплин со всего города собирались мальчишки, здесь всегда было шумно, весело и колготно. Потом, когда жизнь открылась сплошной раной, трамплин забросили, и металлическая ферма его теперь торчала голо и мертво, как скелет.

Как раз напротив трамплина через дорогу, в первом подъезде длинного пятиэтажного дома, делающего поворотный изгиб вместе с дорогой, глухой ночью горел на третьем этаже свет. В городе ночным светом никого не удивить. Но на этот раз весь огромный дом был темен, весь он утонул во мраке ночи, смешанном с мраком тумана, и два одиноко светящихся окна, едва пробивающихся сквозь туман, ничего, кроме тревоги, вызвать не могли. К этой поре все засыпают, и в эту пору без беды или болезни не поднимаются.

Тяжелая фигура женщины с непокрытой головой выступила из тумана, обтекающего дом, еще раз бросила взгляд на окна, с усилием поднялась по каменным ступенькам к разверстому входу и полезла по лестнице. Дверь в подъезд была сорвана, свет внутри не горел, подниматься приходилось ощупью. Она открыла незапертую дверь в квартиру, после свежего холодного воздуха потянула носом, принюхиваясь, и, пройдя мимо закрытой слева двери, вошла во вторую комнату, сбросила отсыревшую темную куртку на узкую продавленную кушетку, стоящую за дверью справа, упала на нее сама и только теперь, словно в назначенную минуту, тяжким прерывистым стоном заскулила по-собачьи, закрывая рукой рот, чтобы не услышали.

В первой, в маленькой комнатушке лежала покойница, мать этой женщины, самой ей было под шестьдесят, но не о матери, зажившейся на свете и скончавшейся несколько часов назад, плакала эта рыхлая мужиковатая женщина, не себя она жалела,

никогда не снисходя до жалости к себе, а, сильной, ко всему привыкшей, не хватало ей сил, чтобы подступить к страшной тяжести приближающегося дня. Она и на улицу выходила, чтобы движением облегчить ее, эту тяжесть, и только сильнее еще придавилась. Не хватало воздуха, нечем было дышать.

Звали эту женщину Пашутой. Имя, как и одежда, меняется, чтобы облегать человека, соответствовать происходящим в нем переменам. Была Пашенька с тонкой талией и блестящими глазами; потом, войдя в возраст, в замужество, в стать — Паша; потом один человек первым подсмотрел — Пашута. Как фамилия. Так и стали называть, порою не зная, имя это или фамилия. «Это сытно звучит. И сама ты баба сытная», — говорил в похвалу тот самый человек, который окрестил ее Пашутой.

Накануне вечером Пашута воротилась домой поздно, уже в темноте, доходил десятый час. Поехав в город, она не собиралась задерживаться. Но не утерпела и зашла в свою столовую, а там девчонки пригласили поработать вечером на спецобслуживании. Спецобслуживание — это когда снимают столовую для события. Какое было событие, Пашута не разобрала, как ни прислушивалась к тостам. Праздновала какая-то незначительная организация, гуляли и невесело, и скромно, но Пашуте пришлось возиться с посудой чуть не до конца, пока не понесли мороженое. Девчонки и ей сунули в баночке два комка мороженого. Девчонки — по привычке, по старой памяти, когда они действительно начинали девчонками, половина из них уже в бабках. В сумке у Пашуты лежал еще и пакет с пловом, выскребенным из остатков в котле. Приходилось не брезговать и этим. Тыкавшая себя постоянно в свое униженное положение, Пашута корилась, что она и в столовую продолжает ходить ради подачек. Но это неправда. Всю жизнь проработавшая в столовых и

почти десять лет проработавшая в этой, последней, она скучала без нее, никак не могла отвыкнуть от «ада», как дружно все они проклинали чад и смрад, жар и пар среди печей и котлов, густых и одуряющих запахов пищи, впитывающихся в тело, по нескольку часов на ногах. В столовых она сполна прошла весь трудовой путь от заведующей до посудомойки. Путь в обратном направлении. В двадцать лет, среди восемнадцатилетних, — заведующая, и два года, уже с пенсией, — посудомойка. Месяц назад ее рассчитали. Столовая была кормным местом, в нее напрашивалась и молодежь, а у Пашуты совсем стали отказывать ноги. Девчонки бы еще постояли за нее, но и их ожидала та же участь. Хозяином столовой становился Казбек, гибкий, поигрывающий телом молодой человек из кавказцев с пронзительными глазами на узком птичьем лице. Дело шло к приватизации и перестройке в ресторан — и уж тогда в городе, кроме заводских, не останется ни одной столовой.

Девчонка была дома, когда Пашута вернулась. С нею жила внучка, учившаяся с сентября в педагогическом училище. Но родных детей у Пашуты не было, она брала приемную дочь, когда жила семьей; внучка от приемной, родная и не родная, без кровной близости. Мать ее, Анфиса, ушла в замужество в леспромхозовскую деревню, за двести километров от города, там и осталась, потеряв мужа. В Пашуте она видела воспитательницу, но не мать, матерью и не называла. Но вот удивительно: чем больше она отдалялась от приемной матери, тем больше на нее походила. Такая же внешне вялая, но с твердым характером, так же тянет в разговоре слова, такой же замедленный шаг. И такое же безмужество, только от Пашуты муж ушел, у Анфисы утонул, оставив ее с двумя маленькими ребятишками. Пашута догадывалась, что, обижаясь на свою неудавшуюся жизнь, Анфиса за это

сходство в том, что она не любила в себе, не любила и ее, Пашуту.

Но за девчонку Пашута простила бы ей вдесятеро больше. За то, что она прислала на учебу пятнадцатилетнюю Таньку. С нею как-никак посветлела жизнь. Вот почему в семье нужны дети. Разве бы обрадовалась она так мороженому, доставшемуся с чужого стола, разве бы торопилась так домой, чтобы оно не успело растаять? Не мороженое она несла ей, а свою нежную душу, устроенную грубо, свою ласку, не умеющую себя показать.

Танька была с подружкой из какого-то дальнего подъезда в этом же доме. Подружка, по имени Соня, хорошо шила, и Пашуту эта дружба не тревожила. Она вручила девчонкам мороженое, и те от восторга завизжали, запрыгали.

— Бабуля, ты где взяла? — приплясывала Танька. — Ты где украла?

— Украла и есть, — усмехнулась Пашута и пошла к матери, лежавшей за закрытой дверью.

Вернулась она скоро, спросила у Таньки:

— Ты давно дома?

— Уж скоро час. Мы у Сони были.

— К старенькой бабушке заглядывала?

— Заглядывала. Она спит.

Пашута ушла в кухню и, высматривая оттуда, ждала, когда девчонки доедят мороженое. И — обратилась к подружке:

— Ты Таню не сможешь на ночевку взять?

— Бабушка, зачем? — удивилась Танька. — Я не хочу никуда идти.

— Надо! — грубо оборвала ее Пашута. — Из бабушкиной деревни приехал один человек, мне некуда его положить. Врала — и зачем врала? — с перепугу, что ли?

— Я могу на полу, — предлагала Танька.

— Нет, уходи! Уходи, Татьяна... Я тебе потом все расскажу. Не будут твои родители ругаться? — она не спрашивала у подружки, а поторапливала.

— Нет, нет, не будут.

И смотрела неотрывно, как девчонки испуганно и торопливо собираются. У двери Танька обиженно буркнула:

— Сначала мороженое, потом уходи...

— Погоди-ка! — Пашута задержала Таньку и отвела ее от подружки. — Дай ключи. Без меня не приходи. Я буду вечером. Ты все поняла?

Аксинья Егоровна скончалась тихо, во сне. Не пришлось и глаза закрывать. Так ее намаяла, так изъездила жизнь, что она в последний месяц и не знала, живет она или не живет. Оскудевшая телом, высохшая, с бескровным желтым лицом, с руками в обвисшей коже, похожими на перепончатые лапки, она лежала в кровати как в усыпальнице и по большей части спала. Сначала ее поднимали к столу, вели в кухню, Танька заговаривала с нею, пытаясь расспрашивать, но она в ответ только растягивала под глазами морщинки, что выходило прежде улыбкой, говорила тихо и услужливо нитяным тонким голоском и просилась обратно в кровать. Эти выходы доставляли ей мучение, и ее оставили в покое, стали приносить еду в постель. Ела она так помалу, уже не испытывая потребности в пище, что тепло в ней со дня на день должно было дотлеть.

И вот оно дотлело. Пашута широкой большой рукой гладила мать по маленькой, быстро остывшей голове, по ввалившимся щекам, по подвязанному подбородку и думала, думала... Она и сама, казалось ей, постепенно закостеневает в мумию и уже не способна отдаться горю. Произошло то, что и должно было произойти. Но, как ни ожидала она его, как ни смирилась давно уже с ним, она не была к нему подготовлена. Ничего в ней не

было готово к тому, чтобы встретить материнскую смерть. Не врасплох и все равно врасплох. Мать так долго оттягивала неприятность, которую она доставит дочери своей смертью, что Пашута и дальше собиралась оставаться в этом удобном ожидании. Впрочем, ничего она не собиралась. А безвольно тащилась по дням своей расползшейся фигурой, делая только самые необходимые движения. И к чему-то готовиться, что-то предупреждать она разучилась.

Не смерть матери ее ужасала, нет, а то тяжкое и властное, что надвигалось теперь со смертью, то, как обладить двухдневные проводы до окончательного прощания. Но и после прощания — девятины, сороковины, полгода, год… Существуют давние, крепче всякого закона, календарь и ритуал проводов. В городе живых заведено немало служб, принадлежащих, в сущности, тому свету, в которых заняты люди, устраивающие туда дорогу. Мертвый не имеет права считаться мертвым, пока не выдано свидетельство о смерти. По этому свидетельству его отвезут в морг, там, окаменевшего и униженного в смерти последним, самым жестоким унижением, окатят из шланга водой, воткнут в принесенную одежду; по этому свидетельству на фабрике ритуальных услуг подберут гроб, украсят его по одному из пунктов ассортимента и подадут под тело; по этому же свидетельству на кладбище выроют могилу в такой тесноте мертвых, что на похоронах натопчешься всласть на соседях… И всюду заплати. В морг, наверное, можно не возить, а всего остального не миновать. Там миллион заплати и там миллион с полмиллионом, а там только полмиллиона и еще семь раз по полмиллиону. Меньше нигде не берут. Но откуда у Пашуты такие деньги? У нее нет их ни в десятой, ни в сотой доли. Где она их возьмет?

Но и это еще не все. Чтобы быть прописанным на городском кладбище, надо при жизни иметь прописку в

городе. А у Аксиньи Егоровны ее не было. Она не имела права здесь умирать. Пашута, как и до того трижды привозила ее, привезла мать на зимовку; одной ей в восемьдесят четыре года отапливать и обихаживать себя в деревне было непосильно. Но как только отогрева-лось солнышко и вскрывалась ото льда Лена, Аксинья Егоровна рвалась обратно. Никакими уговорами или запугиваниями удержать ее было нельзя — скорей, скорей на волю из ненавистной каменной тюрьмы, скорей взойти на свой порожек, надышать избу своим духом, и хоть букашкой ползать, да по натоптанным родным тропкам. Нынче, приехав за матерью, Пашута не могла не видеть, что матери едва ли суждено вернуться, но разве позволила бы Аксинья Егоровна себя из деревни выписать! Да и как Пашута стала бы ее выписывать, если деревня, продолжая еще стоять под небом, под государством больше не стояла?! Не было здесь ни колхоза, ни совхоза, ни сельсовета, ни магазина, ни медпункта, ни школы — все унесло неведомо куда при новых порядках. Отпустили деревню на полную, райскую волю, на безвластье, сняли подчистую вековые держи, выпрягли из всех хомутов — гуляй на все четыре стороны! Хочешь — объявляй свое собственное государство, хочешь — отдавайся под руку Китая. Не было сюда летом твердой проезжей дороги, а зимой заносило снегами так, что не пробиться и танкам. Мужики промышляли в тайге, брали в Лене рыбу — этим и жили. И пили, пили…

Земли, угодья здесь завидные. С этого воля и начиналась, что выглядели богатство, позавидовали и добились, чтобы колхозные земли отошли сначала в подсобное хозяйство крупного машиностроительного завода… Но завод по дальности и бездорожью не потянул. Передали новому хозяину — БАМу. БАМ тогда по своей силе мог осваивать Луну, не то что ленские просторы. Погнали в деревню технику, повезли кирпич,

принялись строить новую ферму и овощехранилище, на берегу поставили причал, одарили местный народ бамовскими льготами. Что под таким хозяином не жить?! И никто не подозревал, в том числе и хозяин, что можно полететь в яму в считанные месяцы. Ничто стало не нужно — ни строительство дороги, ни подсобное хозяйство; рабочие кинулись врассыпную с великой стройки, а деревне куда деться? С землей, с волей, беспривязная, брошенная — залегла она под ленский берег и ждет, все меньше и меньше трезвясь с непривычки к свободе, кому бы отдаться, чтобы хлеб привозили?..

Тем паче из такой деревни надо было вывозить мать окончательно. Пашута это видела. Она и собрала ее на всякий случай так, что можно было не возвращаться... Но какая тут выписка, какая прописка, в какое государство обращаться? Должно быть, ехать требовалось в район, а это в обратную сторону, им с матерью предстояло спускаться по течению к железной дороге. Да и когда это бывало, если даже поехать, что поехал и справил дело?

Пашута сидела и сидела возле матери, словно советуясь с нею, что теперь делать, как быть, а рука все тянулась прикоснуться, приласкать. Немного в жизни досталось Аксинье Егоровне ласки от дочери. В восемнадцать лет убежала на стройку — и зачем? — щи варить да камбалу жарить веселым, дерзким и прожорливым строителям коммунизма. К матери приезжала редко и, сунув гостинец, сразу рвалась обратно, в шум и гам несусветной толчеи, без которой уже не могла обходиться, в общежитие, не понять, мужское или женское, которое сделалось ближе родного дома. Почти десять лет то в общежитии, то в бараке, таком же веселом и холодном. Квартиры противоречили романтике, а когда через годы и годы стали даваться рабочим, давались, как и положено, в

первую очередь детным семьям. А у Пашуты детей не было. Ее Бог наказал за аборт. В такой колготне, «навстречу утренней заре по Ангаре, по Ангаре», семьи могли держаться только ребятишками. Пашута разошлась, не осознав толком, что выходила замуж, с первым мужем, с безалаберным бетонщиком из моряцкого отряда (на стройку приезжали бригадами, классами, выпусками, отрядами), путавшим жену с девчонками, только через три года вышла снова — за бригадира взрывников, человека много старше себя, с которым из барака переселились наконец в квартиру. Этому помогла приемная четырехлетняя девочка, взятая из приюта. Но не ради квартиры удочерила ее Пашута. А поняла, что своих детей ей не иметь, надо строить на будущее подпорки. Взрывник оказался мужиком едким, насмешливым, они часто ссорились, и она мало удивилась, когда, уехав в командировку взрывать диабаз для котлована соседней стройки, он не вернулся.

Так что же делать?

Где-то пропищали сигналы, возвестившие наступление круглого часа. Одиннадцать или двенадцать? Все равно. Все равно надо подниматься. Пашута вышла в прихожую и с испугом увидела себя в зеркало. Тюха, даже зеркало не завесила! Вот тюха так тюха! Но перед тем как завесить, она вгляделась в себя: широкое, затекшее лицо, некрашеные пегие волосы, которые были когда-то черными до цыганской черноты с синим отливом, забитые тоской глаза, над верхней губой знак какого-то внутреннего неряшества — бабьи усы. Она никогда не была красавицей, но была добра, расположена к людям, и эта доброта вобрала в себя и обрисовала все черты лица, делая его привлекательным. И в возраст вошла — была миловидна с блеском больших карих глаз и со спадающими на высокий лоб завитками волос, с чувственно

оттопыривающейся нижней губой. Трудно поверить, что еще десять лет назад тело ее оставалось без всяких упражнений и диет подобранным и чутким. Девчонки в столовой завидовали: «Ты, Пашута, ртом дыши, ртом, изнутри вздувай фигуру, чтобы она загуляла».

Сейчас ее можно принять за сильно пьющую, опустившуюся, потерявшую себя. Но в водочку Пашута не окуналась. Так разве рюмку-две когда по случаю, и то без удовольствия. А что потеряла себя — да, потеряла. В одиночестве это происходит быстро. Человек не может быть нужен только самому себе, он — часть общего дела, общего организма, и когда этот живой организм объявляется бесполезным, обмирают и все его органы, существовать внутри своей функции они не в состоянии.

Выходя на улицу, Пашута вела себя, направляя — куда, по какой дороге идти, как обойти прохожего, куда поставить ногу, чтобы войти в автобус, но как только необходимость наблюдать за собой отпадала, глаза обращались внутрь, в темноту и боль.

Приезжая за матерью в деревню, чтобы взять ее на зиму в тепло, она спрашивала по обычаю у окоченевшей в одиночестве Аксиньи Егоровны, сидевшей не в избе на кровати, а на крылечке под солнышком: «Ну, как ты, мать?» Аксинья Егоровна отвечала:

— Сидю и плачу.

Глаза ее были сухи, она плакала в себя. Это там все болело и стонало в муке, которая уже становилась привычной. Пашуте нечем было ее утешить. Аксинья Егоровна и не поняла бы утешения. Не везде, не ко всем членам доставала теперь в ней кровь, но боль, продолжающая жизнь, обтекала каждую клеточку.

Господи, но как же просто было бы сейчас в деревне! Как близко там почившему от дома до дома! Снесли бы Аксинью Егоровну на руках, положили просторно среди своих, деревенских, и весь обряд был

бы дорогой к родителям, а не хождением по мукам, по хищникам-разбойникам, наживающимся на смерти. Там бы и небо приспустилось над Аксиньей Егоровной, труженицей и страдалицей, и лес бы на прощанье помахал ветками, и дых ветра, пронесшись струнно, заставил бы склониться в прощальном поклоне всякую травку.

Но что-то уже стало собираться бессвязными обрывками в обмершем сознании Пашуты, что-то постукивало в его стенки. В материнской комнате она подняла крышку высокого сундука (это деревенское происхождение заставило Пашуту заказать такой сундук) с тряпками Аксиньи Егоровны и сразу же наткнулась на аккуратно и красноречиво уложенное в прозрачный полиэтиленовый пакет смертное. Пашута узнала его по темно-коричневому вельветовому платью с черным витым пояском, ею же, Пашутой, давным-давно купленному и ни разу не надеванному. Оно показалось матери при дарении настолько праздничным, что ни один из прижизненных праздников не мог до него подняться. И тогда же Аксинья Егоровна положила: это для смерти. Пашута напрочь забыла о существовании этого платья — и вот оно, во исполнение воли усопшей сразу же ей под руки... Там было и все остальное: тонкие шерстяные чулки, чунчики, как их называла мать, — что-то вроде мягких низких сапожек с меховым отворотом, темный платок, нижнее... Мать готовилась к смерти. В восемьдесят четыре года как не готовиться!.. Но сложено и поднято наверх было недавно, в близком и ясном предчувствии — как для заказанной бани. Невольно начинало высматриваться то первое, что надо делать. Нет, никому она мать не отдаст, вымоет сама. Хотя это вроде не полагается — самой. Бог простит. Богу, похоже, придется прощать ей многое.

Без малого сорок лет в этом городе, а посмотреть вокруг — никого поблизости. Ни к ней никто, чтобы хоть изредка душу отвести, ни она к кому. Пашута теперь уже и не знала, почему это бывает, что человек остается один. В молодости сказала бы, что для этого нужно быть чересчур нелюдимым или гордым, не иметь тепла в душе к тем, с кем сводит жизнь. Сейчас все по-другому, обо всем надо судить заново. Сама ли виновата, по характеру своему, или это судьба всех уходящих в старость — ей не хотелось в этом разбираться, да и, пожалуй, не под силу было. Как медведи, в зимний гнет залегли по берлогам и высовываются редко, только по необходимости. В какой-то общей вине, в общем попущении злу прячут глаза. Невольно прячут и те, кто считает себя виноватым и кто не считает.

Редко-редко вспоминала Пашута свою молодость. Слишком далеко и нереально это было. Только встретит если смутно-знакомое лицо и начнет в поисках его отлистывать назад годы, когда она знала здесь всех и все знали ее. Разве бы удалось в то время кому-то миновать котлован, эту огромную каменную утробу, где все гремело, светилось, кипело и кружилось? И разве, пройдя котлован, можно было миновать столовую На левом берегу при въезде в него? Столовая работала круглосуточно — и весь котлован, сотни и тысячи людей, кормился там. Плыли и плыли они с подносами мимо раздачи, голодные, веселые, нетерпеливые, и только и слышалось: «Паша, подгоняй своих девочек, пусть не заглядываются!», «Паша, разберись, почему у вас двойная порция входит в одну тарелку», «Паша, — громче всех кричал кто-нибудь один. Значит, как договорились, да?!» Она успевала метаться по кухне, успевала отвечать и распоряжаться этой огромной алчущей волной так, что та вовремя откатывалась, чтобы через четыре-пять часов накатить снова. Когда

перекрывали Ангару и в проран летели бетонные кубы с надписями, должными увековечить это событие, на одном из кубов голубой краской, под цвет ангарской воды, было выведено ее имя. Выводил кто-то один (она знала кто), но как бы по общему мнению. Годы и годы она крутилась в счастливой карусели работы, дружеских сходок, походов, розыгрышей, в ушах постоянно стоял шум подъема и веселья, сердце билось возбужденно, захватываясь общим могучим ритмом, и, по-деревенски замкнутая, она раскрылась, разговорилась, научилась смотреть смело и отвечать дерзко.

Но, порывисто вознесшись в общем вихревом потоке, она, как только он начал спадать, почувствовала это и остыла вместе с ним.

Это началось с переезда из поселка гидростроителей в город, куда на смену мятежной и окрыленной кочевой молодости собирался оседлый и расчетливый народ — эксплуатационники. Кочевье укатилось дальше, на следующую стройку. Оставались пожинающие плоды, они обзаводились машинами, дачами, дефицитом и, как и всюду, где жилось льготно, острили и напитывали ядом умы. Их оседлость была временной — до выработки стажа, до служебного возвышения, а там — на юг, где заранее возводились дома, или в столицы, куда отлетали избранным кругом вслед за одним, достигавшим высоты. К тому времени, когда окончательно вырисовывалось, во что превратилась великая стройка, в городе из высокоинтеллектуального «золотого» общества, каковым считали себя его представители, никого не осталось.

Город постепенно приобретал другую славу. На дешевой электроэнергии выплавляли на самом крупном в мире заводе алюминий, на самом крупном в мире лесокомплексе варили целлюлозу. От фтора на десятки

и сотни верст вокруг чахли леса, от метилмеркаптана забивали в квартирах форточки, законопачивали, щели и все равно заходились в удушливом кашле. Через двадцать лет после того, как гидростанция дала ток, город превратился в один из самых опасных для здоровья. Строили город будущего, а выстроили медленно действующую газовую камеру под открытым небом. Народ пошел на площади протестовать, эти протесты, как и всюду, были использованы, чтобы свалить старую власть, но пришла новая — и сами собой протесты прекратились, потому что новая знала самый верный способ борьбы с недовольством: не делать одно лучше, другое хуже, а развалить без сожаления все, и тогда в охоте за куском хлеба, хватаясь по-животному за любую жизнь, забудут люди о такой причуде, как чистый воздух и чистая вода.

Но это было позже. Позже и квартиру свою в городе, в хорошем доме, поменяла Пашута на микрорайон: отравлялась она в городе от аварийных выбросов с комбината до того, что лежала пластом, не в силах встать. Микрорайон же выстроили в стороне, верилось — там чище. Но разницы или не было вовсе, или она оказалась так мала, что ее нельзя было почувствовать. Поменялась еще и ради приплаты за большую площадь, которую оставляла, но разошлась эта приплата за три месяца. В микрорайон стала Пашута привозить на зиму мать. И где-то далеко-далеко, как в другой жизни, осталось, что растила она девочку, взятую из приюта, что сразу же после вдохновенной молодости пришлось надеть тягло матери-одиночки: работа, детсад, потом школа, подмены во время болезней девочки, нескончаемое рысканье по городу в поисках то молока, то лекарства, то теплой одежды. С одиноких загнанных женщин молодость слетает быстро — и вот уже приходилось замечать, что все меньше и меньше остается желаний, все длиннее невидящий взгляд и все

пустынней и мимолетней дни. Не стало у Пашуты близкого круга друзей, не стало ярких праздников, опьяняющих привязанностей... Что случалось случалось как бы из милости. Все это еще словно бы расставлено было перед нею с раскрытыми дверями, но никто не зазывал из них, как раньше, а самой стучаться уже и не хотелось.

От одного удивления не могла она освободиться: как из того, что начиналось тут, получилось то, что есть...

Пашута принесла в тазу воды, нашла махровое полотенце и раздела мать донага. Поворачивать, раздевая, было мукой, не окоченевшее до конца тело выгибалось в пояснице с сухим хрустом — будто косточки ломались. А ведь предстояло еще мыть, поворачивая с боку на бок, предстояло одевать, приподымая. Пашута накрыла голое тело простынью и торопливо вышла отдышаться.

Господи, что же она делает?! Можно же было, наверное, найти днем старушек, чтобы помыли и свершили обряд как положено!.. Но она не знала, где искать этих старушек. Обмывают знакомые, подруги по старости, возрастом и положением подготовленные для этой роли, а таких у Аксиньи Егоровны не было, никого она здесь, не выходя из квартиры, не знала. Не было их поблизости и у Пашуты, а ехать в город, зазывать женщин, с которыми она давно потеряла знакомство, не хотелось.

Но самое главное: если чужие руки будут обмывать, то и все остальное придется делать чужими руками. Нет, надо хоть сердце свое заменить, чтобы оно не пугалось, но справиться самой. И сразу сказать себе, что другого выхода у нее нет.

Матери совсем стало плохо месяца полтора назад. До этого она выходила к столу и с жалкой улыбкой ждала, когда ей нальют чаю. Все жаловалась на воду —

вода не такая, как в Лене, чем-то травленная. Спрашивала робко, нет ли письма из деревни.

— От кого ты ждешь письмо? — Пашута не курила, но голос у нее был грубый, как прокуренный; меняется, становится бесформенной фигура, меняется и нутро. Этот голос пугал мать.

— Кто-нить, поди, напишет. Я Лизу просила написать. Как узнать без письма, че там деется.

— Никто нам, мать, не напишет. Не жди.

Не могла себя пересилить Пашута: «мама» не выговаривалось.

Это она подхватила месяца полтора назад, уже при Таньке, грипп и заразила мать. Та совсем перестала подниматься, ее приходилось таскать на руках. Две недели кормили ее с ложечки. Тело подсушилось, вжалось в кости и сделалось легким. Жила в это время Аксинья Егоровна в деревне и разговаривала не с Пашутой, которую не узнавала, а с Лизой, деревенской соседкой, расспрашивая ее про корову, про сильно пьющего зятя, про внуков… Всех их она помнила по именам. Спрашивала, как о живых, о давно умерших. И голос у нее в разговоре с Лизой становился крепче, и память наплывала из глубин, и лицо разминалось — нет, деревня, деревня постоянно была у нее на уме, деревней она только и дышала.

В последнюю неделю она опять, пусть и с огромным трудом, стала подставлять под себя негнущиеся ноги, вошла в память. Но уже молчала — ни о чем не хотелось ей говорить, все умолкало в ней. В смерть входила тихо и незаметно (а Пашута считала, что это она возвращается в жизнь), подолгу спала, почти бездыханно, лежа на спине кверху заострившимся маленьким личиком.

Во сне и оттолкнулась последним вздохом.

Пашута обмыла мать, справилась и с этим. Вернее, не обмыла, а обтерла мокрым полотенцем. Кожа уже не

краснела, оставаясь пергаментной, тело как бы налилось чем-то изнутри, разгладив лишнюю изношенность. И потом, когда одевала, ломая тело, почувствовала, как оно потяжелело.

Но перед тем как одевать в прощальные одежды, Пашута опять отдохнула. Каждое новое движение требовало все больше решимости и сил. А ведь это только начало. Но она управлялась пока почти бесчувственно, без страдания, с какой-то стылостью и глухотой, подгоняя себя: дальше, дальше… Не дочь это хлопотала над матерью, а какое-то неловкое и бездушное обряжающее существо, взявшееся не за свое дело. Ей и самой становилось страшно за свою опустошенность: уж человек ли еще она? И страшно становилось, и нужно было пользоваться этой бесчувственностью, чтобы успеть.

Мать лежала прибранная, торжественная, со скрещенными на груди руками, с расчесанными волосами под темным платочком, завязанным под подбородком. Подвязаны были вместе и вытянутые, вдоволь набегавшиеся ноги. Такой покой был на ее лице, будто ни одного, даже маленького дела неоконченным она не оставила.

Перед утром Пашута, не раздеваясь, прилегла ненадолго, чтобы обмануть отдыхом тело, особенно ноги, которые придется в этот день таскать без жалости. И почему-то до рези устали глаза, будто она часами неотрывно смотрела на яркий свет.

Она полежала, должно быть, с час, не шелохнувшись и на этом экономя силы. И за четверть часа до шести поднялась, поставила чайник. Ей надо было успеть до того, как пойдут на работу. А ехать далеко. Ехать надо было в железнодорожный поселок за тридцать километров от города, но входящий в городскую черту; такие же взмахи своей чертой город делал не в одну сторону, будучи разбросанным и

представляя собой создание уродливое, бесформенное. На автобусе она доедет до вокзала, а там электричка. Должна успеть. Раньше не получится, она выйдет к первому автобусу. Но если все-таки не успеет, не застанет дома — пойдет искать на работу. Возвращаться ни с чем ей нельзя.

Только бы согласился Стас.

Она поехала к тому самому человеку, который впервые назвал ее Пашутой, который говорил, что она сытная баба, такая, стало быть, что возле нее чувствуешь себя сытно, успокоенно. А он знал ее. Лет восемь подряд, оба одинокие, потрепанные жизнью, грелись они друг возле друга. То она приезжала к нему, то он к ней. Было это давно: всё, достойное памяти, было давно, последние годы только уродовали ее и унижали. Она и связь со Стасом порвала оттого, что ей стыдно стало показывать себя, больную, расплывшуюся тоже «за черту». Встречались они теперь совсем редко; раз или два в году по обязанности доброго сердца он заглядывал, пытался растормошить ее, упрекая за безволие, и уходил, она видела, расстроенным.

Стасом она называла его про себя, а перед ним — Стас Николаевич. Навсегда он остался для нее человеком другого круга — образованным, многознающим, собранным аккуратно в приятный порядок, так что не топорщилось ничто ни в одежде, ни в речи, ни в поведении. На стройке он начинал с диспетчерской, голос его разносился через громкоговоритель далеко — и всегда без крика. Потом как инженер поднимал алюминиевый завод. У него рано погибла жена, которую он очень любил, погибла у него на глазах во время спуска на резинках по горной реке, куда он ее затащил, оставив ему, кроме трехлетнего сына, незаживающее чувство вины. Сына пришлось отправить к своим родителям в Рязань; тот, выучившись, там и остался. А Стас надолго сник,

переходил с работы на работу, чуть было не ушел в пьянку, но удержался и перебрался из города в этот пристанционный поселок, купил здесь небольшой деревянный домик и, уже оформив в прошлом году пенсию, подрабатывал в столярке.

Кроме Стаса, не осталось у Пашуты ни одного человека, кому бы она могла довериться.

Она вышла к автобусу в темноте, забитой сырым вонючим туманом. Шла к остановке и билась в кашле. До чего же горазды они делать аварийные выбросы в туман — будто это туманом нанесло невесть откуда, а они здесь ни при чем. Но уже без возмущения вспомнила о них Пашута. Они и раньше были недосягаемы, хотя и признавалось открыто, что творят беззаконие, теперь же и вовсе превратились в небожителей, обращаться к которым можно только с мольбой, превратились в признанных богов, дарующих кусок хлеба. А за него простится все. И не к ним, как все вокруг, взыскивала Пашута, а к своему нездоровью, к своим грехам. За грехи наказываются.

Слабо толкнулось в нее: что-то мало народу в автобусе. Но как толкнулось: слава Богу, можно не давить тушей на ноги, а усадить ее, пусть еще ноги поберегутся. Но и в электричке было свободно. Пашута принялась рыться в памяти и вырыла с трудом, что сегодня суббота, день для нижнего густого народа нерабочий. Можно было и не торопиться. Сегодня жмут на свои педали, качающие деньги, всякие «куммерсанты», как выговаривала Аксинья Егоровна, да банкиры. Но они выходят позже и в автобусах не ездят.

Пашута не помнила, учится ли по субботам Танька.

В половине восьмого, на рассвете, когда чуть посинел туман, подошла она к дому Стаса с двумя окошками в переулок. За окнами стояла темнота. Досыпает Стас или нет дома? Она давно его не видела; у него был телефон, но ей и в голову не пришло

позвонить. А когда бы она стала звонить? Еще полсуток не прошло, как отбыла мать; это кажется, что давно. И пришлись эти полсуток на ночь. Решения, которые принимала она, были не результатом работы мысли, не сигналы, посылаемые в мозг и возвращающиеся с ответами обратно, направляли ее — ничему она, оцепеневшая и затухающая, не сигналила, а словно бы отслаивалось что-то в нужный момент от корковатого сердца и подталкивало.

В восемь, не дождавшись из окон света от гидростанции, которую они со Стасом строили, Пашута позвонила. Нет, не зря строили: свет вспыхнул. Стас открыл без оклика. Вслед за ним, полуголым, ни о чем не спрашивающим, прошла она в дом, сбросила куртку и скорей убирать из-под тяжести ноги.

Они сидели за чаем в кухонке, в голом, без ставня, окне которой, засиженном мухами, летели космы тумана, путаясь в черных и острых ветках яблони, и виднелся навес с верстаком по левую сторону и поленницей дров по правую. Все промозгло за сырую осеннюю ночь и стояло уныло. Рассвело мутным болезненным светом.

Пашута дорвалась до чая, пила и пила. Стас подливал уже дважды. Он был в старой меховой душегрейке-безрукавке, накинутой на майку, крепкие руки ходили с силой. Потрескивала остывающая конфорка электроплиты в углу, а рядом, возле двери, потрескивал в печи живой огонь. В деревянных домах все уживалось вместе — и старое, и новое. Передом печь выходила в кухонку, а задом в единственную и просторную комнату.

Пашута сказала о смерти матери, но о самом главном, ради чего приехала, молчала, ожидая подходящего момента. Встряхиваясь среди редкословного разговора, тревожно всматривалась она в окно: время шло. Время шло, а ничего не сделано,

наступивший день начинал придавливать не снятым с него грузом. Так хорошо прежде бывало со Стасом! Она словно бы погружалась в другую, нереальную жизнь, даваемую за страдания, где все к ней благоволило, все приносило утешение, — и как из теплой обласкивающей воды выходила потом на берег, встречающий холодным безучастием. Здесь, в этих стенах, она, казалось, и оставалась постоянно той своей частью, которая не потеряла радости, сюда приходила на свидание с нею, здесь пополняла свои душевные запасы. А Стас только устраивал эти встречи, приводил ее, приходящую, потайными ходами к живущей в счастливом затворничестве.

А теперь и здесь ее не сыскать.

Пашута наблюдала за Стасом: тот и не тот человек. Держался по-прежнему прямо и потому казался высоким, все так же коротко стриг седую крупную голову. Рядом с нею он выглядел хоть куда, и она правильно сделала, отойдя от него, избавив Стаса от неизбежно явившегося бы чувства жалости и брезгливости. Но и в нем еще глубже врезались морщины в продолговатое, мужественно вылепленное лицо с волевым подбородком — врезались густо и не подчеркивали, а скорее перечеркивали мужественность, оттеняли жизнь, потерявшую цель. И загас в глазах знаменитый высверк, вспыхивавший неожиданно и ярко, как молния, который умел сразить наповал. Глаза смотрели печально и терпеливо.

Тянуть было некогда. Пашута, как и по земле ходила тяжелой поступью, и здесь двинулась к цели без тонкостей. Ничего, что можно было подостлать под просьбу, смягчить ее, не находилось, она спросила напрямую:

— Ты, Стас Николаевич, не сделаешь нам гроб?

— Гроб? — Нельзя было понять, удивился ли он. Но смотрел на нее длинным пристальным взглядом,

забывчиво держа на весу кружку с чаем. Разве там не сделают гроб? У них правило: покойник ваш, а гроб наш. Разве не так?

Она покивала: так. И сказала наконец то, к чему уже приступила за ночь. Сказала с замедлением, вдавливая слова:

— Я, Стас Николаевич, задумала мать сама похоронить. Без них. Мне к ним идти не с чем.

Он невольно перешел на тот же выговор, давя на каждое слово:

— Без них, дорогая Пашута, туда не попасть. Это не деревня. Сердце продавай, печень, селезенку, душу… Теперь все покупают, но иди к ним.

— Мою печенку-селезенку никто не купит. Я бы продала… — И с отвращением отказалась: — Вру, не продам. И продавать не буду, и к ним не пойду.

— У многих не с чем идти, не у тебя одной, — продолжал он, не убеждая, а отыскивая выход, который можно было бы предложить. — Но собирают как-то. Теперь так и хоронят: с миру по копейке. Соберем и тебе. Есть же у тебя родственники, друзья, знакомые…

Она освободила голос и — показалось — с облегчением ответила:

— У меня никого нет.

— У всех есть. Ты гордыню свою не выставляй. Не тот случай.

— А у тебя родственники, друзья есть? — спросила она, задетая «гордыней». — Что молчишь, Стас Николаевич? Есть они у тебя теперь? А сколько их увивалось возле тебя! Не разлей вода до гробовой доски! К многим ты пойдешь, так чтобы ноги несли?

— Ноги наши по другой причине не несут. Ты путаешь…

Пашута перебила его. На нее, намолчавшуюся, настрадавшуюся, с ворохом обид, унижений, недоумений и горечи, теснившихся безответно в груди,

обжигая ее, нашло злое вдохновение — то самое, которое не выносит боль, а только ее обнажает.

— А чего тут путать?! — перебила она. — Чего тут путать, Стас Николаевич? Не мы с тобой стали никому не нужными, а все кругом, все! Время настало такое провальное, все сквозь землю провалилось, чем жили… Ничего не стало. Встретишь знакомых — глаза прячут, не узнают. Надо было сначала вытравить всех прежних, потом начинать эти порядки без стыда и без совести. Мы оттого и прячем глаза, не узнаем друг друга — стыдно… стыд у нас от старых времен сохранился. Все отдали добровольно, пальцем не шевельнули… и себя сдали. Теперь стыдно. А мы и не знали, что будет стыдно. — Она помолчала и резко повернула, видя, что уводит разговор в сторону, где только сердце надрывать. — Дадут! — согласилась она. — Если просить, кланяться — дадут. Те дадут, кому нечего давать. Из последнего. Ну, насобираю я по-пластунски, может, сто тысяч. А мне надо сто раз по сто. Нет, не выговорится у меня языком — приходить и просить. А чем еще просить — не знаю.

Стас осторожно напомнил:

— У тебя ведь дочь есть.

— Дочь мне неродная, — глухо сказала Пашута. — И живет она с мальчонкой в последнюю проголодь. Девчонку мне отдала в учебу. Живет одна, без мужика. Это вся моя родня. Дальняя есть, но такая дальняя, что я ее плохо знаю. Нас у матери было четверо, в живых я одна. Все ненормально верно ведь, Стас Николаевич?

— Не паникуй. Куда твоя твердость девалась?

— Остатки при мне. И то много. С нею-то хуже. Она не для воровства, не для плутовства у меня, скорей в угол загонит.

Туман разошелся, света за окном стало больше, но оставался он серым, утомленным. Поддувал ветер. Яблонька томилась такой тоской, высветившись еще

черней и корявей и поскребывая ветками по стеклу, что на нее было больно смотреть. Никак не могла затянувшаяся осень проломиться в зиму, никак не набирался сухой мороз, чтобы упал снег. Слишком заморилось все.

«Но земля, слава Богу, талая», — подумала Пашута. И опять стеснило ее надвигающимся днем: ничего она пока не добилась. А пора, пора…

— Ну, сделаю гроб, — спрашивал Стас, — и куда ты с ним? Дальше-то что? В какую контору, под какую печать? Это же все потребуется!

Пашута и здесь кивнула: потребовалось бы… Но не потребуется.

— Я тебе еще не все сказала. — И, говоря, смотрела на него пристально, не отводя глаз. Он упомянул о твердости — вот она, твердость. — Мне ничего не потребуется, Стас Николаевич. У нас не будет свидетельства о смерти, потому что не было прописки. И здесь, наверное, можно добиться… За деньги теперь всего можно добиться. — Сделала паузу, говорящую, что не ей этого добиваться. И повторила: — Мне нужен гроб, Стас Николаевич. Я сама вырою могилу.

— Где?

— У нас за пустырем лес. Место сухое. И от меня недалеко.

На Стаса это произвело впечатление. Он поднялся, завис над столом на длинных руках.

— Но это же не похороны, Пашута. Это же — зарыть!.. — он сдержался, не стал продолжать.

— Зарыть, — согласилась она.

— Взять и зарыть?! Ты с ума сошла, Пашута! Ведь она у тебя русского житья была человек. А ты — зарыть!

Он перешел на шепот. На шепот гремящий.

— Дай Бог, чтобы тебя не зарыли, Стас Николаевич. А мы — ладно. Я и на зарытье согласна. — И вернулась:

не о ней сейчас речь. — Если будет гроб, все остальное я сделаю сама.

— Ка-ак? — добивался он. — Ты все продумала, но как? Как ты повезешь, как ты землю будешь бить? Там же, наверное, камень... В городе! Там же город, люди! Все это надо отставить, Пашута. Отставить! Это же человек, мать твоя, а не собака! — И еще одно со страхом вспомнил он: — Ты и попрощаться с нею людям не дашь.

— С ней тут некому прощаться. — Пашута смотрела в окно куда-то далеко-далеко, чувствуя, как в глаза наплескиваются слезы. Но нет, не заплакать, ни за что не заплакать. — Завезла я ее в такое чудесное место, что никто тут ее не знал. Она и на улицу почти не выходила. — Пашута встряхнулась. — Ладно, Стас Николаевич, нет — так нет. Скажу я тебе самое последнее. Денег у меня нет, ничего нет... Но если бы и были... Знаешь, кажется мне: все равно надо было бы так сделать.

— Ты не была сумасшедшей, — хмуро ответил он.

— Ох, какой я была, Стас Николаевич! Разве теперь сравнить! — И выбило разом все запоры, хлынули слезы, и, не успев подложить руки, стукнувшись о стол головой, затряслась в рыданьях, вырывавшихся рваным некрасивым клекотом.

Стас растерянно ходил рядом, гладил ее по голове, по пегого цвета спутавшимся волосам, отходил и снова молча гладил, ощупывающе, с какой-то беспомощной слепотой в руках и глазах. И сам теперь, своим опытом и умом шел той дорогой, которую выбрала Пашута, всматриваясь, где могут быть непроходимые места. Они были всюду от начала до конца.

Пашута заставила себя успокоиться и подняла голову. Он спросил:

— Когда ты хотела это сделать?

Она не стала ломаться, понимая, что заставила его согласиться.

— Завтра воскресенье. Люди спать будут.

— Да ведь по обычаю на третий день?..

Что было объяснять? Все тут поперек обычаев, за все отвечать придется. Пашута после слез закаменела еще больше. Стас перешел в комнату и кому-то звонил.

— Серега, — говорил он в телефон. — Подходи-ка ко мне. Очень ты мне нужен. Давай-давай, Серега, по пустякам я бы тебя не погнал. Подходи.

Пашута подковыливала к дому, когда заметила Таньку, стоявшую в отдалении, среди чахлых топольков, которыми дом пытался зарыться от дороги. В синенькой курточке с откинутым капюшоном, с непокрытыми льняными волосами, как-то особенно чисто и грустно светившимися в пасмури дня, она бродила тут, должно быть, давно. Шел двенадцатый час. Пашута приостановилась, поджидая несмело приближавшуюся девчонку.

— Я тебе сказала — до вечера не появляться! Что ты тут делаешь?

Танька молчала, быстро и с испугом вскидывая на Пашуту и опуская глаза.

— В школе была? — Пашута училище называла школой. Да ей, малолетке, в школу бы еще и ходить, а не в заведение, где чего только не наберешься.

— Н-нет.

— А кто будет платить за твои «нет»? — В училище за каждый пропущенный урок и за каждую двойку полагалось платить — все мужающими тысячами. Ушинские и Сухомлинские, предлагавшие свои известные воспитательные системы, до этого не додумались. Чтобы додуматься — нужны были умы решительные, дерзкие, широкого государственного размаха, и время их немедленно представило.

Танька набралась духу, подняла на Пашуту свое белесое, в конопушках, круглое лицо, вздрагивающее от недоброго предчувствия:

— Что у нас случилось, бабушка? Почему ты меня выгнала?

Пашута тяжело думала, что сказать, как поступить с девчонкой. Вечером она не додумала — и вот Танька здесь.

— У нас что — старенькая бабушка померла?

— Пойдем, — подтолкнула Пашута девчонку поперед себя. Теперь уже ничего другого не оставалось.

В квартире стоял запах — еще не тления, но горя. В жилых стенах пахло запустением и горечью, в них поселилось бестелесое существо, приходящее в тяжелые дни, чтобы справить какой-то свой ритуал. Пашута принюхивалась, пахло как от овчины, из которой не вынашивается дыхание жизни, ее породившей.

Танька скинула курточку, прошла и села, приготовившись к разговору, на свою кушетку, нервно поводя глазами и сложив руки на сдвинутые колени. Кровать Пашуты стояла в той же комнате за шкафом. Теперь они смогут разъехаться, у каждой будет своя комната.

— Пришла так пришла — ладно, — начала Пашута, выходя от матери. Может, оно к лучшему. Старенькая бабушка у нас умерла, это ты верно догадалась, — голос ее при этих словах не изменился, не дрогнул, она думала о чем-то, чему появление девчонки все-таки мешало. — Бабушка наша правильно сделала, что не стала тянуть. Не смотри на меня так, я старуха грубая. А прикидываться разучилась. Бабушка и пору выбрала самую подходящую — перед зимой. Она нам все устроила как лучше. А теперь, Татьяна, слушай. — Она опустилась с девчонкой рядом на кушетку. — Бабушку я

буду хоронить наособицу. Крадучись буду хоронить, Ночью, чтобы люди не видели. На кладбище везти — денег у нас с тобой нету. А побираться я не хочу. И еще слушай. Ни матери, ни кому другому я не дала знать. Потом скажем. И ты покуда молчи.

Танька сидела, замерев, уставив глаза в стену.

— С этого момента придется тебе стать совсем взрослой, — продолжала Пашута. — Некогда нам дожидаться, когда это само произойдет. Отгуляла детскую радость... хотя и такой радости, девочка ты моя, у тебя, однако, было не много... Принимайся-ка теперь за долю. Будет у тебя все, будут и радости... А пока придется нам горемычество принять. — И, помолчав, подтолкнула к первому шагу: — Иди, взгляни на бабушку.

Танька пошла. Пашута осталась сидеть: не вздымали ноги, ныли пронзающими тукающими ударами. Но можно было поддаться теперь ненадолго и слабости — после проявленной силы. Она вернулась от Стаса, добившись большего, чем ожидала. Теперь, если ничто не собьется с хода, а самое важное — если ничто не воспротивится беззаконному ходу, будет легче. У могилы матери, когда встанет она перед могилой (а так далеко еще до этого и так ненадежно!), когда вглядится Судия недремный, что же такое там бесславное происходит и кто это затеял, она не станет прятаться. Видит Бог, Стасу это было совсем не по душе.

Вышла Танька, присела рядом, вздрагивая и испуганно прижимаясь. Пронзило девчонку. С этого дня и без наставлений Пашуты ей станет не просто пятнадцать, а пятнадцать с этим днем, который потянет ой как много. Не мать жалко, не себя, а ее. Мать и грехи с собой понесла... Господи, какие у нее грехи! — вся жизнь в работе и робости; на себя Пашута давно махнула рукой, довлачиться бы только каким

угодно ползком до конца… Но легче жить без надежды, чем умирать бессветно. Танька — девчонка ласковая, в лесу сохранилась. Надо не потерять ее, в городе на каждом шагу погибель. Господи, что это за мир такой, если решил он обойтись без добрых людей, если все, что рождает и питает добро, пошло на свалку?!

— А бабушка верила в Бога? — спросила неожиданно Танька.

Пашута обернула к ней лицо и внимательно всмотрелась. Вот так недолетка! Она спросила то, что Пашута боялась додумать. «Там разберутся», — казалось ей. Там-то там, но и здесь, выходит, надо разбираться. Вот этого она и избегала — разбираться здесь. Одно дело — грубо, вопреки правилам, спровадить неприкаянную душу, и совсем иное — если и там у души дом родной, где ее ждут.

— Не знаю, — угрюмо ответила она. Ответила не только Таньке. — Как, поди, не верила — она старого житья была человек.

— Она просила, чтобы я ей в церкви иконку купила…

— А ты купила? — напряженно спросила Пашута.

— Маленькую такую. Богородицу. В ладошку входит.

— А как я не видела?

— Она на этажерке стоит. Ты не заметила.

Пашута задумалась. Она легко уходила от разговора и теперь думала о том, что надо подниматься и выстраивать в новый, более определенный порядок намеченное дело. Засиделась. Почти наяву она видела, как дело выгибается к ней странной, ненаполненной, схематической фигурой, чтобы поторопить. Но так не хотелось отлепляться от девчонки, как никогда, ищущей сегодня ласки и слов!

— Крестить тебя надо, — вспомнив, о чем говорили, сказала она.

— А ты крещеная?

— Нет! — С такой легкостью, как сейчас, твердел у нее голос и с таким трудом мягчел. — Я выпала, обо мне нет разговора. А тебе жить.

— Но я видела: совсем старых крестят.

— Ты, значит, бываешь в церкви?

— Мы с Соней из интересу заходим. Совсем старые есть, которые от советской власти родились…

— От кого родились? — охнула Пашута.

— Ну, это так говорят.

— Говорят… Как это у вас все ловко говорится?.. Ладно, — решительно предложила она. — Поднимаемся, что ли?

И — промедлила. Танька вдруг прильнула к ней, обняла, ткнулась головой в грудь. Пашута растерялась:

— Ну, что ты! что ты!

— Бабушка, ты разговаривай со мной, разговаривай!.. — отчаянным шепотом рвалось из Таньки. — Ты молчишь, я не знаю, почему молчишь… Я не маленькая, пойму. Почему ты вчера не сказала мне?.. Ты думаешь, что я неродная, а я родная… хочу быть родной. Хочу помогать тебе, хочу, чтобы ты не была одна! Мы вместе, бабушка, вместе!..

Пашута застыла. Сегодня она уже дала слабину — у Стаса, когда разрыдалась. Если еще раз пустит слезу — дело плохо. Она приказала себе замереть, чтобы ни звука не вырвалось из ее недр, пока не откатит волна сладкой боли, перехватившей горло, так давно не испытываемой. Что-то еще осталось в ней, что-то вырабатывает эти чувствительные приступы. Она успокоилась и лишь после этого в ответ обняла Таньку, прижала неловко и пообещала:

— С кем же мне еще разговаривать, как не с тобой! Больше у меня никого нет.

— Мне шестнадцать будет — я могу в подъезде мыть. Или телеграммы разносить — я узнавала. Я могу… я могу, бабушка! — сорвалась опять Танька на слезный

шепот. Она выпрямилась и, моргая часто от слез и напряжения, искала, искала в Пашуте перемен, которые могли произойти от ее порыва. Она бы хотела, подняв голову, увидеть Пашуту совсем другой — ласковой и доступной. Пашута понимала ее и ненавидела себя еще больше.

Она сказала:

— Прокормимся, Татьяна.

Не выговорилось у нее: спасибо, милая девочка; вот мы и породнились еще ближе.

— Давай дверь откроем, — предложила Танька, поднимаясь первой. — Она там совсем одна.

Сама же и растворила дверь.

Как в жизни была Аксинья Егоровна незаметной, тихой, все старающейся спрятаться в закуток, так и теперь лежала она сиротинушкой, и в смерти, в единственный день, отпущенный ей для внушения остающимся, не взяла главного места. Ни одной обиде не оставила она попрека. Морщинистое лицо, еще вчера досуха обтянутое кожей, разгладилось от какого-то последнего посмертного дуновения. Вид матери, торжественный и смиренный, как бы подтверждающий, что ни за что она по лихой године не взыщет, ненадолго успокоил Пашуту: все должно получиться. Но уже у дверей, уходя, чтобы купить обивку для гроба и что-нибудь для завершающего дело стола, она опять ощутила нескончаемость и неподатливость своего вызова, который должен быть уложен в строгие рамки времени.

А ведь моросило. Не дождем еще, а мелким вязким бусом, налипающим на одежду. Все кругом было затянуто угрюмой тяжелой завесью. Время обеденное, а дня уже нет.

В пятом часу постучал парень и, когда впустили его, коротко и угрюмо спросил:

— Сюда?

— Сюда, — ответила Пашута.

Ни он не знал их, ни они его, но никакой чужой человек прийти в эту квартиру не мог. Никто в Пашуте не нуждался, никто к ней давно уже не заходил, не пойдут и лихие люди, снаружи умеющие видеть, за какими дверями живет бедность и за какими богатство.

Это и был Серега, от Стаса Николаевича, — невысокий, широко и могуче сбитый, со щеткой усов, которые называют пшеничными. Невеселое предстояло ему дело, и всем своим видом он не скрывал, что «мобилизован», выглядывая из глубоко сидящих глаз с сочувствием и одновременно с досадой. Присесть отказался.

— Поедем, тетка, смотреть, куда что, — нетерпеливо сказал он. И в том, что назвал «теткой», как в автобусе или на базаре, тоже чувствовалось недовольство: день сорван, сорвана и ночь, а это значит, что завтрашнего дня тоже не будет. — Может, света хоть немножко прихватим, — мрачно, в тон погоде добавил он.

А его уже и не было, света-то. Задернуло его низким сырым небом, забило все сочащимся сеевом. В окне стоял полумрак. Размыто, как высокая гора, темнел лес за пустырем, куда предстояло ехать.

Пашута принялась торопливо одеваться. Танька из дверного проема в большую комнату смотрела на Серегу с испугом — как на вестника чего-то неземного, страшного. Ей жутко было остаться наедине с покойницей и жутко было напроситься поехать куда-то в надвигающуюся темноту вместе с этим суровым посланником происходящей вокруг неотвратимости. В полинявшей штормовке поверх свитера и разбитых кирзовых сапогах, плотный, сильный, Серега держался до того уверенно, прочно, что Пашута опять успокоилась. Она влезла в ту же куртку и те же сапоги, что и утром, других сапог для опухших ног у нее не

было. Танька выслушала наказ сварить принесенное Пашутой мясо, а кроме того, сварить еще и кисель — беспрекословно, в этот момент и не понимая, что от нее требуется. Она бросилась к окну, когда вышли, и сквозь водянистый полумрак рассмотрела, что садятся в зеленую «Ниву», которая тронулась сначала вправо, к соседнему микрорайону, но остановилась и принялась разворачиваться влево, к дороге, ведущей в аэропорт.

«Если ехать от микрорайона, с той стороны и в лесу еще могут шататься, — рассудила Пашута. — Лучше подняться от дороги, там от жилья далеко, там и в добрую погоду ходят меньше». Но кому в такую мокреть ходить? Что тут сейчас делать? Погода самая воровская, но для какого-то особого, как у нее, у Пашуты, воровства, от которого страдает не собственность чья-то, а сами человеческие устои. Против чего-то слишком серьезного и святого выступила Пашута; как знать, не держится ли сейчас, в эти минуты, всемогущий и справедливый совет: допустить ли, даже из милосердия, ее готовящееся покушение… На что покушение? — Пашута до сих пор не решалась додумать.

Они съехали с асфальта, как только сосняк справа из мелкого поднялся выше. Показывала, куда ехать, и сама не зная куда, Пашута. Оба микрорайона вокруг оврага лежали в сбившихся в кучу мелких дрожливых огнях. Пашуте хотелось, чтобы с места, которое они выберут, виден был ее дом. Она узнает его по трамплину, он и сейчас изгибался над высоким берегом оврага как мостки, под которыми ходит, казалось, темная вода.

Но — если видеть дом, смотреть пришлось бы, откуда ни возьми, со свалки — так был захламлен, набит стеклом, завален банками и пакетами, зачернен кострищами, затоптан и загажен ближний к оврагу и городу лес. Надо отодвигаться дальше. Но отодвигаться

так, чтобы не уехать. Иначе не достать потом Пашуте с ее неходячими ногами.

Выехали на полянку среди редколесья; Серега затормозил и первым вышел. Выбралась, уже видя, что нашли, и Пашута. Вокруг стояли сосны, а с темной, с северной стороны высоко и могуче вздымались из одного корневища, расходясь, как сиамские близнецы, на высоте человеческого роста две лиственницы. Других таких во всем лесу быть не могло. Будут стоять как сторожа над материнской могилой. Да, здесь разводить могилу, ничего другого можно не искать. Полянка небольшая, но, должно быть, веселая и приветливая при свете и солнце, в мягкой хвойной подстилке с негустой травой. Из города слабо промелькивали сквозь лес огни, но город оставался недалеко, и утробный гул его стоял в воздухе. Но он слышен и на кладбище; для тех, кто переезжает туда, есть, кроме расстояния, еще одна защита. Будет она и здесь. Надо только поглубже ее сделать.

Серега сбросил с машины лопату и ломик, велел Пашуте оконтурить «работу». Он так и сказал — «работу», не прибегая к слову, которое не хотелось произносить. По городским огням Пашута сориентировалась, где восток и где запад, чтобы правильно развернуть могилу, и сделала надрез. Пока совсем не стемнело, Серега поехал вмять в землю напрямую к дороге след. Пашута слышала, как на обратном пути он метит деревья затесями, показывающими дорогу. Вернулся, отнял у нее лопату и заработал, как машина.

Стемнело до чуть сквозящей темноты и остановилось. Небо по-прежнему было глухо затянуто, по-прежнему моросило, уж не бусом, а мелким тихим дождиком, но различимый отсвет чего-то огромного, излучающегося сквозь любую преграду стоял над землей подобно свечению единой всечеловеческой

жизни. Непогода пригасила электрическое зарево города, придавила многие и многие тысячи огней, взмелькивающих как-то сиротливо и обреченно, а этот неизвестный и глубокий подтай ночи загасить была не в состоянии.

Продернуло сквозь лес холодным ветерком, шумнуло в соснах и стихло, через минуту опять.

Серега сгибался и разгибался, сгибался и разгибался, уже по пояс в яме. Ему приходилось капывать, и вел он углубление соступами, аккуратно складывая землю с левой от себя стороны. Почва оказалась слоеная, вслед за черной землей шла глина, в которую лопата входила вязко, но податливо, затем глина с песком, и зашуршало, зашуршало, стекая с холмика обратно, затем заскреблись камни. Серега выбрался за ломиком, осветил фонариком дно. Там лежал плитняк. Он снова спустился и пошел крушить плитняк ломиком, вымахивая удары мощными движениями. Плитняк поддавался лому, но не брался саперной лопатой. Серега стал выбрасывать его руками.

Ветер трогал все чаще и чаще, нахлестывая дождем. В соснах от дождя и от ветра шумело не переставая, и этот шум тоже был кстати, без него удары железа о камень раздавались бы далеко. Все было до везения кстати. Прятаться в машину, куда отправлял ее Серега, чтобы не мокла, Пашута не хотела. Почему-то надо было мокнуть и мерзнуть, но быть рядом с этой все углубляющейся прямоугольной ямой, присутствовать при ее творении. Никаких чувств она не испытывала, а только присутствовала. Холодность, безразличие, равнодушие пугали ее все больше; она спрашивала себя, понимает ли, что это могила матери со стуком разверзается перед нею, бездна, которой мать будет поглощена навсегда, и казалось ей, что не понимает. Не хватало для этого ни ума, ни чувств, ни представлений, все укорачивалось,

слабело, отмирало. Похоронит мать, и надо будет думать, как быть с собой.

Серега вылез и отряхнулся.

— Поехали, — сказал он.

— Мало, — решительно возразила Пашута и взяла у него фонарик, осветила. — Мало, парень.

— Знаю, что мало, — ответил он без раздражения. — Остальное потом. Сейчас надо ехать.

Спустились на асфальт, и он остановил машину, вышел, что-то примечая, затем для верности снял на бумажку цифру со спидометра. Работа примирила его с выпавшей ему ролью, и, мокрый, измазанный грязью, он повеселел, воодушевился, готов был разговаривать.

— Место мы с тобой хорошее выбрали…

— Хорошее, — согласилась Пашута.

— Вот думаю: не забронировать ли у тебя рядышком? Не люблю толкотню, тоже на выселки не отказался бы.

— Тебе до этого далеко… — В машине с включенной печкой Пашута стала согреваться, нагрелись в ней и чувства, она говорила искренне. — Было бы кому передать свою волю, мне-то рядышком с матерью Бог велел.

Серега понял это по-своему:

— Припекло тебя?

— Припекло.

— А ты сопротивляйся.

— А я что делаю? Зачем ты мне землю долбил, если не сопротивляюсь?! Только как: одни сопротивляются — хочу жить. А я не хочу так жить, не умею. У меня ноги больные — на колени падать. И спина не гнется.

— Бабы должны быть нежные или такие, как ты, — сделал Серега вывод. Можно пополам. А они вздорные пошли, дерганые.

— Сказать тебе, какие мужики пошли?

— Я знаю. Мужики пошли как танки — для выполнения боевого задания. Без мозгов. Кто заплатит, тот и стреляет из такого мужика.

Высаживая Пашуту возле дома, Серега предупредил:

— Я у Стаса сосну часок, потом приедем, если у него готово.

…Танька спала, свернувшись клубком на кушетке. Мясо на электроплите уже и не варилось, а жарилось в выкипевшей кастрюле. До киселя дело не дошло. Девчонка уснула со страха, и взыскивать с нее было бы грешно. Не стала и Пашута возиться с киселем. Разве можно одним киселем обмануть отвергнутый порядок?! Столько было хлопот, что она не знала, за что взяться, но все это могли быть хлопоты из старой обрядности, а Пашута шла мимо, не заботясь о ней, поэтому можно было, казалось, ничего не делать.

Она только и смогла заставить себя — почистить картошку. Мужиков, когда вернутся они из леса, надо накормить. Поминками это назвать нельзя, а накормить, налить рюмку надо. Картошка была мелкая, чистить ее приходилось, заперев и мысли, и сердце, уткнувшись в одно только это занятие. Мелкая придется жарить в духовке.

Кажется, это называется: картофель по-французски. Русское горе по-французски звучит красиво.

Стас с Серегой приехали только под утро. Первым прокрался Стас, постучал тихонько, и следом за ним, обхватив сбоку руками длинный прямой предмет, обернутый в мешковину, поднялся Серега. Он подал этот предмет в дверь Стасу, тот принял и поставил стоймя к стене направо. Запахло деревом, смольем.

Чтобы не топотить, скинули сапоги, говорили вполголоса. Вдвоем — не загремело бы — развязали мешковину, скинули ее, цепляющуюся за углы, и приняли гроб на руки, почтительно держали его с двух

концов, пока Пашута не подставила табуретки. И как только здесь же, в маленькой прихожей установили его, новенький, из свежей золотисто-янтарной сосновой доски, остро и сладко пахнущий, не просто скаляканный в четыре доски, а высокий и просторный, солнечный, к изголовью расходящийся, а в ногах поуже, с горбатой крышкой, да как только сняли эту крышку и открылась телоприимная обитель Аксиньи Егоровны — это было уже не изделие рук Стаса, над которым он провозился весь день, а нечто, явившееся по высочайшей воле, огромное, важное, заполнившее не одну лишь квартиру, но весь дом. С незапамятных времен называют эту обитель человеческой бренности домовиной. Боковые ребристые стены ее, под углом расходящиеся, чтобы не тесно было в локтях и не давило грудь, и снова сдвинутые, шатровый потолок, общая ее форма, «архитектура» — все внушало почтение и трепет, от всего замирало сердце.

Домовина для Аксиньи Егоровны была выстроена по первому разряду, ничего не скажешь. Грех обижаться. Но эту домовину нужно было еще выстелить теплом и убранством. Красный материал для обивки Пашута купила. Залезла в долг, истратилась, но материал был под стать гробу — праздничный и суровый. Им она и принялась выстилать ложе, закрепляя его кнопками. Стас помогал ей. Разговаривали шепотом. Серега попросил чаю, Пашута отправила его в кухню распоряжаться самому. Опоздали из-за него: он, заехав домой, уснул.

Ничего не умела, ничего не знала Пашута из обряда, на похороны ходила в провожающих, не заглядывая в правила. И сейчас она выстилала домовину по своему разумению: обила тряпкой ложе и крышу, под спину подложила легонькое стеганое одеяло — не из новых, под голову подушечку — как для сна.

И над было торопиться, и не торопилось, движения сдерживались сами, отмеряя положенный ритм.

А много ли прибора? Пашута выпрямилась и кивнула Стасу. Вдвоем, не отрывая от табуреток, они перенесли гроб, поставили его рядом с кроватью Аксиньи Егоровны. Подняли ее, подхватывая с двух сторон под спину, опустили в новую хоромину. Удобно легла Аксинья Егоровна, не тесно. Пашута поправила ей руки, платок на голове; вспомнив об иконке, сняла ее с этажерки и положила под руки.

Вот теперь дома. Теперь дома, Аксинья Егоровна, и вместе с домом поедем прибавлять земли. Поедем в истинные отчие пределы, где тебя заждались. Только это и выскреблось из сердца Пашуты, ворочающегося медленно, гулко, как из-под гнета.

Проснулась Танька и стояла в дверях, глядя на происходящее расширенными от ужаса глазами. Старенькая бабушка лежала лицом к ней, и так много за полминуты сказало ей это лицо в раме гроба, успокоенное, освещенное нездешним светом, обращенное к ней одной, что чувствительная душа девчонки опалилась. Не бездыханно лежала Аксинья Егоровна перед Танькой, а стояла, как и она, в раме выходной двери, обернувшись всем телом для прощания. Сколько потом придется пытать себя — всю жизнь! — чтобы понять то обосветное, что говорилось ею.

Пашута укрыла мать сверху белым, аккуратно подоткнула со всех сторон, постояла с минуту и пошла собирать сумку. Стас с Серегой опустили на домовину крышку и вдавили наживленные гвозди. Все без стука, с редкими, приглушенными словами. Наблюдая, как они обуваются. Танька вдруг поняла, что сейчас уйдут, уйдут все, вместе со старенькой бабушкой, и только ее собираются оставить здесь. Она закричала, не сдерживаясь:

— И я! И я! С вами! Вместе!

На нее зашикали, Танька испугалась еще больше, со стоном повторяя:

— И я! И я!

— Куда ее? — тяжелым шепотом спросила Пашута.

— Некуда, — пожал плечами Серега. — Заднее сиденье мы убрали.

Танька умоляюще смотрела на Стаса, чувствуя в нем главного. Вот что значит: нет лица — один страх, одни слезы, одна мольба. Стас сдался.

— Как-нибудь поместимся, — сказал он.

Собрались, приготовились. Насторожили Аксинью Егоровну ногами вперед. Зашли слева, подняли ее на длинных полотенечных жгутах, приобнимая гроб правыми руками, открыли дверь, тронулись. Пашута придержала Таньку — пусть снесут — и встала у окна, чтобы видеть, когда выйдут. Все тайком, все как у татей.

На улице серело. В холодном предсветье было сыро, но без дождя. Похватывал порывами ветер. Пашуту усадили на переднее сиденье рядом с Серегой, Стас с Танькой устроились позади, рядом с Аксиньей Егоровной, домовина которой высовывалась наружу. Потянут в гору — начнет она скатываться... Но сейчас важно было скорей отъехать с глаз долой, укрепят потом. Скорей, скорей!..

«А ведь везет. Пока везет», — думала Пашута, уставившись в раскрывающуюся перед светом фар дорогу. И уже не ее — посторонней мыслью продолжилось: «Можно было все это среди бела дня делать. Никто бы внимания не обратил. Никто сейчас ничего не видит».

На выезде из города остановились, подвязали заднюю дверцу, накинули на гроб петлю из того же полотенечного материала, концы ее Стас намотал на руку. Танька с ужасом смотрела, как он садится на гроб

верхом, точно взнуздав его, точно собираясь подстегивать. Но, должно быть, и Стас разобрался, что сидит он нехорошо и встал на колени рядом.

Серега все-таки потерял сворот. Отметил, до метра отметил, сколько от него до подъезда Пашутиного дома, а обратно, включив скорость, память не включил. Остановился и раз, и другой, но в нечистой мешанине тьмы и света, угарных городских выбросов и морока след разглядеть было невозможно, а лес справа возвышайся сплошной, глухо ворчащей под ветром стеной. Шепотом выругавшись, Серега решительно повернул назад.

Обратно поехала Асинья Егоровна, должно быть, первая из покойников.

— Шесть километров четыреста метров, — мрачно, как пригрозил, уже громче объявил Серега.

Пашута не приняла разворот за дурной знак. Если все от начала до конца не так, то по нетаку и это так. Но светало, светало, над городом обозначилось небо. Она прикрыла глаза, прислушиваясь, как ездит в просторной домовине мать.

Через шесть километров четыреста метров от подъезда Серега остановился, сделал вперед шагов десять и красноречиво вскинул руки в сторону леса. Нашел. Теперь в гору, в гору… На вымокшем скользком подъеме натужно ревел мотор.

И били, били камень, теперь уже вдвоем, сменяя друг друга. Били кайлом и ломом, от могучих, на весь вынос сил, ударов Сереги сотрясалась поляна. Рассвело мутно, день опять обещал быть слепым. В соснах ходил гул ветра; накатывался с запада, где стояла тайга, и здесь, возле поляны, обрывался в пустоту, точно разбивался о берег, скатываясь слабым выдохом обратно. Снова вал и снова с отдачей назад и срываемыми с неба мелкими редкими брызгами.

Аксинью Егоровну оставили в машине одну. Танька ушла в лес, Пашута топталась возле мужиков, то подходя взглянуть, то отходя присесть на выброшенные из машины доски. Когда спускался вниз Серега, казалось, что осталось только подчистить, но вот он, вспотевший, взлохмаченный, с набившейся в усы землей, выбрасывал свое тело наверх, наступала очередь более высокого, едва не на голову, Стаса — и видно было: мало. Без огорожи, без догляда опустить следовало дальше. Сидя на коротких, сложенных одна на другую досках и глядя на торчащий из машины гроб, прислушиваясь к гулким размеренным ударам заостренного железа о камень, Пашута раз за разом забывалась до беспамятства от напряжения и двух подряд бессонных ночей, с трудом приходила в себя, еще пытливей и еще тупей всматривалась в гроб, ждала, когда ее проберет стыд за неспособность к боли и, не дождавшись, встряхиваясь от онемения, поднималась. Поднявшись в очередной раз, она заметила, что Стас удлиняет могилу новым надрезом в изножье, чтобы отступить от неподатливого огромного камня в изголовье. Просторной вышла для Аксиньи Егоровны домовина, но еще просторней выходила могила. А вокруг такой простор под солнцеходом, что лежи не тужи, такой перебор ветра в тяжелых тугих ветках, что днем и ночью будет звучать музыка.

Господи, как хорошо не видеть того, что делается на этой земле!

Пашуту подтолкнули: рядом с могилой на деревянных брусках, нарезанных для полатей, уже стояла домовина с Аксиньей Егоровной, ее открытое, успокоенное, сухое лицо было подставлено небу. На лицо падали снежинки. Они взволновали Пашуту больше, чем все, происходившее здесь до сих пор. Она клохтнула неразборчиво и обрадованно, звуком, в котором смешались горечь и утешение, боль и порыв,

опустилась перед матерью на колени, только для нее одной выдохнула «прости» и прикоснулась к холодному твердому лбу поцелуем. Ткнулась и Танька в старенькую бабушку и отпрянула, не отводя оцепеневшего взгляда, попятилась.

Дали еще полежать Аксинье Егоровне под небом, с которого, набираясь, спадал снег. До чего кстати этот снег — словно всем им даровалось прощение за беззаконные действия. Словно высшая сила сникала над человеческой слабостью и своевольством. Ветер затихал, прохаживаясь остывающими порывами, небо белело, и лиственницы-близнецы, возвышающиеся над соснами, стояли в нем красиво и грозно.

Пашута пристально смотрела, как опускают гроб, как вытягивают из-под него веревки; беззвучный стон пронзил ее, когда Серега спрыгнул сверху на гроб и принялся наставлять стояки для полатей, которые ненадолго защитят тело Аксиньи Егоровны от каменного гнета. Днем, как она представляла, вместе с матерью и половина ее, Пашуты, отделится и уйдет в могилу. Что ушло, понять было нельзя. Но ушло, меньше ее стало, и стучащие о доски камни, осыпающийся, плотно закрывающий поры песок начинали давить и ее, она хватала ртом воздух, жадно подставляла лицо под снежинки.

Не похожи лицами были они с матерью, но Пашута сейчас видела только сходство. Дышала, дышала учащенно и жадно — и не хватало воздуха.

… - А что, — громко и облегченно говорил Серега, со стаканом водки в руке оглядывая оставляемый холмик. — Хоронят же при дорогах шоферов, когда погибают при исполнении обязанностей. Какая разница — где?! В ту же землю… Правда, Танька?

Танька торопливо закивала. В освещенных недетским прозрением глазах ее стояли слезы. Решительно вступала в свои права зима — снег шел

густо, небесный свет его должен был проникать глубоко.

Зимой по богатому снегу Пашута не добрела бы до могилы. Добралась она до нее лишь по весне, когда в лесу еще томились снежные обтаи. Подковыляла к полянке и ахнула: по обе стороны от материнской могилы вздымались еще два холмика. Аксинья Егоровна лежала не одна. Такое славное сыскали место, что появились соседи. Но как и кто среди тучных снегов мог обнаружить ее последнюю обитель?

Удивление Пашуты было настолько велико, что она не выдержала и отправилась к Стасу. Он вышел к ней мятый, с резко обострившимся лицом из тех, которые несут на себе весть, совсем больной. «Заболел, что ли?» — от порога спросила она. «Вроде того», — ответил он.

Прошли опять в кухню. Стас принялся расчищать неприбранный стол, с бряком сваливая посуду в мойку. Все так же черно и коряво заглядывала в окно яблоня, все так же терзал ее ветер. В доме было прохладно и неуютно. Пашута не стала тянуть.

— Стас Николаевич, не забыл, как за городом мать мою перед зимой хоронили? — спросила она, внимательно в него вглядываясь.

— Как же забыть?.. Не забыл…

— Я вчера пошла… и что нашла?.. Рядом с матерью еще две могилы. Целое кладбище. Целую нахаловку, выходит, мы тогда расчали…

Стас глухо сказал:

— Одна могила Серегина. Чья другая — не знаю.

— Как Серегина?! — ужаснулась Пашута. — Ты что говоришь, Стас Николаевич?

— Убили Серегу, после Нового года. Остался я без товарища. Я и подсказал туда свезти, к хорошему человеку. Вместе веселей. И себя заказал туда же.

— Кто убил, почему?

— Он в органах работал, — с нарочитым покашливанием, чтобы не выдавал голос слабость, говорил Стас. — Внедрили его к бандитам в охрану. И сами же выдали на растерзание. Вот так, Пашута. Такая теперь жизнь и смерть.

Последние слова заставили Пашуту всмотреться в него еще внимательней. Не его это были слова, не его интонация, какая-то манерная, жалкая.

— Пьешь ты, что ли, Стас Николаевич? — спросила она.

— Пью, — признался он. — Пью, Пашута. — И, округлив рот, со шлепом бил изнутри по щекам языком.

Она не пожалела его:

— Сильных убивают, сильные спиваются... Кто же останется, Стас Николаевич?

— Кто-нибудь останется...

— Но кто? Ты знаешь их?

— Нет. Все, кого я знаю, не те.

— А где те?

— Я тебе скажу, чем они нас взяли, — не отвечая, взялся он рассуждать. — Подлостью, бесстыдством, каинством.

Против этого оружия нет. Нашли народ, который беззащитен против этого. Говорят, русский человек — хам. Да; он крикун, дурак, у него средневековое хамство. А уж эти, которые пришли... Эти — профессора! Академики! Гуманисты! Гарварды! — ничего страшней и законченней образованного уродства он не знал и обессиленно умолк. Молчала и она, испуганная этой вспышкой всегда спокойного, выдержанного человека. Он добавил, пытаясь объяснить:

— Я алюминиевый завод вот этими руками строил. От начала до конца. А двое пройдох, двое то ли братьев, то ли сватьев под одной фамилией... И фамилия какая — Черные!.. Эти Черные взяли и хапом

его закупили. Это действует, Пашута! Действует! Будто меня проглотили!

— Стас Николаевич, да ты оправдания себе ищешь… Не может того быть! Чтобы взяли… всех взяли! Ты же не веришь в это?

Стас улыбался и не отвечал. Странная и страшная это была улыбка изломанно-скорбная, похожая на шрам, застывшая на лице человека с отпечатавшегося где-то глубоко в небе образа обманутого мира.

…На обратном пути Пашута заехала в храм. Впервые вошла одна под образа, с огромным трудом подняла руку для креста. Под сводами нового храма, выстроенного лет пять назад, в будний день и в час, свободный от службы, искали утешения всего несколько человек. В высокое окно косым снопом било солнце, чисто разносилось восторженное ангельское пение должно быть, в записи, истаивая на круглой медной подставе, горели свечи. Неумело Пашута попросила и для себя свечей, неумело возжгла их и поставила — две на помин души рабов Божьих Аксиньи и Сергея и одну во спасение души Стаса.

НЕЖДАННО-НЕГАДАННО

Расположились в скверике напротив дебаркадера. Скверик уже не походил на скверик: на бойком месте земля была вытоптана до камня, с одного бока его поджимала стоянка для машин, выдвинутая из-под моста и огороженная высокой металлической сеткой, с другого — теснила расползшаяся, в ямах, дорога к Ангаре, с третьего — асфальтовая дорога вдоль Ангары. Высокие тополя в скверике стояли редко, но раскидисто и тень давали. К ним и повел Сеня Поздняков свою

группу, как только объявили, что «Метеор», на котором предстояло им ехать, подадут с опозданием на час. Группа была из своих, из своей деревни, и из соседей, из замараевских, возвращающихся из города. Поровну по три человека оттуда и оттуда. Свои: Сеня, Правдея Федоровна, потерявшая свое имя Клавдея еще в старые времена за пристрастие к правде, когда, выступая на собраниях с разоблачительными речами против начальства, она повторяла: «Я правду люблю», — и Сенина соседка по деревенскому околотку бабка Наталья. Замараевские: муж и жена Темниковы, он инженер в леспромхозе, она — бывший врач. Но это еще по старой сдаче инженер и врач. Теперешняя жизнь сдала карты заново и козырей поменяла. И кто из них сейчас кто, они и сами не знали. Леспромхоз то работал, то не работал, больницу ужали до фельдшерского пункта, и поговаривали, что закроют и фельдшерский.

Третья замараевская — молоденькая девчушка по имени Лена, сдававшая вступительные экзамены в один из новых университетов.

Сеня, как человек бывалый, рассмотрел неподалеку за разбитой дорогой торгующую пивом коммерцию и приволок от нее три картонные коробки. Их сплющили, разодрали и устроили под седево — чтоб не на землю. Вышло вполне культурно. Расселись и принялись за разговором поджидать, когда стянется назначенный час.

Вот наступили времена: раньше, как лето, каждая деревенская изба полна городских гостей. Ехали и воздухом подышать, и стариков повидать, а у кого руки не отсохли — и помочь старикам в их непрестанном битье-колотье по хозяйству. Теперь в деревню не едут: для одних дорого, для других неинтересно. Одни спасаются участком подле дачки, который не отпускает к отцу-матери, другим позарез стал нужен и берег турецкий, и Африка вместе с Америкой. Теперь и писем

в деревню не пишут, а заказывают при случае: пусть мама приедет, пусть папа приедет — соскучились.

А что такое «соскучились» — понятно.

Вот и Сене Позднякову, по которому донельзя соскучились внуки, пришлось набивать снедью два мешка и отправляться как Магомету к горе. Правдея Федоровна прямо называла себя «савраской». Уже второй раз за лето впрягалась она и ехала. Бабку Наталью на старости лет заставила сниматься с лежанки другая, как говорила она, «везея». Гостила зимой внучка и оставила золотые сережки. И два месяца уже: бабушка, отправь, бабушка, отправь. А с кем отправишь золотые сережки какого-то фасонистого издела? Пришлось снаряжаться самой. А сын привез сегодня на пристань и посадки не дождался: некогда.

Зачем ездили замараевские, муж с женой, осталось еще не расспрошено. Впереди длинная дорога. И до дороги сидение в маете. Девчонка, Ленка, сказала, что экзамены в университет сдала, но учиться, наверно, не будет: не понравились ни университет, ни преподаватели, а в общежитии и селиться опасно, там одни кавказцы.

Солнце нагревалось и начинало дышать горячо. По мосту через Ангару дребезжали трамваи и ползла из машин с краю с шипом огромная, во весь мост, разноцветная гусеница, то вздымаясь горбом, то опуская уродливые сочленения. А по другой боковине моста навстречу ей двигалась, поддергивая длинное членистое тело, точно такая же гусеница. И дух с моста сбрасывался едкий, злой. За Ангарой, вздымаясь в гору, продолжался город, сначала деревянный, низкий, закрытый зеленью, затем переходящий в коробчатые белые многоэтажки, нахальные и одновременно сиротски печальные. В одной из них, с шестью рядами разноцветных балконов по фасаду, и жили Сенины дочь с зятем и семи летним внуком. Сын жил по эту сторону

Ангары далеко, за плотиной. Только в Сенины наезды они и сходились, что-то у них меж собой не ладилось. Но ни одна, ни другая сторона, ни дочерняя, ни сыновья, сколько ни выспрашивал Сеня, не признавались, в чем дело, закатывая одинаково при расспросах глаза, будто Сеня тронулся. Но не из тех был Сеня, кого можно оставить в неведенье надолго, и на следующее гостеванье у него появилась надежда на сватью, на невесткину мать, которую собирались осенью окончательно забрать в город. Деревня деревню поймет. Сеня видел однажды сватью, крупную старуху с больными ногами и пытливыми глазами; она без обиняков сразу же уставила их на Сеню с хитрым прищуром — будто Сеня когда-то до родства за нею приударял. Этого быть не могло. Сеня на всякий случай выспросил, где протекала ее жизнь. Не могло. Но, выспрашивая, убедился он, что сватья, которую звали Руфина Сергеевна, не поверху глядит на мир и все, что надо, выглядит. «Как вот в деревню залетают такие имена?» — подивился Сеня, знакомясь со сватьей, подбирая руку, которую она как-то быстро выронила, но имя еще больше его убедило: мимо Руфины Сергеевны ни одна семейная соринка не пролетит, она во все вникнет.

По скверику неприкаянно бродили люди, томившиеся ожиданием, натыкались на Сенин табор и отходили, морщась от убитого и захламленного угла, обманывающего сверху зеленью. У пивной за обнаженной земляной дорогой становилось веселей, оттуда доносились частый звон и бряк, возбужденные голоса. Дебаркадер, хорошо видимый по сквозящему скверику, был совершенно безлюден, на деревянном помосте причала, с которого была перекинута на дебаркадер под ступенчатым спуском стремянка с поручнями, высилась гора из огромных полосатых баулов, известных всей России.

Девчонка отошла от табора и стояла неподалеку. Отошел и инженер, рассматривая за решетчатой оградой машины.

Правдея Федоровна достала из сумки яблоки, тугие, краснобокие, с глянцевым отливом, и принялась угощать. А чего не угощать на прошлогодние зубы, которые хорошо кусали только в воспоминаниях? Сеня и бабка Наталья отказались, яблоки даже с виду были неукусные. Отказалась и фельдшерица и принялась рыться в старой черной сумке с испорченным ездовым замком, застрявшим посреди хода. Склонясь над сумкой, фельдшерица вытянула ногу. Сеня смотрел на крепкую неодрябшую ногу с безобидным интересом: есть на ней чулок или нет? Чулки пошли под цвет кожи, не отличишь, а отличить зачем-то хотелось.

Ехали обратно, сумки были полупустые, с обвисшими боками. Что давалось в гостинцы или что покупалось, шло в легкую укладку. Только инженер вез большой и плоский фигурный предмет, замотанный в целлофан. «Крыло для „жигуля“, — еще при встрече догадался Сеня, по привычке всем интересоваться, спросил, много ли отдано за крыло. Отдано было много, Сенина прикидка осталась далеко внизу. «Все в порядке, — решил он. — Никакого торможения». Он все угрюмей и терпеливей относился к загадке: если торможения нет и не предвидится, то куда же они взлетят?

Замараевская фельдшерица, елозя на Сениной картонке, вытянула из-под замка прозрачный пакет, а в пакете небольшой глиняный горшочек с землей и торчащим зеленым отростком. Бабы заинтересовались: что такое? Можно было и не спрашивать: комнатный цветок. Но из каких-то особых, сказала фельдшерица, живучих настолько, что хоть забудь о нем на полгода. Она выговорила и название, уж больно чужое, так что никто не решился переспросить. И рассказала то, чего

Сеня не знал. Оказывается, на комнатные цветы в их краю нашел мор. Да, и на цветы тоже мор. Хиреют и мрут. Хоть заухаживайся, хоть глаз не спускай — никакого спасенья. Уж на что геранька терпеливый цветок, та самая геранька, без которой и солнышко не заглянет в окошко, а и на нее порча нашла. Не дает уж красного цветенья, корешок слабый, слизистый.

— А и правда! — громко подтвердила Правдея Федоровна. — То-то я все смотрю: что за казня на них, что за казня?! Правда, хворают цветы. Так это отчего? Это ежели у всех, должна быть серьезная причина.

— А у меня вроде ниче, — сказала бабка Наталья. — И геранька цвет дает. Вроде не жалобится.

— Где ты ее держишь? — Правдею Федоровну исключения не устраивали. По серьезной причине, а сейчас причины на все пошли только серьезные, цветы должны быть в опасности у всех.

— На подоконнике и держу, — отвечала бабка Наталья. — У меня подоконники широкие, я зимой подале от стекла отодвину.

Фельдшерица повторяла:

— У нас в деревне у всех, ну прямо у всех хозяек беда. А я не могу, когда окошки голые. Будто съезжать собрались. — Она подносила горшочек ко рту и ласково обдувала зеленце косолапого отростка. — Но уж этот-то, говорят, никакой заразе не поддастся.

Бабке Наталье сделалось неловко, что у всех геранька болеет, а у нее не болеет:

— Мои-то, что говорить, они вековушные, у них и цвет старуший… А этот-то, ежели незаразливый, до чего хорошо!..

И вдруг Сеню осенило: ведь все просто! Проще пареной репы. Он молодецки вскочил на ноги, напугав резким движением подходящую Лену, и начал с Правдеи Федоровны:

— У тебя в какой комнате цветы стоят?

— Во всех стоят.

— Где телевизор — стоят?

— Телевизорная у нас большая, на три окна.

— Ясно. — Теперь Сеня взялся за фельдшерицу: — А у вас, Александра Борисовна, под телевизором стоят?

— Они не под телевизором стоят. Они на подоконнике стоят, под солнышком.

— Телевизор на них влияет?

— Откуда я знаю?

Сеня перешел к бабке Наталье:

— А у тебя, бабка, телевизор влияет?

— Нет, — опять виновато отвечала бабка Наталья. — Не виляет. Он у меня не вилятельный.

— Нету, что ли?

— Нету, Сеня. Одна доживаю.

Подошел, привлеченный страстным Сениным голосом, инженер, прислушался. Сеня взглянул на него гоголем и начал разъяснения:

— Вот, Сергей Егорович, сделал открытие. — Взмахом руки в центр табора, как бы усаживающим, Сеня показал, что открытие тут, рядом. — Благодаря вот этому ма-аленькому вашему цветочку сделал открытие. Я вообще-то раньше его сделал, но не придал значение, что это открытие. Я ведь тоже комнатный огородник, лимоны выращиваю. Лимоны у меня — о-го-го! Все знают. За крупность балдуины называются. Приезжему кому покажешь — не верит.

— У нас сват тоже ростит, — сказала Правдея Федоровна.

— Не знаю уж, как твой сват теперь ростит, если меры не принял, — усомнился Сеня. — Не знаю. У меня, к примеру, полное процветание было до «перестройки». А завозилась она — кто мог подумать, что на лимоны повлияет! А только лимоны мои все хужей, все мельче. Уж не балдуины… так, хреновина какая-то, на перец смахивает. Потом и этого не стало. Завязь возьмется —

и обгнила. Только завяжется — отпала. А у меня книжка, я по книжке провожу уход, у меня ошибок быть не может. Какие ошибки, если я пятнадцать лет с этим делом вожусь! — еще решительней отмел Сеня и придержал голос, принапряг для самого главного: — И только после, как выбросил я телевизор из дому!., я по другой причине его выбросил... А почему по другой? — спохватился он. — Причина одна. Причина какая: что он преподносит. Я выбросил — такие номера он стал откидывать, что я... человек неконченый... возмутился!

— Возмутился! — слабо ахнула бабка Наталья.

— И выбросил! — продолжал Сеня. — Выбросил и живу, на лимоны не гляжу. Я уж на них рукой махнул. Похоронил, можно сказать. А потом как-то ненароком глядь: лимоны-то мои, лимоны-то! — оживают! Я глазам не поверил. Неделя прошла — еще лучше. И пошли, и пошли!

— Телевизор виноват? — насмешливо спросил инженер, отмахиваясь от слетевшего на него желтого листа.

Сеня задрал голову: откуда взялся желтый лист среди сплошной зелени? Внимательно осмотрел тополевое верховье: нет, кое-где желтизной проблескивало... Август как-никак. И только после этого твердо ответил:

— Телевизор. Вот почему. Мы же читали все, кто с этим делом возится, что домашняя растения любит ласку. Спокойствие любит. Мужик на бабу если рявкнет — тут твоей гераньке смертная казнь.

— Они музыку любят, — добавила Лена.

— Музыку любят. Но какую? Опять же ласкательную, она им рост дает. А какую музыку нам по телевизору показывают? Крапиву посади перед телевизором — и крапива сей же момент под обморок! А уж что там нагишом выделывают!.. Это мы, как червяки, глядим, а

растения... она чувствительная. Она и «караул!» закричать не может, а то бы они все враз вскричали...

— Закон, значит, такой вывели? — посмеивается инженер.

— Закон! Вывел! — еще тверже отвечал Сеня.

Заморские бабы смотрели на него с уважением: ну, Сеня... наш Сеня любой спор выспорит, на любого ученого человека храбро пойдет.

Все чаще стали оглядываться на Ангару: не взбелеет ли «Метеор»? — и народ появился возле дебаркадера, торопя посадку. Подъезжали и машины, куда-то ненадолго отскакивавшие, запряженные для проводов. Ангара, взбученная мостовыми быками, бурлила, закручивалась в воронки, пенилась, звенела и, скатываясь мимо дебаркадера, уходила быстро и рябисто. Солнце, безрадостное от чадящего города, стояло почти над головой. Шел только десятый час.

Неподалеку, за старым раздвоенным тополем, одним стволом сильно склонившимся в сторону моста, пристроились, заметил Сеня, женщина с девочкой. Девочка сидела спиной, видна была только белая головка с разлохмаченной косой; женщина, уже немолодая, видавшая виды, со встрепанным выражением на круглом нервном лице, беспокойно оглядывалась. Когда Сенин голос поднимался до накала, она вздергивала голову и морщилась.

Фельдшерица спрятала обратно в сумку отросточек, от которого Сеня и вывел закон, и вытянула взамен какую-то завертушку в красивой обертке, протянула мужу. Он отказался. Она принялась сама разворачивать завертушку. Но не тут-то было — та не давалась. С какого бока, с какого края ни тянула фельдшерица — хрустящая бумага только издевательски повизгивала. Все с интересом наблюдали, чья возьмет. Нет, не бралась штукенция. Не выдержав, фельдшерица применила зубы. Она вонзала их так и этак, испуганно

поводя глазами за наблюдавшими, вот-вот, казалось, зарычит от нетерпения — и со стыдом отступилась, сплюнула.

— Там стрелка должна быть, — подсказала Лена. — Указательная стрелка, куда тянуть.

Принялись всей компанией, передавая друг другу изжульканную завертушку, искать стрелку и не нашли, ее или забыли указать, или нарочно не указали, чтобы проверить смекалку деревенского народа. А что проверять! — Инженер вынул откуда-то из-под куртки нож, с которым и на медведя не страшно идти, и с наслаждением, крякнув, будто от усилия, вспорол штукенцию.

— Вот так, — мстительно отозвалась бабка Наталья. — Дофунькалась.

— Пошто дофунькалась?

— Откуль я знаю? — Бабка Наталья тянулась рассмотреть, что было в хрустящей бумаге, до чего так мучительно добивались. — Ну и че? — спрашивала она. — Че там?

— Сама же говоришь: фунька. — Фельдшерица взяла в рот какое-то цветное крошево из красного, зеленого и желтого и, замерев, испытывала ощущения.

— Попробуй. — Она протянула в ладони крошево бабке Наталье.

Та осторожно приняла, лизнула с руки.

— То ли едово, то ли ядово. Нет уж, — решительно отказалась она, — лутче знать, от чего помирать.

— И правда, — подтвердила Правдея Федоровна, со страданием на лице наблюдавшая, как пробуют неизвестное вещество. — Его, может, для того и запечатывают крепко, что оно опасное.

— Написали бы, если опасное…

— Там че-то написано.

— Написано-то не по-русски.

— А не по-русски написано — русский человек не лезь, не разевай рот, — неожиданным басом сурово сказала Правдея Федоровна. — Там, может, от тараканов написано.

Фельдшерица сплюнула жвачку:

— Тьфу вас! Наговорите!

— Нисколь не проглотила? — полюбопытствовала бабка.

— Нет.

— Ну и слава богу. От греха подале.

Помолчали, оглядываясь на реку.

— Ну а что такое все же «фунькать»? — заинтересовалась Лена. — Есть такое слово или нет?

Бабка Наталья с Правдеей Федоровной переглянулись, улыбаясь, остальные вопросительно смотрели на них.

— Ты вроде деревенская, а спрашиваешь как городская. — Бабка Наталья рассмеялась мелконьким сухим смехом. — Маленькая была — воздух портила втихомолку али с музыкой?

— С тем и другим, — не растерялся Сеня.

Посмеялись, потом бабка Наталья закончила:

— Ежели втихомолку, так это оно и есть…

— Искомое насекомое, — отличился на этот раз инженер.

День разгорался жарким. Со стороны улиц, набегающих на мост, доносился дых города, сладковато-выжженный, сухой. С другой стороны набегала волной речная свежесть. То одним пахнет, то другим. Назначенное для «Метеора» время еще не вышло, но народ томился все пуще, запрудив асфальтовую дорогу возле Ангары. Машины музыкалили на разные голоса, прокладывая себе проезд.

— Пойду узнаю последние известия, — вызвалась Лена.

Последние известия были: еще на полчаса отсрочка.

* * *

Женщину под солнцем разморило: ночь она спала плохо, голова была тяжелой, и чувствовала она несвежесть во всем теле. Они с девочкой оказались здесь случайно. Случайно и не случайно женщину всегда тянуло на вокзалы, откуда можно уехать, и сегодня они с девочкой уже побывали на железнодорожном. Сегодня женщина задумала такое, что и вокзалы не помогут, и без них не обойтись. Проезжая в трамвае, она с моста заметила кружение пассажиров перед отправкой «Метеора» и на остановке потянула за собой девочку. Они побродили-побродили вокруг, ни с кем не заговаривая, выделяясь среди пассажиров своей вялостью, и приткнулись возле компании деревенских. Разговор их еще больше убедил женщину, что люди они невинные и настоящей жизни, которая теперь взяла силу, не знают. Ей тем и нравился речной вокзал, что пассажир тут был не из воронья и отдавался он теплоходу на подводных крыльях, чтобы поскорей добраться до семьи, до деревни и подольше оттуда не выглядывать.

Девочка грызла пряник, как белочка, держа его обеими руками. Женщина принялась укладываться, шурша газетами, которые поднимало речным поддувом, пока она не догадалась придавить их камнями. «Никуда не уходи», — сказала она девочке. Та не ответила. «Сегодня, сегодня!..» — как заклинание, повторяла женщина, закрывая глаза и подбирая под себя ноги, чтобы не выглядеть так, будто валяться на земле ей в привычку.

Голоса бубнили, то затихая, то усиливаясь, когда принимался говорить этот, петушистый… Женщина уже различала его голос — горячащийся, нервный и наивный. Острый голос — заснуть под него не

удавалось, но и открывать глаза, смотреть на белый свет не хотелось.

— Вот объясни ты мне, Сергей Егорович, — шел на очередной приступ горячий мужичонка, — у меня ума не хватает понять. У нас ведь победа на культурном фронте дошла до всеобщей грамотности. Всеобщее среднее образование у нас было. Было или нет?

— Было, — соглашался с мукой второй мужик. Он что-то сказал еще, но в движении, должно быть переходя под тень, — что-то недолетевшее.

— Но ведь среднее образование — это же много! — горячился первый. — Это по уши ума. А едва не половина народу — с высшим образованием. Дальше некуда. Так? Так, да не так. Вот тут и фокус. Если мы все были такие умные, почему мы вышли в такие дураки? Я об этот вопрос всю голову сломал. Почему, Сергей Егорович?

— Мы не дураки…

— Мы не дураки, мы теперь умные, — быстро, с удовольствием согласился спорщик. Этот, если никого рядом не окажется, сам с собой будет спорить. — Очень хорошо, — продолжал он. — Но если мы сегодня такие умные, почему мы вчера были такие дураки? При всеобщем среднем образовании с заходом в высшее. И работу мы делали не ту, и ели не то, и спали не так, и ребятишек делали не с той стороны, и солнце у нас, у дураков, не оттуда всходило. Кругом мы были не те. Но почему? Говорят, нас специально учили так, чтобы и высшее образование было не выше дураков. Такая была государственная задача. Ладно, задача… Но почему?., если мы все были такие дураки, как мы за один кувырк стали такие умные? И сразу взяли правильный курс — все делать с точностью до наоборот?

Второму мужику не хотелось спорить, он замолк, делая опять какие-то передвижения. Старуха вздохнула с жалостью и сказала:

— Почему ты у нас, Сеня, такой истязательный? Ну прямо сердце надрывается на тебя глядеть.

«Умные, дураки... — полусонной и безжалостной мыслью прошлась женщина по услышанному. — Нет теперь ни умных, ни дураков. Есть сильные и слабые, волки и овцы. Все ваше образование пошло псу под хвост. У нас и профессора в лакеях служат или на цепи сидят».

У соседей началось шевеление, и женщина решила, что, должно быть, подходит их водный транспорт. Она села и огляделась. Нет, все было в том же томительном ожидании, все так же толокся народ, не знающий, чем себя занять. Солнце сразу стало горячей, едва она подняла голову. А зашевелились рядом — принесли пиво и воду и устраивали посреди круга стол.

— Дать еще пряник? — спросила женщина у девочки.

Та отказалась и опять застыла, держа головку на поднятой шее, глядя без всякого чувства на дорогу, где, гоняясь друг за другом, играли в пятнашки мальчик и девочка ее лет.

«Надо что-то делать», — опять забеспокоилась женщина и покосилась на стоящего к ней вполоборота Сеню. С моста сорвался грохот трамвая, особенно тяжелый, оглушительный, над головой зашумела листва. Сеня взапятки сделал два шага и стоял с задранной головой.

— Эй! — окликнула его негромко женщина, и еще раз, посильнее, пока он не оглянулся. И показала ему кивком головы, чтобы он подошел.

Сеня подумал и подошел, со стаканом воды в руке облокотись на изгибающийся ствол тополя. Женщина пригладила ладонями лицо, точно обирая с него усталость, вгляделась в Сеню, что-то решая, и сказала:

— Угости пивом.

Ей было лет сорок, на круглом лице с большими, теперь припухшими глазами и большими синими подглазьями замечались следы не только бессонной ночи, но и приметы покатившейся жизни. Смотрело лицо угрюмо и растерянно. Женщина еще старалась держать себя, на ней была свободная и длинная серая кофта поверх тонкой полосатой рубашки и короткие, открывающие щиколотки, коричневые брюки хорошей материи. На ногах кроссовки. Женщина старалась держаться, и все же нельзя было не заметить, что каждый месяц жизни дается ей в год.

— Пивом я и себя не угощаю, — ответил Сеня, всматриваясь и не умея сдержать любопытство. Не походила она на попрошайку, играла какую-то роль.

— Тогда водой угости. Жарко.

— Ангара рядом.

— Девочка любит сладенькую, — играя лицом, что, должно быть, когда-то получалось у нее красиво, а сейчас — манерно, настаивала женщина.

Девочка, сидевшая спиной, обернулась, и Сеня ахнул. Он узнал ее. Он видел ее только вчера.

* * *

Вчера они с Людмилой, с дочерью, пошли по базару посмотреть кой-какого товару. Требовалось самое необходимое для подступающей осени — телогрейка для Гали (старую, истрепанную недосмотрели в сенцах, в углу, и на ней кошка принесла котят) и ему, Сене, кирзовые сапоги. Любил он еще, бывая в городе, поискать «то, сам не зная что», как в присловье, в чем нет крайней нужды, а увидишь и загоришься, возьмешь. Так он купил однажды кофемолку за один только притягивающий взгляд ее вид — приглянулась и запросилась в руки, а потом долго не знал, что с нею делать, кофе он не пил. Простояла кофемолка в

праздности, наверное, года с два, и вдруг слышит Сеня грохот из избы, будто там запустили дизель. А это Галя приспособила кофейную машину под помол сухой черемухи, и та от возмущения подняла крик. Сеня прикрутил винты — стала работать тише. С тех пор безотказно мелет. Вот и игрушка... любую игрушку, если имеется голова, можно пустить в дело.

У них в Заморах ничего подчистую не стало, и магазин о двух высоких крыльцах на две половины показывал замки уже года три. Бросили деревню. Как ни ругай коммерцию, а приходится говорить спасибо одному приезжему парню, который муку с крупой и соль с сахаром изредка привозит и торгует из амбара. Торгует с наценкой, но делать нечего. Да и денег нет, чтобы скупиться. Что появится чудом или из милости — отнесешь этому парню, Артему, и живи без размышлений, что бы еще купить.

Покупают в Иркутске в «Шанхае». Так называется вещевой рынок, по-старому барахолка, расположившийся по обочинам рынка продовольственного, крытого. Название дано по китайскому товару, который гонят сотни и тысячи «челноков», снующих беспрестанно туда и обратно. Громадные полосатые сумки, раздувающиеся как аэростаты, способны вместить полцарства. Гвозди и спички, карандаши и нитки, шнурки и пуговицы, мертвые цветы и бегающие игрушки, не говоря уж о тряпках, о посуде, об обуви, о снеди, о всякой подручности, — все везется из Китая. И все непрочно, быстро дырявится, портится, расходится по швам, превращается в хлам, а значит, требует замены. И китайцы заинтересованы в плохом качестве, и «челноки», и, похоже, сам Иркутск, потому что иной работы он дать не может. Все свое сделалось в России невыгодно.

В «Шанхай» и повезла Сеню Людмила. Они сошли с трамвая и сразу окунулись в светопреставление. Кругом все кричало, визжало, пищало, совало под нос какую-то раскрашенную дрянь, и все колыхалось, двигалось, полосатые баулы били Сеню по голове и по ногам, дюжие квадратные девки кричали на него и яро матерились — и он бы упал, его бы затоптали, но упасть в плотной движущейся массе людей и товара было некуда. Людмилу он быстро потерял, онемел и только покрякивал, когда толкали и сжимали особенно больно. Каким-то чудом вынесло его на отбой, несколько раз еще крутануло и остановило. Из последних сил Сеня отпрыгнул в сторону.

Деньги в кармане оказались на месте. Сеня отдышался, для верности еще раз ощупал себя, целы ли кости, приободрился своим спасением и стал наблюдать, что это такое — откуда он спасся и что называется торговлей. Покупать там невозможно, там происходило что-то иное. Полосатые, под видом матрасовок, баулы все двигались и двигались, их катили на тележках, несли на загорбках, на головах, выставляли перед собой в две, в три пары рук и таранили ими народ. Сеня кумекал: значит, тут место перевалки. Одни привозят из Китая, другие съезжаются со всей области, а может, и шире, делают оптовую закупку, потом и у них появляются перекупщики — и так за несколько оборотов товар наконец добирается до Сени и таких, как он, кто выкладывает за него последние деньги. Увидев действие этой огромной крутящейся машины изнутри, Сеня поразился ее адовой простоте и изобретательности, какому-то беспрерывно громыхающему взрыву, раскидывающему полосатые тюки.

Они договаривались с Людмилой пойти после «Шанхая» в торговый центр на базарной площади; сапоги могли залежаться там. Туда и отправился Сеня,

надеясь, что Людмила догадается, где его искать. Он подошел к главному входу и стал прогуливаться, наблюдая тутошнюю жизнь. Везде, на каждом шагу, теперь сделалось интересно. Неподалеку, слева, мучили медведя, облезшего, полуживого и старого, выставив его как приманку для фотографирования. Медведь стоял на задних лапах, уронив голову и исподлобья косясь на окруживших его ребятишек; видно было, что он давно смирился и с цепью на шее, и с тем, что жизнь его кончилась; потом перевалился на все четыре лапы, цепь загремела, ребятишки завизжали, а медведь понуро, по-собачьи, ткнулся мордой в бетон, что-то там вынюхивая. Фотограф, толстый мужик с бабьим лицом, хозяин медведя, сидел на складном стуле возле щита с фотографиями и изображал улыбку на недовольном лице: на медведя глазели, а под фотокамеру не шли. От массивного здания магазина уже ложилась тень, и под нее пристроились прямо на бетонной плитке несколько цыганят и три старика, один совсем безногий, на каталке. Сеня и за ними понаблюдал: давали совсем плохо, но из малого больше всего перепадало безногому. Цыганята не выдерживали пустого сидения, бросались канючить, хватали прохожих за руки — их отталкивали, зная, что цыганское племя нынче богаче русского. И гремело из ларька, торгующего музыкой, так оглушительно, что Сеня тряс головой и думал: а ведь этак недолго вызвать землетрясение.

Чтобы не разминуться с Людмилой, он поднялся по ступенькам и у самого входа в магазин присел над последней ступенькой на край мраморной широкой площадки. Туда и обратно, вверх и вниз сновал народ, это был субботний день, но после «Шанхая» суета здесь крутилась спокойно и люди шли своими ногами, могли разговаривать и понимать друг друга.

Тут-то и увидел Сеня эту девочку, точно слетевшую из сказки. Она сидела прямо напротив, по другую сторону ступенчатого подъема. Сеня сначала не догадался, зачем она сидит среди этого хоть и затихшего по сравнению с «Шанхаем», но все-таки лежащего повсюду безобразия с нищими, медведем и бушующей музыкой, и только обратил внимание на ангельское личико лет пяти-шести, промелькивающее между проходящими. Не засмотреться на него было нельзя: дымно-белые волосы, какие называют льняными, сразу уходили назад в тугую косу с темно-красным бантом, и лицо, чуть вытянутое, чистое, нежного и ласкового овала, было открыто. Глаза, нос, губы, щеки — все было вылеплено на этом лице с удивительной точностью, чтобы ничто отдельно не выделялось, а вместе являло ангельский лик. Глаза небольшие, глубокие, голубые; курносинка, та самая изюминка, которая делает лицо занимательней; щеки без подушечек, ровные; рот правильный, со слегка оттопыренной нижней губой. Нет, не лепилось это лицо взаимным наложением родительских черт, а выдувалось, как из трубки стеклодува, небесным дыханием.

Сеня так внимательно рассмотрел девочку, когда, заметив, что возле нее приостанавливаются, подошел взглянуть, почему приостанавливаются. И увидел: на коленях девочки, зажатый ногами, уже и не лежал, а стоял раскрытый пакет. В него опускали деньги. Опускали и, отходя, оборачивались, чтобы полюбоваться. Девочка склоняла головку, острые плечики ее подавались вперед, и монотонно и печально повторяла:

— Спасибо. Спасибо. Спаси вас Бог. Спасибо.

На ней была синенькая курточка с большими накладными карманами и подвернутыми рукавами и плисовая оранжевая юбочка. То и другое старое,

стираное, но чистое. Красные сандалики поверху потрескались.

Сеня тоже опустил в пакет бумажку в пять тысяч. Для него это были деньги. За такие деньги он встал сбоку, на ступеньку ниже, и, чувствуя второе после «Шанхая» потрясение, охваченный удивлением, жалостью и болью, смотрел неотрывно, как опускают и опускают деньги. Господи, что же это на свете делается?! Видит ли Бог? А может, это Он, Бог, послал от Себя это ангельское создание, чтобы иметь чистое свидетельство?

Не удержавшись, Сеня тронул за плечико девочку и спросил:

— У тебя мама есть?

Она торопливо и отрицательно, не поднимая глаз, замотала головой.

— С кем же ты живешь?

— Одна.

Едва он заговорил с девочкой, их стали обходить. Не зная, что сказать и чем унять свою боль, Сеня продолжал стоять рядом. Девочка вдруг попросила:

— Дядя, отойдите, пожалуйста, вы мне мешаете.

Он отошел. Нервно закурил, стоя на мраморной площадке, чтобы быть на виду, и смотрел куда-то поверх города. Здесь и нашла его дочь. Жадно хватая дым, Сеня показал Людмиле на девочку:

— Посмотри какая. Говорит, что одна живет.

— Я слышала про нее, — вспомнила Людмила. — Слышала, будто в коробках на базаре ночует. — Она всмотрелась в девочку. — Не похоже, чтобы в коробках. — И добавила: — Мы устали от грязной, оборванной нищеты, нам и нищету подавай красивенькую.

* * *

Сеня купил и пива для женщины, и для девочки подкрашенной воды в литровой пластмассовой бутылке, прогибающейся под рукой. Они отошли от коммерции в глубь пустыря, который все другие старались обходить. Сеня еще помнил по старым наездам в город, что здесь стояли деревянные дома с заросшими зеленью двориками. Дома снесли, освобождая место для какого-то большого строительства, но тут упало нестроительное время, и так все и осталось в горьком запустении. Из земли выбило дождями гнилые деревянные оклады домов, кучами торчали кирпичи и глина от печей, до сих пор пахло гарью и затхлостью. Трава выбивалась кустистыми пучками, торчали обгоревшие доски, чернели следы кострищ.

Сесть было некуда, да Сене и некогдилось с посиделками, в любой момент мог показаться «Метеор». Он сам открыл банку с пивом и вздрогнул от тугого фырка, с каким выбросился из банки газ. С бутылкой провозился больше, пробка прокручивалась, и пришлось ее по-дикарски свернуть на сторону. Девочка приняла бутылку обеими руками, сказав вчерашним голоском «спасибо», и опустила на землю, присела на корточки рядом. Женщина отпила из банки без той жадности, которую можно было от нее ожидать. Она продолжала присматриваться к Сене, а он не мог отвести глаз от девочки и заметил на этот раз, что ангельское лицо, с таким вдохновением слепленное, пожалуй, не вздуто изнутри свечкой, которая бы его освещала и теплила. Или она загасла уже при жизни; лицо казалось тусклым. И все же оно было красивым, очень красивым какой-то красотой иных краев. Одета она была по-иному, чем накануне: в платье мягкой зелени с отложным воротничком и вышитым на груди цветком; на ногах белые, со шнуровкой, низкие туфельки. Пригляд за девочкой был, в этом можно было не сомневаться.

— Купи девочку, — вдруг услышал Сеня.

Он обернулся, медля, раздумывая, что ответить на такие слова, и встретил прямой тяжелый взгляд припухших глаз.

— Очумела? С глотка пива повело? — только и нашелся он сказать.

— Я серьезно. Купи.

— А себя ты, конечно, давно продала? И не разбогатела?

— Себя… давно… — раздельно ответила она.

— Давай-ка отойдем, — сказал Сеня.

Ему было стыдно говорить при девочке, и он отвел женщину шагов на тридцать. Девочка спокойно оглянулась на них и снова уставилась на Ангару, все так же сидя на корточках и держась обеими руками за бутылку.

— Ну и что? — приступил Сеня. — Что ты за штука? Ты что — высмотрела деревню и решила кино показать?

— Нет.

— Нет, говоришь? А почему ты взялась детишками торговать? Коммерцию, что ли, такую открыла?

Женщина отпила из банки и откинула ее в сторону; пиво забулькало, выливаясь.

— Ты меня лишним не ляпай, Сеня, — сказала она все так же тяжело, не задираясь. И не удержала взятого тона, вильнула: — Тебя Сеня зовут? Мальчик Сеня. А перед тобой девочка Люся. Ту девочку зовут Катя. Детишками я не торгую.

— А что ты мне только что предлагала? Редиску с грядки купить?

— Мне надо срочно уехать.

— Ты не мать ей?

— Нет, матери у нее нет. Ни отца, ни матери.

— А кто ты ей?

— Тетя Люся. Я не первая у нее тетя.

— Тебе надо срочно уехать… с девочкой и поезжай. Или она тебе не нужна?

— Вместе нам далеко не уехать, нас поймают, — оглядываясь, торопливей заговорила женщина. — И не на что ехать.

У нее была привычка: когда она умолкала, то принималась нервно терзать сомкнутые губы.

Сеня точно на землю опустился: о чем они говорят? Где он? Ведь она предлагает ему купить девочку! Не куклу, не котенка купить, а живого человека! И он что же, выходит, торгуется с нею?! С этой женщиной, которую и знать не знает! Почему он с нею разговаривает, зачем?!

— Детей я не покупаю, у меня свои есть, — решительно сказал он, собираясь развернуться и уйти. — Ты что-то не то во мне высмотрела, тетя.

Женщина облизнула губы и покосилась на выброшенную банку.

— Так возьми, — мрачно сказала она.

— Ну дела-а! — восхитился Сеня. — То купи, то так возьми. Если дальше у нас туда же пойдет, ты мне еще и деньги большие дашь. — Он решил, что хватит играть втемную. — Она ведь, девочка твоя, кажется, неплохо зарабатывает. Я вчера видел ее...

— Где ты ее видел? — быстро спросила женщина.

— У торгового центра. С мешком денег.

Женщина кивнула с усмешкой:

— Все точно: там. И пас ее там вчера Ахмет. Из этих денег нам ни копейки не достается, все забирают. — Она встряхнулась всем телом, по-куриному. — Надо же: видел. Извини, Се-ня. — Она окликнула громко, уже не боясь: — Катя! Пошли! — И сказала для Сени: — Пошли в свою камеру, побег не состоялся. Там Олега уж добивают, что выпустил нас.

Девочка поднялась на ноги, но не двигалась. Ангара заворожила ее.

— Она не больная? — спросил Сеня, чувствуя, как заныло у него страдальчески сердце. — Вялая какая-то,

замороженная.

Женщина еще и добавила:

— Жизнь такая. Одних цепь заставляет кидаться на людей, других в обморок кидает. Жалко ее, — без выражения сказала женщина и первой заметила: — Вон ваш пароход показался.

«Метеор» только выплывал из затона, сияя округленной и длинной, как у ракеты, белизной.

«Вот сейчас сяду, — подумал Сеня, — и не увижу больше никогда ни девочку эту, ни женщину. Сяду сейчас, закрою глаза и спрошу себя... И долго потом буду спрашивать, может, всю жизнь. Вот угораздило».

Они приближались к девочке. Она повернула к Сене лицо, настороженное, ожидающее, и смотрела, точно пытаясь угадать, договорились или нет.

— Слушай! — Сеня решительно затормозил. — Поехали вместе, — обращаясь к женщине, торопливо, горячо заговорил он. — Приедем, ты жене, Гале, все расскажешь. Это же рассказать надо, а не так, что привез и вывалил. Она поймет. И ты поживешь среди нормальных людей. Ну? Едем? Сама говорила, что тебе уехать надо. К нам и поедем. У нас надежней надежного.

Женщина, отказываясь, покачала головой.

— Се-е-еня! — в несколько голосов закричали из-за коммерции. — Где ты, Сеня? Па-е-хали!

Сеня встряхнул женщину за плечи:

— Если не врала ты, то дура. Быстро! Деньги у меня на дорогу есть.

— Сеня-а! — испуганно надрывалась бабка Наталья.

Он неотрывно смотрел на женщину. Она медленно нагнулась, чтобы поднять сумку, и второй, левой, рукой отерла лицо, показывая, что готова.

Первый и второй салоны уже разобрали, когда они, толкаясь, задевая друг друга сумками и свертками, влезли на «Метеор». Бабка Наталья от волнения слабо

постанывала и все хваталась за Сеню, Правдея Федоровна танком шла впереди. Замараевские инженер с фельдшерицей ушли раньше, но Лена осталась в Сениной группе. Новых знакомых Сеня не терял из виду, они отстали, но двигались вслед за ним.

За вторым, средним салоном они поднялись на пять ступенек, прошли по открытой площадке с высокими бортами и на пять ступенек за дверью спустились. Третий салон, в трюме, был и качества третьего, для простонародья, полутемный и прохладный, со скошенной вовне задней стенкой. Сеня выбрал места на левой половине, по ходу теплохода она становилась правой, обращенной к родному берегу. Он пропустил бабку Наталью к окну, рядом с нею ухнула в кресло Правдея Федоровна, потом аккуратно присела Лена. Себе Сеня взял место у прохода. Позади него устроились женщина с девочкой. Набились и в этот салон, окликая друг друга и друг ко другу переходя, уталкиваясь дружественней. Взревел двигатель, «Метеор» затрясло крупной дрожью, почувствовалось слабое и набирающееся скольжение. Всё — отъехали. С опозданием почти на два часа, да дорога на семь часов. И с неожиданными, упавшими как снег на голову, гостями.

Сеня перегнулся сбоку за свое кресло, проверяя, здесь ли они. У девочки на лице появилась тень спокойного удивления, она не понимала, как они здесь оказались, и бросала взгляды на женщину, словно спрашивая: что же мы делаем? Женщина, тоже озираясь, кивнула Сене, подтверждая: что сделано, то сделано. Лицо у нее пошло пятнами; Сеня принял это за жар от вчерашнего перегрева.

«Метеор» развернулся у самого моста, и Ангара подхватила его, понесла, затем он и сам поддал, разрезая воду, с шумом и плеском отваливая ее на стороны. Замелькали городские берега, сплошь

застроенные, погребенные под бетоном, к которому и волна сбегала робко. Незаметно берега переменились, пошли дачи с длинной вереницей лодок, темных и раскрашенных, и уж на них-то волна пошла с лихостью, высоко их подбрасывая и заваливая. А потом и вовсе вырвались на волю.

Сеня поднялся, чтобы сходить за билетами. Для себя он билет взял загодя, требовалось позаботиться о новеньких. Но вслед за ним сразу же поднялась женщина, догнала его за дверью и остановила.

— Я сама, — решительно сказала она, не глядя на Сеню. — На это у меня есть.

Он вернулся на место, размышляя; было о чем подумать. Дрожь всего корпуса теплохода в корме не прекращалась, а когда «Метеор» набегал на чужую волну, било о борт резко и гулко. Шум в салоне от разговоров и хожденья нарастал, от вареной курицы, которую несли из буфета, запахло с пресностью подсыхающей банной мочалки. Прошел наружу матрос, совсем молоденький и маленький большеголовый парнишка, оставив заднюю дверку открытой, и в нее было видно, как синим кипятком сквозь белую пену кипит за кормой вода. Бабка Наталья успокоенно вздыхала, по привычке деревенского человека интересуясь не берегами, а незнакомым народом; Правдея Федоровна сидела важно, еще не выбрав, чем заняться; Лена среди стариков скучала. Но все постепенно обтерпевались, втянутые в дорогу. Если тебя везут и ты семь часов можешь не отдирать задницы от кресла и отдаваться впечатлениям, это не значит, что тебе так уж беззаботно. Тушу твою везут, а душу везешь ты сам.

Воротилась женщина и, проходя, подмигнула Сене: все в порядке. Сеня слышал, как она за спиной говорит девочке:

— Вот твой билет.

— А твой? — спросила девочка.

— Мой у меня.

И завозилась в сумке, что-то отыскивая и перекладывая. Теперь поднялся Сеня, сходил в буфет, купил опять той же воды, которую оставили на пустыре, шоколадку, на обертке которой развевался парус российского происхождения, и несколько булочек. Больше ничего, кроме спиртного, в буфете и не было. Курицу уже растащили. Все это Сеня выложил перед девочкой, потрепал ее по льняной головке, а когда она подняла на него глаза, подмигнул.

— Давай-ка! — только и сказал он, чтобы не дырявить главный, предстоящий разговор торопливыми вопросами.

— Сеня-а! — позвала тут же бабка Наталья, только он уселся. — Это кто такие?

— Старые знакомые, — отговорился он.

— Я пошто не знаю?

— Я твоих знакомых из твоей молодости тоже не знаю.

Бабка Наталья подумала и удивилась:

— Ты-то пошто не знаешь? Они все в деревне. Кто в верхней, кто в нижней.

«Нижней деревней» называли кладбище. Бабка просунула голову в проем между спинками кресел, подержала ее там.

— Бравенькая какая девочка! — похвалила она, возвращая голову на место. — Докуда едут-то?

— Докуда билет велит.

— Не к нам?

— Точно не знаю.

— Ну, хитри, хитри…

Поднялась прогуляться Лена, потом принялась подниматься Правдея Федоровна. Сеня, поленившись, не освободил для нее выход, вжался в кресло, заведя ноги на сторону, — и Правдея Федоровна застряла,

выдираясь, уперлась рукою в слабую Сенину грудь и чуть не раздавила. Пришлось поохать обоим. Лена долго не возвращалась, гостила у своих, у замараевских, в среднем салоне. Воротилась возбужденная.

— У нас тетя умерла, — сообщила она, поводя расширенными глазами, оглядывая по очереди всех.

— Ну-у! — ахнула Правдея Федоровна. — Похоронили?

— Нет, завтра похороны.

— Гли-ка: как знала — к сроку-то едешь…

И только после этого вместе с бабкой Натальей принялись выяснять, какая из Лениных теток скончалась, их у нее было много. Оказалось, тетя Дуся, отцова сестра, та, что жила на верхнем краю Замараевки рядом с Верой Брюхановой. Поохали, повздыхали, не утешая девчонку, опуская в своей памяти и еще один гроб из земного окружения и устанавливая себя на какое-то новое место в происшедшем передвижении. Правдея Федоровна вздыхала громко, мощно. Расспрашивая, перебирала в Замараевке своих знакомых, упомянула опять Веру Брюханову, подружку по молодости, с которой не виделась года два…

— И не увидишься, — сказал Сеня, не сумев сдержать удовольствия от ловко пришедшегося подхватного слова. — Переехала твоя Вера Брюханова.

— Куда переехала? Что ты буровишь?

Лена испуганно объяснила:

— Она же умерла! Еще зимой умерла!

— Вера умерла?! — выкрикнула Правдея Федоровна.

— Еще зимой. Кажется, в марте. По снегу.

Правдея Федоровна помолчала, приходя в себя.

— Что это за жизнь пошла?! — требовательно воззвала потом она. — Что за жизнь пошла! Вера

померла — и за полгода слух по Ангаре за двадцать верст не сплыл. Это когда так бывало?! О, Господи!

— Сильно много народу помирать стало, — по-своему объяснила бабка Наталья.

Сеню тронули за плечо: над ним стояла женщина, его гостья, она спросила сигареты. Сеня протянул ей пачку; он курил, но все реже и реже. В одиночестве и за весь день мог не вспомнить про курево, а с мужиками, глотнув дыму, не утерпевал, травился.

Пока женщины не было, Сеня пересел к девочке, стал рассказывать, что ведется у него в хозяйстве.

— Во-первых, две коровы, — перечислял он. — Молоко будешь пить от пуза. Мы поросенка от некуда девать молоком поим. Во-вторых, бычок, уже с рожками. Стоит-стоит — да ка-ак взбрыкнет, будто шилом его ткнули, и давай носиться по телятнику. — Сеня наблюдал: девочка слушала внимательно, но ни до коров, ни до бычка не дотягивалась воображением, лицо ее оставалось безразличным. Шоколадку она не тронула, та нераскрыто лежала у нее на коленях, а булочку потеребила. — В-третьих, боров на подросте… Но боров, он и есть боров, я, к примеру, уважения к нему не имею. Потом курицы… Цыплята теперь подросли, ты опоздала, чтобы цыпляток кормить. Будешь кормить куриц, это будет за тобой. Курица — не такая глупая птица, как про нее говорят, за ней интересно наблюдать. Собака у нас одна, умная собака, Байкалом зовут, зря никогда не гавкает, а чужого не пустит. Еще есть овцы…

— Зачем так много? — спросила девочка, чуть скосив глаза в его сторону.

— Чего много?

— Коровы, курицы, овцы… Зачем так много?

— Но ведь жить-то надо! — с горячностью стал защищаться Сеня, будто девочка упрекала его. — Мы этим и живем. Деньги нам не дают, мы деньги другой

раз по полгода не видим. Все свое. Я бы овцами, к примеру, попустился, они мне и самому надоели… Да ведь шерсть! Из шерсти носочки, рукавички, шапочку, свитерок… Мы там как в пятнадцатом веке живем. Вот увидишь, как интересно.

«Метеор» подчаливал; Сеня, пригнув голову, заглянул в окно. Подходили к Усолью.

— Хорошо идем, — сказал он вслух. — Расписание, конечно, не догнать, но подтянемся.

И отчалили без задержки. Снова поплыли берега, все расходящиеся и низкие, начиналось море. Сеня и об этом сказал девочке. На «море» она слабо встрепенулась, но через минуту отвела глаза от окна, по-прежнему уставив их перед собой. Да и верно — какое море? Название одно. Огромная лужа, которая за полтысячи километров отсюда, набравшись в ленивую, но мощную силу, крутит турбины. «Метеор» вильнул раз и сразу же другой. Значит, по большой воде подняло с берегов лес, наваленный там баррикадами, и таскает его, подсовывает под винты теплохода.

Сеня взялся перебирать, что у них в огороде. Огород был большой, засевался он с умом — его, Сениным, умом велся севооборот и календарь посадок, но Сеня удержался от похвалы себе… Он перечислял грядку за грядкой и все чаще посматривал на дверь: женщина задерживалась. Взглядывала на дверь, он заметил, и девочка.

— Тебе никуда не надо? — спросил он.

Она помотала головой: не надо.

— Тогда посиди, я сейчас.

Он вышел на площадку, где толпились курящие, — женщины среди них не было. Медленно прошелся по одному салону, обводя глазами ряд за рядом, потом по другому, быстро вернулся в свой салон. Девочка вопросительно взметнула на него глаза, она заметила в нем тревогу. Сеня развернулся и за дверью прислонился

к стенке рядом с грудастой бабой, держащей на руках веселого, пускающего пузыри ребенка. Сеня подождал, пока выйдут из того и другого туалета, снова обошел салоны, заглянул даже в рулевую рубку. Больше искать было негде. Уже зная ответ, спросил у проводницы, у губастой полусонной девушки с темным лицом, не выходила ли в Усолье такая-то… Сеня обрисовал ее. Выходила: проводница вспомнила ее сразу. Видимо, такая растерянность была на лице у Сени, что она не удержала любопытства:

— Что случилось-то? Не там вышла?

— А куда у нее был билет?

— До Усолья.

Значит, не вдруг спрыгнула, рассчитала заранее. Был дураком и остался дураком.

Он сел возле девочки, перекинул руку ей за голову и, притягивая к себе, сказал глухо:

— Слушай, сбежала от нас твоя тетя Люся.

Девочка вздрогнула и замерла. Сеня боялся, что она заплачет, будет с рыданьем проситься обратно, — нет, все осталось внутри. В оцепенении просидели они, должно быть, с полчаса. Потом девочка зашевелилась, показывая, чтобы он убрал руку, села бочком, отворачиваясь от Сени, и завозилась, шаря где-то под платьишком. Выпрямилась и вложила Сене в руку какую-то пачку. Он глянул: это были деньги.

— Это она дала? — быстрым шепотком спросил Сеня.

Девочка покачала головой: нет.

* * *

Так эта девочка, по имени Катя, оказалась в деревне у Сени с Галей, и, таким образом, Сене с Галей ничего не оставалось, как катькаться с этой девочкой.

Сеня потрухивал, ведя с пристани Катю, и, чтобы не показывать ее лишнему народу, шел берегом, с нижней улицы перелез через прясло в свой огород и двинулся с тыла. Галя — баба добрая, но первая реакция могла быть шумной. Но вышло совсем наоборот. Когда Сеня с Катей явились пред ее очи и она удивленно-вопросительно сказала «здра-авствуйте» и когда Сеня продуманным ходом завел Катю в летнюю кухню, а сам выскочил и торопливо принялся объяснять, откуда свалилось к ним это небесное создание, Гали достало только на то, чтобы приахивать:

— Да как же это? Как же это, Господи!.. Как же это!..

Но потом пришли трезвые мысли, и Галя ежедневно окунала в них Сеню как слепого щенка в холодную воду.

— Дурак — он везде дурак. — Эти слова Сеня говорил себе и сам, они были справедливы. — От тебя за версту простотой несет. Какой простотой? А той, которая хуже воровства. — Галя подхватывала последнее слово. — Ведь ты украл ее — если разобраться! Укра-а-ал! — заглушала она слабые Сенины возражения. — Тебе воровка ее подкинула — значит, ворованное. Как ты знаешь, что у нее нет отца-матери? Отец-мать ее, может, ищут, может, уголовный розыск объявили... И найдут, пошто не найдут! Ведь ты бы подумал: тебе навязывают ее купить — нет!.. Навязывают дарма забрать — нет!.. Ум вроде поначальности проблескивал: «нет» говорил... — Особенно Галю пугали оказавшиеся при девочке деньги. — Ведь ты ее купил. — Она забывала, что только что уверяла его, будто «украл». — За свои деньги не стал покупать, а когда тебе их дали — с руками отхватил. На деньги ты позарился, Сеня. Ну что вот ты пыхтишь? Господи! — Она принималась плакать.

В другой раз Галя вспоминала:

— Это беспородную кошку можно без документов принять. А ты не кошку принял. Чтобы жила — надо удочерение сделать. Через неделю в школу отдавать — где у нее метрики? Какая у нее фамилия? Кто был у ней отец — министр какой или убийца… девять душ сгубил?

— Пошто девять-то? — цеплялся Сеня.

— А сколько тебе их надо — девятнадцать?

— Но пошто девять, а не десять, не семь?

— Мы с тобой будем восемь и девять.

Сеня вскипал:

— Да, подбросили, да, дурак! Но я должен был, по-твоему, в Ангару ее спихнуть, когда подбросили? Или что я был должен?

Галя обессиленно взмахивала рукой и уходила. А Сеня думал: «Надо было дать денег этой тете Люсе, чтобы убежала подальше. Или были у нее деньги?» Он вспоминал, много раз восстанавливал в памяти весь разговор с женщиной от начала до конца там, на причале, и все больше казалось ему, что не дурила она его, когда говорила, что собралась бежать. Что пройдоха — сомнений не было, но и пройдоха иной раз вынуждена выходить на правду. Сеня шел к Гале, вставал перед нею вплотную, как столб, чтобы ей не откачнуться и не отойти, и пробовал успокоить:

— Пусть будет как будет. Мы с добром к ребенку — почему мы должны бояться? Теперь государства без метрик, без паспорта живут… а уж люди!.. великое переселение народов. Миллионы скитаются, все теряют… имена тоже. А мы с тобой об одной девочке… кому она нужна, кроме нас?

Он сам удивлялся: о любой бы он сказал «девчонка», а о ней не выговаривалось.

Катя поднималась поздно, спалось ей тут хорошо. Они завтракали в летней кухне, стоящей во дворе, иногда для уюта подтапливая ее: ночи пошли прохладные. Утренний распорядок у Гали с Сеней

теперь изменился, они вставали, как обычно, до света, но перехватывали спозаранку только горячий чай, набираясь аппетита и раздвигая дела для неспешного общего завтрака. Сначала Галя заплетала девочке косу, поварчивая на Сеню, как река поварчивает на берег, катая волны. Сеня стал опять говорлив, что в последние годы, к утешению Гали, пошло на убыль, вспомнил свою страсть фантазировать, выдумывать всякие истории, оставленную с тех пор, как подросли дети. Усаживаясь за стол, прикрякивая для порядка, он говорил:

— Выхожу ночью на улицу, а ночь звездная, небо прямо полыхает, как в праздник. Выхожу и любуюсь — хорошо ночью любоваться на звездочки. Вдруг слышу: шу-шу, шу-шу. Кто-то шушукается. Я подумал сначала, что, может, звездочки с неба. А незначай к огороду ближе подхожу — слышней. Если б звездочки — надо взлететь хоть сколько, чтоб ближе к ним. Крадучись продвигаюсь к огороду, спрятался вот за этим углом. А это огурцы на грядке шушукаются. Задумали они сегодня дать деру с гряды. О нас, говорят, забыли. И так жалобно повторяют: забыли, никому мы не нужны, а пропадать, сгнивать безвинно мы не желаем.

— Я позавчера, уж под вечер, три ведра сняла, — оправдывалась Галя.

— Так и говорят, — подхватывал Сеня, — хозяйка позавчера сняла и забыла, а нас надо каждый день обирать, мы в эту пору ходом идем. Сняла, говорят, и из памяти вон, а мы уж желтенькие, как старички, к нам надо уважение иметь. И договариваются, значит, чтоб в двенадцать ноль-ноль, ежели останутся они без женского внимания, совершить коллективный побег. А сейчас, — Сеня смотрел на круглые настенные часы, — половина десятого.

Катя слушала его внимательно и равнодушно, изредка поднимая глаза, пристально всматриваясь в Сеню и словно говоря: а ведь я уже старше, мне эти

сказки рассказывать поздно. На все она смотрела со стылым вниманием. Подадут ей варенье — возьмет, намешает в чай и уставится в стакан, наблюдая, как синеет или краснеет чай. А выпить, если не подтолкнуть, забудет. Скажут что-нибудь принести — на полдороге остановится и стоит, уставившись в одну точку. Сядет рядом с кобелем, а подружились они быстро, обнимет его за шею и, оттянув нижнюю губу, замрет. Кобель тычет ее — она дергается безвольно, тряпично, как неживая. Ела она медленно и мало, молоко не пила совсем. На вопросы отвечала односложно, чаще кивая или отмахивая головой, слова произносила с усилием.

Они шли с Галей собирать огурцы, и Катя чуть оживлялась, движения ее становились быстрее. Но каждый огурец она рассматривала, прежде чем опустить в ведро, перекатывала в руках, точно руки грея или его согревая руками. Подняла семенной огурец, и Галя ахнула с досады: огурцу полагалось еще полежать. Катя испугалась так, словно ее прошибло током, порывисто протянула большой желтый семенник Гале, быстро отдернула ручонку, когда Галя хотела принять, и заплакала. Галя кинулась ее успокаивать, говоря, что их, этих семенников, на гряде вылеживается на всю деревню, — и чем горячей успокаивала, тем отчаянней плакала девочка — бескапризно, беззвучно, сжав ручонками горло, в сдавливаемом припадке. Не в силах видеть это, Галя опустилась на землю и тоже стала захлебываться в рыданьях. Выскочил Сеня, глянул и скорей убежал, чтобы не залиться третьим ручьем.

Девочке дали обязанности. Она должна была наливать курицам в корыто воды и под вечер выносить им мешанку-толканку, как называла Галя какое-то варево из картошки пополам с комбикормом. Курицы, приседая на бегу, сбегались шумно, отпихивали

молодых; петух, вскидываясь резким клекотом, принимался наводить порядок. Ему не подчинялись. Галя ворчала, что петухи, как и мужики, теперь не те, их перестали бояться. Катя особенно внимательно посмотрела после этих слов на Галю, словно и ей давая оценку, потом перевела пытливые глаза на Сеню. Петух и правда был в хозяина: неказистый и неяркий, с гребешком, сваливающимся на сторону, и голос имел негромкий.

Второй обязанностью Кати было делать салат для обеда. Она шла в огород и набирала луку, петрушки, срывала три-четыре свежих огурца и долго выбирала среди только начинающих краснеть помидоров самые спелые. Лукового пера в салат клали много, и Галя научила девочку толочь его, не ударяя деревянной толкушкой, а вдавливая в мякоть и выжимая сок. Сеня нахваливал Катину работу, говоря, что он только теперь, на старости лет, попробовал настоящий салат. Но и Галя замечала, что девочка старается и хозяйка из нее выйдет хорошая.

На коров девочка смотрела с изумлением и опаской — будто раньше не видела. Обе коровы ступали важно и тяжело, ходили вместе и вместе же принимались трубно мычать, требуя корму или дойки. С изумлением же смотрела она на большое эмалированное ведро, по края с молоком, выставляемым вечером для прогонки через сепаратор. Сепаратор сыто и лениво жужжал, струйка сливок стекала в маленькую кастрюльку, а обезжиренный и посиневший отгон — в большую, и Катя с мучительным вниманием смотрела: как же это получается?

Телятник у Поздняковых был огорожен далеко, на горе за деревней. Идти приходилось по длинному заулку между огородами. По обочинам заулка лежали коровы и собаки. Провожал их Байкал, он по очереди подбегал к каждой лежащей собаке, они обнюхивались,

по-приятельски помахивая хвостами, и Байкал трусил дальше. Вот почему ни одна собака не взлаяла на Катю. Гавкал щенок, черный, с коротким хвостом, только-только начинающий разбираться, для чего он явился на белый свет. Сеня нес в ведре пойло для бычка, а Катя кусок хлеба. Бычок прежде кидался к Кате, она торопливо выбрасывала ему хлеб и пряталась за Сеню. Бычка звали Борькой, имя свое он знал и отзывался на него мычанием. Каждый раз повторялась одна и та же картина. Байкал давал Борьке наесться, затем прыгал к нему и застывал, заставляя и Борьку принимать защитную стойку, опустив голову и выставляя тупые рожки. Байкал начинал с лаем наскакивать — бычок еще ниже нагибал голову, сдавал взапятки и вдруг бросался на собаку. Она отскакивала, заливаясь восторженным лаем, а Борька шумно пыхтел, набираясь духу для нового приступа. У Кати раскрывался рот, нижняя губа оттопыривалась и на лице появлялось что-то вроде забывшейся улыбки.

От телятника было недалеко до пустошки из молодых сосен в два-три человеческих роста, в которой последним урожаем пошли маслята. Катя ступала с выставленным вперед, как против зверя, складным ножичком и в первые дни только натыкалась на грибы, потом стала, увидев издали, вприпрыжку к ним подбегать.

Наступил день, когда Сеня поднял первый рыжик. Он так обрадовался, наглаживая его и жадно шаря вокруг глазами, так нахваливал рыжики, что Катя, налюбовавшись красной шляпкой с нежно и ровно расписанными кругами, долго потом исподтишка смотрела на Сеню. И когда минут через десять она закричала и кинулась к Сене, а он кинулся навстречу — она остановилась, испуганная его испугом, и, протягивая ручонку с найденным теперь уже ею

рыжиком, опять заплакала. Он схватил ее на руки и держал до тех пор, пока она не успокоилась.

Прошла неделя после приезда, пошла другая… Решили не отдавать Катю в школу. Девочка считала, что ей шесть лет, но росточка она была небольшого и могла ошибаться. Да и с шестью разумней было погодить. Миновали те времена, когда школа следила, чтоб ни один ребенок не опоздал с учебой. Теперь хоть совсем не отдавай, никто не спросит. Но Галю с Сеней удерживала иная причина: они не знали, как надолго свалилась на них Катя, боялись думать об этом, каждый новый день втайне начиная с оборонной молитвы: Господи, пронеси!

— Ты помнишь свою маму? — выбрав минуту, когда девочка казалась успокоившейся от затягивающихся где-то далеко внутри ран, спрашивала Галя, не нажимая на вопрос.

Катя замирала, опускала голову и уставляла глаза перед собой — как всегда, когда она замыкалась. Но нет — чуть слышно она отвечала:

— Помню. Маленько.

— Как ты ее помнишь?

— Мы ехали, — помедлив, сжатым голосом отвечала она.

— Куда ехали? Откуда?

— Не знаю. — И добавляла неуверенно: — К русским. Мы ехали в поезде. Там были большие горы.

— А папу не помнишь?

Папу она не помнила. И так умоляюще смотрела на Галю, что та поневоле оставляла расспросы.

В сумке, оставленной тетей Люсей в «Метеоре», находились два платья, одно тонкое, другое шерстяное, тонкий же ярко-желтый плащишко, трое колготок, кроссовки и вязаная шапочка — все летнее, городское. Но этот набор опять-таки подтверждал, что выводила женщина Катю в спешке и собирала за секунду. С этими

расспросами девочку пока не трогали. Гале пришлось ехать в райцентр и срочно покупать спасение от холодов — теплую куртку, сапоги, две шерстяные кофты, рейтузы. Шерсть велась своя, от своих овец, но мукой смертной было чесать ее, прясть; пришлось искать охотницу для такой работы. Не охотницу, а невольницу, которая от бедности бралась за любое дело. Очень не хотелось трогать Катины деньги, поначалу так и решили: не трогать; но без них бы не поднять эту справу — половину истратили.

Стоял уже сентябрь, доспевали последние урожаи в огороде и тайге. Дни стояли сияющие, перекатливые от утренников с инеем до летнего зноя, небо распахивалось все шире, и, казалось, все глубже оседала земля. В Сенином огороде белела только капуста. Выкопали картошку; счет ведрам, в которые набирали картошку и высыпали на землю для сушки, вела Катя и громко объявляла его, ни разу не сбившись. И копать ей нравилось; почва была мягкая, унавоженная, погода сухая, урожай хороший. «Поросята какие!» — нахваливала Галя, поднимая из земли огромные клубни, белые и чистые, выставляя их напоказ. «Поросенок какой!» — подхватывала Катя и бежала похвалиться, какой экземпляр она отыскала. Здесь же, в огороде, ходили курицы, для которых был снят наконец существовавший все лето запрет и думать забыть про огород, здесь же грелся на солнце Байкал. Когда ему надоедало лежать, Байкал подходил к Кате и тыкал ее носом в бок. «Байкал, — отбивалась она, — не мешай». Он смотрел на нее внимательно, скосив голову, точно любуясь.

«Откопались в леготочку! — удивлялась Галя. — Ой, так боялась я копки и не заметила, как управились. А без тебя, — приобнимала она Катю, — мы бы сколько провозились… — А про себя добавляла: — Мы бы сколько нервов друг дружке извели!»

Катя загорела и вытянулась. Или уж казалось, что вытянулась, потому что привыкли к ней и видели в ней то, что хотели видеть. Но живей она стала — точно. Но все еще странной, неожиданно срывающейся и так же неожиданно затухающей живостью. Прыгает со скакалкой в ограде, что-то замеряет, расчерчивает куском кирпича и вдруг застынет, не успев присесть, лицо сделается обмершим, взгляд куда-то утянется. Не дай бог окликнуть ее в эту минуту — испугается. Сеня не раз с болью наблюдал ее такую: стоит, а что стоит, что опять с нею, стоящей пусто, и что слетело куда-то от неожиданного всполоха в памяти или душе — поди пойми. И всегда в таких случаях что-то острое, знобящее перекатывалось в его груди, пугая предчувствиями.

— Сеня! — тревожно говорила Галя перед сном; они теперь обычно засыпали под думы и разговоры о Кате. — Мы с ней по-простому, а она как стеклянная. Не разбить бы.

Для деревни было сказано, что она внучатая Сенина племянница, родственников его никто не знал. Для деревни было сказано, а говорить Кате, за кого они ее пригревают, не решались. А она бы и не поняла ничего. Сколько катало ее по недобрым людям — не узнать, но пришлась эта злая доля на самые чувствительные годы, и теперь сердчишко ее, должно быть, ломается от тепла, как лед по весне... «А уж осень, осень...» — боялся додумать Сеня.

С лета он собирался в тайгу за орехом, который тоже нынче уродился, но не пошел. Показалось ненужным. Никуда из деревни уходить не хотелось, а Гале он объяснял, что это от старости. Засыпая, думал: «Скорей бы новый день, чтобы видеть вокруг себя далеко». Стены сжимали его, воздух казался отжатым. Просыпался он быстро, с радостью и сразу вскакивал на

ноги, первым шел ставить чайник. За завтраком, когда сидели все вместе, продолжал свои фантазии:

— Выхожу ночью на улицу, а ночь зве-ездная, ядреная. И слышу опять: шу-шу, шу-шу…

Катя отрывалась от еды:

— Да ведь огурцов на грядке нет. Кому шушукаться-то?

— Ты слушай. Слышу: шу-шу, шу-шу. И тоже невдомек: ведь огурцов на грядке нет, кому шушукаться-то? Прислушался получше, а это морковка. «Делать нечего, — переговариваются грядка с грядкой, — надо бежать. Бежать от лютой погибели в этом огороде, от этих людей. Ботву нам обрезали, оставили в земле для сохранения, а какое может быть сохранение, если наш враг, жадный крот, поедом нас споднизу ест. Нету нашей моченьки больше терпеть. Если завтра к восемнадцати ноль-ноль не придут нам на помощь, всем немедленно уходить». Шу-шу, шу-шу: всем, всем, всем.

Катя, склонившись, прячась за стаканом с чаем, хитренько поглядывает на Галю, понимая, что сказка эта больше сказывается для нее, для Гали.

— Уберем сегодня, — ворчит Галя. — Не можешь по-человечески-то сказать?

— А ты что — по-морковному услыхала?

Все трое смеются, потом Галя стучит ложкой по столу. Она не любит, чтобы последнее слово оставалось не за ней.

— Ну, Сеня! Ну, Сеня! Ты язык допрежь смерти сотрешь — посмотрим, по-каковски ты хрюкать будешь.

Катя прыскает, из набитого рта летят крошки и брызги; отряхиваясь, отираясь, она говорит совсем по-взрослому, по-деревенски:

— Ну вас! Уморили!

К ней стала приходить подружка, Ольги Ведерниковой заскребушка, девочка донельзя тихая, молчаливая, скидывающая обувку сразу же, как только

выходила она из дому, и где попало эту обувку забывающая. Звали девочку Аришей, Сеня называл ее Ариной Родионовной.

— Ну что, Арина Родионовна, — встречал он ее, босоногую, — где сегодня сапоги оставила?

Сапоги могли аккуратно стоять вместе посреди дороги, могли быть в разлуке — один у своего дома, второй у чужого, а могли оттягивать спрятанные за спину руки. Аришу расшевелить было трудно, да Катя и не умела, ее самое надо было расшевеливать, но, как старшая, она понимала, что игру должна предлагать она, и принималась прыгать через скакалку, подавала затем скакалку Арише — та брала и продолжала сидеть на широкой лавке возле крыльца, уставив свое тоже белесое, с низкой челкой, с мокротой под носом лицо на Катю. Игра Аришу не занимала, она приходила полюбоваться на девочку из какого-то другого мира — чистенькую, аккуратную, необыкновенно красивую. Все уже знали, что у Поздняковых живет красивая девочка. Бабка Наталья перебиралась через дорогу, прикрывала у Поздняковых за собой калитку и била о нее висячим чугунным кольцом, давая о себе знать.

— Где-ка тут наша бравенькая? — спрашивала она, не глядя, есть кто во дворе или нет. — Гли-ка, че я тебе принесла… — И уж после этого поднимала глаза. — Сеня, ты? А где-ка наша метеворка? Я седни сушки стряпала… — И высыпала в какой-нибудь тазик, которые всегда обсыхали на воздухе, кучу витых кренделей-баранок, еще теплых. — Покусай, покусай, — протягивала она первую Кате. — А поглянется — приходи, вместе чаю попьем.

В другой раз решительно тянула Катю к себе. Та возвращалась с маленьким, будто бы игрушечным, но изготовленным по полной форме самоваром — с осадистыми ножками, с решетчатым низом, с раскинутыми по бокам фасонисто ручками и

проворачивающимся в гнезде краником, даже с короткой, загнутой в колене трубой.

— Вот, — удивленно и таинственно объясняла Катя. — Это было в деревушном чабадане.

— Где?

— В деревушном чабадане. Это такой деревянный ящик, наверное, старинный чемодан.

И замирала с улыбкой, продолжая любоваться самоваром.

— Бравенький? — с хитрецой спрашивала она.

— Бравенький, — соглашалась Галя. — Только почистить надо.

И еще миновали неделя и вторая, а всего после приезда и месяц отошел. Началось ненастье с холодными дождями и длинными заунывными порывами северного ветра, который, казалось, испускал от затяжной натяги весь дух, затихал и, набрав его в какую-то могучую грудь, снова принимался дуть мощным выдохом. С лесов сбило последнюю листву, и они стояли черно и зябко; опушенное хвойное покрывало сосняков и ельников тоже смотрелось в мокроте безрадостно. По воде (море называли просто водой) ходили волны, взблескивая загибающимися остриями белых барашков, вся земля гудела и стонала. Сеня влез в новые сапоги, привезенные из города, и, только натянув их на ноги, вспомнил, как они покупались и как он впервые увидел Катю. Вспомнил и долго сидел, тупо глядя на сапоги, размышляя, не лучше ли было их до весны не трогать.

Он принялся учить Катю азбуке, она, хорошо считая, не знала ни одной буквы. Катя послушно повторяла слоги, складывая их в слова, вскидывала глаза в удивлении от чуда получающихся слов, но занималась она без охоты. Быстро вскакивала из-за стола, едва Сеня объявлял конец уроку, и подходила к окну, глядевшему в улицу, подолгу смотрела на

расставленные до горы тремя улицами избы, на побитый за деревней лес, на стоящих неподвижно под дождем коров, беспрестанно жующих жвачку, на пробегающую торопливо собаку и на редких прохожих, тоже торопящихся, высоко поднимающих ноги. А Сеня стоял в дверях прихожей и со стылым сердцем смотрел на нее, замершую у окна: что она там видит? о чем думает? куда отлетают ее желания? И с кем она — с ними или с кем-то другим?

Он пытался узнать о ней побольше:

— Ты помнишь, где вы жили в городе?

Она вся натягивалась, лицо становилось напряженным, чужим, менялись, тяжелея, глаза.

— В деревянном доме, — натягивая слова, выговаривала она. — На втором этаже.

— Ты с тетей Люсей жила?

— Тетя Люся потом пришла.

— А кто жил на первом этаже?

Девочка смотрела на Сеню и медлила.

— Ахмет… — с трудом произносила она. — Олег… Там много было. Приезжали и уезжали.

— А кто такой Ахмет?

— Он стрелял в тетю Люсю…

— Как стрелял, почему?

И снова молчание, потом тихо:

— Он стрелял, чтоб не попасть. Сказал: в другой раз прямо в сердце.

— А почему стрелял, не знаешь?

— Не знаю.

Сеня не перебарщивал с расспросами, он видел, что они даются девочке тяжело. Она после них затаивалась, старалась держаться в сторонке, ходила медленно, с оглядкой, снова принималась пристально всматриваться во все, что окружало ее, нижняя губка безвольно оттопыривалась, лицо бледнело. «Пусть обживется, привыкнет к нам, перестанет чего-то

бояться... и уж тогда... не сейчас...» — думал Сеня, прекращая такие разговоры. Да и так ли уж важно было разведать, что скрывалось за тем днем, когда девочка оказалась с ним рядом? Что это даст? Когда-то он шлепнулся в Заморы как кусок дерьма — его приняли, не спрашивая характеристику, отдали ему единственную дочь. Это зло выясняет подробности, добру они ни к чему.

Опять разгулялась погода, выглянуло солнышко, но уже без прежнего тепла, примериваясь к зиме. Высушило улицу, и показалось, что порядки домов развело еще шире. Когда Катя смотрела, как идет к ней через дорогу Ариша, уже не смеющая сбрасывать сапоги, чудилось, что идет она долго-долго. Они вместе принимались ставить самовар под навесом справа от летней кухни: большую, пузатую чурку застилали клеенкой, рядом притыкали две низенькие чурочки для сиденья, устанавливали самовар на «стол», заливали его водой и втыкали трубу. «Скипел?» — через пять секунд спрашивала Ариша. «Нет, так быстро не кипит», — вразумляла Катя. «Скипел?» — «Нет, говорят тебе, рано». — «Скипел?» — «Скипел». Начиналось чаепитие. «Мой-то, — сложив сердечком губы и дуя в пластмассовый стаканчик, сообщала Ариша косным лепетком, — опеть вечор холосый пришел». — «Батюшки! — взахивала Катя и спохватывалась: — А какой хороший?» — «В стельку». — «В какую стельку?» — не понимала Катя. «В талабан». — «В какой талабан?» Наступало молчание. Катя спрашивала: «Ты ему все сказала?» — «Все сказала». — «Как ты сказала?» — «Остылел ты мне, сказала».

— Ну и сказки у тебя, Арина Родионовна! — кричал от верстака под этим же навесом Сеня. — Заслушаешься!

Все нетерпеливей, все поспешней хотел жить Сеня: сначала он торопил ночи, чувствуя по ночам

беспомощность, боязнь быть застигнутым врасплох и голым — войдет кто-нибудь, а он в трусах, босиком, и ничего под руками, ему казалось, что ночью и слов подходящих не найдется для защиты; теперь он стал торопить и дни. Будь его воля, он скоренько переметал бы их из стороны в сторону, добравшись до глухой зимы, когда заметет так, что ни пройти ни проехать и только ветер будет дымить по крышам. Торопясь сам, торопил Сеня и Галю. Раньше обычного сняли и засолили капусту, развез на тележке и разбросал он навоз под картошку, утеплил стайки для коров, первым в деревне привез с елани застогованное сено… Галя смотрела на него с удивлением и опаской: всегда приходилось подгонять мужика, а тут поперед времени бежит. Но, как вперекор Сене, воротилось тепло, к обеду нагревалось до того, что хоть в рубашке ходи, на кустах смородины за летней кухней набухли почки, солнце, которое уже спустилось к южному полукружью и поблекло, смотрелось опять молодо.

Сеня считал: «Метеору» оставалось сделать пять ходок, четыре, три…

При Кате зажгли как-то вечером керосиновую лампу, потому что электричеством лишь дразнили, и лампа так понравилась девочке, что она взяла в привычку досиживать допоздна, нетерпеливо била кулачком в коленку, требуя, чтобы загасили скорей электричество, и, когда зажигали фитиль и втыкали в решетчатый металлический ободок стекло, Катя так и обмирала перед лампой. Она то прибавляла, то убавляла фитиль, по лицу ее ходили блики, глаза искрились. «Маленькая шаманка», — улыбался Сеня. И просветлел вдруг сам: да кто сказал ему, что у нее недвижное, холодное лицо, затуманенное изнутри? Ничего подобного. Не может быть, чтобы только от керосина переливались по лицу краски и под тайными толчками играла кожа. Полюбилась лампа Кате —

привык и Сеня наблюдать за девочкой, что-то нашептывающей, представляющей волшебное… И когда однажды по случаю именин начальника участка электричество все сияло и сияло и они вместе измаялись в ожидании темноты, Сеня скомандовал:

— Вырубай электричество! Запаляй керосин!

— Запаляй керосин! — закричала Катя восторженно, выбегая на середину комнаты и бросаясь в пляс.

* * *

С утра Сеня дал себе на день задание: вытащить, во-первых, лодку и поставить ее под бок. Под банный бок со стороны улицы. Оставлять лодки на берегу стало опасно. Никто на них зимой не уплывет, но взялись лодки калечить, пробивая днище. Во-вторых, перед зимой, перед плотной топкой, следовало прочистить печные трубы и в избе, и в летней кухне. Летняя кухня не выстуживалась, в ней зимовали курицы. И еще одно: давно договорились они с соседом, с Васей Тепляшиным, взять курганской муки, и по их заказу коммерсант вчера муку привез.

Не все быть лету; день всходил хмурым, солнце показалось и скрылось, с низовий потягивал пока слабый, но колючий северный ветерок. Вторым, семейным, завтраком сидели, как всегда, поздно, и Сеня расслабленно, не торопясь подниматься, снова и снова подливал чаю. Из летней кухни они переехали в дом; сегодня в нем было прохладно, печь не топили из-за готовящейся чистки. Катя поднялась невеселая, придавленная переломной погодой и вяло тыкала вилкой в поджаренную с яйцами картошку. Галя поднялась из-за стола скоро и ходила шумно, покрикивая во дворе на скотину, ворча громче обычного на Сеню. Он понимал: она торопит его, но не хотелось подниматься — и все. Переговаривались с Катей тоже

вяло, Сеня без всякой причины вздыхал, прикидывая, к кому пойти, чтобы помогли прикатить лодку. В таком порядке и предстояло ему сваливать дела: сначала лодка, потом печи, потом, если не запоздает Вася, мука. Надо было подниматься.

И в это время залаял кобель — зло, напористо, на чужого. Сеня вышел посмотреть, одновременно из кухни вышла Галя и встала — прямая, настороженная, со сжатыми губами. Кобель надрывался за оградой — Сеня открыл калитку и выглянул: перед домом, на узком тротуарчике, ведущем к калитке, стоял незнакомый мужик в толстой кожаной куртке и с короткой стрижкой на голой голове.

— Ты Семен Поздняков? — спросил мужик требовательно, раздраженный собакой. Был он плотен, крепок, молод не первой молодостью, но еще не миновавшей окончательно, и, как сразу отметил Сеня, был он из горлохватов, из тех, кто любит идти напролом. Второй мужик пристраивался на лавочку возле избы бабки Натальи.

— Я Семен Поздняков, — сказал Сеня. — А ты кто такой будешь?

— Убери собаку! — негромко повелел мужик.

Сеня прикрикнул на Байкала; тот, отойдя, продолжал рычать.

— Теперь приглашай в гости, — тем же спокойным и властным тоном сказал мужик.

— А чего раскомандовался-то? — разозлился Сеня. — Пришел в гости — веди себя как гость. Я тебе сказал, кто я, говори теперь ты.

— Я дядя той девочки, которая живет у тебя, — с усмешкой, не спуская с Сени цепкого взгляда, сказал мужик. — Родной дядя. Понятно?

Увидев этого мужика и разглядев его, Сеня мог бы догадаться, по какой нужде тот искал его и зачем пришел. Он и догадался почти, его захлестнуло болью

сразу же, как вышел, и все-таки продолжал хвататься за соломинку: не то, не то, это не может быть то... Он потом тысячу раз спрашивал себя, как это он растерялся до того, что впустил мужика в ограду. Но — впустил.

— Подожди меня там! — крикнул мужик своему товарищу и прошел в калитку. Галя стояла все так же — прямо и неподвижно. — Где она? — спросил он теперь уже у Гали.

Сеня начинал приходить в себя.

— А почему ты думаешь, что я тебе ее отдам? — спросил он, стараясь сдерживаться, не закричать и невольно шаря глазами по двору — где что лежит...

Мужик усмехнулся откровенней, показав ровные белые зубы. Он держал себя все уверенней.

— А как бы ты это не отдал ворованное? — наигранно вздохнул он. — У нас это не полагается.

— Если ворованное — давай в суд! — закричал Сеня, не в силах больше сдерживаться. — В суд давай! И там посмотрим, кто украл! Дя-дя... А почему ты только дядя, а не папа родной? Родниться так родниться — чего ты смельчил?!

— Можно и в суд, — лениво согласился приезжий. — Да долго... Расходы тебе. Давай уж как-нибудь сами, своим судом. — И коротко добавил: — Давай без жертв.

— Ты меня не пуга-ай!..

Сеня обмер: вышла Катя. Она не вышла, а выскочила из избы, куда-то торопясь, и вдруг запнулась и закачалась, стараясь установить себя. Сеня смотрел в ужасе: точно волшебная злая пелена нашла на нее и сошла — перед ними стояла другая, до неузнаваемости изменившаяся, девочка. Лицо еще вздрагивало, еще за что-то цеплялось, но уже окаменевало, нижняя губка, дергающаяся лопаточкой вперед, прилипла к верхней, глаза затухли. Она медленно свела руки и сцепила их под животом.

— Ты знаешь меня? — подождав, позволив девочке опомниться от первого, непредсказуемого испуга, спросил приезжий.

Она долго смотрела на него, словно решая, узнавать или не узнавать, вздрогнула, когда кобель, наскочив с улицы на заплот и свесив лапы, зарычал… Узнала. Кивнула.

— Никуда ты, Катя, не поедешь! — ослабшим голосом крикнул Сеня. — Ты наша. Скажи ему, что ты наша.

— Скажи ему, что ты знаешь меня, — со спокойной угрозой отвечал приезжий. — Я фокусов не люблю. — Усаживаясь на скамейку возле крыльца, показывая, что препирательства бесполезны, он похвалил девочку: — Ты всегда у нас была умница-разумница. Собирайся.

— Никуда она не поедет!

— Сеня! — остерегающе крикнула Галя.

Подобие виноватой улыбки мелькнуло на лице Кати.

— Как же бы я не поехала? — тихим голоском, стоившим многих разъяснений, сказала она. — Что вы!

И развернулась собираться.

Минут через пятнадцать они уходили. Катя собрала что-то в ту же сумку, с которой приехала и которую сразу же забрал у нее мужик. Галя, так и не отмершая, ткнулась в девочку головой и отступила. Сеня пошел проводить. За калиткой Байкал опять стал набрасываться на чужого, Катя приласкала его и успокоила. Со скамейки от дома бабки Натальи поднялся второй мужик, прихрамывая, присоединился к ним и насмешливо окликнул Катю:

— Здорово, красавица!

Она не обернулась к нему.

Катя с Сеней шли впереди, приезжие сразу за ними. Сеня не спрашивал, куда идти, — вот-вот «Метеор», последний в этом году. Ветер наддавал сильней, подталкивая в спины, по небу быстро несло

растерзанные, разлохмаченные облака, доносило приближающимся холодом. Катя догадалась одеться в теплые сапоги и куртку.

— А деньги-то? — вспомнил Сеня. — Твои деньги остались!..

Девочка сунула свою ручонку в Сенину руку и слабенько сжала: не надо.

— Не забудешь, где мы живем? — шепотом спросил он.

— Мы тоже не забудем, — предупредили сзади.

Девочка оглянулась на них и сказала, не таясь:

— Они били ее.

— Кого?

— Тетю Люсю.

Она додумала, как до нее добрались: разыскали своим розыском тетю Люсю, пытали, пока не сказала…

— Я всегда говорил, что ты у нас умница-разумница, — согласились позади.

Подскочил на волне «Метеор», его било о стенку причала и откачивало; отъезжающим приходилось прыгать, они толпились в страхе и кричали. Девочку стремительно оторвали от Сени, не дав попрощаться, он увидел ее взблеснувшую белую головенку уже в пасти теплохода, девочка, заворачивая, тянула ее, взмахивала руками, но — тут же закрыло ее прыгающими фигурами, и отчаянные крики прыгающих заглушили все.

Сеня не помнил, как он воротился домой.

У стола лицом к двери сидела Галя, не снимая телогрейку, и ждала его. Что было говорить! — Сеня тыкался слепо из угла в угол: нельзя было уйти от Гали и нельзя было оставаться, и одна только мысль так же слепо тыкалась в нем: как бы провалиться в тартарары? Галя следила за ним, словно все еще чего-то ожидая, потом в неожиданном припадке уронила голову на стол

и, пристукивая ею, сдавленно, страшно, чужеголосо выкрикивала:

— Сеня! Сеня! Сеня!

Порывы ветра становились все сильней и злей, и к ночи земля ходила ходуном. Сеня лежал без сна и, пытаясь защититься, натягивая на себя одеяло, слушал, как гремит и стонет на разные лады: «Сеня! Сеня! Сеня!»

НОВАЯ ПРОФЕССИЯ

На работу Алеша Коренев собирается долго и с тем тщанием, с тем тревожным волнением и нетерпением, которые и должны сопровождать подготовку к делу нерядовому. Как только обозначается рабочий день, примерно раз в месяц, иногда чаще, иногда реже, а случается, что и два дня подряд, к Алеше подкрадывается сладкая и неопределенная истома, как перед встречей с женщиной, редко соглашающейся на свидания, он невольно начинает холить себя и нежить, дает себе выспаться, книги читает спокойные, эпического и чистого письма, окунаясь то в «дворянские гнезда» с их теплой и возвышенной жизнью под просторным небом, то в размеренное и ленивое существование старых городов, настроен в такую пору, несмотря на волнение, приподнято, по утрам вскакивает с постели быстро и радостно, то и дело застает себя за мурлыканьем какого-нибудь лирического мотива, волны вдохновения наплескивают в сердце и сами собой являются первые слова, которые он скажет и от которых заранее хмелеет. Только в эти дни накануне работы испытывает он что-то похожее на уважение к себе — на уважение, смешанное с

удивлением; его, этот поднимающийся парок от более свободного и уверенного дыхания, который можно назвать уважением, не в состоянии испортить ни ирония, ни насмешки, полезные для здоровья, ни раз и навсегда выставленная своей личности нелестная оценка. Себя — такого, каким он бывает на работе, Алеша еще знает плохо, не понимает, откуда он, такой, взялся, ему не хочется разбираться, хорошо ли то, что он делает, и, доверяясь всякий раз приятному горению в себе, с каким входит в роль, окончательный разговор с собой вот уже несколько месяцев все оттягивает и оттягивает.

Живет Алеша в общежитии, в угловой комнате, темной, неряшливой и состарившейся до предела. Напротив входной из коридора двери единственное окно, большое, тусклое и заваленное влево, глядящее подслеповатыми стеклами во двор, грязный и замусоренный; справа от двери шкаф, громоздкий и стонущий на разные голоса, отзывающийся на каждый Алешин шаг; стоит шкаф на двух ножках и на двух подставках, одна из которых коробка с книгами, а вторая — поднятая на ребро шахматная доска. Шкафом отгорожен закуток, вмещающий тумбочку и низкую, провисшую до пола, лежанку. С левой стороны от двери металлическая, изъеденная бурыми пятнами раковина под краном, за нею двухконфорочная газовая плита, имеющая счастливый вид еще полезной вещи, подобранной со свалки, в углу сооружение, называвшееся когда-то трюмо, на котором родное зеркало отсутствует, а на прямоугольной фанерной спинке прикреплено посредине круглое, почти новое, которое глядит недовольно и от несчастной жизни искажает Алешины черты. В правый передний угол, где света больше, подоткнут наперекосяк такой же громоздкий, как шкаф, стол с двумя тумбами для выдвижных ящиков; поперечной рейкой он поделен

хозяином на две половины — на письменную и столовую. И комната, и меблировка в ней прошли жизнь такую долгую и суровую, что в потолок, в стены, в пол, в вещи она впечаталась навсегда. Горький и затхлый запах, запах курева и нездорового дыхания отсюда уже нельзя изгнать, печаль и тяжесть легли на все унылой пленкой. Въехав сюда два года назад, Алеша и побелил, и покрасил, и наклеил на прокопченные стены светленькие обои с нежным узором, на котором в ряды пузатеньких ваз заглядывают слева и справа изгибающиеся розовые цветочки, а уже через полгода все опять потемнело и утонуло в безысходной тоске.

В общежитии Алеша Коренев начинал свою городскую жизнь, приехав сюда восемнадцать лет назад, и общежитием, тем же самым, теперь продолжает ее. Ему тридцать пять лет, дважды был женат, поменял две квартиры. Он теперь уже не стал бы, как прежде, улыбаться снисходительно, если бы зашел разговор о том, что всякое имя, даваемое по святцам ли, или, казалось бы, наугад, из воздуха, не бывает случайным, а есть звуковой и образный оттиск личности, это имя носящей. Вот и он: он мягок и чуток характером, на светлом лице, без азиатчинки скуластом, чуть вытянутом, все расчерчено правильно и все мужское, но без мужской продавленности и крепости черт, а подбородок, вздернутый и наплывший шишкой, уже и совсем не ставит под сомнение его мужественность. Имя его подходит даже к голосу — несильному, чистому и чувственному. Голос в его новых занятиях не последнее дело, им, то приспуская, то приподнимая, то заставляя трепетать, можно увлечь за собой слушателей куда угодно. Было время, когда после защиты диссертации называли его в лаборатории, где он недолго начальствовал, Алексеем Васильевичем, но почти у всех, даже у совсем молоденьких лаборанток, даже у студенток-первокурсниц, это полное имя

выговаривалось с кокетливой веселостью и с одолжением, и он сам понимал, что по избытку ли чего-то в нем или по недостатку на полное имя он не тянет.

А теперь оно и вовсе ни к чему.

В торжественный день, называющийся у него рабочим, который, как правило, выпадает на выходные и праздники, приступает он к обязанностям далеко за полдень, часов в пять-шесть. Накануне, утомленный ожиданием, он бывает рассеян и вял, все чувства в нем приспущены, мысли не собраны, все караулы спят, чтобы легче было проникнуть внутрь чему-то постороннему, хорошо его знающему, что способно завтра навести в нем безупречный порядок. После этого всласть отсыпается, а поднявшись, сделав вторую и решительную побудку крепким чаем, начинает чувствовать тревожное и приятное томление, уже знакомое по прежним таким же дням и всякий раз новое, всякий раз заполняющее его непостижимым огненным током. С удовольствием опуская и подталкивая за собой общежитскую дверь, чтобы она с силой, как первый удар гонга, хлопнула, он выходит на улицу, заставленную старыми деревянными домишками, сгорбленными и глазастыми, где обитают, кажется, одни только старики, все развлечение которых — смотреть в окна, зная едва не каждого прохожего. Автобусная остановка рядом. Алеша Коренев, сильнее обычного отмечающий каждый свой шаг, через десять минут садится в автобус и едет в центр.

Он еще не готов к работе, далеко не готов. В центре живут его друзья, муж и жена Сидейкины, Игорь и Ольга, неразлучные с первого курса в университете. Благодаря им Киевскую Русь на физмате знали не хуже, чем на историческом факультете. У Сидейкиных в квартире Алеша держит некоторые свои вещи, которые не решается окунать в общежитский быт и дух. Там его уже ждут, он долго плещется в ванне, до боли и

красноты натирая тело, бьет себя упругой и колкой душевой струей, вспоминая при этом общежитский душ в подвале на грязном и скользком цементном полу с цементными же лавками для одевания. Здесь его белье прошло сквозь стиральную машину, он одевается во все чистое, хрустящее и бодрящее, ощущая застывший запах утюга и терпкость можжевельника, который держат в гардеробе от моли. Квартира у Сидейкиных просторная, он находит место, чтобы отдохнуть, полностью уйдя в себя, покачивая себя, как в люльке, в блаженной истоме, затем, еще вялый, изнеженный, идет полюбоваться на трех дочерей Сидейкиных, когда они дома, девиц четырнадцати, десяти и восьми лет, черноволосых, глазастых и смешливых, остающихся всякий раз недовольными им, потому что он не может удовлетворить их любопытство к своей работе. Старшие, его друзья по университету, когда и они дома, стараются не обращать на него внимания, зная, что он здесь не робеет и занят собой, своими приготовлениями.

Наконец он решительно поднимается, повязывает перед зеркалом в прихожей темно-красный, не слишком яркий галстук, натягивает холстинковый костюм из ткани, похожей на мелкую серую вязку, уже у дверей сует ноги в черные парадные туфли со шнуровкой и — готов! Подбадривая себя, он воздевает руки и громко возглашает:

— Только любовь спасет мир!

Хозяева смеются, девчонки повизгивают от досады, что опять он уходит, не рассказав ничего интересного, но, после того как за ним закрывается дверь, Ольга, крупнотелая, с розовым лицом хозяйка дома, плавающей походкой приближается к окну, чтобы видеть, с какой решимостью и обреченностью он вышагивает через улицу, и долго стоит, от жалости к нему знобко подергивая пухлыми плечами.

Алеша Коренев идет в сторону набережной, навстречу тому неминуемому, что будет сегодня, и постепенно успокаивается. Суббота, день неяркий и теплый, с утра было пасмурно, еще и час назад тучи сплошной песочно-серой наволокой закрывали небо, а теперь лишь остатки их ребристым раскрытым веером, упирающимся в западный горизонт за рекой, заслоняют солнце и ало трепещут под ним. Тополя только-только опушились, зелень на них еще бледненькая и нежная, а в безветренном воздухе она мелко и порывисто вздрагивает, беззвучно и перебористо, листочек за листочком, от какого-то внутреннего волнения; воздух, напитанный молодой зеленью, нагретым камнем и близкой рекой, кажется вязким. Из университета, мимо которого идет Коренев, выпархивает стайка студенток, одна красивей другой, но ни одна из них не задерживает на нем взгляда; как-то быстро они затихают и деловито направляются в лабиринты города.

Алеша выходит на набережную, засаженную всем, что растет в этих краях — сосной, лиственницей, березой, кедром, черемухой, рябиной, сиренью, шиповником... Река струится мощно и бесшумно, отливая чистой изумрудной зеленью. Выгибаясь и далеко выбрасывая из-за плеча снасть, хлещут воду рыбаки. Отсюда, из-за бетонного парапета, где собаки всех пород тянут за поводки людей, на рыбаков не обращают внимания, и только какой-нибудь заблудший в городе, тоскующий по сельской родине недоросль часами не сводит глаз с тянущейся из глубины лески.

В последний раз Алеша был здесь в марте. Тогда было мокро и грязно от подсыпавшего снега, снег налип на сосновые и кедровые ветки и тяжело гнул их, освобождая по капле. Теперь стоит май... Но почему май «стоит»? Тысячи и тысячи раз подставляется это слово, и вдруг однажды в свежую минуту

обнаруживается, что оно совсем некстати. Ни май, ни январь стоять не могут, время не бывает неподвижным. Если уж на то пошло — январь лежит, взбугриваясь снегами и отдыхиваясь вьюгами-метелями, но и лежит не в оцепенении, а медленно и валко перекатываясь в февраль. А март уж поднимается в рост и на затекших хмельных ногах расхаживает не спеша, заплетаясь и делая кругаля... Но май!.. Май, набрав крылья, уже плывет над землей, он невесом и воздушен, радостен и победен, юн и красив. Всему, что живет на земле, он дает токи, все преображает, волнует, пьянит. Нет ни молодца, ни старика, ни девицы, ни вдовицы, которые бы устояли перед его колдовством, собирающим их в какой-то общий хоровод и кружащий, кружащий...

В городах, где мало сеют, да много жнут, стало принято теперь играть свадьбы в мае. То и дело кавалькады машин, одна породистей другой, разукрашенных отнятыми у троек дугами, колокольцами и шелковыми разноцветными лентами, звенящими и трепещущими на ходу, да вдобавок и куклами, кричащими с лакированных капотов машин, что некому ими играть, брачные эти кавалькады мчатся к Байкалу, с ревностью сталкиваясь со встречными «поездами» еще богаче, нарядней, длинней и породистей, мечутся по городу, разметывая по сторонам движение мещан, и, после того как на Байкале «побрызгают» из бутылок языческому богу Бурхану, поворачивают к православному храму на венчание. Весь чин требовательно просит батюшку ускорить «это дело», а во время обряда делают нетерпеливые знаки, не догадываясь, что до возложения венцов на головы брачующихся завершить венчание никак нельзя. Торопятся к главному — к столам.

Алеша Коренев взял себе за правило приходить к месту торжества до прибытия «поезда» и оставаться

незамеченным, потерявшись среди обслуги и первых гостей. Чем гость незначительней, тем раньше он является. Сегодня место торжества — нижний ресторан «Интуриста» — дорогое, но рядовое, без выдумки. Выдумка теперь значит многое, она стиль жизни, апофеоза, как говорят философы, витрина успеха, водружение знамени над рейхстагом. Выдумка в своих хитрых ходах и смелых решениях доходит до того, чтобы больше нечем на нее отозваться, кроме как с восхищением и завистью ахнуть. Алеше со скромным его стажем приходилось уже знавать свадьбы и в научной библиотеке, и в музыкальном театре, и на теплоходе, качающемся на байкальской волне, а слышал он, не будучи очевидцем, что гуляла свадьба и в самолете, в огромном Ту-154, бравшем курс на Владивосток и обратно. Покорив все мыслимые вершины, утвердившие тщеславие и авторитет первых сердец, выдумка вдруг кинулась в низины: недавно один сказочно богатый нувориш (оказывается, это слово происходит от новоруса: нувориш — новорус — совсем рядом, а мы и не подозревали) с небывалым размахом громыхнул свадьбу своей дочери в рабочей столовой, непромытой, темной, пропахшей хлоркой и кислыми щами. На толстосумов это произвело столь сильное впечатление, что ничего затмевающего эту находку они пока еще не придумали.

У входа в ресторан Алеша покупает две белые розы и три красные, думая не о чистой и красивой жизни молодоженов, а о том, что розы обошлись ему в недельный бюджет, а через час будут завалены коробками цветов, может быть, прямо из Голландии, и что они-то, эти голландские возы, один краше другого, и поедут ночью в апартаменты новой четы, а его помятые и полумертвые бутончики в лучшем случае подберет утром уборщица. Но… выглядывает, продравшись из-за туч, солнце и косым стрельчатым

лучом озаряет его розы, и Алеша успокаивает себя тем, что заработать сегодня он может на месяц, да и просто неприлично являться на свадьбу с пустыми руками. Он встряхивается и выше задирает свой сразу приободрившийся букет, достает и показывает дюжему молодому двороначальнику в тесном темном костюме писанное золотом приглашение и без заминки, не обращая внимания на подозрительную оглядку стража, вступает внутрь.

Из прихожей, где раздевалка и зеркальная стена, по которым это помещение называется чепурильней, двери в ресторанный, приготовленный под торжество зал широко распахнуты, а лестница справа на второй этаж перекрыта. Алеше не надо ни дух переводить, ни охорашиваться, он сразу проходит в чрево события с накрытыми столами, замершее в ожидании, в котором гулко цокают каблуки пробегающих официанток и пузырятся от сквозняка на высоких окнах тяжелые, еще зимние, голубые атласные шторы. Гостей немного, это, как всегда, ответственные за что-то, что-то достраивающие в избранном ритуале. Четверо из них хлопочут над мальчиком и девочкой лет десяти-двенадцати; мальчик с красивым писаным лицом под черными кудрями одет в оранжевый костюмчик по моде благополучного старшего поколения, а девочка, как юная невеста, — в голубой газ и белые туфельки, личико у нее живое, смышленое и плутоватое, и «не бойся, не бойся» ей, приплясывающей и крутящейся, говорят совершенно напрасно. Среди наставляющих выделяется энергичный, освобожденный глубоким декольте сиреневого платья голос поджарой черной дамы с узким, выдвинутым вперед лицом. Спорят, где поставить мальчика и девочку — перед дверями в зал или за дверями в зале? Но перед дверями будет тесно, решают, что лучше в зале. По знаку энергичной дамы в четыре руки бегом оттаскивают откуда-то справа два

столика на гнутых ножках, совсем новых, пахнущих деревом, сияющих полировкой, устанавливают справа и слева от дверей, возле столов пристраивают мальчика и девочку, ставят перед девочкой хрустальную корзиночку, а перед мальчиком хрустальное глубокое блюдо. И, уже с облегчением, смеясь и набираясь удали, опускают что-то со звоном в корзиночку, шелестят чем-то в блюде. Слышится первая мужская шутка из свадебного репертуара, слишком ранняя, чтобы быть смешной, но и ее принимают с милостивым хохотком.

Боковые столы сегодня не сдвинуты и стоят по отдельности каждый на четыре персоны. Широко расставленные ромбовидные их ряды под белыми накрахмаленными скатертями, низко свисающими и топорщащимися, так и плывут торжественно в счастливую гавань. Навершием соединяющий боковые ряды главный стол, под новобрачных и их близкую родню, под дружков и предводителей торжества, как и положено, един и стоит на возвышении в две ступеньки, которое в обычную пору служит сценой. Сейчас что-то вроде сцены в виде круга установлено меж рядами, но неудачно — как ни встань, к кому-нибудь окажешься спиной. Словом, если смотреть от подножия застолья, от кухни, откуда появляются официанты, оно напоминает высокую букву «П» с резными фигурными боковинами и нахлобученной на них верхней цельной перекладиной, а внутри «П» какая-то странная шишка.

Предусмотрены и два широких прилавка за спинами мальчика и девочки для неформатных подарков. Они еще пусты, их будут заваливать позже, а пока Алеша, подвернув край бордового застила, устраивается на одном из них, на том, который ближе к главному столу и где пока безлюдно. Он все еще не потерял интереса к некоторым свадебным подробностям и привык замечать, что дарят и как меняется ассортимент

подарков, хотя и знает — будет все то же, вся та же бедность роскоши. Исключения и сюрпризы редки. Сделалось обычаем находить среди родственников мальчика и девочку, наряжать их херувимчиками и приставлять к двум хрусталям или подносам — один под золото и другой под доллары. Обычаем сделалось преподносить всякую закружившую человеческую голову технику: от компьютера до кухонного комбайна и от кухонного комбайна до сотового телефона или телевизионного дверного глазка. Бедные изобретательней. Ключи от квартиры и машины теперь не дарят, то и другое приобретается собственным вкусом. Но в тот памятный случай из прошлого лета, когда свадьба плавала по Байкалу, один подарок — само плаванье — как пасхальное шоколадное яйцо, внутри которого спрятана игрушка, содержал другой, не менее блестящий: посреди волны к теплоходу вдруг приблизился катер свежей оснастки типа «Ярославца», и с него в мегафон прокричали, чтобы жених принимал «борт» в свою собственность. Это было, как говорят теперь дети, «не слабо». Но вспоминать о такой свадьбе Алеше не хочется. С сюрпризами там все-таки перебрали, и кончилось все печально. После того как теплоход в обнимку с катером причалили к берегу и свадьба высыпала на камни, а Алеша рассмотрел, что почему-то нет в ней ни родителей жениха и невесты, ни дедушек с тетушками, началось что-то невообразимое. Одни плескались в воде сначала голышом, потом в одежде и там же, в воде, закусывали с тарелок, другие ползли по каменистому откосу с редкими кустами вверх на скалы, третьи обкладывали друг друга на берегу камнями, чтобы торчали только головы... И все это визжало и вопило, но уже не «горько» и не «сладко», а что-то беспорядочное и беспамятное. Через час после причаливания жених, мертвецки пьяный, спал на обретенной им «посудине», а покинутой невесте,

пристроившейся под кустом, долго заснуть не давали и путали ее то с одной подружкой, то с другой…

Говорить о любви тут было некому, и Алеша сбежал от этого бедлама. Всю ночь шел он по шпалам к переправе. Вот это вспоминается с радостью и даже гордостью — тем, что присутствовал, видел. Он, точно от ада, был отведен и перенесен в рай. Дорога тянулась по краю широкой излуки, километров в десять-пятнадцать, с высокими темно-синими в июльских сумерках берегами, от поспевших трав поднималось душистое тепло, тепло же стекало и с нагретого за солнечный день камня, то и дело встающего слева стеной, а в Байкале спокойной была вода, спокойным было и дыхание его, чуть трогающее свежестью. Но тронет тихой воздушной волной и откатит, и уж с другого бока ответный легкий порыв. Так и шел в первые часы Алеша: с правой щеки потеребливает прохладцей, с левой ласкает теплом.

Стемнело поздно, к полуночи, но стемнело только в закрадках, в которые опускалась или отворачивала дорога, жгуче темно и прохладно было в тоннелях, частых и коротких, как каменные бусины на низке… А Байкал в остывающем, меркнущем свете все больше погружался не во мрак, а в сияние. Алеша шел, и огромное водное полотно справа, стоящее от переполненности горкой, «перелистывало» цвета: только что было оранжевым и бликующим, играющим с зарей, затем фиолетовым, кладущим длинные мутные тени, затем изумрудным, с самоцветными вспышками, и становилось все глубже, все ярче. Уже весь исполинский небосвод, разбрызгивая и трепеща, лежал внизу, уже тысячи дрожливых и коротких огненных дорожек торились там, уже однобокая луна в нижней бездне была полней и полыхала, полыхала искрами, а дальние горы, опрокидываясь, давали таинственные очертания. А надо всем этим нескончаемая музыка — и

от ласкового чмока воды о камни, и от небесной натуги, и от слабого потрескивания горящих звездочек, и от неслышного трепетания трав и листьев. И от немой песни камня, в эту пору кого-то зовущего, точно тихо и сладко играли рядом склянки.

Когда дорога поворачивала к берегу слишком близко. Алеша садился на рельс и смотрел, смотрел, уже не видя, не различая ничего, а только всеми порами открывшись, как губка, и натекая, томясь творящимся преображением. И чудилось ему, что душа, по-матерински убаюкав его и не притворив дверей, чтобы при первом же зове вернуться, где-то чистится рядом, освобождаясь от всего чужого и низкого, что он неосторожно занес в нее; и чудилось, что и прежде повторялось в нем это чувство не однажды, что он древний, вечный человек…

Жизнь научила Алешу Коренева, что принимать за счастье; в ту ночь, растворившись в байкальской игре и неге, где воедино и мощно сошлись земное и небесное, он был счастлив. Что все написанные книги, что все своды мудрости пред этой несказанностью присутствия там, где он был! И что все богатства, все победы, все измышления ума! Ликуя, кувыркаясь, подныривая верхним под нижнее, играл перед ним мир, ликованием своим обжигал Алешу — и так хорошо было, точно свечке под огнем, истаивать под этим всеобъемлющим праздничным сиянием, так хорошо было чувствовать свою неотрывность, вместе с камнями и водой, от всего, от всего, что окружало его и было звано на это великолепное зрелище! И хорошо было думать, что, чем бы ни стал он после жизни мирской, во что бы ни превратился, он не потеряет счастья в том же товариществе видеть все это снова; и хорошо было додумываться даже до такого внушения, что потом-то он и станет значить в этом мире неизмеримо больше, что если теперь самой крохотной песчинкой он входит в

мир среди мириад подобных же песчинок, то потом, после этой жизни, в жизни другой, весь огромный мир легко сможет поместиться в нем одном, ибо тогда-то он и станет миром больше видимого мира. Что-то новое вошло в Алешу, что-то, чего в нем не было. И когда ранним утром в серых туманных сумерках подошел он к поселку, откуда отправлялся паром, и, пройдя поселок из конца в конец, не встретил ни одного человека и ни один звук не окликнул его, показалось Алеше, что его все еще нет, должно быть, нельзя ни видеть и ни слышать, что, как в физической жизни происходит обмен веществ, произошел в нем обмен чего-то незнаемого.

Следующую свадьбу после этого он провел так вдохновенно, что все огромное и богатое застолье онемело, а невеста расплакалась и уткнулась в плечо жениху. На него смотрели как на иноземца, привезшего новые слова. В кругах, где все новое и необычное ловят на лету, о нем прошел слух. Пришлось давать телефон Сидейкиных, а сидейкинских девчонок просить записывать заказы. «Что, свадьба?! Тебя, дядя Алеша, зовут на все свадьбы, без тебя никак! Ты расскажи!..»

Пришлось рассказывать и, конечно, выдумывать, чтобы каждая невеста была феей, а каждый жених принцем.

— Ты что им головы морочишь? — послушав, растерянно сказал Игорь, отец девчонок, высокий тренированный крепыш Алешиных лет, работающий в университете на американском факультете. — Ты их, златоуст дырявый, без женихов оставишь! Они будут твоих женихов искать, а где их теперь взять? Ты там ври, где тебе не верят!

Алеша ответил, он думал об этом:

— Если меня они, на ком клейма негде ставить, если они зовут, значит, Игорь, и они теперешней атмосферой давятся, значит, им кислородная подушка нужна. Хоть в

редкие, хоть в святые дни, да нужна. А что я еще там вижу, твои девчонки успеют узнать.

Он жалел Ольгу с Игорем: не позавидуешь родителям, у которых на подросте три невесты.

Приехали. Зал, в который набралось уже десятка четыре гостей, переминающихся группами и заглядывающих в окна, вдруг тряхнуло и накренило — все бросились в прихожую, загалдели, заговорили отрывисто, завскрикивали восхищенно, но, перебивая этот горячий голосовой клубок, раздался твердый мужской речитатив, провозглашающий здравицу при встрече новобрачных. Ресторанный зал на несколько минут опустел, только мальчик и девочка, вытягивая шеи, стояли на посту у хрустальных чаш, девочка нервно подпрыгивала. Алеша Коренев тоже заглянул в прихожую, но оттуда уже выдавливало крайних обратно в зал, там над головами плыли цветы и сыпались конфетти. Из прихожей был ход во внутренние службы, туда и увели жениха с невестой, чтобы после машины они могли отдышаться.

Вот теперь на пять минут перед мальчиком и девочкой собирается очередь, все еще шумная, порывистая, похлопывающая и чмокающая друг друга, из очереди церемонно и медленно вытягиваются руки и опускаются то влево, то вправо с наклоном, как при книксене, несут коробки в цветной бумаге с ленточными бантами, раздается и захлебывается резкий музыкальный вскрик, продолжения ему долго нет, а затем льется что-то нежное и идиллическое. Появляются официанты в алых жилетках поверх белоснежных рубашек с черными бабочками, они катят приставные столики с закусками и ловко, в едином наклоне, стопорят их у боковых рядов.

Алеша опытным глазом присматривается к приглашенным: свадьба собирается богатая, но по неуловимым признакам несклонная показывать свое

богатство. Тут цвет какого-то нового общества, еще не устоявшегося, еще кипящего в водовороте отбора, еще в этом водовороте не выработались окончательные правила, говорящие «да» и «нет», но уже вознесенного на гребень успеха. Почти все знакомы и все держатся на равных, но как бы знают какую-то тревожную тайну, которая свела их вместе и никак не может освободить от беспокойства.

Странно: никого из них Алеша не знает. Никого из них он не видел. Он живет в этом городе около двадцати лет, ходит по улицам, заглядывает в телевизор, еще не в столь отдаленные времена и сам был не из последних. Многие из его приятелей пошли далеко, кроме того, городская верхушка, управляющая и стоящая в очереди за властью, всегда на виду, — эти же точно с луны свалились целым десантом и сразу взяли свое положение. Вчера их еще не было, и неизвестно, будут ли завтра, но сегодня вот они здесь, никто из них не решится отказаться от приглашения, чтобы не вызвать к себе подозрительности и не накликать напротив своей фамилии галочку, похожую на курок, который, если он даже никогда не будет спущен, всегда будет взведен.

Тут много молодых, лет до тридцати, коротко знакомых. Но «коротко» не близко, а недавно. Так же «коротко» они здороваются, не вкладывая чувства в приветствие, «коротко» перебрасываются фразами. И кружат, кружат, то отзываются на сигналы сотовых телефонов, то в задумчивости, требующей движения. Молодые женщины затаены, если они при мужьях, или громки и навязчивы, те и другие блистают драгоценностями, в которых только они и разбираются. Стайка девиц, по всей видимости подруг невесты, показывает длинные ноги и дисциплинированные, еще не вздыбившиеся груди и держатся особняком, с

прелестным любопытством шушукаясь и наблюдая за передвижением фигур.

Средний возраст чувствует себя уверенней, среди него заводятся разговоры и слышится сытый смех, дамы без подозрительности изучают костюмы одна другой и добродушно нахваливают, имея такт не удивляться вслух драгоценностям. Но и здесь, если присмотреться внимательней, ни голоса, ни натуры не отдаются полной воле; конечно, воспитанность никогда этого и не позволит, тем более на подступах к застолью, но тут не воспитанность высматривается первой причиной, а какая-то удручающая неполнота, точно они недавно только узнали, что для важного проходного балла куда-то им недостает двух или трех сантиметров удачи.

Голоса все гуще и плотней, гости все чаще задирают головы, высматривая начало. Но, взглянув на часы, Алеша Коренев убеждается, что задержка ничтожная, всего в пять-семь минут, а свадьбы из какого-то неписаного суеверия никогда в назначенный час не начинаются. Наконец кто-то решает, что пора, в отдалении, за прихожей, раздается заливистый, захлебывающийся звон, он приближается, ликующе бьет мелкими толчками, и в зал вбегают мальчик и девочка, поменявшие хрустальные чаши на хрустальные колокольчики, и наяривают в них что есть мочи. Им не успевают дать проход, они тычутся в большие и неповоротливые фигуры, вырываются к столам и обегают их, словно разбрызгивая благословение. Как только звон стихает — в зал вступают жених и невеста, перед ними само собой образуется коридор, слышатся восклицания, аплодисменты, к невесте бросаются подруги для поцелуев, но жених не дает ей отвлечься и вслед за порхающим сбоку распорядителем в белом костюме ведет к столу. С опозданием гремит что-то вроде свадебного марша, звучного и полетного, как на тройке

с бубенчиковыми переборами. Его заглушает грохот стульев при рассаживании и те бодрые, ничего не означающие слова, которые невольно срываются при повороте застоявшегося дела.

Алеша видит, что свадьбе не быть игровой, проходящей по обряду. Может, это и к лучшему. Когда в ресторане с черными шишковатыми стенами из какой-то вулканической породы и общим холодно-пренебрежительным видом начинают прятать невесту и требовать за нее выкуп, когда подружки невесты фальшиво и завистливо голосят над судьбой пропащей головушки, зыркая по сторонам ведьмиными накрашенными глазами, когда дружки жениха с кривыми ухмылками делают деревянные два притопа, три прихлопа — все это похоже на балаган и шутовство. Для цельного, для сочного обряда нужна деревня, простор, живые лица, нестесненные души — чтоб распахнуться так распахнуться! Но не быть сегодняшней свадьбе и гулевой до распущенности и беспамятства, до куража и безобразия — не тот народ. Все тут будет в меру, все как положено. И сама свадьба играется — потому что положено тряхнуть событием, а заодно и карманом. Но тряхнуть осторожно, без перебора, чтобы событие не выплеснулось за края.

Волнение пощипывает Алешу, в голове неразборчивый, не выстроенный в порядок гул. Ничего, ему вступать в свою роль еще не скоро, а одна-две рюмки коньяку успокоят его и придадут смелости. Он уже не сомневается, что на этот раз его выдадут за родственника невесты, за молодого дядю или троюродного брата — этого никто никогда не замечает.

Жених редкостно, приметно белобрыс, и если бы Алеша хоть раз его встретил, он бы его не забыл. Белые волосы на большой голове, белое лицо, широкое и тяжелое книзу, совсем белые брови над мелкими серыми глазами. Прекрасно сшитый двубортный костюм

от какого-нибудь итальянского Марко еще больше оттеняет дымную белизну лица с проступившей дряблостью. Он молод, ему нет еще, должно быть, тридцати, но чувствуется, что опыта и уверенности в нем больше, чем лет, и смотрит он без смущения. Смотрит он самоуверенно и устало, точно на это событие и не хватает ему сил. Невеста совсем юна, ее белое и легкое подвенечное платье, сияющее чистотой и новизной, словно не шито, не надето, а столь же нагое, как тело, и есть продолжение тела. Она испугана той торжественной казнью, которая предстоит ей при стечении огромного числа людей, собравшихся требовать ее публичных мук, на ней нет лица, а лицо было прехорошенькое и полудикое, в котором славянская томность сошлась с азиатской дерзостью. Но в непогоду срывай плод прежде, чем он обвис, и под большими, часто моргающими глазами невесты тень, выдающая, что из нее уже испили любовь не вприглядку.

— Господа! Господа! — пытается начать тот, кто должен быть дружкой, а здесь он что-то вроде предводителя свадьбы, и по голосу Алеша узнает, что с ним он и разговаривал по телефону, ему и обязан своим присутствием здесь. Вспоминает он и его фамилию — Сокольский. Это высокий лощеный господин с аккуратно постриженной окладистой бородой и сияющими глазами. Сокольский вынужден прерваться, ему показывают, что официанты еще не успели разлить напитки. — Господа! Господа! — снова всплескивает он приятным влажным голосом, но тут ему, сидящему слева от жениха, что-то говорит жених, и Сокольский, прислушиваясь, во второй раз вынужден присесть. — Господа! наконец он поднимается решительно и бесповоротно. — Господа! Я прежде всего хотел бы огласить радость, которую каждый из нас здесь испытывает. Я хотел бы прежде поздравить вас, еще до

нашего общего поздравления, которое будет обращено к виновникам торжества… хотел бы, вопреки традиции, поздравить гостей с честью находиться здесь и присутствовать при событии, которого никогда не было и не будет. Да, утверждаю: не было и не будет. На свете случались миллионы, миллиарды свадеб, человек тем и отличается от животного, что он сознает важность этого акта… скажем так: бракосочетательного акта. Были и канули в вечность миллионы и миллиарды свадеб, но никогда еще не бывало… я хочу сказать, что все эти миллионы и миллиарды за тысячи лет были только приготовлением к событию, которому мы сейчас свидетели. Все прошлое на земле было только для того, чтобы встретились наконец они, — Сокольский торжественно поднимает руку и устремляет ее к жениху и невесте, — чтобы встретились наш друг Георгий, по имени победитель, и наша красавица Елена, по имени царица. Звезды на небе сошлись наконец так, чтобы это произошло. Мы не можем, не в состоянии преувеличить значение этого события. Оно величественно и великолепно. Ура, господа! Всякое дело требует ухаживания — поухаживаем же за нашей общей радостью! Ура — шампанским!

— Ура-а-а! — гремит в полтораста глоток, в тон высоко взятой ноте, поднимаясь и вызванивая гимн.

Алеша сидит за первым левым столиком вблизи той половины общего стола, которая занята невестиной родней. Рядом с невестой мать, женщина моложавая, но блеклая, с лицом учительницы, строгим, усталым и беспомощным; она сидит потупившись, так же как дочь, по внутреннему окрику вскидывает голову, с натянутой улыбкой смотрит на огромный зал, полный чужих людей, затем искоса смотрит на дочь, закаменевшую, ставшую вдруг чужой, уходящую с этого вечера неведомо куда, и с жалостью прислоняется к ней. Отец невесты с лицом простоватым и устроенным весело,

неунывно, напротив, радостно и быстро перебирает маслянистыми, уже пьяненькими глазами и восторженно крутит головой с вдавленной на волосах полоской от кепки или шляпы. Можно не сомневаться, что он-то своим недюжинным интересом к жизни и утомил жену и прежде времени подвел ее к старости.

Столик Алеши «служебный». Он не сразу догадывается об этом, обычно его устраивают где-нибудь с краешку за главным столом, чтобы придать родственное положение, или уж среди гостей. Но сегодня два соседа Алеши явно гости особого назначения, которого они не скрывают: плотные фигуры в сажень в плечах, чесучовые пиджаки с одного прилавка, спокойная напряженность, выдаваемая лишь взглядами в одну и ту же сторону, куда-то поверх голов вправо. У них никак не получается, чтобы один взглянул, а спустя десять или двадцать секунд взглянул второй, — нет, головы поворачиваются одновременно, с секундным опозданием. Четвертое место за столиком занято молодою женщиной, маленькой и хрупкой, заметной только достоинством, с каким она себя держит. Над бдением гвардейцев она посмеивается не улыбкой, а принимающимися лучиться глазами, когда она откидывается на спинку тяжелого стула и приподнимаются под черной кружевной кофточкой горки грудей.

«Господи!! — думает Алеша. — До чего мы все совсем еще недавно были просты и до чего загадочными сделались теперь!»

Приподнимается предводитель.

— Господа! — начинает он свой разбег. — Господа! — Но взлететь на высоту красноречия ему не дают, кто-то кричит басисто:

— Ну чего ты, Сокольский?! Ложка в рот не лезет. Все пересолено, все переперчено. Кто заказывал эту кухню? Так не пойдет.

— Рано, — возражает Сокольский. — Что вы сразу быка за рога?

— Такого быка и надо сразу за рога. Чего тянуть? Горь-ка-а!

И все-таки рано: подхватывают недружно.

Сокольский разводит руками, склоняется к жениху с невестой:

— Мне ничего не остается, как призвать вас к исполнению воли народной…

Жених непринужденно поднимается, помогает подняться невесте, осторожно приобнимает ее сзади и чмокает в полумертвые холодные губы. Когда невеста опускается, ее приобнимает с другой стороны мать.

— От вашего воздушного поцелуя слаще не стало, — басит тот же голос. Безобразие!

«А ведь скоро свадеб не будет, — думает Алеша. — Не будет свадеб в их лирической красоте и торжественности, когда не дяди кричат, а хор ведет от действия к действию, от поворота к повороту. Они и теперь редки. Все превращается в чахохбили…» Почему в «чахохбили», он не знает и улыбается над собой.

Потом наклоняется к соседке и спрашивает, понимая, что не с этого следовало начинать знакомство:

— Вам уже кричали «горько»?

— Нет, — отвечает она без кокетства неожиданно струйным, переливающимся голосом. — Я этого не заслужила. А вам кричали?

— Тоже нет.

В первый раз Алеша Коренев женился еще в университете, женой его стала студентка на курс младше его с филологического факультета, девушка очень начитанная и красивая какой-то томной, загадочной красотой, которая могла превращаться, как выяснилось позже, в слепое и отсутствующее выражение. Она всегда была спокойна и чуть флегматична, говорила неторопливо и правильно, без

обычных для большинства возвратов, чтобы пояснить мысль, глядела пристально и завораживающе. Эта способность завораживать была у нее природной, она смотрела так, как Бог устроил — без нарочитости и вопросительности, с мистической и требовательной мягкостью, под которой тебе становилось неловко, словно ты не весь здесь, перед нею, и что-то важное скрыл. Казалось, что и скрыл-то не худшее, а лучшее. Это и озадачивало, и пугало, и тянуло. В читальном зале научной библиотеки каждый завсегдатай привязывался к одному и тому же месту, и Алеша больше месяца придвигался к ней, сидящей у окна, всякими хитроумными способами отодвигая всех, кто оказывался на пути. Когда это удалось и он победно шлепнулся рядом, она взглянула на него с печальной снисходительностью, будто знала каждый шаг его приближения и говорила, что цель привлекательней, когда она вдали. «Ну вот теперь мое место здесь, — сказал он тоном, засталбливающим золотую жилу, и, не дождавшись ответа, продолжал: — Я бы на вашем месте сказал: „Не упадите“…» — «Да падайте, — дружелюбно засмеялась она. — Не жалко». — «А вы знаете, меня хоронить будут с почестями». — «Конечно, вас похоронят вместе», — нашлась она и каким-то образом сумела накрыть свое лицо печалью.

Его известность в университете на последнем курсе была не спортивной и не музыкальной: за год до того в научных трудах была опубликована статья за подписью студента физмата и профессора-специалиста по теоретической физике по теме, в которой, оказалось, рылись военные. Когда имена профессора и студента стоят рядом, студента невольно ставят на первое место, и слух об Алеше, как о будущей звезде, разошелся по всему университету. Его подогрела заявка на Алексея Коренева в закрытый «ящик» при распределении. Из полутора тысяч ежегодных

выпускников 1490 выходят в общие ворота, и только за десятью ненормальными, протирающими до дыр лучшую пору молодости в библиотеках и лабораториях, охотятся заранее и уводят через особые калитки.

Но в «ящик» Алеше поехать не пришлось. Жена, та самая девушка, к которой он продирался в читальном зале сквозь вереницу в шахматном порядке уткнувшихся в книги фигур, не захотела, чтобы его и ее спрятали в золотую клетку. Он пошел в лабораторию, от месяца к месяцу все ярче сияя своим именем, через полтора года у них родился сын, а через два они получили трехкомнатную квартиру в новом доме улучшенной планировки в центре города. К тому времени, защитив диссертацию и став завлабом, он взлетел на первую высоту, его приглашали на конференции, на конференциях дважды делали заманчивые предложения, но надо было покидать город, уже обжитый, уже привечающий его, и он не решился.

Жену звали странно — Дагмара, что-то не то скандинавское, не то цыганское. Подтрунивая над ним, она говорила, красиво откидывая голову: «Ты так же прост, как твое имя, — и как я раньше не обратила на это внимания? Знаешь ли ты, что человек рождается с именем, вернее, он рождается под имя, которое само нашептывает себя». С этим Алеша готов был согласиться, демоническое в ней, звучащее и в имени, прорывалось часто. Да, свадьбу они не играли и «горько» им не кричали, она не захотела свадьбы, на которой настаивали ее родители, любившие Алешу. Теперь ему кажется, что она с самого начала не верила в прочность их брака и поостерегалась свадьбой, как завязываемой при рождении пуповиной, закреплять надежность их общей жизни.

Они прожили вместе семь лет. И то много. Прожили мирно, с редкими и безгрозовыми ссорами, не

оставляющими ран на сердце, прожили ровно. Алеша любил жену и продолжает, несмотря на недоумение, что же это было между ними, любить до сих пор. С первого дня она была чуть снисходительна к нему, чуть капризна, чуть лукава, но совсем незаметно, горячилась до искр, ничего не делала до самозабвения и, бывая игривой, покладистой, ни с того ни с сего вдруг усмехалась над собой и возвращалась в себя, принималась смотреть на Алешу, приоткрыв губы от внимания, длинным тревожным взглядом, точно измеряя снова и снова. Нисколько не желая обидеть его, а только из неумения держать в себе то, что просилось наружу, однажды сказала: «Мужчина должен быть грубым и сильным, как зверь, у него должно быть имя Трувор или Рюрик». — «Уж не хочешь ли ты, чтоб тебя поколачивали?» — в недоумении спросил Алеша. И нельзя было понять, соглашается ли она, когда отвечала с затаенным обращенным в себя смешком: «Хочу, чтоб от меня пух и перья летели!» Мягкость его она принимала, должно быть, за слабость, самоуглубленность за неуверенность; теперь, оказавшись в своем пиковом положении и зарабатывая на хлеб занятием явно не мужского происхождения, Алеше невольно приходится соглашаться, что не так уж его Дагмара была и не права. Прочность человека проверяется в конце концов на дыбе, а не в спокойной обстановке. Он в чувстве своем уходил в нее без остатка, она и в любви была раздвоенной и снисходительной. Эта заметная несоразмерность и раздражала, и пугала Алешу, но он замечал, что от нее страдает и она и что дело не в разных темпераментах, не в разных чувственных фигурах, а в каком-то дальнем, глубинном несходстве, уходящем в неизвестно какие дебри.

Потому Алеша не удивился, когда Дагмара коротко и спокойно сказала, что им надо бы разойтись. И

добиваться разъяснений не стал. Правда, неприятно было то, что пришелся их развод на ту пору, когда делилось и разрушалось все — государство, земля, вера, история, законы и взгляды. Оказывалось, таким образом, что и семья их попадала под те же общие развалы, свалившие полмира, и можно не искать виноватых внутри семьи. Да и что толку искать? Все рушилось и разбегалось, все. Рожденные под разными звездами пришли в неистовство друг против друга, когда заканчивающееся тысячелетие неосторожно показало начало тысячелетия нового, и общая тревога обуяла всех, кто волею судеб оказался под этими роковыми знаками.

Они разменяли квартиру, Алеше досталась однокомнатная за плотиной. В то же время Алешину лабораторию закрыли, и он остался без работы. От двух крушений кряду он растерялся, пошел в один научный институт, в другой, третий, все они еще недавно сманивали Алешу к себе, и все теперь беспомощно разводили руками. В четвертый из милости взяли, но заниматься там пришлось не своим делом, и работал он без души, в постоянном оцепенении, по вечерам пытаясь читать, подолгу вспоминал, был сегодня на работе или нет, и без сожаления попал под вал сокращений. Все шло неумолимым своим ходом, меняющим местами великое и низкое.

Так же пошло и дальше.

Во второй своей женитьбе винить, кроме себя, Алеше было некого. Ни ход звезд, ни ход чисел до столь ничтожного и миллионы раз происходившего во все времена случая опускаться не стали. Однажды его застала наедине с собой в постели низенькая, с резиновым упругим телом девица с гортанным голосом и принялась этим голосом выговаривать, что это он себе позволяет, а уже через пять минут напевать веселую и пошлую песенку. Потом застала там же, в его квартире,

во второй раз, в третий, в пятый, сочла, что это неудобство терпеть дальше нельзя, и доставила чемоданчик. Алеша ахнуть не успел, как на него медведь насел. Не лучше, не легче медведя. Эта неказистая женщина, ходившая нараскоряку, выворачивая носки, играющая при ходьбе пухлыми ягодицами, в которой не водилось ни ума, ни обаяния, ни нежности даже по забывчивости, а одно только упорство, — женщина эта была до того проста и откровенна, что надо было не потерять голову, как говорят в тех случаях, когда происходит затмение от любви, а не иметь головы вовсе, заложить ее в ломбард или по рассеянности где-то забыть, чтобы не разгадать ее с первого же взгляда. С налитым бесстрастным телом, не пропускающим женского электричества, без чувственных изгибов и тех переливов, от которых замирает беспамятно сердце, с прямыми плечами и короткими ногами, сделанная уж очень беззатейливо и устало — и это после Дагмары! — она ничуть и не заботилась исправлять в себе ничего ни упражнениями, ни диетой. Звали ее Вера; пред нею вся теория Дагмары об именном выражении сущности человека разлеталась в прах. По жизни Вера шла напролом и одерживала победы. Всего три года назад приехала она с десятью классами из небольшого поселка, выучилась в городе на массажистку, успела поработать в наспех сбежавшейся оздоровительной команде, которая вскоре распалась, после этого устроилась в одну из новых и бесчисленных страховых контор, работающих только с долларами. Ей нужна была квартира, чтобы принимать пациентов для массажа, и телефон при квартире, чтобы обзванивать страхклиентов. Спикировав на Алешу, она получила и то и другое. Затем получила законный брак, на который Алеша пошел уже с трезвым, но обожженным умом, как бы из мести самому себе за головотяпство и все свалившиеся на него неудачи. Неудивительно, что

новой хозяйке после этого показалось в квартире кое-что лишним, начались скандалы с криками и визгом, толпящиеся за массажем люди заполняли единственную комнату, донельзя вульгарный, со слащавыми ужимками голос по длинному и неубывающему списку уговаривал простаков застраховать свою жизнь в старинной французской компании.

Все это стало невыносимо, он сбежал. Из милости дал ему проректор университета в общежитии комнату. К середине жизни остался Алеша совсем без ничего. Где-то есть деревянная родина с заброшенными могилами бабушки с дедушкой и отца, которым уже ни от кого не услышать наследный шепоток — все разъехались. Где-то есть мать, доживающая свои сухие годки в другом городе, у его сестры. Где-то есть сын, ничего от него не взявший, совсем чужой, при редких встречах томящийся от скуки. И где-то были призвание, работа, Россия — теперь оборванные, занесенные непогодой... И где-то он... иногда так трудно отыскать себя по утрам, после сна; все кажется, что он должен быть где-то в другом месте.

— Горька-а-а! — требовательно раз за разом кричит свадьба, уже распаренная и азартная, уже несущаяся вскачь и криком этим подгоняющая движение. Уже стоит веселая галда, гремит посуда, на которой идет немилосердная расправа после великолепного выхода официантов с подносами, уже со стороны комментируют поцелуи новобрачных и подходят с дальних столов обняться с ними. Уже невеста глядит смелее и на лице ее разгорается румянец, а губы начинают вздуваться, и она, прикрываясь, облизывает их и пытается вдавить внутрь. И все же свадьба так и не нашла крылья и не взлетела порывисто и красиво, сияя удалью и разноцветьем обряда, не превратилась в красочный въезд в новую и преображенную жизнь, она

так и осталась в ресторанных стенах, нанятых для сидения. Все еще после «горько» мать невесты с лицом учительницы пугается и сжимается, наклонясь к мужу и пытаясь, должно быть, остановить его от излишней лихости, когда «горько» оглушительно кричит он ей в самое ухо. Сокольский, правивший свадьбу, стал незаметнее, зато на первой ее боковине, столика за три от Алеши, явился басистый заводила, подающий команды, кому подниматься со здравицами, и всякий раз после его решительного голоса гвардейцы за Алешиным столом с облегчением берутся за ножи и вилки.

Уже и Алеша оглядывается на Сокольского: пора бы, потом будет поздно.

Но еще поднимается сам жених с по-прежнему бескровным, точно напудренным, лицом и подламывающейся улыбкой.

— Друзья! — обращается он, приспуская на глаза веки, бесстрастным и сильным голосом. Странно слышать от него это слово, никак здесь не подходящее, но, произнесенное дальше в другой интонации, оно все расставляет по местам. — Чего так навалились-то? Друзья!.. Дело только начинается, а вы уж нас с Еленой заездили. «Горько» да «горько» без передышки! А чего «горько-то»?! Давно уж сладко. Это нам горько. Смотрите, как бы мы не заставили вас сластить.

Все смеются — и откровенно, и нарочито громко. Бас кричит:

— Начинай с меня, свет ты наш жених Иванович. Я первый на очереди.

— Ты не умеешь.

— Я-то?! Я-то?!

Бас, оказавшийся огромным дядей с огненной лысиной, легко приподнимает над столом завизжавшую, забившую руками и ногами соседку, ловко перехватывает ей руки и размашисто, гулко

чмокает прямо в ядовитые красные губы. Смех переходит в грохочущее стенание.

— Умею? — перекрывая без усилия шум и красноречиво вытягивая губы со следами краски, интересуется бас.

Жених, не отвечая, наклоняется к невесте, она, вмиг поняв, что от нее требуется, кокетливо подставляет ему лицо, но он медлит, и тогда она, вытягивая шею, а затем и тело, вся выструниваясь и приподнимаясь, не переставая улыбаться, сама целует его в подставленные губы и, отрываясь, хватая воздух, ахает.

Удивительно: это вроде бы и показной, но не разыгранной, пойманной на лету сцены оказывается достаточно, чтобы разгоряченный зал притих.

— Это еще не вся любовь! — таинственно провозглашает Сокольский, дожевывая и вытирая рот салфеткой, также на лету ловя удачный момент. Он только чуть приподнимается, чтобы встретиться глазами с Алешей, кивает ему и продолжает: — Со стороны невесты имеет честь сказать напутственное слово молодоженам… — Алешино имя он забыл и смотрит на Алешу с укоризной. — Мы все тут, господа, сегодня друзья или родственники, — выкручивается Сокольский. — Послушаем нашего друга и родственника.

Ну вот, пришел и его черед. Алеша поднимается. Он замечает, с каким удивлением смотрит на него невеста и мелконько качает головой ее мать, отвечая на молчаливый вопрос. Никто тут Алешу, своего друга и родственника, не знает, едва ли и жених с невестой были предупреждены о его номере.

Стоит сделать паузу, и ее опять заполнит гвалт. Алеша должен начать сразу.

— Да, было, все было… — вдруг выхватывает он первое попавшееся, чувствуя, что потерял приготовленное начало, и торопливо и безрезультатно

роясь в памяти. — Были свадьбы, была любовь. Всякая бывала любовь… И мелкая, которая и следа не оставит, и такая, что солнце любуется и греется. Само солнце греется. Мы все дети любви, и уж от этого одного так ее, кажется, должно быть много, что только ею и дышать, ею с утра до вечера и жить. А поглядишь внимательно — нет, на всех любви не хватает… на всех не хватает, — в полной растерянности повторяет он.

— На кого любви не хватает, тот пускай картошку чистит, — перебивает бас и получает свою порцию смешков.

Алеша без обиды косится на него, уже скинувшего пиджак и поводящего короткой мощной шеей над синим воротничком, на котором победоносно сидит круглая голая голова со сдвинутым ко лбу лицом; крупные черты на лице сложены в откровенную и счастливую ухмылку. Взглянув на это лицо, Алеша вдруг понимает, что нет, не дадут ему сказать здесь приготовленное, уже вспомнившееся и подвинутое памятью на первый план, что публика эта, многоопытная и всем пресыщенная, пышущая самомнением, как отменным здоровьем, таит в себе, похоже, еще и трещину соперничества. Свадьбой ее, эту трещину, хотели, должно быть, загладить, чтобы привести впоследствии дело к полной мировой, но на винных парах она заупрямилась. Нет, не будут здесь слушать ни оды, ни баллады о любви, снова и снова будет обрывать Алешу бас, сделает из него козла отпущения.

И Алеша вдруг решается. Была у него одна то ли сказка, то ли притча, сказавшаяся сама собой в один из вечеров, когда он искал какие-нибудь связные и свежие слова, которые могли бы обратить на себя внимание, как обращает его в любую минуту невинность в подвенечном платье. Об этом Алеше и мечталось: сказать — как в душу невесты в минуту свершающегося

счастья заглянуть, поймать хоть несколько слов из непередаваемого чувства. Он искал эти слова, слова нежности и тревоги, но неожиданно и строго нашепталось ему совсем другое и сложилось в картину, печальную, взыскующую и неразгаданную, которую Алеша старался держать при себе, боясь, что он может передать ее неверно, но сегодня делать нечего, сегодня у него другого выхода нет. Или пан, или пропал.

— Послушайте, — говорит Алеша, вдруг совершенно успокаиваясь и обращаясь к жениху и невесте, а затем и ко всему застолью. — Я хочу рассказать вам притчу, надеюсь, она будет здесь кстати. Эта история касается всех нас. — Он делает короткую паузу, и, когда начинает свой рассказ, голос его звучит строже и таинственней.

— Там, в дальних и скрытых просторах Господа Бога, — говорит он, устремив глаза поверх столов на трепещущую под сквозняком штору на большом окне напротив, — в тех чертогах, где находится небесная канцелярия, заседает совет, как всегда по понедельникам, отданный земным делам…

— Господи! — вдруг закатывается кто-то мельконьким, донельзя удивленным неудержимым смехом. — Гос-поди-и! Это ж надо!

— О-хо-хо! — уныло, без всякой бравады, отзывается бас. Но Алешу уже не сбить. Он продолжает:

— Да, проходит совет. И решается на нем, представьте себе, женский вопрос. Господу давно уже докладывали, что от женщин поступают странные заявления, навеянные новым духом последнего времени, но Господь, не доверяя духу последнего времени, все медлил. Но дальше откладывать становилось нехорошо, надо было решаться. И Господь дал наконец указание собрать всех, кто занимался в поднебесной этим деликатным делом.

— Начинай, — кивает Он французской святой, больше всех досаждавшей ему приставания-ми по женским запросам. — Что они просят?

— Французские женщины, — с улыбкой отвечает святая, — хотят быть красивыми.

— Разве они не красивы?

— Через одну, Господи, через одну. А от этого много обид и ссор. А они бы все хотели быть счастливыми.

— Где я для них красоты наберусь? — бурчит Господь, размышляя, хорошо ли это будет — всех француженок сделать красивыми. От них и так много беспорядка в мире, и так многие отвращения от образа и подобия.

— А они, Господи, все учли, все учли, — тараторит французская святая. Тебе хлопот не сделают. Они хотят быть такими же красивыми, как Симона Синьоре.

— На одно лицо?

— Да, они избрали его идеалом.

Господь замирает в невеселом раздумье. Что там, внизу, в самом деле, происходит? Какая их муха укусила? Сплошь одни Симоны Синьоре! Но ведь это же в конце концов некрасиво! Почему они не понимают? Кто их там мутит?

— Как тебе это нравится? — спрашивает Господь у секретаря, сидящего за протоколом сбоку и очень похожего на Иоанна Златоуста, который при земной жизни не однажды откровенно высказывался о женском поле. — Одни Симоны Синьоре! Куда она там у нас определена, эта Симона Синьоре?

— Куда полагается, туда и определена! — сурово отвечает секретарь.

— Ладно. Пиши: удовлетворить просьбу французских женщин. Пересмотру не подлежит. Заявления на пересмотр не принимать, — наказывает Он французской святой. — Что еще у нас?

Поднимается итальянская святая...

Алеша делает паузу и осторожно оглядывает зал. Жених сидит набычившись, со скрещенными на груди руками, откинувшись на спинку стула, прищурив один глаз, и смотрит на Алешу прицельно, словно давая ему оценку сквозь мушку наведенного ружья. Невеста часто-часто моргает черными накрашенными ресницами и хмурит лоб, пытаясь понять, к чему ведет этот странный человек, выдавший себя почему-то за ее родственника, и кажется ей, что от самозванца ничего хорошего ждать не приходится. Сокольский тревожно и таинственно улыбается, наигрывая головой под какой-то веселый мотив. Соседка Алеши, неудобно задирая голову, слушает его со спокойным и грустным вниманием и отрывает глаза, только чтобы свериться, как принимает его слова зал. Зал возится, побрякивает, пошумливает вполголоса, но все-таки слушает, всякое чудачество невольно вызывает интерес.

— Поднимается итальянская святая, — продолжает Алеша. — Поднимается и говорит: итальянские женщины также просят о красоте.

— Этим-то зачем?! — еще больше поражается Господь. — Они же красивы!

— Красивы через две на третью. Хотят все. Под Софи Лорен.

Господь тяжело вздыхает и, нахмурив от напряжения лоб, устремляет Свой взор за великие тыщи километров, разостлавшиеся до Италии, которую Он любит в особенности. И смотрит неотрывно минут пять. А вернув взгляд, с болью говорит:

— Удовлетворить.

Поднимается английская святая:

— От английских женщин такое же заявление. Красивы через девять на десятую.

— Под кого? — устало спрашивает Господь.

— Под принцессу Диану.

— Развратница! — с чувством докладывает секретарь. — Мужу изменяла и на весь мир бахвалилась. Опозорила королевскую семью и всю английскую нацию.

— Удовлетворить! — решительно повелевает Господь. — Всех удовлетворить! Кто там еще у нас — занести в протокол, волю свою я даю. И записать, кто какую красоту выбирает. Продолжайте, я слушаю.

Наступает молчание. Никто больше не поднимается для принесения просьб. Господь ждет, полагая, что Он, может, своим решительным и рассерженным голосом напугал находившихся перед Ним заступниц тех земных народов, среди которых они просияли и которыми были посланы на небесное заступничество.

— На кого хотят походить русские женщины? — спрашивает Он.

За Русь предстательствует на совете княгиня Ольга, первая русская святая. Она поднимается с поклоном и говорит:

— От русских женщин таковых пожеланий не поступало.

— Почему? — спрашивает Господь. — Или Русь не родила такой красоты, которая желанна была бы для всякой женщины?

— Русь Твоей Милостью, Господи, рождает дивную красоту. Ты это знаешь. На Русь за невестами ездят со всех концов земли. Но на Руси испокон веку почитается та красота, которая украшается душой. Нам идольское наваждение перенимать негоже. Не для того мы, Господи, тысячу лет назад к Тебе обратились своею душой.

Господь долго сидит в задумчивости, ни на кого не глядя и не усаживая княгиню Ольгу. Тяжелы Его думы, печальны глаза, и обозревает Он за эти минуты, должно быть, из края в край всю Россию. Наконец Он

встряхивается, находит собрание неоконченным и рассеянно роняет:

— Удовлетворить.

— Как так? — пугается княгиня Ольга. — Мы не просили. Мы ни о чем не просили, Господи!

Господь кивает ей со слабой улыбкой и диктует для секретаря:

— Дать удовлетворение русским женщинам, чтобы они оставались одна другой краше. Все. Заканчиваем с женским вопросом. Всем сестрам по серьгам. Всем сестрам по серьга-ам! — повторяет Он напевно и жестом отпускает от себя небесное сестричество.

Он задерживает одного секретаря. Когда все расходятся, спрашивает у него, как у равного:

— Чем все это закончится?

— Господи! — пугается тот. — Почему Ты спрашиваешь у меня? Мне страшно.

Господь кивком головы соглашается с ним и произносит:

— Жалко их. Если они не удержат возле себя любовь, у них ничего не останется. Это последнее. Запиши в своих книгах: я с трудом нашел последнюю надежду. Это уже не та любовь, которая заповедовалась две тысячи лет назад. Это всего десять капель от той. Десять капель. Но если бы они нашли нужным снова начать с этих десяти капель… Согбенно, под тяжестью ноши, которую неустанно несет Он, Господь выходит за дверь.

…Алеша делает шумный выдох, показывая, что наконец-то рассказ его окончен, обводит зал вызывающим взглядом смельчака, готового принять за свою дерзость любое наказание, и голосом, также спустившимся с небес на землю, отрешенно добавляет:

— Мораль, по-моему, ясна. Любви, любви и любви нужно пожелать новой семье. Пусть вам всегда будет вместе хорошо, — с неловкостью обращаясь к жениху с

невестой, невыразительно говорит он. Слишком велик переход, совершенный им за две-три минуты от свидетельства высочайшего, в которое он невольно поверил и сам, пока говорил, до самого рядового, где все кажется незначительным и давящим. И вдруг Алеша чувствует, что его снова возносит горячечным порывом, неудержимо тянет досказать, перевести на язык юности, и пусть наивно, пусть по-ребячьи, но надо, надо! И, торопясь, захлебываясь, пугаясь, пугаясь своей смелости, занявшей и без того слишком много времени, он восторженно и болезненно выстанывает: — Знали бы вы, какое это счастье любить, испытывать влечение… да нет, какое там влечение! — испытывать постоянную потребность друг в друге, когда одному не хватает без другого ни света, ни воздуха. Как это назвать: тебя нет без него, и нет его без тебя, совсем нет, будто так и задумывалось с самого начала: быть вместе. Это второе рождение — от любви, от близости, преображение в лучшее… Волшебное наваждение: все поет в тебе, в тебе и восторг, в тебе и слезы, и обещания, и тысячи лет жизни на земле, и такое прозрение, что становится тесно в себе! Все небо по ночам выписывает только два имени, твое и его, и нашептывает вслух, все звезды хором повторяют ваши имена. А уснешь — сны какие! прямо величественные, будто твоя любовь объяла всю вселенную и отныне только ею и будет строиться мир. С какой радостью и нетерпением просыпаешься по утрам! как сердце бьется! как подгоняешь солнце, чтобы скорее его увидеть! Его, его увидеть; без него нет уже и минуты в жизни! Все. Извините! — на ходу обрывает Алеша себя, чувствуя, что душа просит пощады, и с незрячими глазами опускается на стул.

На него смотрят и с неловкостью, и с сочувствием. Невеста с матерью, бросая на него взгляды, переговариваются, невеста на чем-то настаивает, мать не соглашается. Официантки в расшитых передниках,

дождавшись паузы, ловко и бесшумно убирают грязную посуду и наставляют чистую — и как только исчезают они, выплывают торжественным выходом с поднятыми тяжелыми блюдами официанты и Сокольский кричит:

— Все! Принимаемся за гуся! Тоже, бедняга, любил!

— Полагается! Горь-ка-а! — объявляет бас и пытается опять расцеловать соседку, но над ним кто-то нависает, и два гвардейца за столом Алеши немедленно привстают, потом медленно опускаются.

— Горь-ка-а!

Потом с круга между боковыми рядами поет толстушка, загорелая до черноты, вертлявая, играющая микрофоном в руке, как циркачка, в открытом со всех сторон, переливающемся огнями красном платье, и резкий голос ее, перекрывающий гитару, скребет Алешу по сердцу. Он смотрит на гитариста, высокого румяного парня с запорожскими усами, пританцовывающего перед певичкой, вприсядку ходящего перед нею кругами, пытается собрать в единый смысл выбрасываемые с лихостью певичкой слова, но в ушах стоит лишь разудалый гик. Потом пытаются петь все вместе, начинают песню, вторую, третью, но ни одной закончить не могут. Потом танцуют под магнитофонные записи, но все шейки да брейки, которым Алеша не обучился, и он, как старообрядец, невпопад новым ритмам, ходит поодаль, приобняв соседку по столу, в танговой раздумчивости. Соседка ему по плечи, он задевает подбородком ее голову и дышит каким-то тонким и дурманящим запахом. Она назвалась Асей.

— Это Таисья, Анастасия, Агнесса, Евпраксия? — пытаясь придать своему голосу иронию, спрашивает он.

— Анастасия.

Жених, не покидая своего места, разговаривает с Сокольским, тот волнуется и выбрасывает перед собой, что-то доказывая, руки. Невеста и ее мать заняты отцом, уже давно пьяненьким, всем улыбающимся, с

веселой досадой он отпихивается от них. Длинноногие девицы разобраны самыми удалыми молодцами и отдельным кругом, хвалясь гибкой, чувствительной и порывистой молодостью, ходят, едва не выдергиваясь из себя, в страстном полуживотном танце. Наконец и жених с невестой врываются в этот круг, и танец становится еще горячей и отчаянней. Из чепурильни с восторгом выглядывают мальчик с девочкой, которых собрались уводить по домам, плечи их подергиваются, ноги приплясывают, лица нервно и развязно, как у театральных кукол, ходят ходуном.

Алеша выговорился, недоволен собой, представ в роли проповедника, опоздавшего с проповедью, и говорить ему ни о чем не хочется. Но рядом с этой девушкой ему уютно, он качается в танце, как на волне, ни к чему себя не понуждая, и чувствует, как успокаиваются и сердце и мысли. «Ну их!» думает он сразу обо всех и обо всем уже без раздражения, примиряясь и с сегодняшним вечером, и с самим собой, и с тем, что будет завтра и послезавтра.

— А ко мне на свадьбу вы придете? — спрашивает девушка, явно заинтересованная его ролью на свадьбе и поднимая на него широко раскрытые, спокойно лучащиеся глаза.

— У вас скоро свадьба?

— Придется поторопиться, — с наигранной лукавостью говорит она. — Вы пользуетесь популярностью — как бы мне вас не потерять.

— Ой, да говорите что угодно! — с легким раздражением отзывается он. Мне не хочется больше ни на что обижаться.

— А я не хотела вас обидеть, честное слово.

Музыка перестает бить, сменяя кувалду на напевные рожочки, и опять слышен гомон, стоящий над полупустыми столами. Жизнерадостный бас среди танцующих по-охотничьи крадется к своей партнерше,

тоже веселой, повизгивающей, приседающей на месте толстушке с маленькими глазками и вывернутыми губами, и вдруг отпрядывает от нее и начинает заходить с другой стороны. Ищут какого-то Васю, по-видимому шофера, громко выкликая его, под руки уводят отца невесты, в распахнутую дверь от реки нахлестывает сырой свежестью. Когда Ася, улыбаясь, поднимает лицо, на нем проступают бледные затертые веснушки.

— А вы здесь как, с какой стороны? — спрашивает Алеша вяло, кавалер в нем не проснулся.

— Я так же, как и вы, с десятой стороны. Я здесь никого, кроме одной дамы, не знаю.

— Кто же вы?

— Ни за что не угадаете.

— О, помилуйте! — Алеше впервые удается без усилий рассмеяться. — Ныне гадать… таких кроссвордов еще никогда не было. Новое на новом и новым погоняет. Кто же вы? — уже свободней и настойчивей переспрашивает он. Смеется и она, совсем без игры:

— За нашим столом двое… вы догадались, кто они?

— Гадать не надо. На них написано.

— На мне, значит, не написано. Я оттуда же.

Алеша невольно отстраняет ее на вытянутые руки и замирает:

— Вы?

— Я.

— Господи! Ну что вы можете? Такая… Вы что — комаров от своей дамы отгоняете?

— Вот такая, — она снова приводит его в движение и ничуть не обижается на «комаров». — Еще какая! — добавляет она не без гордости. — Вы что-нибудь слышали об у-шу?

— Какие-то восточные бои.

— Да, примерно.

Потом они снова сидят за столом, уже одни, без гвардейцев, и едят мороженое. Свадьба пошла на убыль, поредела, она всплескивает еще то смехом, то вскриком, то песней, но все заняты собой, и стоит сытое, с неряшливым подзвоном, животное ворчание. Алеша слизывает с чайной ложечки розовую студенистую сладость, переводит взгляд с утомленной, нахохлившейся невесты на свежую, как в начале вечера, Асю и задумчиво говорит:

— Вы не вы и я не я. Чудеса в решете. Но скажите, свадьба-то сегодня была настоящая или нет?

Поздний вечер, дозревают и уплотняются сумерки, но еще не темно и видно хорошо, разборчиво. Алеша доходит по набережной до моста через реку, любуясь темной синевой быстрого бугристого течения, в котором струи ни с того ни с сего вдруг бросаются с наплеском в сторону и опять выравниваются. Над низовьем реки, ныряющей за поворотом в деревянный окраинный город, бархатно стелется над фарватером серый дым и приглушенно постукивают берега.

Тепло, мягко, ощущение себя растворено в воздухе, точно в этот только час ты можешь оставить знакомую фигуру и поплавать в высоте. В этот час город не превращается еще в тоскливые руины, каким он кажется ночью, но и не выставляется таинственной громадой, каким кажется днем. В его полной вялой очерченности выстраивается что-то уже окончательно отошедшее, глядящее безмолвно. Сегодня это уже не тот город, что был вчера, и завтра будет не тот, что сегодня. В нем так многое меняется, что, если бы удалось подсчитать, выстроить эти перемены в один ряд и окинуть взглядом, от удара долго не пришел бы в себя. Но они растеряны среди прежнего и среди прежнего принимаются за естественное и неизбежное обновление клеток одного и того же организма, хотя, может быть, это уже другой организм. Может быть,

раком страдают не только люди, но и города, государства, только «раковые» города живут дольше.

А как хорошо, верно, как славно пройтись по городу в такой час! Прохожих мало, теперь боятся темноты и прячутся заблаговременно, но, если кто решился остаться в улицах, страшное не кажется ему страшным. Он доверяет чувству безопасности, как честному слову, звучащему в воздухе, и под его защитой, если город будет заминирован, пройдет и сквозь мины. Как хорошо не знать ни о чем плохом, что здесь сегодня случится, и просто шагать и шагать, полагаясь на силу своей безвинности и доверчивости, и думать, вспоминать, строить несбыточные планы.

К Сидейкиным стучаться поздно, в общежитие не хочется. Но если не ехать, а так вот и идти неторопливо и по-свойски, так вот и остаться в состоянии усталой и чувствительной пытливости, он дойдет незаметно и не раньше чем через час. Алеша соглашается: так и надо сделать. Вечер субботний, и машин мало, город наполовину разъехался по дачам. Можно пойти обходной дорогой, где он давно не бывал и по которой когда-то бегал в университет.

Университет… да, тогда был один университет и это был университет, а теперь каждый техникум, каждое училище из недорослей зовется университетом. Как будто ворованное чужое им прибавляет учености. Алеша идет вдоль трамвайной линии, вслед за нею поворачивает влево, огибая четырехэтажный зеленый дом, в котором он когда-то часто бывал. Здесь жила с родителями Дагмара, отец ее, Вячеслав Романович, с насупленными бровями и сухими глазами, имевший мрачноватый вид, но человек добрый, говоривший ровно столько, сколько требуется, ни слова больше и ни слова меньше, — отец Дагмары, начальствующий энергетик, в городе был известен и ездил на «Волге». Кого теперь удивить «Волгой»; «самый быстроходный в

мире трактор», с усмешкой говорят о ней, но тогда «Волга» кое-что значила и кое-что о хозяине говорила. Алеша потому вспоминает о «Волге», что во дворе для нее стоял высокий кирпичный гараж, чистый, просторный, пахнущий деревом от вагонки, сложенной в нижнем полуподвальном этаже, где мастерская. В этом гараже Алеша несколько раз ночевал. Дагмаре нравилось приводить его сюда вечерами, уже после того, как приезжал отец, подолгу сидеть в машине, играя с ним, ласкаясь и отпрядывая, испытывая себя на прочность, томно щурить колодезной темноты глаза, в которых стояли звездочки, говорить с изнеможением, а потом весело заявить: «Ты знаешь, я после этой пытки лучше сплю» — и убежать, замкнув его снаружи на два тяжелых замка. Утром она прибегала чуть свет, наскоро прибранная, зябко поводящая плечами, но язвительная, и поторапливала: «Быстрее, быстрее, Ромео из гаража. Тебя же за вора примут».

Давно уехали родители Дагмары, сама она живет неподалеку в доме хоть и из старой эпохи, но по-прежнему завидном как во мнении народном, так и во мнении богачей, на задворки не задвинешь. А этот, недавно еще барский, совсем захирел и ссутулился, зеленая краска облезла, обнажив коростяные, красного кирпича язвы, и вдруг обнаружилось, что нет в нем ни балконов, ни лоджий, а раскрытые форточки выглядят как отваливающиеся заплатки.

Дагмара Вячеславовна, была ли ты? И звучит уже заграничнo, по-чужому, а раньше казалось, что по-дворянски: Дагмара Вячеславовна... И воспоминания надо вызывать издалека-издалека, из какой-то другой жизни, после которой успел умереть, восстать и снова оказаться на грани смерти.

Опять Алешу при возвращении в сегодня задевает о свадьбу: ни одного знакомого лица. И это почти всегда — ни одного знакомого лица. На свадьбах гуляют,

выходя вперед, новые люди — да, это так. Иначе не призывали бы его, как акушерку, принимать недоношенное дитя, которое есть самое любовь; дети любви пойдут позже. Не с луны же, в самом деле, сваливаются эти новые, среди них есть люди пожилые, а Алеше тридцать пять. Свадьбы — ладно, им не задают вопросы, они не жизнь, а вспышки жизни, но ведь и на улицах он все реже встречает знакомых и часто, не страдая выпадением памяти, останавливается в недоумении: что-то мелькнуло стершейся приметой, что-то окликнуло — но нет, проходят мимо не узнающие его и не желающие, чтобы узнавали их. Точно земная кора сдвинулась и все поменялось, натянув сверху пленку похожести, на которой изредка что-нибудь мелькнет из старого.

Надо завтра зайти к Сидейкиным. Оставить костюм для нового выхода в свет и подождать звонка Аси. Она спросила, и Алеша дал ей этот телефон, договорившись о часе, когда она позвонит.

— Вы мне нравитесь, — сказала она при прощании, подавая маленькую твердую руку.

Он ответил:

— Вы мне, кажется, тоже. Но я не привык, чтобы женщины говорили мне это так скоро и раньше меня.

— Ой, простите, я многого не умею. — Ее растерянность показалась ему искренней.

Можно бы, конечно, ею увлечься… Но подумать только: как любить ушуистку? Женщина ли она? Он был все-таки старого покроя и не представлял: как можно любить, к примеру, фотомодель, брокершу, дилершу, феминистку, всю эту путану-мутану — если бы даже удалось до них возвыситься?! Они казались новым, скоростным происхождением человека, рванувшегося из каких-то тайных и смелых, прежде природой отвергаемых зародышей. Вызывающая недоношенность целого вида… все ли у них на месте?

По длинно и мертвенно отсвечивающим путям катят с визгом и электрическими брызгами торопящиеся в депо трамваи, заляпанные яркими чужими буквами рекламы. Где-то вдали что-то огромное, тяжкое протяжно отпыхивается; воздух теплый и сладковатый, стоит неподвижно, осевшей толщей. Плачут за рекой гудки электровозов, редкие прохожие смеются и говорят нарочито громко — как в незнакомой тайге, остерегаясь зверя; и из каждого окна, мимо которых проходит Алеша, из закрытого ставнями и задернутого шторами, гремят, отдаляясь и приближаясь, очереди выстрелов, за которыми отдыхают граждане перед телевизором.

Алеша поднимается по ветхой деревянной лестнице в гору, пробуя ногами каждую ступеньку и чувствуя себя неуютно, как бы под пристальным взглядом. Быстро и неожиданно стемнело до вязкой черной пестроты, и Алеша не сразу догадывается: здесь, на крутом подъеме изжитой, неимоверно старой улицы нет электричества. Деревянные дома по взгорью, и один, и второй, и третий, скособоченные, наполовину утянутые в землю, давно поддерживающие друг друга только единственным строем и единой жизнью, жутко и неотрывно, наползая и приближая черные провалы, смотрят пустыми глазницами окон. С другой стороны улицы то же самое.

Наверху свежее, можно отдышаться и оглядеться. Но и здесь темно, в темноте на фоне рдеющей пустоты, где должно быть небо, высится новое, недостроенное здание донельзя изломанных форм и ощетинившееся всеми своими остриями — и тоже жуткое. И оттуда, из этой хищно нависающей архитектуры, негромко, но внятно, с воркующей глумливой нежностью догоняет наконец Алешу песня, которая преследует его уже давно:

Ах, киса, киса, киса,
Ты, моя Лариса...

Алеша убыстряет шаг, чтобы не слышать продолжения, и, дойдя до парка, поворачивает вправо. Веселье в парке, разбитом на месте кладбища, на сегодня закончено, теперь там другая, затаенная и мрачная, жизнь. Лучше от греха подальше обойти ее стороной. Алеша идет вдоль высокой металлической ограды с белыми, беленными известкой, рядами тумб, тяжелым форменным строем наступающими на него, задевающими его ветерком полого дыхания. Небо натужно и тускло тлеет отбрасываемым снизу заревом слабого ночного освещения. Из-за ставен в трех-четырех окнах на Алешиной улице пробивается свет, остальные темны; здесь, в этих старых, изношенных избах, как в деревне, ложатся рано. Только торопливо прошмыгивают машины. В общежитии дверь еще не закрючена, сонный парень в дежурке едва заметно кивает Алеше, смотрит на часы, прислушивается к какому-то шуму на верхних этажах, но не находит в нем ничего тревожного и вволюшку, похлопывая себя по щекам, зевает. Уже из коридора Алеша слышит, как на пробой щелчком ложится крюк, звук этот словно требует ответа, и Алеша с облегчением вздыхает. Все, тяжелый день позади, и можно уснуть со спокойным сердцем.

Но ему не спится. Возбуждение еще не прошло, он лежит в темноте на продавленной кушетке, изогнувшись скобкой и пытается подступающие к нему мысли спровадить обратно. Получается плохо. Разве это жизнь? Конечно, не жизнь. Еще недавно он верил, что вот-вот должно что-нибудь произойти, что непременно вытащит его и из этой комнаты, и из этой жизни и поместит в приличное положение, но проходили месяцы и месяцы, и ничего не менялось. Ни счастливый случай,

ни богатый дядюшка не являлись. И он научился не отвечать на неприятные вопросы. Что-нибудь да будет, так продолжаться долго не может.

На деньги, заработанные сегодня, Алеша мог бы, наверное, купить новую лежанку и не мучиться по ночам, задирая ноги, как в гамаке. Но менять в своей комнате ему ничего не хочется. Конечно, это не жизнь, но, украшая эту не-жизнь, он никогда из нее не выберется. Этот вывод Алеше нравится, но он знает, что за ним не медля может последовать вопрос. Нет, вопросов он не допустит. Не сейчас. Иначе он не заснет. Люди оттого и маются по ночам, что не умеют по ночам ограждаться от вопросов.

Уже слабой, уже совсем затмевающейся скользящей мыслью он успевает отметить: а ведь это открытие — одно из тех, к каким его привела жизнь. Когда не потребуются больше его слова о любви, он может заняться лечением бессонницы. Тысячи, миллионы людей спят сейчас все хуже. Он может им пригодиться.

«Все хуже, все хуже, все хуже», — под эти убаюкивающие слова Алеша засыпает.

ИЗБА

Изба была небольшой, старой, почерневшей и потрескавшейся по сосновым бревнам невеликого охвата, осевшей на левый затененный угол, но оставалось что-то в ее поставе и стати такое, что не позволяло ее назвать избенкой. Без хозяйского догляда жилье стареет быстро — постарела до дряхлости и эта изба с двумя маленькими окнами на восток и двумя на южную сторону, стоящая на пересечении большой улицы и переулка, ведущего к воде, прорытого

извилисто канавой и заставленного вдоль заборов поленницами. Постарела и осиротела, ветер дергал отставшие на крыше тесины, наигрывал по углам тоскливыми голосами, жалко скрипела легкая и щелястая дверь в сенцы, которую некому и не для чего было запирать, оконные стекла забило пылью, нежить выглядывала отовсюду — и все же каким-то макаром из последних сил изба держала достоинство и стояла высоконько и подобранно, не дала выхлестать стекла, выломать палисадник с рябиной и черемухой, просторная ограда не зарастала крапивой, все так же, как при хозяйке, лепили ласточки гнезда по застрехам и напевали-наговаривали со сладкими протяжными припевками жизнь под заходящим над водой солнцем.

Считалось, что за избой доглядывает сама хозяйка, старуха Агафья, что это она и не позволила никому надолго поселиться в своей хоромине. Мнение это, не без оснований державшееся в деревне уже много лет, явившееся чуть ли не сразу же после смерти Агафьи, отпугивало ребятишек, и они в Агафьином дворе не табунились. Не табунились раньше, а теперь и некому табуниться, деревня перестала рожать. Заходили сюда, в большую и взлобисто приподнятую ограду, откуда виден был весь скат деревни к воде и все широкое заводье, по теплу старухи, усаживались на низкую и неохватную, вросшую в землю чурку и сразу оказывались в другом мире. Ни гука, ни стука сюда, за невидимую стену, не пробивалось, запустение приятно грело душу, навевало покой и окунало в сладкую и далеко уводящую задумчивость, в которой неслышно и согласно беседуют одни только души. «Ходила попечалиться к старухе Агафье», — не скрывали друг перед другом своего гостеванья в заброшенном дворе живые старухи. Ко всем остальным из отстрадовавшегося на земле деревенского народа следовало идти на кладбище, которое и было недалеко,

сразу за старым аэродромом, поросшим теперь травиной, а к старухе Агафье в те же ворота, что и при жизни. Почему так сложилось, и сказать нельзя.

Агафья до затопления нагретого людьми ангарского берега жила в деревне Криволуцкой, километрах в трех от этого поселка, поднятого на елань, куда, кроме Криволуцкой, сгрузили еще пять береговых деревушек. Сгрузили и образовали леспромхоз. К тому времени Агафье было уже за пятьдесят. В Криволуцкой, селенье небольшом, стоящем на правом берегу по песочку чисто и аккуратно, открывающемся с той или другой стороны по Ангаре для взгляда сразу, веселым сбегом, за что и любили Криволуцкую, здесь Агафьин род Вологжиных обосновался с самого начала и прожил два с половиной столетия, пустив корень на полдеревни. Агафья в замужестве пробыла всего полтора года — за криволуцким же парнем Ефимом Мигуновым, прозванным за бесстрашие Чапаем, грубоватым, хорохористым, во все встревающим, с лихостью выкатывающим на всякое приключение свои круглые зеленые глаза на белобрысом лице. Его взяли в армию, там он задолго до войны и пропал смертью, может быть, и храброй, но бестолковой. От него осталась дочь, названная Ольгой, девочка затаенная, самостоятельная, красивая, в пятнадцать лет сразу после войны она уехала в город в няньки, в семнадцать устроилась на конфетную фабрику, перешла квартировать в общежитие и попала под безжалостные жернова городской перемолки. Сладкая ее жизнь возле конфет, которой так завидовали криволуцкие девчонки, скоро стала горькой: прижила без замужества девчонку, закружилась в бешеном вихре, пока не сошла красота, и спилась… еще одно доказательство того, что у одного стебля корни дважды не отрастают. В то время это было редкостью, а для деревни и вовсе невиданное дело — бабье пьянство. От боли и работы Агафья рано

потускнела и состарилась, похоронила вскоре друг за другом отца с матерью, одного брата убила война, второй уехал вслед за женой на Украину, сестра тоже вышла замуж за дальнего мужика и уехала — к сорока годам осталась Агафья в родительском доме одинешенька.

Была она высокая, жилистая, с узким лицом и большими пытливыми глазами. Ходила в темном, по летам не снимала с ног самошитые кожаные чирки, по зимам катанки. Ни зимой, ни летом не вылезала из телогрейки, летом, закутываясь от мошкары, от которой не было житья, пока не вывели ее, чтоб не кусала наезжих строителей Братской ГЭС. Всегда торопясь, везде поспевая, научилась быстро ходить, прибежкой. Говорила с хрипотцой — не вылечила вовремя простуду и голос заскрипел; что потом только ни делала, какие отвары ни пила, чтоб вернуть ему гладкость — ничего не помогло. Рано она плюнула на женщину в себе, рано сошли с нее чувственные томления, не любила слушать бабьи разговоры об изменах, раз и навсегда высушила слезы и не умела утешать, на чужие слезы только вздыхала с плохо скрытой укоризной. Умела она справлять любую мужскую работу — и сети вязала, и морды для заездков плела, беря в Ангаре рыбу круглый год, и пахала, и ставила в сенокосы зароды, и стайку могла для коровы срубить. Только что не охотилась, к охоте, даже самой мелкой, ее душа не лежала. Но ружье, оставшееся от отца, в доме было. Невесть с каких времен держался в Криволуцкой обычай устраивать на Ангаре гонки: на шитиках от Нижнего острова заталкивались наперегонки на шестах против течения три версты до Верхнего острова и дважды Агафья приходила первой. А ведь это не Волга, это Ангара: вода шла с гудом, взбивая нутряную волну, течение само себя перегоняло. На такой воде всех

мужиков обойти... если бы еще 250 лет простояла Криволуцкая, она бы это не забыла.

Но дни Криволуцкой были сочтены. Только-только после войны встали на ноги, только выправились с одежонкой и обужонкой, досыта принялись стряпать хлебы, а самое главное — только избавились от мошки и коровы вдвое-втрое прибавили молока, а люди стянули с голов сетки из конского волоса и с надеждой заоглядывались вокруг, что бы такое еще сыскать для справного житья, — вдруг перехват всего прежнего порядка по Ангаре, вдруг кочуй! И все деревеньки с правого и левого берегов, стоявшие общим сельсоветом, сваливали перед затоплением в одну кучу.

Агафья хворала, когда пришло время переезжать. Болезнь у нее была одна — надсада, от других она выкрепилась в кремень. В те же годы накануне затопления впервые за всю ангарскую историю стали проводиться медосмотры, на специальном пароходе с красным крестом сплавлялись от деревни к деревне в низовья врачи и каждого-то поселянина в обязательном порядке выстукивали и высматривали. Агафью и выявили как больную. И все лето, как муха о стекло, билась она о больничные стены в районе, запуганная докторами, которые продолжали настаивать на лечении, стращая последствиями, но не меньше того снедаемая бездельем. Криволуцкая ставилась на новом месте своей улицей, но вставали дома в другом порядке, и этот порядок все теснил и теснил ее запаздывающую избу неизвестно куда. Агафья еще больше похудела, на лице не осталось ничего, кроме пронзительных глаз, руки повисли как плети. Вот это была надсада так надсада! Иногда она вскидывалась, пробовала бунтовать, но ее уже знали, знали, что на нее можно прикрикнуть, и тогда она, лишенная здесь всякой опоры, унизительно распластанная на кровати, как на пыточном ложе, опять смирялась и умолкала.

Здесь, в больнице, приснился Агафье сон, поразивший ее на всю оставшуюся жизнь: будто хоронят ее в ее же избе, которую стоймя тянут к кладбищу на тракторных санях, и мужики роют под избу огромную ямину, ругаясь от затянувшейся работы, гора белой глины завалила все соседние могилы и с шуршанием; что-то выговаривающим, на что-то жалующимся, обваливается обратно. Наконец избу на тросах устанавливают в яму. Агафья все видит, во всем участвует, только не может вмешиваться, как и положено покойнице, в происходящее. Избу устанавливают, и тогда выясняется, что земли выбрано мало, что крыша от конька до половины ската будет торчать. Мужики в голос принимаются уверять, что это и хорошо, что будет торчать, что это выйдет памятником ее жизни, и Агафья будто соглашается с ними: труба и должна находиться под небом, по ней потянет дым. Там тоже согреться захочется.

На грубых тракторных санях, точно таких, какие снились, представлявших из себя настил на двух волочимых по земле бревнах, спереди затесанных, чтобы не зарывались в дорогу, и везла она разобранную избу на новопоселенье уже в конце августа, едва воротясь из больницы и еще не набегав залежавшиеся ноги. Но и когда было набегивать? На свою улицу она уже опоздала и за дурной знак приняла, что приходилось ей отпочковываться от криволуцких. День после сердитого холодного утренника был ярким и звонким, дорога шла меж лоскутных полей, засеянных ячменем и горохом, и развозюкана была такими же поездами широко и безжалостно — хоть пять саней выстраивай в ряд. Да и то сказать — в последний раз приносили урожай эти поля. Каждую выбоинку, каждый бугорок на них Агафья знала лучше, чем родинки и вмятинки на своем теле, — вручную пахала, вручную жала рожь и ячмень и крючила горох, вручную, обдирая

и обжигая руки, тянула осот. Нет, родное скудным не бывает. И вот последнее, все последнее, и стыдно смотреть на золотистые переливы ячменя с пузатыми тугими колосьями, точно от него, от хлебного дела убегала деревня, сманенная заработками на лесе.

Есть события, которые человек не в состоянии вместить в себя осознанно, в которые он вталкивается грубо, неудержимо, как всякое малое в большое. Тупо сидела Агафья в кабине старого громыхающего трактора без дверок, тупо, оглушенно, высовывая и задирая голову, оглядывалась на ползущий позади, стянутый тросами воз с тем, что было ее избой и что оказалось теперь таким жалким и дряхлым, что и поверить нельзя было, как из этой груды хлама можно опять поднять дом. Тракторист, рябой мужик из Ереминой, из деревни с левого берега напротив Криволуцкой, что-то время от времени кричал ей, спрашивая, — она не слышала и не хотела слышать, тоже разбитая, бесчувственная, сдавленная во все тело грубыми стяжками, и только вздыхала часто, дыша одними вздохами, и рукой показывала трактористу, чтобы он не торопился. С трудом вспомнила Агафья его имя — Савелий Ведерников, и то лишь после того, как представила его избу, стоявшую с ангарской стороны улицы, возле ручья под двумя громадными темными елями, вспомнила, что жена его, баба задумчивая, снулая, принялась рожать поздно, к сорока, и при третьих родах умерла.

Так давно это было, что и веры нет воспоминаниям. Все было давно вплоть до этого дня, взошедшего с какой-то иной стороны, чем всегда.

Перебрались через речку, подъезды и дно которой уже без Агафьи были вымощены гатью, высоко запрокинув перед саней, ставя их чуть не на дыбы, вползли на умятый яр. Агафья с зачастившим и пропадающим сердцем запросила остановку. Савелий,

не заглушая трактора, пошел в кусты, а Агафья взобралась на воз, пристально и бессмысленно глядя, как с плах и бревен стекает грязная вода, с той же бессмысленностью переводя взгляд на речку, которая никак не могла успокоиться и все гоняла и гоняла взбученную рваную волну поперек от берега к берегу.

Подошел Савелий, сладко зевнул, показывая, как у молодого, ровные крепкие зубы, завернув голову к солнцу, медленными движениями пополоскал в нем свои рябины, пятнавшие лицо. Занося одни ноги, не прихватывая руками, как при всходе на бугор, поднялся на сани и присел рядом с Агафьей. Был он старше Агафьи лет на пять, но был еще крепок, не истрепан жизнью. Про него нельзя было сказать, что он среднего роста, — рост в нем не замечался, а замечалась ладная, вытянутая точно по натягу фигура, ловкая и удобная. Ему, должно быть, близко было к шести десяткам, при шаге он заметно вдавливал ногу в землю, с головы не снимал брезентовой самошитой кепки пролетарского покроя, придающего вид мастера своего дела, вглядываясь, щурил глаза, имел привычку ладонями натирать лицо, взбадривая его, во всем же остальном, не показывая усталости, тикал да тикал как часы.

После удачной переправы и прогулки в кусты Савелий повеселел, его потянуло на разговор.

— Не попала, говоришь, на Криволуцкую улицу? — в который раз за дорогу спрашивал он, закуривая и заглядывая куда-то за Ангару.

— Не попала.

— По больницам отлеживалась? Че лечила-то?

— Не приведи больше Господь такой отлежки! — пусто, не впервые за последние дни одними и теми же словами отвечала Агафья, тоже глядя на Ангару; всю жизнь так бывало: поглядишь на нее, и силушки, терпения прибудет. — Не приведи Господь! Пошла туда с одной хворобой, там належала все десять. Нет, не по

нам, парень, леченье. Кому, может, и леченье, а нам мученье. Мы люди нелечимые. Как кони.

— А че ж кони!.. Коней тоже лечат. Ветеринары-то на что?

— Много они калечили, твои ветеринары? — без охоты, думая о другом, о том, как изловчиться убежать на ночь обратно в Криволуцкую, в свою амбарушку, чтобы пускай в разоре, но в своем разоре, среди остатков родного духа хватить сна. — Ветеринары твои только и приучены, что поросят легчить да браковку делать. Ой, а надо мной-то чего вытворяли! — вдруг спохватилась и заговорила живей, отчаянней: — Че вытворяли! Я тебе расскажу. Вот несут вот этакую кишку, из резины, потертую, я уж потом догадалась, что жеванную... Несут — глотай! — на чужой голос требовательно вскричала она. — У меня глаза на лоб. Глотай! — кому говорят! А как ее глотать?! Как, грят! Видала, как воробей червяка глотает? Маленький воробей большого червяка — р-раз! — и нету! И ты так. Воробей червяка может, и ты моги. Глотай! Да я-то не воробей. Я давлюсь, из меня свои кишки вон лезут.

— Для чего глотай-то?

— Сок из нутра качают. Там сок есть.

Савелий кивнул:

— Желудочный сок.

— Кишочный. Глотай! — приступают. Делай глотанья. Без твово соку мы ниче опознать не можем. Они мне силой туды, я выдерьгиваю обратно. Они — туды, я — обратно. Все горло изодрали. Я после неделю ниче, окромя маненькой кашки, пропустить не могла.

— Проглотила кишку-то?

— С третьего разу затолкали. Как вомзили. Не шевельнуться. Я вся омлела, сидю, и уж дыху не стает. Экая, думаю, смертушка мне выпала несуразная. Через каку-то пору выдерьнули, а он, кол-то, все стоит. Подымайся, грят, и иди, а я сдвинуться не могу. Охнуть

не могу. Нет, парень, лутше рожать, чем глотать. — От мысли, что то и другое осталось теперь навсегда позади, она протяжно вздохнула, припомнив, что никакая боль, никакая беда не бывает последней, а только следующей да следующей. Припомнила и стала спускать ноги с воза, пора было ехать.

Но Савелий не торопился. Агафьин рассказ остался незаконченным.

— Сок-то дала, че он показал? — спросил он, чудя, пристально, на вытянутой руке рассматривая, прищурив один глаз, окурок.

Посмеиваясь над своей простотой, Агафья сказала:

— А только меня и спрашивать, че он показал. Показал: че-то есть, че-то нету. Как ребятенка похвалили: ты, грят, баба сокастая. А боле ниче не знаю. Ты почто все время щуренишься-то? — спросила она, тоже невольно приспуская веки. — В глаз че попало?

— Попало. То-то и оно, что попало. Мушки маленькие в его залетели и никак не вылетят. — От улыбки, от приятного оживления рябинки на его круглом, подсушенном желтоватом лице тоже задвигались-заходили, сплясали плутоватый танец и затихли опять в ожидании. Было в этом местном мужике, никогда не видавшем иной жизни, кроме войны, что-то неместное, податливое, мягкое. Агафья его знала плохо, знала больше по собраниям, на которые съезжался весь колхозный народ раз в году, помнила, что бригадир он в Ереминой, но земли на левом берегу были еще беднее, чем на правом, и теребился он на собраниях со взыском, критику принимал спокойно и даже как-то благодушно. Ни разу Агафья и не разговаривалась с ним больше нескольких слов, а, приглядевшись теперь, разговорившись, она бы, пожалуй, и удивилась ему сильнее, если бы не это

общее светопреставление на Ангаре, на которое не хватало никакого удивления.

Но она догадалась:

— Боишься, что снимут тебя с машины с глазами-то?

— Могут. Леспромхоз усядется, комиссовку будут проводить.

Вблизи поселка, еще не поднятого в рост, неохватно, торопливо наваленного, пугающего своей бесформенностью, прокричал Савелий, перекрывая гуд мотора:

— Давай я тебя на ереминскую улицу завезу? А?

— Где я там буду?

— Рядом со мной. Я потеснюся, места хватит.

— Нет уж, парень, я свое буду обживать. Какое-никакое, а свое будет.

Агафьину улицу, на которой собирались такие же, как она, отделенцы, не попавшие в свою деревню или приткнувшиеся совсем со стороны, быстро назвали Сбродной. Сбродная так Сбродная, в горячке врастания в новую жизнь никого это не задевало. Скатывалась Сбродная под горку по правому боку поселка, если смотреть от Ангары, через четыре поперечные, широко распахнутые улицы-деревни — и в первую же весну шальная талая вода пробила по ней канаву. Сколько потом ни засыпали ее, сколько ни трамбовали, другого хода вода знать не хотела и каждую весну, каждое ненастье с грохотом выпетливала от забора к забору, но как-то не зло, не обрушивая городьбу и постройки. Поэтому оказалось у Сбродной еще одно название — Канава, которое со временем, когда стало забываться, кто откуда наехал в поселок, сделалось единственным. Так и говорили: живу на Канаве. Машинный проезд по ней из конца в конец был невозможен, получился пеший проулок. Избы встали по углам, выходящим на большие улицы, а от угла до угла тянулись стайки да огороды.

Агафье повезло с огородом, ее огород попал на край колхозного поля и ни вырубок, ни корчевки не потребовал. Корчевки ей бы не одолеть. А ограда вся оказалась в пнях, она выдрала их только лет через пять, оставив один — матерый, от ели, по колена высотой, огромный, как столешница, вырисованный, как цветок, лепестковыми овалами, отростками от уходящих в землю могучих лап, взбугривающих пол-ограды. До самой смерти, глядя на этот пень, присаживаясь на него и отирая тряпочкой от грязи и пыли, жалела Агафья, что нет у нее внуков мал-мала меньше, которые с восторгом, криками и ссорами, отталкивая друг друга, громоздились бы на пень и в конце концов умещались бы на нем все, сколько бы их ни было.

Привезли они избу, и та еще две недели непочатым возом лежала на волокушах. Походила Агафья, посмотрела, надрывая сердце, — везде стучат, у всех нескончаемая страда: кто поставил избу, надо ставить жило для скота, хлопотать баньку, огораживаться, класть в избе печь, раздирать огород, пятое, десятое, двадцать пятое. Все заново, все единым навалом, никаких рук не хватает, чтобы успеть. Деревней переезжать — все равно что без огня погореть, а уж когда вся волость, вся долина на полтысячи верст попятилась с насиженных мест в тайгу, бросая могилы и старину, — такое переселение и сравнивать не с чем. Подъем воды обещали через год, но ведь зима на год не отставится, она на носу.

Не раз припомнила Агафья, как говорилось про одиночек: захлебнись ты своим горем. Из глубокой старины пришли они, эти слова, а все никак в прошлое не отойдут. Все к каждой вдовушке подсватываются.

А ведь, проживши на свете пятьдесят лет, она захватила еще старину. Краешком, но захватила. Электричества в Криволуцкой не было, жили с керосиновыми лампами, десятилинейная лампа

считалась богатством. Но и керосинки завелись уже при ней, она хорошо помнит, как в детстве жгли лучину и полуночничали возле камелька, как трещало, брызгая искрами, смолье и по лицам, собиравшимся возле огня, играли колдовские всполохи. Ну как тут было на вечерках не подать начин песни, как было не подхватить ее, печальную и сладкую для сердца, и не растаять в ней до восторженного полуобморока, не губами, не горлом выводя слова, да и не выводя их вовсе ничем, а вызваниваясь, вытапливаясь ими от чувственной переполненности. Ничто тогда, ни приемник, ни телевизор, этого чувства не перебивало, не убивало родную песню чужеголосьем, не издевалось над душой, и души, сходясь, начинали спевку раньше голосов. Считается, что душа наша, издерганная, надорванная бесконечными несчастьями и неурядицами, израненная и кровоточащая, любит и в песне тешится надрывом. Плохо мы слушаем свою душу, ее лад печален оттого лишь, что нет ничего целебнее печали, нет ничего слаще ее и сильнее, она вместе с терпением вскормила в нас необыкновенную выносливость. Да и печаль-то какая! — неохватно-спокойная, проникновенная, нежная.

В одной избе песня, а в другой, где собиралась ребятня, сказка да «ужасти», которые напрашивались сами собой под деревенскую ворожбу каминного огня. Чего только не придумывалось, чего не рассказывалось то затаенными, то гробовыми голосами, до чего только не доходило разыгравшееся воображение! Не будь этого живого сопровождения огня, то завывающего, то стонущего, то ухающего, да разве мог быть у историй, рассказываемых не Петькой или Васькой, а их оборотнями, и непременно выдаваемых за «правдашние», такой жуткий накал, такая непереносимая страсть! «Вот воротился без памяти дядя Егор и лег… не верите мне, спросите у дяди

Егора... вот лег он вдругорядь и вдругорядь стук в окошко. «Выходи, дядя Егор!» — нечеловечьим голосом вызывают его. Он бы и рад не выдти, да как не выдешь! — в избе достанут, ребятишек до родимчика напужают. Перекрестил он детишек, а себя перекрестить забыл. Выходит. Выходит ни живой ни мертвый. Темень — глаз выколи! Чует: кто-то дышит над ухом. Вдруг ка-а-ак!..» — И тут из камина раздавался выстрел, пулей взлетал огнистый уголек и вырывался испуганный вскрик. И не раз вот так же от треска, от шорохов, от тяжких вздохов, от мертвенно искаженных заревом лиц сердце обрывалось в пропасть, но и оттуда просило: еще, еще! — чтоб уж ахнуть, так от макушки до пяток!

Агафья помнила лучину, а отец рассказывал, что помнит не только бычьи пузыри на окнах вместо стекол, но и то, как печную трубу затыкали сверху, с крыши, и добавлял при этом с тяжелым недоумением: «Чего уж не могли догадаться изнутри заслонки делать, тут никакой особой хитрости не требуется».

Зато потом закипела такая смекалистая жизнь, что только успевай поворачивайся. И казалось Агафье, когда она раздумывала об этой жизни, что не похоже, чтобы ее и сто лет спустя можно было назвать стариной, что все больше выкореняется она, выходит на поверхность и не вниз ляжет, как века до нее, плотным удобренным пластом, а выдуется в воздух.

* * *

Надо было с чего-то начинать, чтобы не изнурить себя бездельем, — принялась Агафья таскать мох. Все равно пригодится, без мха, без конопати и стайка не ставится. Но вблизи уже подчистую выдрали его по речкам да по ельникам, на полтораста с лишним построек надо было его где-то набраться, и ходить пришлось далеко, с двумя туго набитыми мешками,

один на плече, другой в обнимку сбоку, скатывающимися и сползающими, она ухайдакивалась не меньше, чем если бы встала за бревешки. Но прежде чем встать за бревешки, надо было положить вниз под венцы лиственничный оклад. Листвяки из лесу на плечах не доставишь. Делать нечего — пошла она опять к Савелию. Пошла уже в сумерках и не застала дома. Обошла кругом его избу и не узнала ее. Изба Савелия, сдернутая со своего родного места, от речки с ее неумолчным серебристым говорком, из-под двух громадных елей, сказочно стоявших сторожами по углам, с поляны, которая заботливо уводила ее в свою глубину с проезжей дороги и выставляла картинкой — здесь, в общем ряду на солнцепеке теремок Савелия превратился сразу в почерневшую обдергайку с подслеповатыми окнами, откнувшуюся, где ей было велено. «А ведь он хозяин, у него руки золотые, — с тоской думала Агафья. — Что же у меняло будет?».

Не застала она Савелия и рано утром; потом выяснилось, что он плавал в Еремину и тоже маял там душу, уже чужим человеком глядя на уютный и величавый убор, среди которого жил, — и на осиротевшие сразу ели, и на скорбную, потерявшую вид, полянку. Даже речка лопотала теперь по-другому. Заночевал он в брошенном сеннике, от тоски видел во сне скончавшуюся давно жену, которая не захотела с ним разговаривать и все отводила глаза. Агафья подкараулила, когда затарахтел, сбиваясь на отрывистый больной кашель, трактор Савелия, вышла навстречу и остановила.

— Ну так че, — согласился Савелий, задумчиво выслушав Агафью. — Привезем. И валить не надо, я знаю, где мужики с эстакады берут. Оклад, ясно дело, нужно листвяковый. — И, прищурив по обыкновению левый глаз, вглядываясь в нее, помолчал и добавил с

чуть заметным нажимом: — Съездим. Может, завтра и съездим. Приди вечером, я тебе верней скажу.

«Простота, — посмеивалась она потом над собой. — Он по-особому это сказал, можно бы и догадаться. Ой, простота с пустого куста».

Вечером Агафья, отворив калитку, которая на скорую руку запиралась бесхитростной вьюшкой, наткнулась на Савелия во дворе. Маленьким топориком с крашеным желтым топорищем он вел по доске такую ровную стружку, что не надо и рубанка. И, оставляя дело, не воткнул топорик в чурку, а ласково положил поверх доски.

Все у него было уже на месте — высокое крылечко, и сени, заваленные всяким шурум-бурумом, среди которого Агафья рассмотрела конский хомут и детскую зыбку. То и другое едва ли могло пригодиться, но ведь жалко, жалко бросать! — И Агафья как укололась о хомут и зыбку, вспомнив, что хотела она оставить в Криволуцкой кросна. Им тоже, скорей всего, не бывать в деле — кто теперь садится за тканье! — да ведь не все же для рук, надо что-то и для сердца. Изба у Савелия изнутри смотрелась просторней, чем показывала с улицы, но и была она нараспах — ни заборки, ни печи. По полу чернели полосы от заборки, в левом дальнем углу, где стояла русская печь, сияли гладкой упругой белизной свежие половицы. Значит, и Савелий, как все почти в поселке, отказался от глинобитной печи, будет класть из кирпича. Железная кровать с панцирной сеткой, застланная лоскутным одеялом, стол, накрытый стершейся клеенкой, три табуретки — вот и вся обстановка. Возле стен навалом тоже шурум-бурум из лопоти, посуды, утвари, из того неисчислимого подручья, что запрягается и объезжается в дому постоянно.

— Вот, — растерянно и мрачно сказал Савелий, пряча глаза, — такая моя хоромина. Сверху, видишь, не

капает, тепло будет. — Он вдруг удивленно хмыкнул, точно ему удалось увидеть себя со стороны, в одно мгновенье переломил себя, скрываясь за шутовской тон, весело предложил: — Перебирайся-ка ты сюда, дева. Чего мы будем вторую избу ставить!.. Перезимуешь… не поглянется — весной поставим.

— Ты, никак, меня сватать задумал? — от неожиданности растягивая слова, спросила она.

— Задумал. Сватаю уж…

— Ой, да ты куда это заехал? Из меня какая баба! Ты че это? Ни сварить, ни обшить. Я все на бегу. Я вся на бегу, — поправилась она. — Ниче не умею. Ты че-то во мне не то увидал. Я выхолостилась уж не знай когда.

Это была не игра, не ломанье бабы, любящей узор и силу напора, сомневаться в этом было нельзя, и Савелию ничего не оставалось, как отступить. А ведь и не обидела даже баба. Он без натуги рассмеялся, прекращая «сватовство»:

— Глаза плохо видят, вот и не увидал.

На другой день, когда поехали за листвяками, Агафья расспросила подробно, с чем остался он, вступая в новую жизнь. Но говорили они не в продолжение вчерашнего разговора, о котором молчаливым согласием постановлено было раз навсегда забыть, а совсем отдельно от него, совсем самостоятельно. Попытку Савелия сойтись постановлено было забыть, и все же, странное дело, после нее, ни к чему не приведшей, ничего не оставившей, кроме неловкости, стали они ближе, каким-то утешением, невесть откуда взявшимся, связались теснее, и все, что узнавала Агафья о Савелии, расспрашивая его, укладывала она в свою душу поближе. Старшая его дочь по накатанной всеми деревенскими девчонками дорожке уже укатила в город, поступила в поварскую школу, младшая, четырнадцати лет, которой оставалось доучиваться в

восьмиклассной школе год, вострила глаза туда же, а пока в учебные месяцы жила у тетки в райцентре. Старшая в мать, быстрая, легкая, смелая, а младшая тоже в конопушках, задумчивая, приземистая. И любит отца, и обижается на него за рябь на лице. Почти десять годочков помогала Савелию поднимать девчонок вместо матери взятая им за себя из райцентра, как он называл ее, «моя молодайка». Тогда, после войны, это было нетрудно — привести в детную семью молодую вдовицу с мальчишкой. Агафья видела ее, помнила: высокая, волоокая, красивая, глаза поднимала лениво, смотрела в упор. И себя, и ребятишек, и избу содержала в чистоте, в деревенскую маяту впряглась без понукания, но к затянутой дремучими лесами Ереминой так и не привыкла. Еремина и из Криволуцкой смотрелась глухим углом, жизнь поживее шла правым берегом. Звали «молодайку» Пана. Умела она держать на расстоянии деревенских баб, за это они недолюбливали ее, но за ласковое обращение с девчонками прощали ей все, а за то, что водила она девчонок на могилу матери, еще и не удерживались от чувствительной слезы. Так и жила — не своя и не чужачка; должно быть, так же, как деревенских, держала она на расстоянии и Савелия. Как в отпуск, уезжала на неделю, на две на аборты в райцентр, возвращалась осунувшаяся, неразговорчивая, отмякала не сразу. Баба в ней тянулась к Савелию, к его спокойному и красивому нраву, к сильным и умелым рукам, а неуступчивая, тоскующая по чему-то другому душа тянула к разрыву. Как раз начался переполох с переселением, сковыриваемый народ заметался, еще за год до того уехал в город в ремесленное сын Паны, потом поехала старшая Савельева дочь — и однажды утром в начале лета встала перед Савелием с окончательным решением и его «молодайка». Он ждал этого, чуял и удерживать не стал. «За десять лет возле

девчонок я поклонился ей в ноги», — сказал он, и Агафья знала, что это не пустые слова, что так он и сделал; нет, было, было в нем что-то дальнее.

Теперь вот перебрался на людное место, а один. Жить ожиданием дочерей, которые изредка станут приезжать гостьями на показ родителю? Но еще будут ли приезжать? Едут к матери, там неодолимая тяга плода, помнящего вынашивающую, утробную колыбель, к отцу такой тяги не бывает. А одиночество мужик выдерживает недолго.

Доставили листвяки, намаявшись с ними меньше, чем боялась Агафья, и в тот же вечер, не обрывая везенья, оконтурили гнездо для избы. Можно сказать, что зачали ее, голубушку, оставалось выносить да родить. Развернули хорошо: два окна будут смотреть на восход солнца и два — на дневной его ход. Впервые за последние месяцы, с той поры как угодила она в больницу, сердце ночевало у Агафьи на месте. И утром вскочила она весело, жадно, в нетерпении побежала к Савелию, чтобы раньше леспромхоза снять его на свою работу, застала его прежде чая, который только гоношил он на железной печурке во дворе, потом присела вместе с ним за стол и, подливая в кружки себе и Савелию, погружаясь в тепло от чая и от близости к нему, стала рассказывать:

— Я три дни назад на корову свою ходила поглядеть. Корову я ишо летом в общее стадо сдала… не насовсем, до подыма рук. Дом и корову в один обхват мне бы нонче не осилить. Я свою силу знаю. Ну и отвела, леспромхоз такое предложение сделал: кто на себя не надеется, ведите к нам, мы будем содержать ваших коров до новой травки, до тепла, а молоко в столовую, в детский сад. Для меня это большое пособие вышло. Семь коров отвели, они на дальней елани стоят, гумно там под коровник приспособили.

Я пошла, перед коровой уж стыдно, что избавилась и глаз не кажу. Приходю, у прясла стала. «Марта, Марта!» — зову, она у меня мартовская. Марта моя услыхала меня, я вижу, что голос узнала. А стоит, не идет. Голову к земле пригнула, набычилась, в характер уперлась и никак, осердилась на меня, что я с хозяйства ее сняла. «Марта, Марта!» — Я к ней с лаской, а она отвернулась и пошла от меня в дальний угол. Вот какая честная корова! Нет, перезимую, даст Бог, и надо за стайку браться. Ой, да когда бы не эта беда, не больница, разве бы я счас такая была? У меня бы разве две руки было?!

В тот день уложили они оклад. На разделке провозились с лиственницами долго, пришлось подворачивать на подмогу проходившего мимо парня с полным ртом металлических зубов, прогуливавшегося по поселку в майке и высоких резиновых сапогах... Подворачивали на пять минут, только чтобы пособил надвинуть влипший в глинистую землю комель на слегу, а парень разохотился и остался часа на три. Когда лег оклад, как тут и был, и Савелий, отпыхиваясь, опустился на еловый пень и потянулся за папиросами, а парень, как показалось Агафье, в ожидании ходил вокруг сделанной работы и, постукивая по лиственницам топором, слушал с восхищением тугой звон, сказала Агафья виновато:

— А мне вас и угостить нечем.

— Нечем — обратно вытащим! — развеселился парень. — Обратно в лес увезем. Заводи, друг Савелий.

После этого Савелий пропал. Агафья не искала его, но ждала, распрямляясь на каждый стукоток мотора. Нету — значит, нету в поселке, значит, турнули куда-то вместе с трактором. Леспромхоз о садившихся на его землю бывших колхозниках не особенно горевал, они — как мухи: если и пристынут от морозов, так оттают, но у леспромхоза уходило время, чтобы поставить гараж,

мастерские, пекарню, подвести электричество, пригнать, пока есть дороги, технику, а работнички расползлись все по собственным стройкам, и выковыривать их приходилось чаще всего облавой: кого поймали, того и запрягли.

И принялась Агафья ворочать бревнышки в одиночку. Попробовала — ничего: тянем-потянем — вытянем. Она была уже не та, что воротилась из больницы: не дрожали мелконькой нутряной дрожью от натуги руки, пугающая эта дрожь не перебрасывалась на лицо, набралась терпения поясница. Эх, на десять бы лет пораньше, она бы эту избеночку в леготочку скатала, они, бревешки-то, высохшие в стенах лет за пятьдесят от солнца и русской печины, не упрямые. Но не упрямые для матерого мужика, а для бабы? «Какая я баба? — одергивала она себя. — Одна затея бабья».

Еще поперед главного дела сколотила она каморку от дождя и зноя, пустила на нее старую драньевую крышу от избы. Савелий же подсказал, что крыша эта свое отслужила, в леспромхозе можно выписать тес, лесопилка пилит денно и нощно. Потом, позже, поставит Агафья в каморку железную печурку, чтобы погреться и сварить. Но ночевать она по-прежнему убегала в Криволуцкую... ой, да не на ногах убегала, а лётом улетала. До упади изматывалась, но только нацелит ногу на Криволуцкую дорогу — и себя не помнит, как добежит. Возле русской печи, брошенной под небом, и разберется, и успокоится, как на родной могилке. Все свои страхи убаюкает сном, вскочит, придет в память, а они, страхи-то, снова ворохом наседают, и надо торопиться, чтобы укладывать их в стены. Зато как хорошо потом, насадив на свое законное место венец, сесть без сил подле, прислонясь спиной к бревешкам, вытянув ноги в кирзовых сапогах, и чувствовать, как тукает-тукает в спину легкими толчками: оживали бревешки, врастая в одну плоть,

начинали дышать. «От своих-то рук теплее будет», — и не различить уже было, от нее шли эти слова или они шли к ней.

Вот уже и поката задрала она вверх и взялась за веревки: подтянет бревно с одного конца, закрепит и тянет за другой, помучится, насаживая выемкой на нижний слой, чтобы не сбить мох, покорячится, чтобы плотно легло оно в углах в замок, но уложит и порадуется... Вот уже пошли на две стороны оконные проемы и способней стало наваливать из-под рук — от живота рывком вверх — и там! Вот уже и дверной проем, обороченный к Ангаре, поднялся Агафье в рост, и вот уже принялась она разбирать на две укладки, где потолочные плахи и где половые... Все на виду — ни огорожи, ни куста; торопится мимо мужик, наткнется глазами на бабу, муравьем тянущую на загорбке «щепку» втрое больше себя, выругается невесть на кого, но подворачивает и на час, на другой застрянет. А застряв раз, идет в другой раз проверить, как там ладится у отчаянной бабы, не завалилась ли она с надрыву, и опять застрянет... Ищет на закате солнца холостежь место для сборища и приостановится в нерешительности, кто-нибудь побойчее крикнет:

— Что, тетка, пропустишь мимо своей стройки али нет? Какое будет твое указание?

Агафья оботрет пот со лба, ей и этот окрик в помощь:

— Седни-то уж, так и быть. Проходите, щ-щупайте своих девок... А завтра этак же гаркни меня, я вам здесь работу найду.

— Ты шибко-то не ищи. Мы малолетки.

— А малолетков дома на привязи держат. Поворачивай домой.

И уж потом дня не проходило, чтобы кто-нибудь не заглянул. Один плечо подставит, другой даст совет, третий пройдется брусочком по топору и натешет

клиньев и штырей, четвертый на ходу крикнет, чтоб звала ставить стропила, когда дойдет до них очередь, пятый везет мимо свежий лес и сбросит с машины с откинутым задним бортом несколько сутунков: «Это тебе на стояки под печку — будешь класть печку-то?», а Агафье до печки, до подполья и до стояков — еще как до второй жизни.

Но уже поверила она, что будет зимовать в своей избе. Упаси Бог вслух сказать об этом, она боялась даже ближние планы городить, все убывающее беспрестанно пространство до белых мух окидывая торопливо и суеверно — не сбилось бы что-нибудь в его ходе, не скомкалось бы… Зарядят, к примеру, проливные дожди — и нет недели, а то и двух. Всего боялась, а между тем сердце стучало все ровней и уверенней, все снисходительней к этим страхам, принимая их за выставляемую наперед по привычке защиту: где подстелена соломка, туда лихо не упадет. Погода стояла как на заказ, после колючих утренников разливалось во всю поднебесную тучное, ленивое тепло, с избытком оставшееся от лета, после обеда с низовий Ангары добродушно погромыхивал гром, но отводил дожди в сторону и стояло сухо, томительно-хорошо. Гром наладился греметь, точно бой небесных часов, не могущих замедлить свой ход и поторапливающих, поторапливающих… С Ангары ему откликались и вторили протяжными тоскливыми гудками суда, уходящие на зимний отстой.

У Агафьи перепутались дни, принялись, оттесняя ночи, наползать один на другой, и она не могла припомнить, спала ли, и где спала, и какая работа была вчерашней, какая сегодняшней. Все реже бегала она на ночевку в Криволуцкую, дотягивая до последней минуты, когда уже и бежать было незачем, и все чаще в темноте подогревала чай в старой закопченной манерке, прихлебывала его без вкуса, заливая

саднящий, долго не остывающий огонь внутри, ненадолго задумывалась, а уж в щелястую дверь каморки опять пробивался свет. Она перестала чувствовать свое тело, оно затвердело в грубое и комковатое орудие для работы; нельзя было поверить, что еще полтора-два месяца назад она лечила это тело от какой-то надсады. Кроме своей избы, она больше ничего не видела, оглядываясь на поселок, где по-прежнему царил беспорядок, но подросший, тянущийся вверх, выкидывающий, как на грядках, одинаковые заостренные головки крыш; прислушиваясь к дробному, неумолчному стукотку топоров, визгу пил, она забывалась до того, что во всем ей мерещилась своя изба, двоящаяся, троящаяся, сотящаяся под слепящим солнцем в усталых глазах, и везде слышался разносимый эхом свой стукоток. Никогда, ни в какую жару не потевшая, носившая свое сухое тело легко и быстро, она стала потеть, высохла еще больше и выострилась грудью вперед. Сама себе говорила голосом Савелия: «А ведь ты, девка, лопнешь, ежели не дашь себе продыху. Вот так пополам и лопнешь». И сама же себе отвечала: «Но-о, лопну! Я посередь воза никогда не лопну. Не имею такого права».

И вдруг, ночуя в Криволуцкой, не смогла утром подняться. Нигде не болело, внутри была одна пустота, не держали ноги, нечувствительными плетями повисли руки. Агафья лежала на деревянной кровати, грубо сколоченной еще ее Чапаем, которую она держала как память о нем, лежала, только и сумев толкнуть в улицу низкую амбарную дверку, и слышала, прислушиваясь к себе, как в пустоте ее тела от дыхания ходит ветер. «Вся, че ли, вышла?» — с ясностью думала она, совсем просто и коротко, без досады и страха. В амбаре было прохладно, стены завешены одежонкой, углы завалены всяким скарбом, от чугунов и кринок до деревянной лопаты для хлебов, от керосинового фонаря до

резиновых сапог — все это ждало переезда, все прежде поторапливало хозяйку, а теперь скорбно притихло. Отдаленно и кисло тянуло запахом от мышей — еще с той поры, как в амбаре были сусеки с мукой. Солнечный свет не заходил за порожек. Там, за порожком, стояла нежилая, погасшая тишина, быстро дичающая, горчащая от брошенных печей, потом опять несердито зарокотал гром, научившийся не взбивать грозу, а ограждать от нее, на этот раз словно окликающий Агафью, — и она в ответ послала ему слабый и виноватый вздох. Закрыло солнце, дунуло коротким ветерком, зашумело сносимой листвой, и опять все стихло. Солнце не показывалось долго. Воздух в проеме стеклянно посинел, лес за ним стоял вогнутой искривленной стеной. И в дреме поплыла, поплыла от всего этого Агафья на другой берег, наклоняясь вперед и гребя руками, досадливо взмахивая, когда руки не доставали до воды.

Не поднялась она и на второй день, но полночи проспала в полном забытьи и проснулась со слабой завывающей болью в теле. Вспомнив, что за сутки маковой росинки не брала она в рот, Агафья заставила себя спустить на пол ноги, заставила подняться, со стоном, кряхтением и кашлем сделала два шага до фанерного ящика, где давно черствела буханка хлеба, уже казенного, из пекарни, отломила кусок, зачерпнула из ведра ангарской воды и выпила полон ковшик. Хлебушек она хотела пощипать на порожке, но ни кусок не лез в горло, ни высидеть пяти минут не могла. Пришлось снова лечь — так, с куском хлеба на груди на темной мужской рубахе, и заснула опять, с особой остротой чувствуя во сне, как сереет, становясь пористым, небо и подкрадывается дождь. Просыпалась, убеждаясь, что и верно набухает видимый край неба над горой, и опять, неудержимо утягивалась в сон, снова просыпалась, слушала с минуту жесткое

шуршание дождя о землю и крышу и еще стремительнее забывалась.

Изба к тому времени стояла у Агафьи под стропилами и был настлан потолок. Некстати свалилась она, некстати пошел и дождь, но когда ж в такую страду это вышло бы кстати? Дождь начался крупным и резким боем и точно взбил тепло от нагретой земли — через час не по-осеннему помякло, смиренно и скучно притихло и замаяло, занудило сверху липким сеевом. Промаяло сутки, затем подула холодная низовка, и дождь отступал уже злее, с белыми мухами. В Криволуцкую притарахтел на своем тракторе Савелий и застал Агафью сидящей на кровати. На полу валялись хлебные крошки, перевернутый ковш лежал на постели в ногах. Сидела Агафья склонившись вперед, опершись вытянутыми руками о колени, точно приготовившись к рывку. Обута в сапоги, на плечи накинута телогрейка. Лицо еще больше заострилось и в то же время разгладилось, доболела она до кости, на которой морщины не держатся. Савелий тотчас поставил диагноз:

— Надорвалась. Дурная ты баба!

— Споткнулася, — поправляя, сказала Агафья.

— Обо что споткнулася?

— А об эту кровать. Зачем было ложиться? Я до того сидючи спала. Р-раз! — и на ногах!

— Ты научись стоючи спать, — подхватил он. — Научись-ка! Как кобыла, которую не распрягают. Или того лутше — на ходу!

— Так а че... — неопределенно вздохнула Агафья, как будто и соглашаясь. — Я так-то не сонливая. Упаду да вскочу, упаду да вскочу. Я ни один сон, однако что, не досмотрела. А тут как в пропасть утянуло, как в болото.

— Встать-то сможешь?

— Вста-а-ну! Это мне нипочем. Седни же встану. А завтри на избу. Видал ты мою избу?

— Видал.

— Ну и че?

— Вся в хозяйку. Хвалится на всю округу, а ее, безголовую, бескрышую, во все дыры мочит. Ты, Агафья, баба храбрая. Но ты баба неумная, ты алчная до работы. Ты погляди: че ты за те дни сверх мочи из себя выгнала, за эти дни потеряла. Не выгадала, а прогадала. Избу свою ты, конечно, возвысила… А ведь все равно: там начать да кончить. Ты там здоровая нужна.

— Начать да кончить, это верно, — согласилась она, кивнув и надолго оставшись с мелко кивающей головой. — Это уж верней верного.

Утром она сумела подставить под себя ноги и в три приема одолела дорогу из Криволуцкой. После обеда Савелий привез на лесовозе тес, выгрузил его вместе с шофером лесовоза, напугав кинувшуюся помогать Агафью решительным окриком, но потребовалось обрезать доски, и уже она не менее решительно прикрикнула на Савелия, когда он попытался отнять у нее ножовку. Дул холодный порывистый ветер, в лицо бросало лиственничную хвою с недалеких лесов, и Агафья все вскидывала глаза, все вглядывалась с опаской, не снег ли опять. По небу быстро несло леденистые тучи, в поселке топились печи и с крыш сбивало в несколько дней полинявшие белесые дымы. Топилась железная печурка и в каморке у Агафьи. Савелий дважды в приказном порядке отправлял ее подогревать чай, шел вслед за нею, чтобы тут же не выскочила обратно, и мучился от безвкусной распаренной жидкости. Толку в чае Агафья не знала и подогревала его вместе с заваркой. Мучился и все больше убеждался, что, не умея угодить себе, не угодила бы она в хозяйках и ему и что была она умнее его, не согласившись на общую жизнь.

На другой день, а день уже тихо, задумчиво, но прохладно и тускло золотился под солнцем, закрыли они избу. Тес был сырой, Савелий вздыхал со стыдом, набивая тяжелые молочнистые доски, — но когда же их было сушить? — и набивал внакладку, ведя крышу сразу с двух боков. Агафья подавала тесины снизу, подпрыгивала, набрасывая их на потолок, и, когда Савелий спрашивал, не умаялась ли, радостно, возбужденно выкрикивала:

— С чего? С чего умаяться-то? Ты уж меня совсем-то за клячу не принимай.

Сырой тес, а лег доска к доске на два блестящих, играющих белизной и новизной ската, как засиял уже в сумерках, когда, пристукнув в последний раз по крыше топором, спустился Савелий вниз, — будто свет заструился над избой, и встала она в рост, сразу вдвигаясь в жилой порядок. Шел мимо Кеша Осоргин, как он сам называл себя, «бессрочный старик», по той причине, что не знал своего года рождения, был, как всегда к вечеру, пьяненький, переживая невиданную славу, неслыханный спрос на себя: никогда еще не случалось, чтобы всем сразу потребовались печи, но тут так и вышло, а Кеша был печником, притом печником хорошим. Шел он и, наткнувшись на новую крышу на старых стенах, пронзительным голоском, соответствующим маленькому сухому телу, заявил:

— Как седло на корове!

— Зато какое седло! — не растерялся Савелий. А Агафье, сконфуженно посмеиваясь, сказал: — Через год почернеет, новое на старом старится скоро. Зато счас... сверху, с самолетов, будут глядеть: чья это такая бравая хоромина? Не иначе — большого начальника.

Агафья и ночью выходила постоять возле избы. Мелконько, притушенно мигали звезды, луна с поджатым боком устало продиралась сквозь дымную наволоку, в свинцовой неподвижности стыла Ангара,

разворачиваясь вправо, к Криволуцкой... В глубоком сне лежал поселок, лес по горе чернел остистым и вытертым воротниковым опухом... А над ее, Агафьиной избой висело тонкое, прозрачное зарево из солнечного и лунного света. «Ну и поживу ишо, — оброчно и радостно думала Агафья, соглашаясь с чем-то, пахнувшим на нее с такой легкостью, что не осталось и следа. — Ой, да че ж не пожить-то, ежели так!..» Она поискала в небе — Стожары стояли еще высоко и ночи впереди было много; знобко зевнула, прикрываясь ладонью, похлопывая ею по рту, и вернулась в каморку, легла. И как в детской колыбели, чего не бывало давным-давно, унесло ее, как на мягких руках укачало — вскочила уже при солнце, непритворно заахала, набрасываясь на себя с попреками, но чувствовала уже, что выспалась не своим изношенным сном, когда вся ночь в заплатах да дырах, а сном свежим, здоровым, и выспалась впрок.

И опять она заторопилась, заторопилась. Зима подгоняла — это само собой, но и помимо того подхватил ее опьяняющий порыв, сродни любовному, какой бывает у девчонки, когда только одного она и видит во всем свете, только к одному и влечется, а вся остальная жизнь — как кружная дорога, чтобы переполниться тоской. Только одно и знала Агафья — скорей, скорей к избе, только там она и успокаивалась. Просыпалась среди ночи, пронзенная нетерпеливым толчком, и не могла дождаться: «Где же это утро-то заблудилося?», отрывалась от работы, чтобы сбегать в магазин за хлебом, а там очередь, хлеб из пекарни обещают «вот-вот», но десяти-пятнадцати минут не в силах она была выдержать и бежала обратно: «Че ж я, без обеда, че ли, не перетерплю?» Не успевала закончить одно дело, а руки уже просили другое, и чувствовала она, как придвигается к ней новая мера работы.

Савелия снова угнали надолго на лесосеку, но Агафья совсем без страха, даже с тайной радостью осталась одна на стройке. Она натаскала на потолок землю, отрывая одновременно яму для подполья, одна поставила дверную и оконные коробки, настелила черный пол, а потом и верхний, чистый, изредка зазывая с улицы кого-нибудь из мужиков для короткой подмоги и совета. И успокоилась, стала лучше спать, заставляла себя отрываться на варево, чтобы не ссохся желудок. В ясные вечера полюбила, одевшись потеплее и устроившись на высокий еловый пень, показывать себя рядом с избой, заговаривать с прохожими, узнавать у незнакомых баб, кто откуда, полюбила, греясь под вниманием, чтобы окликали и ее, но, упаси Господь, чтобы засиживалась она дольше, чем вскипеть чайнику.

Настал день, когда и чайник закипел в избе, куда Агафья перенесла из каморки железную печурку. Но к той поре она и в улицу выглядывала из застекленных окон. К той поре впритык к стене под окнами у нее уже был сложен кирпич, за которым гоняться не пришлось: услыхал об отчаянной бабе, в одиночку собиравшей избу, директор леспромхоза и приказал доставить ей кирпич без очереди. Зато потом три дня ходила она за Кешей Осоргиным, зазывая его на кладку своей печи, терпела Кешино балагурство и пьяненькую похвальбу, уже на другой день обнаружила себя в подручных у него, замешивающей раствор и подающей кирпич, но при этом зорко высматривала, как ведет Кеша печные ходы, а, высмотрев, отстала и сложила печь сама.

Затопила она ее уже в ноябре. Уже остыло солнце, не грея, а гладя бледными лучами, уже налетали с низовий ветры в белых рядах и нещадно трепали оголенные леса, уже тускло опустилось небо, а по Ангаре несло шугу, когда пустила Агафья дым. Среди дня набрались сумерки, предвещая снег, из-за окон

доносилось, с какой порывистостью дышит вступающая в мир зима. И гудела печь, выбрасывая из дверцы трепещущие блики. Агафья придвинула табуретку, села подле дверцы, протягивая к ней руки, и, ощутив первое тепло, пробежавшее по рукам и лицу, сказала в окно:

— Ты не обробела, да ведь и я, матушка, успела. Так-то.

Ночью она лежала без сна, слушала, как кряхтят в углах набирающие тепло стены, как тяжко отдыхивается после топки печь, вспоминала детские страхи от рассказов о леших и домовых и хозяйской, ничего не упускающей мыслью решила: «Ниче, я сама буду домовым».

* * *

Прожила Агафья после этого без одного года двадцать лет. Безвылазная работа никого не щадит, и Агафья состарилась рано, но не так, как в себя впускают старость каплю за каплей, а точно переодевшись в нее однажды раз и навсегда и дотаскивая до последней мочи. И верно — ходила она постоянно в темном, обходясь двумя-тремя длинными юбками и двумя кофтами фабричной вязки под телогрейкой, тонкие кожаные чирки после переезда заменила на кирзовые сапоги, бессменные в сушь и грязь, с головы не снимала подвязываемого под подбородком то ситцевого платка по теплу, то шерстяного. Лицо у нее тоже потемнело и выткалось бисером частых и тонких морщинок, по которым, умей кто читать, прочитались бы однообразные подробности жизни. Руки в те короткие перерывы, когда они не были заняты делом, держала Агафья у живота, в укладку, давая им покой. До последних дней ходила быстро, прямя высокую сухую фигуру, с поднятой головой, и никогда не говорила «пойду», только «побегу». Не

жаловалась ни на глаза, ни на зубы, перед нею выставляли три мелкие иголки кряду, и она в мгновение нанизывала их на нитку. Сначала пугалась, а потом привыкла к приступам «лихоманки», которая налетала на нее раза два в году и подсекала безжалостно, так что Агафья не в состоянии была подняться ни к корове, ни к печи. В первые годы после переезда она пробовала работать в леспромхозе и пошла на лесосеку жечь сучья, пока не хватила ее однажды «лихоманка» в лесу. Позднее пожалели Агафью и снова взяли на лесосеку, на этот раз в кашевары, да, попробовав Агафьиных каш и раз, и другой и видя искреннее простодушие, с каким не понимала она, чего от нее хотят, нагрузили ей в откуп полрюкзака тушенки и уже навсегда проводили из леса. Пришлось садиться на колхозную пенсию в 24 рубля.

Она держала корову, каждую весну брала двух поросят и кормила их до поздней осени. Под стайки на другое лето после избы успела вывезти из Криволуцкой сначала свой амбар, а потом и чужой, совсем худенький, брошенный. Опять катала бревешки, опять тянула жилы, подтаскивая из леса то жерди, то слеги, вытягивая из грязи вокруг мастерских и гаража бесхозные доски. Разодрала огород и загородила его, в первые годы накапывала картошки по пятьдесят — шестьдесят кулей. Поставила ограду — тыновую, высокую, что тебе крепостная стена. Все из-под Агафьиных рук выходило не по линейке, вразнобой и вразнохлыст: столбы не держали строя, тын то приседал, то вытягивался — зато прочно: те же столбы уходили в землю на полтора метра, сени смотрелись жилым пристроем. Экономить силы она не умела, но каким-то загадочным круговоротом они возвращались к ней, и, не мешкая, она устремлялась на новую цель. Да ведь и обиходный круговорот со скотиной и огородом, с избой и тайгой шел беспрерывный. Один сенокос чего

стоил! Ни одной копенки ни разу она не прикупила, всегда обходилась своим и каждую осень два зародчика вставали за стайками в огороде, будто там и росли. А тайга! Агафья не охотница была до ягод, но за десять-пятнадцать верст, пока носили ноги, бежала колотить кедровую шишку, в три раза далее того по криволуцкой тропе шла брать чистую рыбу в Илиме, потому что в подпруженной Ангаре добрая рыба вывелась, рвала черемшу, ставила петли на ушканов, покуда не распугали их леспромхозовской войной против леса.

Агафья не была скупой, напротив, считалась простушей и могла не пожалеть последнего, но к деньгам у нее было старинное отношение, не дающее им воли. Ей удавалось продать понемножку то молоко, то мясо, реже картошку, но, с другой стороны, и хлеб надо было теперь покупать, а не из квашонки наставлять в русскую печь, и за простенькой мануфактурой отправляться в сельпо, а не шить из самотканой холстины, и сено из-за хребта, где сенокос, на лошадках теперь было не привезти, потому что вывели тех лошадок, и расчет пошел на бутылки. Не добыть комбикорма, не засветить электричество после шквального ветра, замкнувшего провода, не забить борова, не раскряжевать на дрова хлыст... Воду и ту, качая ее из скважины, стали привозить за деньги. Тут деваться некуда, тут хочешь не хочешь, а расплачивайся. Но с удивлением и стыдом смотрела Агафья на мужика, покупающего в магазине топорище, или на разъевшуюся, поперек толще, бабу, нанимающую работницу копать на трех сотках картошку. Не карман этого мужика и этой бабы она жалела, а сами деньги, попавшие в несерьезное место, где им не знают цены. Полоруких развелось — через одного, и, как всегда, когда полость обнаруживается в неположенном месте, в другом неположенном месте появляется у человека язвенный нарост, вроде

пьянства. Никаким новым обычаем было не сбить Агафью: деньги должны идти только на нужду, быть только пособием в недостатке, все, что сверх того, пользы не принесет.

Со своим хозяйством колхозных 24 рублей Агафье хватало вполне, из этого же прихода она умела выкроить избыток, который два раза в году отправляла по почте дочери в город. Дочь в ответ откликалась на Рождество открытками. Прочитать их было невозможно ни грамотному, ни безграмотному! Агафья узнавала руку, выводившую три или четыре короткие и размашистые волнистые линии, подолгу изучала цветную картинку на обороте, отдаваясь этому занятию с приливающей нежностью к чему-то неизведанному, прошедшему мимо ее жизни, с неясным вздохом укладывала открытку сверху в ту же пачку, что и все остальные, хранившуюся на посудной полке за горкой фарфоровых тарелок. Дочь не изъявляла желания приехать, а Агафья и не звала, не зная самого простого — как звать и зачем? В молодости она умела писать, научившись рядом с дочерью, когда та бегала в школу, потом забыла. Читала тоже с трудом и по печатному, печатными же заученными буквами крупно выводила половину своей фамилии, когда требовалось расписаться за пенсию.

У Савелия, пока он оставался в поселке, бывала часто. Угощаться не любила, она и везде-то, в любом доме чувствовала себя за столом стеснительно, а усаживалась у Савелия подле дверей на лавочке, ревниво убеждалась, что обихожена изба мужиком лучше, чем ею, бабой, и начинала разговор с одного и того же:

— Ну, так че решил?

Савелий долго жил в раздумье, переезжать или не переезжать в райцентр. После перетряски ангарского народа там, в райцентре, оказались у него два

двоюродных брата из ереминского рода, там жила свояченица, младшая сестра умершей жены, не переставшая считать его за близкую родню, звавшая особенно настойчиво, оттуда было ближе до дочерей, там подворачивалась подходящая избенка для купли, вполне по карману, если здесь продаст он свою в леспромхоз. Со всех сторон выходило, что прямой резон ему, одинокому и стареющему, перебираться. Но он медлил. Медлил еще два года и после того, как ушел на пенсию. Присмотренную им избенку продавали, находилась другая — продавали и ее, и он, ругая себя, но и успокаиваясь, снова и снова застревал. Сойдя с трактора, взялся Савелий столярничать, попробовал себя в тонкой работе, которая ведома краснодеревщикам, и смастерил себе буфет на загляденье, не надо и фабричного: точно пойманный по размеру и рисунку, аккуратный, ладный, светящийся отшлифованной белой доской, игриво пестрящий, под хозяина, конопушками сучков, сверху с остекленными узкими дверцами, снизу с дверцами глухими, но изукрашенными по краям лепной змейкой. Смастерил и поставил его в чистой комнате в красном углу. Агафья, увидев красавец-буфет в первый раз, так и ахнула:

— Нет, парень, тебе в рай-ён надо, в рай-ён. — «Рай-ён» выговаривался у нее с таким почтением, точно указывалось прямо на райское обитание. — Об таких руках тебе тут делать нечего… — и несколько раз за вечер подходила погладить буфет, понежить руку.

Агафье Савелий заменил на новые все табуретки и лавки, вся изба пропахла сладким смоляным духом. Потом, не спрашивая, привез курятник. Агафья к той поре решила не знаться больше с курицами — возни и без них доставало. Но привез Савелий курятник — с широкой столешницей, на которой удобно вести стряпню, с узорной, радующей глаз решеткой, с длинным и узким корытцем, долбленным из березы,

придерживаемым березовыми же красиво раскоряченными лапками, с двумя круглыми седалами внутри, одно выше, другое ниже, — ну и что? — ну и запросил у клохчущей от растерянности бабы курятник куриц, ну и завозились они опять, как при старом житье, ну и не вышло куриного облегчения.

Уезжал Савелий поздней осенью, когда сбило лист, индевели по утрам совсем по-зимнему заморозки и до колючей пустоты высветился воздух. Только что пробили наконец дорогу по горе вместо старой, затопленной, а до того шесть лет водой и тайгой были отрезаны от мира. Савелий взял в леспромхозе бортовую машину, еще с вечера загрузил ее, оставив на ночь в своем дворе, и уже в темноте постучал Агафье, чтобы она зашла попрощаться.

А она и не знала, что он наизготовке, что осталась последняя ночь.

Ярко светила голая лампочка под потолком, освещая пустые углы, об нее с бешенством бились злые последние мухи. Изба была хорошо вытоплена и чисто прибрана в своей пустынности. Чай пили за кухонным столиком, вынесенным в прихожую, этому столику отказано было в переезде. На плите тягучею мирною песней посапывал чайник ветеранского, закопченного вида, тоже никуда не собиравшийся. К печке после приборки прислонены веник и совок, рядом горка дров, на полке справа от печи несколько туесов с каким-то припасом. Как в таежном зимовье перед уходом, чтобы следующий путник мог почувствовать гостеприимство.

Агафья угощалась карамелью, наваленной на столе, хрумкала и вздыхала, хрумкала и вздыхала. Савелий, оставив возле двери сапоги с коротко обрезанными голенищами, ходил в толстых шерстяных носках и в толстой же, навыпуск, старой вытертой рубахе, сшитой из шинельного сукна; лицо изжелта-красное, сквозь дряблость разогретое, неспокойное. Он подливал себе

чаю и рассказывал о двух молодых учительницах, приходивших днем, которые будут жить в его избе. Одна показалась ему совсем ребенком, и, на износе своей жизни разучившись угадывать, где шестнадцать лет и где двадцать, он удивлялся:

— Ручки тоненькие, ножки тоненькие, личико вострое, как у зверушки... Конфорку с плиты подняла и чуть не всю головенку туды затолкала. Француженка, ребятишек будет не по-нашему обучать. Я говорю: у меня печь жаркая, вы трубу не торопитесь закрывать, не дай Бог угорите. А вторая, посерьезней будет, поглаже... эта арихметику будет давать. «Вы, говорит, эта-то, говорит, — сколь раз на дню, ежели по зиме, печку топите?» — «Когда мороз, два раза топлю, а чуть отпустил мороз — одного раза хватит». Француженка, из себя вся тоненькая, а голос ниче, голос с натягом, говорит: «Каковая, значит, продолжительность топки?» — «Продолжительность топки, отвечаю, до ломоты в косте». — «Нам леспромхоз, — они мне докладывают, — должен бесплатно топливо доставлять... мы, значит, интересуемся, сколь кубометров заказывать...» — «Э-э, — говорю, — девоньки, у меня дров года на четыре наготовлено, вам столько и вполовину не сжегчи. То ли обзамужитесь, то ли ишо какой поворот. Вам леспромхоз свою обязанность не успеет оказать. Живите со спокоем».

Агафья смотрела на Савелия печально: он не был разговорчивым, и, если разговорился, да еще как-то не по-мужицки, с подробностями, стало быть, не по себе ему. Только-только начали привыкать к новому месту, только разобрались, что впереди, что позади, — снова срывайся и кочуй, снова вместо прямого хода жизни завал в сторону. Агафье этого ни за что бы больше не вынести. Но про Савелия Агафья считала, что ему надо переезжать. Из местных, из корневых, был он как-то не по-местному одинок и грустен. Мужики в деревне

горазды драть горло и на баб, и на ребятишек, на скотину, на тяжелую лесную работу, на самих себя, но если бы таким же макаром, выбрасывая зло, хоть раз крикнул Савелий, кругом онемели бы от неожиданности.

— Там тебе климатней будет, — сказала и на этот раз Агафья.

— Везде хорошо, где нас нету.

— Это так, — согласилась Агафья, наблюдая, как Савелий разворачивает уже третью конфетку и оставляет их нетронутыми. — Во мне, парень, скажу я тебе, Криволуцка по сю пору стоит. Здесь я не дома. И мало кто, кажется мне, дома. Я как эта... как русалка утопленная, брожу здесь и все кого-то зову... Зову и зову. А кого зову? Старую жисть? Не знаю. Че ее, поди-ка, звать? Не воротится. Зову кого-то, до кого охота дозваться. Когда бы знала я точно: не дозовусь — жисть давно бы уж опостылела.

Ни одному-то сердечному делу она не научилась. Не сумела и попрощаться с Савелием. Только и сказала обвисшим голосом, мелкими шажками отступая к порогу:

— Я русалкой-то бродить здесь буду, кого-нить ишо покличу.

Через два года из райцентра дошло известие, что Савелия уже нет в живых. В несколько месяцев его загрыз рак. Агафья решила: «На мягких, на покладистых людей и болезни накидываются легче. Они и для болезней слаще». И без жалости подумала о себе: «Ты-то вся из одной людской запусти, на тебя и там спросу нету».

Много спустя, уже когда умерла дочь и где-то торилась и для нее самой дорожка к отбытию, приснился ей сон, поразивший ее откровенным своим смыслом. Сон такой: у себя в избе сидит она на полу, неловко подвернув ноги на одну сторону и кренясь на

другую, и сморит, смотрит неотрывно перед собой, ничего не видя… Справа от нее лежит дочь, слева Савелий.

— Ты, мама, лежишь? — спрашивает дочь.

— Нет, сидю.

Чуть позже голос Савелия слева:

— Ты легла, Агафья?

— Ишо сидю.

Через полгода под самый Покров, укрывающий землю белым саваном, накрыли и Агафью в домовине белым полотном и снесли на погост, поставили над нею тяжелый лиственничный крест. Скончалась она со спокойным лицом. Скончалась ночью в постели, а утром разгулялся ветер и громко, внахлест бил и бил ставнем по окну, пока не обратили внимания: что ж это хозяйка-то терпит? Стали окликать ее, а она уж далеко.

* * *

Изба осталась сиротой, наследников у Агафьи не оказалось. Зиму простояла она безжизненной — ни дымка, ни огонька, с закрытыми наглухо окнами, оцепеневшая, безуходная, холодная, скорбная. Снег завалил ее снизу и сверху, только ставнями и чернела она, уткнувшись в сумет. Люди отводили от нее глаза и, избегая ненужных размышлений, торопились пройти мимо. Ходило над нею холодное солнце, выли метели, с грохотом проносились по улице лесовозы, звучали голоса ребятишек, возвращающихся из школы, — ни на что Агафьина изба отозваться не могла, умершая безмогильно, наводящая на живых тяжелую тоску. Соседние избы невольно отжимались от нее, нахоженная по снегу тропка по переулку делала стыдливый отворот.

Где жизнь, туда и весна приходит раньше. Уже вовсю бежала капель, булькали по улицам ручьи, уже и

канава в переулке вздыхала томно и нетерпеливо оседающим снегом, а Агафьина изба по-прежнему коченела все в той же стылой неподвижности. Она и на избу перестала походить — так, строение, выпятившееся на глаза, неуместное, отягощенное собою, вызывающее неловкость.

Потом кто-то догадался открыть ставни. Всего-то и надо было — дать свет в окошки. И задышала изба, очнулась, натянулась вся, подставила солнцу маленькие ослепшие глаза, заслезилась, принимая тепло, и за два дня скинула с себя смертный вид.

— Господи! — крестились бабы, оборачиваясь на избу. — Будто Агафья воротилась.

В те годы леспромхоз был в силе, работники зарабатывали хорошо, и ни парни, ни девки из поселка не убегали. Летом в Агафьиной избе поселилась молодая семья Горчаковых с годовалым парнишкой, решившая жить самостоятельно, отдельно от родителей. Вася Горчаков, сутулый неразговорчивый парень с длинными, постоянно тревожными руками и с втянутой в плечи большой головой, был золотой работник в лесу, на трелевке, но не лежали у него руки к чужой избе, которая требовала то доски на замену оторванной, то поправы завалинки, а то просто молотка. Дождь мочил в сенцах, непогода бухала чем-то на крыше; пол-огорода запустили сразу же, стайки, сарайки оказались вовсе без надобности, курятник, тот самый, от Савелия, выбросили. У молодых были свои вкусы, а от курятника пахло. С месяц пролежал он на боку под открытым небом, пока кто-то не пожалел и не прибрал. Стеша, Васина жена, мясистая и медлительная 18-летняя деваха, не нажившая еще привязанности к своей семье, какая-то отвлеченная, часто уходившая с ребенком ночевать к матери, и не пыталась наводить уют в этом временном и случайном жилье. Только покрасили полы, у Агафьи они были не крашены,

Агафья по старинке скребла половицы косарем и натирала песочком. И все равно держался в избе какой-то древний, словно бы и не человеческий, пропитавший стены, острый даже в своей угасшести, мускусный запах, вызывающий у Стеши аллергию.

— Смертью, что ли, пахнет? — Постоянно морщилась она, напрягая большие открытые ноздри и вздрагивая чутко, по-животному, с пробегающей по всему телу дрожью.

Она и не заметила, не пытаясь привыкнуть к избе, что в сенцах перестало мочить. Вася заметил. «Затянуло чем-нибудь дыру, — решил он. — Обошлось без меня». И забыл. Но однажды, уже осенью, когда Вася ночевал один, его разбудил среди ночи стук — будто в чьих-то руках молоток погуливает по крыше. Он не поленился, вышел — никого, в мозглом сыром рассвете, как в трясине, едва проступали очертания домов, стояла вязкая тишина. Приблазнилось. Но ложился обратно в постель Вася с мыслью, что надо сегодня же, не откладывая, поговорить со Стешей и соглашаться на половину двухквартирного дома, который скоро достраивают, не ждать, как они собирались, следующего, получше.

Но и этот, первоочередной, сдали только к лету. Последние два месяца Стеша доживала у своей матери, Вася у своей. Не слепилось гнездо в Агафьиной избе — ругались, болел парнишка, Вася сломал ногу, притом совершенно по трезвому делу, направляясь к теще за молоком; Стеша давилась воздухом, не могла спать. Съехали. Въехали, не спросившись, и съехали, не поблагодарив, не прибравши за собой, как положено, хлопнув дверью… Вздохнула Агафьина изба, прощаясь, — так тяжко и больно вздохнула, что заскрипели все ее венцы, вся ее изможденная плоть.

Следующие постояльцы прожили года три. Эти — пили. Пили зло, беспощадно и тихо. Неведомо где

провели они первые свои жизни, каждый по отдельности, отвели, должно быть, вторые и третьи, и только после этого судьба столкнула их и направила сюда. На работу их здесь уже не брали, изредка нанимались они то картошку окучивать или копать, то наколотые дрова складывать в поленницы, в пожарных случаях, когда уходит сенокосная страда, зазывали их на гребь. Летом ходили за ягодой и продавали, зимой искали мелких поручений: воды с берега на чай принести, потому что из скважины вода в чае была невкусной, выбросать из стайки из-под коровы шевяки, отгрести снег. На ежедневное истребление зелья заработков от такой работы не могло хватать и в десятой доле — выручал большой пьющий поселок. Тихие, всегда страждущие, безымянные (за неразлучность звали их в насмешку Катя-Ваня), собачьим нюхом они чуяли, где собирается компания, наперечет знали каждого загулявшего, держащегося подальше от дома. Мужики из куража поиздеваются, но нальют, а потом командируют в магазин, и не однажды. На одни бутылки, засеянные на обширных леспромхозовских владениях, выпадали безбедные недели. Летом они собирали их в лесу, на берегу, вокруг клуба, гаража и в особенности много вокруг нижнего склада, куда свозился с лесосек лес. Считалось за последний грех и позор работающему мужику сдавать порожнее стекло, подмигнет он Кате-Ване и ведет разгребать кладовку.

Чем не жизнь! — так и жили Катя с Ваней возле добрых людей, слыли за безвредных, чем-то навсегда испуганных, нуждающихся в сочувствии, доили с краешку, с трех-четырех грядок, Агафьин огород, разобрали у нее на дрова стайки и сенник, и все темнели и темнели изнутра их покорные лица, превращающиеся от постоянного жара в головешки, все мельче, запинистей становился шаг, когда, наваливаясь

друг на друга, выкатывались они на улицу. Любое тягло требует отдыха, а это, которому подчинились они, не давало ни дня покоя. Долго такой жизни они выдержать не могли.

В ноябрьские праздники, всегда отличающиеся застольным изобилием, но и тем еще, что на них выпадали первые крепкие морозы, воротились Катя с Ваней в Агафьину избушку в беспамятстве и свалились на свои дерюжки. Глухой ночью кто-то из них взялся растапливать печку. Растапливал тоже без памяти, печная дверца потом оказалась распахнутой. Изба загорелась. Не над тем долго судачили затем в поселке, что загорелась, а над тем, что сама же и управилась с огнем. Полностью выгорела заборка, отделявшая кухоньку от прихожей, не уцелела и стоявшая возле нее деревянная кровать. Катю с Ваней нашли в сенцах, едва живых, долго не приходивших в себя от ожогов и хмеля. Они лежали кулями, вытянуто, будто кто волочил их. Из районной больницы они не вернулись.

С тех пор Агафьина изба пустовала. Для поселка начались другие времена — лес брать становилось все труднее, везли его издалека, заработки упали. Есть предел и Божьему, если выбирать его без меры. Одною зимой делали возле нижнего склада сплотку прямо на льду, переложили тяжелой лиственницы, и весь плот в тысячу с лишним кубометров ушел весной на дно. Это как знак был: осторожней! — и его не распознали. И стала год от года ужиматься в поселке жизнь: меньше давала тайга, безрыбней становилась распухшая, замершая в бестечье Ангара, все реже стучали топоры на новостройках. А потом и вовсе ахнула оземь взнятая ненадежно жизнь и покалечилась так, как никогда еще не бывало.

Агафьина изба встречала и провожала зимы и лета, прокалялась под жгучей низовкой с севера стужею, стонала и обмирала до бездыханности и опять

отеплялась солнышком. Заходили в ограду люди — изба стояла как на пупке, и видно от нее было на все четыре стороны света. Особенно хорошо был виден разлив воды в понизовьях — могучий, широко раздвинувший берега и какой-то захлебисто мерклый, без игры и радости. Тут, в Агафьиной ограде, было над чем подумать, отсюда могло показаться, что изнашивается весь мир — таким он смотрелся усталым, такой вытершейся была даже и радость его. Здесь можно было и вволюшку повздыхать и столько здесь скопилось невыразимых воздыханий, что тучки на небе задерживались над этим местом и полнились ими, унося с собою жатву людских сердец.

Если же кто из приходящих заглядывал в избу, то замечал, что изба прибрана, догляд за ней есть. Обугленный после пожара возле печки пол и закопченные стены обтерлись, точно в особую красу, в печальный цвет, гарь как будто даже поскоблена, головешки и хлам от постояльцев вынесены, печка ничуть не пострадала, окна, как у всякого живого существа, смотрят изнутри. Дышится не вязко и не горкло, воздух не затвердел в сплошную, повторяющую контуры избы, фигуру. И в остатках этой жизни, в конечном ее убожестве явственно дремлют и, кажется, отзовутся, если окликнуть, такое упорство, такая выносливость, встроенные здесь изначально, что нет им никакой меры.

НА РОДИНЕ

Рассказ-быль

Я сплю в кладовке, рядом с сенцами, для освежения сна, и утром просыпаюсь от заунывного плачущего голоса, выводящего непрерывный стон: «Ой-е-е-е-ей! Че ж это деется-то? Ой-е-е-е-ей!» Пора подыматься, это идет по переулку старуха Лапчиха, напротив моей избы приостанавливается отдохнуть и, чтобы обратить на себя внимание, наддает голосу. Кричат спозаранку коровы, лают собаки, громко перекликаются люди — я сплю, меня эти звуки даже подбаюкивают в последнем сладком сне. Но вот как пилой по сердцу причитания Лапчихи, острые, рвущие тело, — и побудка неизбежна: доброе утро, Лапчиха, доброе утро! Поднимаюсь, громко бренчу умывальником, чтобы Лапчиха слышала мои движения, разжигаю здесь же, в ограде, железную печку с вставленной, как в самовар, короткой трубой и с наготовленной еще с вечера растопкой, ставлю чайник и выхожу за ворота. Лапчиха к той поре продолжает свое продвижение по переулку в гору, плач ее, стесненный тяжестью и шагом, переходит в прерывистый отчаянный клекот. Я гляжу ей вслед и каждый раз вижу одно и то же: точно короткое коромысло на низких ходульных ножках попеременными толчками выкланивается вперед. На одном плече коромысла, склонившемся под тяжестью вправо, ведерный бидон, на другом посудинка полегче — это Лапчиха тянет за руку малолетнюю девчонку-правнучонку.

Идти ей от берега до своего двора на Верхней улице километра полтора.

Три недели неподвижной давящей наволокой лежит зной — ни тучки, ни ветерка, небо белесое, дряблое, воздух кипит в мареве и пахнет дымом. Свежесть, сила, настой из него выпарены, воздух-обрат. Широкий разлив стоячей воды под поселком даже и глаза не обманывает прохладой. Не дает ее и лес, приникший, тускло-зеленистый, вылинявший. Огородам нужен

полив, сейчас бы грядкам только пить и пить, а где его взять, полив, если, вспучив Ангару, как в наказание за самовольство, оказались без воды. Качали ее из скважины электричеством — не стало электричества, золотой сделалась солярка; возили ее из разлива-водохранилища водовозкой — остановилась без горючего водовозка, а потом и вовсе пришла в негодность. А на руках таскать — попробуй-ка на верхние, дальние от берега, улицы натаскать? На питье, на норму для скотины еще как-нибудь, а на огород никаких рук не хватит. Пожухла картофельная ботва, нет налива огурцам, не к солнцу тянет, а в землю обратно клонит листочки капуста. В каждом дворе под стоками с крыш — ведра, тазы, ванны, даже кастрюли, чтобы ни одной дождинки не упало мимо, но и дождь отменили. Перед ночью в сумерках немо играют за Ангарой, за оббитым горизонтом, зарницы; я наблюдаю за ними по часу и больше, сидя на чурке возле печки: с двух сторон, напрыгивая, они бьют и бьют в какую-то преграду меж ними… во вспышках она кажется покатой каменной горой… делают разбеги все длинней, все отчаянней, но перемахнуть через преграду и высечь гром не могут. Изнемогают они, изнемогаю в напрасном ожидании и я и иду укладываться на свою узкую лежанку в кладовку у правой стены. Закрываю глаза, но зарницы дразнят меня и с закрытыми глазами, под их беззвучную и холостую игру я наконец засыпаю.

Иногда, раз или два в неделю, в поселке начинается переполох, вызванный гудением машины. К ней устремляются так же, как семьдесят лет назад устремлялись в деревне к первому трактору. Это значит, что кто-то где-то в частном порядке разжился горючим — может, старую канистру разгреб, может, с проходящего катера с ведро принес. Кузов машины заставлен бочками и бачками, гремящими и подпрыгивающими, устраивающими буйный тарарам.

Машине надо прорваться к берегу, и она набирает скорость. Но еще быстрее, еще отчаянней вырываются из калиток мужики, на бегу опрокидывают стоящие у палисадников бочки, ржавеющие в ожидании водовозки, и с грохотом пускают их на дорогу, заставляя машину тормозить. «Некуда, некуда!» — кричат из пыльного облака, накрывшего машину, но место находится, бочки устанавливаются в два яруса, на них повисают гирляндами, и машина рвется дальше.

Мне с моим пустодворьем, где ни скотинки, ни грядки, одна приблудшая кошка, много воды не надо. Схожу с двумя ведрами утром, попив чаю, после того как оплачет и свою долю, и долю поселка старуха Лапчиха. Одно ведро переливаю потом ей в бидон, когда спускается она во второй раз, остатки доливаю в маленький пластмассовый бидончик правнучки и уж совсем последними остатками заставляю Лапчиху умыть девчонку. Лапчихе жалко переводить воду на пустое дело, она пьет впрок прямо из ведра и уж после мокрой нераспрямляющейся ладонью царапает девчонке лицо. Та взревывает, вслед за нею взревывает Лапчиха, и они, не умолкая во всю дорогу, утягиваются опять в гору. То, что приносит с берега Лапчиха сама, для питья не годится. Доброй воды ей не набрать: узкие, в одну доску, мостки уходят далеко, на них шатко и скользко, в прогибах надо брести на ощупь. А под берегом в бестечье такая мешанина из живого и неживого, что хоть кашу вари.

Вечером, когда зной чуть легчает, я иду за водой со вторыми двумя ведрами. Но хожу долго, у того похода длинный крюк, а вода набирается на обратном пути, в зыбких сумерках самых продолжительных дней. Вдоль берега я иду вправо, ступая по оголившемуся плитняку. Вода от засухи и от сбросов на гидростанции спала метров на пятьдесят, плиты в тинистом песке, показывая пластинчатые сколы, белеют в правильных

рядах разно-форменными знаками какого-то древнего письма. За старым урезом воды, где извилистая волна щепы, как только поселок остается позади, густой зеленью чернеет молодой ельник. В нем, застывшие, глядя на воду и едва шевеля жвачку, стоят коровы. Тишина; рядом с поселком — и ни звука. Я оглядываюсь и на минуту теряюсь: где я, что это такое? Словно все застыло, все заснуло в глубоком и нелепом колдовском заговоре. Окажись сейчас в поселке посреди этого оцепенения — и встретишь на улице мужика или бабу с неловко задранной для шага, но так и не опущенной ногой.

Нет, что-то размеренно тикает. Я оборачиваюсь назад, откуда пришел, и всматриваюсь в берег. Не там. А во-он далеко в море на мертвой глади воды черная точка, из которой вполне может получиться лодка, не знающая еще, что на этой стороне все застыло, и из каких-то прежних времен пробирающаяся сюда старым способом — на лопашнах. Это так: оба весла по бортам слева и справа, сбросив загреб, переносятся в уключинах вперед, опускаются в воду и рывком снова ее загребают, толчком подавая лодку по ходу. Слышно даже, как скрипят уключины. Так было в моем детстве. Это, должно быть, оттуда, из детства, кто-то гребется ко мне через море с вопросами, на которые мне сейчас не ответить. На многое сейчас не ответить, отменились ответы. Но это лодка, сомнений нет. И никаких сомнений, что это весельная лодка, не виданная здесь уже лет тридцать. Это она на возвратном пути. Кто-то плавал смотреть покосы, больше там, на том берегу, делать сейчас нечего. Худенькие нынче покосы, не поднялась трава. Но сколько же это надо, чтобы перегрести через сегодняшнюю Ангару, сколько с размеренностью секундных протяжек шлепать веслам? Два часа, три? Сколько мозолей набить на ладонях, с которых давно сошли бугорки от весел? Рождались с

этими бугорками, за одноручное весло садились, за шест вставали сызмальства — как будто тут и были. Теперь, значит, заново.

Я иду по берегу дальше и через полверсты, когда начинает забирать берег в море, клоня мысовой изгиб, спрямляю свою дорогу и захожу в сосновый обтрепок, чудом уцелевший меж двух могучих жерновов. Один жернов — поселок, четыре десятилетия обгладывавший все, что находилось поблизости, а второй пострашнее — нижний склад леспромхоза, место свозки, разделки, упаковки и сплотки миллионов кубометров древесины. Но внутри обтрепок оказывается приятнее, чем с боков, его вполне можно назвать и рощицей, в грибную пору здесь могут выглянуть и рыжики. Но рыжики — это уж от крайнего усердия за остатки жизни. И чисто внутри, без хлама и следов топора. Старшие деревья окорявились, прячась друг за дружку, а младшие, попривыкнув к страху, тянутся вверх, помнят еще породу. Это здесь, по этим берегам, сплошным золотом сияла, задирая лохматые шапки под самое небо, знаменитая ангарская сосна — одна к другой, с длинными и прямыми янтарными, точно свечи, стволами. Это о ней вожделенно вздыхал весь мир, ее называл и мачтовой, и королевской, ее пробовал разводить в своих благодатных краях. Не согласилась она, красавица, на чужие края. А теперь и наш черед вздыхать о ней.

Много ли надо, чтобы пересечь сквозящую рощицу, — и вот я на другой ее стороне. Немного надо, но как сразу все меняется! К распаху воды добавляется пустынный распах земли. Вода, обогнув мыс, широким и длинным заливом простирается вправо — тут была речка. Голая земля бросается вслед за нею — и успевает: они замирают вдали на одной границе. Такое впечатление, что там, на границе с лесом, лес откачнулся от них в испуге, клонясь назад. Передо

мною вал из вывороченных деревьев, подняты наверх глина и камни — давняя и все еще страшная выпотрошенность живого. Я перебираюсь через нее, удивляясь, откуда же здесь так много камня, розового и слоистого, едва выдавливающего из себя чешуйчатые чашечки незнакомого растения, должно быть, цветущего от камня тоже розовым. Откуда? Было это, скрытое тонким покровом плодородного слоя, или с той же поспешностью, с какой творились наземные перемены, наросло, выставив каменную бронь изнутри?

Я обхожу завалы, пробираясь меж камней, задравших острия. Справа дорога, блестящая, утрамбованной гладью, я поворачиваю к ней. Дорога широкая, вбитая в землю навечно, накатанная такой тяжестью, в сравнении с которой асфальтовый каток — пушинки. На спуске к заливу она становится все шире и шире и вдруг как дорога теряется, подобно тому, как улица, потерявшись, переходит в площадь. От глины и камня она красная, ни росточка на ней, ни следочка. Остатки разбитых штабелей, наполовину выбранных, наполовину брошенных, с задранными по-пушечному стволами, с наворотом крест-накрест, белеют остатками великого пиршества, оставленного по тревоге. Стоит жуткая тишина.

Здесь и был нижний склад. Сюда, к заливу, свозился лес для сплотки, а к ангарскому берегу перед заливом — для погрузки в баржи. Рев моторов и грохот сваливаемой кубатуры стоял здесь зимой и летом, днем и ночью. Из года в год это огромное поле с двумя выходами на воду за лето опорожнялось, зимой снова наполнялось. Пылали огромные, во все небо, костры из валежника, щепы и обрези, гудели лесовозы, с бряком и шорканьем ходили челюсти погрузчиков, в сотый и тысячный раз сдирали с земли кожу ножи бульдозеров, а земное мясо перемалывалось гусеницами и колесами. Нижний склад подобен котловану при строительстве

гидростанции: там и там нет, кажется, никакого порядка и смысла в размахе, с каким мечется дерево и бетон в чудовищные утробы. Но там и там из столпотворения и неразберихи происходят в конце концов порядок и насыщение. Вот и здесь наполненная доверху утроба однажды успокоилась и залегла, оставив недоедки…

Затягивает смотреть на все это… И сам не понимаешь, на что смотришь и что видишь, но в ужасе и преклонении затягивает. Будто и верно — до нутряного достигает взгляд, но нет в нашем мозгу фокуса увиденному, и не собирается оно в образ. Я сижу на отбитом в сторонку одиноком бревешке, наполовину вросшем в землю и белом, как кость, как кость же, глухом и выпаренном под солнцем и стужей. Не узнать, что это было — сосна или лиственница. Теперь — длинная, сохранившая форму жизни, кость. И нет от нее ни тепла, ни хлада. Только кладбищенский озноб.

На мысу, на стрелке большой воды и заливной, холм не холм, курган не курган… Если бы не четыре сосны на нем, четвертая с отбитой макушкой, можно было бы принять за насыпной. Я его тоже не помню. Здесь по сотворенному было второе сотворение мира. Я наизусть мог бы сказать, что тут было в допотопный период — как и где петляла речка при сбеге ее в Ангару, где она намывала песочек, где укрывалась тальником и осокой, с каким звонким и игривым бормотком врывалась в большую воду и метра на два еще торила свою дорожку, пока не сливалась окончательно. А уж после я помню плохо, будто здесь наросла вторичная жизнь, избиравшая своих помников. Теперь, значит, третичная.

Через залив протянуты боны, на них, как поплавки на сети, нанизаны чайки. Я сижу полчаса, больше — ни одна из них не вспорхнет и не вскрикнет. Приучились и птицы к терпению. Тут вода тоже скатилась, у кромки воды берег пористый. Чуть справа от меня мелконько

подрагивают корявыми тычками две мертвые, мертвыми же корнями вросшие в воду березы. Я смотрю на них со слабым удивлением: не может быть, чтобы за сорок лет не вымыло? Скорей всего, корни придавило ко дну. Тут нет грунтового дна, весь залив из конца в конец вымощен. Великий русский язык: когда надо, скажет за двоих. «Вымощен» — и деревянным настилом покрыто, и утонувшей мощью выложено дно залива. А есть еще «мощи», нетленные мощи великанов, по которым когда-нибудь, через двести-триста лет, станут читать беспристрастную летопись местной истории. Чахлый, гнилой, низкорослый лес, тот, что на корню, по берегу уходит в глубину залива — и далеко: пока не кончится подпор и не сыщется речка в старом русле, не заструится, не зажурчит живой водичкой. Не может не знать она, живая, куда, в какое глухое лежище утянутся ее струи, но будет посылать их и посылать... Так и нам надо.

Я снова обвожу глазами весь огромный котлован, где кипела, кипела и выкипела вся работа. И думаю: лунный пейзаж. Заронятся ли здесь когда-нибудь семена, закроется ли эта рана? Я задаю вопрос не для ответа, ответ должен быть положительным. Но нет ответов, отказываются говорить. Надо выбираться из этого безответья, из этой глухоты, из беспродышливого подпора, на дне которого много чего лежит. Надо. Но как не соединить одно с другим — что было здесь в шуме и запале работы и что наползло отсюда на поселок. Вопросы-то задавать можно. После того, что было, разве удалось бы избежать того, что стало? Разве на часах, повисших где-то под этим небом и отсчитывающих десятилетия как секунды, не старый маятниковый ход: вправо-влево, да-нет, заслужил-получил? Эти часы сами по себе ничего не улучшают, они способны лишь, в предощущении ясной погоды, махи маятника сделать спокойней.

* * *

И опять звонко брякаю я соском умывальника, выплескав из него всю воду, и слышу удаляющийся стон: «Ой-е-е-е-ей! Че ж это деется-то?!» Опять разжигаю печку и жду чай. Глядя, с какой вялостью вытискивается из трубы дым, приоткрываю дверцу, чтобы поддувалом взбодрило огонь. И вспоминаю, как, возвращаясь вечером в нечистых, каких-то прелых сумерках от нижнего склада, взошел я на перекат увала, откуда открывался поселок, и ахнул: как зимой — вся деревня пускает дым! Кто топит летние кухни, кто баньку, приспособленную под варок, кто уличную сварную, как у меня, кто из десятка необмазанных кирпичей… Варить-кормить надо, вот и «деется». Пить-жить надо! Вон у моего нового соседа через дорогу печь с утра топится в избе. А день опять поднимается без продыху. За день я услышу со всех сторон это «деется» бессчетно.

Поверх забора видно: выходит в огород Нина, соседка моя по правую сторону с улицы, вяло ступает в домашних тапочках по межгрядным дорожкам, что-то высматривает и бормочет. Нагибается, щиплет лук, начинающий уже желтеть, и снова головой туда-сюда. Я не выдерживаю, взбираюсь на чурку под умывальником, чтобы и меня было видно, и кричу:

— Нина, что потеряла?

— А позапрошлое лето, — тотчас отзывается она и поворачивает ко мне красное тугое лицо, устанавливается на узкой дорожке прочней. — Какое было лето!.. Тебя в то лето, однако что, не было. Какое лето! — и тепло, и полив, и все-то как по заказу. Мы в то лето на этих-то, на толстомордых-то, чихать хотели! — брезгливо добавляет она… мне не надо объяснять, кого она задевает. — Хоть лопните вы там! Мы без вас

проживем! В то лето че было не прожить!.. А нонче... Нонче так-то не погарцуешь!.. Ой, Валентин, окорот, кругом окорот! За горло берут. Че вот мы нонче будем делать?

Нина года на три моложе меня, но ноги больные, ходит утицей. Мы с ней в родстве, Роман, муж ее, тоже младше меня, приходится мне дядей, не то двоюродным, не то троюродным, мы с ним всякий раз в этом путаемся. Нина уже уходит, направляясь к калитке, я уже гляжу мимо нее, но она оборачивается, спрашивает:

— Надя молоко не приносила?

— Нет. Но у меня есть, вчерашнее не выпил.

— Вчерашнее завтра пей, раз кислое любишь. А седни я седнешнее принесу.

Надя — вторая моя соседка, слева. У нее три дочери, все три замужем за гуцулами, которые в старые времена наезжали в леспромхоз на заработки, все три учительницы. И вот две дочери съехали... в райцентр, там жизнь не должна совсем остановиться... третья доживет с матерью лето и тоже уедет. И говорливая Надя примолкла, прибрала свой певучий голос. У нее и окрик был певучий, не сибирский, когда загоняла она корову в стайку. Теперь, видать, и корова стала послушней. Не слыхать Надю. Утром подымусь иной раз — на крыльце белеет банка молока. Это от нее. Днем увидит, спросит:

— А хлеб-то? Хлеб-то, поди-ка, надо?

— Не надо. Мне вчера Муська доставила.

— У Муськи хлеб хороший. Муська мастерица. — И вспоминает без спохвата: — Лида в коммерцию свечки привезла. Велела сказать.

Свечки я возьму. Но едва ли пригодятся они: при свете ложишься, при свете встаешь. Но это я же по приезде спросил, а Лида приняла за заказ.

Не стало в поселке казенной пекарни, пекут хозяйки без русских печей как попало, никак не приспособятся к духовкам. Показались русские печи в «царствии небесном», когда поверилось, что все лучшеет и лучшеет, — показались они лишними, много места занимали. Теперь майся. Не стало магазина, ни того, ни другого, ни на одном крылечке, ни на другом с разными вывесками. И вот Лида, продавщица из продовольственного, в духе времени завела «коммерцию» на Верхней улице в амбарушке на трех полках. Если дверка в «коммерцию» прикрыта, надо кликать Лиду со двора. За день раз-два и окликнут, а то и ни разу. Я спросил у нее в первый приход: «Когда выходной?» — и она посмотрела на меня недоверчиво, как после неудачной шутки: «Какие теперь выходные — все проходные!» Выходя вслед за мной из темной «коммерции» без окна, натакнула: «А масло на почте спросите, там, говорят, было». — «Почему на почте?» Ничему удивляться было нельзя, но иной раз удивление срывалось. «А там теперь тоже торговля. Там старикам в зачет пенсии мало-малишку привозят». Я пошел на почту. Почтовое дело захирело: телеграмму дать нельзя, письмо из города за четыреста километров может идти с осени до весны. «Нет, — говорит почтарка о масле, — только вчера последнюю бутылку взяли, подсолнечное было». На нет и спроса нет. Та же Надя, соседка моя, через день сообщает: эта бутылка теперь у Лиды, ее Лиде в обмен на чай принесли. Я к Лиде — уже из интереса, догоню ли. «Была бутылка, — говорит Лида, развеселившись, беззвучно смеясь, глядя на меня. — Была. Полдня только и простояла. Развозжаевы две банки тушенки за нее принесли».

Вот такая «коммерция». И Лида, баба бойкая, крепко и аккуратно сбитая, быстрая и решительная за магазинским прилавком, ловко насыпающая, отрезающая, взвешивающая и поторапливающая,

повяла в какой-то беспрестанной думе. Да и дума ли это? Что это — вязкое, непроходящее, не имеющее уже ни обид, ни желаний… тюря эта, которую слабенько качает сердце?

Солнце опять накаляется… да оно и солнце-то не солнце, а расплавившееся, растекшееся, бесформенное пышущее пятно — будто яйцо в сковородке. И небо не небо, а белесая песчаная пустыня. Сегодня будет еще тягостней, чем вчера. Утро, а воздуха уже не хватает, воздух выжженный, порожний. Печется, дрожит в парном мареве дальний горизонт за Ангарой, студенисто стоит вода. А ведь привыкли уже к новым масштабам: вернись теперь старая Ангара — и покажется за малую речку, выпростайся из зарослей пашенные поля — и лафтаками будут смотреться рядом с полями лесосечными. Что перед этими разросшимися величинами, перед новыми реками и новыми полями — пеший проход от берега до Верхней улицы? А ведь не одна Лапчиха не может его одолеть… Лопнуло, оборвалось какое-то роковое несоответствие между масштабом самого человека, оставшегося прежним, и масштабом его деятельности.

Душно; я перехожу с большой кружкой чая в избу. И, невесть что выглядывая, раздвигаю занавески и уставляюсь в маленькое подслеповатое окошко. Демьян вон свои окна перекроил, они у него лет тридцать смотрели в улицу молодечески, набирая столько света, что и солнце не переводилось. Демьян свой родительский дом после переезда от старой Ангары полностью преобразил: поставил его на фундамент, сделал пристрой, обшил с напуском дощечкой, перестелил полы, поднял на крышу шифер. Картинкой смотрелся дом. И двор за новым забором стоял поместьем, неприступной крепостью.

Тяжело теперь видеть эту картинку и крепость. И тянет смотреть. Почему так тянет смотреть на

запустение и разор? Что в русской душе такого, что жаждет она запустения, ищет в порухе пищу? Почему так любим мы быть возле края жизни и заглядывать в могилу? Заглядываем — чтобы окончательно столкнуть туда всю свою нажить или, напротив, почти из небытия, нет, больше — из самого небытия — вернуть и воскресить? Тысячелетняя неопределенность — туда или оттуда? — вот-вот, кажется, даст ответ.

Мой товарищ еще по детству Демьян Слободчиков не уехал ни в город вслед за сестрой и младшим братом, ни в менее приметную сторону вслед за братом старшим. Где родился, там собирался сгодиться до конца. Поэтому и дом родительский перешел к нему по наследственному праву не оставившего этот дом. Рядом срубил он летнюю кухню, с прежний дом, одно окно пустил смотреть на родовое жило, на восход солнца, второе — на Ангару, на закат. Здесь же, под боком, поставил новую баньку веселенькую, с прищуром в чуть косоватом оконце. От баньки в глубь огорода уходил навес, а под ним погреб — я видел такой простор только на севере, в вечной мерзлоте, где и стены, и потолок, и ступени в голубом сказочном льду. И простор этот у Демьяна с Галей заполнялся. Демьян любил показать припас лицом, я спускался, смотрел, дивился. Включит свет — и все озаряется: сотни трехлитровых банок с огурцами, помидорами, луком, черемшой, грибами, ягодами и Бог знает с чем еще. Взблескивает и выставляется, приседает и выпрямляется, на полках и в ящиках. Капуста засаливалась в кадках, ей полагалось мерзнуть наверху. Сало млело в тряпицах, вымоченных и проложенных приправами. Кедровые орехи пузатились в белых китайских кулях из-под сахара. Картошка мерилась не мешками, а подпольями: в летней кухне, всю зиму топившейся, тоже отрыто было подполье. Сначала две коровы, потом три, сначала один огород, потом два, нет, был еще и третий огород где-то

на елани, под картошку. И зеленка засевалась на горе, и загораживался телятник. Два покоса в разных местах, туда и туда по воде.

И все это от жадности... Есть жадность к деньгам, есть жадность к водке, к греху... У Демьяна была жадность к работе. И Галя, жена его, такая же была жадная, две одинаковые руки, одна правая, другая левая. Весь этот припас расходился. Отправлялось дочерям в город, куда-то еще, по красным летам гостей собиралось невпросчет. Я, собираясь на родину, знал уже, что не суждено мне проедать творог, сметану... Господи, какая сметана! — так и пышет сытостью и сластью, так и подается к ложке! Что будут у меня и пироги с рыбой и луком, ранние огурцы и помидоры из-под какого-то особого ухода, что станут меня караулить у ворот, чтобы затащить за стол и поговорить о жизни.

Не знаю, может быть, они что-то и продавали... мясо наверняка продавали. Но много ли здесь продашь? В город везти: телушка — полушка, да руль перевоз. Да и какие особенные при таком хозяйстве требовались деньги? Чаша полная. В леспромхозе Демьян зарабатывал хорошо, по тем временам — много. Любил и этим похвалиться. Любил показать грамоты, сказать о премиях. Да ведь свое, не заемное. Он и там, в лесу на трелевке, и на берегу, на погрузке, был жаден на работу, считался незаменимым.

Имелся у них, конечно, и денежный припас. Но пошел он, как и у всех у нас, прахом. Собравшись переезжать, Демьян переборол свою гордость и обратился ко мне... Он не писал писем, а что нужно было, с кем-нибудь передавал... два или три миллиона на перевоз... тогда и мелкий счет шел на миллионы. Я и этого не мог выслать. Написал ему, чтобы зашел его сын, оставшийся после армии в городе, месяца через два, что-то у меня наклевывалось.

Пустым взглядом гляжу я на пустынную улицу, на которой старинная грязь, намешенная тяжелыми машинами, дала ландшафт — извилистую горную гряду по краям дороги. В такую пору горы «цветут» — пускают пыль. Не лежат больше за дорогой коровы, не стоит с раскрытой кабиной «Беларусь», открылся от поленницы целомудренной невылинявшей полосой забор. Ну, выше, выше взгляд! А выше — закрытые ставнями окна, снятая крыша, провал на месте летней кухни. Уже не выйдет из калитки, прихватывая руками низ живота, хозяин, не повернет иссеченное работой и страданиями лицо направо-налево.

Кому есть куда бежать — бегут. Это — брошенная земля. Выжатая, ободранная, изуродованная и брошенная. Как сквозь бельмо гляжу я на Демьянов двор, как сквозь бельмо же — на Ангару. Очертания неясные, неживые. Или едва живые, с удаляющейся жизнью. Какое продолжение может предложить судьба поселку? Не может же все оборваться разом. Странные бывают продолжения. Крыша на Демьяновой избе чуть недораскрыта с северного бока. Да нет, это угол избы заново закрыт, вместо шифера старые доски. Это в кухне, рядом с печкой, появился новопоселенец. Из пройдисветов, чей-то дальний родственник кого-то из поселковых. Бурная жизнь запросила покоя. Где еще такой покой сыщешь? Полными днями сидит на воде в лодчонке, дергает рыбу. Показывает потом, что рыба травленая, с червями, с черными пятнами. Но она и эта дергается плохо. И есть что-то надо. Вот и выковыривает из сорожек глисты, выбирает язвочки.

Простонали мои воротца в улицу, заплетающиеся за траву, несмазанные. Кто-то идет. Я поднимаюсь и встречаю на крыльце Ирину, библиотекаршу. Я распахиваю перед нею дверь неожиданно, Ирина растеряна. Протягивает мне тоненькую пачку бумажек.

— Это абонентские карточки, — объясняет она смущенно и переминается, как девочка, с ноги на ногу. — Вы хотели посмотреть, что читают.

— Ну, зачем, Ирина, я бы зашел…

— А ничего, — уже уверенней говорит она. — Ноги не отвалятся. Что нам здесь делать-то?

Я вчера был у нее в библиотеке. Шел в клуб, библиотека была там, а Ирина выскочила из леспромхозовской конторы: библиотека теперь здесь, чуть наискосок от сгоревшей школы. Тут как бы центр, на улице сгоревшей школы, поссовет тоже рядом. И пожаловалась вчера мне Ирина, что библиотеку вот-вот, должно быть, закроют. Есть норма: если в селе меньше полутысячи жителей, библиотека отменяется. У нас уже меньше. Я пообещал постоять за библиотеку. И вот теперь благодарная Ирина, уже за то благодарная, что не промолчал, пускай и в сердечной муке, что нашед слова для обещания и одел их в твердость, прибежала с отобранными карточками.

— Читают?

— Читают, — замявшись, отвечает она.

— Меньше?

— Меньше.

— Сами же говорите, что делать нечего. Ну и читали бы.

— Знаете, — не сразу отвечает она. — Когда дело есть, оно другого дела просит. А нету дела — ничего не надо.

Под «делом» надо понимать леспромхоз. А леспромхоз уже два года как «завалился». Здесь так и говорят: «завалился», «наш-то завалился», не подает признаков жизни. Не называя по имени, что такое «наш». У северных народов есть обычай: когда ребенок тяжело болен, имя его не упоминают, чтобы отвести бродящую рядом смерть.

* * *

Мне пора уезжать. Из всех старых крепей жизни, которые связывали поселок с государством, с миром, осталась одна. Ходит еще, обегает ангарское заселение, строчит машинный узор с берега на берег «Метеор», быстроногий теплоход на воздушной подушке. За день из Иркутска добегает до Братска. Прежде бегал каждый день, теперь трижды в неделю. Но и это хорошо. Это даже очень хорошо, больше и не надо. И свежий человек откуда прибудет, и свой куда съездит, привезет ворох новостей — не будь этого, закройся вода, и совсем хана. Больного отвезти, письмо получить... но и ничего не получая, ждать, ждать... И время сверять по белому китовому телу «Метеора»: сверху, от Иркутска прошел — четвертый час, с низовий — первый час пополудни. Перекликаться: «Проходил метевор-то?» — «Не знаю, я седни не видела. Дуся-а, мете-вор-то седни промелькивал?» — «Не знаю, я об ту пору стирала. Не знаю. Так это он где?» И переполох, будто свет закачался, пока кто-нибудь не успокоит: «Да проходил, проходил, вон Поля бегала». — «Так она, Поля-то, как бегала, ежели у ей ноги остановились?» — «Понужнула да побежала — впервой ей, че ли». — «Ей, Поле-то, не приснилось, ей-то по каку холеру бежать? Ей ждать некого!» — И долго еще, «Метеор» уж к Братску подгребается, идет на моем слуху перебор, кому осталось ждать гостей, а кому уж и не осталось.

Надо ехать, но изо дня в день зной стоит бесшатко и глухо. И ветром не потеребит. Вроде и пахнет ветром, но теплым, от земли, и бескрылым. Все так же немо и бестолково пыхают в сумерках за Ангарой зарницы. Поневоле думается: прогнулась запанью бедовая земля, и небо так же над нею прогнулось, а в него, в небесный овраг, закатилась жаркая лава и застряла, заполнив пустоту. Мне отчего-то неловко уезжать, пока не

выйдет облегчения. Земного ждать нельзя, но небесное-то должно быть.

Я взял за привычку, вскипятив чай, пить его в избе перед окном за маленьким столиком, на котором стоит, гнет на тонкой шее чашу светильника зеленая настольная лампа. Я думаю порой в забывчивости, вспыхнет ли она когда-нибудь, и не додумываю. И гляжу опять на Демьянову усадьбу, представляю Демьяна, выходящего из калитки и косящегося в мою сторону. У меня свои доводы, и мне кажется, что отъезд Демьяна, поспешный его побег из поселка для поселка потеря не меньшая, чем завалившийся в глубокую яму леспромхоз. Вот они стоят передо мной: невысокий, лысоватый, с небольшим морщинистым лицом Демьян, на лице и улыбка раздвигается как шрам, и опущенными к животу руками, и Галя, крупнотелая, внешне спокойная, но с постоянно ищущими глазами на широком лице: то не сделано, это не сделано. Они стоят каким-то наплывом, возможным лишь в кино, и Демьян говорит по обыкновению: «Вот оно, значит, как…»

При рождении его назвали Диамидом; тогда, в тридцатые, поветрие называть громко и таинственно докатилось и до глухих углов. Став взрослым, он переименовал себя Демьяном. И когда я спросил его однажды, что же означает оно, имя его Диамид, он отвечал неопределенно и с достоинством:

— Не знаю. Отец чудил. По звуку если… как слышится… твердое че-то, из сплава.

Ему не было сорока, а он уже лечился от язвы желудка. Скрутила она его так, что уже тогда согнулся он первой дугой. Ездил раза три на курорты, бывал на юге и любил похвалиться этим передо мной, там не бывавшим. Привозил оттуда чудинки: то принимался выращивать на подоконниках лимоны — и выходило, то в пол-литровой бутылке из спичек сооружал, опуская в горлышко по спичке, диковинные терема. Показывать

мужикам не решался — засмеют, а мне показывал и по-детски радовался моему удивлению.

Возвращаясь с курорта, шел Демьян к начальству и напоминал, что тяжелая работа ему противопоказана. Да на него только поглядеть — конечно, в лесу не работник. Направляли в гараж, ближе к дому, диете и Галиному наблюдению. А через месяц уже снова был на лесосеке, снова подставлял калеными ветрам и каленому солнцу нездоровое тело. Выпрыгивая из кабины погрузчика, на мгновение замирал, все ли там, внутри, на месте, и тянул дальше. Тянул и тянул.

Потом оказалось, что и почки больны. Лечил почки, но уже не у дальних врачей — надоели ему поездки. Прошел через операцию и согнулся еще больше. То же самое: гараж — лесосека, гараж — лесосека. На пенсию уходил с лесосеки и горд был, что не поддался, выдержал и характер, и изношенное свое тело. Уходя «на покой», выкупил старый трактор, тогда это уже возможно было, уже засветились новые времена своим сияющим блеском, — выкупил старый «Беларусь», битый-перебитый, ломаный-переломанный, и этим похожий на него же, на Демьяна. Провозился с ним месяца два и на беду себе довел до полного хода.

Случилось вот что. Сам ли Демьян оставил «Беларусь» на скорости, или кто-то из ребятишек забирался в кабину и дергал рычаги… Был Демьян на земле под трактором, и вдруг рванулся «Беларусь» и пошел на него. Накатил, огромным колесом прошелся поперек ниже живота, раздавил ногу, потом мочевой пузырь. Истошно закричала Галя. Вытащили Демьяна без памяти и без памяти же увезли.

Я был у него в больнице после первой операции, накануне второй. И уходил от него, поговорив и с профессором, и с лечащим врачом, с болью: не жилец. Домой его увезли потом с тем же приговором. Едва-едва копошился по двору, изредка выходил, короткими

подвижками на костылях переставляя ноги, в улицу, и никто не сомневался: прощаться выходит. Но какой-то сверхпрочный «диамид» сидел в нем — встал Демьян. Пропустил один сенокос, а на второе лето уже тащил на плече к берегу четырехпудовый лодочный мотор. Я догнал его: «Ты что делаешь, мужик?» — «А иду, — не без хвастовства отвечал, неловко задирая от мотора голову, выкручивая морщинистую трубчатую шею. — Не мешай, а то упаду. Я без груза плохо хожу».

Я бы этот «диамид» провел через палату мер и весов, сделал его единицей человеческой цепкости, живучести. В одном и десятой доли «диамида» нет, а в другом два или три разом. А то и десять.

...Я отрываюсь от окна, в котором проводил вниз к воде согнутого под мотором мужика. Проводил на гребь в Шайдорово, в одну из не существующих ныне деревень, редкой цепочкой стоявших по Ангаре. Но и в памяти моей цепочка уже прервалась, в одном месте «узлы», как этот поселок, собравший в себя шесть деревень, в другом обрывы. Но в память настойчивее стучатся те, несуществующие... В Шайдорове у Демьяна был покос, стояла зимовейка, и как сладко было там после метки, всегда поспешной, чтобы, если нет даже тучек в небе, сено не «отошло», не потеряло хруста, и всегда потной, до соли на спине, — как хорошо было там в сплошной уже тени под мачтовыми соснами жадно пить чай и вполголоса ни о чем разговаривать.

Отрываюсь и от этого видения... надо сходить к воде. А потом, притерпевшись к бездыханности, изловчившись и ею дышать, пойду-ка я подальше на елань. Пойду-ка я на елань да забьюсь в ельник, во мхи. Береза в огороде обвисла, плотный воздух, куда ни глянь, курится. Забьюсь во мхи... люди уходят на кладбище, а прошлая жизнь этих людей, картина к картине изо дня в день в каких-то прозрачных нетленных рамах... им уходить, кроме как во мхи,

некуда. Наберусь-ка я этих картин побольше, пропитаюсь ими, надышусь, подстелю их себе под глаза…

* * *

Ночью меня будят тревожные скребущие звуки — точно кто-то по натянутому полотну подцарапывается и принимается тянуть полотно на себя. Я прислушиваюсь: то чудится, то не чудится. Поднимаюсь, выхожу на крыльцо, с крыльца заглядываю на крышу кладовки, закрытую толью. Она маслянисто темнеет. В небе редкие игольные протыки дальних звезд. И над водой мелкий бегущий стрекот… разбежится приглушенным стукотком швейной машинки и запнется, задохнется в толще, с протяжным вздохом отступает обратно. Снова разбег, снова захлебистое напряжение, мало-помалу отодвигающее ватную преграду. И все небо в шуршании — в мягком, сыпучем… Я находился за день, нагулялся до изнеможения, наслушался безмолвия — вот и блазнится, пустое выходит из меня, задевая какую-то чувствительную мембрану. А что еще может быть? Я возвращаюсь и засыпаю.

Днем глухими ударами-качками бьет сразу с двух сторон — из-за Ангары и по-над горой. Солнце слабое, маленькое, мерклое, в разлохмаченном ободке. И будто не гром, будто что-то там с шорканьем двигают, переставляют. Отдохнут и опять по краям горизонтов, горного и речного, принимаются двигать. Море — вода в трепете, в мелких блестках, воздух тяжелый, липкий.

Огородом идет ко мне Нина, задирая голову и прислушиваясь, на ее круглом лице я вижу волнение, когда она садится на завалинку.

— Валентин, будет дождь?

Больно уж долгие там, в небе, приготовления — как бы не впустую? Но мне не хочется огорчать Нину, я

говорю:

— Будет. Может, сегодня еще покапризит... — за месяц я привыкаю здесь к усеченным формам и без нарочитости говорю «покапризит»... — а уж потом да-аждь!..

Она смотрит, не шучу ли я...

Вслед за Ниной тем же путем приходит Роман — заспанный, в майке, босиком.

— Че, поди, небо обсуждаете? — закуривая, говорит он и принимается по обыкновению при мне подшучивать над женой. — Ты, Нина, к небу не касайся, там свои порядки...

Он не успевает договорить, — близко над головами вдруг взрывается от страшного удара, вспарывается пополам, обрушивает страшный грохот. Гремит у меня в сенцах, гремит на улице за домом... Нина в ужасе вскакивает и кричит.

— Вот где надо было! — кричит и Роман, приподнимаясь и оседая. — Здесь надо было! Нашел! Да по краям! Давай-давай!

Испуг вышибает у Нины слезы, она не может сдержать их и под раскаты отходящего грома, всхлипывая, кричит в небо — не кричать невозможно:

— Неделю бы позадь тебе! Неделю! Ищо бы не поздно!

— Ниче-о! — говорит Роман на полукрике. — Ты не пужай его. Ты его напужашь — он сбежит в другую деревню. Ты потраву большую народу сотворишь.

— Ты че, дурак, мелешь-то? — У Нины и из улыбки сочатся слезы. — Перестань молоть.

И снова грохот, снова землю приподымает и бросает обратно. Романа подбрасывает с завалинки, и он, задрав голову, не глядя на меня, кричит:

— Вот, Валентин, как надо! Вот как надо! Видал?!

Гулко стучат о деревянные мостки рядом с крыльцом первые, тяжелые, важные капли. Роман с

Ниной срываются и убегают к себе. Вот и «покапризит»! А ведь не было туч — за минуты взбил их гром. Я стою под дождем, унимая волнение и страх, и дышу, дышу… Огромные кручи ходят над моей головой, навиваются в темную пучину, под гулким окриком торопливо принимаются перестраиваться, сшибаясь, распуская лохматые хвосты, воздвигая что-то, какие-то свои могучие грады…

О книге

Книга подготовлена пользователями библиотеки https://fb2.top. Читайте или скачивайте эту и другие книги на сайте библиотеки бесплатно и без регистрации.

Адрес публикации: https://fb2.top/vek-ghivi-vek-lyubi-632009